

+- INH 1925

ВОСПОМИНАНІЯ

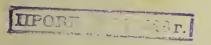
И

КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

СОБРАНІЕ СТАТЕЙ И ЗАМ ТОКЪ

П. В. Анненкова.

ОТДЪЛЪ ТРЕТІ





С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л. 7.

My in M.

RIMANATARIA

TANKAN O VIALBAREBHUM 3.2 AM 41-7-3 (594)

содержание

третьяго отдъла

I.		Замвчательное десятильтие (1838—1848 г.)	1
II.	_	Общественные идеалы А. С. Пушкина (изъ послъднихъ	
		льть жизни поэта.)	225
III.	_	Н. В. Станкевичъ (віографическій очеркъ).	268



ЗАМЪЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛЪТІЕ

1838—1848.

I.

...Я познакомился съ Виссаріономъ Григорьевичемъ Бѣлинскимъ за годъ до моего отъѣзда за границу, именно осенью 1839 года. Онъ пріѣхалъ тогда въ Петербургъ для сотрудничества въ «Отечественныхъ Запискахъ», привезенный изъ Москвы И. И. Панаевымъ, и уже находился во второмъ или третьемъ періодѣ своего развитія.

Извъстно, что Бълинскій выступиль на литературное поприще статьей въ «Молвъ» 1834 года, носившей заглавіе «Литературныя мечтанія — элегія въ прозв». Это было обозрвніе русской словесности, обратившее на себя внимание бойкостью слова и характеристикой эпохъ и лицъ, которая не имъла пикакого сходства съ обычными и, такъ-сказать, узаконенными определеніями ихъ въ нашихъ курсахъ словесности. Лирическій тонъ статьи съ философскимъ оттънкомъ, заимствованнымъ отъ системы Шеллинга, сообщаль ей особенную оригинальность. Все было туть молодо, смвло, горячо, а также и исполнено промаховъ, сознанныхъ и самимъ авторомъ впоследствін; но все обличало возникновеніе какихъ-то новыхъ требованій мысли отъ русской литературы и русской жизни вообще. Старикъ Каченовскій, - в роятно, обольщенный свободными отношеніями критика къ авторитетамъ и частыми отступленіями его въ область исторіи и философіи, старый профессорь, призваль тогда къ себъ Бълинскаго, - этого студента, еще не такъ давно исключеннаго изъ университета за малыя способности, какъ говорилось

въ определении совета, жалъ ему горячо руку и говорилъ: «Мы такъ не думали, мы такъ не писали въ наше время» 1). Менфе волиенія, конечно, произвела статья въ Петербургѣ, гдѣ уже созрѣвали извѣстныя сатурналіи только-что основанной «Библіотеки для Чтенія», съ ся глумленіями надъ наукой и падъ всяческими убъжденіями; но и здівсь статья не прошла незамівченной мимо глазъ. Съ этихъ норъ именно Н. И. Гречъ, какъ человъкъ, еще болъе другихъ приличный въ сонмъ литературныхъ публицистовъ той энохи, усвоилъ систему воззрвнія на Ввлинскаго, сравнительно еще благосклонную. Онъ высказываль ее потомъ не разъ во всеуслышаніе: «умный человъкъ, но горькій ньяница, и пишеть свои статьи, не выходя изъ-запоя». Вёлинскій-пьяница быль такь же мыслимь, какъ Лессингъ на канатъ, или что-нибудь подобное. Съ тъхъ же поръ О. В. Булгаринъ, съ своей стороны прозвавний Вълинскаго «бульдогомъ», началъ свою, столь долго непрерываемую жалобу на извращение умовъ, свои чуть не 20-лътиия нападки на новый духъ въ литературъ, грозящій лишить Россію, къ стыду потомковъ п посрамленію передъ Европою, всёхь ся умственных сокровищь 2)...

Впрочемъ, какъ ни задорна была статья Вълинскаго по своей формъ, особенно для петербургскихъ самозванныхъ знаменитостей, въ обличении и опозорени которыхъ критикъ, по собственному признанію, находиль блаженство неизгленимое, сладострастіе безграничное, по собственно она нисколько не потрясала ни одного изъ нашихъ старыхъ авторитетовъ, и постоянно ко всемъ имъ относилась съ величайшимъ энтузіазмомъ. Смёлость заключалась не столько въ изследованіи, сколько въ началахъ и принципахъ, высказанныхъ критикомъ и предпосланныхъ изследованію. Статья более грозила обличениемъ людямъ и предметамъ, и только надъ очень немногими изъ нихъ исполняла угрозу. Бълинскій еще не вносиль ни мальйшаго раскола въ тотъ молодой кружокъ, сформировавшійся въ началь тридцатыхъ годовъ, подъ свнію московскаго университета, изъ котораго потомъ вышли самыя замъчательныя личности послъдующихъ годовъ. Зародыши различныхъ и противоборствующихъ мнвий уже паходились въ немъ, какъ легко убъдиться изъ именъ, составлявшихъ его персоналъ (К. Аксаковъ, Станкевичъ и др.); но заро-

¹⁾ Разсказъ В. Г. Бёлинскаго.

²⁾ Жалобы эти не остались безъ послѣдствій для литературы. При изданіи Пушкина (1854 г.) возникли цензурныя затрудненія, при передачѣ сужденій пашего поэта о Державинѣ, такъ какъ прежде того состоялось распоряженіе цензурнаго комитета оберегать отъ непрошенныхъ критикъ имена Державина, Ломопосова, Карамзина, а также и личность самого Булгарина. Никто пе чувствоваль тогда обиды, наносимой первымъ тремъ великимъ пменамъ нашего отечества — этимъ уравненіемъ ихъ съ персоной издателя "Сѣверной Пчелы".

дыши эти еще не приходили въ брожение и таились до поры до времени за дружескимъ обмѣномъ мыслей, за общностью паучныхъ стремленій. Достаточно всномнить, что К. С. Аксаковъ былъ тогда германизирующимъ философомъ, не менѣе Станкевича; П. Кирѣевскій — завзятымъ европейцемъ и западникомъ, не уступавшимъ Т. Н. Граповскому; а последній, скоро присоединившійся къ этому вругу, после сотрудничества своего въ «Библіотеке для Чтенія» Сенковскаго, дълилъ вмъстъ со всъми ими поэтпческое созерцание на прошлое и настоящее Россіи. В влинскій, который такъ много способствоваль внослёдствіи къ разложенію круга на его составныя части, къ разграниченію и опредёленію партій, изъ него выдёлившихся, является на первыхъ порахъ еще простымъ эхомъ всъхъ мивній, сужденій, приговоровъ, существовавшихъ въ ивдрахъ кружка, и существовавшихъ безъ всякаго подозрънія о своей разнородности и несовивстимости. Вотъ почему восторженная статья Бълинскаго, отличавшаяся капризнымъ ходомъ, нъкоторою разорванностью и недостаткомъ сосредоточенности, представляеть еще безсознательное смъщение наименъе родственныхъ или схожихъ другъ съ другомъ пастроеній. Чисто-славянофильское представленіе идеть здісь рядомь съ чисто-западнымъ; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойныя Сергвя Глинки въ самыя сильныя минуты его натріотическаго одушевленія; либерализмъ и консервативное ученіе (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей самыхъ явленій, которыя ими обозначаются) поперемънно возвышають голось, нимало пе смущаясь своимь сосъдствомь. Для примъра, какъ начинающій критикъ нашъ стояль еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицію реформамъ, достаточно напомнить пъкоторыя изъ положеній статьи.

Значеніе народныхъ обычаевъ и нерушимое ихъ сбереженіе въ средѣ илемени составляло еще для Бѣлинскаго 1834 года дѣло первой и точно такой же важности, какимъ оно казалось внослѣдствіи для наиболѣе ярыхъ противниковъ молодого критика изъ славиской партіи. Въ простыхъ и грубыхъ нравахъ онъ находилъ еще, вмѣстѣ съ нослѣдними, отблески поэзіи, называя только жизпь, ими создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборотъ, будущіе славянофилы, вѣроятно, вполиѣ раздѣляли тогда миѣніе Бѣлипскаго, а именно, что въ реформахъ своихъ Петръ Великій былъ совершенно правъ и народенъ нисколько не менѣе любого московскаго царя старой эпохи. Особенно характерно то мѣсто въ статъѣ, гдѣ, переходя на сторону великаго реформатора, опъ предпосылаеть, однакоже, скорбное, прощальное

воззваніе къ погибающей старинѣ и притомъ въ словахъ и образахъ, которые теперь, при опредѣлившейся личности Бѣлинскаго,
составляють для насъ какъ-будто невѣроятную, фальшивую черту,
искажающую его физіономію. «Прочь достопочтенныя, окладистыя
бороды, — говорить онъ. — Прости и ты, простая и благородная
стрижка волосъ въ кружокъ, ты, которая такъ хорошо шла къ
этимъ почтеннымъ бородамъ! Тебя замѣпили парики, осыпанные
мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтическій сарафанъ нашихъ
боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка съ пышпыми рукавами, и ты, высокій, унизанный жемчугомъ повойникъ — простой
чародѣйный нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудямъ и яркому румянцу нашихъ бѣлоликихъ и голубоюкихъ красавицъ... Простите и вы, заунывныя русскія пѣсни, и ты, благородная и граціозная пляска: не ворковать уже нашимъ красавицамъ
голубками» и т. д.

Вотъ откуда выходилъ Бълинскій. Либерализмъ безличнаго дружескаго кружка тоже быль представлень въ статьв, довольно полно, самымъ основнымъ ея положениемъ, по которому литература наша есть дёло случайнаго возникновенія и соединенія нёсколькихъ болве или менве талантливыхъ лицъ, въ которыхъ общество не нуждалось, и которыя сами, въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніи, могли обходиться безъ общества. Отсюда — ничтожество литературы и слабость писателей, несмотря на ихъ качества, таланты и усердіе. Можно догадываться, что въ кругв ходило съ успехомъ и европейское представление о важности буржуазии и tiers-état для государства, потому что Бълинскій ищеть въ разныхъ сословіяхъ нашего отечества тъхъ дъятелей, которые помирять европейское просвъщение съ коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, кунечество, городскихъ людей, ремесленниковъ, даже мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ 1), и тутъ же оговариваясь, въ виду возможныхъ возграній съ другой стороны, а именно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ, или, вприпе всего, въ иплой идеи народа». Словомъ, знаменитая первая статья maid-speech Бѣлинскаго отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у которой всв виды направленій жили еще какъ въ первобытномъ раю, о-бокъ другъ съ другомъ, не находя причинъ къ обособленію и не страшась взаимной близости и короткости. Связующимъ поясомъ была тутъ одинаковая любовь къ наукъ, свъту, сво-

¹⁾ Кольцовь уже введень быль тогда Станкевичемъ въ кругъ московскихъ друзей его и, по всей вѣроятности, быль косвенной причиной тѣхъ надеждъ, которыя выражаль Бѣлинскій на людей *средняю положенія*.

бодной мысли и родинъ. Можно уподобить это состояние значительному водному бассейну, въ которомъ будущие ръки и потоки мирно текутъ вмъстъ до той поры, когда геологический переворотъ не раздълить ихъ и не откроетъ имъ пути въ противоположныя стороны. Вълипский именно былъ тъмъ подземнымъ огнемъ, который ускорилъ этотъ переворотъ.

Не мудрено, если придетъ кому-нибудь въ голову спросить: стоить ли такъ долго останавливаться на журнальной статейкъ, не совствить свободной отъ противортній и, вдобавокъ еще, съ опредъленіями, отъ которыхъ потомъ отказался самъ авторъ ея. Вопросъ легко устраняется, если всиомнить, что статья произвела необычайное впечатленіе, какъ первый опыть ввести исторію самой культуры нашего общества въ оцфику литературныхъ иеріодовъ. Нужно ли говорить, какъ она была принята молодыми умами въ Петербургъ, сберегавшими себя отъ заговора противъ литературы, устроивавшагося передъ ихъ глазами? Для нихъ она упраздняла множество убъжденій и представленій, вынесенныхъ изъ школы. Протестующій характеръ статьи въ этомъ отношеніи былъ очень ясенъ не только для тъхъ корифеевъ партіи «Библіотеки для Чтенія», о которыхъ мы говорили, но и людямъ соглашавшимся со многими изъ ея положеній, по не любившимъ видіть безцеремонное колебаніе преданій, да еще па основаніи чужихъ философскихъ системъ. Таковы были Пушкинъ и Гоголь. И тотъ, и другой были оценены весьма благосклонно критикомъ, но сохраняли о иемъ почти всю жизнь упорпое молчаніе. Первый, но свидётельству самого Бёлинскаго, только посылаль къ нему тайно книжки своего «Современника», да говориль иро него: «Этотъ чудакъ почему-то очень меня любитъ» 1). Суждение второго мы сами слышали: «Голова не дюжипная, но у пея всегда чёмъ вёрнёе первая мысль, тёмъ нелёпёе вторая». Замъчаніе касалось выводовь, добываемыхъ Бълинскимъ изъ своихъ эстетическихъ и философскихъ основаній и о приложеніи этихъ выводовъ прямо и непосредственно къ лицамъ и фактамъ русскаго происхожденія, хотя тотъ же Гоголь указываль поздиве на статьи Бълинскаго о его собственной, Гоголевской деятельности, какъ на образцовыя, по своей неотразимой истинъ и мастерскому изложенію.

Итакъ, въ Петербургъ первая статья Бълинскаго и всъ, слъдовавнія за ней, нашли отголосокъ всего болье въ тъхъ молодыхъ учителяхъ русскаго языка и словесности, которые созывались для казенныхъ замкнутыхъ училищъ и корпусовъ, разроставшихся, но

¹⁾ Пушкинъ прибавляль, по тому же свидътельству, секретно и еще замъчаніе, что у Бълинскаго есть чему поучиться и тьмь, кто его ругаеть.

принятой системъ, все болъе и болъе, въ исключительныя заведенія для воспитанія всего благороднаго русскаго юношества цъликомъ. Не то, чтобы статья «Молвы» сразу упразднила оффиціальную науку о литературф: последняя держалась долго, красовалась еще на экзаменахъ вилоть до преобразованія закрытыхъ школъ и корнусовъ, но, благодаря молодымъ учителямъ этихъ заведеній, а за ними и большей части нашихъ гимназій, образовалась, съ появленія статей Бълинскаго, б-бокъ съ утвержденной программой пренодаванія русской словесности, другая, невидная струя преподаванія, вся вытекавшая изъ определеній и созерцанія новаго критика и постоянно смывавшая въ молодыхъ умахъ все, что заносилось въ нихъ схоластикой, педантизмомъ, рутиной, стародавними преданіями и благонамфренной прикрасой. Растительное действие этой невидимой струи увеличивалось вифстф съ дальнфишимъ развитіемъ критика, съ котораго, можно сказать, персональ учителей и молодых влюдей вообще той эпохи пе спускалъ глазъ, и, такимъ образомъ, имя Бълинскаго было уже очень громко въ средъ нарождающагося поколънія, въ школахъ и аудиторіяхъ, когда оно еще не признавалось въ литературныхъ партіяхъ, не въдалось добросовъстно или ухищренно одними, возбуждало презрительные отзывы другихъ и не обращало никакого вниманія даже самихъ чуткихъ стражей русскаго просвівщенія. Работа Бълинскаго и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеаловъ нравственности и высокаго, философскаго разръшенія задачь жизни, — эта работа не умолкала, покуда самъ онъ числился скромно въ рядахъ русскихъ второстепенныхъ подцензурныхъ писателей и журнальныхъ сотрудниковъ. Для тогдашняго цензурнаго въдомства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы журналовъ-Сенковскій, Гречь, Булгаринъ, за исключеніемъ Пушкина и Гоголя, слишкомъ уже ярко выстунавшихъ впередъ. Чрезвычайнымъ счастіемъ должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала въ Вфлинскомъ на первыхъ порахъ моралиста, который, подъ предлогомъ разбора русскихъ сочиненій, занять единственно исканіемь основь для трезваго мышленія, способнаго устроить разумнымъ образомъ личное и общественное существованіе. Впоследствіи она распознала въ немъ вліятельнаго писателя и всемърно старалась не допускать примънение его идей къ историческимъ лицамъ и современности, но и при этомъ способъ нопиманія діятельности Бізлинскаго она отчасти все-таки продолжала считать его, съ голоса «Сфверной Пчелы», за человъка, производящаго преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая можеть быть тернима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тъмъ болье, чъмъ сильнъе и подробиве высказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохраненіемъ нѣ-которыхъ существенныхъ положеній и мыслей у Бѣлинскаго, которыя пробирались па свѣтъ подъ именемъ чудовищностей и нелѣ-постей. Это же обстоятельство поясняетъ многое въ послѣдующихъ явленіяхъ общественной жизни нашей, которыя безъ того могутъ показаться странными, пежданными и пегаданными сюрпризами.

II.

Я сошелся съ Бёлинскимъ въ первый разъ у А. А. Комарова, преиодавателя русской словесности во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ. Комаровъ занималъ и квартиру въ зданіяхъ корпуса.
Прівздъ Бълинскаго въ Петербургъ имѣлъ особенное значе-

ніе, какъ уже было сказано, для небольшого круга тогдашнихъ молодыхъ людей, которые въ литературномъ тріумвирать О. И. Сен-ковскаго, Н. И. Греча и Ө. В. Булгарина, выросшемъ на благо-датной иочвъ Смирдинскихъ капиталовъ, въ конецъ ими истощениыхъ,—видъли какъ-бы олицетворение затаеннаго ирезрѣния къ дѣ-лу образования на Руси, образецъ хитрой, разсчетливой, но ограпиченной практической мудрости, а наконець — ловко устроенный иланъ надувательства благонамъренностью и натріотизмомъ тъхъ лицъ, которыхъ нельзя было надуть другимъ нутемъ. Надо сказать, что это дъло въ три руки производилось съ замъчательнымъ искусствомъ. Неистощимое, часто дъльное и почти всегда ъдкое остроуміе Сенковскаго, глумившагося надъ русской «quasi»-наукой, старалось, вижсть съ тымъ, удалить всякую серьёзную попытку къ самостоятельному труду и отравить насижшкой источники, къ которымъ трудъ этотъ могъ бы обратиться. Гречъ распространялся о развратъ умовъ и совъстей въ Европъ, умиляясь зрълищемъ здороваго нравственнаго состоянія, въ какомъ находилась наша родина, а товарищъ его безирестанно указывалъ на тв тонкія струи яда и отравы, которыя, несмотря на усилія тріумвирата, все-таки пробираются къ намъ изъ чужбины и извращають сужденія публики о русскихъ писателяхъ и русскихъ дъятеляхъ вообще. Замъчательно, что эти великіе мужи петербургской журналистики тридцатыхъ годовъ иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочемъ, до явнаго разрыва, но ссорились изъ-за права протекции надъ писателями, которую каждый хотёль имёть въ своихъ рукахъ исключительно. Протекція сдівлалась основными критическими мотивоми, направлявшими оцінку лици и произведеній. Протекція раздавала мвста такъ же точно въ литературъ, какъ и въ администраціи:

она производила въ чины и званія талантовъ людей, какъ гг. Масальскаго, Степанова, Тимоосева и др., и даже нѣсколько разъ жаловала просто въ геніи, какъ, напримъръ, Кукольника и «барона Брамбеуса». Нынъшнему времени трудно и понять ту степень негодованія, какую возбуждали брганы этой самозванной опеки надъ литературою въ людяхъ, желавшихъ сохранить, по крайней мъръ, за этимъ отдъломъ общественной дъятельности нъкоторый призракъ свободы и человъческаго достоинства. При отсутствии общественныхъ и политическихъ интересовъ, бороться съ тріумвиратомъ становилось почти деломъ чести; по хорошему или дурному отношенію къ тріумвирату, стали узнавать въ некоторыхъ кругахъ молодеживпрочемъ, очень немногочисленныхъ — нравственныя качества людей. Вражда къ тріумвирату еще усилилась, когда оказались практическія следствія распоряженія, состоявшагося около того же времени, вовсе не допускать соперничества журналовъ и терпъть одни уже существующія изданія, что приравняло органы тріумвиратовъ къ нынъшнимъ концессіямъ жельзныхъ дорогъ, съ гарантіей правительства. Прівздъ Ввлинскаго быль, какъ сказано, особенно важенъ темъ, что возвещалъ новую попытку бороться съ литературными концессіонерами, посл'я трехъ неудачныхъ попытокъ: двухъ въ Москвъ, предиринятыхъ сперва «Телескопомъ», а затъмъ «Московскимъ Наблюдателемъ», — журналомъ, даже и основаннымъ именно съ этою цёлью, въ 1835 году ¹). Третья, въ Петербургѣ, взята была на себя «Современникомъ» Пушкина — и тоже безуспѣшно. Съ новымъ правиломъ о журналахъ, казалось, всѣ походы противъ откупщиковъ общественнаго мнёнія должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднъйшее распоряжение относительно раскольниковъ, которымъ дозволялось сохранять свои старыя часовни и молельни съ строгимъ запрещениемъ воздвигать новыя около нихъ, но разнилось отъ него тъмъ, что тогдашнее цензурное въдомство признало возможнымъ допустить оффиціальное подновленіе старыхъ литературныхъ часовень, чего раскольники не могли дълать съ своими иначе, какъ тайно или съ подкупомъ. Въ это время А. А. Краевскій, тогда еще сравнительно молодой челов'вкъ, усильно добивался возможности очистить себъ мъсто въ ряду журнальныхъ концессіонеровъ эпохи, и это — надо сказать правду не по одному ясному матеріальному разсчету, но и по нравственнымъ побужденіямъ: противопоставить злой вооруженной силѣ дру-

¹⁾ Для поддержанія этого изданія, Гоголь приняль на себя роль пропагандиста и собпраль подписки со всёхь своихь знакомыхь въ Петербургѣ — и, прибавимъ чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый изъ насъ должень быль имѣть своего "Наблюдателя".

гую, тоже вооруженную силу, но съ иными основаніями и целями. Онъ принялся искать редакторского кресла для себя по всемъ сторонамъ и притомъ съ выдержкой, упорствомъ и твердостью, дъйствительно замъчательными, плодомъ которыхъ было появление сперва «Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду», подъ его редакціей (дипломъ на издательство пріобретень быль тогда известнымъ Плюшаромъ у довольно мелочного, хитраго и скупого старика Воейкова), въ которыхъ, какъ изв'естно, участвовалъ и Бълинскій. Затімь, въ 1838 году, А. А. Краевскій открыль и перекупиль право на возобновление «Отечественныхъ Записокъ», у извъстнаго П. Свиньина, прямо уже отъ своего имени, и, по сдълкъ съ нимъ, не покидая еще «Прибавленій», объявилъ о выходъ своего старо-новаго журнала, сдълавшагося вскоръ настоящей его собственностью. Кличъ, который онъ тогда кликнулъ, съ одобренія самыхъ почетныхъ лицъ петербургского литературного міра, ко всёмъ, еще не подпавшимъ подъ позорное иго журнальныхъ феодаловъ, отличался и очень върнымъ разсчетомъ, и признаками полной искренности и благонамъренности. «Если и эта новая понытка, -говорилъ повый издатель своимъ сторонникамъ-противопоставить оплоть Смирдинской кликв не удастся, то всвив намъ останется только сложить руки и провозгласить ея торжество».

Въдный А. Ф. Смирдинъ и не воображалъ, что дастъ свое имя для обозначенія очень неблаговиднаго литературнаго періода. Честный, добрый, простодушный, но безъ всякаго образованія, онъ соблазнился, получивъ неожиданно довольно большое состояние отъ книгопродавца Плавильщикова, ролью двигателя современной литературы и просвъщенія. Кажется, самый этотъ капризъ быль еще подсказанъ ему петербургскими журналистами, которые и завладъли честолюбивымъ торговцемъ для своихъ целей. Меценатъ-книгопродавецъ, подавленный ихъ авторитетомъ, смотрълъ на весь міръ ихъ глазами, расточалъ деньги по ихъ совътамъ и говорилъ на своемъ купеческо-приказчичьемъ языкъ про всякое пачинаніе, про всякій талантъ, пеискавтій покровительства тріумвиратовъ: «это наши недоброжелатели-съ!» А что двлали съ нимъ его доброжелатели, усивыше потомъ разорить и еще одного такого же импровизированнаго двигателя русскаго просвъщенія, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедического Словаря» — почти неимовърно. Я самъ слышаль изъ устъ Смирдина, уже въ эпоху его бъдности и печальной старости, разсказъ, какъ, по совъту Булгарипа, онъ предприняль изданіе, кажется, «Живописнаго Путешествія по Россіи», тексть котораго долженъ былъ составить авторъ «Выжигина», взявшійся также и за заказъ гравюръ въ Лондонъ. Въ этомъ смыслъ заключенъ быль формальный контрактъ между ними, причемъ Смирдинъ назначалъ 30 тысячъ рублей на преднріятіе. Долго ждали картинокъ, но, когда онѣ пришли, Смирдинъ съ ужасомъ увидѣлъ, что онѣ состоятъ изъ плохихъ гравюръ, иснолненныхъ въ Лейицигѣ, а не въ Лондонѣ. На горькія жалобы Смирдина въ нарушеніи контракта, Булгаринъ отвѣчалъ, что никакого нарушенія тутъ нѣтъ, потому что въ контрактѣ стойтъ просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавецъ попался въ нее. Когда Смирдинъ разсказывалъ мнѣ этотъ пассажъ, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голосъ задрожалъ: «Я напишу свои записки, я напишу «Записки кпигопродавца!» — бормоталъ онъ.

Вызывающее действие того новаго клича собрало подъ знамя обновленнаго журнала много старыхъ и молодыхъ силъ, державшихся въ сторонѣ отъ литературы, какъ то доказалъ первый, гро-мадный пумеръ «Отеч. Записокъ» (1839 года), исполненный замъчательными, по времени, статьями; всв онъ принадлежали перу и начинающихъ, и заслуженныхъ нашихъ нисателей. Въдные и богатые принялись работать на журналь г. Краевскаго, почти безъ вознагражденія или за ничтожное вознагражденіе, доставляя только издателю средства бороться съ капиталистами, заправлявшими дълами литературы, что продолжалось нъсколько долже, чъмъ бы следовало, какъ вноследствии думали иные; но это относится къ предположениямъ, которыя такъ и должны остаться предположениями, и о которыхъ ничего другого сказать нельзя. Любопытенъ однако анекдотъ, ходившій тогда по городу: Ө. В. Булгаринъ, по чувству самосохраненія, скоро угадаль новую силу, являющуюся на журнальномъ понрищъ съ «Отечественными Записками», и опасность, которая грозить авторитетамь колоновожатыхь печати, если она рышительно обратится противъ нихъ. При встрвчв съ редакторомъ новаго журнала, Ө. В. Булгаринъ предлагалъ ему просто-за-просто присоединиться къ союзу журнальныхъ магнатовъ и сообща съ ними управлять делами литературы. Предложение было, конечно, устранено собесъдникомъ.

Возвращаясь къ дълу, слъдуетъ замътить, что послъдующіе нумера журнала представляли, какъ и первый нумеръ его, опять много прекрасныхъ стихотвореній, дъльныхъ статей и даже умныхъ критикъ, но не обнаруживали въ редакціи ничего похожаго на опредъленныя начала, на литературныя убъжденія и тенденціи, которыя однимъ искусствомъ въ веденіи журпальнаго дъла, въ собираніи людей около себя, однимъ трудолюбіемъ и даже упорною ненавистью къ врагамъ еще не могутъ быть замънены съ успъхомъ.

Въ Петербургѣ оказался съ «Отечественими Записками» велико-лѣпний складъ для ученыхъ и беллетристическихъ статей, но не оказалось ученія и доктрины, которыхъ можно было бы противо-ноставить развратной проповѣди руководителей «Библіотеки для Чтенія» и «Сѣверной Пчелы». Приходилось оглянуться на Москву, которая дѣйствительно была тогда средоточіемъ нарождавшихся силъ и талантовъ, сильно работала надъ философскими системами, донскивалсь именно принципост, и не боялась ни рѣзкаго поле-мическаго языка, ни даже отвлеченнаго, туманнаго склада рѣчи, лишь бы виразить виолнѣ свою мысль и нажитое убѣжденіе. Раз-сказываютъ, что при имени Бѣлинскаго, предложеннаго И. И. Па-наевымъ, г. Краевскій не узналъ въ немъ того человѣка, который долженъ былъ положить основаніе его общественному значенію 1). Обстоятельства принудили его все-таки обратиться къ Бѣлинскому, но когда критикъ пашъ, послѣ предварительныхъ переговоровъ, весьма облегченныхъ тѣмъ, что, покинувъ «Московскій Наблюдатель» 1838 года, Впссаріонъ Григорьевичъ не пиѣлъ уже органа для своей дѣятельности и средствъ для существованія, когда, говорниъ, критикъ явился въ Петербургъ въ 1839 году на постоянное жи-тельство и сотрудничество по журналу г. Краевскаго, общее пред-чувствіе въ кругѣ противниковъ петербургскаго направленія было, что вмѣстѣ съ нимъ явилась на сцену и живая мысль, и доста-точно сильная рука, чтобъ подорвать или по крайней мѣрѣ осла-бить, наконецъ, союзъ литературныхъ промышленниковъ, въ сущ-ности презиравшихъ русское общество со всѣми его стремленіями, надеждами и съ его претензіями на устройство своей духовной надеждами и съ его претензіями на устройство своей духовной жизни.

III.

Подъ внечатльніемъ страстнаго тона философскихъ статей Бълинскаго и особенно пыла его полемики, позволительно было представлять его себъ человъкомъ исключительныхъ мивній, не терпящимъ возраженій и любящимъ господствовать надъ бесьдой и собесъдниками. Признаюсь, я быль удивленъ, когда на вечеръ А. А. Комарова мив указали подъ именемъ Бълинскаго на господина небольшого роста, сутуловатаго, со вналой грудью и довольно большими, задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и какъто сразу, по-товарищески, отвъчалъ па привътствія новыхъ знакомящихся съ пниъ людей. Разумьется, я уже не встрътилъ пи ма-

^{1) &}quot;Литературныя Воспоминанія" П. Панаева. "Современникъ", 1861, февраль.

лъйшаго признака внушительности, позированія и диктаторскихъ замашекъ, какихъ опасался, а, напротивъ, можно было подмѣтить у Вѣлинскаго признаки робости и застѣнчивости, не допускавшіе, однакожъ, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошенныхъ услугахъ какого-либо торопливаго доброжелателя. Видно было, что подъ этой оболочкой живетъ гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще, пеловкость Бълинскаго, спутанныя ръчи и замъшательство при встръчъ съ незнакомыми людьми, надъ чёмъ онъ самъ такъ много смёялся, имѣли, какъ вообще и вся его персона, много выразительнаго и внушающаго: за ними постоянно свътился его благородный, цъльный, независимый характеръ. Мы наслышались объ увлеченіяхъ и порывахъ Бълипскаго, но никакихъ порывовъ и увлеченій, въ этотъ первый вечеръ моего знакомства съ нимъ, однакожъ, не произошло. Онъ былъ тихъ, сосредоточенъ и — что особенно поразило меня былъ грустенъ. Йовъряя теперь тогдашнія впечатлънія этой встръчи всвиъ, что было узнано и разследовано впоследствии, могу сказать, съ полнымъ убъжденіемъ, что на всёхъ мысляхъ и разговорахъ Бълинскаго лежалъ еще оттънокъ того философско-романтическаго настроенія, которому онъ подчинился съ 1835 года, и которому безпрерывно слъдовалъ въ теченіи четырехъ лътъ, несмотря на то, что смънилъ Шеллинга на Гегеля въ 1836—37 году, распрощался съ иллюзіями относительно своеобычной красоты старорусскаго и вообще простого, непосредственнаго быта, и перешель къ обожанію «разума въ дъйствительности». Онъ переживалъ теперь послъдніе дни этого философско-романтическаго настроенія. Въ тотъ же описываемый вечеръ зашель разговорь о какой-то шутовской рукописной повъсти, на манеръ Гофмана, сочиненной для потъхи, сообща, нъсколькими лицами, на сходкахъ своихъ, ради время-убіенія: «Да», сказалъ серьёзно Бѣлинскій, «но Гофманъ — великое имя. Я ни-какъ не понимаю, отчего доселѣ Европа не ставитъ Гофмана рядомъ съ Шекспиромъ и Гёте: это — писатели одинаковой силы и одного разряда».

Положеніе это и другія, ему подобныя, Бълинскій упаслъдоваль и сберегаль еще отъ эпохи Шеллинговскаго созерцанія, по которому, какъ извъстно, внъшпій міръ былъ причастникомъ великихъ эволюцій абсолютной идеи, выражая каждымъ своимъ явленіемъ минуту и ступень ея развитія. Оттого фантастическій элементъ Гофмановскихъ разсказовъ казался Бълинскому частицей откровенія или разоблаченія этой всетворящей абсолютной идеи и имълъ для него такую же реальность, какъ, напримъръ, върное изображеніе характера, или передача любого жизненнаго случая. Въ описываемую

эпоху онъ уже принадлежаль всецьло Гегелю и вполнъ усвоиль идеалистическій способъ пояснять себъ явленія окружающей жизни, людей и событія, что сообщало посльднимь почти всегда въ его устахъ какой-то грандіозный характерь, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелкихъ практическихъ изъясненій какого-либо факта и вопроса, мало-мальски выходящихъ изъ обыкновеннаго порядка дъль, онъ вообще не любилъ и только по особенному настроепію, принятому на себя преднамъренно въ Петербургъ — еще принуждаль себя выслушивать ихъ. Конечно, уже не было у него прежней еще недавней, восторженной проповъди о «великихъ тайпахъ жизни», безг предчувствія и разгадки которыхъ, существованіе человъка сдълалось бы, какъ онъ говорилъ, не только безцвътнымъ, но положительно величайшимъ быдствіемъ, какое только можно было бы придумать для земнорожденныхъ, но все-таки нашъ русскій міръ, наша современность, даже нъкоторыя подробности жизни отражались не пначе въ его умъ, какъ въ многозначительныхъ образахъ, въ широкихъ обобщеніяхъ, поражавшихъ и увлекавшихъ новыхъ его слушателей. Вообще корни всъхъ старыхъ, уже пройденныхъ имъ ученій и созерцаній еще жили въ немъ, по прівздъ въ Петербургъ, тайной жизнію и при всякомъ случать готовы были пустить ростки и отпрыски и дъйствительно по временамъ оживали и цвъли полнымъ цвътомъ, что составляло, посреди занятаго петербургскаго круга пріятелей Вълинскаго, величайшую его оригинальность и вмъстт неодолимую притягнвающую силу.

Замвчательнымъ и волнующимъ явленіемъ того времени были посмертныя сочиненія Пушкина, которыя постепенно обнародывалъ «Современникъ» 1838 — 39 гг., перешедшій въ руки П. А. Плетнева. Опи — эти чудныя сочиненія — находили въ Бёлинскомъ такого, можно сказать, энтузіаста и ціпителя, какой еще и не выпадаль на долю нашего великаго поэта. Это уже быль не тотъ Білинскій, который года за два передъ тімъ и еще при жизни Пушкина считаль дівтельность его завершенной окончательно и въ посліднихъ произведеніяхъ его хотя и распознаваль еще печать геніальности, но заявляль, что они все-таки ниже того, что можно было бы ожидать оть его пера. Теперь это было поклоненіе безусловное, почти паденіе въ прахъ предъ святыней открывающейся поэзіи и передъ вызвавшимъ ее художникомъ. Особенио «Каменный Гость» Пушкина произвель на Білинскаго впечатлівніе подавляющее. Онъ объявиль его произведеніемъ всемірнымъ и колоссальности неизмітримой. Когда, однажды, мы просили его разъяснить, въ чемъ заключается міровое значеніе этого созданія и что онъ еще находить въ немъ, кроміт изящества образовъ, поэтичности характеровъ

и удивительной простоты въ веденіи очень глубокой драмы, Бълинскій принялся за развитіе той мысли, что все это составляеть только вившнее отличіе произведенія, а подземные ключи, которые подъ нимъ бъгутъ, еще важнъе всъмъ видимой и осязаемой его красоты. Онъ принялся за разследование этихъ живыхъ источниковъ, но на первыхъ же положеніяхъ остановился и сконфуженно проговорилъ: «Вотъ этакъ со мной всегда случается: примусь за дёло, занесусь Богъ знаетъ куда, да и опътусь; не знаю, какъ выразить мою мысль, которая, однакожь, для меня совершенно ясна». Онъ махнуль рукой и отошель въ сторону съ какимъ-то болъзненнымъ выраженіемъ лица. Видимо, что въ драмъ Пушкина заключено было для него повое откровение одной изъ «тайнг жизни», передача одной изъ «субстанцій», какъ тогда говорили, человъческаго духа, но онъ не могъ или не хотель разъяснять ихъ передъ кружкомъ, мало приготовленнымъ къ пониманію отвлеченностей и не отличавшимся наклонностію къ «философированію».

Со второй или третьей встръчи, однако же, обнаружилась у Бълинскаго та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собесёдниковъ (что нъсколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда съ какой-то незлобивой, почти ласковой насмешкой, съ легкой проніей надъ самимъ собой и надъ окружающими. Совствъ ттиъ, сквозь тогдашиюю веселость Бълинскаго пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Онъ былъ печаленъ и не случайно, а какъ-то глубоко, задушевно. Не нужно было быть ни особенно зоркимъ наблюдателемъ, ни особенно искуснымъ испхологомъ, чтобы открыть эту черту: она бросалась въ глаза сама собою. И немудрено было ей оказаться: Бѣлинскій переживаль страданія своего разрыва съ московскими друзьями, только-что обнаружившагося передъ его отъвздомъ изъ Москвы, и долженъ былъ чувствовать сильнъе горечь этого обстоятельства теперь, въ чужомъ, незнакомомъ и непривътливомъ городъ, куда былъ занесенъ.

Очень несправедливо думали и думають еще теперь, что Бфлинскому было ни иочемъ разставаться съ людьми и мѣпять свои отношенія къ нимъ на основаніи различія убѣжденій. Многіе тогда говорили и чуть не печатали, что онъ находилъ даже въ томъ выгоду, ибо всякій такой поворотъ открывалъ истокъ его жолчи, злобнымъ инстинктамъ, наклопности къ ругательству и оскорбленію, которыя иначе задушили бы его! Могу сказать наоборотъ, что рѣдко встрѣчалъ я людей, которые бы болѣе страдали, будучи принуждены, вслѣдствіе неотстранимаго логическаго и діалектическаго развитія своихъ принциповъ, удаляться въ другую сторону отъ прежнихъ еди-

номышленниковъ. Онъ долго мучился, какъ потерей стараго созерцанія, такъ и потерей старыхъ собесѣдниковъ, и только убѣжденный въ закоиности поворота, имъ сдѣланнаго, освобождался отъ всѣхъ тревогъ и иріобрѣталъ новое качество, именно гнѣвъ и негодованіе противъ тѣхъ, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка — критически отнестись къ составнымъ частямъ московскаго интеллектуальнаго кружка и подвергнуть его анализу, за которымъ должно было послъдовать отдъление различныхъ элементовъ, его составлявшихъ, положена, какъ извъстно, Бълинскимъ въ стать в подъ заглавісмъ: «О критик и литературныхъ мивніяхъ «Московскаго Наблюдателя», помъщенной въ «Телескопъ», 1836 года... Статья эта въ полемическомъ смыслѣ принадлежитъ къ мастерскимъ вещамъ автора и по яркости красокъ и резкой очевидпости доводовъ пе утеряла, кажется намъ, относительной занимательности и донынъ. Вся она обращена была нротивъ главнаго критика «Московскаго Наблюдателя» С. П. Шевырева, у котораго онъ спрашивалъ, чему опъ въруетъ, какіе законы творчества и основныя философско-эстетическія или эоическія идеи исновъдуетъ, -разоблачая при этомъ его дилеттантскія отношенія ко всёмъ художественнымъ теоріямъ, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправданія личныхъ своихъ вкусовъ, для потворства немногимъ избранникамъ изъ своихъ близкихъ знакомыхъ и для указанія обществу цёлей въ мёру случайныхъ и мимолетныхъ своихъ ощущеній. Особенно возставаль Вълинскій противъ мнёній критика о важности свътскаго и свътско-дамскаго элемента въ литературѣ, которые могли, будто бы, возвысить ея тонъ и благородне устроить жизнь самихъ авторовъ: «Художественный и совьтскій», — отвъчаль Вълинскій, «не суть слова однозначащія, такъ же какъ дворяшинъ и благородный человъкъ... Художественность доступна для людей вевхъ сословій, вевхъ состояній, если у нихъ есть умъ и чувство; свътскость есть принадлежность касты... Свътскость еще сходится съ образованностью, которая состонть въ знаніп всего но-немногу, но никогда не сойдется съ наукою и творчествомъ» и т. д. Статья эта вообще была одна изъ тъхъ, которыми обыкновенно иорываются старые связи и союзы, и отыскиваются новые. Для насъ въ ней особенно важны ея грустпыя заключительныя строки: «Всего досаднье, что у насъ не умъють еще отдълять человъка отъ его мысли, не могутъ новърнть, чтобъ можно было терять свое время, убивать здоровье и наживать себь врагова изъ привязанности къ какому-нибудь задушевному мивнію, изъ любви къ какой-пибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого!» Онъ доканчивалъ мысль восклицаніемъ: «Но если мысли и убъжденія доступны вамъ, идите впередъ и да не совратятъ васъ съ пути ни разсчеты эгоизма, ни отношенія личныя и житейскія, ни боязнь непріязни людской, ни обольщенія ихъ коварной дружбы, стремящейся въ-замънъ своихъ ничтожныхъ даровъ лишить васъ лучшаго вашего сокровища — независимости мнѣнія и чистой любви къ истинѣ!»

Или мы сильно ошибаемся, или въ этомъ торжественномъ тонъ ясно слышится глубокій, искренній вопль души, наканунт потери нткоторыхъ изъ ея симпатій и убъжденій. Слова Бтлинскаго содержать еще и пророчество. Предчувствіе не обмануло Бтлинскаго. Разрывъ съ журналистомъ и его партіей не напрасно казался сму отважнымъ дтломъ: съ той минуты и до нынтышей включительно, Бтлинскому составлена была въ извтстныхъ кругахъ репутація дикаго ругателя всего почтеннаго и достойнаго на русской почвт, и попытки удержать за нимъ эту репутацію въ потомствт возобновляются еще отъ времени до времени и на нашихъ глазахъ.

Одновременно съ этой статьей, давшей сильный толчокъ къ разрушенію мирно процвътавшей общины друзей науки и просвъщенія, было еще множество и другихъ случаевъ, при которыхъ Бълинскій открыто искаль боя и враговъ. Такъ, онъ не задумался назвать и «Современникъ» Пушкина, со второй его книжки, «Петербургскимъ Московскимъ Наблюдателемъ по паправленію, замътивъ въ немъ (справедливо или нѣтъ, — это другой вопросъ) поползновение искать себъ читателей и судей въ одномъ, исключительно свътскомъ кругъ. Помнимъ, что эта полемика съ «Современникомъ» произвела въ то время почти столько же шума и негодованія, какъ и зам'ятка его, нъсколько прежде сдъланная и изъ другого круга представленій. Въ статъв «О повъстяхъ Гоголя», именно, онъ проводилъ мысль, даже и не имъ первымъ высказанную, что всв древнія и новыя эпическія поэмы, выкроенныя по образцу «Иліады», какъ-то «Энеида», «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай», «Россіада» и проч., замѣняя живыя, неноддѣльныя народныя преданія и представленія другими, хитро придуманными на ихъ манеръ, принадлежатъ къ фальшивому роду произведеній. Ужась всего стараго педагогическаго міра нашего, видівшаго въ этой заміткі образець непростительного невъжества и ересь, превышающую воображение, былъ невыразимъ. Такъ, критикъ нашъ плодилъ вокругъ себя враговъ со всвуъ сторонъ, число которыхъ увеличивалось почти съ каждой новой его замъткой о старыхъ нашихъ писателяхъ, несходной съ традиціоннымъ ихъ пониманіемъ. Корыстный представитель этихъ педовольныхъ, Булгаринъ, говорилъ въ «Сѣверной Пчелѣ», что при способъ сужденія, обнаруженномъ Бѣлинскимъ, ему нипочемъ доказать какое угодно положеніе, хоть слѣдующее: «измпна—дпло не худое и даже похвальное», и по пунктамь, имѣвшимь тогда почти уголовный характерь, упрекаль критика, оппраясь на его сужденія о Державинь, Карамзинь, Жуковскомь и Батюшковь, въ тѣхъ же чувствахь, какія питають къ Россіи «завистливые пиостранцы, ренегаты, безбородые юноши и проч.». Воть какъ поставлень быль литературный спорь съ перваго же раза и велся отчасти въ этомъ смысль, конечно, съ меньшей паглостью, даже и людьми, нисколько не похожими на Булгарина съ братіей.

Теперь дёло стало еще серьёзнёе, потому что Вёлинскій совершиль разрывь съ тёмь кругомь людей, которому принадлежаль всецёло, съ тёми немногими, мыслію которыхь дорожиль, и удаленіе оть которыхь грозило ему дёйствительнымь одиночествомь на свётё.

Что же произошло между ними?

Оставляя въ сторонъ житейскія размольки съ друзьями, о которыхъ имъемъ и особенно тогда имъли очень смутное, пеполное представленіе, обращаюсь къ разноголосицѣ ихъ въ области мысли. Когда Бѣлинскій напечаталь въ томъ же 1839 году, въ журналѣ г. Краевскаго, еще не будучи его признаннымъ постояннымъ сотрудникомъ, двѣ свои статьи—рецензію на книгу Ө. Н. Глипки «Очерки боро-динскаго сраженія» и библіографическій отчеть о «Бородинской годовщинъ » Жуковскаго, — ему казалось, что онъ выводилъ только логически-правильныя заключенія изъ основаній Гегеля и непогръшительно прилагаль ихъ къ живому факту, къ дъйствительности. Надо сказать, что, съ первыхъ же попытокъ Белинскаго къ опредвленію значенія дыйствительности въ жизни народовъ и лиць, онъ встрътиль уже противорфчіе у многихъ изъ своихъ друзей, которые не желали уступать свое право - быть настоящими и несмѣняемыми судьями всякой дѣйствительности. Но разгорѣвшійся сноръ этотъ выросъ до разрыва связей только въ 1839 г. Лътомъ этого года, какъ извъстно, Москва, а съ ней и Россія праздновали великое патріотическое торжество—открытіе памятника на Бородинскомъ полѣ. Одушевленіе было общее и понятное. Лѣтомъ 1839 г., я случайно находился въ Москвъ и смотрълъ изъ окна одного родственнаго мнъ дома противъ Кремля на великолънный крестный ственнаго мнъ дома противъ Кремля на великолънный крестный ходъ, огибавшій Кремлевскія стѣны, въ замкъ котораго ктъ миттрополить Филареть, сопровождаемый самимъ императ котъ Николаемъ Павловичемъ верхомъ. Это было кануномъ, кък сказать торжественнаго открытія Бородинскаго памятника въ загуста того же года. Горячихъ толковъ и патріотическаго одужвиенія и теперь уже возникало много, но я, тогда еще незнакомый пи въ загуста какъ натрима личностей описываемаго круга, не могъ и предчувствать какъ сильно будутъ меня занимать впоследствии отголоски этого событія. Бълинскій вздумаль воснользоваться открытіемъ Бородинскаго памятника, чтобы подтвердить имъ мудрость гегелевскаго афоризма о тождествъ дъйствительности съ истиной и разумностью, и разобрать всю плодотворную сущность этого положенія. Но съ первой же статьи оказалось, что излишиее обобщение правила можеть повести къ необычайнымъ выводамъ, къ ръзкимъ, чудовищнымъ заблужденіямъ. Напрасно друзья Бълинскаго представляли ему всъ опасности прямого, непосредственнаго приложенія его идеи къ русскому міру, — Бълинскій, пикогда не знавшій сдълокъ, уступокъ, добровольныхъ умолчаній, еще болье укрыплялся ихъ сомныніями. Надо было или бросить всю теорію, или оставаться ей в'врнымъ до конца. Ему ноказалось даже, что наступила именно та минута, о которой онъ говориль прежде, когда для спасенія своей мысли и совъсти слъдуеть рышиться на откровенный разрывь съ самыми близкими людьми. Покойный Г. разсказываеть въ своихъ извъстныхъ запискахъ, что передъ отъёздомъ Бёлинскаго изъ Москвы произошелъ между ними споръ, за которымъ последовало охлаждение между друзьями, длившееся, вирочемъ, педолго, всего годъ, и кончившееся полнымъ примиреніемъ ихъ, такъ какъ первая причина ссоры — сліное прославленіе дъйствительности — признано было самимъ его исповъдникомъ, Вълинскимъ, философской и жизненной ошибкой. Онисание снора у Г. очень любопытно: оно показываеть первыя бури, возникшія у насъ оть столкновенія системъ и отвлеченностей съ явленіями реальнаго характера. Г. добавляль еще свое описаніе изустно слідующей подробностію. Когда черезъ годъ посл'в перваго столкновенія съ В'влинскимъ Г. явился въ Петербургъ, онъ уже засталъ тамъ Бълинскаго и, разумъется, возобновилъ съ нимъ распрю по поводу новаго ученія. И тогда-то, разсказываль Г., въ жару спора со мной, Бълинскій прибъть къ аргументу, прозвучавшему необычайно дико въ его устахъ: «Пора намъ, братецъ», сказалъ критикъ, «посмирить нашъ бъдный, заносчивый умишко и признаться, что онъ всегда окажется дрянью передъ событіями, гдв двиствують народы съ своими руководителями и воплощенная въ нихъ исторія». По сознанію Г., онъ пришель въ ужась отъ этихъ словъ, тотчась же замолчаль и удалился. Ему ноказалось, что туть совершилось какое-то отречение отъ правъ собственнаго разума, какое-то ненонятное и чудовищное самоубійство. Черезъ два года, по возвращеніи изъ второго своего удаленія въ Новгородъ снова въ Петербургъ (1841 г.), Г. уже не имълъ никакихъ поводовъ препираться съ критикомъ: они были одинаковаго мненія по всемъ вопросамъ.

Бълинскій явился такимъ образомъ въ чуждый ему городъ съ

глубокой раной въ сердцъ; но онъ все еще надъялся персиначить взгляды друзей на свои теорін, высказавъ всю свою мысль по повзгляды друзен на свои теории, высказавь всю свою пысль по поводу спорнаго пункта, ихъ раздѣлявшаго. Въ началѣ 1840 года, онъ явился со статьей «Менцель, критикъ Гёте», въ «Отечественныхъ Запискахъ». Здѣсь, подавляя всей сплой своего презрѣнія мелкіе умы, кропотливо разбирающіе, что имъ правится и что пе правится въ историческихъ явленіяхъ, Бѣлинскій создаетъ особыя права, преимущества, даже особую нравственность для великихъ художниковъ, великихъ законодателей, геніальныхъ людей вообще, которые уполномочиваются изобрётать особыя дороги для себя и вести по нимъ современниковъ и человъчество, не обращая вниманія на ихъ протесты, волпенія, симпатін и антинатін. Белье полной подчиненности въ пользу привилегированныхъ избранциковъ судьбы нельзя было проновъдывать. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много върныхъ замътокъ, сдълавшихся теперь уже общимъ достояпіемъ, какъ, папр., замѣтку о мѣткости и исторической важности непосредственнаго чувства въ пародныхъ массахъ, о родственной связи, существующей всегда между стремленіями великихъ умовъ и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ен основного софистическаго характера, отстрапявшаго вполнъ критическія отношенія къ общественнымъ вопросамъ. Все это продолжалось недолго. Къ осени того же 1840 г. Вълинскій уже вышель изъ чада направленія, грозившаго остановить всю его д'вятельность, съ самаго начала.

У насъ уже мпого было писано объ этой эпохѣ развитія Бѣлинскаго и съ различными цѣлями. Предметъ, однакоже, не внолнѣ уясненъ, потому, можетъ быть, именно, что слишкомъ много запималъ изслѣдователей и раздутъ ими до размѣровъ важнаго психическаго явленія, чему способствовалъ и самъ Бѣлинскій своими послѣдующими объясненіями. Въ сущности это былъ просто безграничный оптимизмъ, которымъ разрѣшалась Гегелева система часто и не на одной только русской почвѣ; она уже и въ другихъ странахъ, какъ въ Пруссін, производила тѣ же результаты, по присущему ей двоесмыслію. Стоило только понять ея опредѣленіе государства, какъ копкретнаго явленія, въ которомъ отдѣльная личность должна найти полное успокоепіе и разрѣшеніе всѣхъ своихъ стремленій,—стоило только, говоримъ, понять это опредѣленіе въ одномъ извѣстномъ, оффиціальномъ смыслѣ, чтобы придти къ обоготворенію всякаго существующаго порядка дѣлъ. Первымъ руководителемъ Бѣлинскаго однакоже на этомъ поприщѣ самообольщенія былъ въ то время не кто иной, какъ нынѣшній *) отрицатель всѣхъ, доселѣ

^{*)} Умершій во время составленія этихъ зам'ятокъ.

извѣстныхъ, формъ правленія, врагъ сложившихся окончательно государствъ, обособившихся національностей, ихъ общественныхъ предапій и вѣрованій — М. Б. Первая ошибка въ діалектической выкладкѣ, о которой говоримъ, и которая имѣла такія послѣдствія для Бѣлинскаго, принадлежитъ ему.

IV.

Есть причины полагать, что годы 1836-37 были тяжелыми годами въ жизни Бълинскаго. Мнъ довольно часто случалось слышать отъ него потомъ намёки о горечи этихъ годовъ его молодости, въ которые онъ переживалъ свои сердечныя страданія и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни онъ никогда не выдаваль, какъ-бы стыдясь своихъ ранъ и ощущеній. Только однажды онъ замътилъ, что ему случалось, какъ нервному ребенку, проплакивать по целымъ ночамъ воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это было не совстви воображаемое, какъ онъ говорилъ. Замъчательно, что эти оба года, исполненные для него жгучихъ волненій и потрясеній, были употреблены имъ вмісті съ тъмъ еще и на занятие философией Гегеля, которая нашла особенно краснорфчиваго проповъдника въ лицъ одного молодого отставного артиллерійскаго офицера, выучившагося скоро и хорошо по-нъмецки и вообще обладавшаго способностію къ быстрому усвоенію языковъ и отвлеченныхъ понятій. Это былъ М. Б. Въ 1835 году онъ не зналь, что делать съ собой и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадавъ его снособности, засадилъ за нъмецкую философію. Работа пошла быстро. В. обнаружилъ въ высшей степени діалектическую способность, которая такъ необходима для сообщенія жизнепнаго вида отвлеченнымъ логическимъ формуламъ и для полученія изъ нихъ выводовъ, приложимыхъ къ жизни. Къ нему обращались за разръшениемъ всякаго темнаго или труднаго мъста въ системъ учителя, и Бълинскій гораздо позднье, т.-е. спустя уже 10 льть (въ 1846 г.), еще говорилъ мнъ, что не встръчалъ человъка болъе В. умъвшаго отстранять, такъ или иначе, всякое сомнъние въ непреложности и благольній всьхь ноложеній системы. Дъйствительно, никто изъ приходящихъ къ Б. не оставался безъ удовлетворенія, иногда согласнаго съ основными тэмами ученія, а иногда просто фиктивнаго, выдуманнаго и импровизированнаго самимъ комментаторомъ, такъ какъ діалектическая его снособность, какъ это часто бываеть съ діалектиками вообще, не стёснялась въ выбор'в средствъ для достиженія своихъ цілей.

Какъ бы то ни было, но только упосніє Гегелевскою фило-софієй съ 1836 года было безмѣрное у молодого кружка́, собрав-шагося въ Москвѣ во имя великаго германскаго учителя, который путемъ логическаго шествія отъ однихъ антиномій къ другимъ раз-рѣшалъ всѣ тайны мірозданія, происхожденіе и исторію всѣхъ явлепій въ жизни, вмъсть со всьми феноменами человьческаго духа и сознанія. Челов'єкь, пезнакомый съ Гегелемь, считался кружкомь почти-что несуществующимь челов'єкомь: отсюда и отчаянныя усилія многихъ, бъдныхъ умственными средствами, попасть въ люди цъною убійственной головоломной работы, лишавшей ихъ послъднихъ признаковъ естественнаго, простого, непосредственнаго чувства и попиманія предметовъ. Кружокъ постоянно сопровождался такими людьми. Бълинскій очень скоро сдълался въ немъ корифеемъ, выслушавъ основныя положенія логики и эстетики Гегеля, преимущественно въ изложеніи и комментаріяхъ Б. Надо замітить, что послідній возвъщаль ихъ, какъ всемірное откровеніе, сдъланное человъчествомъ на-дняхъ, какъ обязательный законъ для мысли людской, которую они исчернывають вполив безъ остатка и безъ возможности какой-либо поправки, дополненія или измѣнепія. Слѣдовало, или нокориться имъ безусловно, или стать къ пимъ спиной, отказываясь отъ свъта и разума. Вълинскій, на первыхъ порахъ, и покорился имъ безусловно, стараясь достичь пдеала безстрастнаго существованія въ «духъ», подавляя въ себъ вст волненія и стремленія своей нравственности и органической природы, безпрестапно надая и приходя въ отчаяніе отъ невозможности устроить себъ внолнъ просвътленную жизнь, по указаніямь учителя.

Дъло, конечно, не обходилось тутъ безъ сильныхъ протестовъ со стороны неофита. Даръ проникать въ сущность философскихъ тезисовъ, даже но одному намеку на нихъ, и потомъ открывать въ нихъ такія стороны, какія не приходили на умъ и спеціалистамъ дъла—этотъ даръ поражалъ въ Бѣлинскомъ многихъ изъ его философствующихъ друзей. Онъ не утерялъ его и тогда, когда, новидимому, предался душой и тѣломъ одному извѣстному толкованію Гегелевской системы. Способность его становиться по временамъ къ ней совершенно оригинальнымъ и независимымъ способомъ и заставила сказать Г., что во всю свою жизнь ему случилось встрѣтить только двухъ лицъ, хорошо понимавшихъ Гегелево ученіе, и оба эти лица не знали ни слова по-пѣмецки. Однимъ изъ нихъ былъ— французъ Прудонъ, а другимъ русскій— Бѣлинскій. Возраженія послѣдняго на пѣкоторые изъ догматовъ системы нпогда удивительно освѣщали ея слабыя, схоластическія стороны, но уже не могли потрясти въры въ нее и высвободить его самого изъ-подъ ея гнета.

Извъстно восклицаніе Бълинскаго, весьма характеристическое, которымъ онъ заявлялъ свое мниніе, что для человика весьма позорно служить только орудіемъ «всемірной идеи», достигающей черезъ него необходимаго для нея самоопределенія. Восклицаніе это можно перевести такъ: «Я не хочу служить только ареной для прогулокъ «абсолютной идеи» по мнв и по вселенной». Опроверженія такого рода, какъ бы мимолетны они ни были, конечно, не могли не раздражать его друга, Б., не лишеннаго, какъ всв проповедники, деспотической черты въ характерв. Впоследствии образовались сильныя размольки, именно вследствіе протестовъ Велинскаго, на которые учитель отвъчаль, съ своей стороны, весьма энергично. Уже въ сороковыхъ годахъ, говоря мнъ объ искусствъ, съ какимъ Б. умълъ бросать тънь на лица, которыхъ заподозръвалъ въ бунтъ противъ себя, Бълинскій прибавилъ: «Онъ и до меня добирался.— Взгляните на этого Кассія», — твердиль онь моимъ пріятелямъ, — «никто не слыхалъ отъ него никогда никакой пъсни, опъ не заномнилъ ни одного мотива, не проронилъ съ роду и случайно никакой ноты. Въ пемъ нетъ внутренней музыки, гармопическихъ сочетаній мысли и души, потребности выразить мягкую, жепственную часть человъческой природы. Вотъ какими закоулками добирался онъ до моей души, чтобы тихомолкомъ украсть ее и унести нодъ своей полой». Оба пріятеля, какъ извъстно, вплоть до 1840 года безпрестапно ссорились и также безпрестапно мирились другъ съ другомъ, но въ лѣто 1836 г. они еще жили безоблачной, задушевной жизпью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда въ геченін 1836 г. Бълинскій, введенный въ семейство Б., нашель тамъ, какъ говорили его знакомые, необычайный привътъ, даже со стороны женскаго молодого его населенія, къ чему онъ никогда не относился равнодушно, убъжденный, что ни одно женское существо не можетъ питать участія къ его мало эффектной наружности и неловкимъ пріемамъ. Бѣлинскій ѣздилъ въ Тверь и жилъ нѣкоторое время въ помъсть всамихъ В. Беседы, которыя онъ велъ подъ кровомъ ихъ дома, подъ обаяніемъ дружбы съ однимъ изъ его членовъ, при вниманіи и участіи молодого и развитаго женскаго его персонала, конечно, должны были кринче запасть въ его умъ, чёмъ при какой-либо другой обстановкв. Результаты оказались скоро. Когда Велинскій опять возвратился къ журнальной деятельности и принялъ на себя, въ 1838, издание «Московскаго Наблюдателя», совершенно загубленнаго прежней редакціей, — на страницахъ журнала уже излагались не Шеллинговы воззрвиія въ томъ лирическо-торжественномъ тонъ, какой они всегда принимали у Бѣлинскаго, а строгія Гегелевскія схемы въ надлежащей суровости языка и выраженія и часто съ нѣкоторою священной темнотою, хотя и старыя воззрѣнія и новыя схемы имѣли много родственнаго между собою. Къ тому же, однимъ изъ сотрудниковъ журнала, отъ котораго ждали переворота въ области литературы и мышленія, состояль теперь М. Б. Онъ именно и открыль повый фазись философизма на русской почвъ, провозгласивъ ученіе о святости всего дъйствительно существующаго.

Одно, хотя и очень короткое время, В., можно сказать, гос-подствоваль надъ кружкомъ философствующихъ. Онъ сообщиль ему свое настроеніе, которое иначе и опредълить нельзя, какъ назвавь его результатомъ сластолюбивыхъ упражненій въ философіи. Все дъло ограничивалось еще для В., въ то время, умственными на-слаждениеми, а такъ какъ самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно новаго питанія и возкость этого ума треоовали уже постоянно новаго питанія и возбужденія, то обширное, безбрежное море Гегелевской философіи пришлось туть какъ нельзя болье кстати. На немъ и разыгрались всв силы и способности В., страсть къ витійству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей безпрестанно случаи къ торжествамъ и побъдамъ, а наконецъ, пышная, всегда какъ-то праздпичная по своей формъ, шумная, хотя и нъсколько холодная, малоббразная и искусственная ръчь. Однако же эта праздничная ръчь лоооразная и искусственная рачь. Однако же эта праздинчная рачь и составлила именно силу Б., подчинявшую ему сверстниковъ: свать и блескъ ея увлекали и тахъ, которые были равнодушны къ самымъ идеямъ, ею возващаемымъ. Б. слушали съ упоеніемъ не только тогда, когда онъ излагалъ сущность философскихъ тезисовъ, но и тогда, когда спокойно и степенно поучалъ о необходимости для человака ошибокъ, паденій, глубокихъ несчастій и сильныхъ страданій, какъ неизбажныхъ условій истинно-человаческаго существовація.

В. самъ разсказывалъ впослёдствін, что однажды, послё вечера, посвященнаго этой матерін, собесёдники его, большей частію молодые люди, разошлись спать. Одинъ изъ пихъ помёстился въ молодые люди, разошлись спать. Одинъ изъ нихъ помѣстился вътой же комнатъ, гдъ опочивалъ и самъ учитель. Ночью послъдній былъ разбуженъ своимъ молодымъ товарищемъ, который, со свъчою въ рукахъ и со всѣми признаками отчаянія на лицъ, требовалъ у него помощи: «Научи, что мнѣ дѣлать», — говорилъ онъ, — «я погибшее существо, потому что какъ ни думалъ, пе чувствую въ себъ никакой способности къ страданію». Дѣйствительно, полюбить страданіе, и особенно въ юношескіе годы — трудповато.

Естественно, однакожъ, что такое продолжительное умственное, діалектическое, философское пированіе могло быть устроено только при одномъ условін: совершеннаго обезпеченія себя отъ протестовъ

со стороны людей огорченныхъ или негодующихъ на жизнь, при условіи осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или въ чемъ сомивваются. Необходимо было прежде всего убъдить вебхъ, которые сильно чувствовали злобу дня, въ томъ, что ихъ личныя, отдёльныя попытки осужденія современности или основъ, на которыхъ она держится, суть преступленія противъ существующей «дъйствительности», т.-е. преступление противъ «всемирной идеи», которая въ данную минуту въ нее воплотилась, другнии словами, противъ самого «высшаго разума». Спокойствіе и нужное расположеніе духа для философированія покупались только этой цівною. И ничемъ другимъ В. въ эту эпоху не занимался, кроме прямыхъ и косвенныхъ внушеній этого рода. Ему принадлежить вводъ въ печать новаго русскаго презрительнаго слова «нрекраснодушіе», возбудившаго такое недоуминие въ публики и журналахъ своимъ, дийствительно, не очень складнымъ составомъ, которое, будучи буквальнымъ переводомъ нъмецкаго «Schönseligkeit», призвано было обозначать у насъ благородныя, но несостоятельныя отрицанія личнаго мышленія и личнаго суда надъ современностію. Ему принадлежить распространение у насъ того крайняго, чистъйшаго и виъстъ брезгливаго идеализма, который съ ужасомъ отворачивался отъ всякаго житейскаго шума, смъшивая подъ однимъ общимъ названіемъ низших явленій субтективнаго духа все, что мітало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбахъ и призвании человъчества: онъ просмотрълъ французскій переворотъ 1830 года, ничего не распозналь въ общественномъ движеніи, наступавшемъ за нимъ во Франціи (Ж.-Зандъ, Сепъ-Симонъ, Ламэне), ничего не видалъ въ современной ему юпой Гермапіи, уже основавшей свой органъ въ 1838 г.: «Deutsche Jahrbücher». Онъ только заклеймилъ эти явленія названіемъ необузданныхъ шалостей разсудочнаго, но не философскаго ума. Самъ Шиллеръ объявлялся еще у этого идеализма, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности — геніальнымъ ребенкомъ, который никогда не могъ возвыситься отъ теплыхъ, хорошихъ ощущеній до спокойнаго созерцанія идей и міровыхъ законовъ, управляющихъ людьми, до объективнаго пониманія предметовъ. Отецъ русскаго идеализма, Б., вивсть съ тыть быль весьма нодатливъ и на житейскія наслажденія, которыми пользовался совершенно безпечно, и за которыми гнался какъ-то наивно, простодушно. Жизнь и философія туть не мъшали другъ другу. Вирочемъ, слъдуетъ еще разъ повторить, что нигдь, можеть быть, философскій романтизмь не воплощался въ такомъ сильномъ, по средствамъ и дарованіямъ, нредставитель, какимъ былъ В. Прикрытый математически-строгими формулами Гегелевой логики, романтизмъ этотъ казался по наружности очень суровой проповъдью, будучи въ сущности только потворствомъ и оправданіемъ для самыхъ утопченныхъ прихотей мысли, паслаждающейся собой.

Для Бѣлинскаго, однакоже, это было другое дѣло: философскія запятія далеко не служили ему потѣхой и развлеченіемъ, а паоборотъ — горькимъ и тяжелымъ искусомъ, который онъ проходилъ съ трудомъ и самоотверженіемъ, надѣясь обрѣсти истину, покой для мысли и совѣсти на концѣ его. Надо было привыкать къ строю мыслей, открываемыхъ новыхъ созерцаніемъ и безпощадно убивать въ себѣ всякое сомпѣніе въ немъ, всякій позывъ къ противорѣчію. Философскій онтимизмъ требовалъ очень многаго. Путемъ отвлеченностей и метафизическихъ выкладокъ, онъ превращалъ въ научныя аксіомы, въ философскія истины и въ откровенія «духа» — ходячія общественных начала, за малыми исключеніями, почти всю современную жизпенную обстановку и большую часть всѣхъ умственныхъ и другихъ отправленій, навѣваемыхъ и вызываемыхъ текущей минутой.

Въ этомъ благопріятномъ разъясненій текущей минуты именно и заключалось преимущественно то обаяніе, которое производиль па всёхъ тогдашній глубоко-консервативный, религіозный, даже съ мистическимъ оттёнкомъ, семейно-добродѣтельный, нравственный, музыкальный Б.,—такой, какимъ его знали до 1840 г., когда онъ уёхаль за граннцу изъ Россіи.

Съ тъхъ поръ онъ умель далеко; но потребность созиданія системъ и воззръній, обманывающихъ духовныя потребности человъка, вмъсто удовлетворенія ихъ— осталась все та же, и тотъ же романтизмъ, ищущій необычайныхъ выводовъ и потрясающихъ эффектовъ, слышится и въ его призывахъ къ разрушенію обществъ, и къ истребленію цивилизаціи, какъ прежде слышался въ воззваніяхъ къ высшему геропческому пониманію и осуществленію нравственности и человъческаго достоинства.

Уже и тогда многіе, какъ покойный В. П. Боткинъ, напримѣръ, и самъ Вѣлинскій, по временамъ, понимали хорошо источники проповѣди В. Описывая мнѣ его личность въ 1840 году, тогда мнѣ
еще совершенно пезнакомую, Вѣлинскій говорилъ: «Это пророкъ и
громовержецъ,—но съ румянцемъ на щекахъ и безъ пыла въ организмѣ». Таково было послѣднее виечатлѣніе, вынесенное имъ изъ
долгихъ сношеній съ учителемъ. Но въ общественномъ значеніи
никто не отказывалъ философіи В., потому что она дѣйствительно
составляла прогрессъ въ умственномъ развитіи нашего общества и
служила прогрессу. Способъ пониманія цѣлей и задачъ жизни, ею

усвоенный, заключаль въ себъ много фантастичнаго элемента, но, конечно, стоялъ неизмъримо выше того грубаго способа ихъ представленія, который царствоваль у большинства современниковъ. Смысль, который система В. отыскивала не только въ политическихъ, но даже въ будничнымъ эфемерныхъ явленіяхъ текущаго дня, дъйствительно, быль произвольный и навязанный имъ насильно, но все-таки это быль смысль, для усвоенія котораго слідовало еще многому поучиться и о многомъ подумать. Положенія пропов'яди В. слишкомъ многое узаконяли въ существующихъ порядкахъ-это правда, но они узаконяли ихъ такъ, что порядки эти переставали походить на самихъ себя. Они становились идеалами въ сравнени съ тъмъ, чъмъ были на реальной почвъ. Нравственныя требованія отъ всякой отдельной личности носили у него характеръ безграничной строгости: вызовъ на героические подвиги составлялъ постоянную и любимую тэму всвхъ бесвдъ В. Гегелевское опредвленіе личности, какъ поприща, на которомъ совершается таинство самоопредъленія и окончательнаго разоблаченія «творящей идеи», уполномочивало уже требовать отъ каждаго человъка самыхъ напряженныхъ усилій на пути развитія своего сознанія и правственныхъ доблестей. В. и требоваль этихъ усилій, съ вдохновеніемъ и настойчивостью, которыя вошли уже у него въ организмъ и привычку. Такъ, даже наканунъ французскаго переворота 1848 года, въ Парижъ, когда онъ самъ перешелъ на чисто-политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступиль къ подговорамъ, тайнымъ махинаціямъ и клубнымъ мёрамъ въ извёстномъ родь, - онъ готовъ быль всегда призывать людей къ чистымъ подвигамъ, цъломудренной жизни и идеальному пониманію ея задачь. Это и заставило Г. прозвать его тогда же (1847 г.) въ шутку «старой Жанной д'Аркъ». Г. прибавляль, что это и девственница, но только анти-орлеанская, такъ какъ питаетъ отвращение къ королю Луи-Филиппу — орлеанскому.

Человъкъ, предшествовавшій Б. въ изученіи Гегеля и даже впервые, какъ мы сказали, посвятившій самого Б. въ науку, Н. В. Станкевичъ, никогда не доходилъ до полнаго абсолютнаго оптимизма въ философіи. Станкевичъ уже и потому не могъ соперничать въ этомъ съ товарищемъ, что, выходя съ нимъ изъ однихъ основаній и не менъс его отдапный во власть романтическаго настроенія, не способенъ былъ, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы, къ грубымъ обобщеніямъ. По причинамъ просто- и чисто-физіологическимъ, онъ останавливался въ недоумъніи передъ каждой скрытой и явной несправсдливостью, такъ же точно, какъ и передъ всякимъ чрезмърнымъ увлеченіемъ.

У него была повърка излишне заносчивыхъ тезисовъ въ чувствъ иъры, да къ тому же онъ спабженъ былъ и даромъ юмора, который открываль ему оборотную тъневую сторону предметовъ. Этого дара вовсе недоставало В. Должно считать счастливымъ обстоятельствомъ для В. то, что, въ эпоху его самой жаркой проповъди, Станкевичъ (съ осени 1837 г.) и Грановскій (за годъ до того) были за-границей, а Г. нроходилъ нервое свое удаленіе, сперва въ Вятку, а потомъ во Владиміръ; случись они тогда въ Москвъ, законодательная дъятельность В. и его декреты по предметамъ мышленія получили бы значительное ограниченіе и измъненіе.

Остается теперь посмотрёть, какъ всё эти свойства и качества философской системы В. отразились тогда на душё Бёлинскаго.

V.

На нервыхъ порахъ влінніе новой философской системы В. не было выгодно для таланта Бълинскаго. Бълинскій прежде всего приступиль тогда къ изученію схемь, формуль, деленій — всехъ почти неосязаемых тиней колоссальнаго міра абстракцій, называемаго логикой Гегеля, и приступиль съ ныломъ и фанатическимъ одушевленіемъ, лежавшими въ его природъ. Сдълавъ обътъ ученическаго послушанія системъ, онъ уже не измънилъ своему объту до конца. Онъ наложилъ опеку ка свой подвижной умъ, на свое тревожное сердце, создалъ планъ, программу, ночти табличку поведенія для своей жизни и для своей мысли, и употребляль неимовърныя усилія, чтобы отогнать отъ себя всв навожденія врожденнаго ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Бълинскаго не нокидало сомниніе даже въ прави отдаваться внечатльніямь внышней жизни, своему чувству, своимь сердечнымъ влеченіямъ. Онъ страдаль въ мысли, также какъ и въ способъ относиться ко всему реальному въ его собственномъ существованія. Это было уже далеко не наслаждение философией, какъ въ періодъ Шеллингова вліянія, — это биль тяжелый трудь, каторжная работа, принятая на себя изъ надежды близкаго воскрешенія въ будущемъ, и потомъ уже радостнаго существованія на землъ, безъ сомнъній, колебаній и томительных в вопросовъ. Мучительный пскусъ, добровольно проходимый однимъ изъ характеровъ, наименье способныхъ къ подчиненности, не кончился и тогда, когда Белинскій ознакомился съ ученіемь о дийствительности, хотя оно, повидимому, должно было бы освободить его отъ напрасимхъ исканій идеально-совершенныхъ нравиль и основъ жизни. По крайней мъръ въ литературъ следы

того же послушническаго искуса сохраняются и въ статьяхъ его отъ 1838-го года. Слово его, такое бодрое и развязное дотолъ, становится въ «Московскомъ Наблюдатель» 1838 года неопредъленнымъ, туманнымъ, словно чахнетъ, занятое преимущественно выясненіемъ философскихъ терминовъ (особенно терминъ «конкретность» стоиль ему долгихъ трудовъ и безпрестанныхъ повтореній одного и того же понятія на разные лады), переложеніемъ ихъ на русскій языкъ и толкованіемъ ихъ смысла для русской публики. По временамъ, это бъдное, уже обезличенное слово старается еще придать себъ видъ развязности, скрыть схоластическія путы, мъщающія его движенію, казаться свободнымъ, смёлымъ словомъ, несмотря на ту цёнь, которую дозволило наложить на себя. Это были всиышки, соотвътствовавшія тэмъ мимолетнымъ протестамъ противъ теоріи, о которыхъ говорено. Вообще же журналъ «Московскій Наблюдатель», органъ Вълинскаго съ 1838 года, представлялъ въ теченіи нъсколькихъ мъсяцевъ печальную арену, гдъ можно было видъть замъчательнаго и своеобычнаго мыслителя въ униженномъ положении страдальца, изнывающаго и слабъющаго подъ дъйствіемъ жестокой умственной дисциплины, литавшей его силь, но которую онъ продолжаетъ упорно налагать на себя, не признавая ее за наказаніе. Журналъ истомилъ редактора и всёхъ тёхъ, которые за нимъ тогда слъдили. Многіе изъ друзей редактора были также очень недовольны имъ и не скрывали своего мнънія. Позволю себъ при этомъ сказать нъсколько словъ о собственныхъ моихъ тогдашнихъ внечатлъніяхъ по этому поводу.

VI.

Извѣстно, что «Московскій Наблюдатель» 1838 года открывался передовой статьей Рётшера: «О философской критикѣ художественнаго произведенія». О ней много было говорено и тогда, и потомъ, въ нашей литературѣ, и все-таки мнѣ приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала къ числу тѣхъ чрезвычайно сухихъ и отвлеченныхъ трактатовъ, гдѣ понятія подъ наторѣлой рукой писателя складываются сами собой въ затѣйливые узоры, оставляя въ сторонѣ, какъ вздорную помѣху, всѣ соображенія о насущныхъ потребностяхъ извѣстнаго общества, объ условіяхъ или нуждахъ его существованія въ дапную минуту. Статья опредѣляла будущее направленіе журнала. Она дѣлила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумѣется, предпочтеніе первому—философскому отдѣлу, какъ заключающему въ себѣ един-

ственные истиниме и непреложные законы для суда надъ произведеніями. А непреложность этихъ законовъ доказывалась процессомъ изслѣдованія, свойственнымъ философской критикѣ, которая, распознавъ мысль художественнаго произведенія, выдѣляетъ эту мысль изъ созданія, развиваетъ ее самостоятельно, по философски, допытывается всѣхъ возможныхъ ея выводовъ, и потомъ возвращаетъ эту мысль снова созданію, наблюдая, все ли то сказано въ образахъ и подробностяхъ созданія, что обнаружнлось въ философскомъ анализѣ его. Если да—да; если нѣтъ,—тѣмъ хуже для созданія!

Три низшіе отдівла критики, т.-е. критика психологическая, скентическая и историческая, конечно, не пользовались симиатіями Візнискаго. Не говоримь уже о скентической, давно имъ презираемой, но и психологическая, и историческая критики, какъ неиміющія руководителя въ абсолютных законах мысли и искусства, цінились имъ весьма мало. Чрезвычайно любонытно выслушать при этомъ, что онъ говориль по поводу послідней изъ нихъ: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняють его твореній. Законы творчества візчны, какъ законы разума. На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхилъ или Софоклъ были къ своему правительству, къ своимъ гражданамъ, и что при нихъ дізалось въ Грецій? Чтобы понимать ихъ трагедій, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человізчества... До политическихъ событій и мелочей намъ нізтъ діза», и пр.

Бълинскій туть просто не походиль на самого себя. Между тымь, въ статы Рётшера, предъ тыми рубриками критики ставились бъдныя явленія нашей печати и письменности, вымъривался ихъ ростъ, и, на основаніи полученныхъ четвертей и вершковъ, ниъ отводилось помъщение въ одномъ изъ отдъловъ. Такъ поступиль Вълинскій съ сочиненіями фонъ-Визина, которыя отнесъ къ въдомству критики исторической, вмъстъ съ изумительнымъ товарищемъ-сочиненіями Вольтера, а «Юрія Милославскаго» подчиниль выдыню критики психологической, придавь ему тоже необыкновеннаго спутпика и сотоварища, именно Шиллера, «этого страннаго полухудожника и полуфилософа», замѣчалъ Бѣлинскій. Но недостало даже таланта и опытности Бѣлинскаго, чтобы къ названнымъ русскимъ авторамъ приложить всв требованія критическаго отдела, которому они делались подсудны, и найти въ нихъ все тв черты, которыя по теоріи должны были въ нихъ существовать непремънно. Онъ объщаль представить это свидътельство совиаденія теоріи съ живымъ примфромъ, по пе исполнилъ обфщанія--- п по весьма понятной причинъ. При осуществлении задачи, либо теорія должна была лопнуть по всёмъ составамъ, либо прим'тры отбиться совсёмъ отъ теоріи.

За то Бълипскій исполниль другое. Чъмъ болъе отрекался онъ отъ права личнаго сужденія, темъ более завладевали его умомъ мертвыя философскія схемы и тезисы, которыя не только заслоняли передъ его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на ихъ мъсто. Когда актеръ Мочаловъ создалъ роль Гамлета въ Москвъ, Вълинскій написаль большую статью о трагедіи и о московскомъ исполнителъ главной ея роли. Какъ же представился Гамлетъ воображенію Бълинскаго? Конечно, такъ же, какъ и Гёте, — человъкомъ страдающимъ бъдностью воли въ виду огромнаго замысла, на который онъ себя предназначаеть. Но откуда эта немощь воли и сопряженныя съ нею страданія въ лиць, умьющемъ при случав поступать очень смвло и рвшительно? - спрашиваль себя Бълинскій. Отвъть давался схемой. Гамлеть, по ея опредъленію, выражаетъ собою всв признаки того психическаго состоянія, когда человъкъ, мирно жившій съ собою и про себя, переходить къ существованію въ «дійствительности» во внішнемь мірів, такомь запутанномъ и безсимсленномъ на первый взглядъ. Борьба и страданія, неразлучныя съ этимъ погруженіемъ въ хаосъ и въ кажущуюся грубость реальнаго міра, отнимають у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются къ нему, когда Гамлетъ, послъ долгаго, мучительнаго искуса, приходить къ чувству покорности передъ законами, управляющими этимъ непонятнымъ, грознымъ міромъ дъйствительности, къ тихому убъжденію, что надо быть всегда готовыму на все. Такинъ образомъ, Гамлетъ преобразился въ представителя любимаго философскаго понятія, въ олицетвореніе извистной формулы (что действительно, то-разумно), и Вълинскій на этомъ пьедесталь устраиваеть апооеозу какъ великому творцу драмы, такъ и замвчательному его толкователю на московской спенъ.

Постоянныя превращенія живыхь образовь вь отвлеченія начинають появляться все болье и болье у Вълинскаго. При обозрьніи журналовь 1839 года, Бълинскій дълаеть замьтку о стать Губера: «Фаусть». Что такое Фаусть Гёте? Для Бълинскаго той впохи, Фаусть есть точно такая же философская схема, какъ и Гамлеть, даже ночти ничьть и пе отличающаяся отъ нея. Фаусть, какъ человькъ глубокій и всеобъемлющій, должень быль выдти изъ естественной гармоніи духа, поссориться съ дъйствительностію, къ которой обратился за утъшеніемь и познаніемь, и посль ряда кровавыхъ испытаній, мучительной борьбы, паденій и обольщеній — возвратиться снова къ полной гармоніи духа, по уже гармоніи, про-

свътленной опытомъ и сознаніемъ. Онъ прозрълъ подъ конецъ разумъ и оправданіе всего сущаго. Фаустъ умираетъ въ блаженствъ и отъ блаженства такого сознанія.

зумъ и оправдане всего сущаго. Фаустъ умираетъ въ блаженствъ и отъ блаженства такого сознанія.

Какъ ин тяжело было, новидимому, приложить этотъ снособъ опредѣленія предметовъ некусства къ чему-либо, выроешему на русской почвѣ, Бѣлинскій, однако же, не остановился передъ трудностію. Я сказаль, что, при ноявленіи въ «Современникъ» 1838 года носмертныхъ сочиненій Пушкина, Бѣлинскій испыталъ болѣе чѣмъ востортъ: даже нѣчто въ родѣ испуга передъ величіемъ творчества, открывшагося глазамъ его. Въ литературной хроникѣ «Московскаго Наблюдатели» 1838 года, отдавая отчетъ о четырехъ томахъ «Современника», заключившихъ неизданныя произведенія великаго поэта, Вѣлинскій спрашивалъ себя: что такое Пушкинъ? Оказалось, что та же схема, которая служила мѣриломъ внутренняго достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для опредѣленія послѣднихъ произведеній Пушкина. Вотъ собственныя слова Бѣлинскаго: «Въ самомъ дѣлѣ», —говоритъ онъ, — чтобы ностигнуть всю глубину этихъ геніальныхъ картинъ, разгадать ихъ вполнѣ маинственный смыслъ и войти во всю полноту и свѣтлозарность ихъ могучей жизни, должно пройти чрезъ мучительный опытъ внутренней жизни и выдти изъ борьбы прекраснодушія въ гармонію просвѣтленнаго и примпреннаго съ дѣйствительностію духа. Повторяемъ, примпреніе путемъ объективнаго созерцанія жизня—воть характеръ этихъ послѣднихъ произведеній Пушкина».

Выло бы очень странно, если бы этотъ философскій тезись, такъ могущественно и деспотически овладѣвшій умомъ Бѣлинскаго, остался безъ приложенія къ предметамъ политическаго и общественнаго характера, нли замѣнился тамъ какичъ-либо инымъ, несхо-

наго характера, или замънился тамъ какимъ-либо инымъ, несхонаго характера, или замѣнился тамъ какимъ-либо инымъ, несхожимъ съ нимъ, созерцаніемъ. Непослѣдовательность такого различія въ опредѣленіяхъ была бы очевиднымъ опроверженіемъ самыхъ основаній теоріи, а Бѣлинскій былъ всегда послѣдователенъ и въ истинѣ, и въ минутныхъ заблужденіяхъ своихъ. Такимъ образомъ являлась у Бѣлинскаго и политическая теорія, въ силу которой человѣкъ для того, чтобы устроить правильныя отношенія къ обществу и государству, долженъ разрѣшить въ себѣ ту же задачу, какую разрѣшали Гамлетъ и Фаустъ своими персонами, а Пушкинъ — своими произведеніями. Разница состояла здѣсь въ томъ только, что на политической и соціальной почвѣ уже не предстояло возможности выбирать явленій, предпочитать одни другимъ, производить имъ оцѣнку и сортировку, а необходнмо было уважать и признавать ихъ всѣхъ одинаково и цѣликомъ. Бѣлинскій поэтому требовалъ, «чтобы человѣкъ, нежелающій довольствоваться всю жизнь призрачнымъ сущевѣкъ, нежелающій довольствоваться всю жизнь призрачнымъ сущевѣкъ, нежелающій довольствоваться всю жизнь призрачнымъ сущевъкъ, нежелающій довольствоваться всю жизнь призрачнымъ сущевъкъ ствовапіемъ, вмѣсто дѣйствительнаго человѣческаго существованія, призналъ ложью и обманомъ умственныя похоти своей личности, подчинился требованіямъ и указапіямъ государства, которое есть единственный критеріумъ истины на землѣ, проникнулъ въ глубокій смыслъ его идеи, превратилъ все могучее его содержаніе въ собственныя убѣжденія свои, и тѣмъ самымъ сдѣлался уже представителемъ не случайныхъ и частныхъ мнѣній, а выраженіемъ общей, народной, наконецъ міровой жизни или, другими словами, сталъ духомъ во плоти». Бѣлинскій продолжалъ далѣе: «Въ духовномъ развитіи человѣка моментъ отрицанія необходимъ, потомучто кто никогда не ссорился съ жизнью, у того и миръ съ нею не очень проченъ; но это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлою жизнію: ссора не можетъ быть цѣлью самой себѣ, но имѣетъ цѣлью примиреніе. Горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть выствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть выствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть выствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть выствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть выствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высствомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высствомъ, чтобы на примириться съ нимъ: общество есть высствомъ, чтобы никогда признанія себя со стороны человѣка, или сокрушаетъ его нодъ свинцовою тяжестью своей исполинской длани».

сокрушаеть его подъ свинцовою тяжестью своей исполинской длани».

Мъсто это находится въ разборъ книги: «Очерки Бородинскаго сраженія» О. И. Глинки, которая ознаменовала, какъ знаемъ, полный расцвъть гегелевскаго оптимизма въ русской литературъ.

Такова вкратцъ у Вълинскаго исторія зарожденія и развитія

Такова вкратцѣ у Бѣлинскаго исторія зарожденія и развитія гегелевскаго оптимизма, которая, такъ-сказать, прошла у насъ передъ глазами.

VII.

Нельзя покончить, однако же, съ этимъ періодомъ дѣятельности критика, не повторивъ еще разъ того, что было сказано о его частыхъ возстаніяхъ противъ своихъ же догматовъ: въ противность всему строю и всѣмъ заключеніямъ признаннаго и усвоеннаго имъ ученія, изъ-подъ пера Вѣлинскаго безпрестапно вырывались положенія, похожія на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунтъ противъ началъ, угнетавшихъ его умъ, высказывались тѣ, па время подавленныя и притаившіяся, критическія силы Бѣлинскаго, которыя ждали окончанія философскаго погрома, чтобъ явиться снова на свѣтъ въ полномъ блескѣ. Не удивительно ли было, напримѣръ, въ самомъ пылу гегелевскаго настроенія, когда такъ процвѣтало благоговѣніе къ «идеѣ» и пеутомимое исканіе ея—вычитать у Бѣлинскаго слѣдующія строки, въ его разборѣ плохой драмы Полевого «Уголино»: «Въ творчествѣ сила не въ идеѣ, а въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предпола-

гаеть и условливаеть идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благоговъйнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозрѣваетъ се...» Помню хорошо недоумъніе, которос возбуждали въ насъ подобные внезапные повороты (а ихъ было не мало), наносившіе болье или менье чувствительные удары самимъ основамъ и первымъ началамъ найденной философской системы. Помню также, что многіе изъ насъ и обращались къ автору въ подобныхъ случаяхъ за разъясненіями этихъ противоръчій; но разъясненія Б'єлинскаго большею частію обнаруживали досаду на людей, подвергавшихъ его экзамену, и давались, какъ даются отвъты дътямъ на ихъ разспросы. «Неужто вы думаете», говорилъ Бълинскій, — «что я долженъ при каждомъ мненіи справляться съ темъ, что сказалъ когда-то прежде: — да вотъ теперь я васъ ненавижу, а черезъ день буду страстно любить». Много было истины въ этихъ словахъ. Бълинскій особенно боялся тогда противоръчій, потрясающихъ новую его систему, и отзывался гнъвно и нервно о людяхъ, ихъ высказывавшихъ; но оказывалось, что онъ больше всего и думалъ именно о такихъ людяхъ. Въ связи съ этой чертой находилась и другая, не менъе любопытная. Опъ негодоваль, становился угрюмъ и золъ именно, когда встрвчалъ непререкаемос согласие съ его положеніями, хотя это и не часто случалось, точно ему недоставало тогда возраженій и обличеній. Внутренняя жизнь Бълинскаго въ эту эпоху представляла раздвоеніе, по-истині, трагическое и исполнена была страданій и сомивній, которыя по временамъ онъ и открываль собесъдникамь въръзкомъ, неожиданномъ словъ, можно сказать, въ воплъ истерзанной души. Онъ судорожно и отчаянно держался за новыя свои върованія, но съ каждымъ днемъ все болье и болье чувствоваль, что они мъняются, тускнуть и испаряются на его собственныхъ глазахъ.

Но въ этотъ же періодъ времени случалось и такъ, что Бѣлинскій боролся съ гнетущими условіями метафизическаго деспотизма не одними вспышками и порывистыми движеніями врожденной ему критической мысли, а и цѣлыми продуманными сужденіями и приговорами, которые шли наперекоръ теоріи и всѣмъ ся толкователямъ. И какъ гордился самъ Бѣлинскій этими доказательствами и

И какъ гордился самъ Бѣлинскій этими доказательствами и заявленіями самодѣятельности своего ума! Въ письмѣ къ И. И. Панаеву 19-го августа 1839 года, напечатанномъ въ «Современникѣ» 1860 года, въ январѣ мѣсяцѣ, онъ шутливо, но съ чувствомъ нескрываемаго торжества вспоминаетъ, что еще осенью прошлаго года объявилъ вторую часть «Фауста» Гёте сухой, мертвой символистикой, къ всликому негодованію и изумленію всѣхъ москов-

скихъ друзей-философовъ. Они не находили почти словъ для выраженія своего гнѣва и презрѣнія къ смѣльчаку, налагавшему руку на своего рода «философскій Апокалипсисъ», а теперь опустили головы, прочитавъ въ «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Vischer), говоритъ Бѣлинскій, который буквально повторилъ все то, что возвѣщалъ онъ, непризпанный Бѣлинскій, за годъ передъ тѣмъ.

И было чёмъ гордиться!

Что касается до насъ, то мы жаждали ересей Бълинскаго, противоръчій Бълинскаго, измънъ его своимъ положеніямъ и нарушеній философскихъ догиатовъ, какъ подарковъ: они, казалось, возвращали намъ стараго Бълинскаго 1834 — 35 годовъ, когда онъ имълъ, несмотря на Шеллинга, свою независимую мысль и свое направление *). Не то, чтобы кружокъ его петербургскихъ сторонниковъ ясно прозрѣвалъ несостоятельность системы и выводовъ, изъ нея получаемыхъ — для этого онъ не былъ достаточно развитъ философски — по онъ чувствоваль безпокойство, следуя за развитіемъ учителя, сильно недоумъваль, когда ему — кружку этому не позволяли ропота даже и на самыя обыдепныя явленія жизни, и безпрестанно обращаль глаза назадь, къ прежнему Вълинскому 1835 года, издателю 6-ти книжекъ «Телескопа», гдв помвщены статьи и разборы, оставшіеся и досель памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили поколенія, впервые ихъ выслушавшія. Можеть быть, это подозрительное состояніе кружка, всегда готоваго сорваться съ тезисовъ на практическую дорогу прямой, наглядной оценки предметовъ, безъ всякихъ справокъ о томъ. что они представляють въ идеж, и было причиной грустнаго, осторожнаго, сдержаннаго обращенія Бълинскаго съ кружкомъ. Онъ не довъряль ни его покорности отвлеченнымъ понятіямъ, ни особенно его способности проникнуться ими въ должной степени, и однажды, когда заговорили передъ нимъ о здравомъ практическомъ смыслѣ Петербурга, поправляющемъ увлеченія, и подъ дыханіемъ котораго изсыхають всв источники фантазіи и мечтаній, Бълинскій вспыхнулъ и съ гивомъ проговорилъ: «Я вижу, куда вы клоните. Вамъ никогда не удастся сдълать изъ меня то, что вы хотите!» Онъ

^{*)} Въ "Телескоив" 1835 года, помвщены были образцовыя статьи: "О русской повъсти и повъстяхъ Гоголя", "О стихотвореніяхъ Баратынскаго", "Стихотворенія Владиміра Бенедиктова" и "Стихотворенія Кольцова". Надеждинъ, поручившій изданіе "Телескопа" Бълинскому, при своемъ отътадь за-границу, быль удивленъ по возвращеніи въ декабрт 1835 года и доброкачественпостію статей, въ немъ помъщенныхъ, и запущенностію редакціи, не додавшей множество книжекъ журнала. Таковъ быль и потомъ Бълинскій, какъ "редакторъ".

еще боялся за судьбу своего идеализма въ Петербургѣ, да и долго потомъ, даже послѣ отрезвленія своей мысли, происшедшаго въ 1840 г., еще держался за него, какъ за отличіе, которое не слѣдовало терять на новомъ мѣстѣ. Дѣло, однако же, сложилось иначе.

VIII.

Посл'в всего этого длиннаго отступленія, возвращаюсь къ раз-сказу. Поселясь въ Петербург'в, Б'елинскій началь ту многотрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лътъ сряду, почти безъ всякаго перерыва, потрясла самый организмъ и завла его. На первыхъ порахъ, послъ довольно долгаго пребыванія на квартиръ Панаева, онъ нанялъ себъ помъщение на Петербургской Сторонъ, по Большому проспекту, въ красивомъ деревянномъ домикъ, съ довольно просторной, по сырой и холодной комнатой, и съ небольшимъ кабинетомъ, жарко натопленнымъ, гдъ я и нашелъ его уже зимой 1840 года. Противоположность въ температуръ этихъ комнатъ не производила, повидимому, особаго дъйствія на здоровье хозяина, но за то постоянно награждала посътителей его обычными зимними дарами Петербурга — флюсами, гриннами и подчасъ жабами. Укрывшись въ своемъ тропически-душномъ кабинетъ, Бълинскій весь отдался мысли, и велъ сурово-уединенную, почти аскетическую жизнь, изъ которой, по временамъ, выходиль въ кругъ новыхъ своихъ знакомыхъ, гдв его строгій видъ, всего чаще перемежавшійся со вспышками гнвва или негодующаго юмора, еще болве обнаруживаль основной фонъ, подкладку, такъ-сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя: наименве проницательный собесвдиикъ, если не понималь, то чувствоваль существенную принадлежность этого человъка — живое олицетворение образовъ, изобрътенныхъ поэзией для передачи мучительных стремленій и порываній безпокойнаго сердца и возбужденной мысли. Только это быль титанъ добродушный. Въ отличие отъ романтическихъ типовъ этого рода, которыхъ намъ представляють обыкновенно лишенными слабыхъ или любезныхъ сторонъ характера, Бълинскій обладаль въ значительной степени тъми и другими. Нельзя было не замътить его ребячески-чистой довърчивости къ хорошему слову и честному помышленію, передъ нимъ высказаннымъ, а потомъ его комическаго гивва на себя, когда онъ открывалъ — (что дълалось очень скоро) — несовсъмъ чистые источники этихъ заявленій. Его наивная неопытность въ делахъ общежитія безпрестанно вовлекала въ ошибки такого рода, хотя за минутами подобныхъ промаховъ у него следовало почти тотчасъ же

отрезвленіе, и тогда онъ уже открываль въ характерахъ и явленіяхъ стороны, которыя ускользали и отъ очень пытливыхъ и осторожныхъ людей.

Но, вообще говоря, потребности въ людяхъ, въ водоворотъ жизни, въ повъркъ себя другими, и всъхъ — другъ другомъ, Вълинскій тогда не обнаруживаль. Онъ обходился безъ всего этого по цёлымъ недёлямъ. Послё погрома, испытаннаго его новой теоріей, онъ уже дни и ночи стоялъ передъ письменнымъ своимъ бюро. Довольно узкій, тропическій его кабинеть изъ двухъ оконъ, между которыми стояло это бюро, имълъ еще, у противоположной стъны и въ разстояніи няти-шести шаговь, кушетку, съ маленькимъ столикомъ у изголовья. Бълинскій почти всегда писаль, какъ то требуется для журнальныхъ статей, на одной сторонъ полулиста и бросалъ страницу, какъ только достигалъ ея конца. Затъмъ онъ ложился на кушетку и принимался за книгу, послъ чего, перемънивъ высохшую страницу, снова принимался за перо, не испытывая никакой помъхи пи въ чтеніи, ни въ письмъ, отъ этихъ промежутковъ въ теченіи мыслей. Такъ создавались срочныя и несрочныя статьи, утомлявшія его физически гораздо болье, чымь умственно. Рука и слабая грудь его больли, но голова оставалась постоянно свъжа. Впрочемъ, усиленная работа эта была нужна ему морально для того, чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую онъ иснытывалъ съ тъхъ поръ, какъ покинулъ московскій свой кружокъ и обмѣнялъ его на другой, незамѣнившій стараго.... Онъ долго не могь также привыкнуть къ Петербургу, къ его образу жизни размъренной и осторожной, но кончилъ такимъ полнымъ признаніемь его значенія и разныхъ гражданскихъ и полицейскихъ гарантій для личности, имъ представляемыхъ, что помирился съ нимъ окончательно.

Но у Бѣлинскаго, взамѣнъ общества, были тогда три постоянные, неразлучные собесѣдника, которыхъ наслушаться вдоволь онъ почти уже и не могъ, именно Пушкинъ, Гоголь и Лермонтовъ. О Пушкинъ говорить не будемъ: откровенія его лирической поэзіи, такой нѣжной, гуманной и вмѣстѣ бодрой и мужественной, приводили Бѣлинскаго въ изумленіе, какъ волшебство или феноменальное явленіе природы. Онъ не отдѣлался отъ обаянія Пушкина и тогда, когда, ослѣпленный творчествомъ Лермонтова, весь обратился къ новому свѣтилу поэзіи и ждалъ отъ него переворота въ самихъ понятіяхъ о достоинствѣ и цѣли литературнаго призванія. При отъѣздѣ моемъ за границу въ октябрѣ 1840 года, Бѣлинскій спросилъ, какія книги я беру съ собою. «Странно вывозить книги изъ Россіи въ Германію», отвѣчалъ я.—А Пушкина?—«Не беру и Пушкина»...

—Лично для себя, я не понимаю возможности жить,да еще и въ чужихъ краяхъ, безъ Пушкина,—зам'втилъ Вѣлинскій. О второмъ его собесѣдникѣ—Гоголѣ—скажемъ сейчасъ нѣсколько пояснительныхъ словъ. Но что касается отношеній, образовавшихся между Бълинскимъ и третьимъ, самымъ позднимъ или самымъ новымъ и молодымъ его собесъдникомъ — именно Лермонтовымъ, то они составляють такую крунную психическую нодробность въ жизни нашего критика, что объ ней слудуеть говорить особо.

Важное значение Бълинскаго въ самой жизни Н. В. Гоголя и огромныя услуги, оказанныя имъ автору «Мертвыхъ Душъ», уже были указаны нами въ другомъ мѣстѣ *). Мы уже говорили, что Бълинскій обладаль способностью отзываться, въ самомъ пылу какого-либо философскаго или политическаго увлеченія, на замічательныя литературныя явленія съ авторитетомъ и властью человѣка, чувствующаго настоящую свою силу и призваніе свое. Въ эноху Пеллингіанизма, одною изъ такихъ далеко-озаряющихъ всиышекъ была статья Бълинскаго: «О русской повъсти и новъстяхъ Гоголя», написанная вследъ за выходомъ въ светъ двухъ книжекъ Гоголя: «Миргородъ» и «Арабески» (1835 г.). Она и уполномочиваетъ насъ сказать, что настоящимъ воспріемникомъ Гоголя въ русской литературѣ, давшимъ ему имя, былъ Бѣлинскій. Статья эта, вдобавокъ, пришлась очень кстати. Она подоснѣла къ тому горькому времени для Гоголя, когда, вслѣдствіе нретензіи своей на профессорство и на ученость по вдохновенію, онъ осуждень быль выносить самыя злостныя и ядовитыя нападки, не только на свою авторскую ділтельность, но и на личный характеръ свой. Я близко зналъ Гоголя въ это время, и могъ хорошо видъть, какъ озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковскаго и Булгарина, сколько общимъ осужденіемъ петербургской публики, ученой братіи и даже пріятелей, онъ стоялъ совершенно одинокій, не зная, какъ выдти изъ своего положенія и на что опереться. Московскіе знакомые и доброжелатели его нокамъстъ еще выражали въ своемъ органъ («Московскомъ Наблюдателъ») сочувствие его творческимъ татапъ («московскомъ наолюдателъ») сочувствие его творческимъ талантамъ весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себъ право отдаваться внолнъ своимъ внечатлъніямъ только на-единъ, келейно, въ письмахъ, домашнимъ образомъ. Руку помощи въ смыслъ возбужденія его упавшаго духа протянулъ ему, тогда никъмъ непрошенный, никъмъ неожиданный и совершенно ему неизвъстный, Бълинскій, явившійся съ упомянутой статьей въ «Телескопъ» 1835-го года. И съ какой статьей! Онъ не давалъ въ ней совътовъ автору, не разбиралъ, что въ немъ похвально и что подлежитъ нареканію,

^{*)} См. мои "Воспоминанія и Критическіе очерки", т. І, въ стать во Гоголь.

не отвергалъ одной какой-либо черты, на основании ея сомнительной върности или необходимости для произведенія, не одобрялъ другой, какъ нолезной и пріятной,—а, основываясь на сущности авторскаго таланта и на достоинство его міросозерцанія, просто объявилъ, что въ Гоголъ русское общество имъетъ будущаго великаго писателя. Я имълъ случай видъть дъйствіе этой статьи на Гоголя. Онъ еще тогда пе пришелъ къ убъжденію, что московская критика, т.-е. критика Бълинскаго, злостно перетолковала всъ его намъренія и авторскія цёли,—опъ благосклонно приняль замётку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокаго соболёзнованія къ русской жизни и ея порядкамъ слышится во всёхъ разсказахъ Гоголя», и былъ доволенъ статьей, и болъе чъмъ доволенъ: онъ былъ осчастливленъ статьей, если вполнъ върно передавать воспоминанія о томъ времени. Съ особеннымъ вниманіемъ остановился въ ней Гоголь на опредълении качествъ истиннаго творчества, и разъ, когда зашла рѣчь о статьѣ, неречиталъ вслухъ одно ея мъсто: «Еще создание художника есть тайна для всъхъ, еще онъ пе бралъ пера въ руки, — а уже видитъ ихъ (образы) ясно, уже можетъ счесть складки ихъ платья, морщины ихъ чела, изборожденпаго страстями и горемъ, а уже знаетъ ихъ лучше, чъмъ вы знаете своего отда, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также онъ знаетъ и то, что они будутъ говорить и дълать, видитъ всю нить событій, которая обовьеть и свяжеть между собою...» — Это совершенная истина, —замътилъ Гоголь, и тутъ же прибавилъ съ полузаствичивой и полунасмвиливой улыбкой, которая была ему свойственна: «только не нонимаю, чёмъ онъ (Бёлинскій) послё этого восхищается въ пов'єстяхъ Полевого». М'єткое зам'єчаніе, попавшее прямо въ больное мъсто критика; но надо сказать, что, кромъ участія романтизма въ благожелательной оцінкі разсказовъ Полевого, была у Бълинскаго и еще причина для нея. Бълинскій высоко цъниль тогда заслуги знаменитаго журналиста и глубоко соболѣзноваль о насильственномъ прекращеніи его дѣятельности по изданію «Московскаго Телеграфа»; все это повліяло на его сужденіе и о беллетристической карьерѣ Полевого.

Но рѣшительное и восторженное слово было сказано и сказано не на-обумъ. Для поддержанія, оправданія и укорененія его въ общественномъ сознаніи, Бѣлинскій издержалъ много энергіи, таланта, ума, переломалъ много копій, да и не съ одними только врагами писателя, открывавшаго у насъ реалистическій періодъ литературы, а и съ друзьями его. Такъ, Бѣлинскій опровергалъ критика «Московскаго Наблюдателя» 1836 г., когда тотъ, въ странномъ энтузіазмѣ, объявилъ, будто за одно «слышу», вырвавшееся изъ устъ

Тараса Бульбы въ отвътъ на восклицаніе казнимаго и мучимаго сына: «слышишь-ли ты это, отецъ мой?» будто за одно это восклицаніе— «слышу», Гоголь достоинъ былъ бы безсмертія; а въ другой разъ опровергалъ того же критика и не менѣе побѣдоносно, когда тотъ выразилъ желаніе, чтобы въ разсказѣ «Старосвѣтскіе помѣщики» не встрѣчался намекъ на привычку, а всѣ сношенія между идиллическими супругами объяснялись только однимъ нѣжнымъ и чистымъ чувствомъ, безъ всякой примѣси.

Вспомнимъ также, что «Ревизоръ» Гоголя, потерпъвшій фіаско при первомъ представленіи въ Петербургъ и едва не согнанный со сцены стараніями «Вибліотеки для чтенія», которая, какъ говорили тогда, получила внушение извив преследовать комедію эту, какъ политическую, несвойственную русскому міру, - возвратился, благодаря Бълинскому, на сцену уже съ эпитетомъ «геніальнаго произведенія». Эпитеть даже удивиль тогда своей смелостью самихь друзей Гоголя, очень высоко цънившихъ его первое сценическое произведеніе. А затімь, не останавливаясь передь осторожными замітками благоразумныхъ людей, Вълинскій написалъ еще ръзкое возраженіе всвиъ хулителямъ «Ревизора» и покровителямъ пошловатой комедін Загоскина «Недовольные», которую они хотвли противопоставить первому. Это возражение носило просто заглавие: «Отъ Бълинскаго», и объявляло Гоголя безоглядно великимъ европейскимъ художникомъ, упрочивая окончательно его положение въ русской литературъ. Бълинскій самъ вспоминаль впослёдствіи съ нъкоторой гордостью объ этомъ подвигь «прямой», какъ говорилъ, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла (см. библіографическое изв'ястіе о выход'я «Мертвыхъ Душъ», VI, 396, 400, 404 etc.). Таковы были услуги Бълинскаго по отношенію къ Гоголю; но послъдній не остался у него въ долгу, какъ увидимъ.

Николай Васильевичъ Гоголь жилъ уже заграницей въ описываемое нами время, и уже два года, какъ основался въ Римѣ, гдѣ и посвятилъ себя всецѣло окончанію первой части «Мертвыхъ Душъ». Правда, опъ побывалъ въ Петербургѣ зимой 1839 года и читалъ намъ здѣсь первыя главы знаменитой своей поэмы, у Н. А. Проконовича, но Бѣлинскаго не было на вечерѣ: онъ находился случайно въ Москвѣ. Врядъ-ли Гоголь и считалъ тогда Бѣлинскаго за какую-либо падежную силу. По крайней мѣрѣ въ мимолетныхъ отзывахъ, слышанныхъ мною отъ него нѣсколько позднѣе (въ 1841 году, въ Римѣ) о русскихъ людяхъ той эпохи, Бѣлинскій не занималъ никакого мѣста. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарныя восноминанія отложены въ сторону. И понятно, — отчего:

между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московскомъ Наблюдатель», горькие отзывы Бълинскаго о некоторыхъ людяхъ того кружка, который уже призываль Гоголя спасти русское общество отъ философскихъ, политическихъ и вообще западныхъ мечтаній. Н. В. Гоголь видимо склонялся къ этому призыву и начиналъ считать настоящими своими ценителями людей надежнаго образа мыслей, очень дорожащихъ тъмъ самымъ строемъ жизни, который подвергался обличению и осмънню. Николай Васильевичъ вспомнилъ о Бълинскомъ только въ 1842 году, когда для успъха «Мертвыхъ Душъ» въ публикъ, уже представленныхъ на цензуру, содъйствие критика могло быть не безполезно. Онъ устроилъ тогда одно тайное свиданіе съ Бълинскимъ, въ Москвъ, гдъ послъдній случайно находился, и другое, хотя и не тайное, по совершенно безопасное, въ кругу своихъ петербургскихъ знакомыхъ, не имвршихъ никакихъ соприкосновеній съ литературными партіями: секретъ свиданій былъ дъйствительно сохраненъ, но, какъ я узналъ послъ, они нисколько не усибли завязать личныхъ дружескихъ отношеній между писателями. Все это было, однакоже, еще впереди и случилось уже въ мое отсутствіе изъ Петербурга и Россіи.

Теперь же, наканунъ моего отъбзда за-границу въ 1840 г., Бълинскій какъ-то особенно быль погружень въ изученіе и пересмотръ гоголевскихъ сочиненій. Онъ и прежде пропитался молодымъ писателемъ настолько, что безпрестанно цитировалъ разныя лаконически-юмористическія фразы, столь обильныя въ его твореніяхъ, но теперь Бълинскій особенно и страстно занимался выводами, какіе могутъ быть сдёланы изъ нихъ и вообще изъ дёятельности Гоголя. Можно было подумать, что Бёлинскій повёряеть Гоголемъ самыя начала, свойства, элементы русской жизни, и ищетъ уяснить себъ, въ какихъ отношеніяхъ стоятъ произведенія поэта къ собственнымъ философскимъ его, Бълинскаго, воззръніямъ, и какъ они съ ними могутъ ужиться. Здёсь слёдуетъ замётить, что время измёненія и перелома въ созерцании Бълинскаго опредълить весьма трудно нвкоторой точностію. Фактически несомнівню, что въ слівдующемъ 1841 году свершился мгновенный поворотъ критика къ новымъ убъжденіямъ, но приготовлялся онъ ранве и тогда, когда критикъ еще не покидалъ старой почвы и старой теоріи. Я сохраняю убъжденіе, что вижстю съ другими агентами его отрезвленія — уроками жизни, развитіемъ собственной его мысли и внушеніями друзей — Лермонтовъ и Гоголь были не последними агенттии, что доказывается и статьями о нихъ, написанными Вёлинскимъ въ теченіи 1840 года. Подъ дъйствіемъ поэта реальной жизни, какимъ былъ тогда Гоголь, философскій оптимизмъ Белинскаго долженъ былъ

разложиться, какъ только его серьёзно соноставили съ картинами русской дѣйствительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь бѣдѣ, — слѣдовало или соглашаться съ художникомъ, обѣщающемъ еще много новыхъ созданій, въ томъ же духѣ, или покинуть его, какъ не понимающаго той жизни, которую изображаетъ. Притомъ же обличенія Гоголя довершали рядъ обличеній, начатыхъ уже самымъ строемъ жизни и критическимъ умомъ Бѣлинскаго прежде. Конечно, болѣе правильное пониманіе извѣстной формулы Гегеля о тождествѣ дѣйствительности и разумности, освободившее умъ Бѣлинскаго отъ философскаго обмана, дано было совсѣмъ не Гоголемъ, но Гоголь его нодкрѣпиль. Такимъ-то образомъ расплачивался Николай Васильевичъ съ критикомъ за все, что получилъ отъ него для уясненія своего призванія; но вотъ что замѣчательно: обоимъ имъ суждено было помѣняться ролями и разойтнсь по тѣмъ же дорогамъ, по которымъ пришли другъ къ другу. Пока Бѣлинскій, выведенный однажды на почву реализма, прокладывалъ себѣ дорогу все далѣе и далѣе по одному направленію, — романистъ, снособствовавшій ему обрѣсти этотъ вѣрно намѣченный путь, возвращался самъ, послѣ долгихъ блужданій, къ той исходной точкѣ, на которой стоялъ, при самомъ началѣ, его критикъ. Обмѣнявшись мѣстами, они уже, каждый съ своей стороны, стремились достичь крайнихъ, нослѣднихъ выводовъ своего положенія, и оба одипаково умерли страдальцами и жертвами напряженной работы мысли — мысли, обращенной въ различныя стороны.

ÎX.

Что касается Лермонтова, то Бѣлинскій, такъ-сказать, овладѣваль имъ и входиль въ его созерцаніе медленно, постепенно, съ насиліемъ надъ собой. При нервомъ появленіи знаменитой Лермонтовской думы: «Печально я гляжсу на наше покольное», помѣщенной въ № 1-мъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, — этого монолога, надъ которымъ, впослѣдствіи, критикъ долго и часто задумывался, которымъ не могъ насытиться и о которомъ позднѣе не могъ наговориться, — Бѣлинскій, еще жившій въ Москвѣ, выразился коротко и ясно: «Это стихотвореніе энергическое, могучее по формѣ», — сказалъ онъ, — «но нюсколько прекраснодушное по содержанію». Извѣстно, что выражалъ эпитетъ «прекраснодушный» въ нанемъ философскомъ кружкѣ. Однакоже Бѣлинскій не успѣлъ отдѣлаться отъ Лермонтова однимъ рѣшительнымъ приговоромъ. Несмотря на то, что характеръ лермонтовской поэзіи противорѣчилъ

временному настроенію критика, молодой поэть, по силѣ таланта и смѣлости выраженія, не переставаль волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтовь втягиваль Бѣлинскаго въ борьбу съ собою, которая и происходила на нашихъ глазахъ. Ничто не было такъ чуждо сначала всѣмъ умственнымъ привычкамъ и эстетическимъ убѣжденіямъ Бѣлинскаго, какъ иронія Лермонтова, какъ его презрѣніе къ теплому и благородному ощущенію въ то самое время, когда оно зарождается въ человѣкѣ, какъ его горькое разоблаченіе собственной своей пустоты и ничтожности, безъ всякаго раскаянія въ нихъ и даже съ нѣкотораго рода кичливостію. Новость и оригинальность этого направленія именно и привязывали Бѣлинскаго къ поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Бълинскій не распознаваль въ Лермонтовъ отголоска французскаго байронизма, какъ этотъ выразился въ литературъ парижскаго переворота 1830 года и въ произведеніяхъ «юной Франціи», — а также и примъси нашего русскаго великосвътскаго фрондёрства, построеннаго еще на болъе шаткихъ основаніяхъ, чёмъ парижскій скептицизмъ и отчаяніе. Но онъ имъ отыскиваль другія причины и основанія, а не тѣ, которыя выходили изъ самой жизни поэта. Художническій таланть Лермонтова закрываль лицо поэта и мъшаль распознать его. Кромъ замъчательной силы творчества, которую онъ постоянно обнаруживаль, онъ еще отличался проблесками безпокойной, пытливой и независимой мысли. Это уже была новость въ поэзіи, и, по теоріи, источпика ея приходилось искать въ долгомъ трудъ головы, въ пламенномъ сердив, мучительномъ опытв и проч., хотя бы пришлось для этого мпогое наговорить на нихъ. И вотъ, Бълинскій принялся защищать Лермонтова—на первыхъ порахъ отъ Лермонтова-же. Мы помнимъ, какъ онъ носился съ каждымъ стихотвореніемъ поэта, появлявшимся въ «Отечественныхъ Зацискахъ» (они постоянно тамъ печатались съ 1839 года), и какъ онъ прозрѣвалъ въ каждомъ изъ нихъ глубину его души, больное, нъжное его сердце. Позднъе, онъ также точно носился и съ «Демопомъ», находя въ поэмъ, кромъ изображенія страсти, еще и пламенную защиту человъческаго права на свободу и на неограниченное пользование ею. Драма, развивающаяся въ поэмъ между миоическими существами, имъла для Бълинскаго совершенно реальное содержаніе, какъ біографія или мотивъ изъ жизни дъйствительнаго лица.

Памятникомъ усилій Вѣлинскаго растолковать настроеніе Лермонтова въ наилучшемъ смыслѣ остался превосходный разборъ романа «Герой пашего времени», отъ 1840 года. Здѣсь-то, спасая Печорина отъ обвиненія въ дикихъ порывахѣ, въ циническихъ вы-

ходкахъ безнрестанно-рисующагося и себя оправдывающаго эгоизма, что сдълало бы его лицомъ противо-эстетическимъ, а стало быть, по теоріи, и безнравственнымъ, Бълинскій находитъ гинотезу, способную дать ключъ къ уразумънію наиболье возмутительныхъ поступковъ героя. Вълинскій пишетъ по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, въ высшей степени искусственную и краснорвчивую. Найденная имъ гипотеза состоитъ въ томъ, что Печоринъ еще ненолный человъкъ, что онъ переживаетъ минуты собственнаго развитія, которыя принимаеть за окончательный выводъ жизни, и самъ ложно судитъ о себъ, представляя свою особу мрачнымъ существомъ, рожденнымъ для того, чтобы быть налачомъ ближнихъ и отравителемъ всякаго человъческаго существованія. Это его недоразумъніе и его клевета на самого себя. Въ будущемъ, когда Печоринъ завершитъ полный кругъ своей дъятельности, онъ представляется Бълинскому совсъмъ въ другомъ видъ. Его строгое, полное и чуждое лицемърія самоосужденіе, его откровенная провърка своихъ наклонностей, какъ бы извращены онв ни были, а главное—сила его духовной природы, служать залогами, что подъ этимъ человъкомъ есть другой, лучній человъкъ, который только переживаеть эпоху своего искуса. Бълинскій пророчиль даже Печорину, что примиреніе его съ міромъ и людьми, когда онъ завершить всѣ естественные фазисы своего развитія, произойдеть именно черезъ женщину, такъ унижаемую, попираемую и презираемую имъ теперь. Какъ добрая нянька, Бълинскій слъдитъ далъе за всъми движеніями и помыслами Печорина, отыскивая при всякомъ случав всевозможныя облегчающія обстоятельства для снисходительнаго приговора надъ нимъ, надъ его невыносимой претензіей играть человъческою жизнію по произволу и дълать кругомъ себя жертвы и трупы своего эгоизма. Одинъ только разъ Бълинскій останавливается передъ выходкой Печорина, совершенно растерянный, не находя уже словъ для улененія грубой мысли героя и признаваясь, что пе понимаетъ его. Случилось это тогда, когда Печоринъ, при мысли, что обольщенная имъ женщина проведетъ ночь въ слезахъ, чувствуетъ трепетъ неизъяснимаго блаженства и проговариваетъ: «Есть минуты, когда я понимаю вамнира!—а еще слыву добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!»—«Что такое вся эта сцена?» восклицаетъ вансь этого названи: — «Что такое вси эта сцена?» восклицаеть наконець Бѣлинскій. — «Мы понимаемь ее только, какъ свидѣтельство, до какой степени ожесточенія и безиравственности можеть довести человѣка вѣчное противорѣчіе съ самимъ собою, вѣчно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истиннаго блаженства, но послыдней ея черты мы рышительно не понимаемт»...

Такъ боролся Бѣлинскій съ Лермонтовымъ, который, нодъ ко-

нецъ, однако же одолълъ его. Выдержка у Лермонтова была замъчательная: онъ не сказалъ никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стеченію обстоятельствъ, очень своеобразно; онъ шелъ прямо и не обнаруживалъ никакого намфренія измфнить свои горделивыя, презрительныя, а подчасъ и жестокія отношенія къ явленіямъ жизни на какое-либо другое, болъе справедливое и гуманное представление ихъ. Продолжительное наблюдение этой личности, вмъстъ съ другими, родственными ей по духу на Западъ, забросили въ душу Бълинскаго первыя свмена того позднейшаго ученія, которое признавало, что время чистой лирической поэзіи, свътлыхъ наслажденій образами, психическими откровеніями и фантазіями творчества — миновало, и что единственная поэзія, свойственная нашему в'яку, есть та, которая отражаеть его разорванность, его духовныя немощи, плачевное состояніе его сов'єсти и духа. Лермонтовъ быль первымь челов'єкомъ на Руси, который навель Бълинскаго на это созерцание, впрочемъ, уже подготовленное и самымъ психическимъ состояніемъ критика. Оно пустило обильные ростки впоследствіи.

Такимъ образомъ, всв матеріалы для устраненія отвлеченнаго, философскаго принципа, вся нужная подготовка для выхода изъ фальшиваго псевдо-гегелевскаго оптимизма были уже тенерь на-лицо; но Вёлинскій освобождался отъ стараго воззрінія, такъ тщательно воснитаннаго имъ въ себъ, медленно, какъ отъ любви, хотя уже съ половины 1840 года онъ не могь вспоминать и говорить безъ ужаса и отвращенія о стать в своей: «Менцель», которою онъ открыль этотъ замвчательный годъ своей жизни и которая была написана имъ еще въ Москвъ (1839 г.). Эстетическія статьи, о которыхъ мы сейчась говорили, последовавшія за ней, были плодомъ уже петербургскихъ его думъ. На нихъ еще лежитъ во многихъ мъстахъ отблескъ стараго направленія, но съ ними снова выходилъ на литературную арену замвчательный критикъ въ полномъ обладании своей мыслыю и своимъ увлекательнымъ словомъ. Проснулись всъ его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журнальными рецензіями, - он'в составляли почти событыя въ литературномъ мірѣ того времени. Всв онв установляли новыя точки зрвнія на предметы, читались съ жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатление на современную публику, на всёхъ насъ, какіе бы оттёнки прежнихъ, не внолить покинутых в убъждений, еще ни встрычались вы нихь, и какъ бы самъ авторъ ни осуждалъ впоследствии некоторыя изъ ихъ положеній и приговоровъ, за излишній шыль и черезъ міру высокій тонъ ихъ. Белинскій, какъ критикъ-художенкъ, являлся действительно человѣкомъ власти и могущества, подчиняющимъ себѣ. Достаточно вспомнить для объясненія обаятельнаго дѣйствія всѣхъ его рецензій 1840 года, послѣ «Менцеля», что въ каждой изъ нихъ происходила, такъ-сказать, художническая анатомія дашнаго произведенія, открывалось его внутреннее строеніе съ очевидностью и осязательностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще п бо́льшее наслажденіе, чѣмъ чтеніе самаго оригинала. Это было возстановленіе произведенія, только уже проведеннаго, такъ-сказать, черезъ душу и эстетическое чувство критика и получившаго отъ соприкосновенія съ ними новую жизнь, бо́льшую свѣжесть и болѣе глубокое выраженіе. Такъ, въ художническо-эстетической критикѣ 1840 года, Бѣлинскій находилъ выходъ пзъ опутавшаго его философскаго догматизма. Съ этимъ направленіемъ я его и оставилъ, при моемъ отъѣздѣ за-границу.

\mathbf{X}

Прежде отъёзда миё пришлось, однако же, побывать опять въ Москвё. На этотъ разъ Вёлинскій снабдилъ меня письмомъ къ Василію Петровичу Боткину, котораго я вовсе не зналъ, но о которомъ много и часто говорилось при мнё. Я побёжалъ къ нему при первой возможности. Это было въ половинё іюня 1840 года.

Я засталь В. П. Боткина, въ бесёдкё сада, прилегавшаго къ извёстному дому Боткиныхъ на Моросейкё. Тутъ онъ устроилъ себё очень изящный лётній кабинетъ, гдё и проводиль всё свободные свои часы, окруженный многочисленными изданіями Шекснира и комментаріями на него европейскихъ изслёдователей. Онъ составляль тогда статью о Шекспирё. Я нашель въ Боткинё тёхъ временъ молодого человёка въ красивомъ парикё, съ чрезвычайно умными и выразительными глазами, въ которыхъ меланхолическій оттёнокъ постоянно смёнялся огоньками и вспышками, свидётельствовавшими о физическихъ силахъ, далеко не покоренныхъ умственными занятіями. Онъ былъ блёденъ, очень строенъ, и на губахъ его мелькала добродушная, но какъ-то осторожная улыбка, — словно врожденный его скептицизмъ, по отношенію къ людямъ, сохранялъ надъ нимъ свои права и въ области безграничнаго идеализма, въ которой онъ тогда находился.

Впослъдствіи оказалось, что онъ стояль па границѣ радикальнаго правственнаго переворота, котораго и самъ еще не предчувствоваль. Никто не обращаль вниманія на внезапные проблески страсти на лицѣ и въ рѣчахъ, которыя часто прорывались у него,

и никому не приходило въ голову подозрѣвать, что въ немъ живетъ еще другой человѣкъ, кромѣ того, котораго знали и любили окружающіе его друзья и товарищи.

Мы, разумъется, разговорились о Бълинскомъ и о его мучительныхъ исканіяхъ выхода изъ положеній, очень основательно выведенныхъ изъ даннаго тезиса и очень несостоятельныхъ въ приложеніяхъ къ практической жизни. «Онъ платится теперь, — сказаль мнъ задумчиво и какъ-то строго Боткинъ, словно обращаясь къ самому себ'в, -- за одну, весьма важную ошибку въ своей жизни -- за презрѣніе къ французамъ. Онъ не нашель у нихъ ни художественности, ни чистаго творчества, и за это объявилъ имъ непримиримую вражду, а между тъмъ -- безъ знанія ихъ политической пропаганды о нихъ и судить не слъдуетъ. Ваше Петербурге принесетъ Бълинскому большую пользу въ этомъ отношении: онъ непремънно измънитъ его взглядъ на французовъ». Нашъ Петербургъ однако же не быль въ настоящей мысли Боткина такой панацеей для Бълинскаго отъ заблужденій, какъ опъ это заявлялъ. Изъ обширной переписки, которую велъ Боткинъ съ Бълинскимъ въ то время, оказалось, что другъ критика еще очень боялся, чтобы на новой почвъ и отдъленный отъ своего естественнаго, московскаго круга критикъ не выпустиль изъ вида великія начала философскаго пониманія предметовъ литературы и нравственности!

Разборъ Гоголевскаго «Ревизора», паписанный Бѣлинскимъ тогда же, нослужилъ отвѣтомъ на эти напрасныя опасенія. Такъ какъ статья эта составляеть вмѣстѣ съ тѣмъ и біографическую черту изъ жизни критика, то я и остановлюсь на ней.

Можеть быть, нигдё въ сильнейшей степени не сказались все самыя видныя качества эстетической критики Бълинскаго, о которой говорили, какъ именно въ этомъ разборъ «Ревизора», котораго Бълинскій противопоставляль «Горю оть ума». Здісь каждое движеніе души у Хлестакова, городничаго, его жены, дочери, да и вообще у дъйствующихъ лицъ комедіи выслъжено съ неутомимостію мыслителя-исихолога, разръшающаго трудную задачу, которая ему предложена; каждый намекъ на ихъ характеры, часто заключающійся въ одномъ словъ или бъглой черть уловленъ со вдохновеніемъ, можно сказать, равносильнымъ художническому. Весь ходъ творческой мысли автора разобранъ до мельчайшей подробности, и читателю статьи невольно кажется, что онъ присутствуеть въ какойто критической лабораторіи, гдв разлагаются передъ его глазами всв замыслы, пріемы и дальновидные разсчеты художническаго производства. Тайнъ чужой работы для Бълинскаго какъ-бы не существуетъ. Между прочимъ здъсь находилось множество мыслей, которыя потомъ, къ удивленію, были усвоены самимъ Гоголемъ и встрѣ-чаются въ его собственной защитѣ своей комедіи, какъ, напримѣръ, мысль, что грубая ошибка городинчаго, принявшаго мальчишку Хлс-стакова за ревизора, есть дѣйствіе встревоженной совѣсти. «Не грозная дъйствительность, а призракъ, фантомъ или, лучше сказать, тънь отъ страха виповной совъсти должна была наказать человъка призраковъ (городничаго)», говорилъ Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ. Даже знаменитое положеніе Гоголя, что честное существо въ «Ревизоръ» есть смъхъ, даже и оно сказано было Бълинскимъ прежде. Упомянувъ, что основа трагедін всегда зиждется на борьбъ, возбуждающей сострадание и заставляющей гордиться достоинствомъ человъческой природы, Бълинскій продолжаеть: «такъ и основа ко-медін—на комической борьбъ, возбуждающей смѣхъ; однако же, въ этомъ смъхъ пе одна веселость, но и мщение за униженное человыческое достоинство, и, таким образом, другим путем, нежели в трагедіи, но опять-таки открывается торжество нравственнаго закона»; и много еще подобныхъ мъсть заключалось въ статьъ. Я не вывожу изъ этого сближенія никакихъ заключеній, хотя и позволительно думать, что Гоголь читаль статью Вѣ-линскаго, по крайней мѣрѣ, весьма впимательно. Что же касается до «Горя отъ ума», то Вълинскій считаль комедію изумительной картиной нравовъ и геніальной сатирой, но не находиль въ ней художнически-построеннаго созданія и, восхищаясь ею, сожальль, что не можеть приложить къ ней тъхъ способовъ философско-эстетическаго апализа, которые употребляль для разбора «Ревизора». Онь быль еще связань теоретическими запрещеніями и ограниченіями; и немного поздніве, въ эпоху обращенія къ политическимь и общественнымь вопросамь, о которой пророчиль В. П. Боткинь, Вілинскій самъ считалъ этотъ приговоръ далеко не исчернывающимъ всего значенія комедін Грибовдова.

Между прочимъ, въ это же самое время, Бѣлинскій покончиль всѣ разсчеты и связи съ человѣкомъ, котораго онъ цѣнилъ еще недавно очень высоко и котораго глубоко уважалъ и любилъ, — съ Н. А. Полевымъ. Подъ гнетомъ тяжелыхъ обстоятельствъ жизни, Н. А. Полевой, сдѣлавшійся издателемъ «Сына Отечества», нерешель на сторону враговъ философскаго движенія въ Россіи и самаго развитія независимой, критической журнальной дѣятельности, эру которой, между прочимъ, онъ самъ же и открылъ у насъ. Отзываясь теперь презрительно и насмѣшливо о молодыхъ поныткахъ отыскать какія-то особенныя начала для жизни и мысли, безъ справки съ оцытомъ и условіями времени, Полевой думалъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ въ томъ кругу людей и понятій, къ которымъ

пристроился послѣ паденія «Московскаго Телеграфа». Но разсчеть его и туть не удался. Онь быль имь подозрителень и тогда, когда защищаль ихь. Всего этого было, однакоже, довольно, чтобы потушить у Бѣлинскаго тѣ искры привязанности, которыя онь постоянно питаль въ душѣ къ прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Онъ это и высказаль откровенно въ разборѣ «Очерковъ русской литературы» Н. А. Полевого, разборѣ, который можетъ стать рядомъ съ прежнимъ его разборомъ дѣятельности С. П. Шевырева по яркости красокъ и убѣдительности доводовъ: оба эти разбора заслоняли людей поваго поколѣнія отъ вліянія авторитетовъ и репутацій, переставшихъ отвѣчать потребностямъ времени, и оба порѣшили участь двухъ значительныхъ именъ въ литературѣ.

Когда я вернулся послъ трехмъсячной лътней отлучки моей снова въ Петербургъ, я нашелъ въ Бълинскомъ большую перемвну. Бълинскій уже вышель изъ исихическаго кризиса, въ которомъ я его оставиль. Упреки, которые онь делаль себе въ глубине души и уединенно за свое недавнее увлечение, высказываль онъ теперь торжественно, явно, во всеуслышание. Тонъ и складъ его разговоровъ проникнутъ былъ самообличениемъ самымъ яркимъ и безпощаднымъ. Онъ уже пережилъ и позабылъ боль скорбныхъ признаній и дълалъ ихъ теперь публично. Получая укоры со всъхъ сторонъ, Бълинскій уже свободно разбираль ихъ, оправдываль и пополняль. Станкевичъ писалъ изъ Берлина съ изумленіемъ о новых теоріяхъ, народившихся въ Петербургъ; о негодованіи же въ кругъ Г., въ которомъ числился, кромѣ О. и другихъ, тогда еще и Грановскій, было уже нами сказано выше. Даже и обличенія постороннихъ лицъ, гораздо менъе друзей стъснявшихся пріискиваніемъ позорныхъ источниковъ для объясненія ультраконсервативной д'ятельности Б'ялинскаго, находили въ немъ своего адвоката. Онъ становился на сторону своихъ диффаматоровъ, досказывалъ имъ самъ черты, которыя могли бы усилить ядовитость ихъ полемики, и только для себя не находиль никакого оправданія. Такъ разрѣшался его кризись. Можно было подумать, что Бълинскій находить что-то облегчающее для себя въ этихъ безпрестанныхъ истязаніяхъ своей репутаціи. Черта такого самобичеванія проявлялась у Бълинскаго иногда и безъ особенно важныхъ поводовъ, порождая ипогда уморительныя и юмористическія всимшки. Изв'єстно, что нашъ критикъ погр'єшиль еще въ 1839 г. пятиактной, скучно-психической и сентиментальной комедіей («Пятидесятил'єтній дядюшка»), о которой не любиль вспо-минать, и которой стыдился. Однажды и уже черезъ н'єсколько л'єть после ея появленія, когда Белинскій имель въ литературе значительное имя и вліяніе, онъ быль представлень гдё-то извёстному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который съ перваго же слова объявиль, что онъ не сочувствуеть его критической дёятельности, но за то находить комедію его геніальной вещью. Вёлинскій затёмъ уже никогда не могъ вспомнить объ этомъ отзывё безъ выраженія безмёрнаго изумленія, какъ будто дёло шло о чемъ-то совершенно невозможномъ и неестественномъ.

Достойно замъчанія еще и то обстоятельство, что смыслъ вообще философскихъ статей Бълинскаго не быль разгаданъ и паттріотами-консерваторами эпохи, которымъ статьи должны были бы придтись по сердцу, и которые, наобороть, присоединились къ толив, преследовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма радъвшіе, какъ о внутреннемъ, такъ и о внъшнемъ достоинствъ русской жизни, какъ, напримъръ, С. Шевыревъ, не угадали помощи, какую приносять статьи Бълинскаго ихъ собственному дёлу, по множеству очень умныхъ и дёльныхъ замётокъ о исихологіи народной, которыя въ нихъ заключались и онередили науку о психической жизни народовъ, нынъ появившуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманномъ языкъ Бълинскаго — и далъе не ношли, довольствуясь случаемъ лишній разъ поглумиться надъ противникомъ. Такимъ образомъ, большого политическаго смысла не обнаружилось ни съ той, ни съ другой стороны, но откуда же и было взять его тогда? Первые проблески нъкотораго политическаго смысла зародились у насъ только въ раз-гаръ великаго спора между славянофилами и западниками, тамъ они и окръпли, о чемъ будемъ говорить далъе.

XI.

По осени того же 1840 года, явился въ Петербургъ молодой человѣкъ, М. К—въ, изъ Москвы, переводчикъ «Ромео и Юліи», уже составившій себѣ репутацію человѣка съ основательными филологическими познаніями и съ замѣчательными способностями къ отвлеченному мышленію и къ критикѣ идей. Но въ это время онъ преслѣдовалъ еще и другія цѣли, стараясь показаться человѣкомъ не только энциклопедическаго образованія, но и страстныхъ житейскихъ увлеченій, занимаясь точно также философскими соображеніями, поэзіей, искусствомъ и творчествомъ, какъ и сообщеніемъ своей физіономіи демоническаго выраженія. Желаніе прослыть человѣкомъ, способнымъ понимать и чувствовать въ себѣ всѣ стороны существованія, бросало его, по временамъ, въ необычайныя попыт-

ки, подсказывало действія и порывы совершенно фантастическаго характера, частію искренніе, такъ какъ онъ действительно обладаль страстной, увлекающейся натурой, а частію придуманные, въ видъ украшенія, отличія, полезной психической черты. Все это вивств довольно плохо вязалось съ планами ученой и труженической жизни, какіе онъ дълаль для себя, и создавало изъ него загадку для окружающихъ, чего опъ и хотвлъ. Уже съ 1839 года, К—въ былъ сотрудникомъ «Литературныхъ Прибавленій» и «Отечественныхъ Записокъ» г. Краевскаго, и вмъстъ съ Бълинскимъ, при обновленіи редакціи последняго журнала, очутился въ числе главныхъ его руководителей. По прибыти въ Петербургъ, онъ остановился также у И. И. Панаева, - орудія и агента этого обновленія. Онъ появился, однако же, не надолго, пробираясь въ Берлинъ, для окончанія философскаго и научнаго образованія во-первыхъ, а во-вторыхъ для исполненія одного долга чести. Какая-то старая и довольно грубая, хотя и морализующая, по обыкновенію, выходка Б. по поводу одной московской исторіи вызвала въ самомъ кабинетъ Бълинскаго порядочно безобразную сцену между К-вымъ и Б., когда оба они находились уже въ Петербургъ. Дъло должно было разръшиться дуэлью въ Берлинъ. Къ удовольствію друзей, принимавшихъ участіе въ противникахъ, дуэль не состоялась вовсе 1). Въ Петербургъ К-въ былъ предшествуемъ, какъ я сказалъ, репутаціей человъка нервнаго характера и оригинальнаго ума, питаемаго особенно знакомствомъ съ источниками господствовавшихъ тогда теорій, и, наконецъ, писателя, уже отличившагося мастерствомъ своимъ выражать итко и живописно оригинальныя стороны философскихъ идей, историческихъ эпохъ и предметовъ искусства вообще. Критическія статьи К—ва дійствительно возвіщали очень свівжій, разнообразный и сильный таланть; между ними остается мнъ памятной рецензія его на книгу Зиновьева: «Основаніе русской стилистики», гдф первое возникновение риторики, какъ науки, оправдывалось строемъ всей древней греческой жизни и цивилизаціи, и осязательно показывалась нельпость ея претензіи на званіе науки въ быту новыхъ обществъ. Тъмъ же характеромъ блестящаго изложенія и пониманія исторической и бытовой сущности вопросовъ отличаются и многія другія его статьи въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» и «Отечественныхъ Запискахъ» 1839 и 1840 гг. Вълинскій очень дорожиль его сотрудничествомъ въ «Отечествен-

¹⁾ При отъйзді моемь за границу, Білинскій, разсказывая подробности сцены, поручаль мні стараться о примиреніи враговь. "Выло бы большимь несчастіємь", говориль опь, "потерять такого человіка, какъ К—вь; дійствуйте особенно на Б.—онь же резонерь и на сділку пойдеть скоріве".

ныхъ Запискахъ» и ожидалъ отъ того большихъ послъдствій для журнала, чего, однакоже, не сбылось.

К-въ переживалъ тогда тотъ періодъ развитія, который можно назвать «свирыпостію молодости», и который часто разрівшается явленіями, которыя кажутся совершенно невозможными и дикими въ приложении къ лицу, узнанному нами позднъе, когда оно уже вполнъ опредълилось. Съ физіономіи его почти не сходило тогда выражение нъкотораго легкаго презрънія къ интеллигенціи, его окружавшей, а поступки его еще сильные выражали убъждение въ своемъ правъ пе дорожить ею. Бълинскій не составляль исключенія. К-въ ни мало не скрывалъ высокаго понятія о самомъ себъ и большихъ надеждъ, возлагаемыхъ имъ на свою будущность, и думаль, что они могуть служить достаточнымь основаниемь для снисходительнаго взгляда на его рёзкія выходки и несправедливости къ друзьямъ, которые только и занимались тъмъ, чтобъ поддержать, поощрить и укрыпить его дыятельность и вліяніе. Въ короткое время своего пребыванія въ Петербургъ, кромъ нъкоторыхъ библіографических статей, онъ перевель, вмёстё съ другими участниками, романъ Купера «Патфайндеръ» и составилъ этюдъ «Сарра Толстая», который появился въ «Отечественныхъ Запискахъ» почти передъ самымъ его отъёздомъ за границу. Бёлинскій, еще до напечатанія этого этюда, быль очень доволень имъ и даже много говориль о немъ, но не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ онъ перемвниль свое мнвніе объ этюдь, о чемь я уже узналь впосльдствіи. Ему сделались вдругь противны психическія изысканія въ области духа, анализъ неуловимыхъ чувствъ и ощущеній внутренпяго человъческого существованія, словомъ, вся та метафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьей К-ва, но которая начинала уже терять всякое значение для Бфлинскаго. Было и еще соображение. По всему складу мысли и деятельности К-ва, съ первыхъ же его шаговъ за границей, все яснъе оказывалось, что онь гораздо болье занять мыслію водворить въ своемъ отечествь новыя основы положительнаго созерцанія и вірованія, какія онъ открыль въ позднейшей философіи «Откровенія» Шеллинга, чемь призваніемъ работать на просвітленіе загрубізлой русской общественной среды, прямо и непосредственно, какъ того требовало время. Самъ К — въ скоро подтвердилъ всѣ догадки Бѣлинскаго. Еще въ Гамбургъ, ступая, такъ сказать, впервые на почву Европы, онъ ду-малъ, что успъхъ «Отечественныхъ Записокъ» доставитъ ему и Бълинскому средства безбъднаго существованія на всю жизнь, а менве чвиъ черезъ годъ онъ прекратилъ всв сношенія съ журналомъ. Было бы крайне поверхностно и мелочно объяснять дёло неясностію денежныхъ разсчетовъ между редакціей и сотрудникомъ ея, между тѣмъ какъ дѣло разъясняется вполнѣ отвращеніемъ К—ва слѣдовать по пути безповоротнаго отрицанія, которое боится и не желаетъ разъясненій. Въ 1842 году, онъ на этомъ основаніи подозрительно относился даже къ «Мертвымъ Душамъ» Гоголя, какъ я имѣлъ случай лично убѣдиться, и не столько къ поэмѣ, сколько къ будущимъ ея панегиристамъ, которыхъ предвидѣлъ и которыхъ болѣе опасался, чѣмъ выводовъ самаго произведенія. Въ глухую осень 1840-го года (октября 5-го), мы съ нимъ сѣли на послюдній пароходъ, отправлявшійся изъ Петербурга въ Любекъ. Бѣлинскій, Кольцовъ и Панаевъ провожали насъ до Кронштадта.

Я упомянуль имя Кольцова. Это была моя первая и послъдиля встръча съ этимъ замъчательнымъ человъкомъ. Какъ теперь смотрю на малорослаго, коренастаго поэта, со скулистой, чисто-русской физіономіей и съ весьма пытливымъ и наблюдательнымъ взглядомъ. Все время проводовъ онъ молчалъ, какъ-бы озадаченный и подавленный умными, а еще болже — развязными ржчами литературныхъ авторитетовъ, -- ръчами, которыя выслушивалъ съ покорнымъ вниманіемъ неофита. Это была какъ будто обязательная маска, принятая имъ въ литературномъ обществъ, которое такъ много дълало для распространенія его изв'ястности, потому что и ко мнв, совершенно безвъстному и нимало не вліятельному лицу кружка, онъ подошель, посль объда въ Кронштадть, со словами: «не забывайте, что вы обязаны насъ учить и просвъщать». Много было искренняго въ чувствъ, которое ему подсказывало подобныя слова, много въ нихъ было также и привычки, взятой въ постоянномъ обращении съ кругомъ писателей. Она не мъшала, однако же, сужденію. По словамъ Бълинскаго, не было человъка болье зоркаго, проницательнаго и догадливаго, чемъ Кольцовъ съ его спокойнымъ и покорнымъ видомъ: онъ распознавалъ людей сквозь кору наносной культуры и цивилизаціи и судиль о нихъ очень правильно и самостоятельно. Это не мъшало ему и въ жизни, и въ поэтической діятельности, отдавать по временамъ самого себя безповоротно во вліяніе и управленіе какой-либо излюбленной личности, чёмъ онъ тоже выражалъ свою русскую природу вполнъ. Бълинскій, напримъръ, распоряжался его мыслію и душой самовластно: кромъ того, что критикъ нашъ высвободилъ его народную и поразительнообразную ивснь отъ дурныхъ резонерскихъ привычекъ, онъ наввялъ также Кольцову сперва его религіозные гимны, а затымъ пробудилъ въ немъ зародыши поэтическаго созерцанія жизни и жажду по наслажденіямь бытія, какую оно за собой выводить. При Кольцовъ оставались, однако же, все та же оригинальная форма, тотъ

оборотъ и неподражаемый складъ рѣчи, на что бы она ни обращалась: эта черта, кажется, должна была бы остановить недавнія подозрѣнія, брошенныя на поэта въ присвоеніи чужой литературной собственности. Есть анекдотъ оть эпохи, теперь нами передаваемой, который Бѣлинскій повторяль не разъ. Въ разгарѣ московскаго философскаго настроенія, собрался однажды у В. П. Боткина кружокъ друзей, занимавшихся наукой наукъ, и притомъ собрался въ самомъ счастливомъ и веселомъ расположеніи духа. Тогда еще существовали для людей радости по вычитанной идеѣ, по открытію новаго фактора въ духовной жизни, по пріобрѣтенію новаго горизонта для мысли и т. д. Кружокъ ликовалъ одною изъ этихъ нематеріальныхъ, отвлеченныхъ и теперь уже немногимъ понятныхъ радостей. Случайно попалъ на него и Кольцовъ, конечно, пе вполиѣ уразумѣвавшій основанія восторженныхъ рѣчей своихъ друзей, но общее настроеніе подѣйствовало на него обаятельно. Онъ самъ просвѣтлѣлъ и, удалившись въ кабинетъ хозяина, сѣлъ за письменный его столъ и возвратился черезъ нѣсколько минутъ къ пріятелямъ съ бумажкой въ рукахъ. «А я написалъ пъсенку», сказаль онъ робко, и прочелъ стихотвореніе: «Пѣснь лихача Кудрявича», пьесу, которой по-своему какъ-бы отвѣчалъ и вторилъ шумной рѣчи молодыхъ московскихъ энтузіастовъ.

Не мѣтаетъ сказать мимоходомъ, что часть біографіи Кольцова, касающаяся его семейныхъ дѣлъ, кажется, должна быть принимаема теперь съ нѣкоторою осторожностью и оговоркой, необходимыхъ особенно для подтвержденія догадки, что собственно никакого преднамѣреннаго и обдуманнаго преслѣдованія со стороны родныхъ не было въ жизни Кольцова. Они тогда и долго потомъ еще не считали себя виновными передъ покойнымъ, и дѣйствительно могутъ быть—если не оправданы, то пощажены на судѣ потомства. Они жили по правиламъ, обычаямъ и воззрѣніямъ грубой культуры, которую унаслѣдовали отъ отцовъ, и понять не могли, что притѣсняютъ и наконецъ губятъ близкаго человѣка однимъ образомъ своихъ дикихъ понятій и своей жизнію по этимъ понятіямъ. Опи оскорбляли и мучили свою жертву беззлобно и безсознательно, и только въ этомъ и заключается именно трагизмъ семейнаго положенія Кольцова, обреченнаго на жизнь въ безобразной средѣ съ той степенью развитія, которую уже имѣлъ...

женія Кольцова, обреченнаго на жизнь въ безобразной средѣ съ той степенью развитія, которую уже имѣль...

Мы такъ и уѣхали, оставивъ Бѣлинскаго при разработкѣ эстетическихъ началъ, которыя онъ понималъ далеко не такъ узко, какъ положено думать объ эстетическихъ пріемахъ вообще. По нѣкоторымъ чертамъ, мною уже приведеннымъ, можно судить, какое многозначительное содержаніе онъ сообщалъ имъ, а чѣмъ далѣе опъ

шелъ, тёмъ все большую широту получали и его эстетическія начала, обнимавшія не одни только условія и задачи искусства, но и связанные съ ними неразрывно вопросы жизпи и морали. Кстати, о послёдней. При отъёздё я уносилъ съ собой образъ Бёлинскаго преимущественно какъ нравоучителя и объ этомъ считаю нужнымъ сказать теперь нёсколько словъ.

Кто не знаетъ, что моральная подкладка всёхъ мыслей и сочиненій Вёлинскаго была именно той силой, которая собирала вокругъ него пламенныхъ друзей и поклонниковъ. Его фанатическое, такъ-сказать, исканіе правды и истины въ жизни не покидало его и тогда, когда онъ на время уходилъ въ сторону отъ нихъ. Авторитетъ его какъ моралиста никогда не страдалъ между окружающими отъ его заблужденій. Необычайная честность всей его природы и способность убѣждать другихъ и освобождать ихъ отъ дурныхъ приростовъ мысли, продолжали дѣйствовать на друзей обаятельно и тогда, когда онъ шелъ въ разрѣзъ съ ихъ убѣжденіями. Очеркъ его моральной проповѣди, длившейся всю жизнь его, былъ бы и настоящей его біографіей.

Къ концу 1840 года нравственное уже не выводилось имъ болье изъ полнаго устраненія своей личности, своего я, и изъ передачи всего себя въ лоно безпредъльной любеи, какъ въ первый (шеллинговскій) періодъ развитія; оно не заключалось также въ пониманіи самого себя, какъ высшаго творческаго момента въ деятельности всеобщаго разума и высшей идеи, какъ выходило по Гегелю. Безпредёльная любовь и абсолютное понимание своей духовной сущности, какъ начала, изъ которыхъ вытекаютъ всв правила жизни, замънялись другимъ и единственнымъ дъятелемъ. Теперь нравственное для Бёлинскаго состояло въ эстетическомъ воспитаніи самого себя, т.-е. въ пріобретеніи чуткости къ правде, добру, красотв, и въ усвоеніи неодолимаго органическаго отвращенія къ безобразію всякаго вида и рода. Я живо помню еще бесёды, въ которыхъ опъ развивалъ это положение. По его убъждению, хорошимъ пособіемъ для возведенія себя на степень разумнаго челов'вка и просвътленной личности можетъ служить изучение основныхъ идей въ истинно-художническихъ созданіяхъ. Всв эти основныя идеи суть вивств съ твиъ и откровенія моральнаго міра. Изъ разбора и усвоенія ихъ возникаетъ въ обществь, мало-по-малу, кодексъ нравственности, не писанный, безъ мраморныхъ таблицъ и хартій, но лучше ихъ укореняющійся въ сознаніи отдёльныхъ лицъ, лучше ихъ устроивающій внутренній быть челов'вка, а черезь челов'вка и быть цвлыхъ покольній. Каждый новый геніальный художникъ привноситъ, такъ-сказать, въ этотъ свободный кодексь правственных началъ

новую черту, новую подробность, которыя почерпнуты прямо изъ наблюденія и опредъленія элементовъ духовной природы человъка. Образуется рядомъ съ живущими, дъйствующими, писанными и неписанными, нужными и пенужными уставами общежитія и благочинія—другой уставъ, пеизмъримо болье свътлый, разумный и серьёзный, которому слъдуютъ люди, развитые эстетически. Человъкъ, воспитанный на міросозерцаніи великихъ художниковъ, поэтовъ, философовъ, мыслителей, подъ конецъ самъ становится способнымъ къ творчеству въ области правственныхъ идей, открываетъ новыя начала правды и возвъщаетъ ихъ, покоряясь имъ самъ и покоряя имъ другихъ. Бълинскій нашель очень много глубокихъ соображеній на этой почвъ, съ которой онъ сошелъ въ концъ своего поприща на другую, тоже давшую ему много немаловажныхъ выводовъ и о которой еще ръчь впереди.

И какъ онъ встрепенулся, когда около той же эпохи возвъщенъ былъ новый журналъ «Маякъ», долженствовавшій, какъ говорили, преимущественно способствовать возобновлению и развитию старой, до-Петровской и испытанной русской морали, позабытой нашимъ свътскимъ и литературнымъ обществомъ. Вълинскій прежде всвхъ бросился поднять эту перчатку. Онъ отозвался о скоромъ появленіи журнала враждебно и сердито, и передъ самымъ отъвздомъ моимъ показаль мнъ даже мъсто изъ приготовляемой имъ статьи, гдъ упоминалось о журналъ: «Въ нашу уснувшую литературу началь вкрадываться китайскій духь; онь началь пробираться не подъ своимъ собственнымъ, то-есть китайскимъ именемъ Дзунь-Кинь-Дзынь, а съ чужимъ наспортомъ, съ подложною фамиліей и назвался моральными духоми. Говорять, что добрые мандарины приняли благое намъреніе издавать на русскомъ языкъ журналь, имъющій цълію распространение въ русской литературъ этого благовонно китайскаго духа» (въ разборѣ «Ольги», романа автора «Семейства Холмскихъ»). Выдуманное китайское слово забавляло самого автора, но оно пе выражало еще вполнъ степени негодованія, объявшей его при извъстін о замыслів основать журналь для защиты отжившихь началь, хотя бы нівкогда и очень важной исторической эпохи. Все это было какъ-бы предчувствіемъ той ожесточенной борьбы, какую онъ поведеть скоро противь тъхъ же началь съ врагами, гораздо болье дъльными и многочисленными, чъмъ будущая редакція объщаннаго журнала *).

^{*)} По странной случайности, въ то самое время, когда обновленныя "Отечественныя Записки" принимали то направленіе, о которомъ говоримъ, въ Москві возникалъ журналъ "Москвитянинъ", который долженъ былъ служить какъ-бы противодъйствіемъ петербургскому изданію. "Москвитянинъ" былъ основанъ въ 1841 году.

Частыя нападки Вёлинскаго па моральничаные повели однакоже къ недоразуменію, которое чуть-ли не продолжается и до сихъ поръ. Надо припомнить, что Бълинскій вполнъ усвоиль себъ дъленіе Гегеля нравственныхъ началъ на двъ области: моральную (Moralität), къ которой онъ отнесъ болве или менве хорошо придуманныя правила общежитія, и собственно — нравственную (Sittlichkeit), которая объемлеть у него самые законы, управляющие исихическимъ міромъ человъка и порождающія этическія потребности и представленія. Сдёлавшись проводникомъ этихъ мыслей въ русской жизни, Бълинскій началь свой долгій подвигь преслъдованія въ литературъ и вообще явленіяхъ нашего общества того, что онъ называль моралью и моральничаньемъ. Когда возвратилось къ нему, послъ нъкотораго перерыва, его яркое и откровенное слово, онъ уже не прекращаль своего неусыпнаго гоненія на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у насъ въ театръ, словесности и жизни, такъ какъ посредствомъ его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и другихъ относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благовиднымъ, но коварнымъ резонерствомъ, желающимъ подмѣнить очевидные факты лживымъ ихъ толкованиемъ, все, что носило печать слабосильной, пустой сентенціи, разсчитанной на полученіе дешевымъ способомъ, безъ хлопотъ и усилій, репутаціи честности и порядочности, наконецъ, все, что отзывалось китайскимъ раболеннымъ отношениемъ къ старине и изувърскимъ отвращениемъ къ трудамъ новаго времени, все это клеймилось у Бълинскаго однимъ прозвищемъ «морали и моральничанья» и преследовалось со смелостью, весьма замечательной по тому времени. Безпощадное обличение этого чудовища «морали» разсвяно у него почти по всвиъ его статьямъ отъ той эпохи. Чтобы ознакомиться, какимъ энергическимъ языкомъ оно обыкновенно производилось, любопытные могуть прочесть любую изъ его резензій (см., напримёръ, рецензію на романъ Р. Зотова «Цинъ-кіу-Тонгъ», V, 261), или любой театральный отчеть (см. отчеть о комедіи С. Навроцкаго «Новый Недоросль», VI, 163;—Вѣлинскій писаль и театральные фельетоны при «Отечественныхь Запискахь»). Онъ достигъ того, что опошлилъ у насъ самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однакоже, даромъ. Она дала поводъ его врагамъ составить ему, пользуясь недоразумениемъ и игрой словъ, репутацію безиравственнаго существа, не признающаго законовъ, безъ которыхъ накакое общество держаться не можеть. Они успели объявить безправственнымъ человъка, который всю жизнь искалъ основныхъ принциповъ идеально благороднаго существованія на земль, который быль, на эло своимъ насмъшкамъ надъ моралью, однимъ

изъ замѣчательнѣйшихъ моралистовъ своей эпохи, и который проповѣдывалъ и поддерживалъ кругомъ себя спасительную ненависть ко всему пошлому, лицемѣрному, унижающему.

Я провель три года за границей, весьма мало получая извъстій изъ родины. Въ этотъ промежутокъ времени свершился весьма важный переворотъ въ психическомъ состояніи и въ направленіи всей дъятельности Бълинскаго,—а стало быть и въ его представленіяхъ о нравственномъ, какъ скоро увидимъ.

XII.

Мы покинули Петербургъ за непривычнымъ для него занятіемъ. Петербургъ принялся за чтеніе иностранныхъ газетъ: онъ былъ взволнованъ неожиданно Египетскимъ вопросомъ. Десять лѣтъ передъ тѣмъ, въ началѣ 30-хъ годовъ, публика наша очень мало интересовалась даже и такимъ событіемъ, какъ французскій переворотъ 1830 года, и не справлялась о причинахъ, его породившихъ. Теперь было нѣсколько иначе: по первому слуху о возможности столкновеній въ Европѣ, любопытство овладѣло даже и лѣнивыми умами. Иностранныя газеты и брошюры, насколько ихъ можно было достать, очутились въ рукахъ даже и наименѣе привычныхъ къ такой ношѣ. Потребность справляться о ходѣ дѣлъ въ Европѣ осталась, одпако-же, и по минованіи грозы. То, что прежде составляло, такъ-сказать, привилегію высшихъ аристократическихъ и правительственныхъ сферъ, становилось дѣломъ общимъ.

Влінніе, какое начинаеть оказывать съ 1840 года Европа и ея дѣла на тогдашнюю нашу интеллигенцію, заставляеть меня нехоти обратиться къ туристскимъ моимъ воспоминаніямъ и сказать нѣсколько словъ о томъ, что русскіе находили вообще въ современной Европѣ и преимущественно во Франціи, смѣнившей Германію въ ихъ благорасположеніи къ западнымъ культурамъ.

Итакъ, въ западной Европѣ, куда мы прибыли черезъ четыре дня довольно бурнаго плаванія,— шли большія приготовленія. Германія собиралась на войпу съ Франціей за принципъ законностии, нарушенный египетскимъ пашей, который вздумалъ перемѣнить вассальныя свои отношенія къ Портѣ на протекторатъ Франціи, поддерживавшей его въ этомъ намѣреніи. Англія, весьма мало интересовавшаяся принципами законности, когда они призывались европейскими кабинетами, поднялась первая за святость ихъ, когда дѣло пошло о Турціи. Правитлеьства континента страшно обрадовались этой поддержкѣ Англіи: она давала имъ возможность обнаружить,

безъ всякаго риска, сдерживаемую дотолѣ ненависть къ революціонной, безпринципной Франціи; народы ихъ, еще лишенные представительства, собирались биться съ врагомъ за свою честь, страдающую отъ самохвальства парижскихъ журналистовъ, отъ бравадъ республиканцевъ и лѣвой стороны французской палаты депутатовъ. Катавасія эта начинала сильно разгораться, когда мы высадились на берегъ въ Травемюнде. На одной станціи, по дорогѣ изъ Любека въ Гамбургъ, М. К—въ показалъ мнѣ, покуда намъ готовили завтракъ, листокъ нѣмецкой газеты, гдѣ сообщалась новинка, знаменитая патріотическая пѣсенка Беккера: «Sie sollen ihn (Рейна) пісһt haben», облетѣвшая потомъ всю Германію изъ конца въ конецъ.

Воинственное движеніе по поводу дикаго, свирѣпаго и, несмотря на лукавство свое, пошловатаго египетскаго эксплуататора, къ счастію, длилось не долго, что избавило Европу отъ удовольствія видѣть за французскими «contingents» фригійскія шапки, а за нѣмецкими «ландштурмами», — и нашихъ интендантскихъ чиновниковъ. Луи-Филиппъ утомился каждодневно слушать «Марсельезу» подъ окнами Тюльери и получать ежеминутно извѣстія о военно-революціонномъ настроеніи умовъ; а благоразумная Англія, заручившись трактатомъ почти со всей Европой, который гарантировалъ права Турціи, оставила его открытымъ на случай присоединенія къ нему Франціи, когда пожелаетъ. Все было спасено такимъ образомъ, и Нептуны съ береговъ Сены и Темзы могли безъ стыда вернуть назадъ выпущенную ими бурю и отойти на покой.

Когда все пріутихло въ сѣверо-германскомъ мірѣ, оказалось, что Франція не только не потеряла у него кредита, но чуть-ли онъ еще и не выросъ. По крайней мѣрѣ такъ можно было думать въ Берлинѣ, по соединеннымъ усиліямъ полиціи, церкви, науки, театра и даже балета — отклонить возбужденное вниманіе публики отъ Парижа и дѣлъ его. Цѣлыя вѣдомства и корпораціи въ Берлинѣ, казалось, только и думали о томъ, чтобъ бороться съ Парижемъ, мѣшать его вліянію, предохранять людей отъ его соблазновъ, какъ въ мірѣ идей, такъ и въ житейскомъ мірѣ, изобрѣтая, на замѣну ихъ, свои собственные соблазны, не столь рѣшительнаго и яркаго характера.

Не говоря уже о попыткахъ придать бѣдному тогда городу на рѣкѣ Шпрее фальшивое подобіе большой резиденціи и важнаго политическаго центра,—вплоть до 1848 года тамъ сочинялись проповѣди, выходили ученые трактаты, создавались философія и искусство для борьбы съ французскимъ нечестіемъ и для пристыженія его. Одинъ вопросъ проводился въ безчисленныхъ видахъ и

слышался, можно сказать, повсюду: допустить-ли солидный немецкій умъ, нъмецкая върность историческимъ преданіямъ, привязанность нъмцевъ къ своему очагу и домашнимъ порядкамъ, наконецъ, нъмецкая потребность добираться до ядра каждой мысли -- допустять-ли они восторжествовать надъ собой легкомыслію и нечестію одного романскаго племени, растерявшаго корепныя основы человъческаго и гражданскаго существованія. Вопросъ этотъ открыто ставился представителями власти, министрами, ораторами, съ церковныхъ канедръ, многими профессорами, журналистами, литераторами и художниками. Присмирълая, осторожная Франція Луи-Филиппа порождала такое сокровище тайной злобы и гнвва въ нвкоторыхъ оффиціальныхъ и консервативныхъ кругахъ, какого они не нашли у себя, когда та же Франція, черезъ 15 лѣтъ, тяготѣла почти надъ всѣми европейскими кабинетами *). Дѣло объясняется просто: іюльская революція 1830 года впервые нанесла тяжелый ударъ трактатамъ 1815 года и нравственнымъ и политическимъ основамъ, установленнымъ «Священнымъ Союзомъ». Рана, нанесенная Франціей 1830 года обычному порядку дѣлъ и теченію мыслей въ Европѣ, была далеко не смертельна, но эта рана все-таки больла и возбуждала тяжелыя мысли насчетъ исхода болъзни. Отсюда и крики, призывъ безчисленныхъ врачей и исканіе возможных в средствъ скораго исцеленія.

Покуда, однакожъ; всв попытки заслонить какъ-нибудь отъ глазъ людей Парижъ и Францію не вполнъ достигали желаемаго успъха. Тому много мъшала и такъ-называемая «юная Германія», обратившая у насъ тотчасъ же внимание на себя. Побъжденная десять лъть тому назадъ на улицахъ и площадяхъ, она успъла теперь захватить въ свои руки часть публицистики, философскую полемику и преимущественно обличение нъмецкой науки, жизни и нъмецкаго искусства: она открыто шла за знаменемъ и фортуной чужестраннаго народа, умъющаго такъ много ставить политическихъ и общественныхъ вопросовъ нередъ собой. Не то, чтобы партія эта имъла какую-либо плодотворную, государственную идею или обладала какимъ-либо ученіемъ, способнымъ отвъчать на всъ требованія. Она предприняла только расшевелить немецкій міръ и имела за собой даже и нъкоторое довольно значительное меньшинство осторожныхъ и хладнокровныхъ умовъ, которые возмущались долгимъ промедленіемъ въ исполненіи нівкоторыхъ торжественныхъ объщаній, данныхъ народамъ въ 1813 году и недавними попытками изманить,

^{*)} Разумѣется, при этомъ были, какъ и всегда, блестящія исключенія: такіе люди, какъ Гумбольдть, Варнгагенъ, Ранке, Гервинусъ, Гансъ и др., никогда не исповёдывали ужаса къ французскимъ идеямъ вообще и къ французскому обществу въ частности.

по возможности, смыслъ и сущность протестантизма. Большинство, однако же, сопротивлялось разлагающему дѣйствію «юной Германіи», сколько могло. Общество нѣмецкое, съ администраціей во главѣ, приняло тогда очень простую систему делить людей на два разряда: на людей, симпатизирующихъ Франціи, позабывъ всв многочисленныя ея вины передъ Германіей, и на людей, довъряющихъ нъмецкому генію, хотя бы онъ еще и не вполнъ обнаружиль всъ свои силы и средства. Этотъ послъдній отдълъ, покровительствуемый и высшими оффиціальными сферами, исповъдывалъ еще и ученіе, по которому всякой свободной политической дъятельности народа должна всегда предшествовать строгая подготовка къ ней въ безмятежномъ царствъ мысли, науки и теоріи. Берлинскій университеть, благодаря соединеннымъ усиліямъ администраціи и людей науки, выросъ самъ собой въ готовое царство такого рода: нъмецкая ученость процевтала тамъ, какъ нигдъ. Пользуясь правомъ ознакомность процвътала тамъ, какъ нигдъ. Пользунсь правошь ознакош-ленія съ курсами прежде выбора ихъ, мы каждый вечеръ ходили по аудиторіямъ и слушали знаменитѣйшихъ его профессоровъ. Я еще засталъ въ университетѣ почтеннаго Вердера, друга и учителя Стан-кевича, Грановскаго, Тургенева, Фролова и многихъ другихъ рус-скихъ. Онъ объяснялъ логику Гегеля и продолжалъ цитировать стихи и афоризмы изъ Гёте для сообщенія красокъ жизни и поэзіи отвлеченнымъ формуламъ учителя. Риттеръ, Шеллингъ тоже открыли свои курсы. Любопытна была для меня лекція Сталя — философапіэтиста и одного изъ будущихъ основателей газеты «Kreuz-Zeitung», который излагаль основанія, необходимыя для осуществленія истиннохристіанскаго государства, нигдъ еще не достигшаго вполнъ своего настоящаго типа, и т. д.

Однако же, либеральное, политическое движеніе умовъ, данное 1830 годомъ, не заглушалось конференціями берлинскаго университета, а напротивъ, еще росло подъ его тѣнію. Для поддержанія его существовали тогда и сильно шумѣли «Jahrbücher» Руге, чистореволюціонный органъ, тоже непокидавшій философизма, но сдѣлавшій его орудіємъ преслѣдованія нѣмецкихъ порядковъ и вообще скромности и узкости нѣмецкаго созерцанія жизни. Какъ-бы въ опроверженіе этого упрека отечественной наукѣ, Германія произвела пѣсколько ранѣе книгу, исполненную теологической эрудиціи и возбудившую, на первыхъ порахъ, повсемѣстный ужасъ— не только въ совѣтахъ и канцеляріяхъ, но и между отъявленными либералами— извѣстную книгу Штрауса. Свободное изслѣдованіе пачинало переростать требованія тѣхъ, которые его возбудили и защищали. Уже недалеко было то время, когда нѣмецкая эрудиція и теорія разовьетъ, особенно въ области теологіи и политической экономіи, такую

смѣлость выводовъ и положеній, что подскажеть тогдашнему газетному и клубному нашему мудрецу, Н. И. Гречу, его общеизвѣстное, глубокомысленное замѣчаніе. Около 1848 года онъ во всеуслышаніе говорилъ: «Не Франція, а Германія сдѣлалась теперь разсадникомъ извращенныхъ идей и анархіи въ головахъ. Нашей молодежи слѣдовало бы запрещать вздить не во Францію, а въ Германію, куда ее еще нарочно посылають учиться. Французскіе журналисты и разные революціонные фантазёры— невинные ребята въ сравненіи съ нъмецкими учеными, ихъ книгами и брошюрами». Онъ былъ правъ въ послъднемъ отношеніи, но покамъстъ можно было еще безопасно для своей нравственности оставаться въ Берлинв и свободно выбирать точку зрвнія и свою тенденцію между спорящими сторонами, У всякаго новопрівзжаго туда изъ русскихъ, соотечественники его, уже прожившіє нісколько літь въ этомъ центрів нізмецкой эрудиціи, шутливо спрашивали, если онъ изъявлялъ желаніе оставаться въ немъ: чъмъ онъ, прежде всего, намъренъ быть? епрнымъ-ли, благо-роднымъ нъмцемъ (der treue, edle Deutsche), или сустнымъ, взбал-мошнымъ французомъ (der eitle alberne Franzose?) О томъ, не захочетъ ли онъ остаться русскимъ—не было вопроса, да и не могло быть. Собственно русскихъ тогда и не существовало; были регистраторы, ассесоры, совътники всъхъ возможныхъ именованій, наконецъ, помъщики, офицеры, студенты, говоривше по-русски, но русскаго типа въ положительномъ смыслъ и такого, который могъ бы выдержать пробу, какъ самостоятельная и дъльная личность, еще не нарождалось.

Въ одномъ изъ берлинскихъ кафе (Подъ-Липами) у Спарньяпани, отличавшагося громаднымъ количествомъ нѣмецкихъ и иностранныхъ газетъ и журналовъ, я встрѣтилъ, однажды вечеромъ,
двухъ русскихъ высокаго роста, съ замѣчательно красивыми и выразительными физіономіями, Тургенева и Б—на, бывшихъ тогда
неразлучными. Мы даже и не раскланялись; ни съ однимъ изъ нихъ
я еще не былъ знакомъ и не предчувствовалъ близкихъ моихъ отношеній къ первому. Въ Берлинѣ же я распрощался и съ М. К--вымъ.
Онъ записался въ слушатели университета, а я отправился на югъ,
поближе къ Италіи, чтобы съ первыми весенними днями ступить
на ея классическую почву.

XIII.

Зиму 40-41 годовъ мнъ привелось прожить въ Меттерниховской Вѣнъ. Нельзя теперь почти и представить себъ ту степень тишины и нъмоты, которыя знаменитый канплеръ Австріи успъль водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждымъ проявленіемъ общественной жизни и безпредъльной подозрительности къ каждой новизнь, на всемъ пространствь отъ Богемскихъ горъ до Вайскаго залива и далве. Бывало, вдешь по этому великольнообставленному пустырю, какъ по улицъ гробницъ въ Помпеъ, посреди удивительнаго благочинія смерти, встрічаемый и провожаемый призраками, въ образъ таможенниковъ, пашпортниковъ, жандармовъ, чемоданщиковъ и визитаторовъ пассажирскихъ кармановъ. Ни мысли, ни слова, ни извъстія, ни митнія, а только ихъ подобія, взятыя съ оффиціальныхъ фабрикъ, заготовлявшихъ ихъ для продовольствія жителей массами и пускавшихъ ихъ въ оборотъ подъ своимъ штемпелемъ. Для созерцательныхъ людей это молчание и спокойствие было кладомъ: они могли вполнъ предаться изучению и самихъ себя и предметовъ, выбранныхъ ими для занятій, уже не развлекаясь людскими толками и столкновеніями партій. Гоголь, Ивановъ, Іорданъ и много другихъ жили полно и хорошо въ этой обстановкъ, осуществляя собою, еще задолго до Карлейля, некоторыя черты изъ его идеала мудраго человъка, благоговъйно поклоияясь геніямъ искусства и литературы, сберегая про себя святыню души, отдаваясь всвиъ своимъ существомъ избранному двлу и не болтая, зря, со всвии и обо всемъ, по последнему журналу. Но за мудрецами и за созерцательными людьми, виднёлась еще шумная, многоглазая толиа, не терпящая долгаго молчанія кругомъ себя, особенно при содъйствіи южныхъ страстей, какъ въ Италіи. Забавлять-то ее и сдёлалось главной заботой и политической мёрой правительствъ. Кто не слыхаль объ удовольствіяхь Візны и о постоянной, хотя и степенной, полицейски-чинной и разивренной оргіи, въ ней царствовавшей? Кто не знаетъ также о праздникахъ Италіи, о великольшных оркестрахь, гремьвшихь въ ней по площадямъ главныхъ ея городовъ каждый день, о духовныхъ процессіяхъ ея и объ импрессаріяхъ, поставлявшихъ оперы на ея театры, причемъ шумной итальянской публикъ позволялось. несмотря на двухъ бълыхъ солдать, постоянно торчавшихъ по объимъ сторонамъ оркестра съ ружьями въ рукахъ-бъситься какъ и сколько угодно. Развлекать толиу становилось серьёзнымъ, административнымъ дёломъ, -- но повторять эту картину, вследь за многими уже свидетелями, не предстоить здесь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только въ этомъ мірѣ, такъ хорошо устроенномъ, безпрестанно кидалась въ глаза и поражала меня. Несмотря на всю великолѣпную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещеніе иностранныхъ книгъ (въ моденскомъ герцогствѣ обладаніе книгой безъ цензурнаго штемнеля наказывалось ни болѣе, ни менѣе, какъ каторгой), французская безпокойная струя сочилась подъ всей почвой нолитическаго зданія Италіи и разъвдала его. Подземное существованіе ея не оставляло никакого сомнѣнія даже въ умахъ наименѣе любопытныхъ и внимательныхъ. Оно не было тайной и для австрійскаго правительства, которому оно безпрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временнымъ, случайнымъ правительствомъ въ предоставленныхъ ему провинціяхъ, и умножать, для самосохраненія, войско, бюджетъ, наблюденія, мѣропріятія и т. д.

Въ мартъ 1841 года я уже быль въ Римъ, поселился близъ Гоголя и видълъ папу Григорія XVI дъйствующимъ во всъхъ многочисленныхъ спектакляхъ римской Святой Недъли и притомъ дъйствующимъ какъ-то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную, домашнюю работу. Въ промежуткахъ облаченія и потомъ обрядовъ, онъ, казалось, всего болье заботился о себь, сморкался, откашливался и скучнымъ взоромъ обводилъ толиу сослужащихъ и любопытныхъ. Старый монахъ этотъ точно такъ же управлялъ и доставшимся ему государствомъ, какъ церковной службой: сонно и безстрастно переполнилъ онъ тюрьмы Папской области пе уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободъ, а преступниками, которые не могли ужиться съ монастырской дисциплиной, съ деспотической и вмъстъ лицемърно-добродушной системой его управленія. За то уже Римъ и превратился въ городъ археологовъ, нумизматовъ, историковъ отъ мала до велика. Всякій, кто усиввалъ продраться до него благополучно сквозь стть различнаго рода негодяевъ и мошенниковъ, его окружавшую, и отыскать въ немъ, наконецъ, спокойный уголъ, превращался тотчасъ же въ художника, библіофила, искателя редкостей. Я видель нашихъ отдыхающихъ откупщиковъ, старыхъ, степенныхъ номещиковъ, офицеровъ отъ Дюссо, зараженныхъ археологіей, толкующихъ о памятникахъ, камэяхъ, Рафаэляхъ, перемѣшивающихъ свои восторги возгласами объ удивительно-глубокомъ небѣ Италіи и о скукѣ, которая подъ нимъ безгранично царствуетъ, что много заставляло смѣяться Гоголя и Иванова: по вечерамъ, они часто разсказывали курьёзные анекдоты изъ своей многолѣтней практики съ русскими туристами. Къ удивленію, я зам'ятиль, что французскій вопрось далеко не безъинтересень даже и для Гоголя и Иванова, повидимому, усп'явшихь освободиться отъ суетныхъ волненій своей эпохи и цоставить себ'я опережающія ея задачи. Намекъ на то, что европейская цивилизація можеть еще ожидать отъ Франціи важныхъ услугь, не разъ им'яль силу приводить певозмутимаго Гоголя въ н'якоторое раздраженіе. Отрицаніе Франціи было у него такъ невозвратно и р'яшительно, что при спорахъ по этому предмету онъ терялъ обычную свою осторожность и осмотрительность, и ясно обнаруживаль не совс'ямъ точное знаніе фактовъ и идей, которыя затрогивалъ.

У Иванова доля убъжденія въ той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менве, но, какъ часто случается съ людьми глубоко-аскетической природы, — искущенія и сомнѣнія жили у него рядомъ со всѣми вѣрованіями его. Онъ никогда не выходиль изъ тревогь совъсти. Можно даже сказать про этого замъчательнаго человъка, что всъ самыя горячія попытки его выразить на дъль въ творчествъ свои върованія и убъжденія рождались у него такъ же точно изъ мучительной потребности подавить, во что бы то ни стало, волновавшія его сомнинія. И не всегда удавалось ему это. Притомъ же, наоборотъ, съ Гоголемъ, онъ ииталь затаенную неувъренность къ себъ, къ своему сужденію, къ своей подготовкъ для ръшенія занимавшихъ его вопросовъ, и потому съ радостію и благодарностію опирался на Гоголя, при возникающихъ безпрестанпо затрудненіяхъ своей мысли, не будучи, однако же, въ состояніи умиротворить ее вполнъ и съ этой поддержкой. Вотъ почему при неожиданно возникшемъ диспутъ нашемъ съ Гоголемъ, за объдомъ, у Фальконе, о Франціи (а диспуты о Франціи возникали тогда поминутно въ каждомъ городъ, семействъ и дружескомъ кругу), Ивановъ слушалъ аргументы объихъ сторонъ съ напряженнымъ вниманіемъ, но не сказалъ ни слова. Не знаю, какъ отразилось на немъ наше словопрение и чью сторону онъ втайнъ держалъ тогда. Дня черезъ два онъ встрътилъ меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повториль не очень замысловатую фразу, сказанную мною въ жару разговора: «Итакъ, батюшка, Франція — очагъ, подставленный подъ Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Онъ еще думаль о разговоръ, между тъмъ какъ Гоголь, добродушно помирившись въ тотъ же вечеръ со своимъ горячимъ оппонентомъ (онъ преподнесъ ему въ залогъ примиренія апельсинъ, тщательно выбранный въ лавочкъ, встрътившейся по дорогъ изъ Фальконе), забыль и думать о томъ, что такое говорилось часъ тому назадъ.

Надо сказать, что пренія по поводу Франціи и ея судебъ раз-

давались во всёхъ углахъ Европы — тогда, да и гораздо позднѣе, вплоть до 1848 года. Вёроятно, они происходили въ то же время и тамъ, далеко, въ нашемъ отечествѣ, потому-что съ этихъ поръ симпатіи къ землѣ Вольтера и Паскаля становятся очевидными у насъ, пробиваютъ кору нѣмецкаго культурнаго паслоенія и выходятъ на свѣтъ. Но и при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что русская интеллигенція полюбила не современную, дѣйствительную Францію, а какую-то другую — Францію прошлаго, съ примѣсью будущаго, т.-е. идеальную, воображаемую, фантастическую Францію, о чемъ говорю далѣе.

XIV.

Чёмъ болёе приходилось мнё узнавать Парижъ, куда я попалъ, наконецъ, въ ноябрё 1841 года, тёмъ сильнёе убёждался, что повода для зависти сосёдей онъ дёйствительно заключаетъ въ себё очень много, благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературе, и прочему, но — причинъ для сусвернаго страха передъ его именемъ онъ содержитъ весьма мало. Я засталъ Парижъ волею или певолею подчиненнымъ строго-конституціонному порядку; правда, что этого никто не хотёлъ видёть, а видёли только опасности, представляемыя народнымъ характеромъ французовъ, забывая при томъ коренное отличіе конституціоннаго режима, состоящее въ его способности мёшать развитію дурныхъ національныхъ сторонъ и наклонностей. Еще очень много было людей, считавшихъ даже это средство спасать народы отъ заблужденій и увлеченій опаснёе самаго зла, которое оно призвано цёлить.

Послѣ популярнаго, воинственнаго Тьера, управленіе Франціей приняль на себя англомань по убѣжденіямь Гизо, который въ непависти и презрѣніи къ самодѣятельности и измышленіямь народныхь массъ и ихъ вожаковь совершенно сходился съ королемь, хотя оба они были обязаны именно этимь массамъ и вожакамъ своимъ возвышеніемъ. Оба они были также и замѣчательные мыслители въ разпыхъ родахъ: — король, какъ скептикъ, много видѣвшій на своемъ вѣку и потому не полагавшійся па одну силу принциповъ безъ соотвѣтственнаго подкрѣпленія ихъ разными другими негласными способами; министръ его, какъ бывшій профессоръ, привыкшій установлять основныя начала, имъ самимъ и открытыя, и вѣрить въ ихъ непогрѣшимость. Изъ соединенія этихъ двухъ доктринеровъ противоположпаго рода, возникла особая система конституціоннаго правленія, старавшаяся водворить, въ странѣ переворотовъ, мудрствующую, резонирующую и себя провѣряющую свободу.

Система располагала множествомъ приманокъ для энергическихъ людей, которымъ нужно было составить себъ имя, положеніе, карьеру, — но безпощадно относилась къ тѣмъ, которые не признавали ея призванія водворить порядокъ въ умахъ и ея ученіе о важности правительственныхъ сферъ и строгой іерархической подчиненности. Доброй части французовъ, однакоже, система эта казалась олицетворенной, невообразимой пошлостью: жить безъ всякой надежды на успѣхъ какой-либо внезапной, политической импровизаціи, какоголибо отчаяннаго и счастливаго покушенія (соир-de-tête), которыя, сказать мимоходомъ, всѣ исдавлялись съ особенной энергіей и скоростью министерствомъ Гизо въ теченіи восьми лѣтъ, — жить такъ — значило, по собственнымъ словамъ партизановъ непосредственной народной дѣятельности, обречь себя на позоръ передъ потомствомъ. Партіи истощались въ усиліяхъ подорвать министерство, и въ 1848 году, совершенно случайнымъ образомъ, опрокинули его, но уже виѣстѣ съ конституціонной монархіей.

Говоря правду, имъ дъйствительно не за что было любить это министерство. Его «мъщанская» честность и стыдливость мъшали ему лакомить Францію фразами о ея призваніи побъждать народы, къ вящшему ихъ преуспъянію, и воспрещали также раздълять восторги толны къ недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, какъ временемъ доблестей и славы. Оно вдобавокъ неустанно обличало пустоту и ничтожество народныхъ идеаловъ, проектовъ революціоннаго обновленія государства и различныхъ, укоренившихся догматовъ народнаго самолюбія и тщеславія. Вся эта добропорядочность поведенія не могла сдёлать, конечно, правленія Гизо популярнымъ въ его отечествъ. Да онъ и не гнался за популярностію, презирая ее столько же, сколько и героевъ, вознесенныхъ клубами и партіями, и разсчитывая единственно на поддержку дъловой, степенной части населенія, которая въ нужную минуту ему, однако же, позорно измънила, какъ извъстно. Взамънъ популярности, онъ искалъ почетнаго имени въ исторіи, и думалъ его найти, вмъстъ съ своимъ старымъ королемъ, сдълавъ изъ Франціи свободное и благочинное государство, водворяя въ немъ конституціонные нравы, работая неусыпно за обуздапіемъ крайнихъ политическихъ страстей — и все это подъ перекрестнымъ огнемъ печати, которая, несмотря на пресловутые сентябрьскіе законы, пользовалась при немъ свободой, не имъвшей себъ подобія на континентъ, за исключеніемъ маленькой Бельгіи и нѣкоторыхъ кантоновъ Швейцаріи. Притомъ же, каждый день Гизо приносиль свою систему на публичное обсуждение въ тогдашния, почти постоянно бурныя засъдания палаты депутатовъ, гдъ онъ часто достигалъ до героизма въ

откровенности и до цинизма въ отвътахъ врагамъ. Впослъдствіи вся эта кипучая жизнь, выработывавшая исподволь конституціонный фундаментъ для страны, нагло объявлена была, при второй имперіи, презрънной игрой въ парламентаризмъ и замънена игрой полицейскихъ агентовъ на улицахъ, скандальной журналистикой въ печати и законодательнымъ корпусомъ въ четырехъ глухихъ стъпахъ, безъ правъ трибуны и безъ гласности!

Изъ боязни прослыть эгоистическимъ «буржуа», лишеннымъ бргана для пониманія народныхъ стремленій и скрытыхъ бъдствій работающихъ классовъ, немногіе рѣшались тогда высказывать вполнъ
все, что они думали о Парижъ 40-хъ годовъ. Достовърно, однако же, что путешественники имъли тогда дѣло съ городомъ вполнъ
изящнымъ по своимъ пріемамъ и обычаямъ, который отличался, какъ
естественнымъ слъдствіемъ конституціонныхъ порядковъ, мягкостію
сношеній, отсутствіемъ мелкой подозрительности къ людямъ, возможностію для всякаго иностранца отыскать сочувствіе, симпатическій
отголосокъ на любое серьёзное мнѣніе или начинанье, а, наконецъ,
и относительною честностію всѣхъ сдѣлокъ частпыхъ людей между
собою. Все это, какъ извъстно, исчезло тотчасъ же при второй имперіи. Для подтвержденія этого краткаго очерка достаточно поставить его въ параллель съ тѣмъ, чѣмъ сдѣлался городъ Парижъ,
нослѣ потери іюльской конституціи.

На совъсти и репутаціи Гизо, конечно, есть нъсколько изтень. Такъ, его упрекали въ употребленіи неблагородныхъ средствъ для поддержанія своей системы, въ подкупахъ избирателей и особенно въ томъ, что для легчайшаго управленія ими, онъ держалъ число избирателей на ограниченной цифръ, какую засталь самъ. Все это правда и опровергнуто быть не можетъ, но правда также и то, что упрочить конституціонные порядки во Франціи онъ могъ только, какъ доказалъ это послъдующій опытъ, единственно съ тъмъ персоналомъ единомышленниковъ, который находился у него въ рукахъ. Такимъ знатокамъ англійской исторіи, какъ король Луи-Филиппъ и Гизо, не могло быть безъизвъстно, что только упроченная конституціонная система бываетъ способна къ перестройкъ себя совершенно заново, не теряя ни своей силы, ни своихъ основаній. Примъръ англійской конституціи былъ на лицо: она имъла тоже свои эпохи «снисходительныхъ» подкупныхъ парламентовъ, но не только нобъдоносно вышла изъ всъхъ опасностей и затрудненій, а измънила все законодательство о выборахъ въ камеру общинъ, возстановила право обиженныхъ мъстностей и сословій на посылку депутатовъ въ парламентъ и переформировала весь составъ представительства, не утерявъ при этомъ ни на волось коренного своего зна-

ченія и вліянія на страну. Весь вопрось, такимъ образомъ, сводился для Гизо и его администраціи на упроченіе копституціи, и нельзя сказать, чтобы онъ слепо, эгоистически и безсознательно защищаль действующіе законы о выборахь. Въ жару преній о расширеніи ихъ, онъ не разъ заявляль мивніе, — что дело измененія ихъ не можетъ ограничиться въ такой странъ, какъ Франція, однимъ присоединеніемъ способностей къ лику избирателей. За этимъ присоединеніемъ «способностей» онъ уже прозраваль новыя уступки и всеобщее народное голосование-тотъ грубый и ничего не выражающій отв'ятный вопль толпы, которая постоянно возвращаеть вопрошателю только слова, брошенныя имъ въ ел среду, что и совершалось постоянно при Наполеонъ III. Какъ бы то ни было, но позволительно предположить, что парламентаризмъ Гизо и Луи-Филиппа, столько преслъдуемый и позоримый впослъдствіи ихъ врагами, подняль бы въ постепенномъ, прогрессивномъ своемъ развитіи благосостояніе Франціи и рабочихъ ея классовъ, не менте послѣдующихъ декретовъ второй имперіи о національныхъ мастерскихъ, о перестройкѣ цѣликомъ за́ново Парижа, о созданіи «городковъ» для мастеровыхъ (cités ouvrières) и проч.

XV.

Нужно ли говорить, что сочувствіемъ нетеривливыхъ или пылкихъ умовъ въ Европъ пользовалась совствит не Франція Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала противъ ея конституціонныхъ затъй, не отвъчающихъ, по ея мнънію, духу страны. Въ самомъ дълъ, что за надобность была германскимъ передовымъ людямъ, а за ними и другимъ кружкамъ политиковъ до какой-то новой Франціи, старающейся держаться въ границахъ своей хартіи, Франціи приличной, благопристойной и тымь самымы извращающей всы старыя понятія о странв, которыя сложились у народовъ съ конца прошлаго стольтія? Для нихъ это была совершенно невъдомая Франція, которую они и изучать не хотвли, а искали прежней, еще недавней, хорошо всёмъ знакомой, типической Франціи, той, которая имветь абсолютныя решенія по всемь вопросамь соціальнаго, политическаго и нравственнаго характера, а когда они слишкомъ долго медлять своимъ появленіемъ, принимаеть міры вызвать ихъ силой. Вотъ эта последняя, старая Франція и была еще тогда для многихъ въ Европъ исконной, въковой Франціей, а другая, толькочто начинавшая показываться на политическомъ горизонтъ, считалась подлогомъ, навожденіемъ злого духа, словомъ — призракомъ,

самозванно подмѣнившимъ родовую фазіономію страны какою-то отвратительно-гладкой, глупой маской. Не зная, чѣмъ объяснить это превращеніе, заграпичныя партіи объясняли его не ппаче, какъ насиліемъ безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ исторіи: смирный корольгражданинъ, Лун-Филипиъ, постоянно честился, у себя дома и за порогомъ его, нрозвищемъ «le tyran», Гизо называли заграницей, напримѣръ, — въ Англіи, конституціоннымъ «герцогомъ Альбой» и тому подобными именами и т. д. Воззрѣніе русскихъ кружковъ па Францію недалеко отходило отъ общаго представленія ея дѣлъ, сложившагося у крайнихъ либераловъ Европы: у насъ тоже искали потаенной Франціи, вмѣсто той, которая была на виду, и ожидали, что первая рано или поздно смѣнитъ вторую. Смѣна и дѣйствительно произошла скорѣе, чѣмъ ожидали ея — и дала совсѣмъ непредвидѣнные результаты. Она именно очистила дорогу великолѣппредвидънные результаты. Она именно очистила дорогу великолъпной французской имперіи, которая такъ хорошо отмстила за всъ предшествовавшія ей правительства, разсъявъ и подавивъ какъ своихъ, такъ и ихъ враговъ. Кажется, въ этой роли Немезиды и состоитъ все ея историческое призваніе. Въ Россіи одинъ только Т. Н. Грановскій, по особенному историческому чутью, которымь быль надёлень, п по присущему ему чувству истины, старался какъ можно менёе вторить хору ругателей монархіи Луи-Филиппа, а въ числъ его ругателей были у насъ очень высоко-поставленныя, правительственныя лица. Помню, что, лътомъ 1845 года, нъсколько словъ, сказанныхъ мною въ защиту Гизо, на дачѣ въ Соколовѣ (близъ Москвы), возбудили общій насмѣшливый протестъ друзей. Гра новскій, однако же, при самомъ разгаръ спора, взяль меня подъ руку и, уводя въ сосъднюю аллею, промолвилъ имъ съ юморомъ въ интонаціи, непередаваемомъ на бумагъ: «Оставьте насъ съ нимъ на-единъ иотолковать, господа, и объ насъ не безпокойтесь. Мы къ вамъ вернемся порядочными людьми». И тогда-то выразилъ онъ мивніе, что политическіе пдеалы Гизо преднамвренно узки п скромны, соотвътственно тому невеликому представлению о политическихъ способностяхъ французовъ, котораго министръ никогда не скрывалъ. «Но пренебреженіе къ народному духу» — добавиль Грановскій — «не можеть обойтись даромь во Франціи: она знаеть, что этому духу обязана своимъ мъстомь и ролью въ исторіи Европы. Такъ или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержить: они и умны, и ошибаются не по-французски, и вотъ это-то имъ не простится». Я не думаль тогда, что слова Грановскаго были - пророчество.

Надо замътить и то, что борящаяся и такъ интересовавшая всъхъ позади стоящая, революціонная Франція производила свои на-

падки на строй конституціонной жизни и порядки, ею заведенные, съ большою ловкостію, энергією и замѣчательнымъ талантомъ: она почти вся состояла изъ даровитѣйшихъ людей эпохи. Группа писателей, преслѣдовавшая свистками систему Луи-Филипиа, производила неотразимое впечатлѣніе на лицъ, образованныхъ литературно, да обладала и другимъ привлекательнымъ качествомъ. Она поднимала, кромѣ вопросовъ текущаго дня, передъ которыми мы всегда чувствовали слабость своего практическаго опыта и сужденія, еще и всего болѣе широкіе, отвлеченные вопросы будущности, тэмы новаго соціальнаго устройства Европы, смѣлыя постройки новыхъ формъдля науки, жизни, нравственныхъ и религіозныхъ вѣрованій, а наконецъ, критику всего хода европейской цивилизаціи. Здѣсь мы уже были, что называется, на просторѣ, пріученные изъ-мала къ великолѣпнымъ ипотезамъ, къ широкимъ, изумительнымъ обобщеніямъ и умозаключеніямъ.

Такимъ образомъ, когда осенью 1843 года я прибылъ въ Петербургъ, то далеко не покончилъ всё разсчеты съ Парижемъ, а, напротивъ, встрётилъ дома отражение многихъ сторонъ тогдашней интеллектуальной его жизпи.

Книга Прудона «de la Propriété», тогда уже почти-что старая; «Икарія» Кабе, малочитаемая въ самой Франціи, за исключеніемъ небольшого круга мечтательныхъ бѣдняковъ-работниковъ; гораздо болѣе ея распространенная и популярная система Фурье — все это служило предметомъ изученія, горячихъ толковъ, вопросовъ и чаяній всякаго рода 1). Да оно и понятно. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, трактаты эти были тѣ же метафизическія эволюціи, только эволюціи, перенесенныя на политическую и соціальную почву. За ними туда и послѣдовали цѣлыя фаланги русскихъ людей, обрадованныхъ возможностію выдти изъ абстрактнаго отвлеченнаго мышленія безъ реальнаго содержанія къ такому же абстрактному мышленію, но съ кажущимся реальнымъ содержаніемъ.

Та часть върпыхъ и зрълыхъ практическихъ указаній, какая заключалась въ этихъ трактатахъ, и чъмъ европейскій міръ не замедлиль воспользоваться—всего менъе обращала на себя наше внимапіе, да и пе въ томъ было вообще призваніе трактатовъ на Руси. Въ промежуткъ 1840—43 гг. такіе трактаты должны были совер-

¹⁾ Я уже не говорю о новой религіи «человѣчества», изложенной фантастическимъ теозофомъ Иьеромъ Леру, въ его книгѣ «de l'Humanité»: она по близости къ надоѣвшему піэтизму и невыдержанности мысли, въ философскомъ отношеніи, къ чему мы были всегда очень чувствительны, не имѣла особеннаго успѣха. Я цитирую разныя книги на память, можеть быть, не совсѣмъ точно обозначая ихъ полное заглавіе.

шить окончательный перевороть въ философскихъ исканіяхъ русской интеллигенціи, и сдёлали это дёло виолнѣ. Книги названныхъ авторовъ были во всёхъ рукахъ въ эту эпоху, подвергались всесторопнему изученію и обсужденію, породили, какъ прежде Шеллингъ и Гегель, своихъ ораторовъ, комментаторовъ, толковииковъ, а иѣсколько позднѣе, чего не было съ прежними теоріями, и своихъ мучениковъ. Теоріи Прудона, Фурье, къ которымъ позднѣе присоединился Луи-Бланъ съ извѣстнымъ трактатомъ: «Organisation du travail», образовали у насъ особенную школу, гдѣ всѣ эти ученія жили въ смѣшанномъ видѣ и исповѣдовались какъ-то за-разъ адентами ем. Въ такой не слишкомъ плотной и солпдной амальгамѣ, вышли они лѣтъ черезъ иятнадцать послѣ того на свѣтъ и въ русской нечати.

Вълинскій пристроился къ общему направленію, какъ только первые лучп соціальной метафизики дошли до него, по и туть, какъ и въ философскій періодъ, онъ началъ съ начала. Самъ Бълинскій ни съ къмъ не переписывался за границей, но до насъ доходили слухи черезъ прівзжающихъ, что онъ погруженъ въ чтеніе пространной «Исторіи Революція 1789 г.» Тьера. Пресловутое твореніе Тьера, не очень глубоко понимавшаго эпоху, но очень эффектно излагавшаго наиболье выпуклыя ея стороны, ввело его въ повый міръ, досель мало знакомый ему и попудило идти далье въ изученіи его. Уже на монхъ глазахъ въ Петербургь припялся онъ за исторію того же событія, отличавшуюся вполнь отсутствіемъ всякой повърки лицъ и дълъ, именно за сочиненіе Кабе— «le Peuple», который находиль признаки необъятнаго коллективнаго ума во всьхъ случаяхъ, когда вступали въ дъло народныя массы, и который объясторый находиль признаки необъятнаго коллективнаго ума во всёхъ случаяхъ, когда вступали въ дёло народныя массы, и который объясняль, накопецъ, даже наденіе республики трогательнымъ, святымъ добродушіемъ тёхъ же массъ, одерживающихъ побёды падъ врагами не для себя, не для извлеченія немедленной пользы изъ событія, а для прославленія своихъ принциповъ— братолюбія, равенства и справелливости. Вирочемъ, эти и другія, совершенно противоположныя по духу сочиненія служили Бёлинскому просто средствомъ отыскать первыя сфмена соціализма, заброшенныя переворотомъ 89-го года на европейскую почву: ему нужно было видёть его зачатки съ конвентомъ, парижской коммуной, героями стараго коммунизма, Бабёфомъ и Буонаротти, чтобы распознать современную его физіономію и понять осповательно нёкоторые его ходы въ нашу эпоху. Никакого рёшенія по всёмъ этимъ явленіямъ онъ не имѣлъ, да и всёми предлагаемыми тогда рёшеніями былъ недоволенъ. Необычайное виечатлёніе произвела на него только книга Луи-Блана: «Histoire de dix ans», тёмъ именно, что показала, какого рода интересъ и какую массу поученія и даже художнических качествь можеть заключать въ себъ исторія нашихь дней, переживаемаго, такъ-сказать, мгновенія, подъ рукой сильнаго таланта, хотя бы исторія такого рода и употребляла въ дѣло подъ-часъ пе совсѣмъ испробованные матеріалы, а подчасъ и просто городскую сплетню.

По возвращении моемъ, въ 1843 году, въ Петербургъ, почти первымъ словомъ, услышаннымъ мною отъ Бълинскаго, было восторженное восклицание о книгъ Луи-Влана: «Что за книга Луи-Влана!» говориль онъ. «Въдь этотъ человъкъ намъ ровесникъ, а между тъмъ, что такое я передъ нимъ, напримъръ? Просто стыдно подумать о всвую своихъ кропаніяхъ нередъ такимъ произведеніемъ. Гдв они беруть силы, эти люди? Откуда у нихъ являются такая образность, такая проницательность и твердость сужденія, а потомъ такое м'ьткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная дають содержаніе мысли и таланту ноболье, чымь литература и философія...» Очевидно, эстетическое и публицистическое направление уже потеряло для Бълинскаго свою привлекательность и отодвигалось на задній планъ въ его умѣ; но все же волей и неволей онъ оставался при немъ, потому что только съ помощію его можно было поднимать самые простые вопросы общественной морали и касаться, хотя-бы и косвенно, предметовъ русскаго современнаго быта и развитія. Подобно тому, какъ крестьяне покупали тогда нужныя имъ земли на имя задареннаго ими помъщика, такъ покупалось въ литературъ право говорить о самомъ пустомъ, но все-таки публичномъ дълъ, и о смыслѣ того или другого всъмъ извъстнаго общественнаго явленія, призывая на номощь и выставляя впередъ грамматику, математику, хорошіе или дурпые стихи, даже водевили Александринскаго театра, московскіе романы и т. д.

Таково было дъйствіе французской культуры на добрую половину нашего русскаго міра. Но воть что замъчательно. Измъняя свой способъ возэрънія на призваніе писателя и помъщая задачи литературы уже въ средъ общественныхъ вопросовъ, ни Бълинскій, пи весь кружокъ тогдашнихъ западниковъ и не думалъ выбрасывать прежнихъ своихъ представленій за бортъ, какъ негодный баластъ, не приносилъ никакой канпибальской жертвы изъ коренныхъ основаній прежняго своего созерцанія. Какъ ни различно было у нихъ пониманіе сущпости нъкоторыхъ политико-экономическихъ тэмъ, какъ пи горячи были между ними споры по частностямъ и способамъ приложенія новыхъ полученныхъ идей, весь кружокъ сходился, однакоже, безусловно въ нъкоторыхъ началахъ: онъ одинаково принималь нравственный элементъ исходной точкой всякой дъятельности, жизненной и литературной, одинаково признавалъ важность эстетическихъ тре-

бованій отъ себя и отъ произведеній мысли и фантазіи, и никто въ немъ не помышляль о томъ, чтобъ можно было обойтись, напримъръ, безъ искусства, ноэзін и творчества вообще какъ въ жизни, такъ и при политическомъ воспитании людей. Кстати замътить, что въ виду частыхъ споровъ между друзьями было выражено позднъе въ литературъ нашей подозръніе, что самый кругъ дълился еще на баричей, потъшавшихся только идеями, и на демократическія натуры, которыя принимали горячо къ сердцу всъ философскія положенія и дълали ихъ задачами своей жизни. Митніе это можеть быть отнесено къ числу догадокъ, которыми удобно отстраняются затрудненія точнаго опредъленія явленій. Въ кругъ, о которомъ идетъ дъло, не всегда только «баричи» старались уйти отъ строгихъ заключеній и выводовъ, какіе необходимо истекають изъ теоретическихъ положеній, и не всегда только «демократы» понимали яснъе своихъ товарищей сущность началь, и старательные ихъ доискивались послыдняго слова философскихъ проблемъ. Очень часто роли мънялись, и врагами увлеченій и защитниками крайнихъ мивній двладись пе тв лица, отъ которыхъ всего върнъе было ожидать подобныхъ заявленій, что можно было бы подтвердить многочисленными иримърами. Дъло въ томъ, что отличительную черту всего круга надо искать въ другомъ мъстъ и прежде всего въ пылъ его философскаго одушевленія, который не только уничтожиль разницу общественнаго положенія лиць, но и разницу ихъ воснитаній, привычекъ мысли, безсознательныхъ влеченій и предрасноложеній, превративъ весь кругъ въ общину мыслителей, подчиняющихъ свои вкусы и страсти признаннымъ и обсужденнымъ началамъ. Темпераменты въ немъ, конечно, не сглаживались, исихическія и философскія отличія людей проявлялись свободно, большая или меньшая энергія въ пониманіи и въ выражении мысли существовали на просторъ, но всъ эти силы шли во слъдъ и на служение пдеъ, господствовавшей въ данную минуту, которая роднила и связывала членовъ круга въ одно неразрывное целое и, если можно такъ выразиться, сіяла одинаково на всехъ лицахъ. Вывали въ недрахъ круга и упорныя разногласія, — ожесточенная борьба не разъ потрясала его до основанія, какъ мы уже говорили и увидимъ еще далъе, но междуусобія эти происходили исключительно по новоду правъ того или другого начала на господство въ кругъ, по поводу водворенія той или другой философской или политической схемы въ умахъ и упроченія за ней правъ на сочувствіе и повиновеніе. Другихъ побужденій и другого дала кругъ этотъ не зналъ. Такъ шло до 1845 года, когда подъ тяжестію собственной своей слишкомъ абстрактной задачи и подъ напоромъ повыхъ общественныхъ и соціальныхъ вопросовъ-кругъ сталъ распадаться и распался окончательно къ 1848-му году, оставивъ послъ себя воспоминанія, которыя еще не разъ, думаемъ, будутъ обращать на себя вниманіе мыслящихъ русскихъ людей.

XVI.

Осенью 1843 года, провздомъ черезъ Москву, я познакомился съ Г., а также съ Т. Н. Грановскимъ и со всвиъ кругомъ московскихъ друзей Бѣлинскаго, котораго зналъ доселѣ только по наслышкъ. Я еще засталъ ученое и, такъ-сказать, междусословное торжество, происходившее въ Москвъ по случаю первыхъ публичныхъ лекцій Грановскаго, собравшаго около себя не только людей науки, всв литературныя партіи и обычныхъ восторженныхъ своихъ слушателей — молодежь университета, но и весь образованный классъ города-отъ стариковъ, только-что покинувшихъ ломберные столы, до дъвицъ, еще не отдохнувшихъ послъ подвиговъ на паркетъ, и отъ губернаторскихъ чиновниковъ до неслужащихъ дворянъ. Единодушіе въ привътствіи симпатичнаго профессора со стороны всъхъ этихъ лицъ, раздъленныхъ между собою всъмъ родомъ своей жизни, своихъ занятій и цівлей, считалось тогда очень знаменательнымъ фактомъ, и дъйствительно фактъ имълъ нъкоторое значеніе, обнаруживъ, что для массы публики существують еще и другіе предметы уваженія, кром'в тіхь, которые издавна указаны ей общимь голосомь или оффиціально. Съ такой точки зрвнія, публичныя лекціи Грановскаго, пожалуй, могли считаться и политическимъ событіемъ, хотя самъ знаменитый профессоръ, посвятившій свои чтенія сжатымъ, но выразительнымъ очеркамъ носколькихъ историческихъ лицъ, стоянно держался, съ тактомъ и достоинствомъ, никогда его пе покидавшими, на той узкой полосъ, которая отведена была ему для преподаванія. Онъ сдівлаль изъ нея цвітущій оазись науки, какой только могъ. Въ мастерскихъ его рукахъ, эта узкая полоса изслвдованія получила довольно большіе разміры и на ней открылась возможность дёлать опыть приложенія науки къ жизни, морали и идеямъ времени. Лекціи профессора особенно отличались тъмъ, что давали чувствовать умный распорядокъ въ сбережении мъстъ, еще недоступныхъ свободному изследованію. На этомъ-то замиренномъ, нейтральномъ клочкъ твердой земли подъ собой, имъ же и созданномъ и обработанномъ, Грановскій чувствоваль себя хозяиномъ; онъ говорилъ все, что нужно и можно было сказать отъ имени науки, и рисовала все, чего еще нельзя было сказать въ простой формъ

мысли. Вольшинство слушателей понимало его хорошо. Такъ поняло опо и лекцію о Карлѣ Великомъ, на которую и я попалъ 1). Образъ возстановителя цивилизаціи въ Европѣ былъ въ одно время и художественнымъ произведеніемъ мастерской кисти, подкрѣпленной громадною, переработанной начитанностью и указаніемъ на настоящую роль всякаго могущества и величества на землѣ. Когда, въ заключеніе своихъ лекцій, профессоръ обратился прямо отъ себя къ публикѣ, напоминая ей, какой необъятный долгъ благодарности лежитъ на пасъ по отношенію къ Европѣ, отъ которой мы даромъ получили блага цивилизаціи и человѣческаго существованія, доставшіяся ей путемъ кровавыхъ трудовъ и горькихъ опытовъ, —голосъ его покрылся взрывомъ рукоплесканій, раздавшихся со всѣхъ концовъ и точекъ аудиторіи.

Это единодушіе похвалы за смілость профессора (смілость могла тогда заключаться въ публичномъ заявленіи сочувствія къ Европѣ) породила мысль у нъкоторыхъ изъ друзей его, что наступила настоящая минута примпренія между двумя большими литературными партіями — западной и славянофильской, споръ между которыми уже сильно разгорълся въ промежутокъ 1840 — 43 годовъ. Съ цълью свести противниковъ и приготовить ихъ сближение, затъянъ былъ въ следующемъ 1844 году дружескій обедь, на которомъ присутствовали почти всъ корпфеи двухъ противоположныхъ ученій, какіе находились тогда въ Москвъ: они подали на пемъ другъ другу руки и объявили, что одинаково связаны служениемъ наукъ и одинаково уважають всв безкорыстныя убъжденія, порождаемыя ею. Но дипломатическій миръ, когда борьба не исчернана еще внолнъ, ръдко вносиль прочныя основанія для мира между людьми. Поводы къ разладу между собравшимися на объдъ существовали еще въ такомъ обилін, благодаря стеченію многихъ обстоятельствъ, а въ томъ числъ и дъятельности Бълинскаго, что, съ окончаніемъ, можно сказать, последняго заздравнаго тоста на обеде, все стояли опять на старыхъ мъстахъ и въ полномъ вооружении.

Что же произошло въ промежутокъ этихъ трехъ нослѣднихъ лѣтъ? Собственно ничего новаго пе произошло, а только повторилось въ обновленной формѣ и на другихъ, гораздо болѣе сложныхъ и продуманныхъ основаніяхъ — старое явленіе отпора Москвы цивилизаторской заносчивости Петербурга. Москва дюлала консервативную оппозицію, на основаніи старыхъ началъ русской культуры, — Петербургу, провозглашавшему песостоятельность почти всѣхъ старыхъ русскихъ началъ передъ общечеловѣческими началами, т.-е. передъ европейскимъ развитіемъ. Не разъ уже приходилось обѣимъ нашимъ

¹⁾ Тэмой лекцін Грановскаго была средневѣковая исторія Францін и Англін.

столицамъ вступать въ борьбу на этой почвѣ, но никогда, можетъ быть, споръ между ними не захватывалъ столько вопросовъ научнаго свойства и не обнаруживалъ столько талантовъ, многосторонней образованности, хотя и принужденъ былъ, по обыкновенію, держаться на литературной, эстетической, философской и частію археологической аренахъ, и притворяться, никого, впрочемъ, не обманывая, невиннымъ споромъ двухъ различныхъ видовъ одного и того же русскаго патріотизма, а иногда даже и пустымъ разногласіемъ двухъ школьныхъ партій.

Въ сущности, дело тутъ шло объ определении догматовъ для нравственности и для върованій общества и о созданіи политической программы для будущаго развитія государства. Не очень точны были прозвища, взаимно даваемыя объими партіями другь другу, въ видъ энитетовъ: московской и петербургской или славянофильской и западной, — но мы сохраняемъ эти прозвища, потому-что они сдълались общеупотребительными, и потому, что лучшихъ отыскать не можемъ: неточности такого рода неизбъжны вездъ, гдъ споръ стоитъ не на настоящей своей почвъ и ведется пе тъмъ снособомъ, не тъми словами и аргументами, какихъ требуетъ. Западники, что бы о нихъ ни говорили, никогда не отвергали историческихъ условій, дающихъ особенный характеръ цивилизаціи каждаго народа, а славяпофилы терпъли совершенную напраслину, когда ихъ упрекали въ наклонности къ установленію неподвижныхъ формъ для ума, науки и искусства. Деленіе партій на московскую и петербуріскую можно допустить несколько легче, и оно понятно, въ виду той массы слушателей, которая тамъ и здъсь пристроилась къ одному изъ двухъ противоположныхъ ученій; но и оно не выдерживаетъ строгой повърки: какъ разъ къ обществу Москвы принадлежали вліятельнъйшіе западники, какъ Чаадаевъ, Граповскій, Г. и др., а въ Петербургв издавался журналь «Маякь», который въ манерв защищать старые авторитеты напоминаетъ современнаго намъ, пресловутаго Venillot и можетъ назваться «Père Duchène'емъ» консерватизма, преданій и пдеаловъ старины. Въ Петербургъ же сочувствіе къ славянофильству въ высшихъ слояхъ общества сказывалось много разъ и очень явственно. Мы увидимъ даже, что враждующіе имъли еще пока чрезвычайно много точекъ соприкосповенія между собою, впоследстви ими утерянныхъ, что въ среде ихъ существовали мысли, предметы, убъжденія, передъ которыми умолкали разногласія. Когда я познакомился съ Г., онъ намъ читалъ только-что написанную имъ, извъстную, остроумную нараллель между Москвой и Петербургомъ. Сопоставляя упорство Москвы въ сохранени всяческихъ, почтенныхъ и непочтенныхъ своихъ особенностей, съ развязностью Петербурга,

не признающаго важности ни въ чемъ на свътъ, кромъ развъ приказанія, полученнаго изъ надлежащаго источника, Г. все-таки не могъ скрыть, несмотря на всъ свои юмористическія и саркастическія выходки, жертвой которыхъ были въ равной степени объ столицы наши, своего тайнаго благорасиоложенія къ одной, старъйшей изъ нихъ, благорасположенія, отъ котораго онъ не освободился и въ періодъ заграничной эмиграціи. Да онъ и не старался отъ пего освободиться, а, напротивъ, какъ будто сберегалъ въ себъ это чувство. А ужъ это-ли не былъ западникъ! Много такихъ примъровъ благородной певыдержанности убъжденій встръчается и въ другихъ лицахъ объихъ партій.

Тъмъ не менъе, борьба между партіями шла оживленная, особенио несколько позднее и после того, какъ она успела поставить себъ опредъленныя цъли; да и было за что бороться. Образованный русскій міръ какъ-бы впервые очнулся къ 30-мъ годамъ, какъ будто внезапно почувствоваль невозможность жить въ томъ растерянномъ умственномъ и нравственномъ положеніи, въ какомъ оставался дотоль. Общество уже не слушало приглашеній отдаться просто теченію событій и молча плыть за ними, не спрашивая, куда несетъ его вътеръ. Всъ люди, мало-мальски пробужденные къ мысли, принялись около этого времени искать, съ жаромъ и алчностію голодныхъ умовъ, основъ для сознательнаго разумнаго существованія на Руси. Само собою разумъется, что съ первыхъ же шаговъ они приведены были къ необходимости, прежде всего, добраться до внутренняго смысла русской исторіи, до ясныхъ воззріній на старыя учрежденія, управлявшія нікогда политическою и домашнею жизнію народа и до правильнаго пониманія повыхъ учрежденій, замінившихъ преждебывшія. Только съ помощью уб'яжденій, пріобр'ятенных в такимъ анализомъ, и можно было составить себъ представление о мъстъ, которое мы занимаемъ въ средъ европейскихъ пародовъ, и о способахъ самовоснитанія и самоопредъленія, которые должны быть выбраны нами для того, чтобы это мъсто сдълать во всъхъ отношеніяхъ почетнымъ. Все зашевелилось: исканія пошли, какъ извъстно, съ двухъ противоноложныхъ точекъ, и рано или поздно должны были привести изслъдователей въ столкновение. Шумъ первыхъ ихъ сшибокъ и составилъ содержание всей эпохи нашего развития, которая обозначается общимъ именемъ — эпохи сороковыхъ годовъ.

Люди этой эпохи не разъ уже обзывались, даже и при ихъ жизни, пустыми идеалистами, не способными вывесть за собой ни малъйшей реформы, измънить въ чемъ-либо окружавшаго ихъ строя жизни. Замъчательно, что идеалисты сороковыхъ годовъ сами почти соглашались съ своими судьями и постоянно твердили, даже и печатно, что покольнію ихъ, какъ переходному, суждено только приготовить матеріалы для реформъ и измъненій. О доброкачественности и пригодности этихъ матеріаловъ только и шелъ у нихъ весь споръ. А что споръ былъ не совсьмъ безплоденъ — это доказывается съменами развитія, которыя онъ заложилъ, просочивъ всь слои тогдашняго образованнаго общества, и которыя вышли на свътъ, даже и послъ систематическаго искорененія ихъ въ 1848 году, еще полными силы и жизни въ двухъ великихъ реформахъ настоящаго царствованія. Никто, полагаемъ, не станетъ опровергать, что начала русской народной культуры, замътныя въ крестьянской реформъ, и начала европейскаго права, открывающіяся въ судебной — приготовлены были издалека тъмъ самымъ споромъ, о которомъ говоримъ. Можно пожелать и всъмъ нынъшнимъ предметамъ споровъ такой же завидной исторической участи.

XVII.

Однимъ изъ важныхъ борцовъ въ плодотворномъ диспутв, завязавшемся тогда на Руси, былъ Г. Признаться сказать, меня ошеломилъ и озадачилъ, на первыхъ порахъ знакомства, этотъ необычайно подвижный умъ, переходившій съ неистощимымъ остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умвъшій схватить и въ склад'в чужой речи, и въ простомъ случае изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идъ ту яркую черту, которая даеть имъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ, неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ, которая питалась, во-первыхъ, тонкой наблюдательностью, а во-вторыхъ и весьма значительнымъ капиталомъ энциклопедическихъ свъденій, была развита у Г. въ необычайной степени, — такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушателя. Неугасающій фейервервъ его ръчи, неистощимость фантазіи и изобрътенія, какая-то безоглядная расточительность ума - приводили постоянно въ изумленіе его собесъдниковъ. Послъ всегда горячей, но и всегда строгой, последовательной речи Белинского, скользящее, безпрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово Г. требовало уже отъ собесъдниковъ, кромъ напряженнаго вниманія, еще и необходимости быть всегда на-готов'в и вооруженнымъ для ответа. За то уже никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношеній съ Г., а претензія, напыщенность, педантическая важность просто бъжали отъ него или таяли передъ нимъ, какъ воскъ передъ огнемъ. Я знавалъ людей, преимущественно изъ такъ-называемыхъ серьёзныхъ и дѣльныхъ, которые не выносили присутствія Г. За то были и люди, даже между иностранцами, въ эпоху его заграничной жизни, для которыхъ онъ скоро дѣлался не только предметомъ удивленія, но страстныхъ и слѣпыхъ привязанностей.

Почти такіе же результаты постоянно имѣла и его литературная, публицистическая деятельность. Качества первоклассного русскаго писателя и мыслигеля-Г. обнаружиль очень рано, съ перваго появленія своего на арену світа, и сохраниль ихъ въ теченіи всей жизни, даже и тогда, когда заблуждался. Вообще говоря, мало встръчается на свътъ людей, которые бы умъли сберегать, подобно ему, право на вниманіе, уваженіе и изученіе въ то самое время, когда онъ отдавался какому-либо увлеченію. Ошибки и заблужденія его носили еще на себъ печать мысли, отъ которой нельзя было отдълаться однимъ только презрвніемъ или отрицаніемъ ея. Этой стороной своей дъятельности онъ походиль на Бълинскаго, но Бълинскій, постоянно витавшій въ области идей, не им'влъ вовсе способности угадывать характера людей, при встрече съ ними, и не обладаль злымъ юморомъ исихолога и наблюдателя жизни. Г., наоборотъ, какъ будто родился съ критическими наклонностями ума, съ качествами обличителя и преследователя темных сторонь существованія. Это обнаружилось у него съ самыхъ раннихъ поръ, еще съ московскаго неріода его жизни, о которомъ говоримъ. И тогда Г. былъ умомъ въ высшей степени непокорнымъ и неуживчивымъ, съ врожденнымъ, органическимъ отвращениемъ ко всему, что являлось въ видъ какоголибо установленнаго правила, освященнаго общимъ молчаніемъ, о какой-либо непровъренной истинъ. Въ такихъ случаяхъ хищническія, такъ-сказать, способности его ума поднимались целикомъ и выходили наружу, поражая своею вдкостью, изворотливостью и находчивостью. Онъ жиль въ Москвъ на Сивцовомъ-Вражкъ еще невъдомымъ для публики лицомъ, но уже пріобрель известность въ кругу своемъ, какъ остроумный и опасный наблюдатель окружающей его среды; конечно, онъ не всегда умълъ держать подъ спудомъ тайну тъхъ слъдственныхъ протоколовъ, тъхъ послужныхъ списковъ о близкихъ и дальнихъ личностяхъ, какіе велъ въ умѣ и про себя. Люди, безпечно стоявшіе съ пимъ объ руку, не могли не изумляться, а подъ-часъ и не сердиться, когда открывались тв или другія части этой невольной работы его духа. Къ удивленію, вмѣстѣ съ нею уживались въ немъ самыя нъжныя, почти любовныя отношенія къ избраннымъ друзьямъ, не избавленнымъ отъ его апализа, но тутъ дёло объясняется уже другой стороной его характера.

Какъ бы для возстановленія равнов всія въ его нравственной орга-

низаціи, природа позаботилась, однако же, вложить въ его душу одно неодолимое върование, одну непобъдимую наклонность: Г. въровалъ въ благородные инстинкты человъческаго сердца, анализъ его умолкаль и благоговъль передъ инстинктивными побужденіями нравственнаго организма, какъ передъ единственной, несомненной истиной существованія. Онъ высоко цениль въ людяхъ благородныя, страстныя увлеченія, какъ бы ошибочно они еще ни помъщались, и никогда не смъялся надъ ними. Эта двойная, противоръчивая игра его природы - подозрительное отрицаніе, съ одной стороны, и слъпое върование - съ другой, возбуждали частыя недоумъния между нимъ и его кругомъ и были поводомъ къ спорамъ и объясненіямъ; но именно въ огнъ такихъ пререканій, до самаго его отъвзда за-границу, привлзанности къ пему еще болъе закалились, виъсто того, чтобы разлагаться. Оно и понятно почему: во всемъ, что тогда думалъ и дълалъ Г., не было ни малъйшаго признака лжи, какоголибо дурного, скрыто-вскормленнаго чувства или разсчетливаго коварства; напротивъ, онъ былъ всегда весь цъликомъ въ каждомъ своемъ словъ и поступкъ. Да была и еще причина, заставлявшая прощать ему даже иногда и оскорбленія, —причина, которая можетъ показаться невъроятной для людей, его незнавшихъ.

При стойкомъ, гордомъ, энергическомъ умъ, это былъ совершенно мягкій, добродушный, почти женственный характеръ. Подъ суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, подъ прикрытіемъ очень мало церемоннаго и нисколько не заствичиваго юмора, жило въ немъ дътское сердце. Онъ умълъ быть какъ-то угловато нъженъ и деликатенъ, а при случав, когда наносилъ слишкомъ сильный ударъ противнику, умълъ тотчасъ же принести ясное, хотя и подразумъваемое покаяніе. Особенно начинающіе, ищущіе, пробующіе себя люди находили источники бодрости и силы въ его совътахъ: онъ прямо принималъ ихъ въ полное общение съ собой, съ своей мыслыю, что не мъшало его разлагающему анализу производить подъ-часъ надъ ними очень мучительные психические эксперименты и операции. Говорить ли о странной аномаліи? Онъ самъ чувствоваль эту струну добродушія въ себъ и принималь мъры, чтобы она звучала не слишкомъ явственно. Самолюбіе его словно было оскорблено при мысли, что, кромъ ума и способностей, у него могутъ еще подмътить и доброту сердца. Ему случалось насильственно ломать природный свой характеръ, чтобы на некоторое время казаться не темъ, чемъ онъ созданъ, а человъкомъ свиръпаго закала; но капризы эти длились не долго. Другое дело было, когда онъ попалъ за-границу и укрепился въ партіи движенія: тамъ онъ принялся за переработку своего характера очень серьёзно. Нельзя было оставаться въ средъ и во главъ

европейскихъ демократовъ, сохрапяя ту же откровенность въ пріе-махъ жизни и обхожденія, какъ въ Москвѣ. Одно это могло уже уронить человѣка передъ клубнымъ и соціалистическимъ персона-ломъ, который охотно пользуется добродушіемъ, но весьма мало цѣнитъ его. Г. принялся гримироваться для новой своей публики въ человъка, носящаго на себъ тяжесть громаднаго политическаго мандата и призванія, между тімь, какь въ сущности его занимали всв разнообразнъйшія идеи науки, искусства, европейской культуры и поэзін, потому-что онъ былъ по-своему также и поэтомъ. Слѣды этой неблагодарной работы надъ собой оказались особенно послѣ того, какъ первыя попытки его помочь русскому обществу въ работъ со-влеченія съ себя одеждъ ветхаго человъка—встрътили общее сочувствіе: онъ выработаль изъ себя неузнаваемый типъ. Какая готовность попрать всв связи и воспоминанія, всв старыя симпатіи въ интересахъ абстрактнаго либерализма, какое надменное легковъріе въ пріем'в изв'встій, льстящихъ личному настроенію и ему поддакивающихъ, и какое неусыпное стояніе на караулѣ при всякомъ чувствѣ своемъ, при всякой частной и національной склонности, чтобы оно не исказило величественнаго облика, какой подобаетъ безстрастному человѣку, олицетворяющему судьбу народовъ! Впрочемъ, надо сказать, что Г. никогда вполнѣ не достигалъ цѣли своихъ стараній. Онъ не успълъ выворотить себя на изнанку, а успълъ только перепортить себя. Онъ успълъ еще и въ другомъ — онъ нажилъ себъ безвыходное страданіе, и если чья судьба можеть назваться трагической, то, понечно, именно его судьба, подъ конецъ жизни. По необычайно-пытливому и проницательному уму онъ разобралъ до последней пылинки ничтожество, пошлую и комическую сторону большинства корифеевъ европейской пропаганды и, однакожъ, следовалъ за ними ¹). По живому нравственному чувству, которое ему было обще съ Бълипскимъ, Грановскимъ и со всей русской эпохой 40-хъ годовъ, онъ возмущался безстыдствомъ, цинизмомъ мысли и поступковъ у свободных влюдей, собравшихся подъ однимъ съ нимъ знаменемъ, и бережно таилъ свое отвращение. Со всвиъ твиъ, товарищи его, руководимые чутьемъ самосохраненія, отгадали въ немъ врага и обратили на него свое обычное оружіе — клевету, сплетню, диф-

¹⁾ Мий вспомнился при этомъ характеристическій анекдотъ. Послі 1848 г. одинь изъ русскихъ эмигрантовъ С* вздумаль составить альбомъ изъ портретовъ тогдашней немногочисленной русской эмиграціи, которую называль пастоящей Россіей. Онь обратился къ Г. за портретомъ. "Я согласенъ дать, — отвічаль Г., мой портреть въ коллекцію, но съ тімъ, чтобы въ нее быль принять и сотоварищь мой—кріпостной дакей, недавно убіжавшій отъ своего барина въ Парижі".

фамацію, насквиль. Г. остался одинъ ¹). Но до всего этого было еще далеко. Когда я узналъ его, Г. былъ въ полномъ блескъ молодости, исполненъ надеждъ на себя, составляя гордость и утъщеніе своего круга. Въ эпоху первыхъ публичныхъ лекцій Грановскаго, онъ волновался, писалъ о нихъ статьи и торжествовалъ уснъхъ своего друга такъ шумно, что, казалось, будто празднуетъ свой собственный юбилей ²).

А, между тъмъ, связи его съ Т. Н. Грановскимъ начались далеко не подъ счастливыми предзнаменованіями. Замъчательно то обстоятельство, что зародыши различныхъ направленій и первые ростки ихъ показались у насъ какъ-то за-разъ въ концѣ 30-хъ годовъ и начала сороковыхъ. Едва началось страстное изучение немецкой философіи съ той положительной ся стороны, о которой мы говорили, какъ на скамьяхъ московскаго университета уже сформировался кружокъ молодыхъ людей, обратившихъ внимание не на философскіе, а на соціальные вопросы, поклонявшіеся не Гегелю, а Сенъ-Симону (1834). Во главъ кружка стоялъ юноша, студентъ естественно-математическаго факультета, будущій кандидать его именно, этотъ самый Г. Онъ позже говорилъ мнъ, что и онъ, и его молодая партія смотр'вли очень подозрительно на Станкевича и Грановскаго, отзывались враждебно и насмѣшливо объ ихъ занятіяхъ, какъ о пріятномъ препровожденіи времени, найденномъ досужими людьми. Г. носился, на первыхъ порахъ, со своимъ Сенъ-Симономъ, какъ съ кораномъ, и разсказываетъ въ собственныхъ запискахъ, что, явясь однажды къ Н. А. Полевову, назвалъ его отсталыми человъкомъ за равнодушный отзывъ о реформаторъ. Н. А. Полевой грустно и гнъвно замътилъ: «Вотъ и трудись всю жизнь, чтобы первый мальчикъ назвалъ тебя никуда негоднымъ. — Погодите, - прибавиль онъ пророчески, - то же будеть и съ вами». По-

¹⁾ Къ числу поэтическихъ страницъ, какихъ у Г. много, принадлежитъ описаніе его послѣдняго нутешествія въ Неаполь и посѣщенія тамъ монастыря кармелитовъ. Горькія, глубоко-печальныя и трогательныя мысли, внушенныя ему тихимъ монастыремъ, показываютъ состояніе его души и принадлежатъ къ драгоцѣннымъ автобіографическимъ остаткамъ, которыми слѣдуетъ дорожить по справедливости.

²⁾ Горячія статьи его о Грановскомъ въ "Московскихъ Вѣдомостяхъ", 1844, и въ "Москвитянинѣ", 1844, еще и тѣмъ были замѣчательны, что онъ протягивалъ въ нихъ руку славянской партіи, предлагая мирь па честныхъ условіяхъ. Вотъ что выговариваль онъ у нея для своихъ едипомышленниковъ: "Нѣтъ положенія объективнъе относительно прошедшаго Европы, какъ положеніе русскаго. Конечно, чтобъ воспользоваться имъ, недостаточно быть русскимъ, а надобно достигнуть общечеловическаго развитія, надобно именно пе быть исключительно русскимъ, т.-е. понимать себя не противоположнымъ зап. Европѣ, а братственнымъ" ("Москвитянинъ", 1844 г., № 7). Партія славянофиловъ отчасти приняла эти условія мира, какъ увидимъ, но съ оговорками, много ихъ измѣнившими.

камъстъ въ умъ молодого соціалиста жило полное презръніе къ чистому мышленію и къ его представителямъ на Руси. Это такъ върно, что когда Г. возвратился изъ первой своей Вятско-Владимірской жизни (1839 г.) въ Москву, кружокъ нашихъ философствующихъ принялъ его довольно холодно и не скрылъ, что считаеть его человъкомъ еще не развитымъ и отсталаго образа мыслей. Обстоятельство это и заставило Г. обратиться къ источнику благодати, къ изученію Гегеля, которымъ дотол'в препебрегалъ. Открытіе, сдівланное имъ тогда, имівло важныя послівдствія. Онъ усмотрвлъ въ системв учителя совсвиъ не то, что видвли его новые друзья. Онъ признавалъ совнадение истории и человъческаго прогресса съ ходомъ идеи, развивающейся діалектически въ логикъ Гегеля, по думаль, что моменты видоизм вненія этой идеи соотв втствують только общественнымь и религіознымь переворотамь исторіи. Поступательные шаги въ человъчествъ, но этому толкованію, обнаруживаются тогда, когда какой-либо изъ историческихъ пародовъ начинаетъ мънять старыя основы своей жизни. Тогда только и наступають минуты реальнаго осуществленія прогрессивныхъ идей въ исторіи. На этихъ, такъ-сказать, постояпныхъ, но и фенеменальныхъ, случайныхъ протестахъ человъчества и зиждется возможность признать единство эволюцій и логической идеи съ историческими явленіями, а не на основаніи естественнаго, рокового и неизбъжнопрогрессивнаго хода человъческаго развитія. Способъ такого пониманія допускался системой Гегеля наравнъ съ другими: стоило только перевести пден учителя изъ одного разряда фактовъ въ другой. Г. привлекъ къ своему образу пониманія и старовъровъ философіи. Оказалось, что, выступивъ на литературное и жизненное поприще съ враждебнымъ настроеніемъ противъ лучшаго, существовавшаго тогда круга людей, Г. не только сошелся и сговорился съ нимъ, по и сталъ впереди его, какъ авторитетъ, въ вопросахъ отвлеченнаго мышленія. Философія сделалась въ его рукахъ оружіемъ крайне-острымъ и далеко берущимъ, но славянская партія выставила противъ пея другое, тоже хорошо испробованное оружіе. Такимъ образомъ, въ началъ сороковыхъ годовъ, послъ короткой размольки, Бълинскій, Грановскій, Г. и др. были уже сплочены единствомъ стремленій, и хотя внутренніе раздоры продолжали еще, отъ времени до времени, возникать между пими, но при общности иринциновъ и особенно въ виду опаснаго врага, славянофильской партіи, они уже никогда не расходились такъ, чтобы не слыхать лоса другъ друга и пе отвъчать на призывъ товарища.

XVIII.

Не будучи постояннымъ жителемъ Москвы и посъщая ее случайно, чрезъ довольно долгіе промежутки времени, я не имълъ чести познакомиться съ домомъ Елагиныхъ, который, состоя изъ хозяйки, А. П. Елагиной, племяницы В. А. Жуковскаго, сыновей ея отъ перваго мужа, извъстныхъ братьевъ П. В. и И. В. Киръевскихъ, и семейства, пріобретеннаго въ последнемъ браке, быль любимымъ местомъ соединенія ученыхъ и литературныхъ знаменитостей Москвы, а по тону сдержанности, гуманности и благосклоннаго вниманія, въ немъ царствовавшему, представляль нёчто въ родё замиренной почвы, где противоположныя мнёнія могли свободно высказываться, не опасаясь засадъ, выходокъ и оскорбленій для личности препирающихся. Почтенный домъ этотъ имълъ весьма замътное вліяніе на Грановскаго, Г. и многихъ другихъ западниковъ, усердно посъщавшихъ его: они говорили о немъ съ большимъ уваженіемъ. Можетъ быть, ему они и обязаны были некоторой умеренностью въ сужденияхъ по вопросамъ народнаго быта и народныхъ върованій, умъренностью, которой не зналъ уединенно стоявшій и дъйствовавшій Бълинскій, называвшій ее прямо любезностію чайнаго столика. Обратное дъйствіе западниковъ на московскихъ славянофиловъ, составлявшихъ большинство въ обществъ Елагинскаго дома, тоже не подлежить сомнѣнію. Все это, вмѣстѣ взятое, даетъ ему право на почетную страницу въ исторіи русской литературы, наравнъ съ другими подобными же оазисами, куда скрывалась русская мысль въ тв эпохи, когда недоставало еще органовъ для ея проявленія 1).

Я самъ имѣлъ случай видѣть примѣръ воздѣйствія на Г. бесѣдъ съ людьми другого настроенія, несходнаго съ его собственнымъ, хотя въ примѣрѣ, который хочу привести, слышится также и отголосокъ его прежняго обхожденія съ соціальными вопросами. Въ одно изъ утреннихъ моихъ посѣщеній Г., въ мезонинѣ его дома на Свинцовомъ-Вражкѣ, гдѣ помѣщался его кабинетъ, онъ заговорилъ о презрѣніи, которое выражено было Бѣлинскимъ къ мужицкому быту вообще, названному ими «лапотной и сермяженой дъйствештельность». Фраза находилась въ разборѣ какой-то пустой

¹⁾ Мы слышали, впрочемь, что собранія въ домѣ Елагипыхъ все-таки должны были прекратиться подъ конецъ, вслѣдствіе все болѣе и болѣе возраставшей горячности споровъ между встрѣчавшимися тамъ людьми обѣихъ партій. Довольно привести одинъ примѣръ въ 1845 г. разница въ сужденіяхъ о памфлетѣ Н. М. Языкова: «Не наши», и обпоступкѣ автора, его написавшаго, чуть не вызвали дуэли между И. В. Кирѣевскимъ и Т. Н. Грановскимъ, едва устраненной друзьями ихъ.

книжонки съ разсказами изъ народной жизни, грубо и комически идеализированной авторомъ. «Книжка книжкой, —говорилъ Г., — но отзывъ неостороженъ и самъ по себѣ, и тѣмъ, что даетъ потачку журналу считать себя большимъ бариномъ передъ народомъ. За что презирать лапоть и сермяжку? Вѣдь онѣ не болѣе, какъ признакъ крайней бѣдности, вопіющаго недостатка. Можно ли дѣлать изъ нихъ позорные эпитсты, а между тѣмъ такіе эпитеты стали распложаться въ журналѣ. Мнѣ иногда бываетъ очень трудно защищать его. Я, напримѣръ, ничего пе нашелъ отвѣтить Хомякову, когда онъ, подобравъ эти фальшивыя ноты, замѣтилъ:— «хоть бы вы растолковали редактору, что онъ ходитъ въ сапогахъ потому только, что у него есть подписчики на «Отечественныя Записки», а не будь у пего подписчиковъ па «Отечественныя Записки», и онъ не далеко бы ушелъ отъ лапотника».

Т. Н. Грановскій, по временамъ, также смотрѣлъ не совсѣмъ одобрительно на нъкоторыя полемическія выходки Бълинскаго, особенно на тв, которыми затрогивались личности писателей, по ни онъ, ни Г. уже не допускали и мысли о потворствъ славянско-народной партіи въ ея жалобахъ па безцеремонность критика -- жалобахъ, имъвшихъ постоянно въ виду его апализъ прошлыхъ и настоящихъ литературныхъ «славъ» Россіи. Въ мнъніяхъ объ этихъ, такъ-называемыхъ, славахъ они почти постоянно сходились съ критикомъ. Не далъе какъ въ 1842 г., Вълинскій, возмущенный тъмъ, что одинъ изъ московскихъ профессоровъ не иначе смотрълъ на его изследованія въ области литературы, какъ на преступленія противъ величества русскаго народа (lese-nation), написаль довольно злой и остроумный намфлеть, подъ названіемь «Педанть», въ которомъ осмвиваль слабыя стороны мнжній и прісмовь своего черезчурь желчнаго противника. Памфлетъ имълъ большой успъхъ и, разумвется, раздражиль до-нельзя того, кто послужиль ему оригипаломъ. Вфроятно, полагая возможнымъ требовать отъ Грановскаго важныхъ уступокъ на основании знакомства по университету и дому Елагипыхъ, обиженный предложилъ ему, въ присутствіи многихъ свидътелей, довольно падменный вопросъ: «Неужели послъ такой статьи онъ, Грановскій, еще решится подать публично руку Велинскому, при встръчъ?» — «Какъ! подать руку? — отвъчалъ Гра-новскій, вспыхнувъ: — На площади обниму» 1). Говоря вообще, Бълинскій быль, если можно такъ выразиться, смутителень посковской жизни: безъ его раздражающаго слова, можетъ быль, она сохранила бы долже тотъ наружный видъ изящнаго разномы од неистлючающаго мягкихъ и дружелюбныхъ отношеній между порящими, кото-

¹⁾ Разсказъ Бѣлинскаго.

рый составляль ея отличіе въ первый періодъ великой литературной расири, завязавшейся у насъ. Вълинскій, ръшительными афоризмами и прогрессивно-растущей смёлостью своихъ заключеній, ставиль ежеминутно, такъ-сказать, на барьеръ своихъ московскихъ друзей со своими врагами въ Москвъ. Первый, почувствовавшій несообразность положенія людей, изловчающихся какъ можно приличнъе и ласковъе паносить другу другу если не смертельныя, то очень тяжелыя раны, быль благороднейшій и последовательнейшій Константинъ Серг'вевичь Аксаковъ. Правда и то, что для него славянизмъ и русская народная жизнь составляли болве, чвмъ доктрину или ученіе, защищать которыя обязываеть честь: славянизмъ и народный русскій строй жизни сделались жизненными основами его существованія и кровію его самого. Г. разсказываетъ въ своихъ запискахъ, какъ, встретившись на улице, К. С. Аксаковъ трогательно распрощался съ нимъ навсегда, не признавая въ немъ болъе товарища на жизненномъ нути. Съ Грановскимъ дъло было еще знаменательное. К. С. Аксаковъ прібхаль къ нему ночью, разбудиль его, бросился къ нему на шею и, крепко сжимая въ своихъ объятіяхъ, объявилъ, что прівхалъ къ нему исполнить одну изъ самыхъ горестныхъ и тяжелыхъ обязанностей своихъ-разорвать съ нимъ связи и въ последній разъ проститься съ нимъ, какъ съ потеряннымъ другомъ, несмотря на глубокое уважение и любовь, какія онъ питаетъ къ его характеру и личности. Напрасно Грановскій убъждаль его смотръть хладнокровные на ихъ разномыслія, говорилъ, что, кромъ идей славянства и народности, между ними есть еще другія связи и нравственныя убъжденія, которыя не подвержены опасности разрыва, — К. С. Аксаковъ остался непреклоненъ и убхалъ отъ него сильно взволнованный и въ слезахъ 1). Тогда еще у насъ учение и взгляды порождали внутренния интимныя драмы.

Въ домѣ же Елагиной, Г. встрѣчался съ постояннымъ своимъ оппонентомъ А. С. Хомяковымъ, въ которомъ чрезвычайно уважалъ собственную свою способность усматривать въ мысляхъ и фактахъ присущую имъ отрицательную сторону, ихъ немощи и болѣзни, и потому искалъ диспутовъ и столкновеній съ противникомъ такой силы, такой эрудиціи и такого остроумія. Въ это время Г. уже напечаталъ свою извѣстную, очень живую, хотя и отвлеченно-философскую статью: «Дилеттантизмъ въ наукѣ» («Отечеств. Записки», 1842 г.), въ которой давалъ право наукѣ нисколько не беречь дорогихъ преданій, убѣжденій, облегчающихъ существованіе людей и народовъ на землѣ, и уничтожать ихъ безъ робости, какъ только

¹⁾ Разсказъ Т. Н. Грановскаго.

они противор вчатъ въ чемъ-либо ея собственнымъ научнымъ основаніямъ. Въ этомъ правѣ науки онъ находилъ и ея отличіе отъ дилеттантизма, равно неспособнаго отдаться младенческой душой поэзін народныхъ измышленій и следовать неуклонно по пути анализа и строгаго изследованія предметовъ. Этими качествами дилеттантизма и объясняется его природная способность мёшать всёмъ дойти до окончательныхъ выводовъ, подъ предлогомъ дружелюбной помощи каждой изъ сторонъ. Взамънъ и въ вознаграждение какихълибо утратъ въ жизни, авторъ сулилъ отъ имени науки рядъ высокихъ наслажденій ума и такихъ здравыхъ убъжденій, которыя съ избыткомъ вознаградятъ за все, что могло быть потрясено или уничтожено ею. Статья обнаруживала страстную, поливищую ввру во всемогущество науки, нодъ которой разумълась все-таки философія естествознанія, и, несмотря на нісколько тяжелый языкъ, была глубоко-радикальной статьей по своему содержанію. При первой встрычь съ А. С. Хомяковымъ, Г. наткнулся, въ противоположность своему философскому радикализму, на другой, тоже полнъйшій радикализмъ, но совсемъ иного вида.

Г. разсказалъ самъ, въ одномъ изъ своихъ заграничныхъ изданій, часть тѣхъ сшибокъ его съ Хомяковымъ, которыя касались преимущественно строя, духа и основаній нѣмецкой философіи. Изъ этихъ сообщеній ясно оказывается, что главнѣйшимъ аргументомъ Хомякова противъ Гегелевой системы служило положеніе, что изъ разбора свойствъ и явленій одного разума, съ исключеніемъ всѣхъ другихъ, не менѣе важныхъ правственныхъ силъ человѣка, никакой философіи, заслуживающей этого имени, выведено быть не можетъ. О другой части своихъ споровъ съ Хомяковымъ — теозофской, Г. едва упоминаетъ въ запискахъ, можетъ быть потому, что она казалась ему гораздо менѣе важной, чѣмъ первая, но позволительно теперь не согласиться съ его мнѣніемъ.

Основнымъ, хотя еще и невысказываемымъ ясно поводомъ къ этой второй части ихъ диспутовъ послужило, предпринятое тогда А. С. Хомяковымъ, возстановленіе (реабилитація) византінзма, столь опозореннаго между учеными на Занадѣ. Способъ пониманія и приложенія его нашими прямыми, натуральными его защитниками—наставническимъ персоналомъ духовныхъ семинарій и академій, увеличивалъ еще отвращеніе къ нему. Съ извѣстнаго письма Чаадаева, однакожъ, въ 1836 году, въ которомъ византінзмъ объявлялся и сточникомъ умственнаго и политическаго растлѣнія всей Россіи и предавался чуть-чуть не проклятію исторіи, уже нельзя было обойти вопроса о византінзмѣ всякому, кто захотѣлъ бы сообщить своимъ вѣрованіямъ и убѣжденіямъ видъ критически обсуженнаго и раз-

смотрѣннаго дѣла. А. С. Хомяковъ не только не обходилъ вопроса, но настойчиво примъшивалъ его ко всъмъ явленіямъ жизни и къ такимъ сферамъ дъятельности человъческой, гдъ его присутствие всего менъе ожидалось, вездъ давая ему, подъ рукою, роль мърила истины, добра и красоты. Ключь къ пониманію многихъ крайне оригинальныхъ мивній и приговоровъ школы Хомякова, которые шли наперекоръ всемъ добытымъ фактамъ и положеніямъ, лежитъ именно въ изобрътении и употреблении этого новаго критеріума для оцънки историческихъ явленій. Тезисы и положенія ея въ родъ того, что религіозная сторона западнаго искусства и преимущественно до-рафаэлевской живописи есть произведение слабосильнаго мистицизма, а не прямого христіанскаго созерцанія, что привлекательный идеаль стараго русскаго правителя представляетъ намъ царь Өедоръ Ивановичь въ своей особъ, а прекрасный типь правленія въ народномъ духъ являетъ царствование Елизаветы Петровны въ новой нашей исторіи, всв эти тезисы, говоримъ, и другіе, еще болье смылые и странные, оттого и приводили въ такое недоумъніе противниковъ школы Хомякова, что они не вполив знали ея тайну и не обладали ключомъ къ разбору этихъ загадокъ.

Что Хомяковъ быль добросовъстень и въроваль въ свои начала - о томъ не можетъ быть и слова, но позволительно думать, вивств съ твиъ, что его уму, преимущественно діалектическому, идея поднять знамя византіизма, передфлать приговоръ исторіи, поворотить общее мнжніе назадъ-могла имжть свою обольстительную сторону. Какъ бы то ни было, объявляя византінзмъ великимъ и еще не вполнъ оцъненнымъ явленіемъ въ человъчествъ, А. С. Хомяковъ твиъ самымъ отрицалъ и уничтожалъ громадную массу историческихъ, критическихъ и теологическихъ трудовъ Запада, враждебныхъ восточной цивилизаціи, понижаль его кичливость и многіе предметы его гордости, какъ, напримъръ, эпохи «реформаціи» и «возрожденія», до смысла второстепенныхъ и даже бользненныхъ явленій человъческой мысли. Реформація была для него жалкой попыткой западныхъ народовъ исправить религію, прямые источники которой засыпаны католицизмомъ па-глухо, а эпоха «возрожденія», ей нредшествовавшая, отчалинымъ призывомъ, со стороны тъхъ же народовъ языческаго міра, на помощь для созданія у себя чего-либо похожаго на науку, искусство и цивилизацію. Положительная сторона въ защитъ всеспасающаго византіизма основывалась у него на представлении и понимании церковнаго восточнаго учения, какъ такого, которое допускаетъ полную свободу мысли при неограниченномъ авторитетъ политическаго или церковнаго догмата. А. С. Хомяковъ нисколько не стъснялся исторіей византійской имперіи, кото-

рая могла противорфчить этому положенію. Во-первыхъ, для него дъльной, безпристрастной исторіи византійскихъ грековъ вовсе не существовало на свътъ, и все, что выдается за ихъ исторію въ Европъ, представлялось ему чуть ли не силошной клеветою или жалкимъ недоразумвніемъ, а во-вторыхъ, она не могла бы служить ни подтвержденіемъ, ни опроверженіемъ его мысли, если бы и существовала. Начала, лежавшія въ основ'в восточнаго христіанства, были такъ глубоки и высоки, что политическое и общественное развитие самой страны за ними не посиввало. Можно себв представлять растление константинопольского двора, общественных в нравовъ и государственныхъ порядковъ въ какомъ угодно видъ, но духъ и созерцаніе, хранимое церковью народа и переданное ею въкамъ, все-таки остается единственнымъ фундаментомъ, на которомъ можетъ быть утверждено великое, образованное и нравственное-христіанское государство. Въ византійской пиперіи ел церковное ученіе и есть настоящая ея исторія, ея мысль и ея право на благодарность пародовъ. Въ позднъйшихъ брошюрахъ, которыя А. С. Хомяковъ издавалъ за границей, въ иятидесятыхъ годахъ, подъ исевдонимомъ «Ignotus», содержится изложение главныхъ пунктовъ этого ученія и вытекающаго изъ нихъ взгляда на взаимныя отношенія народа въ своимъ јерархамъ и властямъ въ христјанской общинъ. Восточное христіанство даже рядомъ и на зло азіатскому деснотизму, иногда становившемуся во главъ его, сберегло представление о собрании върныхъ, какъ прототинъ государства, гдъ каждый зависитъ отъ каждаго, и гдв каждый есть въ одно время и подпачальное, и руководящее лицо. Оно допускало фактически, но не знало въ принципъ дъленія людей на учителей и учениковъ, на обязанныхъ повелъвать н обязанныхъ повиноваться, потому что всв люди имели одно назначеніе — служить церкви, — и мальйшій изъ нихъ могъ стать рядомъ съ превознесеннымъ членомъ въ течении этой непрерывной службы и по ея требованію. Самые догматы, выработанные восточнымъ христіанствомъ, при всемъ своемъ характеръ непререкаемости и неизменности, еще нисколько не стесняють свободы движенія для философской мысли, благодаря полученной ими въ «соборахъ» глубинъ и всеобъемлемости: они облекаютъ человъческое разумъние со всъхъ сторонь, какъ атмосфера или небо облекають нашу землю. Сверхъ того, философія, не чуждающаяся теологическихъ истинъ, нравственныхъ и бытовыхъ вопросовъ, такая, зачатки которой находятся въ византійскихъ учителяхъ, отвъчаетъ точно также на требованія сердца, какъ и на запросы самаго тонкаго метафизическаго анализа, и по этому двойственному характеру она именно и должна, рано или поздно, пустить живые отпрыски во всѣ виды науки, освѣжить и обповить умственный быть Европы.

Къ такому великому дѣлу обновленія захудавшаго, въ нравственномъ смыслѣ, европейскаго существованія призвана та національность, которая судьбами исторіи и Провидѣнія сдѣлалась наслѣдницей и представительницей византіизма въ мірѣ, какова бы, впрочемъ, ни была покамѣсть бѣдная, смиренная, приниженная доля этой избранной національности.

Волье отвлеченнаго радикальнаго мышленія нельзя было противоноставить философскому радикализму Г., и носльдній сознавался, что А. С. Хомяковъ заставиль его прочесть волюминозныя исторіи Неандера и Гфрёрера и особенно изучать исторію вселенскихъ соборовъ, мало знакомую ему, для того, чтобы возстановить нъкотораго рода равновъсіе въ споръ съ противникомъ и имъть возможность повърять обильныя ссылки Хомякова на каноны и параграфы соборныхъ постановленій, которыми онъ сыпаль на память, противопоставляя ихъ точнымъ нъмецкимъ тезисамъ Г.

Если основное положение Хомякова, точка исхода всей его системы, имъла такой радикальный характеръ, то само собою разумъется, что выводы, практическія приложенія, политическія, историческія и литературныя сужденія, ею обусловливаемыя, должны были еще въ сильнъйшей степени носить оттъновъ пренебрежения въ западпой цивилизиціи, суроваго взгляда на ея развитіе и ръшительнаго отрицанія большей части ея продуктовъ. Оно такъ и было. Самъ А. С. Хомяковъ прилежно следиль за ходомъ и открытіями наукъ, художествъ и даже ремеслъ въ Европъ, будучи однимъ изъ самыхъ развитыхъ людей на Руси, но школа, имъ образованная, понеслась, какъ всегда бываетъ, въ данномъ ей направлении уже безъ оглядки и осторожности, сохраняемыхъ основателемъ. Все, съ чёмъ носились тогда наши «западники», начиная отъ романовъ Ж. Занда, имвишихъ большой усивхъ между ними, по соціальнымъ вопросамъ, которые они поднимали, до новыхъ попытокъ къ устроенію политическаго и экономическаго быта государствъ (Контъ, Прудонъ, Мишеле), -- все это отстранялось школой Хомякова, какъ нестоющее вниманія. Европа объявлялась несостоятельной для здороваго искусства, для удовлетворенія высшихъ требованій человіческой природы, для успокоенія религіозной жажды народовъ и водворенія справедливости, правом'врности и любви между ними. Ей предназначались естественныя, финансовыя, техническія науки, великія промышленныя изобрътенія, созданіе громадныхъ торговыхъ и военныхъ флотовъ-словомъ, баснословные успъхи по всъмъ отдъламъ въдънія, способствующимъ матеріальной сторонъ существованія. Она осуждалась на развитие комфорта, роскоши, богатствъ, которыя и накопляются ею въ безмърномъ количествъ. Благосостояние Европы,

безнримърное въ исторіи, иродолжаеть еще рости, въ ущербъ все болье и болье грубьющему нравственному смыслу ея. Она даже закрываеть глаза отъ возстающей нередъ ней смерти въ образв пролетаріата, который расилодился подъ ея кровомъ и грозитъ возобновлениемъ временъ варварства. Отъ евроиейскихъ литературъ школа Хомякова брала и помнила только подходящія міста изъ ихъ сатириковъ, моралистовъ и обличителей; историки и писатели Европы ценились но количеству упрековъ и нареканій, какіе случалось имъ проровить относительно своего времени и прошлаго ихъ отечества. Иностранная хрестоматія школы вся почти состояла изъ образцовъ этого рода, которые и цитировались ею часто и охотно. По свидетельству всёхъ слышавшихъ Хомякова, онъ производилъ критику соціальнаго и интеллектуальнаго положенія Европы съ особеннымъ искусствомъ, блескомъ и остроуміемъ, хотя и въ границахъ приличія и осторожности, свойственныхъ его чуткому уму. Какъ Г., со своей стороны, ни старался сдерживать и холодить его критическое воодушевленіе, онъ самъ еще не избавился отъ дъйствія этой критики. Слова Хомякова, по нашему мижнію, оставили следы въ умъ и сердцъ Г. противъ его воли, можетъ быть, и отразились въ поздивишей его проповъди о несостоятельности и банкротствъ западной жизни вообще.

На пути этихъ жаркихъ иреній встрічалось, одпако же, имя, вокругъ котораго сиоръ шумълъ и ивинлся особенно яростно, на подобіе потока, встрътившагося съ неподвижной скалой. Это было имя нашего колосса, который, иринимая отъ сената титулъ «отца отечества», сказаль рёчь, какь-бы отвёчающую изъ глубины прошлаго стольтія на современныя волненія потомковъ: «Намъ всегда надлежитъ иомнить участь Царяграда и Византійской имперіи, для того, чтобъ за пустыми занятіями не потерять своего государства». За то имя этого человъка и иричислялось наиболье горячими адеитами школы къ разряду той вольницы, техъ изгоевъ общества и ненавистниковъ русскаго быта, которыхъ во всв времена было мпого на Руси, не только между приказными и по царевымъ кружаламъ, но даже и въ почтенныхъ, по особенно строгихъ семействахъ. Этито изгои и произвели реформу, когда одинъ изъ геніальнейшихъ людей всёхь вёковь сдёлался ихъ представителемь и захватиль бразды управленія московскимъ царствомъ. Радикальнъе этого нельзя было отвъчать западникамъ, благоговъвшимъ передъ реформой; за то западники и истили своимъ противникамъ, иредавая съ своей стороны поруганію все, что тв считали святыней народнаго духа и пародныхъ воспоминаній.

Въ исчати, на скромномъ ноприщъ тогдашней нублицистики,

все это, разумфется, являлось въ смягченномъ видф, высказывалось не такъ ярко и откровенно. На сцену люди выходили, за очень малыми, всёмъ извёстными исключеніями, нёсколько принаряженные. Однако же следы домашнихъ бурь должны были отражаться и въ журнальной литературъ, и дъйствительно отражались. Журналъ «Москвитянинъ», сдълавшійся эхомъ славянофильской школы, доходиль въ защитъ своихъ основныхъ положеній - о богатствъ русскаго народнаго духа, о его религіозной сущности, объ элементахъ смиренія, кротости, теривнія, мудрости, его отличающихъ, до крайнихъ границъ увлеченія, до утвержденія, напримірь, что земля русская удобрялась для исторіи, не какъ земли западныхъ народовъ, кровью населеній, а только слезами ихъ. Журналъ «Отеч. Записки», сдівлавшійся съ 1840 года центромъ соединенія для «западниковъ», въ своей проповъди общечеловъческаго развитія, законы котораго одинаковы, какъ они утверждали, для всёхъ странъ, почасту простиралъ отрицание народныхъ отличий до степени непонимания, казавшейся напускной и предумышленной. Оба журнала вели ожесточенную полемику, и, конечно, не было недостатка съ объихъ сторонъ во взбалмошныхъ головахъ, въ «enfants perdus», которыхъ редакціи вынускали въ видъ застрельщиковъ: они-то и производили тъ курьёзы и абсурды, которыхъ можно набрать довольное количество и тутъ, и тамъ. Многіе и доселъ еще полагають, что эти курьёзы и абсурды именно и составляють характеристическія черты тогдашней журналистики, но раздёлять этотъ взглядъ не предстоитъ возможности. За обоими журналами стояли еще люди, смотръвшіе гораздо далже того горизонта, которымъ ограничивались, но необходимости, публичные органы, ими поддерживаемые. Такъ, Бълинскій понималь всё вопросы гораздо глубже, чёмь «Отеч. Записки», гдв писаль, а за Бълинскимъ стояли еще Грановскій, Г. и др., часто вовсе не раздълявшіе взглядовъ своего журнала. Съ «Москвитяниномъ» это еще было очевиднъе и ръзче. Люди, подобные обоимъ Кирвевскимъ, Хомякову, Аксаковымъ, никакъ не могутъ быть привлечены къ отвътственности за всъ задорныя выходки редакціи. По обширности пониманія славянофильскаго вопроса, по д'вльности и внутреннему значенію своихъ убъжденій, они стояли гораздо выше «Москвитянина», который постоянно считался ихъ органомъ и поддерживался ими наружно.

Такимъ образомъ, объ литературныя партіи, въ описываемое время (1843) стояли какъ два лагеря другъ противъ друга, каждый со своими шпагами. Казалось, онъ уже никогда и не будутъ встръчаться иначе, какъ съ побужденіемъ наносить взаимно удары и обмъниваться вызовами, но время, года прибывающаго размышле-

нія устроили дёло иначе. Уже въ половинё этого періода, между 1845—46 г., въ умахъ передовыхъ людей обоихъ становъ свершился поворотъ и начало возникать предчувствіе, что обѣ партіи олицетворяютъ собой каждая одну изъ существеннёйшихъ необходимостей развитія, одно изъ началъ, его образующихъ. Партіи должны были бороться такъ, какъ онѣ боролись, на глазахъ публики, для того именно, чтобы выяснить всю важность содержанія, заключающагося въ идеяхъ, ими представляемыхъ. Только послѣ ихъ усилій, трудовъ и борьбы можно было распознать, сколько жизненной правды заключается въ идеѣ народнаго, племенного.

XIX.

Въ концѣ 1843 г., Бѣлинскій, уже женатый, занималъ небольшую квартиру на дворѣ дома Лонатина, котораго лицевая сторона выходила на Аничкинъ мостъ и Невскій проспектъ.

Въ этомъ помѣщеніи Вѣлипскій предоставиль себѣ три небольшихъ комнаты, изъ коихъ одна, попросторнѣе, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьяннымъ диваномъ съ обязательными креслами вокругъ него, а третья—нѣчто въ родѣ глухого коридорчика объ одномъ окнѣ — предназначалась для его библіотеки и кабинета, что подтверждали шкапъ у стѣны и инсьменный столъ у окна. Впрочемъ, самъ хозяинъ нисколько не подчинялся этому распредѣленію: въ столовой онъ постоянно работалъ и читалъ, а диванъ гостиной служилъ ему большею частію ложемъ при частыхъ его недугахъ; въ кабинетъ онъ заглядывалъ только для того, чтобъ достать изъ шкана нужную книгу. Двѣ задпія комнаты занимала его семья, умножившаяся вскорѣ дочерью Ольгою.

Ребенокъ этотъ, а потомъ сынъ, прожившій не долго и унесшій съ собою въ могилу послѣднія силы отца, да еще цвѣты на окнахь— составляли тогда предметъ его ухаживаній, заботъ и нѣжнѣйшихъ попеченій. Опи одни были его жизнію, которал начинала уже убѣгать отъ него и угасать по-немногу. Вскорѣ ему уже предписано было носить респираторъ при выходѣ на воздухъ, и онъ шутливо говорилъ миѣ: «вотъ какой я богачъ сдѣлался! Максимъ Петровичъ у Грибоѣдова ѣдалъ на золотѣ, а я дышу черезъ золото: это будетъ еще по-важнѣе, кажется!»—Часто заставалъ я его на диванѣ гостиной въ совершенномъ изнеможеніи, особенно послѣ усиленныхъ трудовъ за срочной статьей, оставлявшихъ его съ головной болью и въ лихорадкѣ. Надо сказать, впрочемъ, что онъ очень скоро поправлялся послѣ этихъ нароксизмовъ, поддерживаемый тѣмъ напря-

женнымъ состояніемъ духа и воли, которое уже не покидало его съ 1842 года, и которое, поднимая его часто съ одра болѣзни и давая ему обманчивый видъ человѣка, исполненнаго жизни и энергіи, разрушало въ то же время и послѣднія основы его страдающаго организма.

Возбужденное состояние сделалось, наконецъ, пормальнымъ состояніемъ его духа. Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тъхъ поръ, пока бользнь окончательно не сломила его. Самыя тихія, дружескія бесёды чередовались у него съ порывами гнева и негодованія, которые могли быть вызваны нервымъ анекдотомъ изъ насущной жизни или даже разсказомъ о какомъ-либо дикомъ обычав иной, очень далекой страны. Кто-то однажды разсказаль передъ нимъ способъ, которымъ добывалъ себъ евнуховъ хорошей расы старый египетскій паша, Мегеметъ-Али. Мегеметъ дълалъ именно разію на какое-либо сосъднее негритянское племя и приказываль захватывать при этомъ всёхъ дётей мужескаго пола; затъмъ надъ плънными производился строгій выборъ, а избранные экземпляры подвергались извъстной операціи, послъ которой ихъ тотчасъ же зарывали, по-поясъ, въ горячій песокъ степи. Половина детей умирала, а другая, выдержавшая опыть, разсылалась старымъ злодвемъ разнымъ турецкимъ сановникамъ, въ которыхъ онъ почему-либо нуждался. Кровь бросилась въ голову Бълинскому; онъ подошелъ къ анекдоктисту, и произнесъ жалобнымъ голосомъ: «зачёмъ вы разсказали это; —мнё придется теперь не спать ночь». Жена Бълинскаго вообще чрезвычайно боялась вечеровъ, когда онъ засиживался съ друзьями въ разговорахъ.

По дъйствію воображенія и представительной способности, развитыхъ у него неимовърно, онъ переносилъ ненависть на лица, уже отошедшія въ область исторіи, на давноминувшія событія, почемулибо возмущавшія его. У него было множество враговъ и предметовъ злобы, какъ въ современномъ мірѣ, такъ и въ царствѣ тѣней, о которыхъ онъ равнодушно говорить не могъ. Объективныхъ, тоесть, по-просту сказать, индифферентныхъ отношеній къ историческимъ дъятелямъ или важнымъ фактамъ исторіи вовсе и не знала эта страстная природа. Бълинскій превращался какъ будто въ современника различныхъ эпохъ, па которыхъ натыкался въ чтеніи, выбираль сторону, которую слёдовало защищать, и боролся съ противной стороной, уже давно замолкшей, — такъ, какъ будто она сейчасъ нарушила его нравственный покой и убъжденія. Нѣчто подобное, въ обратномъ смыслъ, происходило и съ предметами его симпатій, которыя онъ отыскиваль въ разныхъ въкахъ и у разныхъ народовъ: онъ влюблялся въ героевъ своей мысли, вскакивалъ съ

мѣста при одномъ ихъ имени и нерѣдко защищалъ ихъ отъ современной критики до послѣдней возможности. Онъ неохотно разставался со своими друзьями. Но всего болѣе однако-же тратилъ онъ силъ на вражду и негодованіе. Кругъ враговъ его, кромѣ дѣйствительныхъ и состоявшихъ на лицо, увеличивался всѣмъ нерсоналомъ, добытымъ въ чтеніи: онъ боролся такъ же страстно съ тѣнями прошлаго, какъ и съ людьми и событіями настоящаго.

Можно себъ представить, что происходило, когда Вълинскій покидаль безотвътныхъ своихъ подсудимыхъ и случайно натыкался на живое, современное лицо, стоявшее передъ нимъ во-очію съ какимъ-либо ограниченнымъ пониманіемъ серьёзнаго предмета или съ какой-либо тупой и обскурантной теоріей. Въ то время вообще не умъли различать человъка отъ его слова и сужденія, и думали, что они неизбъжно составляютъ одно и то же. Всъхъ менъе допускалъ это различіе Вълинскій и громовыя его обличенія въ подобныхъ случаяхъ разрывали всъ связи съ оппонентомъ и не оставляли никакой падежды на возобновленіе ихъ въ будущемъ. Послъдствіемъ такого образа сношеній со свътомъ была, копечно, необходимость жить въ одиночествъ или только въ сообществъ очень близкихъ людей, на что Вълинскій охотно и осуждалъ себя, не измъняя нисколько своихъ пріемовъ мысли и сужденій, когда насильно и случайно вводился въ другую среду.

Понятно, что въ такомъ же напряженномъ состояни духа происходило и его чтеніе, даже и тогда, когда обращалось на предметы ученаго и отвлеченнаго содержанія. Мы уже упомянули, что въ этотъ періодъ его жизни, оно — чтеніе это — все прогрессивно разросталось въ сторону экономическихъ и политическихъ вопросовъ. Такой манеры чтенія, какую усвопль себ'в Візлинскій, достаточно было, чтобы надсадить и болже сильный организмъ. Къ книгж, къ статьъ, любому ученію и мижнію, начиная отъ самыхъ добросовъстныхъ трактатовъ, захватывающихъ глубочайшіе интересы общества и человъчества и кончая самыми ничтожными произведеніями русской словесности — Вълинскій всегда относился болье чымь серьёзно, относился страстно, допытываясь психическихъ причинъ ихъ появленія, создавая имъ генеалогію, разбирая одну по одпой черты ихъ нравственной физіономіи. Поводовъ для восторговъ и вспышекъ гнъва находилось туть множество. Сколько разъ случалось намъ заставать его — послъ оконченной книги, статьи, главы — расхаживающимъ вдоль трехъ своихъ комнатъ со всёми признаками необычайнаго волненія. Онъ тотчасъ же принимался передавать свои впечатлёнія отъ чтенія, въ горячей, ничёмъ не стёсненной импровизаціи. Я находиль, что эта импровизація еще лучше его статей, но статьи въ такомъ

тонъ и не пишутся, да и писаться не могуть. Если судить по количеству и массъ ощущеній, порывовь и мыслей, какіе переживаль этотъ замвчательный человвкъ каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, такъ быстро сгорввшую на нашихъ глазахъ, достаточно продолжительной и полной. Къ тому следуетъ прибавить, что Бълинскій такъ вростался, смъемъ выразиться, въ авторовъ, которыхъ изучалъ, что постоянно открывалъ ихъ затаенную, невысказанную мысль, поправляль ихъ, когда они измёняли ей или нарочно затемняли ее, и выдавалъ ихъ последнее слово, которое они боялись или не хотъли произнести. Этого рода обличенія были самой сильной стороной его критики. Такъ, во многихъ иностранныхъ, преимущественно экономическихъ и соціальныхъ писателяхъ, онъ угадываль направленіе, которое они примуть или должны принять. Такъ, напримъръ, онъ говорилъ о Жоржъ-Зандъ, котораго, впрочемъ, очень уважалъ, что писательница эта гораздо боле связана теми идеями и принципами, которые отвергаеть, чёмъ сколько сама то думаеть; о Тьеръ, онъ замъчалъ, что въ его «Исторіи французской революціи» послідняя является чімь-то въ роді божьяю попущенія, отчего въ ней становится многое пепонятнымъ, несмотря на очень ясное и гладкое изложеніе. Пьера-Леру Бълинскій называль взбунтовавшимся католическимъ попомъ и т. д., а о русскихъ нашихъ дъятеляхъ и говорить нечего — онъ почти безошибочно опредълялъ всю будущую ихъ дъятельность по первымъ представленнымъ ими образпамъ ел.

Не мудрено, если при этой постоянной работъ его духа пріятели его находили, что съ каждой новой встръчей онъ уже стояль не тамъ, гдъ его видъли наканунъ: неустанное колесо мысли уносило его часто далеко изъ ихъ глазъ. Полемикъ его суждено было выразить именно эту сторону его психической натуры, жаждавшей борьбы и движенія, подобно тому, какъ критико-публицистическія статьи изобличали его способность самообладанія и его господство надъ собственной мыслію.

Послѣ этого уже не трудно представить себѣ, что въ войнѣ между западниками и славянофилами Бѣлинскій оказался врагомъ непримиримымъ, между тѣмъ какъ другіе собратья его по оружію, какъ Г., или Грановскій и проч., считали себя втайнѣ только временными врагами нашей національной партіи и ждали отъ лучшихъ ея представителей только разъясненія ихъ программы, чтобы протянуть имъ руку. Правда, и Бѣлинскій пришелъ позднѣе къ мысли о необходимости разобрать дѣльное въ ученіи славянофиловъ отъ не совсѣмъ дѣльнаго паноса, да также допустилъ и оговорки, ограждающія собственное его западное воззрѣніе отъ упрека въ слѣпой

страсти ко всёмъ европейскимъ порядкамъ, но опъ послёдній кинуль брешь, которую фанатически защищаль отъ вторженія элементовъ темнаго, грубаго, непосредственнаго мышленія народныхъ массъ, противопоставляя знамя общечеловёческаго образованія всёмъ притязаніямъ и заявленіямъ такъ-называемыхъ народныхъ культуръ.

Исходной точкой всей ожесточенной полемики его противъ такихъ культуръ и противъ ихъ защитниковъ было убъжденіе, что они могутъ возникать при всякомъ порядкѣ вещей и уживаться со всякимъ строемъ жизни, къ которому привыкли или который почему-либо излюбили. Наоборотъ, ему казалось, что основной характеръ общечеловѣческаго образованія именно и состоитъ въ томъ, что люди, его усвоившіе, подвергаютъ критикѣ и обсужденію всѣ формы существованія и удовлетворяются только тѣми, которыя отвѣчаютъ логикѣ и выдерживаютъ самый строгій анализъ. На этомъ основаніи Бѣлинскій дѣлилъ міръ на зрячіе и слѣпые народы, и послѣдніе были ему противны по принципу, какими бы въ прочемъ добродѣтелями, высокими качествами души, способностями и другими знатными преимуществами ни обладали.

Нужно ли прибавлять, что о какой-либо справедливости по отношенію къ людямъ, народамъ и предметамъ не было и помину при этомъ, да о справедливости Бѣлинскій, въ пылу битвы, и не заботился, въ чемъ совершенно походилъ и на своихъ противниковъ, поступавшихъ точно также. И онъ, и они спасали только свои воззрѣнія, казавшіяся имъ благотворными по своимъ послѣдствіямъ, а о томъ—сколько падало при ихъ столкновеніяхъ напрасныхъ жертвъ, сколько наносилось грубыхъ ударовъ, ничѣмъ не оправдываемыхъ, идеямъ и вѣрованіямъ, сколько страдало за-даромъ репутацій и личностей—никто и не думалъ. Все это предоставлялось разобрать послѣдующей исторіи и возвратить каждому должное и заслуженное. Для современниковъ же оставалась горькая, упорная борьба, отчаянная, многолѣтияя ненависть другъ къ другу, закоренѣлая до того, что она даже пережила многихъ борцовъ и продолжалась отъ ихъ имени на ихъ гробахъ.

Еще до возвращенія моего на родину, пменно въ 1842 г., Бѣлинскій, вскорѣ послѣ своего памфлета «Педантъ», о которомъ я уже упоминалъ, нанесъ и еще другой, тяжелый ударъ одной весьма почтенной личности московскаго круга—нынѣ покойному К. С. Аксакову. Извѣстно, что К. С. Аксаковъ, при появленіи первой части «Мертвыхъ Душъ», въ томъ же 1842 г., написалъ статью, въ которой проводилъ мысль о сходствѣ Гоголя по акту творчества и силѣ созданія съ Гомеромъ и Шекспиромъ, находя, что только у однихъ этихъ писателей, да у нашего автора обнаруживается даръ

указывать въ пошлыхъ характерахъ и въ самомъ порокъ еще нъкоторую внутреннюю криность и своего рода силу, которыя почерпаются ими уже отъ нринадлежности къ мощной и здоровой національности. К. С. Аксаковъ, приравнивая Гоголя къ Гомеру, по акту творчества, позабыль при томъ упомянуть о множествъ геніальныхъ европейскихъ писателей, отличавшихся тоже необычайными творческими способностями, которые, такимъ образомъ, какъ-будто ставились всв ниже Гоголя, а вдобавокъ — еще прямо объявлялъ, что въ дълъ романа, понятаго какъ продолжение древне-греческаго эпоса, -- уже ни одно современное европейское имя не можетъ быть поставлено рядомъ съ именемъ Гоголя, ни въ какомъ случаъ. Ничто не могло возмутить Бълинскаго болъе этихъ афоризмовъ. Тотъ самый Бълинскій, который первый провозгласиль Гоголя геніальнымъ художникомъ, объявлялъ теперь и печатно, и устпо, что геніальпость Гоголя, какъ создателя типовъ и характеровъ, хотя и не можетъ быть опровергаема, но имфетъ все-таки значение относительное. По содержанію и внутреннему смыслу задачь, разрівнаемыхь русскимь авторомъ, она ограничена умственнымъ и правственнымъ положениемъ страны, и дёло, имъ производимое, не можетъ идти ни въ какое сравнение съ вопросами и тэмами европейского искусства, съ цълями, какія оно себ'я задавало и задаеть тенерь въ лиці лучшихъ своихъ представителей; что затёмъ никакой предполагаемой крёности и силы народнаго духа въ выводимыхъ Гоголемъ на сцену лицахъ не обрътается, ни о какомъ такомъ значени ихъ, въроятно, авторъ н не думаль, а если и думаль, то ребячески ошибался. Вдобавокь, Бълинскій прибавляль, что Гоголь не только не выше всъхъ евронейскихъ романистовъ, но, превосходя многихъ изъ нихъ даромъ непосредственнаго творчества, наблюденія и поэтическаго чувства, уступаеть въ объемъ и значении основныхъ идей нъкоторымъ, даже и не очень крупнымъ явленіямъ европейской литературы. Всв эти замътки наносили достаточно сильный ударъ новому, предпринятому толкованію Гоголя, но Бълинскій присоединиль еще къ этому нъсколько саркастических выводовъ изъ положеній своего противника и заключаль споръ насмѣшкой. Послѣднимъ ударомъ — coup de grâce этой полемики со стороны Вълинскаго было его заявление, что если судить по нёкоторымь лирическимь мёстамь первой части «Мертвыхъ Душъ», въ которыхъ объщаются изумительныя откровенія относительно внутренней и внишней красоты русской жизни, то Гоголь можеть, пожалуй, утерять и значение великаго русского художника. Съ тъхъ поръ имя Бълинскаго пронеслось «яко зло», въ лагеръ славянофиловъ, и даже сдълалось у нихъ какъ-бы олицетвореніемъ наносной, ни съ чвиъ не связанной, чуждой народу петербургской цивилизаціи, между тёмъ какъ сами они отписали за собой Москву, какъ городъ, гдё особенно живетъ и развивается чуткое иониманіе русскаго народнаго духа со всёми его чаяніями и представленіями.

XX.

Я засталь Бълинскаго еще подъ вліяніемь этой полемики, раздраженнаго ею въ высшей степени и собирающагося на новыя битвы. Не проходило дня, чтобъ не завязывался разговоръ о московскомъ пониманіи правственныхъ и политическихъ задачъ Европы и Россін, о московскихъ толкованіяхъ Гоголя и сторонъ русской жизни, имъ разоблаченныхъ, о московскомъ представлени порядковъ старорусскаго быта и о морали, которая истекаетъ изъ ученія славянофиловъ или въ немъ подразумъвается. Повторяемъ, о справедливости къ противникамъ тутъ не было и помысла, да и противники платили той же монетой своему нетербургскому опионенту и его партіи. Споръ сошель на вражду и пререкательство между двумя городами. Съ объихъ сторонъ патріотизмъ заключался въ томъ, чтобъ унизить одну столицу на счетъ другой. Для человъка, нъсколько чуждаго страстей, въ которыхъ истощались объ партіи, не было возможности сохранить что-либо нохожее на свободное мивніе. Выхода покамъстъ не существовало. Надо было выбирать между партіями, жертвуя всёми возраженіями, которыя могли появляться въ умв, при ихъ взаимныхъ напраслинахъ, п, такъ-сказать, обезличить себя въ пользу своей собственной стороны.

Никто не испыталь на себь полные и бользненные дыйствие этой перестрылки между двумя центрами нашего развития, какъ И. С. Тургеневь, очутившийся въ средь ихъ, когда явился изъ-заграницы, выстунивъ вскорь потомъ и на литературное поприще съ поэмой «Параша» (1843 г.). Заподозривъ въ немъ съ первыхъ же шаговъ истаго западика, партия, педружелюбно смотрывшая на образцы чуждаго восинтания и развития, словно задалась мыслью—собрать какъ можио болье помыхъ на его жизненномъ пути. Цълая коллекция пустыхъ анекдотовъ о его словахъ, выраженияхъ, замычанияхъ, собиралась тщательно противниками и пускалась въ ходъ съ пужными прикрасами и дополнениями. О произведенияхъ Тургенева до «Записокъ Охотника»—пначе и не говорилось, какъ о чудовищпостяхъ западнаго развития, пересаженныхъ, безъ всякихъ признаковъ таланта, на русскую почву. Не такъ думалъ Бълинскій, открывшій съ-разу въ «Парашь» признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригипальную точку зръ-

нія на предметы: «что мнѣ за дѣло до всѣхъ анекдотовъ о немъ, — говориль Бѣлинскій: — кто написаль «Парашу», тотъ съумѣетъ поправить себя, въ чемъ будстъ нужно и когда будетъ нужно». Слова его и на этотъ разъ оправдались. Быстрое, ослѣиительное развитіе художническаго таланта въ Тургеневѣ, вмѣстѣ съ развитіемъ качествъ его нравственной природы, его духа благорасположенія, терпимости вообще къ людямъ и особенно справедливости къ ихъ трудамъ и убѣжденіямъ — примирило съ нимъ всѣхъ его бывшихъ преслѣдователей и поставило его самого въ центрѣ умственнаго движенія.

Впрочемъ, въ то время, между партіями таилась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, болье чъмъ достаточная для того, чтобъ открыть имъ глаза на общность цёли, къ которой онъ стремились съ разныхъ сторопъ... Но еще не наступило время для разъясненія этого примиряющаго начала, лежавшаго въ зернѣ посреди браннаго поля и безпрестанно затаптываемаго ногами борцовъ. Зерно, однако же, проросло, несмотря на всв невзгоды, какъ увидимъ. Связь заключалась въ одинаковомъ сочувствии къ порабощенному классу русскихъ людей и въ одинаковомъ стремленіи къ упраздненію строя жизни, допускающаго это порабощеніе, или даже на немъ именно и основаннаго. Покамъстъ никто еще не хотълъ видъть сродства въ основномъ мотивъ, двигавшемъ объ партіи, и когда, по временамъ, мотивъ этотъ обнаруживался самъ собой, партіи наши торопились поскорте замять его. Для вящшаго укртилснія розни, не довъряли ни чувствамъ, ни характеру, ни намъреніямъ другъ друга. Въ Москвъ говорили по поводу петербургскихъ гуманныхъ протестовъ: «Петербургъ сдълаль изъ либерализма и своего отчаянія покойное вольтеровское кресло, въ которомъ и нѣжится». Изъ Петербурга отвъчали на это: «на московскихъ историческихъ пуховикахъ еще слаще должно спаться, - особенно подъ гулъ сорокасороковъ». Ко всему этому присоединялись еще и стихотворныя перебранки. Въ Москвъ писались пасквили и эпиграммы на Бълинскаго и притомъ людьми, въ житейскомъ отнощени, несомненно чистаго нравственнаго характера, а изъ Пстербурга имъ отвъчали ругательной песенкой, содержавшей, между прочимъ, такую строфу:

Да, Россія— властью вашей—
Та же, что и до Петра:
Набиваеть брюхо кашей
И рыгаеть до утра.

Какое же тутъ могло быть соглашение?

Раздраженный полемикой, Бѣлинскій сдѣлался подозрительнымъ въ высшей степени. Такъ, движимый все тѣмъ же опасеніемъ за

элементы европейскаго развитія, онъ недружелюбно отнесся и къ нашей провинціальной литературѣ, къ появлявшимся тогда сборникамъ, харьковскимъ, архангельскимъ и другимъ, усматривая тутъ намѣреніе образовать маленькіе центры цивилизаціи, въ противоположность большимъ, государственнымъ центрамъ—петербургскому и московскому—и проводить у себя дома, втихомолку, идеи о самостоятельной народной культурѣ, которая способна сама отыскать себѣ всѣ нужныя основы.

Пронасть, раздёлявшая партіи, особенно расширилась, когда у насъ публично зашла рёчь о правахъ на наше патріотическое и народное сочувствіе всёхъ иноземныхъ—австрійскихъ, венгерскихъ, турецкихъ славянъ. Рёчь эта, впервые поднятая М. П. Погодинимъ, перешла въ русскую печать изъ оффиціальныхъ и частныхъ круговъ, гдё конфиденціально держалась съ начала 30-хъ годовъ въ такомъ декламаторскомъ видѣ, что на первыхъ порахъ вызвала у Бѣлинскаго глумленіе надъ ея формой и содержаніемъ. Положеніе, принятое имъ по славянскому вопросу, имѣло одинаковый источникъ съ тѣмъ, которое онъ выбралъ относительно славянства вообще. Поводомъ къ отрицанію этого вопроса служило Бѣлинскому опять предположеніе, что за вопросомъ скрывается попытка прославленія предположеніе, что за вопросомъ скрывается попытка прославленія темныхъ пародныхъ культуръ и усиліе противопоставить ихъ тенерь съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ выработаннымъ началамъ европейской мысли. Въ самомъ дѣлѣ, попытка на этотъ разъ могла разсчитывать на тѣ невольныя симпатіи къ угнетеннымъ племенамъ и народамъ, которыя должны жить и дѣйствительно жили въ русской публикѣ. Никто болѣе самого Бѣлинскаго не былъ предрасположенъ къ такого рода сочувствію, но при мысли, что тутъ можетъ существовать планъ — возвысить бѣдное, племенное творчество съ его суевѣріями, заблужденіями и безсознательными проблесками истины на степень равную или даже высшую облуманныхъ основъ и началь европейскато облуж или даже высшую обдуманныхъ основъ и началъ европейскаго обра-зованія — при одной этой мысли Бѣлинскій устранялъ всѣ другія соображенія и нерѣдко пасиловалъ свое чувство. Такъ и въ насто-ящемъ случаѣ вышло, что Бѣлинскій хладнокровно относился къ ящемъ случав вышло, что Бълинскій хладнокровно относился къ доблестнымъ трудамъ и жертвамъ твхъ почтенныхъ иностранныхъ двятелей славянства, которые спасли языкъ и нравственную физіо-номію своихъ племенъ отъ конечной гибели посреди другихъ, враж-дебныхъ имъ народовъ. Не болве справедливости, впрочемъ, ока-зывали и противники Бълинскаго ему самому, когда принимались разбирать основы и побужденія его оппозиціи. Они объявляли его человъкомъ, преданнымъ самымъ узкимъ интересамъ существованія, не имъющимъ даже и бргана для пониманія патріотическихъ или народныхъ инстинктовъ. Они шли и далве. По горячей его защитъ государственныхъ пріемовъ Петра I, по заявленнымъ симпатіямъ къ Петербургу, они объявляли его мелкимъ и врядъ-ли еполню безкорыстными централизаторомъ и бюрократомъ. Централизаторомъ онъ, дъйствительно, и былъ, но не въ томъ смыслъ, какъ говорили его враги,—не въ пользу какого-либо существующаго уже порядка дълъ и вещей, а того дальняго, который представлялся ему въ видъ единенія всъхъ пародовъ Европы на почвъ одной общей цивилизаціи, подъ покровомъ однихъ законовъ для разумнаго существованія.

Съ какимъ одушевленіемъ говориль онъ о первыхъ проблескахъ этой будущей централизаціи, этого будущаго строя жизни, которые усматриваль и въ сближени европейскихъ народовъ между собой посредствомъ новыхъ дорогъ, международныхъ установленій и проч., и въ ихъ усиліяхъ создать, не уничтожал родовыхъ и племенныхъ особенностей каждой страны, одинъ общій кодексъ для государственнаго и общественнаго существованія человічества! А вийсті съ тімь, онъ уже не могъ, да и не хотълъ сдерживать своего негодованія, какъ только ему казалось, что обнаруживаются признаки посягательства на этотъ мерцающій вдали и еще далеко не обработанный кодексъ. Все, что затрудняло его осуществление со стороны народнаго тщеславія, заносчивости этнографовъ, возвеличивающихъ ту или другую изъ народныхъ группъ на-счетъ всехъ другихъ національностей, или со стороны скептицизма, почернающаго въ отрицательныхъ и темныхъ подробностяхъ современной европейской жизни доводы въ пользу устраненія ея отъ дёль, - все это приводило его въ неописанное волнение. Во многомъ онъ и заблуждался, какъ показало время, при восторженномъ изложении своихъ надеждъ на развитіе Европы, но онъ заблуждался — доблестно, какъ бываетъ съ людьми, глубоко-върующими въ какую-либо великую идею! Бълинскій до того ревниво охраняль добро, собранное старой и новой европейской цивилизаціей, что уже подозрительно смотръль на образцы и замъчательныя произведенія другихъ, чуждыхъ ей культуръ и отзывался о нихъ очень сдержанно. При появленіи поэмы «Наль п Дамаянти» въ художественномъ переводъ Жуковскаго, онъ ограничился напоминовеніемъ читателю, какъ греческій эпосъ «Иліада» выше измышленій индійскаго народнаго творчества. То же самое было и тогда, когда прекрасный переводъ Я. К. Грота познакомиль русскую публику съ финской эпопеей: «Калевала», съ этимъ намятникомъ фантазій и представленій народа, нікогда населявшаго, какъ говорять, всю Европу. Противопоставляя опять финскій эпось греческому созерцанію жизни, Вълинскій находилъ въ первомъ только безобразную фантазію, чудовищные образы и сплетенья, свойственные дикому народу, и которые должны оттолкнуть всякаго, кто разъ ознакомился со стройностію, мірой и изяществомъ греческой народной производительности.

Какъ ни важны были, однако же, всё эти вопросы, и къ ка-кой яркой полемикъ ни давали они поводъ, все же они не могли заслонить ни на минуту передъ Вълинскимъ чисто-русскаго вопроса, заслонить ни на минуту передъ Бълинскимъ чисто-русскаго вопроса, который тогда цъликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романъ «Мертвыя Души». Романъ этотъ открывалъ критикъ единственную арену, на которой она могла запиматься анализомъ общественныхъ и бытовыхъ явленій, и Бълинскій держался за Гоголя и романъ его цъпко, какъ за нежданную помощь. Онъ какъ-бы считалъ своимъ жизненнымъ призваніемъ поставить содержаніе «Мертвыхъ Душъ» внъ возможности предполагать, что въ немъ таится что-либо другое, кромъ художественной, психически и этнографически върной картины современнаго положенія русскаго общества. Всъ силы своего критическаго ума напрягаль онъ для общества. Всѣ силы своего критическаго ума напрягалъ онъ для того, чтобъ отстранить и уничтожить попытки къ допущенію катого, чтобъ отстранить и уничтожить попытки къ допущенію какихъ-либо другихъ, смягчающихъ выводовъ изъ знаменитаго романа,
кромф тфхъ суровыхъ, строгообличающихъ, какіе прямо изъ него
вытекаютъ. Послф всфхъ своихъ отстунленій въ область европейскихъ литературъ, въ область славянства и проч., онъ возвращался
съ этого поля, болфе или менфе удачныхъ битвъ, опять къ своему
постоянному, домашнему дфлу, только освфженный предшествующими
кампаніями. Домашнее дфло это заключалось преимущественно въ
томъ, чтобъ выбить изъ литературной арены навсегда, если можно,
какъ дикихъ, коварныхъ и своекорыстныхъ ругателей гоголевской
поэмы, такъ и восторженныхъ ея доброжелателей, прозрфвающихъ
въ ней не то, что сна лъйствительно ластъ. Онъ не уставалъ укапоэмы, такъ и восторженныхъ ея доброжелателей, прозрѣвающихъ въ ней не то, что она дѣйствительно дастъ. Онъ не уставалъ указывать правильныя отношенія къ ней и устно, и печатпо, приглашая при всякомъ случав и слушателей, и читателей своихъ подумать, но подумать искренно и серьёзно о вопросѣ — почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмѣ; почему могутъ совершаться на Руси такія невѣроятныя событія, какія въ ней разсказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такія рѣчи, мнѣнія, взгляды, какіе переданы въ ней. Бѣлинскій думалъ, что добросовѣстный отвѣтъ на вопросъ можетъ сдѣлаться для человѣка, добывшаго его, программой дѣятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себѣ и другихъ. Къ этому же времени отпосится и появленіе въ русской изящной литературѣ, такъ-называемой «натуральной школы», которая созрѣла подъ вліяніемъ Гоголя, объясняемаго тѣмъ способомъ, ка-

кимъ объяснялъ его Бѣлинскій. Можно сказать, что настоящимъ отцомъ ея быль — послѣдній. Школа эта ничего другого не имѣла въ виду, какъ указаніе тѣхъ подробностей современнаго и культурнаго быта, которыя не могли еще быть указаны и разобраны никакимъ другимъ способомъ, ни политическимъ, ни научнымъ разслѣдованіемъ. Кстати замѣтить: прозвище «натуральной» дано ей было корифеемъ риторическаго, безталантнаго, фальшиво-благонамѣреннаго изложенія русской жизни, Булгаринымъ, но изъ вражды къ Бѣлинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко-презиравшіе литературную и критическую дѣятельность Булгарина. Оно и до сихъ поръ держится у насъ, несмотря на свое происхожденіе и на свою безсмыслицу.

XXIII.

Покуда все это происходило вокругъ имени Гоголя, самъ онъ повернулъ въ такую сторону, куда не пошли за нимъ и многіе изъ тѣхъ, которые считались людьми, раздѣляющими всѣ его взгляды. Въ февралѣ 1844 г., я получилъ отъ него неожиданно и послѣ долгаго молчанія слѣдующее письмо:

«Февраля 10-го, Ница. 1844.

«Ивановъ прислалъ мнѣ вашъ адрессъ и сообщилъ мнѣ вашу готовность исполнять всякія порученія. Влагодарю васъ за ваше доброе расположеніе, въ которомъ, впрочемъ, я никогда и не сомнѣвался. Итакъ, за дѣло. Вотъ вамъ порученія: 1-е... (это первое порученіе заключалось въ понужденіи друга Гоголя, товарища его по Нѣжину, а теперь повѣреннаго по дѣлу печатанія «Мертвыхъ Душъ» въ Петербургѣ, Н. Я. Прокоповича, къ скорѣйшему доставленію наличныхъ вырученныхъ денегъ и разсчетовъ. Какъ мало любопытное, мы его пропускаемъ и прямо переходимъ ко второму порученію, какъ самому существенному для насъ, которое уже и выписываемъ цѣликомъ, съ сохраненіемъ ореографіи автора).

«2. Другая прозьба. Увѣдомте, въ какомъ положеніи и какой приняли характеръ нынѣ толки, какъ о М. Душахъ, такъ и о сочиненіяхъ моихъ. Это вамъ сдѣлать я знаю будетъ отчасти трудно, потому-что кругъ, въ которомъ вы обращаетесь большею частію обо мнѣ хорошаго мнѣнія, стало быть, отъ нихъ, что отъ козла молока. Нельзя-ли чего-нибудь достать внѣ этого круга, хотя чрезъ знакомыхъ вашимъ знакомымъ, черезъ четвертые или пятые руки. Можно много довольно умныхъ замѣчаній услышать отъ тѣхъ людей, которые совсѣмъ не любятъ моихъ сочиненій. Нельзя ли при

удобномъ случать также узнать, что говорится обо мить въ салонахъ Булгарина, Греча, Сенковскаго и Полевого,—въ какой силт и степени ихъ ненависть, или уже превратилась въ совершенное равнодушіе. Я вспомнилъ, что вы можете узнать кое-что объ этомъ даже отъ Романовича 1), котораго втроятно встртите на улицт. Онъ безъ сомитнія бываетъ по-прежнему у нихъ на вечерахъ. Но дтрайте все такъ, какъ бы этимъ вы, а пе я интересовался. Не дурно также узнать митніе обо мить и самого Романовича.

«За все это я вамъ дамъ совѣтъ, который пахнетъ страшной стариной, но тѣмъ не менѣе очень умный совѣтъ. Тритесь побольше съ людьми п раздвигайте всегда кругъ вашихъ знакомыхъ, а знакомые эти чтобы непремѣнно были онытные и практическіе люди, имѣющія какіе-нибудь занятія; а знакомясь съ ними держитесь такого правила: построже къ себѣ и по снисходительнѣе къ другимъ, а въ хвостъ этого совѣта положите мой обычай не пренебрегать никакими толками о себѣ, какъ умными, такъ и глупыми, и никогда не сердиться ни на что. Если вынолните это, благодать будетъ надъвами, и вы узнаете ту мудрость, которой ужъ никакъ не узнаете ни изъ книгъ, ни изъ умныхъ разговоровъ.

«Увъдомте меня о себъ во всъхъ отношеніяхъ какъ вы живете, какъ проводите время, съ къмъ бываете, кого видите, что дълаютъ всъ знакомые и незнакомые.

«Въ какомъ положеніи находится вообще картолюбіе и ...любіе, и что нынѣ предметомъ разговоровъ какъ въ большихъ, такъ и въ малыхъ обществахъ, натурально въ выраженіяхъ приличныхъ, чтобы не оскорбить никого. Затѣмъ, обнимая васъ искренно и душевно и желая всякихъ существенныхъ пользъ и пріобрѣтеній, жду отъ васъ скораго увѣдомленія. Прощайте.—Вашъ Г.».

«Адресуйте во Франкфуртъ на Майнъ, на имя Жуковскаго, который отнынъ учреждается тамъ, и гдъ чрезъ мъсяцъ я намъренъ быть самъ».

Письмо принадлежало къ числу тѣхъ, которыя удивляли весьма близкихъ къ Гоголю людей, какъ Плетнева, напримѣръ, своими безконечными вопросами о толкахъ и мнѣніяхъ публики по поводу его сочиненій. Гоголь требовалъ особенно перечета наиболѣе дикихъ и безобразныхъ мнѣній. Даже и не очень короткіе знакомые Гоголя завалены были письмами подобнаго рода и подали поводъ думать, что любопытство это, подъ благовиднымъ предлогомъ изученія отношеній публики къ его дѣятельности, прикрываетъ у него особый

¹⁾ Тоже и жинскій товарищь Гоголя, пробивавшійся въ литераторы съ большими усиліями и посъщавшій для того разные литературные круги.

видъ вдкаго тщеславія, которое способно еще доставлять ему нвко-тораго рода наслажденіе. Что касается до меня, я обрадовался письму Гоголя и написаль ему пространный отвъть съ откровенностію и добродушіемъ, которыя мнѣ самому напоминали незабвенные вечера въ Римъ, Альбано, Фраскати и проч., когда мы проводили чудныя южныя ночи въ безконечныхъ толкахъ и разговорахъ о всемъ и о вся, когда за этими разговорами, какъ не-разъ случалось въ Тиволи, даже вовсе не ложились въ постель на ночь, а просиживали до утра на окив тратторіи, дремля подъ шумъ фонтана, который монотонно плескаль посреди ея двора, переръзывая великольпныя линіи древняго греческаго храма, высившагося на другомъ его концъ. Тогда все понималось просто и также говорплось. Но я ошибся жестоко — времена перемънились. Не предчувствуя еще новаго направленія, принятаго Гоголемъ, я неожиданно и невольно попаль въ больное мъсто его мысли и растревожилъ ее. Хорошо помню, что, отв'ячая на его вызовъ, я представиль ему положение партій относительно его романа и передавалъ полемику Бълинскаго съ ними, причемъ, конечно, не считалъ нужнымъ отзываться осторожно ни объ одной изъ нихъ. Мив казалось, что я обязанъ былъ высказать ему всю мою мысль сполна, какъ онъ того просилъ, и потому, можеть быть съ нъкоторымъ излишнимъ пыломъ и негодованиемъ, говориль и о врагахь его изъ салоново Булгарина и Сенковскаго и о друзьяхъ его изъ московской партіи. Не подозръвая тъсныхъ связей, образовавшихся у Гоголя съ последней въ то время, я впаль въ одну изъ тъхъ опрометчивыхъ искренностей, которыя заставляютъ человъка раскаяваться въ собственной своей правдивости. Гоголь, призывавшій искренность, не выдержаль этой и не поняль дружескаго письма.

Въ копцѣ его, если не измѣняетъ мнѣ память, находилось еще замѣчаніе, что въ ту переходную эпоху, въ которой мы живемъ, почти невозможно себѣ и представить такого дѣла, которое бы получило отзвукъ въ потомствѣ, такъ какъ оно, вѣроятно, не захочетъ и знать о нѣкоторыхъ надеждахъ и стремленіяхъ нашего времени. Конечно, замѣчаніе принадлежало къ разряду громкихъ, но незрѣлыхъ и заносчивыхъ афоризмовъ, какіе въ частной иптимной перепискѣ сливаются нерѣдко съ пера у человѣка, желающаго сказать скорѣе болѣе, чѣмъ менѣе того, что ему кажется нужнымъ, и не предвидящаго вдобавокъ, что слово его будетъ прочитано не дружескимъ, а уже подозрительнымъ глазомъ судьи и цензора. Можно было ожидать опроверженія и разъясненія замѣчанія, но, конечно, не того, что я получилъ.

Съ спокойной совъстью я отправиль мое, не въ мъру откро-

венное, письмо, и черезъ два мѣсяца получилъ на него отвѣтъ. Я былъ просто приведенъ въ педоумѣніе этимъ отвѣтомъ. Онъ содержаль въ себѣ строжайшій, болѣе чѣмъ начальническій, а какойто пастырскій выговоръ, точно Гоголь отлучалъ меня торжественно отъ общенія съ вѣрными своей церкви. Вмѣсто мнѣ знакомаго добродушнаго, прозорливаго, все понимающаго и классифирующаго психолога—стоялъ теперь передо мною совсѣмъ другой человѣкъ, да и не человѣкъ, а какой-то проновѣдникъ на кафедрѣ, имъ же и воздвигнутой на свою потребу, громящій съ нея грѣхи бѣдныхъ людей на-право и на-лѣво, по власти кѣмъ-то ему данной и не всегда зная хорошенько, чѣмъ они дѣйствительно грѣшатъ. Топъ письма сбилъ меня совсѣмъ съ толка, потому что я еще не зналъ тогда, что роль пророка и проповѣдника Гоголь уже довольно давно усвоилъ себѣ, что въ этой роли онъ уже являлся г-жѣ Смирновой, Погодину, Языкову, даже Жуковскому и многимъ другимъ, громя и по временамъ бичуя ихъ съ ловкостью почти что ветхо-завѣтнаго человѣка. Привожу это письмо цѣликомъ:

«Франкфуртъ, мая 10-го (1844).

«Благодарю васъ за нѣкоторыя извѣстія о толкахъ на книгу. Но ваши собственныя мнѣнія... смотрите за собой; они пристрастны. Неумѣренные эпитеты, разбросанные кое-гдѣ въ вашемъ письмѣ уже показываютъ что они пристрастны. Человѣкъ благоразумный не позволялъ бы ихъ себѣ никогда. Гнѣвъ или пеудовольствіе на кого бы-то нн было всегда несправедливы, въ одномъ только случаѣ можетъ быть справедливо наше неудовольствіе, когда оно обращается не противъ кого-либо другого, а противъ себя самого, противъ собственныхъ мерзостей и противъ собственнаго пенсполненія своего долга. Еще: вы думаете, что вы видите дальше и глубже другихъ, и удивляютсь, что иногіе, повидимому, умные люди, не замѣчаютъ того, что замѣтили вы. Но это еще Богъ вѣсть кто ошибается. Передовые люди не тѣ, которые видять одно что-нибудь такое, чего другіе не видятъ, и удивляются тому, что другіе не видятъ; передовыми людьми можно назвать только тѣхъ, которые именно видятъ все то, что видятъ все то, чего пе видятъ другіе и уже не удивляются тому, что другіе пе видятъ того же. Въ письмѣ вашемъ отраженъ человѣкъ просто унывшій духомъ и невзглянувшій на самаго себя. Еслибъ мы всѣ вмѣсто того чтобъ разсуждать о духѣ времени, взгляпули какъ должно всякой на самого себя, мы больше гораздо бы выграли. Кромѣ того, что мы узнали бы лучше, что въ насъ самихъ заключено и есть, мы бы пріобрѣли взглядъ яснѣе и многосторон-

нъй на всъ вещи вообще и увидъли бы для себя пути и дороги тамъ, гдъ гръховное уныніе все темнитъ передъ нами и виъсто путей и дорогъ показываетъ намъ только самое себя, т. е. одно гръховное уныніе. Злой духъ только могъ подшеннуть вамъ мысль, что вы живете въ какомъ-то переходящемъ въкъ когда всв усилія и труды должны пропасть безъ отзвука въ потомствъ и безъ ближайшей пользы кому. Да если бы только хорошо освътились глаза наши, то мы увидали бы что на всякомъ мъсть, гдъ бы ни довелось намъ стоять, при всёхъ обстоятельствахъ, какихъ бы то ни было, спосивнествующихъ или поперечныхъ, столько есть дёлъ въ нашей собственной, въ нашей частной жизни, что можетъ быть самъ умъ нашъ помутился отъ страху, при видъ неисполненія и пренебреженія всего, и уныніе не даромъ бы тогда закралось въ душу. По крайней мъръ оно бы тогда было болве простительно, чвив теперь. Признаюсь, я считалъ васъ (не знаю почему) гораздо благоразумнъе. Самой душъ моей было какъ-то неловко, когда я читалъ письмо ваше. Но оставлю это, и не будемъ никогда говорить. Всякихъ мнѣній о нашемъ вѣкѣ и нашемъ времени я териъть не могу, потому что они всв ложны, потому что произносятся людьми, которые чемъ-нибудь раздражены, или огорчены... Напишите мнв о себв самомъ, только тогда когда почувствуете сильное неудовольствие противъ себя самого, когда будете жаловаться не на какіе-нибудь пом'вшательства со стороны людей, или въка, или кого бы то ни было другого, но когда будете жаловаться на помъщательства со стороны своихъ же собственныхъ страстей, лёни и недёятельности умственной. Еще: и луча вёры нётъ ни въ одной строчкъ вашего письма и малъйшей искры смиренія высокаго въ немъ незамътно! И послъ этаго еще хотъть, чтобъ умъ нашъ не былъ одностороненъ, или чтобъ былъ онъ безпристрастенъ. Вотъ вамъ цълый возъ упрековъ. Не удивляйтесь, вы сами на нихъ напросились. Вы желали отъ меня освъжительнаго письма. Но меня освѣжаютъ теперь одни только упреки, а потому ими же я прислужился и вамъ.

«А вмѣсто всякихъ толковъ о томъ, чѣмъ другой виноватъ или невынолнилъ своей обязанности, постарайтесь исполнить тѣ обязанности, которые я наложу на васъ. Пришлите мнѣ каталогъ Смирдинской бывшей библіотеки для чтенія, со всѣми бывшими прибавленіями. Онъ полнѣйшій книжный нашъ Реестръ, да присоедините къ тому Реестръ книгъ всѣхъ напечатанныхъ Синодальной типографіей: это можете узнать въ Синодальной лавкѣ. Да еще сдѣлайте одпу вещь: выпишите для меня мѣлкимъ потчеркомъ всѣ критики Сенков. въ Библіотекѣ для чтенія на М. Д. и вообще на всѣ мои сочиненія, такъ чтобы ихъ можно послать въ письмѣ. Сколько

я ни просилъ объ этомъ, никто не исполнилъ. Каталогъ Смирд. есть кажется мой у Прокоповича. Пошлите тоже съ почтой, которая нынѣ принимаетъ посылки. Адресуйте въ Берлинъ на имя служащаго при тамошней миссіи графа Мих. Мих. Віельгорскаго для доставки мнѣ, если почта не возмется доставить во Франкфуртъ прямо на мое имя. Вотъ вамъ обязанности покамѣсть истинно Христіанскія. Отъ васъ требуетъ выполненія этаго долга прямо, безвозмездно. — Н. Гоголь».

Несмотря на совершению неожиданный для меня учительскій и раздраженный тонъ этого письма, оно меня все-таки глубоко тро-нуло: во-первыхъ, и замѣчательнымъ литературнымъ своимъ достоин-ствомъ, а во-вторыхъ— и преимущественно какой-то безпредѣльпой вѣрой въ повое созерцаніе, имъ возвѣщаемое. Загадкой оставалось для меня только слъдующее: какимъ процессомъ мысли Гоголь перенесъ прямо на меня все, что я говорилъ вообще о современныхъ людяхъ, и отыскалъ въ моихъ сообщеніяхъ личный вопросъ, — уныніе, ропотъ, недовольство судьбой и другія качества неудачнаго честолюбца. Но особенно не могъ я попять, откуда тутъ взялся еще вопросъ о религіозныхъ моихъ убъжденіяхъ, о состояніи моей души и совъсти, такъ какъ исповъдываться въ нихъ я не имълъ ни малъйшаго помысла передъ Гоголемъ, да онъ и не возбуждалъ такого во-проса. Передавать толки публики о «Мертвыхъ Душахъ» и по этому поводу представить свидътельство о болъе или менъе удовлетворительномъ состояніи своего религіозпаго чувства—кому же это могло придти въ голову? Впослёдствіи все это объяснилось. Письмо Гоголя, какъ и множество другихъ такихъ же, полученныхъ разными лицами въ Россіи, было однимъ изъ той гряды облачковъ, которая предшествовала появленію роковой книги «Переписка съ друзьями». Письма возв'вщали ен близкое восшествіе на горизонтъ. Гоголь, ужаснувшійся успѣха своего романа между западниками и людьми непосредственнаго чувства, весь погруженъ былъ въ замыселъ разоблачить свои настоящія историческія, патріотическія, моральныя п религіозныя воззрѣнія, что, по его мнѣнію, было уже пеобходимо для нониманія готовящейся 2-й части поэмы. Виѣстѣ съ тѣмъ, все болѣе и болье созрывали въ умъ его надежда и планъ падълить, наконецъ, безпутную русскую жизпь кодексомъ великихъ правилъ и незыблемых в аксіомъ, которыя помогли бы ей устроить свой внутренній міръ на образець всёмъ другимъ народамъ. Но намёреніе оставалось еще покамёсть тайной для всёхъ, и служить какимъ-либо пояспеніемъ действій Гоголя не могло. Въ потемкахъ я отвёчаль Гоголю, что получилъ его письмо, благодарю за участіе ко мив,

не огорчаюсь его выговорами, не отвергаю вовсе его совътовъ, но считаю нужнымъ указать ему на странную ошибку. Онъ считаетъ меня человъкомъ весьма высокаго мнънія о себъ, надменнымъ и страдающимъ гордостью, а между тъмъ могъ бы замътить въ теченіи долгихъ нашихъ сношеній, что я скоръе имълъ претензію считать себя ничтожнъйшимъ изъ дътей міра, и безъ всякаго вознагражденія, о которомъ говоритъ поэтъ, употребившій однажды это выраженіе.

Затъмъ корреснопденція наша прекращается па-долго, до 1847 года, когда, живя уже съ больпымъ Велпнскимъ на водахъ въ Силезіи, въ Зальцбрунъ, я опять получиль отъ Гоголя нисьмо, но уже мягкое и отчасти грустное письмо. Книга его «Перениска съ друзьями» уже вышла и нринесла ему такую массу огорченій, упрековъ, наконецъ, клеветъ и незаслуженныхъ оскорбленій, что онъ склонился подъ этой бурей общественнаго исгодованія, какъ тростникъ-до земли. Состояние его духа отразилось и на нисьмъ, но объ этомъ нослъ. Съ тъхъ поръ уже благодушное, ласковое, снисходительное настроение не нокидало Гоголя по отношению къ старому его корреснонденту и собесъднику, и всякій разъ, какъ мы встръчались, до самой его смерти, выказывалось съ новой силой. Въ 1851 году, за годъ до своей кончины, провожая меня изъ своей квартиры, въ Москвъ, на Никольскомъ бульваръ (домъ графа Толстого), онъ, на норогъ ея, сказаль миъ взволнованнымъ голосомъ: «Не думайте обо мнъ дурного и защищайте передъ своими друзьями, прошу васъ: я дорожу ихъ мивніемъ».

Страдальческій умиротворенный и па все уже подготовленный обликъ Гоголя, — Гоголя послёднихъ дней, — остался въ моей жизни самымъ трогательнымъ воспоминаніемъ, наравив съ обликомъ медленно умирающаго и все еще волнующагося Бёлинскаго.

Бѣдный, запутавшійся другь, погибшій добровольной и мучительной смертью именно потому, что жиль въ эпоху столкновенія неустановившихся вѣрованій, одинаково важныхъ и неустранимыхъ, и которую такъ горячо защищалъ нротивъ мнѣнія о ея переходномъ состояніп! Чрезвычайно замѣчательно слѣдующее обстоятельство. Въ мартѣ 1848 года, запимаясь обработкой 2-й части «Мертвыхъ Душъ» въ Москвѣ, онъ иншетъ старому своему товарищу, уже упомянутому Н. Я. Прокоповичу, что труду его мѣшаютъ, во-иервыхъ, недуги, а во-вторыхъ — отраженіе на авторѣ всѣхъ невыгодныхъ вліяній шаткаго переходнаго времени, въ которое онъ живетъ. Итакъ, ужасъ п негодованіе, возбужденные въ Гоголѣ однимъ намекомъ на то, что эпоха эта можетъ быть назвапа нереходною, миновались совершенно черезъ четыре года, да и не только шиновались, но сама мысль нризнана еще пеоснорнмой истиной, па осно-

ваніи личнаго опыта. Вотъ это замѣчательное мѣсто письма, съ котораго я тогда же снялъ точную копію, конечно, не объясняя никому причинъ, почему я считаю его особенно важнымъ.

"Москва, 29-го марта (1848).

«Бользни пріостановили мои занятія «Мертвыми Душами», которыя пошли было хорошо. Можеть быть, бользнь, а можеть быть—и то, что какъ поглядишь, какіе глупые настають читатели, какіе безтолковые цынители, какое отсутствіе вкуса... просто не подымаются руки. Странное доло, хоть и знаешь, что труду твой не для какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимаеть нужное для него спокойствіе».

Какъ далеко стойть это признаніе отъ восклицанія: «Злой духъ только могъ подшеннуть вамъ мысль, что вы живете въ какомъ-то переходящемъ вѣкѣ, когда всѣ усилія и труды должны пропасть безъ отгвука въ ногомствѣ...» — Увы! Какъ еще положеніе это ни казалось опрометчиво, заносчиво и ложно, сказанное неловко и не вб-время, самъ Гоголь, страстно опровергавшій его, испыталъ еще сомнѣніе въ пользѣ своихъ усилій и трудовъ для потомства, — сомнѣніе, результатомъ котораго было, какъ извѣстно, сожженіе 2-й части «Мертвыхъ Душъ». Если бы дѣло состояло тогда въ его власти, то результатомъ этого настроенія могло бы быть и нѣчто ббльшее — именно сожженіе всѣхъ его трудовъ вообще. Правда, тутъ примѣшалась душевная болѣзнь, патологическое состояніе мозговыхъ бргановъ, — но развѣ переходныя эпохи именно и не отличаются этими болѣзнями, которыя сами суть пе что иное, какъ произведеніе глухой борьбы началъ въ глубинѣ души и мысли каждаго развитаго человѣка.

Со всёмъ тёмъ мнё легко сознаться теперь и повторить, что замёчаніе о безплодности трудовъ, предпринятыхъ въ переходное время, которымъ я погрёшилъ тогда, и которое вызвало такія недоразумёнія, было вполнё необдуманпо и ложно въ основаніи. Ни дёятельность Гоголя, ни дёятельность самого Бёлинскаго, а также и людей 40-хъ годовъ вообще изъ обоихъ лагерей нашихъ не остались безъ слёда и вліянія на ближайшее потомство, да найдутъ, по всёмъ вёроятіямъ, еще пе одинъ отголосокъ и въ болёе отдаленныхъ отъ насъ поколёніяхъ. Это уб'єжденіе только и могло вызвать составленіе настоящихъ «Воспоминаній».

XXIV.

Мнѣ приходится говорить теперь о замѣчательномъ въ исторіи нашихъ литературныхъ партій 1845-мъ годѣ и приступить къ краткому библіографическому отчету о нѣкоторыхъ статьяхъ журнала «Москвитянинъ», состоявшаго слишкомъ малое время подъ непосредственной редакціей И. Кирѣевскаго. Статьи были важнымъ событіемъ описываемой эпохи, и безъ разбора ихъ — дальнѣйшій разсказъ о ней утерялъ бы свой пастоящій смыслъ. Онѣ именно обозначаютъ ту минуту, съ которой распря между славянами и западниками приняла у насъ новый, менѣе безпощадный и слѣпой характеръ, чѣмъ прежде, хоть и долго потомъ еще не нуждалась въ воинственномъ одушевленіи, но тонъ становился другой. Перемѣна тона и самой рѣчи, на которую рѣшились прежде всѣхъ славяне, имѣла значительныя послѣдствія по отношенію къ внутреннимъ дѣламъ и положенію дѣйствующихъ лицъ въ обѣихъ партіяхъ.

Извъстно, что, кромъ Бълинскаго, вопросъ объ отношении народной культуры къ европейскому образованию запималъ еще Грановскаго и Г., съ ихъ друзьями. По близкимъ отношеніямъ ихъ къ славянскимъ двятелямъ, вопросъ этотъ мвшалъ сойтись имъ съ людьми противнаго лагеря, нравственную цёну которыхъ они очень хорошо знали, на какой-либо нейтральной почвъ. Дъйствительно, пока въ славянской партіи господствовало полное отрицаніе европеизма, невозможно было никакое примирение и соглашение. Черезъ это препятствіе именно и перешагнули Киржевскіе, Хомяковъ и ихъ друзья, когда въ 1845 году приняли въ свои руки редакцію журнала «Москвитянинъ». Они сдълали первый шагъ на-встръчу западникамъ. Можно сказать, что новые редакторы «Москвитянина», овладъвая журналомъ, ничего другого и не имъли въ виду, какъ правильнаго, съ ихъ точки зрвнія, постановленія и разрвшенія вопроса. Тогда и оказалось съ перваго же раза, что для славянской партіи типъ европейской цивилизаціи столько же дорогь, какъ и любому европейцу, но дорогь не какъ готовый образецъ для подражанія, а какъ надежный вкладчикъ въ капиталъ собственныхъ умственныхъ сбереженій русской народной культуры, какъ хорошій пособникъ при обработкъ ею самой своего капитала.

Первымъ дѣломъ редакторовъ было, поэтому, устраненіе и опроверженіе тѣхъ мнѣній своихъ собственныхъ единомышленниковъ, которые или презирали типъ европейской цивилизаціи, или противопоставляли его славянской культурѣ, какъ нѣчто враждебное послѣдней или къ ней неприложимое. Руководящая статья И.В.Ки-

рѣевскаго въ 1-мъ № «Москвитянина» за 1845 годъ («Обозрѣніе современнаго состоянія словесности») наносила тяжелые удары преслѣдователямъ Запада и, прежде всего, старому критику того же «Москвитянина» — С. III., который въ 1841 году въ статьѣ: «Взглядъ на образованіе европейское», выражалъ мнѣніе, что Россія, не пспытавшая ни реформаціп, ни революціи и тѣмъ самымъ сохранившая въ себѣ великое нравственное единство, не можетъ дѣлить духовной жизни съ болѣзненнымъ европейскимъ міромъ, а скорѣе призвана, можетъ быть, исцѣлить и обновить его. И. В. Кирѣевскій не менѣе С. III. вѣровалъ во всѣ, такъ-сказать, догматы славянофильской партіи, въ печальное раздвоеніе европейской жизни, въ необходимость и возможность ея обновленія началами восточнаго любомудрія, что и высказывалъ въ своемъ трактатѣ; но И. В. Кирѣевскій, вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣлъ представленіе о роли Запада въ дѣлѣ цивилизаціи гораздо болѣе широкое, чѣмъ ультра-славяне изъ его собственной партіи, которымъ и не замедлиль высказать горькія истины.

Во второй своей стать в (Москвитянинъ», № 2, 1845 года) онъ объявляль оба направленія наши, какъ чисто-русское, такъ и чисто-западное, одинаково ложными, и это на основаніяхъ, которыя были гораздо болже оскорбительны для собственной его партіи, чёмъ для враждебной ей. «Чисто-русское направление ложно потому,— замѣчалъ онъ, — что пришло неизбѣжно, роковымъ образомъ, къ ожиданію чуда и призыву его на помощь своей вѣры, ибо только чудо можеть воскресить мертвеца—русское прошлое, которое такъ горько оплакивается людьми этого воззрѣнія. Направленіе, вдобавокъ, не видитъ, что каково бы ни было просвъщение европейское, но истребить его вліяніе, послѣ того, какъ мы однажды сдѣлались его причастниками, уже находится внѣ нашей силы, да это было бы п великимъ бъдствіемъ».— «Оторвавшись отъ Европы,—добавляль онъ,—мы перестаемъ быть общечеловъческою національностью, лишаемся всёхъ благь римско-греческаго образованія» («Москвитянинъ», 1845 года, № 2, стр. 63 — 78). Западникамъ, подъ которыми препмущественно разумёлся Бёлинскій, какъ самый крайній изъ нихъ, посылался тоже довольно тяжкій укоръ. Направленіе ихъ обвинялось въ непониманіи того, что истины Запада суть только остатки христіанскихъ началь, и упрекъ добавлялся замѣчаніемъ, что они «эксеноподобно управляются одной страстью къ предмету обожанія, которая и привела ихъ къ пельпой мысли, будто все уже рышено Европой и стоитъ только подбирать какъ святыню все, что она бросаетъ нужнаго и ненужнаго» (стр. 73). Вмысто этихъ пустыхъ направленій, для Кирыевскаго существуетъ и важно только

представление о двухъ родахъ образования - одно то, которое творится чрезъ внутреннее устроение духа, силою извъщающейся въ немъ истины. Это самое разумное, высшее, и уже безъ познанія Европы обойтись не можетъ. Другое—низшее образованіе слагается чрезъ формальное развитие разума и пріобрътение высшихъ познаній, съ помощью одного заимствованія; оно ділаеть изъ человіна подобіе логически-технической выкладки, безъ національныхъ и всякихъ другихъ убъжденій (74). Въ концъ изследованія является у Киръвскаго резюмирующій тезись, который гласить: «поэтому, любовь къ образованности европейской, равно какъ и любовь къ нашей, объ совпадають въ послъдней точкъ своего развитія въ одну любовь, въ одно стремление къ живому, полному, всечеловъческому и истиннохристіанскому просв'єщенію». Об'є статьи И. В. Кир'євскаго произвели громадное впечатлъние и нашли доброжелателей и порицателей одинаково въ обоихъ лагеряхъ — славянскомъ и западномъ. Бълинскій припадлежаль къ числу порицателей. Въ постройкъ статей онъ усмотръль отчасти немецкій характерь, пскусно, но фальшиво обобщающій предметы, а потомъ п некоторую непоследовательность: «Какъ же это, — говорилъ онъ, — Кпревский отыскаль илемя, способное дополнить развитие Европы свъжими элементами своего издёлія, а между тёмъ предлагаеть ему идеалы цивилизаціи собственнаго своего измышленія. Да въдь идеалъ-то цивилизацін и есть само это избранное племя! Н'втъ, ужъ если вы не обманываете самого себя, говоря, что сподобилися читать въ книгъ судебъ о призваніи русскаго народа, такъ не стыдитесь лежать передъ нимъ во прахъ. Я больше люблю Ш. и П., которые, не бродя по сторонамъ, просто ревутъ: «мы спасители, мы обновители!» ужъ и знаешь, что имъ на это отвъчать».

Третья статья И. Кирѣевскаго, которая, по плану его, должна была заняться текущими явленіями литературы, къ сожалѣнію, не ноявилась въ печати.

Не менѣе рѣшительно и строго отнесся къ доморощеннымъ гонителямъ Запада и А. С. Хомяковъ въ двухъ прекрасныхъ своихъ статьяхъ: а) «Письмо въ Петербургъ« («Москв.», 1845, № 2): о русскихъ желѣзныхъ дорогахъ; и б) «Миѣніе иностранцевъ о Россіи» («Москв.», 1845, № 4).

Послёдняя не была подписана и, конечно, имёла въ виду извёстную книгу Кюстина, которая, несмотря на строгое запрещеніе ся, читалась у насъ повсемёстно и возбуждала характеристикой нёкоторыхъ лицъ и событій саркастическіе толки въ-тихомолку, очень невинные, но очень безпокоившіе однакоже административныхъ людей эпохи. Обычныхъ славянофильскихъ оговорокъ и въ этихъ

статьяхъ нашлось много. Какъ и Кирфевскій, Хомяковъ объявляль въ первой изъ нихъ просвъщение не чъмъ инымъ, какъ просвътленіемъ всего разумнаго состава въ человъкъ или народъ, дополняя эту мысль еще замвчаніемь, что такое просвітленіе можеть совпадать съ наукой, а можеть существовать и безъ нея, не теряя отъ того своего благотворнаго дъйствія 1). Какъ и Киржевскій, онъ предпосылаль обличению друзей обличение западниковь и школы Бълинскаго, которыхъ випплъ въ непростительной односторонности. Въ литературныхъ сужденіяхъ своихъ, какъ И. В. Кирфевскій, такъ и А. С. Хомяковъ, очень близко подходили къ Бълинскому, а часто шли и дальше его. Вотъ, напримъръ, мъсто изъ второй статьи Киръевскаго: «Произведенія нашей словесности, какъ отраженія европейскихъ, не могутъ имъть интереса для другихъ народовъ, кромъ интереса статистического, какъ показанія міры нашихъ ученическихъ успѣховъ въ ученіи ихъ образцовъ» («Москв.», № 2, с. 63). Сильнѣе этого ничего не говорилъ и Бълинскій, а сколько брани вытериълъ онъ за подобные, теперь уже совершенно оправданные приговоры! Правда — славянская наша партія, часто соглашаясь втайнъ съ положеніями непавистнаго ей критика, старалась всемфрно держать себя въ сторонъ отъ него, отыскивая подъ-часъ довольно хитростнымъ способомъ возможность, раздъляя его мнжніе, противоржчить ему. Примфровъ этому много. Оградивъ такимъ образомъ убъжденія свои отъ всякихъ подозрѣній въ потакательствѣ врагамъ, Хомяковъ твиъ съ большей силой обращается къ старовврамъ собственной партіи, чурающимся отъ Запада какъ отъ язвы. «Не думайте», восклицаетъ онъ: «что подъ предлогомъ сохранить цёлостность жизни и избъжать европейского раздвоенія, вы имъете право отвергать какое-либо умственное или вещественное усовершенствованіе Европы». — «Есть что-то см'єшное», продолжаеть онь: «и даже что-то безнравственное въ этомъ фанатизмъ неподвижности> (Ib. стр. 82-83).—«Знайте», поясняеть онъ далье, «что усвоеніе чуждыхъ стихій производится въ силу законовъ нравственной природы народа и производить новыя явленія, обнаруживающія его своеобычность, многосторонность и самостоятельность». — Онъ даже обзываетъ нашихъ ультра-патріотовъ и гонителей Запада просто скептиками, лишенными въры въ силу истины и здоровыхъ началъ русской жизни, которую защищають и которая на нашихъ глазахъ, несмотря на характерь подражательности, ей свойственной, уже оне-

¹⁾ Въ этомъ мѣстѣ Хомяковъ приводилъ въ примѣръ такихъ мудрыхъ и свѣтлыхъ эпохъ, сложившихся, однако же безъ участія формальнаго знанія,—царствованія Өедора Ивановича, Алексѣя Михайловича и императрицы Елизаветы Петровны, о чемъ было уже говорено.

редила своихъ учителей во многомъ: въ ней, напримъръ, немыслимо такое явленіе, какъ баварское искусство, занятое воспроизведеніемъ въ одно время греческихъ, византійскихъ и средневъковыхъ памятниковъ.

Было довольно странно восхвалять русскую жизнь за то, чего она не сдѣлала, не имѣя еще и понятія объ исторіи искусства вообще, но мѣткость всѣхъ другихъ опредѣленій Хомякова была признана славянами по отношенію къ западниками но отношенію къ славянамъ.

Вторая статья Хомякова: «Мнвніе иностранцевь о Россіи», любопытна была темъ, что освобождала иноземныхъ авторовъ и ихъ русскихъ подсказывателей отъ ответственности за нелености, распространяемыя ими о Россіи. Что другое могли бы они говорить? замъчаетъ Хомяковъ. Основное жизненное начало народа, откуда все исходить, весьма часто не только не понимается другими народами, да нередко и имъ самимъ. Примеромъ тому можетъ служить Англія, и досель не понимаемая, по мнынію автора, ни чужеземными, ни своими писателями 1). При одномъ формально научномъ образованіи и при одномъ логическомъ способъ добыванія пдей — прибавляеть онъ-пътъ и возможности уловить душу народа, уразумъть начала, которыми онъ живетъ. Вотъ почему нашъ простой народъ, не пошедъ за высшими классами въ логическомъ и формальномъ образованіи, оказаль, по Хомякову, громадную услугу Руси. «Туть произошло», говорить авторь, «безсознательное ясновидение человеческаго разума, которое предугадываетъ многое, чему еще не можетъ дать ни имени, ни положительнаго очертанія» (№ 4 «Москов.», с. 38). Сохранивъ свою національную культуру, русскій народъ подготовиль дорогіе матеріалы для народнаго самосознанія, которое еще болье укрыпится и сильные выразится послы усвоенія элементовъ европейской цивилизаціи, и уже сділаеть тогда невозможнымъ лжетолкованія русской жизни, какъ со стороны чужеземныхъ, такъ и своихъ изследователей.

Даже и такой труженникъ, какъ П. В. Киръевскій, весь посвятившій себя собиранію памятниковъ народнаго творчества и не охотно являвшійся на журнальную арену, принялъ участіе въ дълъ созиданія прочныхъ основъ для своей партіи. Онъ опровергаль въ

¹⁾ Это смёдое положеніе А. С. Хомякова, всёми замёченное и не оставленное безъ возраженія, ноказывало еще разъ, какъ далеко увлекалъ его блестящій умъ, наклонный къ рёшительнымъ словамъ и афоризмамъ, ради потрясающаго ихъ дёйствія на слушателей. Вотъ что говориль онъ далёе въ подтвержденіе своей мисли: «Вездё она (Англія) является, какъ созданіе условнаго, мертваго формализма... но она вмёстё съ тёмъ имѣетъ преданія, поэзію, святость домашняго очага, теплоту сердца и Диквенса, меньшаго брата, нашего Гоголя» (!). "Москв.", 1845 г., № 4, с. 29.

№ 3 «Москвитянина» извъстное ноложеніе М. П. Погодина, по которому русскій народъ всегда отличался мягкостію, податливостію, не зналъ сословной розни и легко покорялся всякому требовапію. П. В. Киръевскій считаль это положеніе оскорбительнымъ для русскаго народа, предлагалъ другое пояснепіе его исторіи и вызвалъ жаркое возраженіе М. П. Погодина, подтверждавшаго свою ирежнюю тэму о податливости русскаго народа ссылками на лѣтописи.

Вообще можно полагать, что старый редакторъ журнала имѣлъ причины раскаяваться въ томъ, что предоставилъ органъ свой другимъ рукамъ, песмотря на быстрое нравственное и матеріальное значеніе, пріобрѣтенное «Москвитяниномъ» подъ новой редакціей. Уже съ 3-го пумера, М. П. Погодинъ посиѣшилъ оградить себя отъ нападковъ своихъ слишкомъ добросовѣстныхъ и откровенныхъ друзей, требованія которыхъ все болѣе и болѣе росли и грозили оставить его самого и добрую часть его партіи позади себя. Въ статейкъ: «За русскую старину» (№ 3, с. 27) онъ съ нескрываемой досадой возражаетъ на упрекъ нли на клевету, какъ выразился, будто славянофилы не уважаютъ Запада, будто хотятъ воздвигнуть мертвый трупъ, будто нечестиво поклоняются неподвижной старинъ. Обиженный редакторъ довольно пронически поясняетъ, что старинъ. Обиженный редакторъ довольно иронически поясняетъ, что они ратуютъ только за русскій духъ, въющій изъ старины, за самостоятельность жизни, а потомъ и за свободное признаніе всѣхъ

мостоятельность жизни, а потомъ и за свободное признаніе всёхъ заслугъ запада, востока, сѣвера и юга (с. 31).

Это значило не отвѣчать вовсе на сущность вопроса. По окончаніи года, М. П. Погодинъ поспѣшилъ принять журналъ опять въ свои руки и легко успѣлъ лишить его значенія, которое онъ сталъ пріобрѣтать. «Москвитянинъ» влачилъ довольно безцвѣтное существованіе, опаздывая книжками и изрѣдка оживляясь полемическими искрами, скоро потухавшими безслѣдно въ массѣ литературнаго хлама. Такъ продолжалось до 1850 г., когда новое поколѣніе, исключительно воспитанное Москвой, опять обратило на журналъ вниманіе публики. Имена свѣжихъ дѣятелей, оживившихъ тогда пелакцію журнала полъ знаменемъ котораго они собрались, теперь налъ вниманіе публики. Имена свъжихъ дъятелей, оживившихъ тогда редакцію журнала, подъ знаменемъ котораго они собрались, теперь хорошо извъстны. Это были, по части художественнаго производства, А. Островскій, А. Писемскій, А. Потьхинъ, Кокоревъ и другіе, а по части критики и философіи—Ап. Григорьевъ, Эдельсонъ, Т. Филипповъ и др. Петербургъ тотчасъ же завязалъ и съ ними полемику, принявъ ихъ за эпигоновъ—послъдки старой могущественной партін, по это уже отпосится къ другому періоду литературы и развитія.

Московские западники, съ Грановскимъ и Г. во главъ, не оставили руки, такъ великодушно протянутой имъ партией славянъ,

безъ отвъта. Они просто обрадовались возможности завязать съ высокоразвитыми своими противниками опять нъкоторый обмънъ мыслей, такъ какъ главный ровъ, мътавшій всякому сношенію между обоими лагерями, былъ если не вполнъ, то на половину засыпанъ. Слово возвратилось борцамъ, потому что они могли уже разумъть другъ друга. Сохраняя всъ свои отличія и свою независимость, не признавая очень многія изъ положеній славянъ, которыми они окрашивали и дополняли главную тэму о пользъ и необходимости изученія Европы, а особенно не отрекаясь отъ права и обязанности энергически противиться при случать выводамъ, которые они дълали изъ исторіи, какъ русской, такъ и европейской вообще — московская западная партія признавала, однако же, важность ихъ послъдняго ргоfеssion de foi и поняла необходимость и законность уступокъ и съ своей стороны. Уступки эти и были сдъланы, какъ увидимъ. Но Вълинскій оставался внъ всего этого движенія.

XXV.

Одновременно съ раздвоеніемъ въ лагерѣ «славянъ», послѣдовало точно такое же и у западниковъ: «Москвитянинъ» вызвалъ много бурь въ нѣдрахъ этой партіи, и на одной изъ такихъ бурь, лѣтомъ 1845 г., я присутствовалъ. Лѣто 1845 года оставило во мнѣ такія живыя воспоминанія, что я и теперь (1870 г.) по прошествіи слишкомъ 25-ти лѣтъ, какъ будто вижу передъ собой каждаго изъ тогдашнихъ лицъ московскаго кружка, и какъ будто слышу каждое ихъ слово. Для меня это—не дальнее, на половину позабытое прошлое, а какъ будто событіе вчерашняго дня. Голоса, выраженіе физіономій и поза людей—стоятъ въ памяти такъ живо, точно мы недавно разошлись по домамъ; постараюсь передать мои воспоминанія съ наивозможной вѣрностью.

Грановскій, Кетчеръ и Г. извѣстили своихъ пріятелей, что па лѣто 1845 г. они поселяются въ селѣ Соколовѣ—въ 25-ти или

Грановскій, Кетчеръ и Г. извѣстили своихъ пріятелей, что па лѣто 1845 г. они поселяются въ селѣ Соколовѣ—въ 25-ти или 30-ти верстахъ отъ Москвы. Село принадлежало помѣщику Д—ву, который, на случай своихъ пріѣздовъ въ вотчину, оставилъ за собой большой домъ, а боковые флигеля и домикъ позади предоставилъ наемщикамъ, вмѣстѣ съ великолѣпнымъ липовымъ и березовымъ садомъ, который отъ дома сходилъ подъ гору, къ рѣкѣ. На противоположной сторонѣ рѣки и горки, по общему характеру русскаго пейзажа, тянулся сплошной рядъ крестьянскихъ избъ. Въ обоихъ флигеляхъ размѣстились семейства Г. и Грановскаго, а домикъ позади занялъ Кетчеръ. Помѣщикъ не безпокоилъ наемщи-

ковъ. Въ рѣдкіе свои наѣзды опъ только приказывал крестьянамъ и крестьянкамъ свободно гулять по своему саду, проходя вереницами мимо оконъ большого дома. Какъ ни легка, новидимому, была эта барщина, но она возбуждала сильный ропотъ въ людяхъ, къ ней приговоренныхъ, чему наемщики были сами свидѣтелями не разъ. Вѣроятно, ни рапѣе, ни позже, Соколово уже пе представляло такой поразительной картины шума и движенія, какъ лѣтомъ 1845 года. Пріѣздъ гостей къ дачникамъ былъ невѣроятный, громадный.

Ввроятно, ни рапве, ни позже, Соколово уже не представляло такой поразительной картины шума и движенія, какъ лвтомъ 1845 года. Прівздъ гостей къ дачникамъ былъ неввроятный, громадный. Обвды устроивались на лугу передъ домомъ почти колоссальные, и обв хозяйки— Н. А., жена Г., и Е. В. Грановская, уже привыкшія къ наплыву посвтителей, справлялись съ этою толной неимовро ловко. Сами онв представляли изъ себя очень различные типы, хотя и связаны были твсной дружбой. Жена Г., со своимъ мягкимъ, едва слышпымъ голоскомъ, со своей ласковой и болфзиенной улыбкой, со всвмъ своимъ двтски-нвжнымъ, хрупкимъ и страдающимъ видомъ, обладала еще страстиостью характера, пламениямъ воображеніемъ и очень сильной волей, что и доказала на двлв при началв своей жизни и при копцв ея. Елизавета Богдановна Грановская была олицетвореніемъ спокойной, молчаливо-благодарной и втайнъ радостной покорности своей судьбъ, устроившей ея положеніе какъ жены и какъ женщины. Обв онъ способны были, каждая по-своему и съ различными побужденіями, на очень значительныя жертвы и подвиги, если бы то потребовалось. Всегда окруженныя своими московскими пріятельницами, онъ покамъстъ служили въ Соколовъ тъмъ умъряющимъ, эстетическимъ началомъ, которое сдерживало пиры друзей, гдъ на шампанское не скупились, въ тонъ веселой, но далеко не распущенной бесёды.

Веселой, но далеко не распущенной бесёды.

Я появился среди этого персонала Соколова въ концё іюня мёсяца, быль принять имъ съ величайшимъ радушіемъ, но съ оттёнкомъ, который бросался въ глаза. Какъ гость изъ Петербурга и изъ ближайшаго кружка Бёлинскаго, я долженъ быль почувствовать, въ средё самыхъ дружескихъ изліяній, ту ноту разногласія, диссонанса, какая уже существовала между двумя отдёлами западной партіи. Нота эта звучала и въ полусерьёзной физіономіи Грановскаго, которая поперемённо разглаживалась и темнёла. Всёмъ необходимо было пропёть противную эту ноту поскорёе вслухъ, чтобы войти опять въ простыя, откровенныя отношенія другъ къ другу. Это и не замедлило случиться.

Въ тотъ же самый день все общество собралось на прогулку въ поля, окружавшія Соколово, на которыхъ, по случаю ранняго жинтва, парствовала теперь муравьиная дѣятельпость. Крестьяне п

крестьянки убирали поля въ костюмахъ, почти примитивныхъ, что и дало поводъ кому-то сдѣлать замѣчаніе, что изо всѣхъ женщинъ одна русская ни передъ кѣмъ не стыдится, и одна, передъ которой также никто и ни за что не стыдится. Этого замѣчанія достаточно было для того, чтобы вызвать ту освѣжающую бурю, которой всѣ ожидали. Грановскій остановился и необычайно серьёзно возразилъ на шутку:— «Надо прибавить, сказалъ онъ,— что фактъ этотъ составляетъ позоръ не для русской женщины изъ народа, а для тѣхъ, кто довелъ ее до того; и для тѣхъ, кто привыкъ относиться къ ней цинически. Большой грѣхъ за послѣднее лежитъ на нашей русской литературѣ. Я никакъ не могу согласиться, чтобы она хорошо дѣлала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространеніемъ презрительнаго взгляда на народность». Съ этого и начался споръ.

Я не упомянуль, что въ числъ постоянныхъ гостей Соколова быль еще вліятельный челов'якъ кружка — издатель «Моск. В'яд.» Евг. Өед. Коршъ. По убъжденіямъ своимъ, онъ принадлежалъ вполнъ партіи крайнихъ западниковъ, отыскивая вмість съ ними основы для мысли и для жизни въ философіи, исторіи, следя за теоріями соціализма, и нисколько не ужасаясь никакихъ результатовъ, какіе бы могли оказаться на концъ этихъ розысканій; но вмъсть съ тъмъ онъ не принималъ на въру никакихъ заманчивыхъ посуловъ доктрины, откуда бы она ни исходила, если только мало-мальски приближалась къ утопіи или обнаруживала поползновеніе на произвольный выводъ. Онъ постоянно воевалъ съ идеалами существованія, которыхъ тогда возникало множество. Вообще, это былъ критикъ убъжденій и върованій своего круга, съ которымъ раздъляль многія изъ его надеждъ и всв основныя положенія. Онъ стояль постоянно съ погой, занесенной, такъ-сказать, изъ своего лагеря въ противоположный, охлаждая слишкомъ радужныя чаянія или черезъ-чуръ сангвинические порывы своихъ друзей. Обширная начитанность и по истинъ замъчательная доля мъткаго и ядовитаго остроумія, эффектъ котораго увеличивался еще отъ противоположности съ недостаткомъ въ произношенін — дѣлали изъ Евг. Корша выдающееся лицо круга 1). Онъ тотчасъ поняль, что завязавшійся споръ не есть какая-либо рфшительная битва, измфняющая въ конецъ положение сторонъ, а

¹⁾ Изъ множества его цъпкихъ замѣтокъ я помню одну, обращенную къ собесъднику, который, на основанін Прудона, отыскиваль въ анархіи спасительное средство для современныхъ обществъ.—"Это, въроятно, потому,—сказаль Евг. Коршъ, что анархія всегда ведетъ за собой монархію". Въ другой разъ онъ отвѣчалъ одному профессору, который, съ нѣкоторымъ провинціальнымъ акцентомъ, восклицаль:—"Я, братцы, какъ вамъ извѣстно, родикалъ".—«Я и прежде думалъ, что ты ничего другого родить не можешь», замѣтилъ Евг. Коршъ.

только простое объяснение между ними; поэтому онъ и ходилъ свободно между сторонами, не приставая пи къ одной. Иначе принялъ дъло Кетчеръ, которому казалось уже необходимостью произвесть себя въ адвокаты отсутствующей петербургской стороны, какъ еще мало онъ самъ ни раздълялъ всъхъ ея воззръній. Онъ поднялъ перчатку Грановскаго и повелъ съ нимъ споръ о принципахъ чрезвычайно горячо, какъ окажется, надъюсь, и изъ сокращенной моей передачи этого любопытнаго препирательства. За точность и порядокъ мыслей и за приблизительную върность самаго выраженія ихъ ручаюсь 1).

- Да, помилуйте, какъ же можно, восклицалъ Кетчеръ, обобщать на этотъ манеръ каждое пустое замѣчаніе. Какой же человѣкъ удержитъ голову на своихъ плечахъ, если изъ каждаго его слова, пущеннаго на вѣтеръ, станутъ вытягивать разные смыслы. Вѣдь это преображенскій приказъ. А если ужъ обобщать, Грановскій, такъ ты бы лучше поставилъ себѣ вопросъ: не участвовалъ ли самъ народъ въ составленіи нашихъ дурныхъ привычекъ, и не есть ли наши дурныя привычки именно народныя привычки?
- Постой, брать Кетчерь, —возразиль Грановскій, —ты говоришь: не слідуеть обобщать всякую случайную замітку; во-нервыхь, любезный другь, случайныя замітки состоять въ близкомъ родствів съ тайной нашей мыслію, а во-вторыхь, собраніе такихъ замітокъ составляеть иногда цілое ученіе, какъ, напримітрь, у Білинскаго. А я тебіз должень сказать здітсь прямо добавиль Грановскій съ особеннымь удареніемь на словахъ, что во взглядів на русскую національность и по многимь другимь литературнымь и нравственнымь вопросамь я сочувствую гораздо боліте славянофиламь, чіль Білинскому, «Отеч. Запискамь» и западникамь.

За этимъ категорическимъ объявленіемъ послѣдовала минута молчанія. Гораздо позднѣе мысль, выраженная Грановскимъ, повторялась мпого разъ и самимъ Г., отъ своего имени въ его заграничныхъ изданіяхъ, но впервые она была сказана именно Грановскимъ и въ Соколовѣ. Г. конечно, принялъ участіе въ завязавшемся спорѣ, нисколько не предчувствуя, разумѣется, что не далѣе, какъ черезъ годъ, онъ придетъ самъ въ столкновеніе съ Грановскимъ по вопросу, совершенно схожему съ тѣмъ, который теперь разбирался ²).

¹⁾ Замѣтки и цитаты, тогда же брошенныя мною на бумагу для памяти, много помогли возстановленію всей этой сцены.

²⁾ Въ "Запискахъ" Г. разсказана подробно исторія его ссоры въ 1846 г. съ Грановскимъ по поводу неосторожнаго браннаго слова, произнесеннаго О—ымъ въ присутствін сожительницы, впослёдствін жены К. Тогда Г. стояль за О., не вмёняль ему въ вину случайнаго, непечатнаго выраженія, а обиженнымъ уже являлся К., такъ

Теперь онъ держаль сторону Грановскаго, хотя не такъ рѣшительно, какъ можно было думать, судя по внѣшнимъ признакамъ сходства въ ихъ настроеніяхъ. Прямая, неуклонная, откровенная дѣятельность Бѣлинскаго приходилась ему всегда по душѣ, несмотря на множество оговорокъ, какія онъ противопоставлялъ ей, да и предчувствіе близости горькихъ разсчетовъ съ самимъ Грановскимъ, вѣроятно, уже возникло въ его умѣ и сдерживало его слово. Вмѣшательство его въ разговоръ носило дружелюбный характеръ.

— Пойми же ты, братецъ, — говорилъ онъ, обращаясь къ Кетчеру, — что кромѣ общаго народнаго вопроса, о которомъ можно судить и такъ, и иначе, между пами идетъ дѣло о нравственномъ вопросѣ. Мы должны вести себя прилично по отношенію къ низшимъ сословіямъ, которыя работаютъ, но не отвѣчаютъ намъ. Всякая выходка противъ нихъ, вольная или невольная, похожа на оскорбленіе ребенка. Кто же будетъ за нихъ говорить, если не мы же сами? Оффиціальныхъ адвокатовъ у нихъ нѣтъ, — понимаешь, что всѣ тогда должны сдѣлаться ихъ адвокатами. Это особенно не мѣ-шаетъ понять теперь (1845 г.), когда мы хлопочемъ объ упраздненіи всякихъ управъ благочинія. Не для того же нужно намъ увольненіе въ отставку видимыхъ и невидимыхъ исправниковъ, чтобы развязать самимъ себѣ руки на всякую потѣху.

Кетчеръ не любилъ оставлять послъдняго слова за противникомъ. Онъ возопилъ противъ попытки примъшать еще и нравственность, послъ національности, къ пустому случаю, разросшемуся въ такой диспутъ, утверждалъ, что обличение какого-либо несомивинаго факта, хотя бы и самаго прискорбнаго характера—никогда не можетъ быть безнравственно, а, наконецъ, послъ насмъшливыхъ отвывовъ о новыхъ народившихся руссофилахъ (на этого рода пикантныя приправы къ спорамъ никто тогда не скупился), перешелъ къ Вълинскому, который собственно и составлялъ настоящій предметъ всего разговора. Кетчеръ замътилъ, что врядъ ли мы и имъемъ право судить о настоящихъ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго на русскую народность, такъ какъ онъ ихъ никогда не высказывалъ вполнъ, да и въ виду цензуры и не могъ передать всей своей мысли, какъ по этому предмету, такъ и по многимъ другимъ. Здёсь Грановскій опять остановиль Кетчера и покончиль споръ замъчаніемъ, которое поразило всёхъ своей неожиданностью; привожу его буквально:

— Знаешь ли, братъ Кетчеръ, что я имъю тебъ сказать по поводу твоего замъчанія о цензуръ. Объ умъ, талантъ и честности Бълинскаго не можетъ быть между нами никакого спора, но вотъ

легко прощавній прежде мимолетныя зам'єтки. Грановскій поддерживаль К. и разд'є-

что я скажу о цензуръ. Если Бълинскій сдълался силой у насъ, то этимъ онъ обязанъ, конечно, во-первыхъ, самому себъ, а во-вторыхъ, и нашей цензуръ. Она ему не только не повредила, но оказала большую услугу. Съ его нервнымъ, раздражительнымъ характеромъ, ръзкимъ словомъ и увлеченіями онъ никогда бы не справился, безъ цензуры, со своимъ собственнымъ матеріаломъ. Она, цензура, заставила его обдумывать планы своихъ критикъ и способы выраженія и сдълала его тъмъ, чъмъ онъ есть. По моему глубокому убъжденію, Бълинскій не имъетъ права жаловаться на цензуру, хотя и ее благодарить тутъ не за что: она, конечно, также не знала, что дълаетъ.

Споръ быль виолив истощень именно этимь заявленіемъ Грановскаго. Все было сказано, что Грановскому хотвлось сказать. Когда за твмъ кто-то замвтилъ, что всв рвзкія, анти-національныя выходки Ввлинскаго происходять еще изъ горячаго демократическаго чувства, возмущеннаго твмъ состояніемъ, до котораго доведены народныя массы, Грановскій горячо присталъ къ этому мивнію, находя въ немъ разгадку многихъ излишествъ критика, которыя все-таки считалъ явленіемъ ненормальнымъ и печальнымъ. Споръ прекратился. Онъ сдвлалъ свое двло, очистивъ совъсть и позволивъ всвмъ возвратиться уже безъ всякихъ помвхъ къ простымъ, дружескимъ и искреннимъ отношеніямъ.

Въ моемъ пониманіи этотъ споръ еще имѣлъ и другое значеніе. Это было первое крупное проявленіе мысли, давно уже таившейся въ умахъ, о необходимости болѣе разумныхъ отношеній къ простому народу, чѣмъ тѣ, которыя существовали въ литературѣ и въ нѣкоторыхъ слояхъ мыслящаго класса людей. Литература и образованные умы наши давно уже разстались съ представленіемъ народа, какъ личности, опредѣленной существовать безъ всякихъ гражданскихъ правъ и служить только чужимъ интересамъ, но они не разстались съ представленіемъ народа, какъ дикой массы, не имѣющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя. Сноръ выразилъ собою переворотъ, совершившійся въ попятіяхъ одного отдѣла западниковъ относительно способовъ судить и оцѣнять домашнюю культуру и нравственную физіономію толиы.

Года два-три передъ тѣмъ никому изъ западной партіи и въ

Года два-три передъ тъмъ никому изъ западной партіи и въ голову не приходило провърять самые смѣлые свои приговоры объ обычаяхъ, вѣрованіяхъ, моральныхъ свойствахъ народа, или заботиться объ основательности и справедливости своихъ воззрѣній на его быть, надежды и ожиданія. Все это было дѣломъ личнаго вкуса и всякому предоставлено было думать объ этихъ предметахъ, что угодно, безъ малѣйшей отвѣтственности за свои мнѣнія и за свою точку зрѣнія. Тонъ горделиваго, полу-барскаго и полу-педантиче-

скаго презрънія къ образу жизни и къ измышленіямъ темнаго, работающаго царства водворился незамётно въ средё образованныхъ круговъ. Особенно бросался онъ въ глаза у горячихъ энтузіастовъ и поборниковъ ученія о личной энергіи, личной иниціативъ, которыхъ они не усматривали въ русскомъ мірѣ. По часту отзывы ихъ объ этомъ мірѣ смахивали на чванство выходца или разбогатѣвшаго откупщика передъ менве счастливыми товарищами. Кичливость образованностію омрачала иногда самые солидные умы въ то время и была по преимуществу темной стороной пашего западничества. Оно же - западничество это - и положило предълъ подобному извращенному примъненію его началь къ жизни. Споръ, изложенный выше, былъ результатомъ давнишняго желанія одного отдела нашихъ западниковъ заявить формальный протестъ противъ легкомысленнаго трактованія вопросовъ народной жизни, какимъ погрешали некоторые ряды его собственной партіи. Можетъ быть, никто не приняль такъ горячо къ сердцу ново-возникшаго вопроса о самобытномъ мышленій темныхъ людей, какъ одинъ изъ надежнейшихъ и горячихъ друзей круга, именно К. Д. Кавелинъ, человъкъ, вносившій обыкновенно страстное одушевление во всъ свои какъ научныя, такъ и житейскія убъжденія. Привычка къ высокомърному обращенію съ народомъ была такъ обща, что ею тронуты были даже и люди, оказавшіеся впосл'ядствіи самыми горячими адвокатами его интересовъ и правъ. Уже гораздо позднве и въ Петербургв, куда онъ неревхаль и гдв приходилось всего болве расчищать дорогу благорасположенному отношенію ко всёмъ видамъ народнаго творчества, пропаганда Кавелина не умолкала вплоть до конца 50-хъ годовъ. Здъсь кстати сказать еще, что человъкъ, тоже не мало содъйствовавшій къ изміненію способа отпоситься къ народу и представлять себъ его умственную жизнь, быль столь много осмъянный нъкогда славянофилами Тургеневъ. Первые его разсказы изъ «Записокъ Охотника», явившіеся въ «Современникъ» 1847 г., положили конецъ всякой возможности глумленія надъ народными массами. Но почва для «Записокъ Охотника» была уже подготовлена, и Тургеневъ выразилъ ясно и художественно сущность настроенія, которое уже носилось, такъ-сказать, въ воздухъ.

XXVI.

Возвращаюсь къ Соколову. Въ срединъ лъта подмосковное село это образовало нъчто въ родъ подвижного конгресса изъ безирестанно наъзжавшихъ и пропадавшихъ литераторовъ, профессоровъ, артистовъ, знакомыхъ, которые видимо всъ имъли цълью переки-

нуться идеями п извъстіями другь съ другомъ. Хозяева жили въ страшномъ многолюдствъ и повидимому не имъли времени сосредоточиться на какомъ-либо своемъ собственномъ, спеціальномъ занятіи. Гости калейдоскопически сменялись гостями: туть, кроме Панаева, оставившаго и описаніе Соколовской жизни, промелькнули въ моихъ глазахъ Н. А. Некрасовъ, давно уже мнв знакомый и возбуждавшій тогда общій симпатическій интересь своей судьбою и своей поэзіей, затёмъ Ив. Вас. Павловъ, зд'ясь впервые мною и встр'яченный, и поражавшій оригинальной грубостію своихъ пріемовъ, подъ которыми таилось у него много мысли, наблюденія, юмора и т. д.; Евг. Өед. Коршъ, старый Щенкинъ, молодой, рапо умершій Засядко, начинающій живописецъ Горбуновъ, сділавшій литографированную коллекцію портретовъ со всего кружка 1) — были постоянными посътителями Соколова. Совсъмъ не праздно жили и хозяева дачи въ этомъ водоворотъ гостей и навзжихъ со всъхъ сторонъ, какъ могло показаться сначала. Такъ, Г. печаталъ и продолжалъ свои письма объ изученіи природы; Грановскій приготовлялся къ новой, второй серіп нубличных в своих в лекцій; Кетчер в переводиль Шексипра упорно. Иногда онъ на цълые дни пропадалъ изъ Соколова, въ грязной, сфрой блузф, и захвативъ только съ собой кусокъ хлеба. Онъ тогда бродиль по лесамь, окружавшимъ Москву, и однажды встретиль тамъ пстощеннаго беглаго солдата, съ пораненой ногой, который не очень дружелюбно посмотриль на него.

¹⁾ Я сохраняю его каррикатурный листокъ, деланный карандашомъ и изображающій Г., Грановскаго, Корша, Панаева, мою особу и др. въ ночной беседё, какія тогда часто бывали на обрывь горы, въ садовомъ навильонъ соколовского парка. Кругу, собиравшемуся въ Соколовъ, недоставало двухъ весьма крупныхъ членовъ его, В. И. Боткина и О. Оба они жили за-границей, въ Парижѣ, и нервый, но разсказамъ Панаева, тоже недавно возвратившагося оттуда, усиленно старался офранцузить себя вы языкф, образф жизни, правахъ, и уже отличался ярой ненавистью въ старому своему ндолу-идеализму. Второй философски растрачиваль остатки своего, нъкогда громаднаго, состоянія и очень солиднаго здоровья. Впрочемъ, скандалёзные апекдоты Панаева объ обоихъ не вполив передавали ихъ нравственное содержаніе, потому что нервый, Боткинъ, съвздивъ въ Испанію, подарилъ русскую нублику замъчательно-умнымъ и картиннымъ описаніемъ страны, а второй, О., возвратясь на родину въ 1846, производилъ такое сильное обалніе своей поэтической личностью, что сдъдался ночти чъмъ-то въ родъ директора совъсти—directeur de conscience-въ двухъ семьяхъ-у Г. и у Н. А. Тучкова. Дамы объихъ семей упивались написанными имъ тогда поэтически-философскими и соціально-скорбними стихотвореніями "Монологи"-да и мужская половина семей, какъ оказалось вноследствіи, поднала вліянію поэта не менфе женской. Тайна этого обаянія заключалась въ какой-то анатической, лънивой нервозности характера, позволявшей О. постепенно достигать крайнихъ границъ, какъ въ жизни, такъ и въ мысли, и уживаться, страдая, со всеми самыми невозможными положеніями, легко, какъ у себя дома.

Кетчеръ вынулъ у него занозу изъ ноги, перевязалъ рану и отдалъ ему свой кусокъ хлѣба. Когда туземное и пришлое населеніе Соколова собиралось въ сходку, на какомъ-либо изъ его форумовъ (кромѣ многолюдныхъ обѣдовъ Соколова, такимъ форумомъ служила еще и круглая площадка въ глубинѣ нарка, обнесенная великолѣпными липами), то разговоры, пренія, разсказы, происходившіе на этихъ форумахъ, отражая все многообразіе характеровъ, умовъ и настроеній, носили еще одинъ общій тонъ, который и былъ господствующимъ тономъ всѣхъ бесѣдъ этой энохи.

Политическихъ разговоровъ, въ прямомъ смыслѣ слова, на этихъ импровизированныхъ академіяхъ, почти никогда не происходило. Тогдашняя публичная жизнь спабжала только людей юмористическими анекдотами и покамъстъ ничего болъе не давала. Собственно же основные принципы, управлявшие обществомъ-вовсе и не затрогивались. Разсуждать о нихъ считалось дёломъ празднымъ, и говорить о нихъ начинали тогда, когда въ примънении своемъ они достигали или комическаго, или трагическаго абсурда. До тъхъ поръ это были явленія, для всёхъ, давно отпетыя и похороненныя. Вспоминали о нихъ особенно, когда настояла надобность ускользнуть изъ когтей того или другого изъ мертвецовъ, ходившихъ по землъ, и пускавшагося неожиданно преследовать живыхъ людей. Взамень, на первомъ планъ стояли европейскія дъла, ученія, открытія: они и составляли господствующую ноту въ разговорахъ. Вивств съ темъ проходила еще другая красная нитка черезъ всю многообразную съть узоровъ свободной бесъды въ Соколовъ. Она-то и давала предчувствіе объ общемъ происхожденіи и родствів всіххъ мизній и мыслей, тамъ высказывавшихся, несмотря на частую ихъ противоположность. Прежде всего следуеть заметить, что въ Соколове не позволялось только одного — быть ограниченнымъ человъкомъ. Не то, чтобъ тамъ требовались непремънно эффектныя ръчи и проблески блестящихъ способностей вообще — наоборотъ, труженики, поглощенные исключительно своими спеціальными занятіями, чествовались тамъ очень высоко-но необходимъ былъ извъстный уровень мысли и нъкоторое достоинство характера. Воспитанію мысли и характера въ людяхъ и посвящены были вст бестьды круга, о чемъ бы они въ сущности ни шли, что и давало имъ ту однообразную окраску, о которой говорено. Еще одна особенность: кругъ берегъ себя отъ соприкосновенія съ нечистыми элементами, лежавшими въ сторонъ отъ него, и приходиль въ безпокойство при всякомъ, даже случайномъ и отдаленномъ, напоминовении о нихъ. Онъ не удалялся отъ свъта, но стоялъ особнякомъ отъ него — потому и обращалъ на себя вниманіе, но вслёдствіе именно этого положенія въ средё его развилась особенная чуткость ко всему искусственному, фальшивому. Всякое проявление сомнительнаго чувства, лукаваго слова, пустой фразы, лживаго завърения угадывались имъ тотчасъ и вездъ, гдъ появлялись, вызывали бурю насмъшекъ, иропіи, безпощадныхъ обличеній. Соколово не отставало въ этомъ отношеніи отъ общаго правила. Вообще говоря, кругъ этотъ, важнѣйшіе представители котораго на время собрались теперь въ Соколовъ, походилъ на рыцарское братство, на воюющій орденъ, который не имълъ никакого письменнаго устава, но зналъ всѣхъ своихъ членовъ, разсѣянныхъ по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоялъ, по какому-то соглашенію, никъмъ въ сущности не возбужденному— ноперекъ всего теченія современной ему жизни, мѣшая ей вполнѣ разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими.

XXVII.

Исторія послідовавших вскорів внутренних разногласій «западной» партіи достойна не меніве вниманія, чімь и исторія ея
возникновенія и вліянія въ обществів. За протестомъ московскихъ
друзей противь псключительнаго европензма Бівлинскаго послівдоваль
расколь въ самомъ московскомъ отділів западниковъ. Оба главнійшіе его представителя, Г. и Грановскій, разошлись по вопросамъ,
возникшимъ въ конців-концовъ на почвів той самой западной цивипизаціи, явленіями которой опи такъ занимались. Толчокъ къ новому подраздівленію партіи дали уже иден соціализма и связанный
съ ними перевороть въ способів относиться къ метафизическимъ представленіямъ. Самые первые проблески этого разногласія между друзьями
оказались опять въ Соколовів, хотя разгаръ спора, со всіми его
послівдствіями, относится уже къ слівдующему, 1846 году. Позволяю
себів остановиться теперь же на этой подробности, которая, въ различныхъ видахъ и формахъ, повторялась и во многихъ другихъ
кружка́хъ и отдівлахъ нашего «западничества».

Кому пензвъстно, что собственно русскій соціализмъ, или то, что можно назвать народными экономическими представленіями, заключался въ очень ясныхъ и узкихъ границахъ, состоя изъ ученія объ общиниомъ и артельномъ началахъ, т.-е. изъ ученія о владѣній и пользованіи сообща орудіями производства. Въ этомъ скромномъ, ограниченномъ видѣ, данномъ всей нашей исторіей, русскій соціализмъ и былъ поставленъ впервые на видъ славянофилами, съ прибавкой однакожъ, что онъ можетъ служить не только образцомъ экономическаго устройства для всякой сельской и ремесленной про-

мышленности, но и примъромъ сочетанія христіанской идеи съ потребностями внъшняго, матеріальнаго существованія. На эту-то прибавку именно западники наши и не согласились: они отвергали ее самымъ положительнымъ образомъ, признавая, что русская община спасаетъ интересы народа въ настоящую минуту п даетъ ему средство бороться съ несчастными обстоятельствами, его окружающими, но за общиннымъ владъніемъ они не признавали никакого всесвътнаго экономическаго принципа, который могъ бы быть годенъ для всякаго хозяйства. Временное значение артели и общины западники подтверждали примъромъ точно такихъ же установленій, являвшихся у всёхъ первобытныхъ народовъ, и думали, что съ развитіемъ свободы и благосостоянія русскій народъ и самъ покинетъ эту форму труда и общежитія. Убъжденія эти принадлежали и современной имъ политико-экономической наукъ, которая, виъстъ съ ними, признавала общинный порядокъ производства цънностей и равномърнаго распредъленія земли и орудій труда не болъе какъ мъропріятіемъ противъ голода со стороны нищенствующаго, младенчествующаго народнаго быта, и не позволяла питать никакихъ надеждъ на пріобрътеніе имъ въ будущемъ какого-либо политическаго или экономическаго значенія. Въ такомъ видѣ представлялся западникамъ «рус-скій соціализмъ». Совсѣмъ въ другой формѣ явился передъ ними новый «европейскій соціализмъ». Начать съ того, что онъ открывалъ блестящія перспективы во всё стороны и развертываль передъ глазами лучезарную, фантастически-освёщенную даль, которой и грапицъ не было видно. Какъ уже было сказано, европейскія соціальныя теоріи изучались тогда очень прилежно, но изъ самыхъ теорій этихъ получались только, болье или менье хорошо связанныя и размъщенныя, коллекціи неожиданныхъ, изумляющихъ и подавляющихъ афоризмовъ. Европейскій соціализмъ того времени не стоялъ еще на практической и научной почвѣ, а только разработываль пока-мѣстъ нѣчто въ родѣ «видѣній» изъ будущаго строя общественной жизни, которую онъ самъ рисовалъ по своему произволу. Существенной частію его содержанія была ожесточенная критика всёхъ экономическихъ уставовъ и дъйствующихъ религіозныхъ върованій и убъжденій, которая служила ему способомъ очистить самому себъ мъсто въ умахъ: она и давала ему сильно-намъченный, боевой характеръ. И въ какихъ энергическихъ словахъ выразился этотъ характеръ! Уже не говоря о пресловутомъ восклицаніи Прудона—la propriété c'est le vol, —о не менѣе знаменитомъ изреченіи портного Вейтлинга — «намъ предоставленъ только одинъ видъ свободнаго труда—грабежъ», — сколько было еще другихъ, тоже ослѣпляющихъ и оглушающихъ тезисовъ тогдашняго молодого соціализма, надъ ко-

торыми приходилось работать его неофитамъ: «Торговля и сословіе купцовъ, ею созданное, не что иное, какъ паразиты въ экономической жизни народовъ»; — «результаты коллективнаю труда рабочихъ достаются даромъ патрону, который всегда оплачиваетъ только единичный трудъ»;— «правильная ассоціація распредѣляетъ работу по силамъ каждаго, а вознаграждение по нуждамъ его»; -- «способности рабочаго не дають ему права на большую долю вознагражденія, будучи сами даромъ случая»; — «пскусство и талантъ суть уродливости нравственнаго міра, схожія съ уродливостями физическими, и пикакой оцънки и оплаты не заслуживаютъ»; -- «рабочій имъетъ такое же право на произведенную имъ цѣнность, какъ и заказчикъ ея»; — «цивилизація Европы есть прямое порожденіе праздныхъ ея сословій» — и такъ далье, и такъ далье. Я привель здысь только тезисы и положенія поваго соціализма, какія попали подъ перо, но ихъ было множество, и всв они раздражали воображение гораздо болве, чвив цвлыя системы этого же направленія, въ родв системъ Сенъ-Симона или Фурье, такъ-какъ у перваго јерархическій характеръ ученія, а у второго искусственная гармонія темпераментовъ и психическихъ серій возбуждали многими своими сторонами недоумъніе и юморъ. При афоризмахъ же и тезисахъ «воюющаго» соціализма — наоборотъ — никто и не предъявляль требованій на очевидность и убъдительность доказательствъ. Сила этихъ громоносныхъ положеній заключалась не въ ихъ логической неотразимости, не во внутренней ихъ правдѣ, а въ томъ, что они возвѣщали какой-то повый порядокъ дѣлъ и какъ-будто бросали полосы свѣта въ темную даль будущаго, открывая тамъ неизвъстныя, счастливыя области труда и наслажденія, о которыхъ всякій судиль по впечатленію, полученному въ короткое мгновение той или другой изъ подобныхъ всиышекъ. Эти прозрпнія въ будущее, однакожъ, дъйствовали чрезвычайно различно на людей самаго круга. Грановскій, напримъръ, нисколько не обольщался ими.

Признавая европейскій соціализмъ явленіемъ, которое уже пе можетъ быть оставлено безъ вниманія ни историкомъ, ни вообще мыслящимъ человѣкомъ, онъ смотрѣлъ на него, какъ на болѣзнь вѣка, тѣмъ болѣе опасную, что она не ждетъ и не ищетъ помощи ни откуда. «Соціализмъ, — говорилъ онъ, — чрезвычайно вреденъ тѣмъ, что пріучаетъ отыскивать разрѣшеніе задачъ общественной жизни не на политической арепѣ, которую презираетъ, а въ сторонѣ отъ нея, чѣмъ и себя, и ее подрываетъ». Иначе отнеслись къ нему Г. и Бѣлинскій.

Воинственные манифесты соціализма, возвѣщавшіе истребительный походь его на европейскую цивилизацію, не приводили ихъ въ ужасъ.

Конечно, ни у того, пи у другого, не было и помина объ усвоеніи всъхъ его предписаній или о превращеніи всъхъ его претензій въ догматы собственной своей «вѣры» (это было бы и нельпо въ ихъ обстановкъ). Многіе изъ нивеллирующихъ декретовъ соціализма даже казались и имъ юношескими вспышками, но они смотрели гораздо бодрже, хладнокровнже и спокойнже, чемъ Грановскій, на участь современной образованности, если бы она и должна была потерпъть нъкоторый ущербъ. А въ томъ, что образованности этой предстоитъ не малое испытание — уже никто не сомнъвался: тогда во всей Европъ думали, что съ соціализмомъ надвинется на нее свиріный ураганъ, долженствующій потрясти всё такъ долго и такъ трудно нажитыя ею върованія, убъжденія, привычки, мысли и историческія основы. Разница въ способахъ относиться къ этимъ предчувствіямъ переворота именно и образовала ту рознъ въ московскомъ кружкѣ, о которой теперь говоримъ. Г. былъ за-одно съ Вълинскимъ, и они оба смотрели прямо и открыто въ лицо всемъ симптомамъ разложенія, грозившимъ, по ихъ мненію, Европе со стороны соціализма, не призывая, но и не ужасаясь развалинъ, которыя онъ долженъ произвести. Они думали, что изъ пепла старой цивилизаціи Европы возникнетъ фениксъ новый порядокъ вещей, какъ вънецъ и послъднее слово ея тысячелътняго развитія.

Всѣ предчувствія переворота, напротивъ, тревожили Граповскаго въ высшей степени, и самый переворотъ, какъ онъ представлялся его уму, не вызывалъ у него ни малѣйшей симпатіи, никакихъ радужныхъ надеждъ или ожиданій. Разногласіе между друзьями было, какъ видимъ, совершенно невиннаго характера, не имѣя въ основаніи своемъ ничего, кромѣ предположеній и гаданій, но оно сопровождалось еще ироніями и диспутами, обнаруживавшими взгляды сторонъ и на другіе предметы нравственнаго характера. Разъ затянувшись, споръ уже поддерживался множествомъ горючихъ элементовъ, прибывавшихъ къ нему со стороны, изъ ученыхъ и другихъ явленій тогдашней жизни.

Однимъ изъ такихъ горючихъ матеріаловъ должно считать, между прочимъ, хорошо извъстную книгу Фейербаха, которая находилась тогда во всъхъ рукахъ. Можно сказать, что нигдъ книга Фейербаха не произвела такого потрясающаго впечатлънія, какъ въ нашемъ «западномъ» кругъ, нигдъ такъ быстро не упраздняла остатки всъхъ прежнихъ, предшествовавшихъ ей, созерцаній. Г., разумъется, явился горячимъ истолкователемъ ея положеній и заключеній, связывая, между прочимъ, открытый ею переворотъ въ области метафизическихъ идей съ политическимъ переворотомъ, который

возвъщали соціалисты, въ чемъ Г. опять сходился съ Бълинскимъ 1). Но Грановскій съ горечью въ душт, уже тронутой сомитніями, отбивался отъ того последняго слова, которое требовали у него друзья по поводу встать подобныхъ явленій и не говориль его, силясь сохранить иодъ собой историческую, конкретную основу существованія, подмываемую со всёхъ сторонъ. Онъ начиналь расходиться съ собственнымъ кругомъ, съ тъмъ кругомъ, въ которомъ, по собственнымъ словамъ его, заложены были цъликомъ его сердце и вся нравственная часть его существованія. Охлажденіе и разногласіе между друзьями уже существовало втайнѣ прежде, чѣмъ вышло наружу. Уже въ Соколовѣ, Грановскій сказалъ разъ при мнѣ, шутя отнрашиваясь у общества въ Москву для свиданія съ другими пріятелями, тамъ оставшимися и преимущественно съ домомъ Елагиныхъ: «Мнъ это нужно, чтобы не совсъмъ загрубъть между вами — вотъ вы въдь успъли уже лишить меня безсмертія души». Слова эти, не-смотря на шуточный ихъ характеръ, поразили меня тогда же, какъ разоблаченіе. Черезъ годъ, именно въ 1846 г., ръщеніе Грановскаго было принято окончательно. Г. разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ», что Грановскій однажды положительно объявиль ему, посл'є какого-то горячаго пренія между ними, что онъ, Грановскій, не можетъ дальше идти съ прежними своими товарищами въ томъ направленіи, какое все болже и болже усвояется ими, и изъ котораго онъ не видитъ никакого разумнаго выхода; что онъ принужденъ, съ болью въ душъ, выдълиться изъ дорогого ему круга, по многимъ религіознымъ, нравственнымъ и историческимъ вопросамъ, и заявить это твердо и искренно. Г. быль поражень: онь теряль друга—и какого друга! -- своей молодости, да и видълъ еще, съ какой глубокой печалью на лицъ и какимъ голосомъ Грановскій представиль свой ультиматумъ! Изумленный и растерянный, Г. обратился тогда же за разъясненіемъ дъла, а если можно то и за посредничествомъ къ Е. Ө. Коршу, но онъ встретиль у него уклончивый ответь, который показываль, что не всв члены круга расположены смотреть на заявленіе Грановскаго, какъ на минутную или капризную вспышку. Евг. Коршъ не одобряль кругой постановки вопроса, какую сдѣлаль Грановскій, но изъ объясненій его можно было догадаться, что самъ

¹⁾ Кстати замѣтить еще фактъ. Для Бѣлинскаго собственно былъ сдѣланъ въ Петербургѣ, однимъ изъ пріятелей, переводъ нѣсколькихъ главъ и важнѣйшихъ мѣстъ изъ книги Фейербаха—и онъ могъ, такъ-сказать, осязательно познакомиться съ процессомъ критики, опрокидывавшей его старые мистическіе и философскіе ндолы. Нужно ли прибавлять, что Бѣлинскій былъ пораженъ и оглушенъ до того, что оставался совершенно нѣмъ передъ нею и утерялъ способность предъявлять какіе-либо вопросы отъ себя, чѣмъ всегда такъ отличался.

Коршъ признавалъ однако основательность поводовъ, которые понудили Грановскаго къ его заявленію. Разрывъ пріобрѣталъ зпаченіе несомнѣпнаго факта и требовалъ, подобно перелому кости въ организмѣ, наложенія на первыхъ порахъ перевязки и предоставленія затѣмъ живительному дѣйствію времени—произвесть сростапіе члена. Такъ и было сдѣлапо. Полнаго, совершеннаго исцѣленія однако же не послѣдовало между надломленными членами кружка́. А, между тѣмъ, я былъ свидѣтелемъ, что до конца жизни ни Грановскій, ни Г., ни Бѣлипскій не могли говорить другъ о другѣ безъ умиленія и глубокаго сердечнаго чувства.

XXVIII.

Что же дѣлалъ Бѣлинскій за все это время? Въ концѣ лѣта этого года (1845) Бѣлинскій жилъ на дачѣ, на Парголовской дорогѣ, противъ сосноваго лѣска, окружавшаго озеро Парголовское. Мы туда и ушли съ Бѣлинскимъ, когда, по прибытіи въ Петербургъ, я пріѣхалъ павѣстить его и переговорить о всемъ, что видѣлъ за лѣто. Я ему передалъ подробности впечатлѣній, вынесенныхъ мною изъ пребыванія въ Соколовѣ. Онъ выслушалъ внимательно мое сочувственное описаніе тамошнихъ дѣлъ и словъ, и промолвилъ: «Да, московскій человѣкъ — превосходный человѣкъ, но кромѣ этого онъ, кажется, ничѣмъ болѣе не сдѣлается».

Бълинскій оставался теперь почти одинь со знаменемъ и девизомъ непримиримой вражды. Онъ считалъ своей обязанностью еще выше держать это знамя на показъ съ тъхъ поръ, какъ ряды его защитниковъ стали разстроиваться. Не безъ огорченія смотрълъ Бълинскій на сближеніе враждебныхъ партій въ Москвъ,—сближеніе, которое сдълалось возможнымъ, какъ онъ думаль, только потому, что одна партія не вполнъ договаривала свою мысль и не вполнъ обнаруживала свои конечныя цъли, а другая—западническая, непомърно обрадовалась сочувственному слову и съ закрытыми глазами предалась обычному своему наслажденію—кидаться на шею врагамъ и поскоръе сажать ихъ за одипъ столъ съ собою. Причипы разладицы увеличивались все болъе и болье между друзьями: въ борьбъ съ славянофилами, Бълинскому приходилось задъвать и всъхъ ихъ союзниковъ, старыхъ и новыхъ. Недоразумъпія копились поэтому вълагеръ западниковъ почти при всякомъ обмънъ мыслей между старыми друзьями. Сбереглась въ цълости только одна черта въ ихъ обычныхъ сношеніяхъ. Друзья не скунились на взаимныя обличенія и жестокіе упреки, когда стояли лицомъ другъ къ другу, и обра-

щались тотчась же въ прежнихъ друзей и върныхъ товарищей, когда замолкали или расходились по домамъ. Беречь свои симиатіи, нажитыя въ теченіи долгаго времени, становилось тогда для всъхъ необходимостью, нисколько не мъшавшей каждому настапвать на своихъ убъжденіяхъ и ихъ проводить въ свътъ.

Бълинскій приступилъ тотчасъ же, съ обычной своей страстностью и искренностью, къ опредъленію и уясненію пунктовъ разногласія, образовавшихся между московскими и петербургскими западниками. Прежде всего, онъ отнесся скептически и насмъщливо

ногласія, образовавшихся между московскими и нетербургскими западниками. Прежде всего, онъ отнесся скептически и насмѣшливо
къ серьёзнымъ минамъ, съ которыми ученые въ Москвѣ разбираютъ
вопросы русской жизни, перенося ихъ на почву науки, философіи,
философствующей исторіи и проч. По его миѣнію, вонросы эти не
нуждаются въ такой иышной обстановкѣ и могутъ разрѣшиться очень
простыми, не хитрыми и не мудреными мѣрами и принципами, доступпыми каждому, самому простому пониманію. Такъ же точно и
по отношенію литературы къ образованнымъ классамъ общества Бѣлинскій думалъ, что послѣдніе нуждаются скорѣе въ правпльномъ
устройствѣ ихъ образа мыслей, чѣмъ въ знаніи послѣднихъ результатовъ европейской науки. Первое наглядное приложеніе этой системы
отрицанія дальнихъ разъясненій и глубокомысленныхъ упражненій въ
сферѣ идей, Бѣлинскій сдѣлалъ тотчасъ же на письмахъ Г. объ
изученіи природы, которыя стали появляться тогда же въ «Отечественныхъ Запискахъ». Онъ признаваль, что какъ положенія, такъ
и цѣли этихъ чрезвычайно умныхъ статей въ высшей степени важны,
но не признавалъ возможности извлечь изъ откровеній естествознанія моральнахъ и воспитательныхъ указаній, нужныхъ особенно для
русскихъ читателей, большинство которыхъ еще не обзавелось органомъ для пониманія первыхъ нравственныхъ началъ: «И какимъ
отвлеченнымъ, почти тарабарскимъ языкомъ написаны эти статьи, —
говорилъ Вѣлинскій, —точно Г. составиль ихъ для своего удовольствія. Если я могъ понять въ нихъ что-нибудь, такъ это потому,
что имѣю за собой десятокъ несчастныхъ лѣтъ колобродства по нѣмецкой философіи, —но не всякій обязанъ обладать такимъ преимуществомь!> муществомъ!»

Несомнънно, что въ такихъ и имъ подобныхъ заявленіяхъ Бълинскаго сквозило желаніе имъть дѣло съ общественной литературой, занимающейся насущными вопросами дня, съ популярнымъ изложеніемъ научныхъ и моральныхъ истинъ (онъ вздыхалъ по литературъ этого рода и въ одномъ изъ тогдашнихъ своихъ годичныхъ обозрѣній словесности), но все-таки основанія его приговора казались очень жесткими. Они линали интеллигентныхъ людей эпохи послѣдняго убъжища отъ нустоты жизни, какое они еще находили

въ наукъ и въ отвлеченной постановкъ вопросовъ. Они отнимали единственную арену, на которой дозволялось проявление мысли. Способствовать уничтожению этой арены или умалению ея значения въ публикъ, значило просто, по мнънію противниковъ Вълинскаго, играть за-одно и въ руку съ обскурантами. Въ Москвъ смотръли на эту оппозицію Вълинскаго эрудиціи и чистому мышленію, какъ на громадную ошибку увлекающагося критика и, вдобавокъ, какъ на плохой разсчетъ. Нельзя вызвать, — говорили тамъ, — популярную пропаганду пауки, закрывая или подрывая настоящіе источники самой науки, принуждая или отстраняя ея дъятелей и замъщая ныньшнія условія умственной жизни одними упреками, страстными призывами и пожелапіями лучшаго, тщета которымъ должна быть яспа самому вспыльчивому критику еще болъе, чъмъ кому-либо иному. Такъ расходились московскіе западники все далъе и далъе отъ центра западничества, образованнаго Вълинскимъ въ Петербургъ.

Помню любопытную сцену, приходящуюся къ этому же времени: я былъ случайнымъ свидътелемъ ея. П. Н. Кудрявцевъ, проъзжая въ Берлинъ, куда посылался для окончанія своего профессорскаго образованія, посѣтиль, разумѣется, въ Петербургѣ Бѣлинскаго, этого пріятеля молодыхъ своихъ годовъ, который въ авторѣ «Флейты» находилъ когда-то идеалъ прпроднаго эстетическаго вкуса и пониманія. Но встр'вча ихъ теперь оказалась въ высшей степени сдержанной, холодной и напряженной—и, конечно, по ней трудно было бы догадаться о родственныхъ связяхъ, нѣкогда существовавшихъ между этими людьми. Кудрявцевъ являлся точнымъ представителемъ московскаго взгляда на теперешнюю деятельность петербургскаго критика, и весь ходъ разговора, завязавшагося между старыми друзьями, ясно показываль, что туть лежить, въ скрытой формь, довольно сильно назръвшій раздоръ. Какъ теперь смотрю на высокую фпгуру П. Н. Кудрявцева, въ синемъ фракъ съ свътлыми металлическими пуговицами: онъ опрокинулся на кресло въ пріемнойстоловой Бёлинскаго и останавливаль порывы своего собесёдника отрывочными, холодными фразами, которыя, будучи сказаны обычнымъ глухимъ голосомъ его и при каменномъ выражении на его лицъ, падали, какъ судейскіе приговоры. Бѣлинскій выбраль опять статьи Г. для того, чтобы черезъ нихъ переслать упреки московскимъ людямъ за ихъ абстрактныя отношенія и къ жизни, и къ наукъ. Кудрявцевъ отвъчалъ коротко: «Безъ абстракцій нельзя обойтись при многихъ научныхъ вопросахъ—за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Напрасно Бълинскій старался развить мысль о необходимости предпочтенія тёхъ научныхъ положеній, которыя наиболёе приложимы къ современному быту, и

о пеобходимости трактованія этихъ положеній наиболье нонятнымъ для читателей образомъ, — Кудрявцевь отвычаль: «Что за іерархія такая въ наукахъ? Отвлеченныя науки такъ же необходимы, какъ и политическія, и другь другу помогаютъ. Почему не заниматься тыми, съ которыми болье знакомъ, и въ формы, которая болье сподручна?» Въ такомъ тоны шла бесыда ныкоторое время. Весь ныль Вылинскаго, однако, не могь долго выдержать этого рышительнаго отвода всыхъ его положеній, — отвода, повидимому, очень спокойнаго, но въ сущности — весьма гнывнаго и непріязненнаго. Весыда падала сама собой, и старые друзья хладнокровно разстались, обмыниваясь самыми пошлыми вопросами на прощаніи, точно посторонніе. Устами Кудрявцева говорила пзвыстная часть московскаго университета.

И тотъ же самый П. Н. Кудрявцевъ черезъ годъ, когда я посътиль его уже въ Верлинъ, при мнъ очень сурово и ръшительно остановилъ иъкоего г. С—ва, ученика и поклоника Шеллинга, но только очень низкой пробы, когда тотъ вздумалъ, очертя голову, ругать Вълинскаго огуломъ. Надо знать, что С—въ предлогомъ для своихъ ругательствъ взялъ неблагопріятный отзывъ о Шеллингъ, гдъ-то высказанный Бълинскимъ (кажется, въ статьъ о «Тарантасъ» графа Соллогуба), а самъ Кудрявцевъ въ то время состоялъ подъ неотразимымъ вліяніемъ Шеллинговой «Философіи Откровенія» и говорилъ о пей съ упоеніемъ, что не помъщало ему, какъ сказано, круто отнять слово у своего единомышленника. Но такъ почти всегда дъйствовали противники Бълинскаго, да и онъ самъ, принадлежавшіе къ особому, теперь уже вымершему, роду противниковъ. Не болье злобы и ожесточенія сохранилъ и Г., знавшій отзывъ

Не болъе злобы и ожесточения сохраниль и Г., знавший отзывъ критика о его статьяхъ и упоминавший объ этихъ отзывахъ нотомъ не разъ. «Чудакъ этотъ, — говорилъ онъ, — изволитъ находить, что трудно выказать болъе ума и дъльнаго взгляда на предметъ въ болье темныхъ выраженияхъ, но онъ забываетъ, что иначе никакого ума и взгляда на русскомъ языкъ и показать нельзя». Впрочемъ, Г. скоро былъ съ избыткомъ вознагражденъ за строгие приговоры критика. Вслъдъ за письмами объ изучени природы, появились въ «Отечествен. Запискахъ» первыя главы извъстнаго романа Г. 1), и авторъ имълъ тотчасъ же удовольствие видъть, какъ внезанно перемънились всъ отношения Бълинскаго къ его авторской дъятельности. Бълинский пришелъ отъ начальныхъ главъ романа въ положительный восторгъ, который возрасталъ по мъръ развития повъсти. Критикъ нашъ, конечно, не просмотрълъ романтическаго колорита, который положенъ былъ на главныя дъйствующия лица романа, но

^{1) &}quot;Кто виноватъ?"

отношенія самого автора пов'єсти къ своимъ лицамъ, горькая правда, съ которой онъ излагаетъ ихъ порывы и мечтанія, не исключающая, впрочемъ, и глубокаго сочувствія къ нимъ, а наконецъ—картина поучительной житейской драмы, возникающая изъ фальшивыхъ общественныхъ ихъ положеній, - все это поразило критика, почти какъ неожиданность. Онъ многаго ожидаль оть лучезарнаго ума Г., но такого мастерства «сочиненія» не ожидаль. «Воть гдв его сила, говориль онь, -- воть гдв онъ на-просторь, и воть какая арена ему открылась для богатырскихъ литературныхъ упражненій, къ которымъ онъ склоненъ». Г. былъ тронутъ этимъ неожиданнымъ успъхомъ своего романа, переломившимъ сухое настроение критика. «Виссаріонъ Григорьевичъ, — замъчалъ онъ потомъ шутя, но очень довольный приговоромъ, — гораздо болъе любитъ наши сказочки, чъмъ наши трактаты, да онъ и правъ. Въ трактатахъ мы безирестанно переодъваемся отъ надзора и раскланиваемся любезно съ каждымъ буточникомъ, а въ сказкъ ходимъ гордо, и никого знать не хотимъ, потому что въ карманъ плакатный билетъ имъемъ: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные». Г. подтвердиль свое воззрѣніе на «сказку», да оправдалъ и пророчество Вѣлинскаго, напечатавъ въ 1847 г. («Современникъ», 1847 года) такъназываемыя «Записки» и т. д. (о душевныхъ болъзняхъ вообще, п проч.). Это была тоже сказка, но-сказка, захватывавшая глубокіе психологические и соціальные вопросы.

Выла, однакожъ, и еще причина для этихъ симпатическихъ изліяній Бълпнскаго, кромъ той, которая порождалась самымъ литературнымъ достоинствомъ произведенія Г.: Вълинскій склонялся все болье къ признанію важнаго значенія, такъ-называемой, беллетристики, разнообразной, умной, цёнкой беллетристики, какая существуетъ во всъхъ странахъ Европы, образуя въ нихъ такой же существенный элементь общественнаго развитія, какъ и художественныя произведенія, и часто служа пособіемъ для ихъ пониманія. Со стороны Белинскаго этотъ вводъ новаго деятеля въ область искусства и это снабжение его патентомъ на право гражданства въ ней не было измѣной старымъ положеніямъ критика 1840—1845 гг., а только дополненіемъ ихъ. «Великія, образцовыя произведенія искусства и науки, — говорилъ онъ, — были и останутся единственными пояснителями всъхъ вопросовъ жизни, знанія и нравственности, но до появленія такихъ произведеній, заставляющихъ иногда ждать себя по-долгу, беллетристика — дъло необходимое. Въ эти долгіе промежутки она предназначена занимать, питать и поддерживать умы, которые безъ нея обречены были бы на праздность или на повтореніе старыхъ образцовъ и преданій». Желать возникновенія

беллетристики, не нридавая ей значенія послѣдняго судьи всѣхъ современныхъ задачь—значило для него только желать обмѣна идей и сбора необходимаго матеріала для разрѣшенія этихъ задачъ уже путемъ науки и творчества, когда наступитъ ихъ время. Зачатки такой беллетристики Бѣлинскій усмотрѣлъ именно въ вышеупомянутомъ романѣ Г., что однажды и высказалъ пуолично въ разборѣ его, не придавая ему художническаго значенія, но ставя его високо, какъ произведеніе умнаго, наблюдательнаго и развитаго человѣка. По тѣмъ же поводамъ и первыя произведенія другого писателя, Д. В. Григоровича, выступившаго въ 1846 съ повѣстью «Деревия», за которой послѣдовала другая «Антонъ Горемыка» — обѣ возбудившія множество толковъ — встрѣчены были чрезвычайно сочувственно нашимъ критикомъ. Онъ увидаль въ нихъ начало эры талантливыхъ разоблаченій и ловкой провѣрки жизненныхъ явленій изъ сельскаго нашего быта, важность котрыхъ была теперь несомнѣнна для него. Какую скромную роль ни отводилъ еще Бѣлинскій беллетристикѣ вообще въ литературѣ, но ходатайство за нея и предъявленіе ею правъ на вниманіе — ноказались еще многимъ ересью. Ново и дико было то, что критикъ признавалъ учителями общества уже не одни геніальные или очень крупные таланты, какъ прежде, а и всю безымянную массу литераторовъ и дѣятелей, разработывающихъ вопросы жизни и времени, по мѣрѣ силь своихъ и пониманія. Первая, усмотрѣвшая новое направленіе Бѣлинскаго, была, конечно, очень чуткая къ видоизмѣненіямъ его мысли—славянофильская партія. Она объявляла все ученіе о беллетристикѣ прославленіемъ публичной «болтовни», приниженіемъ серьёзныхъ тружениковъ въ пользу «горлановъ». Мнѣ самому приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ—и не безвѣстныхъ—лицъ этой партіи замѣчаніе, что поставленіе беллетристики на одну доску съ ноэтическимъ трудомъ похоже на оскорбленіе «святого духа».

Московскимъ умѣреннымъ западникамъ новая пропаганда Бѣлинскаго не показалась ни очень новой, ни такой страшной для дѣла образованія: они знали участіе беллетристики въ созданіи об-

Московскимъ умфреннымъ западникамъ новая пропаганда Бфлинскаго не показалась ни очепь новой, ни такой страшной для дфла образованія: они знали участіє беллетристики въ созданіи общаго умственнаго строя современной Европы. Притомъ же, внутри круга жило убфжденіе, что нападки враговъ Бфлинскаго порождены просто недоразумфніемъ, у многихъ даже и сознательнымъ, ибо нреслъдователемъ художественности, чистаго творчества и серьёзнаго труда пельзя было его и нредставить себф. И они были правы, какъ доказалъ восторгъ Бфлинскаго при появленіи въ томъ же 1845 году, еще въ рукописи, «Бфдныхъ людей» Достоевскаго, которыхъ онъ считалъ, на первыхъ порахъ, замфчательнымъ художническимъ произвеленіемъ ническимъ произведеніемъ.

XXIX.

Въ одно изъ моихъ посъщеній Вълинскаго, передъ объдомъ, когда онъ отдыхалъ отъ утреннихъ писательскихъ работъ, я со двора дома увидель его у окна гостиной, съ большой тетрадью въ рукахъ и со всеми признаками волненія на лице. Онъ тоже заметилъ меня и прокричалъ: «Идите скоръе, сообщу новость»... «Вотъ отъ этой самой рукописи, - продолжалъ онъ, поздоровавшись со мною, -- которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это -романъ начинающаго таланта: каковъ этотъ господинъ съ виду и каковъ объемъ его мысли -- еще не знаю, а романъ открываетъ такія тайны жизни и характеровъ па Руси, которыя до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у насъ соціальнаго романа и сдъланная притомъ такъ, какъ дълаютъ обыкновенно художники, т.-е. не подозрѣвая и сами, что у нихъ выходитъ. Дѣло тутъ простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагають, что любить весь міръ есть необычайнан пріятность и обязанность для каждаго человъка. Они ничего и понять не могутъ, когда колесо жизни со встми ея порядками, натхавъ на нихъ, дробитъ имъ молча члены и кости. Вотъ и все, — а какая драма, какіе типы! Да я и забылъ вамъ сказать, что художника зовутъ «Достоевскій», а образцы его мотивовъ представлю сейчасъ». И Бълинскій принялся съ необычайнымъ паносомъ читать мъста, наиболье поразившія его, сообщая имъ еще большую окраску своей интопаціей и нервной передачей. Такъ встрътилъ онъ первое произведение нашего романиста 1).

И этимъ еще не кончилось. Вёлинскій хотёлъ сдёлать для молодого автора то, что онъ дёлаль уже для многихъ другихъ, какъ, напримёръ, для Кольцова и Некрасова, т.-е. высвободить его талантъ отъ резонёрскихъ наклонностей и сообщить ему сильные, такъ-сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладёвать предметами прямо, съ-разу, не надрываясь въ попыткахъ, но тутъ критикъ встрётилъ уже рёшительный отпоръ. Въ домё же Бёлинскаго прочитанъ былъ новымъ писателемъ и второй его разсказъ: «Двойникъ»; это — сенсаціонное изображеніе лица, существованіе

¹⁾ Во время вторичнаго моего отсутствія изъ Россіи, въ 1846 году, почти такое же настроеніе охватило Бѣлинскаго, какъ разсказывали мнѣ, и съ рукописью "Обыкновенная исторія" И. А. Гончарова — другимъ художественнымъ романомъ. Онъ съ перваго же раза предсказалъ обоимъ авторамъ большую литературную будущность, что было не трудно, но онъ еще предсказалъ, что потребуется имъ много усилій и много времени, прежде чѣмъ они наживутъ себѣ творческія идеи, достойныя ихъ таланта.

котораго проходить между двумя мірами — реальнымь и фантастическимь, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни къ одному изъ нихъ. Бѣлинскому нравился и этотъ разсказъ по силѣ и полнотѣ разработки оригинально-странной тэмы, но миѣ, присутствовавшему тоже на этомъ чтеніи, показалось, что критикъ имѣетъ еще заднюю мысль, которую не считаетъ пужнымъ высказать тотчасъ же. Онъ безпрестанно обращалъ вниманіе Достоевскаго на необходимость набить руку, что называется, въ литературномъ дѣлѣ, пріобрѣсти способность легкой передачи своихъ мыслей, освободиться отъ затрудненій изложенія. Бѣлинскій, видимо, не могъ освоиться съ тогдашней, еще расплывчатой манерой разсказчика, возвращавшагося поминутно на старыя свои фразы, повторявшаго и измѣнявшаго ихъ до безконечности, и относиль эту манеру къ неопытности молодого инсателя, еще не усиѣвшаго одолѣть препятствій опытности молодого инсателя, еще не усивышаго одольть препятствій со стороны языка и формы. Но Бълинскій ошибся: онъ встрътилъ со стороны языка и формы. Но Бѣлинскій ошибся: онъ встрѣтилъ не новичка, а совсѣмъ уже сформировавшагося автора, обладающаго потому и закоренѣлыми привычками работы, несмотря на то, что онъ являлся, повидимому, съ первымъ своимъ произведеніемъ. Достоевскій выслушивалъ наставленія критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успѣхъ, полученный его повѣстью, съ-разу оплодотворилъ въ немъ тѣ сѣмена и зародыши высокаго уваженія къ самому себѣ и высокаго попятія о себѣ, какія жили въ его душѣ. Успѣхъ этотъ болѣе чѣмъ освободилъ его отъ сомнѣній и колебаній, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторовъ: онъ еще принялъ его за вѣщій сонъ, пророчившій вѣнцы и капитоліи. Такъ, рѣшаясь отдать романъ свой въ готовившійся тогда альманахъ, авторъ его совершенно спокойно, и какъ условіе, слѣальманахъ, авторъ его совершенно спокойно, и какъ условіе, слѣ-дующее ему по праву, потребовалъ, чтобъ его романъ былъ отли-ченъ отъ всѣхъ другихъ статей книги особеннымъ типографскимъ знакомъ, напримъръ-каймой.

Впослѣдствіи изъ Достоевскаго вышель, какъ извѣстно, изумительный искатель рѣдкихъ, поражающихъ феноменовъ человѣческаго мышленія и сознанія, который одинаково прославился вѣрностію, цѣнностію, интересомъ своихъ исихическихъ открытій — и количествомъ обманныхъ образовъ и выводовъ, полученныхъ путемъ того же самаго топчайшаго хирургически-остраго, такъ-сказать, исихическаго анализа, какой помогъ ему создать и всѣ наиболѣе яркіе его типы. Съ Бѣлинскимъ онъ вскорѣ разошелся — жизнь развела ихъ въ разныя стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцапіе ихъ были одипаковы.

Я не успёль еще сказать, что двё зимы 1844 и 45 гг.— Петербургь видёль въ стёнахъ своихъ и постояннаго своего анта-

тониста Н. Кетчера. Н. Кетчеръ превелъ въ Петербургѣ эти зимы по служебнымъ дъламъ своимъ и страшно скучалъ по родному своему городу, въ который и возвратился окончательно лѣтомъ 1845 г., гдѣ, какъ мы видѣли, я и засталъ его на дачѣ въ Соколовѣ. Въ Петербургъ онъ занимался переводомъ съ нъмецкаго какой-то терапевтической или фармацевтической книги, долженствовавшей служить руководствомъ для учебныхъ заведеній въдомства медицинскаго департамента, но поверхъ этой книги всегда лежали на письменномъ его столъ томики Шекспира въ оригиналъ и въ нъмецкомъ текстъ, и онъ свободно переходилъ отъ перевода учебной книги къ переложенію поэтическихъ созданій британскаго драматурга. Въ промежутки между этими занятіями онъ посъщаль театръ и общество петербургскихъ актеровъ, которыхъ довольно своеобразно воспитываль, ругая почти все, что имъ нравилось и на что они возлагали большія надежды. Онъ иногда и собираль ихъ въ своей квартирѣ, на Владимірской. Тутъ я встрѣтилъ однажды и В. А. Каратыгина, бывшаго въ апогет своей славы. Знаменитый трагикъ эпохи показался мнв нвсколько нелвнымь со своимь громаднымь ростомь, густымъ и глухимъ басомъ, величавымъ видомъ и тупо-сдержаннымъ и значительнымъ словомъ. По бъшенству жестовъ, изысканности позъ и утрировкъ выраженій, опъ частенько бываль нельпъ и на сцень, но туть онъ выкупаль эти недостатки инстинктивной отгадкой главной черты изображаемаго характера, проведением ея черезъ всю роль и передачей ея въ возможной яркости и рельефности, чъмъ и достигалъ подъ-часъ замъчательныхъ эффектовъ.

Пребывание Кетчера ознаменовалось постоянными нескончаемыми толками о различіи и противоположных в качествах обфихь нашихъ столиць. Балинскій, огорченный сдпаками партій въ Москвъ, гремълъ противъ города, имъющаго тлетворное вліяніе на самыхъ здравомыслящихъ людей, а Кетчеръ исполнялъ теперь роль адвоката Москвы, что было согласно съ обычаемъ, принятымъ въ кругъвсегда стоять за отсутствующихъ. Мы видели, что летомъ, возвратясь на свое родное пепелище, въ Москву, онъ оказался, наоборотъ, горячимъ защитникомъ петербургскихъ взглядовъ. Впрочемъ, въ спорахъ между друзьями не было ничего новаго, за исключениемъ одной черты: тутъ препирались уже не представители двухъ враждебныхъ партій, а представители одной и той же дружеской партіи, что подтверждало ея распаденіе. Объ столицы, Москва и Петербургъ, опять употреблены были въ дъло, какъ прежде въ борьбъ съ чистыми славянофилами, — для обозначенія духа и содержанія повыхъ отдъловъ раздвоившейся партіи западничества. Москва и Петербургъ присуждены были, какъ и прежде, взимать на себя увлечение, стра-

сти, гнфвныя вспышки современниковъ и служить имъ орудіями борьбы. Петербургское «западничество» выражалось устами Бълинскаго: «Между питерцемъ и москвичемъ, — говорилъ Бълинскій, подразумъвая уже однихъ западниковъ (я сохраняю здъсь смыслъ рвчей его, по не самую форму ихъ), — пикакой общности взглядовъ долго существовать не можеть: нервый — сухой человъкъ по натуръ, а второй — елейный во всёхъ своихъ словахъ и мысляхъ. У нихъ различныя роли, они только мёшають и гадять другь другу, когда сойдутся». Этотъ афоризмъ я передалъ почти буквально, потому что часто слышалъ его отъ Бълинскаго. Затъмъ, по мнънію Бълинскаго, если позволительно мечтать о появленіи у насъ большой литературной и общественной партіи когда-либо, то ее следуеть ожидать только изъ Петербурга, потому что единственно въ Петербургъ люди знають истинную цену вещей, словь и поступковь, а затемь еще и потому, что единственно въ Петербургъ люди ничъмъ не обольщаются, и принимають, безъ благодарности и умиленія, всякіе подарки и милости, какъ нъчто имъ слъдующее; а наконецъ, и потому, что способны, безъ сердечныхъ болей, отдёлываться отъ застарёлыхъ мыслей и отъ хорошихъ людей, если они ни къ чему не ведуть или мѣшають достижению разь поставленной цѣли. Ка́къ далеко ушель Бълинскій оть своихъ, еще не очень давнихъ том-леній по Москвъ и нъжныхъ воспоминаній о ней! Кетчеръ, отъ имени московскихъ западниковъ, выражалъ совсъмъ другое мнъніе. По его толкованію, вся работа петербургскаго человъка заключается въ томъ, чтобъ прослыть умнымъ человъкомъ, нричемъ всяческія воззрвнія, убвжденія, тенденціи считаются у него различными видами дурачествъ, мъшающими устройству карьеры, а затъмъ уже, прослывъ умнымъ человъкомъ, петербуржецъ спитъ и видитъ, какъ бы продать себя подороже со всёмъ своимъ багажомъ. Въ статейкъ «Иетербургъ и Москва», написанной Бълинскимъ,

Въ статейкъ «Петербургъ и Москва», написанной Бълинскимъ, въ 1846, для альманаха Некрасова и отражающей хорошо его споры съ другомъ, критикъ сознается, что Москва больше и лучше читаетъ, больше и лучше думаетъ, по онъ прибавлялъ еще въ разговорахъ свонхъ къ этому замъчанію, что въ Петербургъ люди лучше держатъ себя и порядочнъе себя ведутъ, точно приготовляясь къ чему-то серьёзному: на этомъ основаніи истому и распущенному москвичу становится даже и жутко жить на берегахъ Невы. Кетчеръ имълъ отвътъ и на это положеніе. Онъ, приблизительно, выражалъ такую мысль: излишества, безобразіе и всякія чудовищности москвича еще почтеннъе приличія и сдержанности питерца. Тамъ всъ уродливости на-голо и ничъмъ другимъ, какъ уродливостями, не слывутъ, а здъсь въ пълый годъ не узнаешь, какой человъкъ у тебя

передъ глазами, герой ли добродътели или отъявленный негодяй. — Замъчательно, что въ такихъ противоположныхъ терминахъ пренія между друзьями могли держаться цълые мъсяцы сряду, но это оттого, что въ споръ заилеталось множество личныхъ вопросовъ и множество соображеній, порождаемыхъ явленіями и событіями каждаго дня въ двухъ столицахъ. Притомъ же споръ этотъ былъ тогда повсемъстный, общій, и происходилъ, такъ или иначе, въ каждомъ домъ, гдъ только собирались люди, не чуждые литературъ и вопросамъ культуры.

Какими бы странными, пустыми и праздными ни казались всъ споры подобнаго рода современнымъ людямъ, но нельзя сказать, чтобы они лишены были вовсе дъльныхъ основаній и поводовъ для возпикновенія своего въ эпоху, когда процвътали: западная партія, напримъръ, въ Москвъ и Петербургъ усматривала въ лицахъ, по сочувствію ихъ къ тому или другому городу, оттънки мнъній, распознавать которые другимъ путемъ было очень трудно, видъла сразу по одному расположенію челов'яка къ тому или другому центру западническаго направленія настоящее знамя человіка и его истинные взгляды на общее дъло просвъщенія, угадывала, наконецъ, цвъта и краски, въ какіе должны отливаться всв его убъжденія. Бълинскій даже по степени симпатическихъ отношеній къ одной изъ столицъ наклоненъ былъ узнавать своихъ единомышленниковъ или своихъ тайныхъ недоброжелателей. Все это, однако же, продолжалось недолго, какъ сейчасъ увидимъ, потому что характеръ самыхъ предметовъ сравненія началь, съ переходомъ однихъ діятелей и представителей направленія на другую почву, съ исчезновеніемъ иныхъ вовсе изъ среды партій, — міняться часто: мірило для расцінки и опредъленія величинъ, противопоставленныхъ другь другу-оказывалось безпрестанно невърнымъ, неприложимымъ.

Гораздо долже этого спора держались толки и пренія по поводу извъстной фикціи, условнаго представленія, по которому съдалищемъ славянофильства признавалась Москва, а западническихъ тенденцій Петербургъ. Препирательства, вызванныя этой фикціей, возобновлялись нъсколько разъ и впослъдствіи, но и они кажутся теперь занятіемъ, придуманнымъ для себя людьми, страдавшими обиліемъ праздныхъ силъ. Глазу современнаго человъка чрезвычайно трудно найти во всъхъ этихъ спорахъ исторически-върный фактъ, такъ-какъ онъ видитъ теперь одни обломки явленій, не распознаётъ связи ихъ съ психической жизнію эпохи и развлеченъ тъмъ, что всъ эти остатки недавняго нашего прошлаго стоятъ передъ нимъ уже въ новомъ, совершенно переработанномъ, почти неузнаваемомъ

видъ, какой сообщило имъ послъдующее развитие нашей мысли и печати, принявшееся за ихъ возстановление въ свою очередь.

нечати, принявшееся за ихъ возстановление въ свою очередь.

Но толки и горячія бесёды не составляли для Бёлинскаго никогда настоящаго дёла, а только были приготовленіемъ къ нему. Статьямъ его весьма часто предшествовалъ долгій обмёнъ мыслей съ окружающими людьми или предпосылалось изложеніе идей, его занимавшихъ, въ дружескихъ разговорахъ, чёмъ онъ одинаково разъяснялъ самому себё свои тэмы и будущій порядокъ ихъ разватія. Такъ случилось и теперь.

Такъ случилось и теперь.

Вълинскій воспользовался появленіемъ романа гр. Соллогуба «Тарантась», чтобы поговорить серьёзно, подробно и уже печатно со своими московскими друзьями. Извъстно, что западники чрезвычайно откровенно относились другъ къ другу въ своемъ интимномъ кружкъ, но чуть ли Вълинскій не первый перенесъ эту откровенность и въ печать. Правда, примъръ подала славянская партія въ «Москвитянинь», какъ мы видъли. Она принялась тамъ за чистку домашняго бълья и за сведеніе счетовъ между собой, но тотчасъ же и отказалась отъ этой понытки, находя, въроятно, что малочисленность ея семьи требуетъ крайней осторожности и снисходительности въ обращеніи членовъ между собой. Только на условіи взаимной поддержки партія и могла сохранить свою цълость и сберечь весь свой персональ, нужный для борьбы. Потребность держаться сплоченной, по возможности, передъ врагами приводила ее затъмъ уже постоянно не только къ публичному, непрестанному выставленію на ноказъ лучшей стороны своихъ дъятелей, причемъ тщательно покрывались молчаніемъ всъ частныя разногласія съ ними, но и къ отысканію блестящихъ сторонъ дъятельности у такихъ людей своего круга, которые ихъ вовсе не имъли. Всъ соображенія и разсчеты подобнаго рода никогда не помъщались въ головъ Бълинскаго и никогда не могли остановить его. Онъ и теперь отдался вполнъ своему намъ рода никогда не помѣщались въ головѣ Бѣлинскаго и никогда не могли остановить его. Онъ и теперь отдался вполнѣ своему намѣренію, безъ всякаго колебанія. Статью Бѣлинскаго о «Тарантасѣ» гр. Соллогуба можно назвать образцомъ мастерской полемики, говорящей гораздо болѣе того, что въ ней сказано формально. Она промзвела сильное впечатлѣніе на людей, умѣвшихъ различать за слышимой рѣчью другой, потаенный голосъ, а кто тогда не умѣлъ этого? Бѣлинскій чрезвычайно искусно воспользовался двойнымъ характеромъ разбираемаго произведенія, изображавшаго очень вѣрно, иногда даже съ истиннымъ юморомъ, скудную умственную и житейскую арену, по которой двигались представители, какъ нашей первобытной, такъ и понравленной, щеголеватой Руси, но въ то же время дополнявшаго еще свои картины фантазіями на счетъ будущаго блестящаго развитія той самой печальной среды, которую рисовало. Выстящаго развитія той самой печальной среды, которую рисовало. Вы-

ходило такъ, что грубость и безплодіе почвы именно и даютъ право надъяться на получение съ нея обильной жатвы и ослъпительныхъ результатовъ. Вълинскій отдаваль полную справедливость реальной живописи предметовъ в образовъ, какую находилъ въ романъ, и относился съ презрвніемъ къ фантастическимъ пророчествамъ и поясненіямь его, которые, говориль опъ, ничего не доказывають, кромѣ бъдности сужденія и созерцанія автора, если только не полагать у него иронических вамфреній. Бфлинскій называль всё эти детскія прозрънія ва будущее Россіи донъ-кихотствомъ, но прибавляль, что это донъ-кихотство невинное и еще очень низкой, второстепенной пробы, а есть и другое, болье опасное и лучше обдуманное, - и затёмъ критикъ восходилъ къ описанію этого донъ-кихотства высшаго сорта и порядка, начало котораго Бълинскій усмотръль за границей въ сферъ науки, исторіи и философіи, стало-быть — въ сферъ высоко-развитыхъ людей 1) и предостерегалъ отъ появленія его у насъ. Это донъ-кихотство высшаго полета, по мнънію Бълипскаго, въруетъ въ возможность примиренія началь, діаметрально противоположныхъ другь другу, убъжденій и взглядовъ, взаимно исключающихъ другъ друга, и занято отысканіемъ какого-нибудь уголка въ области мысли, где бы могь спокойно совершиться устраиваемый имъ насильственный бракъ, противо-естественный союзъ различныхъ направленій. Какъ ни пышно съ вида это исевдо-научное донъ-кихотство, располагающее однако же огромными средствами эрудиціи, діалектики и философской находчивости, оно все-таки, говориль Бълинскій, сродни пошловатому донъ-кихотству Соллогубовскаго романа. Обоимъ имъ обще стремление искать спасения отъ жизненной правды, быющей въ глаза, въ области лжи и фантазіи. Всъ намфренія и цфли полемической статьи этой были достаточно ясны и прозрачны для всёхъ, посвященныхъ въ дёла литературы, но Бълинскому хотълось досказать и послъднее свое слово. Онъ вмъниль въ заслугу автору и то обстоятельство, что онъ далъ генерическое имя и отечество вздорному герою-мечтателю своего романа, назвавъ его «Ивапомъ Васильевичемъ». - «Мы теперь будемъ знать, говориль Вълинскій, какъ называются у насъ всё фантазёры этого рода», — а извъстно, что и И. В. Киръевскій, авторъ замъчательныхъ статей «Москвитянина» — носиль то же имя и отчество.

Какъ отразилась эта статья на московскихъ друзьяхъ Бѣлинскаго,—видно изъ рѣчей и мнѣній на дачѣ въ Соколовѣ, о которыхъ было уже говорено прежде.

¹⁾ Онъ имѣлъ въ виду преимущественно новую систему Шелдинга (Философія откровенія), а послѣ нея ученіе Бюше (Buchez)—о католическомъ соціализмѣ, и другія.

XXX.

Между тъмъ приближалось время очень важнаго переворота въ жизни Бълинскаго.

Скорве чвиъ можно было ожидать, оказалось, что Белинскій ошибался, когда, благодаря ослабъвшей энергін нашихъ партій, пророчиль близкое воцареніе равнодушныхъ отношеній къ существеннымъ вопросамъ русской жизни, или когда опасался, что партии окончательно сойдутся на какомъ-либо фантастическомъ представленін изъ области исторін, права и народнаго быта, которое не бу-детъ имѣть ни малѣйшей связи съ современнымъ положеніемъ дѣлъ. Ничего подобнаго не случилось, да и не могло случиться. Какіе бы шаги ни дёлали умёренные отдёлы нашихъ партій на встрёчу другъ другу — сойтись они все-таки никакъ не могли, какъ ноказало, и очень скоро—послъдующее время. Между ними лежала пропасть—образовавшаяся изъ различнаго пониманія роли русскаго народа въ исторіи и различнаго сужденія о всёхъ другихъ факторахъ и эле-ментахъ той же исторіи. «Славяне», какъ извёстно, давали самое ничтожное участіє въ развитін государства пришлымъ иноплеменнымъ элементамъ, за исключеніемъ византійскаго, и во многихъ случаяхъ смотрёли на пихъ, какъ на несчастіе, помёшавшее пароду выразить вполнѣ свою духовную сущность. «Европейцы», наоборотъ, приписывали вмѣшательству постороннихъ національностей большое участіе въ образованіи московскаго государства, въ опредёленіи всего хода его исторіп, и даже думали, что этнографическіе элементы, внесенные этими чуждыми національностями,—и устроили то, что называется теперь народной русской физіономіей. Разногласіе сводилось окончательно на вопросъ о культурныхъ способностяхъ русскаго на-рода, и вопросъ оказался настолько силенъ, что положилъ пепроходимую грань между партіями. «Славянская» партія не хотѣла, да и не могла удовольство-

«Славянская» партія не хотѣла, да и не могла удовольствоваться уступками своихъ враговъ, — пониманіемъ парода, напримѣръ, какъ одного изъ многочисленныхъ агентовъ, слагавшихъ нашу исторію, — а еще менѣе могла удовольствоваться признаніемъ за народомъ нѣкоторыхъ симпатическихъ, нравственно-привлекательныхъ сторонъ характера, на что охотно соглашались ея возражатели. Она требовала для русскаго народа кое-чего большагэ. Она требовала именно утвержденія за нимъ громадной политической, творческой и моральной репутаціи, великой организаторской силы, обнаружившейся въ созданіи московскаго государства и въ открытіи такихъ общественныхъ, семейныхъ и религіозныхъ идеаловъ существованія, какимъ

ничего равносильнаго не могутъ противопоставить наши позднъйшіе и новые порядки жизни. На этомъ основаніи и не заботясь объ историческихъ фактахъ, противоръчившихъ ея догмату, или толкуя ихъ ловко въ свою пользу, опа принялась по частямъ за лъпку колоссальнаго образа русскаго народа, съ цёлью создать изъ него типъ, достойный поклоненія. Съ первыхъ же признаковъ этой работы по сооруженію, въ лицъ парода, апонеозы правственнымъ основамъ и идеаламъ старины, и еще не дожидаясь ея конца, московскіе западники, цілымъ составомъ, усвоили себі задачу-неустанно объявлять русскій народъ славянофиловъ лже-народомъ, произведеніемъ ученой наглости, изобрътающей историческіе черты и матеріалы, ей нужные. Особенно укоряли они своихъ ученыхъ противниковъ въ наклонности принимать подъ свою защиту, по необходимости, даже и очень позорные бытовые и исторические факты исторіи, если ихъ нельзя уже пропустить молчаніемъ или нельзя цфликомъ отвергнуть, какъ выдумку враговъ русской земли.

Полемика эта длилась долго и особенно разгорълась уже въ 50-хъ годахъ, въ эпоху замъчательныхъ славянофильскихъ сборниковъ (1852—1855 г.: «Московскій Сборникъ», «Симбирскій Сборникъ», «Бесъда»). Душой этой полемики, послъ того, какъ уже не стало и Бълинскаго, быль тотъ же самый Грановскій, заподозрънный нъкогда петербургскими друзьями въ послаблении врагамъ, хотя онъ самъ ръдко выходилъ на арену. Правда, что это всегда былъ врагъ великодушный. Извъстно, что въ разгаръ спора много было сказано дёльныхъ положеній съ обёнхъ сторонъ и много обнаружилось талантовъ, усиввшихъ пріобръсти себъ впослъдствіи почетныя имена. Ни одинъ изъ нихъ не прошелъ незамъченнымъ Грановскимъ спервоначала. Человъкъ этотъ обладаль въ высшей степепи живучей совъстливостію, понуждавшей его указывать на достоинство и заслугу вездъ, гдъ онъ ни встръчалъ ихъ, не стъсняясь никакими посторонпими, кружковыми или тактическими соображеніями. Не ръдко приходилось намъ всемъ слышать отъ него такую оценку его личныхъ враговъ и враговъ его направленія, какую могли бы принять самые благорасположенные къ нимъ біографы на свои страницы. Между прочимъ, онъ очень высоко цънилъ молодого Валуева, автора извъстной статьи о «Мъстничествъ» въ одномъ изъ славянофильскихъ сборниковъ, такъ рано умершаго для отечества, и говорилъ о немъ не иначе, какъ съ умиленіемъ.

Освобожденный отъ страха видѣть заключеніе спора, такъ много стоившаго ему, какимъ-нибудь простымъ компромиссомъ между партіями, Бѣлинскій уже спокойнѣе и объективнѣе отнесся къ самому вопросу о долѣ, какую должны имѣть и имѣютъ народные элементы

въ культурномъ развитіи страны. Теперь (1846), когда оказалось, что дёло обличенія заносчивой пропаганды и излишествъ національной партіи можетъ разсчитывать на старыхъ сподвижниковъ— спокойный отвётъ на вопросъ значительно облегчался. Нельзя уже было не видёть, что ученіе о народности, какъ поводъ къ измёненію нынёшнихъ условій ея существованія, имѣетъ весьма серьёзную сторону; только опираясь на это ученіе, открывалась возможность говорить объ ошибкахъ русскаго общества, повредившихъ чести и достоинству государства. Примѣръ былъ на лицо. «Славянская» нартія, несмотря на всё возраженія и опроверженія, пріобрѣтала съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе вліянія и подчиняла себѣ умы, даже и не очень покорные по природѣ, и подчиняла одной своей проповѣдью о неузнанной, несправедливо оцѣненной и безчестно-припиженной русской пародности.

И дъйствительно, какъ бы сомнительна ни казалась идеализація народа, производимая «славянами», какими бы шаткими ни объявлялись основы, на которыхъ они строили свои народные идеалыработа «славянь» была все-таки чуть ли не единственнымь дёломъ эпохи, въ которомъ общество наше принимало наибольшее участіе, и которое побъдило даже холодность и подозрительность оффиціальныхъ круговъ. Работа эта одинаково обольщала всёхъ, позволяя праздновать открытие въ недрахъ русскаго міра и посреди общей моральной скудости -- богатаго нравственнаго канитала, достающагося почти за-даромъ. Всв чувствовали себя счастливве. Ничего подобнаго «западпики» предложить пе могли, у нихъ не было никакой цъльной и обработанной политической теоремы, они занимались изслъдованіями текущихъ вопросовъ, критикой и разборомъ современныхъ явленій, и не отваживались на составленіе чего-либо похожаго на идеаль гражданскаго существованія, при техь матеріалахь, какіе имъ давала и русская, и европейская жизнь. Добросовъстность «западниковъ» оставляла ихъ съ пустыми руками, - и понятно, что положительный образъ народной политической мудрости, найденный славянофилами, начиналъ поэтому играть въ обществъ нашемъ весьма видную роль.

Вольное обращение съ историй, на которое имъ постоянно указывали, нисколько не останавливало роста этого идеала и его развитія; папротивъ, свобода толкованія фактовъ способствовала еще его процвѣтанію, позволяя вводить въ его физіономію черты и подробности, наиболѣе привлекательныя для народнаго тщеславія и наиболѣе дѣйствующія на массы. Ошибки, невѣрности, нарушенія свидѣтельствъ приходились тутъ еще на здоровье, такъ сказать, идеалу и на укрѣпленіе партіп, его восиптавшей. Между тѣмъ—

сознательно или безсознательно — все-равно — партія достигала съ помощью своего спорнаго идеала несомнѣнно весьма важпыхъ цѣлей. Тутъ случилось то, что не разъ уже случалось на свѣтѣ: рискованныя и самовольныя положенія принесли гораздо болѣе пользы обществу и людямъ, чѣмъ осторожные, обдуманные и потому робкіе таги безпристрастнаго изслѣдованія. Партія успѣла ввести въ кругозоръ русской иптеллигенціп новый предметъ, поваго дѣятельнаго члена и агента для мысли — именно народъ, и послѣ ея проповѣди ни наукѣ вообще, ни наукѣ управленія въ частности уже нельзя было обойтись безъ того, чтобы не имѣть его въ виду при разныхъ политикосоціальныхъ рѣшеніяхъ и не считаться съ нимъ. Это была великая заслуга партіи, чѣмъ бы она пи была куплена. Впослѣдствіи, и уже за гранпцей, Г. очень хорошо понималь значеніе возведенной постройки славянофпловъ и не даромъ говорилъ: «Наша европейская занадническая партія тогда только получитъ мѣсто и значеніе общественной силы, когда овладѣетъ тэмами и вопросами, пущенными въ обращеніе славянофилами».

Но если это-то было невозможно покамъстъ, то по крайней мврв уже наступало время понимать важность подобныхъ тэмъ. Не далье какъ въ 1847 г., самъ Бълипскій уже говориль о нельпости противоноставлять паціональность общечеловіческому развитію, какъ будто эти явленія непрем'вню должны исключать другь друга, между тъмъ какъ, въ сущности, они постоянно совпадаютъ. Общечеловъческое развитие не можетъ выражаться иначе, какъ чрезъ посредство той или другой народности, оба термина даже и немыслимы одинъ безъ другого. Мысль свою онъ подробно развилъ въ статьъ: «Обозръние литературы 1846 года». Въ ней особенио любонытпо одно мъсто. Къ этому мъсту Бълинскій подходить предварительнымъ и очень обстоятельнымъ изложениемъ мниния, что какъ отдельное лицо, не паложившее печати собственнаго своего духа и своего содержанія на полученныя имъ идеи и представленія — никогда не будетъ вліятельнымъ лицомъ, такъ и народъ, не сообщившій особеннаго, своеобразнаго штемпеля и выраженія нравственнымъ основамъ человъческаго существованія, всегда останется мертвой массой, пригодной для производства надъ нею всякихъ экспериментовъ. Пространное развитіе этого положенія Бълинскій заключаетъ словами, почти буквально повторяющими точно такія же слова Грановскаго, сказанныя въ Соколовъ по поводу сочувствія, какое вынуждають къ себъ почасту основныя убъжденія «славянь», хотя собственно критикъ пашъ этихъ словъ Грановскаго самъ не слыхалъ. Вотъ это мъсто: «Что личность въ отношеніи къ идев человъка, то-народность въ отношени къ идеъ человъчества. Безъ

національностей челов'ячество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Bг отношеніи ка этому вопросу, я скорте потова перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на сторонь гуманических космополитиков, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ какъ такое-то изданіе такой-то логики. Но, къ счастію, я надъюсь остаться на своемъ мъстъ, не переходя ни къ кому.....» Молодая редакція новаго «Современника» 1847 г., для котораго статья писалась и гдв она была помещена, думала однакоже пначе объ этомъ предметъ. Такъ какъ борьба съ славянофильской партіей, да интересъ болье или менье художественной литературы обличенія, составляли пока всю программу новаго журнала, то понятно, что движение его критика на встръчу къ обычнымъ врагамъ иетербургской журналистики затемняло одну и важную часть самой программы журнала. Виослъдствіи я слышаль, что редакція много роптала на статью съ такой странной, небывалой тенденціей въ нетербургско-западнической печати, и которой она должна была открыть свой новый органъ гласности.

Такимъ образомъ разръшалась долгая полемика Бълинскаго съ

лютвишими своими врагами.

Основаніе «Современника», 1847 г., положило предёлъ участію Бълинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ», которымъ онъ такъ усердно послужилъ въ теченіи шести лѣтъ, что создалъ почетное имя и положеніе журналу и потеряль свое здоровье. Съ половины 1845 г. мысль покинуть «От. Записки» не оставляла Бёлинскаго, въ чемъ его особенно поддерживаль Н. А. Некрасовъ съ практической точки зрёнія. Дёйствительно, матеріальное положеніе Бёлинскаго, годъ отъ году, становилось все хуже и никакого выхода не представляло ни съ какой стороны. Силы его слабъли, семья требовала увеличенныхъ средствъ существованія, а въ случав ката-строфы, которую онъ уже предвидълъ, оставалась безъ куска хлѣба. Можетъ быть, пикто изъ нашихъ писателей не находился въ положеніи болве схожемь съ положеніемь тогдашняго работника и пролетарія въ Европъ. Подобно имь, опъ никого лично не могъ обвинять въ устройствъ гнетущихъ обстоятельствъ своей жизни — всъ исполняли, по отношенію къ нему, добросовъстно свои обязательства, никакихъ притъсненій онъ не испытываль, никакихъ чрезмъримхъ требованій не предъявлялось, и пикто не дълалъ попы-токъ увернуться отъ условій, принятыхъ по взаимному соглаше-нію—все обстояло, такимъ образомъ, чинно, благопристойно, респектабельно, но англійскому выраженію, вокругь него. Но трудъ

его все-таки нріобраталь свою цанность только тогда, когда уходиль изъ его рукъ, приносиль всю пользу, какой отъ него дать можно было, изданію, а не тому, кто его произвель. Не было и возможности поправить дёло, не измёняя обычныхъ экономическихъ условій, утвержденныхъ разъ навсегда. Съ каждымъ днемъ Бълинскій все болье и болье убъждался, что чымь сильные неть онь напрягать свою деятельность и чемь блестящее будуть оказываться ея результаты, въ литературномъ и общественномъ смыслъ, твиъ хуже будетъ становиться его положение, въ виду неизбъжнаго истощенія творческаго матеріала и уничтоженія самой способности къ труду, вслъдствіе его удвоенной энергіи. Будущность представлялась ему, такимъ образомъ, въ очень мрачныхъ краскахъ, и съ половины 1845 г. мы слышали горькія жалобы его на свою судьбу, жалобы, въ которыхъ онъ не щадилъ и самого себя: «Да что же и делать судьбе этой, — говориль онь въ заключение, — съ нымъ человъкомъ, которому ничего въ нрокъ не пошло, что ему ни давала» 1).

И дъйствительно, съ концомъ 1845 г. Бълинскій покидаетъ на время журнальную работу и разстается съ «Отечественными Записками». Событіе это произвело нъкотораго рода перенолохъ въмаленькомъ литературномъ міръ того времени. Съ удаленіемъ Бълинскаго пророчили паденіе журнала, но журналъ устоялъ, какъ всякое предпріятіе, уже добывшее себъ прочныя основы и открывшее нритомъ готовую арену для литературной дъятельности новоприходящимъ талантамъ. Таковъ былъ молодой Майковъ, принявшій въ свои руки наслъдство Бълинскаго—критическій отдълъ журнала: отдълъ этотъ обръталъ въ немъ новую и свъжую силу, вмъстоатрофіи и разслабленія, которыми ему грозили.

В. Н. Майковъ отложилъ въ сторону весь эстетическій, нравственный и полемическій багажъ Бѣлинскаго, и за норму оцѣнки произведеній искусства принялъ количество и важность бытовыхъ

¹⁾ Привожу анекдотъ изъ этихъ проявленій самоосужденія и самообличенія, къ которымъ онъ былъ склоненъ, но въ которыхъ былъ также всегда и искрененъ. Одинъ изъ журнальныхъ редакторовъ того времени, напечатавъ въ своемъ издапіп переводный романъ и заплативъ за него условленную сумму переводчику, почелъ себя въ правѣ выпустить переводъ отдѣльной книжкой и въ свою пользу. Но онъ напалъ на энергичнаго человѣка, который, послѣ безплодныхъ протестацій, рѣшился повести дѣло серьёзно, и пожалуй дойти до судебныхъ инстанцій, какія тогда существовали. Редакторъ привужденъ былъ уступить и возвратить переводчику его собственность. Выслушавъ разсказъ, Бѣлинскій молча принялся шарить по угламъ комнаты, добылъ тамъ свою палку, и, подавая ее разсказчику, прибавнлъ: "Учите меня, авось и я пойму, какъ должно беречь свое добро". Но выучиться этому онъ не могъ, не переставъ быть Бѣлинскимъ...

и общественныхъ вопросовъ, ими поднимаемыхъ, и способы, съ какими авторы — указываютъ и разрѣшаютъ ихъ. Преждевременная смерть помѣшала ему развить вполнѣ свое созерцаніе ¹).

Съ разрывомъ старыхъ связей не все еще кончилось для Бълинскаго; надо было отыскать средства существованія. Бълинскій предвидълъ это и обратился, еще до разрыва, за совътомъ и помощью къ друзьямъ, излагая имъ свой планъ — издать уже прямо отъ своего имени большой альманахъ изъ совокупныхъ ихъ трудовъ, если они согласятся войти въ его виды и намъренія. Отвътъ не замедлилъ явиться. Со всъхъ сторонъ знаменитые и не-знаменитые писатели наши посившили препроводить къ нему все, что имвли у себя на-готовв, и уже къ началу 1846 г., въ рукахъ Бвлинскаго образовалась значительная масса рукописнаго и частію очень цъннаго матеріала, какъ показало позднъйшее его опубликованіе. Не могла скрыться отъ глазъ самого Бълинскаго и вниманія его ближайшихъ совътниковъ во всемъ этомъ дълъ, Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, важность собраннаго матеріала. Последніе уже давно искали самостоятельной издательской дъятельности и пробовали ее не разъ-выпускомъ альманаховъ и сборниковъ, но тутъ представлялся случай къ основанію уже большого предпріятія—новаго періодическаго изданія. Матеріаль Бѣлинскаго могь бы служить ему, на нервыхъ порахъ, готовой поддержкой. Тогда и возникла мысль о пріобр'втеніи стараго, Пушкинскаго «Современника», скромно, почти безвъстно существовавшаго подъ руководствомъ П. А. Плетнева, -- мысль, которая и приведена была въ исполнение Некрасовымъ и Панаевымъ. Они купили вивств съ твмъ и весь «матеріаль» Бълинскаго (Панаевъ быль главнымъ вкладчикомъ при всвхъ этихъ операціяхъ), что и помогло Белинскому расплатиться съ долгами и виервые почувствовать себя свободнымъ человъкомъ. При этомъ новые редакторы «Современника» 1847 г. открывали ему еще и перспективу въ будущемъ, которая особенно должна была пъниться Бълинскимъ. Они включали его въ число неоффиціальныхъ соиздателей журнала (оффиціальнымъ выставлялся, въ видъ поруки передъ цензурой, проф. А. В. Никитенко) и предоставляли ему, кромъ илаты за статьи, еще и долю въ выгодахъ изданія, какія окажутся. Безъ понулярнаго имени Бълинскаго дъйствительно трудно было обойтись предиріятію, но къ этому примъшивалась еще и надежда, раздъляемая и Бълинскимъ, что всъ лучшіе дъятели

¹⁾ Вмѣстѣ съ В. Н. Майковымъ былъ еще и другой замѣчательный молодой человѣкъ, В. А. Милютинъ, тоже рано погибшій. Они оба могутъ считаться послѣдними отпрысками замѣчательнаго десятилѣтія и составляють уже переходъ къ литературному періоду 1850—60 г.

Москвы послѣдуютъ за нимъ въ новое пзданіе и разорвутъ связи съ «Отечественными Записками». Надеждѣ этой, однакоже, не суждено было псполниться. Московскіе литераторы, да и нѣкоторые изъ литераторовъ въ Петербургѣ, желая полнаго успѣха «Современнику», находили, что два либеральныхъ органа въ Россіи лучше одного, что раздвоеніе направленія на два представителя еще болѣе гарантируетъ участь и свободу журнальныхъ тружениковъ, и что, наконецъ, по коммерческому характеру всякаго журнальнаго предпріятія,—врядъ ли и новое будетъ въ состояніи идти по какой-либо иной дорогѣ, въ своихъ разсчетахъ съ людьми, какъ не по той же самой, по которой шло и старое. Все это происходило въ то время, когда я, уже съ февраля 1846 г., находился за границей.

XXXI.

Въ одно прекрасное утро, по осени 1847 года, въ крошечномъ салон'в парижской моей квартиры, улиц'в Caumartin, 41, явился господинь, хорошо выбритый, по русскому обычаю, съ волосами, зачесанными на затылокъ, и въ долгополомъ сюртукъ, который странно мъшалъ его порывистымъ движеніямъ. Это былъ Г., носившій еще на всей своей внышности рызкій отнечатокъ московскаго жителя, но скоро преобразившійся, благодаря парижскимъ портнымъ и другимъ артистамъ, въ полнаго джентльмена западной расы-съ подстриженной головой, щегольской бородкой, очень быстро принявшей всъ необходимыя очертанія, и пиджакомъ, ловко и свободно державшимся на плечахъ. Я обрадовался ему несказанно и выслушалъ юмористическую повъсть объ усиліяхъ и домогательствахъ, какія потребовались ему для вывзда, и потомъ о долгомъ вояжв его, еще на почтовых, черезъ всю Германію. Онъ прибыль въ Парижъ со всвиъ семействомъ, остановился на Place Vendôme и разспрашивалъ меня, какъ парижскаго старожила (я уже прожиль цёлый годъ въ столицъ Франціи) объ условіяхъ, образъ жизни и привычкахъ новой своей резиденціи, къ которымъ, тоже по-русскому обычаю, и примънился весьма скоро. И не онъ одинъ подчинился этого рода превращенію и изміненію своей оболочки, а съ нею и самаго образа жизни, но и семья его - и притомъ съ свободой и развязностію, которыя могли бы считаться изумительными, если бы не были всеобщимъ, всъмъ извъстнымъ свойствомъ пашей природы. Жена Г., послъ первой недъли своего пребыванія въ Парижь, представляла уже изъ себя совстви другой типъ, чтиъ, который олицетворяла собою въ Москвъ. Впрочемъ, внутренняя переработка, измънившая ея правственную физіономію, началась еще тамъ, — какъ буду говорить — и только завершилась въ Парижъ. Изъ тихой, задумчивой, романтической дамы дружескаго кружка́, стремившейся къ идеальному воспитанію своей души и не дѣлавшей никакихъ запросовъ и никакихъ уступокъ внѣшнему міру, она вдругъ превратилась въ блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное мѣсто въ большомъ, всесвѣтномъ городѣ, куда ирибыла, хотя никакой претензіи на такое мѣсто и не заявляла. Новыя формы и условія существованія вскорѣ вытѣснили у нея и послѣднюю память о Москвѣ. — Выстрота всѣхъ подобныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ метаморфозъ, испытываемыхъ русскими людьми, зависѣла, кромѣ ихъ предрасположенія къ ней, еще и отъ многихъ другихъ причинъ.

Парижъ, напримъръ, знаменитаго буржуазнаго короля Лудовика-Филипна обаятельно дъйствовалъ различными сторонами своей иолитической жизни на русскихъ, пробиравшихся туда всегда болъе или тической жизни на русскихъ, пробиравшихся туда всегда болъе или менъе секретнымъ, воровскимъ образомъ, такъ какъ въ нашихъ наспортахъ заграничныхъ того времени поименованіе Франціи оффиціально воспрещалось. Впечатлѣніе, производимое Парижемъ на пришельцевъ съ сѣвера, походило на то, которое является вслѣдъ за неожиданной находкой: они припадали къ городу со страстію и увлеченіемъ путника, вышедшаго изъ голой степи къ давно ожидаемому источнику. Первое, что бросалось въ глаза при этой встрѣчѣ съ столицей Франціи, было, конечно, ся соціальное движеніе. Везд'в по протяженію Европы уже существовали партіи, подвергавшія разбору условія и порядки европейской жизни, вездѣ уже слагались общества, разсуждавшія о способахъ остановить, измѣнить и направить теченіе современной жизни въ другую сторону, но только въ Парижѣ критическое движеніе это вошло, такъ-сказать, въ колею обычныхъ дневныхъ явленій и иритомъ освѣщалось чрезвычайно эффектно лучами французскаго народнаго духа, который умъетъ располагать въживописныя группы людей, ученія и идеи, и дълать изъ нихъ картины и зрёлища для публики, прежде чёмъ они сдёлаются руководителями и преобразователями общества. Не было возможности удержаться отъ участія къ этому движенію, которое слагалось изъ мѣткихъ, остроумныхъ статей журнальнаго міра, изъ пронаганды на театрѣ, изъ періодическихъ лекцій и конференцій профессоровъ и не-профессоровъ. Такъ, три воскресенья сряду, я слышалъ въ залъ одного пассажа самого О. Конта, излагавшаго основныя черты своей теоріи передъ толпой, которая и не предчувствовала чёмъ сдёлается эта теорія впосл'ёдствіи. Движеніе дополнялось еще массой соціальныхъ книгъ, начавшихъ изв'єстную войну противъ оффиціальной политической экономіи, и фамильными собраніями честныхъ, начитанныхъ и развитыхъ работниковъ, уже принявшихъ къ свѣдѣнію новыя положенія соціализма и обработывавшихъ ихъ, посвоему, какъ впослѣдствіи депутатъ Корбонъ, часовщикъ по ремеслу, котораго мнѣ тоже удалось видѣть въ его мастерской, служившей ему и редакціей для его журнала «l'Atelier». Все это были огоньки, которые предшествовали знаменитой революціи 48-го года, никѣмъ, впрочемъ, еще тогда не предчувствуемой, и которая, сказать между прочимъ, своимъ внезапнымъ приходомъ ихъ всѣхъ и потушила. Когда я прпбылъ въ Парижъ по веснѣ 1846, я уже засталъ тамъ цѣлую русскую колонію, съ главными и выдающимися ея членами, В. и С—вымъ, занятую непрерывнымъ исканіемъ и обсужденіемъ бытовыхъ, историческихъ, философскихъ и всякихъ вопросовъ, какіе постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральномъ королѣ Лудовикѣ-Филиппъ.

Однако иначе нельзя было назвать покамъстъ того образа занятій европейскими вопросами, который существоваль тогда между русскими, какъ—забавой.

Дъло шло тутъ преимущественно объ удовлетворении любопытства, раздражаемаго безустапно явленіями каждаго текущаго дня, объ исполнении обязанности стоять на сторожъ относительно всего, что происходить важнаго и ничтожнаго въ городъ, о добычъ живого матеріала для разбора его, для упражненія критическихъ своихъ способностей, а затъмъ и болъе всего для развитія безконечной, пестрой, золотошвейной ткани разговоровъ, споровъ, выводовъ, по-ложеній и контръ-положеній. Никакой отвътственности передъ собственной совъстію, никакого обязательнаго начала для устройства собственной жизни и поведенія при этомъ еще не представлялось никому. Необходимости подобнаго распорядка съ собой не предвидёлось и въ будущемъ. О русской политической эмиграціи не было еще и помина: она явилась только тогда, когда прокатился громъ революціи 1848 г. и заставиль многихь обратиться къ своему прошлому, подвести ему итоги и поставить себя самого въ ясное, опредъленное положение, какъ къ грозному явлению, неожиданно разразившемуся надъ Европой, такъ и къ правительствамъ, которыя были имъ испуганы. Правда, отъ времени до времени падали въ среду нашихъ людей, потъшавшихся Парижемъ, напоминовенія о требованіяхъ другого строя жизни, чёмъ тотъ, которымъ они наслаждались. Такъ случилось съ извъстнымъ Г—винымъ, котораго оффиціально вызывали въ Россію за пуствитую книжонку,—напечатанную имъ по-французски въ Парижъ, безъ дозволенія. Это былъ опытъ политической экономіи, представлявшей менъе, чъмъ учебникъ,

простую выписку изъ школьныхъ тетрадокъ, да и то не совсемъ толковую, но во всякомъ случав уже совершенно невинную. Я, кажется, и не встръчалъ на въку моемъ писателя, менъе заслуживавшаго вниманія, какъ этотъ Г-винъ, въ одно время игравшій на биржь и въ оппозицію, пробиравшійся въ жокей-клубъ, въ міръ лоретокъ, и въ демократическія консиліабулы—наглый и ребяческитрусливый, но онъ остался въ Парижъ, несмотря на вызовъ, и сдълался прежде всвхъ русскимъ «нолитическимъ» эмигрантомъ и притомъ изъ особеннаго начала, изъ страха: ему мерещились всевозможные ужасы, которые, но отношенію къ нему, просто были немыслимы 1). Послъ напоминовеній въ родъ того, какое получиль Г-винъ, кругъ дилеттантствующихъ политиковъ и соціалистовъ нашихъ нъкоторое время обсуждалъ этотъ фактъ съ разныхъ точекъ зрвнія, и потомъ снова отдавался увлекающему потоку своихъ занятій и страстнаго, но безотв'ятнаго вижшательства въ интимныя дъла французской національности.

Не должно думать, чтобъ эта азартная игра со всемъ содержаніемъ Парижа велась только людьми, литературно и политически развитыми: къ пей примфишвались часто и такія особы, которыя имъли совсъмъ иныя цъли въ жизни, — не культурныя. Такъ, по дорогъ въ Европу я получилъ рекомендательное письмо къ извъстному Марксу отъ нашего степного помъщика, также извъстнаго въ своемъ кругу за отличнаго ивида цыганскихъ ивсенъ, ловкаго игрока и опытнаго охотника. Онъ находился, какъ оказалось, въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ учителемъ Лассаля и будущимъ главой интернаціональнаго общества; онъ увбрилъ Маркса, что, предавшись душой и тъломъ его лучезарной проповъди и дълу водворенія экономическиго порядка въ Европъ, онъ ъдетъ обратно въ Россію, съ намъреніемъ продать все свое имъніе и бросить себя, и весь свой каниталь въ жерло предстоящей революціи. Далве этого увлеченіе идти не могло, по я убъжденъ, что, когда лихой помъщикъ давалъ всь эти объщанія, онъ быль въ ту минуту искрененъ. Возвратившись же на родину, сперва въ свои имънія, а затъмъ въ Москву, онъ забылъ и думать о горячихъ словахъ, прозвенъвшихъ нъкогда такъ эффектно передъ изумленнымъ Марксомъ, и умеръ не такъ давно престарълымъ, но все еще пылкимъ холостякомъ въ Москвъ.

¹⁾ Всего забавиве, что онъ и самъ считаль себя важнымъ преступникомъ, боядся выдачи своей персоны дипломатическимъ путемъ, и побъжалъ объясняться съ министромъ Дюшателемъ, который, выслушавъ его опасенія, засмѣялся и замѣтиль: "Какой вздоръ. Живите спокойно, дѣлайте что хотите, да ужъ если вамъ нуженъ непремѣнно совѣтъ, то вотъ мой—не очень вмъшивайтесь въ польскія дъла" (разсказъ Г—вина).

Не мудрено, однако же, что послѣ подобныхъ продѣлокъ, какъ у самого Маркса, такъ и у многихъ другихъ сложилось и долгое время длилось убѣжденіе, что на всякаго русскаго, къ нимъ приходящаго, прежде всего должно смотрѣть, какъ на подосланнаго шпіона, или какъ на безсовѣстнаго обманщика. А дѣло между тѣмъ гораздо проще объясняется, хотя отъ этого и не становится невиннѣе.

Я воспользовался однакоже письмомъ моего пылкаго помъщика, который, отдавая мнъ его, находился еще въ энтузіастическомъ на-строеніи,—и быль принять Марксомъ въ Брюсселъ очень друже-любно. Марксъ находился подъ вліяніемъ своихъ воспоминаній объ образдъ широкой русской натуры, на которую такъ случайно наткнулся, и говорилъ о ней съ участіемъ, усматривая въ этомъ новомъ для него явленіи, какъ мнъ показалось, признаки неподдъльной мощи русскаго народнаго элемента вообще. Самъ Марксъ представляль изъ себя типъ человъка, сложеннаго изъ энергіи, воли и несокрушимаго убъжденія — типъ, крайне замъчательный и но внъшности. Съ густой, черной шанкой волосъ на головъ, съ волосистыми руками, въ пальто, застегнутомъ на-искось — онъ имълъ однакоже видъ человъка, имъющаго нраво и власть требовать уваженія, какимъ бы ни являлся передъ вами и что бы ни дълалъ. Всв его движенія были угловаты, по смёлы и самонадёянны, всё пріемы шли наперекоръ съ принятыми обрядами въ людскихъ сношеніяхъ, но были горды и какъ-то презрительны, а рёзкій голосъ, звучавшій какъ металлъ, шелъ удивительно къ радикальнымъ приговорамъ надъ лицами и предметами, которые произносиль. Марксъ уже и не говорилъ иначе, какъ такими безаппеляціонными приговорами, надъ которыми, впрочемъ, еще царствовала одна, до боли ръзкая нота, покрывавшая все, что онъ говорилъ. Нота выражала твердое убъжденіе въ своемъ призваніи унравлять умами, законодательствовать надъ ними и вести ихъ за собой. Предо мной стояла олицетворенная фигура демократическаго диктатора, какъ она могла рисоваться воображенію въ часы фантазіи. Контрасть съ недавно покинутыми мною типами на Руси быль наиръшительный.

Съ перваго же свиданія Марксъ пригласиль меня на сов'ящаніе, которое должно было состояться у него на другой день вечеромъ съ портнымъ Вейтлингомъ, оставившимъ за собой въ Германіи довольно большую партію работниковъ. Сов'ящаніе назначалось для того, чтобы опред'ялить, по возможности, общій образъ д'яйствій между руководителями рабочаго движенія. Я не замедлилъ явиться по приглашенію.

Портной-агитаторъ Вейтлингъ оказался бѣлокурымъ, красивымъ молодымъ человѣкомъ, въ сюртучкѣ щеголеватаго покроя, съ бород-

кой, кокетливо подстриженной, и скорфе походиль на путешествующаго комми, чвмъ на суроваго и озлобленнаго труженика, какого я предполагалъ въ немъ встрътить. Отрекомендовавшись на-скоро другъ другу и притомъ съ оттънкомъ пзысканной учтивости со стороны Вейтлинга, мы съли за небольшой зеленый столикъ, на одномъ узкомъ концѣ котораго номѣстился Марксъ, взявъ карандашъ въ руки и склонивъ свою львиную голову на листъ бумаги, между тёмъ какъ неразлучный его спутникъ и сотоварищъ по пронагандъ, высокій, прямой, по-англійски важный и серьёзный, Энгельсъ открываль засъдание ръчью. Онъ говориль въ ней о необходимости между людьми, посвятившими себя д'влу преобразованія труда, объяснить взаимныя свои воззрвнія и установить одну общую доктрину, которая могла бы служить знаменемъ для всъхъ послъдователей, не имъющихъ времени или возможности заниматься теоретическими вопросами. Энгельсъ еще не кончилъ рѣчи, когда Марксъ, поднявъ голову, обратился прямо къ Вейтлингу съ вопросомъ: «Скажите же намъ, Вейтлингъ, вы, которые такъ много надълали шума въ Германіи своими коммунистическими пропов'вдями и привлекли къ себ'в столькихъ работниковъ, лишивъ ихъ мъстъ и куска хлъба, какими основаніями онравдываете вы свою революціонную и соціальную ділтельность, и на чемъ думаете утвердить ее въ будущемъ?» Я очень хорошо помню самую форму ръзкаго вопроса, потому что съ него начались горячія пренія въ кружкь, продолжавшіяся, впрочемъ, какъ сейчасъ окажется, очень недолго. Вейтлингъ, видимо, хотълъ удержать совъщаніе на общихъ мъстахъ либеральнаго разглагольствованія. Съ какимъ-то серьёзнымъ, озабоченнымъ выраженіемъ на лицѣ, онъ сталъ объяснять, что цѣлію его было не созидать новыя экономическія теоріи, а принять тѣ, которыя всего способнѣе, какъ показаль опыть во Франціи, открыть рабочимь глаза на ужась пхъ положенія, на вст несправедливости, которыя, по отношенію къ нимъ, сдтлались лозунгомъ правителей и обществъ, научить ихъ не втрить уже никакимъ объщаніямъ со стороны послёднихъ и надеяться только на себя, устраивалсь въ демократическія и коммунистическія общины. Онъ говорилъ долго, но, къ удивленію моему и въ противоноложность съ рачью Энгельса, сбивчиво, не совсамъ литературно, возвращаясь на свои слова, часто поправляя ихъ и съ трудомъ приходя къ выводамъ, которые у него или запаздывали или появлялись рапъе положеній. Онъ имъль теперь совсьмъ другихъ слушателей, чьмь ть, которые обыкновение окружали его станокъ, или читали его газету и печатные памфлеты на современные экономические порядки, и утерялъ при этомъ свободу мысли и языка. Вейтлингъ, въроятно, говорилъ бы и еще долъе, если бы Марксъ, съ гнъвностиснутыми бровями, не прерваль его и не началь своего возраженія. Сущность саркастической его різчи заключалась въ томъ, что возбуждать населеніе, не давая ему никакихъ твердыхъ, продуманныхъ основаній для дъятельности, значило просто обманывать его. Возбуждение фантастическихъ надеждъ, о которомъ говорилось сейчасъ, -- замвчалъ далве Марксъ, -- ведетъ только къ конечной гибели, а не къ спасенію страдающихъ. Особенно въ Германіи обращаться къ работнику безъ строго-научной идеи и положительнаго ученія равносильно съ пустой и безчестной игрой въ пропов'єдники, при которой, съ одной стороны, полагается вдохновенный пророкъ, а съ другой — допускаются только ослы, слушающие его, разинувъ ротъ. «Вотъ, — прибавилъ онъ, вдругъ указывая на меня ръзкимъ жестомъ, — между нами есть одинъ русскій. Въ его странв, Вейтлингь, ваша роль могла бы быть у мъста: тамъ, дъйствительно, только и могуть удачно составляться и работать союзы между нелъными пророками и нелъными послъдователями». Въ цивилизованной земль, какъ Германія, продолжаль развивать свою мысль Марксъ, люди безъ положительной доктрины ничего не могутъ сдълать, да и ничего не сделали до сихъ поръ, кроме шума, вредныхъ всиышекъ и гибели самаго дёла, за которое принялись. Краска выступила на бледныхъ щекахъ Вейтлинга, и онъ обрелъ живую, свободную рвчь. Дрожащимъ отъ волненія голосомъ сталь онъ доказывать, что человъкъ, собравшій сотни людей во имя идеи справедливости, солидарности и братской другъ другу помощи подъ одно знамя, не можетъ назваться совсёмъ пустымъ и празднымъ человъкомъ, что онъ, Вейтлингъ, утвшается отъ сегодняшнихъ нападковъ воспоминаніемъ о техъ сотняхъ писемъ и заявленій благодарности, которыя получиль со всёхъ сторонъ своего отечества, и что, можеть быть, скромная подготовительная его работа важиве для общаго дъла, чъмъ критика и кабинетные анализы доктринъ, вдали отъ страдающаго свъта и бъдствій народа. При послъднихъ словахъ взбъщенный окончательно Марксъ удариль кулакомъ по столу такъ сильно, что зазвентла и зашаталась лампа на столт и вскочиль съ мъста, проговаривая: — «Никогда еще невъжество никому не помогло!» Мы последовали его примеру и тоже вышли изъ-за стола. Заседание кончилось, и покуда Марксъ ходилъ взадъ и внередъ, въ необычайномъ гнфвномъ раздражении по комнатъ, я на-скоро распрощался съ нимъ и съ его собесъдниками и ушелъ домой, пораженный всъмъ мною виденнымъ и слышаннымъ.

Сношенія мои съ Марксомъ не прекратились и послѣ выѣзда моего изъ Брюсселя. Я встрѣтилъ его еще, вмѣстѣ съ Энгельсомъ, въ 1848 году, въ Парижѣ, куда они оба пріѣхали тотчасъ послѣ февральской революціи, нам'треваясь изучать движеніе французскаго соціализма, очутившагося теперь на-просторт. Они скоро оставили свое намтреніе, потому что надъ соціализмомъ этимъ господствовали всецъло чисто-мъстиые, политические вопросы, и у него была уже программа, отъ которой онъ не хотълъ развлекаться — программа добиваться съ оружіемъ въ рукахъ господствующаго положенія въ государствъ для работника. Но и до этой эпохи были минуты заочной бесъды съ Марксомъ, весьма любоинтныя для меня: одна такая выпала на мою долю въ 1846 году, когда но новоду извъстной книги Прудона: «Système des contradictions économiques», Марксъ написаль мнв по-французски пространное письмо, гдв излагаль свой взглядь на теорію Прудона. Письмо это крайне замвчательно: оно опередило время, въ которое было писапо, двумя своими чертами— критикой положеній Прудона, предугадавшей цѣликомъ всѣ возра-женія, какія были предъявлены на нихъ виослѣдствіи, а потомъ новостью взгляда на значение экономической истории народовъ. марксъ одинъ изъ нервыхъ сказалъ, что государственныя формы, а также и вся общественная жизнь народовъ съ ихъ моралью, философіей, искусствомъ и наукой — суть только прямые результаты экономическихъ отношеній между людьми, и съ перемѣной этихъ отношеній сами мѣняются или даже и вовсе упраздняются. Все дѣло состоитъ въ томъ, чтобы узнать и опредѣлить законы, которые вызывають перемѣны въ экономическихъ отношеніяхъ людей, имѣющія такія громадныя послідствія. Въ антиноміяхъ же Прудона, въ его противоноставленіи однихъ экономическихъ явленій другимъ, произвольно сведеннымъ другъ съ другомъ и, по свидътельству исторіи, нисколько не вытекавшимъ одно изъ другого, Марксъ усматривалъ только тенденцію автора облегчить совъсть буржуазіи, возводя непріятные ей факты современныхъ экономическихъ порядковъ въ безобидныя абстракціи à la Гегель и въ закопы, будто бы, присущіе самой природѣ вещей. На этомъ основаніи опъ и обзываетъ Прудона теологом соціализма и мелким буржуа съ головы до ногъ. Окончаніе этого письма передаю въ дословном перевод такъ-какъ оно можетъ служнть хорошимъ комментаріемъ къ сцент, разсказанной выше, и даетъ ключъ для пониманія ея:

нои выше, и даетъ ключь для пониманія ея:
 «Въ одномъ только я схожусь съ господиномъ Прудономъ (NB. Марксъ вездѣ пишетъ: «monsieur Pr.»), именно—въ его отвращеніи къ плаксивому соціализму (sensiblerie sociale). Ранѣе его я уже нажилъ себѣ множество враговъ моими насмѣшками падъ чувствительнымъ, утопическимъ, бараньимъ соціализмомъ (socialisme moutonier). Но г. Прудонъ странно ошибается, замѣняя одинъ видъ сантиментализма другимъ, именно сантиментализмомъ мелкаго буржуа

и своими декламаціями о святости домашняго очага, супружеской любви и другихъ тому подобныхъ вещахъ, — той сантиментальностью, которая, вдобавокъ, еще и глубже была выражена у Фурье, чъмъ во всъхъ самодовольныхъ пошлостяхъ нашего добраго г. Прудона. Да онъ и самъ хорошо чувствуетъ свою неспособность трактовать объ этихъ предметахъ, потому что по поводу ихъ отдается невыразимому бъщенству, возгласамъ, всъмъ гнъвамъ честной души — irae hominis probi: онъ ивнится, клянеть, доносить, кричить о поворъ и чумъ, бьетъ себя въ грудь и призываетъ Бога и людей въ свидътели того, что непричастенъ гнусностямъ соціалистовъ. Онъ занимается не критикой ихъ сантиментализма, а — какъ настоящій святой или напа-отлучениемъ несчастныхъ гръшниковъ, причемъ восивваетъ хвалу маленькой буржуазіи и ея пошленькимъ патріархальнымъ доблестямъ, ея любовнымъ упражненіямъ. И это не съ-проста. Самъг. Прудонъ съ головы до ногъ есть философъ и экономистъ ма-ленькой буржуазіи. Что такое маленькій буржуа? Въ развитомъ обще-ствъ онъ, вслъдствіе своего положенія, неизбъжно дълается съ одной стороны экономистомъ, а съ другой — соціалистомъ: онъ въ одно время и ослъпленъ великолъпіями знатной буржуазіи, и сочувствуетъ страданіямъ народа. Онъ мъщанинъ и вмъстъ—народъ. Въ глубинъ своей совъсти онъ похваляетъ себя за безпристрастіе, за то, что нашелъ тайну равновъсія, которое, будто бы, не походить на «justemilieu», золотую середину. Такой буржуа вфруетъ въ противоръчія, потому что онъ самъ есть не что иное, какъ соціальное противорвчие въ двиствии. Онъ представляетъ на практикв то, что говоритъ теорія, и г. Прудонъ достоинъ чести быть научнымъ представителемъ маленькой французской буржуазіи. Это его положительная заслуга, потому что мелкая буржуазія войдеть непремённо значительной составной частью въ будущіе соціальные перевороты. Мнё очень хотвлось, вмвств съ этимъ письмомъ, нослать вамъ и мою книгу «О политической экономіи», но до сихъ поръ я не могъ еще отыскать кого-нибудь, кто бы взялся напечатать мой трудъ и мою критику нъмецкихъ философовъ и соціалистовъ, о чемъ я говорилъ вамъ въ-Брюсселъ. Вы не повърите, какія затрудненія встръчаетъ такая публикація въ Германіп со стороны полиціи, во-первыхъ, и со стороны самихъ книгопродавцевъ — во-вторыхъ, которые являются корыстными представителями тенденцій, мною преслѣдуемыхъ. А что касается до собственной нашей партіи, то опа, прежде всего, крайне бѣдна, азатѣмъ добрая часть ея еще крайне озлоблепа на меня за мое сопротивленіе ея декламаціямъ и утопіямъ».

Книга «О политической экономіи», упомипаемая Марксомъ въписьмъ, есть, какъ полагаю, послъдній его трудъ: «Капиталь», увидъвшій свъть только недавно. Признаюсь, я не повъриль тогда, какъ и многіє со мной, разоблачающему письму Маркса, будучи увлечень, вмъстъ съ большинствомъ публики, навосомъ и діалектическими качествами Прудоновскаго творенія. Съ возвращеніемъ моимъ въ Россію, въ октябръ 1848 года, прекратились и мои сношенія съ Марксомъ и уже не возобновлялись болъс. Время надеждъ, гаданій и всяческихъ аспирацій тогда уже прошло, а практическая дъятельность, выбранная затъмъ Марксомъ, такъ далеко убъгала отъ русской жизни вообще, что, оставаясь на почвъ послъдней, нельзя было слъдить за первой иначе, какъ издали, посредственно и неполпо, путемъ газетъ и журналовъ.

Разсказанный здёсь эпизодъ съ Марксомъ, можетъ быть, не по-кажется лишнимъ въ картинѣ Парижа, если прибавить, что точно такія же сцены и по тёмъ же вопросамъ происходили во всёхъ большихъ городахъ Европы и, конечно, чаще всего именно въ Па-рижѣ: мѣнялись люди, мѣнялась драматическая обстановка, согласно другому развитію и образованію характеровъ: сущность преній и стелкновеній въ демократическихъ кружкахъ оставалась та же. Вездѣ искали *ипъльных* доктринъ соціализма, научныхъ изъясненій и оправданій для *чувства* педовольства, изъ котораго соціализмъ вышелъ, илаповъ для общины, гдѣ трудъ и наслажденіе шли бы рука объ руку. Потребность упразднить массу нельпыхъ, незрылыхъ, безплодныхъ опытовъ, предпринимаемыхъ для осуществленія этого идеала непосвященными, мало подготовленными и фантастическими умами—чувствовалась повсюду. Этимъ и объясняются совокупныя усплія лучшихъ дѣятелей соціализма—найти такой типъ рабочей общины, который бы далъ возможность доказать несомнѣнно, что каждая

который бы даль возможность доказать несомивно, что каждая правственная и матеріальная потребность человъка обрътуть въ ней удобное и комфортабельное помъщеніе для себя. Движеніе умовъ, какъ въ области теорій, такъ и въ пробахъ почвы для практическаго разръшенія экономическихъ трудностей было всеобщее до тъхъ поръ, пока оно пе уперлось въ «національныя мастерскія», гдъ и было подавлено для того, чтобы возродиться уже па другихъ началахъ...

Съ первыхъ же шаговъ своихъ въ Парижъ, Г., перевхавшій на постоянную квартиру, въ Ачепие Магідпу, откуда онъ писалъ въ «Современникъ» 1847 г., — Г., говорю, по складу своего ума и наклонности къ энергическому вчипанію при всякой данной задачъ, очутился какъ-бы въ своемъ родномъ элементъ. Онъ бросился тоттасъ же въ это сверкающее море отважныхъ предположеній, безпощадной полемики, всевозможныхъ страстей и вышелъ оттуда новымъ и крайне нервнымъ человъкомъ. Мысль, чувство, воображеніе пріобръли у него болъзненную раздражительность, которая сказывалась,

прежде всего, въ негодовании на господствующий политический режимъ, который занимался обезсиливаніемъ однихъ ученій другими. Затъмъ, не менъе гнъва и злобы возбуждала въ немъ и ясность рефортаторскихъ проектовъ, фальшиво объщающихъ положить конець всъмъ преніямъ и уже торжествующихъ побъду, прежде самаго сраженія. То и другое явленіе одинаково казались ему признаками несостоятельности общества, и въ одну изъ минутъ задушевнаго анализа ощущеній, полученныхъ имъ при первомъ знакомствъ съ европейскимъ соціализмомъ, онъ написалъ одну изъ тъхъ своихъ статей, которая можеть назваться самынь нессимистскимь созерцаниемь западнаго развитія, какое только высказывалось по-русски; но зато она и была имъ писана уже ст другого берега—онъ видълъ теперь во-очію то, что до сихъ поръ было ему извъстно издалека. Несмотря на эту исповъдь, Г. подчинился почти безусловно тому самому движенію, которое считаль безысходнымь. Долгое обращеніе съ предметомъ изследованія втянуло его въ его интересы, въ его задачи и намфренія, что часто бываеть со страстными натурами, встръчающими на пути слъпыя, но непоколебимыя върованія. Не было человъка, который бы безпощаднъе отзывался о несостоятельности европейскаго строя жизни и который бы вместе съ темъ столь ръшительно пристропвался къ нему, повъряя имъ свою дъятельность, матеріальныя и умственныя привычки. Письма Г. изъ Avenue Marigny уже носили на себъ ясный, хотя еще и осторожно наложенный штемпель гуманныхъ идей, съ намеками на вопросы новаго рода, такъ что они должны считаться первыми пробами приложенія въ русской литератур'в соціологическаго способа понимать и обсуждать явленія. Начиная съ разбора драмы Феликса Піа и до подробностей парижскаго быта—все въ нихъ отражало настроеніе, почерпнутое изъ другихъ источниковъ, а не изъ тъхъ, которыми питались наши философскія, замаскированно-либеральныя и филантропическія тенденціи. Друзья Г. въ Москвъ и Петербургъ любовались этимъ оригинальнымъ, всегда блестящимъ, но вмъстъ и новымъ поворотомъ его таланта, и не предчувствовали, что тутъ начинается дело, которое далеко уведеть отъ нихъ автора писемъ въ сторону, да и самъ авторъ еще и не помышлялъ о томъ, гдъ очутится, по логическому развитію принциповъ и ихъ послъдствій.

Впрочемъ, московскіе друзья Г., любуясь сатирической мѣткостью писемъ, восхищаясь остроуміемъ ихъ замѣтокъ и обличеній, часто останавливаясь по-долгу на проблескахъ глубокой мысли въ опредѣленіи текущихъ явленій тогдашняго французскаго общества, — друзья все-таки не вполнѣ вѣрили въ объективную правду писемъ, и считали ихъ отчасти произведеніемъ обычнаго фрондёрства, свойствен-

наго всёмъ путешественникамъ, которымъ стыдно съ перваго же раза покориться чужой странё и не сдёлать оговорокъ, вступая въ близкія съ ней связи. Отголосокъ этого мнёнія сказался всего сильнёе у В. П. Боткина, что и заставляетъ меня сдёлать выписку изъ московскаго его письма ко мнё, отъ 12 октября 1847 г.:

«Кстати, прочелъ въ 10 № «Современника» три письма Г. изъ

Avenue Marigny и прочель ихъ съ самымъ живымъ удовольствіемъ. Первое письмо хуже прочихъ: въ немъ даже замътно нъкоторое усиліе съострить; разумфется, не вездф, но кое-гдф острота не вяжется сама собою къ перу, къ фразъ. Что касается до его взгляда на театры и городъ, то при всемъ его превосходствъ, при всемъ блескъ и глубокомыслій, по моему мньнію, это все-таки первое наглядное впечатлъніе. Je ne cherche pas chicane à sa manière de voir-и вполнъ признавая за нимъ право смотръть на вещи подъ своимъ угломъ, я все-таки остаюсь при своемъ прежнемъ мнѣніи и не стану подражать славянской петерпимости Г., который меня разбраниль за то, что я осмълился быть не одного съ нимъ мнънія. Во-вторыхъ, я прочелъ его письма съ наслаждениемъ: это такъ увлекательно, такъ пгриво, это — арабескъ, въ которомъ шутка свивается съ глубокой мыслью, сердечный порывъ съ летучей остротой; что мнв за дъло, что я о многомъ думаю совершенно пначе: всякій имъетъ право смотръть на вещи по-своему, и Г. смотритъ на нихъ такъ живо, такъ увлекательно, что я вовсе теряю желаніе спорить: наслаждение пересиливаетъ всякое другое чувство. Но, по моему мнънію, главный недостатокъ ихъ въ неопредъленности точки зрънія; да, мив кажется, Г. не даль себв яспаго отчета ни въ значеніи стараго дворянства, которымь онь такь восхищался, ни въ значении bourgeoisie, которую онъ такъ презираетъ. Что же за этимъ у него остается? Работникъ. А земледълецъ? Неужели Г. думаетъ, что уменьшение избирательнаго ценза измънитъ положение буржуазии. Я не думаю. Я не поклонникъ буржуазіи, и меня не менъе всякаго другого возмущаетъ и грубость ея правовъ, и ея сильный прозаизмъ, но въ настоящемъ случав для меня важенъ фактъ. Я скептикъ; видя въ спорящихъ сторонахъ въ каждой столько же дельнаго, сколько и пустого, я не въ состояніи пристать ни къ одной, хотя въ качествъ угнетеннаго — классъ рабочій, безъ сомнънія, имъетъ всь мон симпатіи, а вивсть съ тынь не могу не прибавить: дай Богъ, чтобъ у насъ была буржуазія! Cet air de matador, съ которымъ Г. все рѣшаетъ во Франціи—очень миль, увлекателенъ, я его, мочи нѣтъ, какъ люблю въ немъ, именно потому, что знаю мягкое, голубиное сердце этого матадора, по вёдь рёшеніе Г. ровно ничего не уясняеть: оно только скользить по вещамъ. Всё эти вопросы до такой степени сложны, что невозможно поднять ни одинъ, не поднявши вмъстъ съ нимъ нъсколькихъ»...

Итакъ, даже оставляя въ сторонъ личные счеты В. П. Боткина съ Г., который высказываль ему часто горькую правду но поводу его безхарактерной поблажки всёмъ внёшнимъ приманкамъ парижской жизни-приведенный отрывокъ все-таки выражаль инвніе и другихъ друзей Г., хорошо понимающихъ причины и поводы демократическихъ возгласовъ о буржуазіи въ ея отечествь, но считавшихъ такіе возгласы непригодными для русскаго общества, которое еще лишено образовательных элементовъ, принесенныхъ нъкогда этой самой буржуазіей въ исторію. Притомъ же, друзья и не знали, куда еще заведеть Г. его огульное осуждение Европы, и боялись, что авторитетное слово его отразится въ извращенномъ видъ на умахъ и представленіяхъ русскихъ читателей. Того же самаго боялись они и отъ исноведи Велинскаго, когда онъ иопалъ за-границу и обнаружиль возаржиія на западную культуру, близко подходившія къ воззрѣніямъ Г., о чемъ еще будемъ говорить. Можетъ быть, въ числѣ иричинъ, побудивнихъ Г. написать позднѣе вышеупомянутую свою статью, было и желаніе разъяснить друзьямъ свои истинныя отношенія къ европейскому міру, и місто, которое онъ намівренъ въ немъ занять. Извъстно, что въ статьъ противополагалось безвыходному положению европейского общества появление народа, одно присутствие котораго въ Европъ тревожитъ умы, который извъстенъ только съ врачныхъ сторонъ своихъ, но который несетъ съ собой народную культуру, качества мысли и сердца, имъющія, повидимому, большую будущность. Къ этой нотъ, впервые раздавшейся у Г. въ уномянутой статьъ, Г. потомъ часто возвращался и пробоваль брать эту ноту на множество ладовъ, но она не у всъхъ друзей вызвала сочувствие, а нъкоторые долго находили ее напряженной и фальшивой, несмотря ни на какія варьяція и смягченія, которыми сопровождаль ея по-часту авторъ...

Между тѣмъ, жизнь Г. шла по-прежнему очень шумно и весело, песмотря на внезапныя остановки его посреди разсѣяній и развлеченій Парижа и наступавшія за вими заботливыя ощупыванія почвы подъ своими ногами; но перерывы эти были не долги, кругъ знакомыхъ его все болѣе и болѣе увеличивался, бесѣды разростались, говоръ усиливался 1). Ни онъ, да и никто изъ русскихъ друзей

¹⁾ Увлеченіе потокомъ развернувшейся передъ нимъ жизии отражалось и на планахъ писательской его дѣятельности. Онъ началъ повѣсть изъ французской революціи 89 года съ русскимъ дѣятелемъ посреди ея, и не усомнился послать разсказъ въ "Современникъ". Поздиѣе Панаевъ говорилъ миѣ въ Петербургѣ: Г. съ ума сошелъ, посылаетъ намъ картины французской революціи, точно она у насъ дѣло признанное

его вовсе и не думали о томъ, что можетъ наступить минута, когда жить амфибіей посреди двухъ міровь—западнаго и русскаго—не станетъ возможности, и придется выбирать между порядками, одинаково сильно и ревниво, хотя и на различныхъ основаніяхъ, предъявляющими права на обладаніе всѣмъ человѣкомъ. Минута была не за горами (всего одинъ годъ раздѣлялъ ее отъ людей), но когда она пришла, — наступили горькіе разсчеты, болѣзненныя пожертвованія, выпужденныя, противоестественныя отреченія, испортившія окончательно жизнь Г., да и многихъ другихъ еще вмѣстѣ съ нимъ.

XXXII.

Начавъ говорить о зачаткахъ будущей русской эмиграціи, я не могу обойти молчаніемъ новаго элемента движенія, которымъ обогатился Парижъ къ тому времени, именно—польскаго. Элементъ этотъ существовалъ, конечно, и прежде, но теперь онъ совершенно преобразился.

Онъ сбросилъ съ себя мистическій оттѣнокъ, который сообщили ему Товянскій и Мицкевичъ, пять лѣтъ передъ тѣмъ, не проновѣдивалъ болѣе ученія о мессіанизмѣ, разрѣшающемъ народные и всякіе другіе вопросы посредствомъ нарочно посылаемыхъ для того, предъизбранныхъ отъ вѣчности людей, и не говорилъ уже о братствѣ всѣхъ славянскихъ племенъ, какъ о послѣдней цѣли ихъ историческаго развитія. Вмѣсто этого, въ Парижѣ засѣдалъ тогда, такъназываемый, центральный революціонный комитетъ изъ поляковъ, объявивній себя единственнымъ уполномоченнымъ отъ польскаго народа, для управленія дѣломъ возстановленія павшаго королевства въ старыхъ его границахъ, требовавшій для своихъ безапнеляціонныхъ декретовъ слѣного повиновенія отъ каждаго, кто только говоритъ польскимъ нарѣчіемъ, и достигавшій своей цѣли вполнѣ. Комитетъ совсѣмъ не думаль о примпреніи между славянами на какихъ-любо общихъ имъ основаніяхъ, а предписываль имъ просто войну противъ правительствъ, подъ которыми живутъ. Съ номощью своихъ агентовъ, прокламацій, администраторовь и генераловъ, посылаемыхъ на различные и самые опасные пункты въ славянскихъ земляхъ, онъ держалъ всѣ нити обширнаго республиканскаго заговора въ своихъ рукахъ и только-что произвелъ галиційское движеніе 1846 г., кончившееся рѣзней землевладѣльцевъ и падепіемъ Кракова, послѣ котораго комитетъ и замолкъ на время, соображая

и позабытое. Повъсть, разумъется, не попала въ печать, а явилась за границей, въ особомъ сборникъ.

новые планы возстаній и движеній. Такъ какъ энергія дѣйствій была единственнымъ правомъ комитета на существованіе и едиственной инвеститурой, какую онъ предъявлялъ своимъ недоброжелателямъ, въ родѣ аристократической партіп Чарторискаго, то и всѣчлены этой ассоціаціи отличались, или старались отличаться, точно такой же энергіей. Она, между прочимъ, очищала и мѣсто въ самомъ комитетѣ для честолюбцевъ, да имѣла и множество другихъ выгодъ. Прежде всего она освобождала людей отъ излишне требовательныхъ запросовъ со стороны иностранцевъ: отъ героевъ чего требовать? Одна эта доказанная революціонная энергія отвѣчала за все, замѣщая удобно всѣ другія качества, какія могли недоставать людямъ, она закрыбала всѣ ихъ недостатки по образованію и умственному развитію, шла въ обмѣнъ даже за нравственныя свойства ихъ и за моральный характеръ, когда ихъ не оказывалось налицо, — словомъ, персоналъ польскихъ эмигрантовъ жилъ въ Парижѣ какимъ-то особеннымъ, привилегированнымъ сословіемъ. Къ нему именно и пристроился одинъ изъ русскихъ искателей политическаго дѣла—Б.. знакомый уже намъ.

Уже съ 1842 года Б. предвъщалъ то, чъмъ сдълался впослъдствін. Въ этомъ году онъ помѣстиль въ извѣстномъ журналѣ А. Руге свою статью подъ псевдонимомъ: «Elyzard», которая возбудилавниманіе ученыхъ нѣмецкихъ бюргеровъ своими искусно построенными обвиненіями німецкаго генія въ безплодной способности его переводить всв требованія времени и развитія на почву схоластики, и затъмъ, увидавъ ихъ въ облачении и пышныхъ орнаментахъ философской теоріи, успокопваться и приниматься опять за новыя упражненія въ томъ же же родъ. Будучи самъ однимъ изъ жаркихъ адептовъ германской философіи, онъ разорваль съ нею всв связи, а чтобъ положить между собой и ею достаточное физическое и нравственное пространство — перевхалъ изъ Берлина въ Парижъ и принялся искать политическаго занятія по редакціямъ журналовъ, мастерскимъ работниковъ, демократическимъ кафе-ресторанамъ — и, наконецъ, успълъ обръсть въ польской пропагандъ нъчто похожее на спеціальность и призваніе. Послі нікотораго колебанія, вызваннаго самой ея односторонностью, о которой часто и уноминаль въ бесъдахъ съ друзьями, онъ окончилъ тъмъ, что принялъ ее вполнъ и отдался ей уже безоглядно, открыто и ръшительно, сжигая за собой корабли, не оставляя пи мальйшей тропинки позади себя, на случай отступленія. Никто еще изъ русскихъ до него такъ смѣло не отрывался отъ домашнихъ пенатовъ своихъ, прежняго строя мыслей, старыхъ воспоминаній и созерцаній въ пользу запрещенной религіи польскаго дъла. Обаяніе этой религіи заключалось для него

преимущественно въ революціонномъ характерѣ, за который ей отпускались многія узкія стремленія, многіе темные инстинкты. Это было что-то похожее на революціонный романтизмъ своего рода, гдѣ призраки и фантомы шли впереди логики, указаній исторіи, соображеній разсудка и опыта. Подъ покровомъ такого романтизма можно было сожалѣть о существованіи въ человѣчествѣ различныхъ національностей, враждебныхъ другъ другу, — и въ то же время служить самому исключительному національному дѣлу изъ всѣхъ, когда-либо бывшихъ на свѣтѣ; можно было отказываться отъ патріотическихъ предразсудковъ вообще, — и развить въ себѣ взгляды и чувства польскаго ультра-патріота; можно было, наконецъ, считаться свободнымъ отъ всѣхъ религіозныхъ и сословныхъ опредѣленій, — и жить душа въ душу съ воюющимъ католичествомъ и шляхетствомъ. Такой широкой дороги для радикальнаго дилеттантизма не представлялъ даже и соціализмъ, требовавшій все-таки отъ человѣка въ каждомъ своемъ подраздѣленіи (а ихъ было тогда не мало) отреченія отъ другихъ соперничествующихъ съ нимъ отдѣловъ.

Въ это же время возникло и ученіе о необходимости привить польскую оппозиціонную энергію къ русской національности, лишенной ея отъ природы: развитіе этого ученія В. приняль на себя, и не мало способствоваль тому, что черезъ посредство газетъ, брошюрь, рѣчей и трактатовъ, ученіе вошло на нѣкоторое время въ совнаніе Европы. Ему казалось, что онъ дѣлаетъ при этомъ двойное дѣло—возбуждаетъ сочувствіе къ одному славянскому пароду, оскорбленному исторической несправедлявостью, и воспитываетъ основы независимаго сужденія въ другомъ славянскомъ народѣ, именно—у соотечественниковъ. Такъ какъ отъ количества единомышленниковъ въ русскомъ мірѣ зависѣла бо́льшая или меньшая важность его собственнаго положенія въ эмиграціи, то В. производиль наборъ приверженцевъ не очень строго и разборчиво, зачисляя въ ряды ихъ, виѣстѣ съ умами, наклонными заниматься политическими проблемами, и просто любонытствующихъ людей, или такихъ, которые искали болѣе или менѣе интересныхъ и пикантныхъ знакомствъ въ Парижѣ. Самъ онъ, однако же, подавалъ примѣръ открытаго исповѣдыванія своихъ убѣжденій, которое ищетъ случаевъ довести свои положенія до общаго свѣдѣнія и при нуждѣ не отступитъ для этого нередъ уличной манифестаціей или политическимъ скандаломъ. Таковъ былъ проходимый имъ тогда фазисъ жизни, предшествовавшій послѣднему ея періоду, когда Б. выработалъ изъ себя полнѣйшій тинъ космонолита, до того полный, что казался *отвальныхъ* усло-

вій человъческаго существованія, — типъ, не признававшій силы никакихъ историческихъ, географическихъ, бытовыхъ условій для опредъленія судьбы и дъятельности народовъ, упразднявшій расы, племена, сложившіяся государства и общества — для постройки на ихъ обломкахъ одного общаго образца рабочей жизни.

Б. скоро достигь апогея нивеллирующаго философскаго и экономическаго романтизма, но это было еще внереди, а теперь, въ качестве только польскаго агитатора, онъ ждалъ случая торжественно и оффиціально, такъ сказать, заявить свой выборъ партіи. Случай представился, почти накапунт революціи 1848 года, при празднованіи польской колоніей годовщины варшавскаго возстанія 1830 года. Б. произпесъ на юбилет, передъ многочисленнымъ собраніемъ и въ публичной залт свою извтатую ртвь, въ которой остерегалъ поляковъ отъ попытокъ примиренія съ врагами, какія были уже дтали нткоторыми изъ ихъ соотечественниковъ, и, напротивъ, возбуждалъ ихъ къ враждт на-смерть за свою національную идею, причемъ, конечно, не былъ скупъ на мрачную характеристику главныхъ противниковъ идеи. Министерство Гизо, такъ боявшееся вообще народныхъ страстей и всякаго предлога къ нимъ (а особенно польскаго), не оставило ртчь безъ отвта, и на третій день послт ел произнесенія выслало оратора изъ Парижа, причемъ самъ Гизо, отвтана на запросъ по этому случаю въ палатт депутатовъ, сказалъ, что нельзя же дозволить всякой свиртий личности (ипе регзопаlité violente), въ родт Б., нарушать общественный порядокъ и международныя приличія. Тогда Б. уткалъ въ Врюссель, написавъ предварительно письмо къ министру внутреннихъ дтъть, графу Дюшателю, въ которомъ, упрекая его за превышеніе власти, замталъ, что будущность привадлежить пе ему и его партіи, а ттять, кого онъ гонитъ и преслъдуетъ теперь.

Несмотря на силу привлекательности, какою обладаль В., и благодаря своей чуткости ко всёмъ вопросамъ совёсти, возникающимъ въ сознаніи человёка, благодаря еще ежеминутной готовности заниматься разрёшеніемъ правственныхъ и умственныхъ затрудненій, которыми страдаютъ люди, ищущіе выхода изъ противорёчій своей мысли со своимъ воспитаніемъ и природными наклонностями, —В. всетаки не могъ устроить откровенныхъ сношеній между русской колоніей и польской эмиграціей, какъ часто ни сводилъ ихъ, и какъ искусно ни направлялъ ихъ бесёды. Очень тонкой струей, почти незамётной для посторонняго глаза, но внутренно ощущаемой всёми участниками дёла, пробёгала какая-то фальшь въ сношеніяхъ между двумя сторонами, и Г. открылъ ее тотчасъ же, какъ очутплся между ними. Съ обёмхъ сторонъ существовало множество мысленныхъ огра-

ниченій, — того, что въ доктринѣ іезуитовъ называлось «restrictions mentales», и всего обильнѣе такими иріемами и уловками были именно тѣ патетическія минуты, когда стороны сходились па какихълибо общихъ началахъ и дружелюбно подавали другъ другу руки, радуясь единству и согласію свопхъ либеральныхъ идей. Каждая изъ сторонъ еще подразумѣвала иѣчто такое, чего не высказывала, а это невысказываемое и было самое существенное. Надо вспомнить, что тогдашняя польская эмиграція, вслѣдъ за своими передовыми людьми, и при явномъ и тайномъ одобреніи Европы, жила мыслію о необходимости польскаго верховенства, польской гегемопіи въ будущемъ федеративномъ союзѣ славянскихъ илеменъ, стояла за право Польши требовать отъ близкихъ и дальнихъ своихъ соилеменниковъ, во имя своей высшей цивплизаціи и давней принадлежности къ евронейской культурѣ, добровольной покорности и нужныхъ жертвъ для осуществленія этого протектората. Поннмая пеудобство пзлагать нередъ русскими друзьями свою руководящую національную идею, польская эмиграція не ставпла ее на видъ, когда рѣчь заходила о роли и призваніи различныхъ національностей славянскаго міра, а такая рѣчь заходила поминутно.

Много другихъ любоиытныхъ соображеній, а подъ-часъ и откровеній племенного духа и характера, высказывалось въ этихъ разговорахъ, но сообщать ихъ здѣсь, по размѣрамъ и цѣлямъ нашей статьи, не иредстоитъ возможности. Между прочимъ маститый Лелевель, жившій въ Брюсселѣ въ крайней и почетной бѣдности, пзумилъ меня однажды правдой и откровенпостію свонхъ воззрѣній, сберегаемыхъ другими его соотечественниками только про себя. Впрочемъ, онъ и послѣднихъ изумлялъ тѣмъ же не разъ, какъ, напримѣръ, въ извѣстной своей польской исторіи, гдѣ высказалъ столько горькой правды своему народу. Профздомъ черезъ Брюссель я встрѣтилъ Лелевеля въ излюбленномъ имъ кафе, на антресоляхъ котораго онъ и жилъ, иользуясь трубой изъ его печи, проведенной мимо его компаты и согрѣвавшей ее зимою. Регулярно каждый вечеръ онъ сходилъ въ кафе выпивать свою чашку кофе, причемъ расплачивался парой су, тщательно завернутыхъ въ бумажку. Послѣ непродолжительной бесѣды съ этимъ ветераномъ польскаго дѣла, я думалъ, что ие услышу болѣе его голоса, по на другой день онъ зашель ко мнѣ и, не заставъ дома, оставилъ небольшую записку пофранцузски. Къ великому моему удивленію, я нашелъ въ ней коротенькій трактатецъ о томъ, что въ русскомъ языкѣ, будто бы, не существуетъ словъ для выраженія понятій о личной чести и добродѣтели — honneur, vertu. Существующее слово честь въ русскомъ языкѣ выражаетъ, будто бы, одно понятіе о родовомъ или служеб-

номъ отличіи, и въ этомъ смыслѣ оно только и понималось у насъ искони, а добродѣтель есть составное слово, придуманное нами но нуждѣ, для обозначенія психическаю качества, котораго оно, однако же, нисколько не передаетъ. Такимъ образомъ, старикъ выходилъ на соглашеніе съ поднятымъ забраломъ и не скрывалъ своего настоящаго мнѣнія о контрагентѣ, съ которымъ намѣревался вступить въ сдѣлку.

Скрыть, впрочемъ, правду отъ глазъ русскихъ, минутныхъ своихъ доброжелателей, эмиграція все-таки не могла, и вызывала у нихъ подобную же затаенную національную думу. Русскіе выказывали передъ политическими врагами своими образдовое великодушіе, дълали всевозможныя уступки польскому патріотическому чувству, върили ихъ обвиненіямъ и укорамъ, и вмъстъ съ тъмъ держали въ сохранности заднюю мысль свою, подсказывавшую, что право на какое-либо главенство въ славянскомъ мірѣ, если о немъ позволительно еще думать, можеть принадлежать только крепкому политическому тълу, какъ ихъ отечество, которое и есть настоящій представитель этого міра. Много надо было принимать предосторожностей, чтобы помъщать этимъ тайнымъ, невыговариваемымъ мыслямъ выдти наружу и разорвать международный миражъ, который успълъ образоваться въ Парижъ, благодаря Б. По инстинктивному чувству опасности потерять возможность сходокъ, которыя если ничего не разръшали, то, по крайней мъръ, пріучали людей другь къ другу (и это уже было тогда не маловажнымъ дёломъ), явилось обоюдное, не подготовленное заранъе соглашение держать въ сторонъ всъ жгучіе народные вопросы, полныя ссоръ и препирательствъ, предоставляя ихъ разръшение будущему времени, и ограничиться покамъстъ упражненіями въ гуманныхъ и благородныхъ чувствахъ, которыя такъ легко, удобно и эффектно выставлять на показъ. На этихъ основаніяхъ хорошее настроеніе всёхъ членовъ кружка было обезпечено, и въ Парижѣ становилось однимъ праздникомъ больше. Такъ зачинался польскій вопрось въ русскомъ мірф, и я представляю здъсь только фактъ, не разбирая его ни съ политической, пи съ нравственной точки зрвнія, и не упоминая о его последствіяхъ.

Кстати замѣтить, В. самъ сознавался, что польскій вопросъ дорогъ ему особенно тѣмъ, что далъ возможность помѣстить куда-нибудь жизненныя цѣли, пристроиться къ какой-либо дѣятельности. По высылкѣ изъ Парижа, онъ, въ октябрѣ 1847, написалъ къ друзьямъ, тамъ остававшимся, письмо изъ Брюсселя, изъ котораго извлекаю слѣдующія строки: «Я, вѣроятно, скоро долженъ буду снова ораторствовать; покамѣстъ не говорите объ этомъ, кромѣ Т*— дѣло еще не совсѣмъ рѣшено. Можетъ статься, что меня и отсюда

также прогонять—пусть себ'в гоняють, а я буду т'ямь см'ялье, лучше и легче говорить. Вся жизнь моя опред'ялялась до сихъ поръ почти невольными изгибами, независимыми отъ моихъ собственныхъ предположеній; куда она меня поведеть? Богъ знаеть! Чувствую только, что возвратиться назадъ я не могу, и что никогда не измѣню своимъ убъжденіямъ. Въ этомъ вся моя сила и все мое достоинство, въ этомъ также вся дъйствительность и вся истина моей жизни, въ этомъ моя въра и мой долгъ; а до остального мнъ дъла нътъ: будеть, какь будеть. Воть вамь моя исповедь. Во всемь этомъ много мистицизма, скажете вы, — да кто же не мистикъ? Можетъ ли быть капля жизни безъ мистицизма. Жизнь только тамъ, гдв есть широкій, безграничный и потому и нісколько неопреділенный, мистическій горизонть; право, мы всь почти ничего не знаемь, живемь въ живой сферф, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый шагъ нашъ можетъ ихъ вызвать наружу, безъ нашего въдома и часто даже независимо отъ нашей воли... Пріемъ, сделанный мне поляками, наложилъ на меня огромную обязанность, но вмѣстѣ по-казалъ и далъ мню возможность дъйствовать. Я знаю, что вы относитесь ко всему этому нъсколько скептически, и вы съ своей стороны правы; и я тоже переношусь иногда на вашу точку зрвнія, но что-жъ дълать - природы не измъпить. Вы скептикъ - я върующій — у каждаго изъ насъ свое дело. Но довольно объ этомъ. С. вамъ кланяется. Марксъ treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie vorher — портить работниковь, дълая изъ нихъ резопёровъ. То же самое теоретическое сумасшествіе и неудовлетворенное, недовольное собою самодовольствіе и т. д.». Письмо это, кром'в свид'втельства о томъ, что не сущиость польской пропаганды привлекала В. (о ней онъ отзывался очень свободно), а открываемая ею арена политической и агитаторской дъятельности-письмо это, говорю, любопытно еще и въ другомъ отношении. Оно показываетъ автора въ настоящемъ его свътъ, какъ романтическаго, мистическаго анархиста, чъмъ опъ всегда былъ, и чемъ объясняется его ненависть къ авторитетному, положительному и законодательствующему Марксу, — ненависть, которая продолжалась болье 25 льть и завершилась между ними скандаломъ и полнымъ разрывомъ. Впрочемъ, вскоръ открылся для Б. и еще новый нуть дъятельности. Не прошло и б-ти мъсяцевъ, какъ переворотъ 1848 г. открылъ ему опять двери Парижа, куда онъ и прибылъ, поселившись въ казарив съ работниками, составлявшими охрану и свиту революціоннаго префекта полиціи, извъстнаго Косидьера. До того. В. прислушивался къ соціализму и знакомился съ руководителями его только какъ съ новымъ элементомъ, на который могуть опереться будущіе, замышляемые политическіе

перевороты. Теперь онъ убъдился, что работники и соціализмъ—самостоятельныя силы, способныя и сами выпести наверхъ, на своихъ плечахъ, человъка съ даромъ слова, критическимъ талантомъ и природной изобрътательностью на почвъ теорій, отвлеченныхъ построеній и пышныхъ иллюзій. Онъ отдался фантастическому соціализму съ тъмъ же увлеченіемъ и съ тою же готовностію на жертвы, какъ и фантастическому полонизму, ему предшествовавшему.

Между тымь, какъ русско-польские вдохновенные праздники торжествовали водворение въчнаго мира на съверъ Европы, такія же торжества происходили, по разнымъ поводамъ и въ разныхъ формахъ, во всвхъ углахъ Парижа. Образованные пностранцы собственно для такихъ праздниковъ, съ великолънными спектаклями и аповеозами будущаго, и съвзжались, почерпая въ нихъ сведенія о состояніи и направленіи умовъ въ отечествъ всяческихъ реформаторскихъ попытокъ. Русская колонія не отставала ни отъ кого при этомъ, а Г. былъ часто самъ душой и героемъ подобныхъ праздниковъ. Онъ очень скоро сдълался, какъ и В., изъ зрителя и галереи участникомъ и солистемо въ нарижскихъ демократическихъ и соціальных в хорахь. Подъ электрическимь действіемь всёхь возбуждающихъ элементовъ города, живая прпрода Г. мгновенио пустила въ сторону ростки необычайной силы и роскоши, въ которыя вся и ушла, надрывая свое нормальное существованіе. Многосторонняя образованность Г. начинала служить ему всю ту службу, къ какой была способна,—онъ понималъ источники идей лучше тъхъ, которые ихъ провозглашали, паходилъ къ нимъ дополненія и очень часто поправки и ограниченія, ускользавшія отъ спеціалистовъ по даннымъ вопросамъ. Онъ начиналь удивлять людей, и немного прошло времени съ его прівзда, какъ около него сталь образовываться кругъ болве чвиъ поклонниковъ, а, такъ-сказать, любовниковъ его со всеми признаками страстной привязанности. Въ числе последнихъ находился и извъстный эмигранть, поэть Г — гъ, который потомъ внесъ столько горя и страданія въ его личное и семейное существованіе. Не разъ при разгаръ этого интеллектуальнаго пира въ Парижѣ, мнѣ вспоминались московскіе пиры села Соколова, сопровождавшіеся такимъ же нервнымъ возбужденіемъ умственныхъ и физическихъ силъ, но уже какая была разница въ содержании и настроеніи!

Относительно изумленія, возбуждаемаго въ иностранцахъ обширностію пониманія нѣкоторыхъ русскихъ людей, способомъ пхъ ставить вопросы и признаками вообще необычайныхъ способпостей можно было бы привести много любопытныхъ подробностей. Г. и В. собирали дань этого пзумленія, смѣшаннаго почти со страхомъ, едва не

на каждомъ шагу. Они постоянно, послъ встръчи съ знакомыми и незнакомыми лицами, оставляли ихъ въ раздумым на счетъ загадочныхъ натуръ такой силы мысли, такой смѣлости возгрѣній и языка, остающихся одинокими экземилярами развитія посреди своихъ зем-ляковъ. Извъстная замътка Мишле, пришедшаго даже въ смущеніе отъ навоса, остроумія и широкихъ размаховъ одной прочитанной имъ книги Г., ноказываетъ, что авторъ «Исторіи Франціи» довольно тщательно искаль объяспенія этому новому для него явленію и думаль найти его въ швабско-русскомъ, а не чисто-славянскомъ происхожденін автора. Что касается до В., то уже и тогда приходили къ нему за совътомъ и разъяснениемъ по вопросамъ философскаго, отвлеченнаго мышленія, и притомъ такіе люди, какъ, напримфръ, Прудонъ. Одинъ изъ умныхъ и развитыхъ французовъ, который видълъ пробълы въ умственномъ развити своей собственной страны — созывалъ ради Б. своихъ знакомыхъ и при этомъ говорилъ: я вамъ покажу чудище (une monstruosité) по сжатой діалектикъ и по лучезарной концеиціи сущности всяческихъ идей» (par sa dialectique serrée et par sa perception lumineuse des idées dans leur

Если Г., какъ мы замътили выше, понесъ на себъ слъды нарижской жизни, то тъмъ менъе могла избъжать заразы опьяняющей атмосферы большого города—тихая, сосредоточенная жена Г. Она преобразилась въ истую парижанку, усвоила себъ яркую демократическую окраску и горячо принимала къ сердцу интересы французской жизни, восторгаясь и любуясь разными, болье или менье, бъдными и страдающими людьми, выброшенными ею на улицу, и особенно твми полу-буржуа и полу-работниками, которые, кромв размышленій о формъ будущаго, неизбъжнаго переворота, никакого другого занятія на свътъ не имъли. Домъ Г. сдълался подобіемъ Діонисіева уха, гдъ ясно отражался весь піумъ Парижа, малъйнія движенія и волненія, пробъгавшія на поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. И только одна М. Ө. К., сопровождавшая Г. въ ихъ путешествін, не захвачена была водоворотомъ и служила живымъ папоминовеніемъ о недавно покинутой ими и уже позабываемой Москвъ. Вольная, ръдко выходившая изъ дома, посвятившая себя уходу за дётьми и только издали прислушивавшаяся къ гулу, который песся отъ всемірнаго города, она становилась какимъ-то анахронизмомъ въ семьъ, вирочемъ очень любившей и уважавшей ее. Какъ ни интересна была по своему содержанію и разнообразію новая обстановка, въ которую понала теперь эта умная и многосторонне образованная женщина, но мысль ея постоянно жила въ кругу далекихъ друзей, оставленныхъ въ Москвъ и занятыхъ своимъ не

блестящимъ и не шумнымъ дѣломъ — спасать умы и нравственное чувство людей отъ загрубѣнія, наступающаго со всѣхъ сторонъ. Однимъ своимъ присутствіемъ въ домѣ Г., она говорила хозяевамъ и нѣкоторымъ изъ русскихъ гостей ихъ о другой культурѣ, о недавнихъ, уже пренебрегаемыхъ друзьяхъ, занятыхъ у себя дома певзрачной, подготовительной, черновой работой просвѣщенія. До нихъ ли было теперь при такомъ блескѣ, при такихъ очаровательныхъ дорогахъ, открытыхъ на всѣ стороны каждому умственному и правственному побужденію и даже всякому капризу мысли! Въ образѣ М. О. К., стояла передъ Г. олицетворенная элегія съ горячими симпатіями къ прошлому, —а кто изъ тѣхъ, которые неслись теперь въ вихрѣ всяческихъ наслажденій европейскимъ міромъ и добытой свободой, имѣлъ время останавливаться передъ элегіями или прислушиваться къ нимъ?!

XXXIII.

Вскор'в мн'в уяснилось, что были и другія причины къ холодности между друзьями, перевхавшими за-границу, и тёми, которые
остались дома, — посущественн'ве разс'вяній Парижа. Посл'в н'всколькихъ, искреннихъ и дов'врчивыхъ бес'вдъ, — происходившихъ у насъ
обыкновенно по ночамъ — въ Парижв, я не могъ сомн'вваться бол'ве, къ великому моему изумленію, что въ глазахъ Г. и его семьи —
Москва совершенно поблекла, лишилась своихъ красокъ, утеряла магическое слово, отворяющее сердца. Вся старая жизнь въ ней казалась уже Г. и его жен'в сухой степью; на ней уже не росло бол'ве трогательныхъ воспоминаній, да и т'в, которыя оставались отъ
давняго времени, видимо завяли, не поддерживаемыя тщательнымъ
уходомъ, который также необходимъ для воспоминаній, какъ для д'втей и цв'втовъ.

Переворотъ этотъ объяснить не совсѣмъ легко, потому что онъ вышелъ изъ довольно сложнаго психическаго процесса и воспитался массой очень тонкихъ нервныхъ раздраженій, — но несомнѣнно, что начался переворотъ еще въ Москвѣ и только довершился за-границей. Обстоятельство это пролило для меня большой свѣтъ на всѣ пріемы Г. въ Парижѣ, на всю его судорожную торопливость поставить себя въ центрѣ новой жизни: другая, старая, которая могла бы служить ей противовѣсомъ, уже скрылась для пего въ туманѣ и болѣе не существовала. Никто еще не возбуждалъ во мнѣ такъ полно предчувствія, при первыхъ же шагахъ Г. на почвѣ европеизма, что онъ приростетъ къ ней навсегда, что почва эта окон-

чательно овладѣетъ имъ и уже не уступитъ его никакой другой, хотя фактическихъ поводовъ для такого пророчества пока еще и не представлялось ниоткуда. Но я тогда не зналъ, что Г. просто старается нажить себъ второе, духовное отечество, такъ какъ первое уже лишилось своей притягательной силы и существовало только какъ поводъ къ сожалѣнію, дружескому участію и великодушному предложенію посильныхъ услугъ, если потребуются.

Извъстно, что незадолго до отъвзда за-границу, Г. потерялъ

отца и получиль довольно значительное наслѣдство, сдѣлавшее его сравнительно богатымъ человѣкомъ. Рамки, въ которыхъ заключено было до того его московское существованіе, раздвинулись, но показались ему еще тъснъе, стъснительнъе, чъмъ прежде; съ увеличеніемъ матеріальныхъ средствъ поднялись и окрылились желанія, а желанія и стремленія у этого въ высшей степени сангвиническаго характера находились въ уровень съ его образованиемъ и мыслію. При томъ же для Г. паступала та пора жизни, когда человъкъ испытываетъ обыкновенно мучительную потребность самой напряженной дѣятельности (ему шелъ 35-ый годъ); но простора для дѣятельности въ той формъ и тѣхъ размѣрахъ, какіе ему были нужны, онъ, конечно, найти не могъ. Оставалось убивать весь избытокъ наконившейся энергіп въ пустомъ мозговомъ одушевленіи, въ шумѣ дружескихъ собраній, въ поддержаніи или опроверженіи болье или менье дъльныхъ тэзисовъ на вечерахъ и по объдамъ; но, во-первыхъ, это не могло продолжаться долго, а во-вторыхъ, скоро ока-залось, что и по этой тропинкъ уже нельзя было двигаться. Центры прежнихъ собраній распались, дружескія интимныя сходки не удавались болье. Посльднимъ особенно повредилъ переворотъ въ матеріальномъ быть Г. и сравнительно богатая обстановка его дома, явившаяся, конечно, безъ всякаго преднамфренія у новыхъ хозяевъ. Не было увлеченія, составлявшаго букеть подобныхъ сходокъ въ прежнее время, когда опъ возникали на общихъ издержкахъ, требовали нъкотораго пожертвованія, вызывали хлопоты и хозяйскія соображенія. Г. разсказываль, что появленіе какого-нибудь серебрянаго подноса или канделябра въ его новомъ хозяйствѣ поражало какъ-бы нѣмотой его друзей: искрепность и веселіе пропало, какъ только повстрѣчались съ готовымъ комфортомъ. Онъ относиль это явленіе къ той канль демократической зависти, которая живеть въ сердцахъ даже самыхъ лучшихъ людей; но такое изъяспение мнъ казалось всегда несправедливостію: туть было сожальніе объ утерянныхъ условіяхъ прежняго скромнаго образа жизпи. Когда уже оказалось почти невозможнымъ собрать подъ одну кровлю близкихъ. людей безъ того, чтобы пе увидать признаковъ измъненныхъ отношеній съ ними, и когда скоро оказалось (о чемъ сейчасъ будемъ говорить), что они уже расходятся и въ пониманіи предметовъ— что оставалось дѣлать? Умственные интересы московской и вообще русской среды были изслѣдованы до нитки, вопросы, казавшіеся особенно важными, нереворочены на всѣ лады. Серьёзпой работы, въкоторую можно было бы уйти и запереться отъ міра— не обрѣталось вовсе, а нотому оставалось, конечно, только тушить поѣдающій огонь дѣятельности чѣмъ ни попало. А между тѣмъ, почти о́-бокъ, существовала, въ формѣ западнаго міра,— просторная арена для безконтрольнаго удовлетворенія всѣхъ умственныхъ потребностей, но доступъ къ ней быль невозможенъ, по особенному положенію Г. въ отечествѣ. Много усилій употребилъ онъ, чтобъ разорвать эту цѣпь, связывающую его движенія, и вѣроятно не успѣлъ бы, если бы В. А. Жуковскій не нринялъ участія въ его судьбѣ и не номогъ ему достигнуть цѣли.

Не менъе любопытна и душевная исторія, нережитая въ эту же нору женою Г. И ей, какъ и мужу ея, страшно надобла дисциплина, которую ввелъ и неуклонно ноддерживалъ тогдашній идеализмъ между друзьями. Наблюдение за собой, отметание въ сторону, какъ онаспаго элемента, ижкоторыхъ побужденій сердца и натуры, пеустанное хождение по одному ритуалу долга, обязанностей, возвышенныхъ мыслей, — все это ноходило на строгій монашескій искусъ Какъ всякій искусь, онъ им'вль свою чарующую и обаятельную силу сначала, но становился нестерпимымъ нри продолжительности. Любопытно, что первымъ, ноднявшимъ знамя бунта противъ проповъди о нравственной выдержкъ и объ ограничении свободы отдаваться личнымъ физическимъ и умственнымъ поползновеніямъ былъ О. Онъ и привилъ къ обоимъ своимъ друзьямъ, Г. и его женъ (особенно къ нослъдней), возэрвніе на право каждаго располагать собой, не придерживаясь никакому кодексу установленныхъ правилъ, столь же условныхъ и ствспительныхъ въ оффиціальной морали, какъ и въ нриватной, какую заводять иногда дружескіе кружки для своего обихода. Нфтъ сомпѣпія, что воззрѣніе О. имѣло аристократическую подкладку, давая развитымъ людямъ съ обезпечепнымъ состояніемъ возможность спокойно и сознательно пренебрегать тыми правственными ніями, какія проновъдываются людьми, незнавшими отъ роду обаяній и наслажденій полпой матеріальной и умственной независимости. Въ основъ его лежало еще и уважение къ физіологическимъ требованіямъ лица, которыя всего менье признавались демократическими умами, искавшими установить общія правила и начала даже и для органическихъ и неихическихъ отличій человъка. Оно пришло но вкусу тогдашнему Г., выбитому изъ обыденной колен московскаго

дружескаго существованія, и это обстоятельство, вмѣстѣ съ сохраиившейся нѣжностью къ товарищу своего дѣтства, объясняетъ то высокое мнѣніе объ О., которое не разъ выражаль Г., называя его свободнѣйшимъ человѣкомъ и умнѣйшей головой въ Россіи. То достовѣрно, что вліяніе О. имѣло непсчислимыя послѣдствія для самого Г., а также и для жены его.

Вся эта работа передвиженія съ одной точки зрѣнія на предметы— на другую, начавшаяся съ появленія О. въ Москвѣ, въ 1846 г.,— шла однакоже гораздо медленнѣе у Г., чѣмъ у его жены. Г. не скоро отдѣлался отъ первоначальной философской своей закваски. Несмотря на свое отречение отъ статутовъ идеалистическаго ордена, къ которому принадлежаль, несмотря на попытки секуля-ризовать, такъ-сказать, свою жизнь, Г. долго и потомъ сохраняль на себъ печать, пріемы и сословныя отличія своего прежняго званія. Типъ строгаго учителя и нравственнаго пропов'ядника остался съ нимъ и послъ того, какъ онъ сошелъ, такъ-сказать, съ каоедры и поселился на публичномъ рынкъ, раздъляя его волненія, ропотъ и жалобы. Отъ некоторыхъ основныхъ началь исноведуемой имъ нъкогда философско-моральной доктрины онъ никогда уже и не от-казывался. Впослъдствіи онъ даже казался, на основаніи именно этого первороднаго гръха, многимъ умамъ п характерамъ, иозднъе народившимся и уже не знавшимъ никакихъ стъсненій, —полу-либераломъ и неръшительнымъ человъкомъ. По наружности пикакой перемъны въ способъ пользоваться своей жизнію и молодостью съ нимъ не произошло съ тъхъ поръ, какъ онъ стоялъ на европейской почвъ. Онъ и прежде, не стъсняясь началами и правилами, отдавался свободно влеченію мимолетной фантазіи, всякому затронутому чувству и первому впечатлънію, но тогда еще у него сохранялось въ цълости сознаніе, что онъ остается темь же человекомь, просветленнымъ благодатію высшаго пониманія жизни, какимъ воспитала его среда, что онъ не потерялъ снособности судить правильно о собственныхъ увлеченіяхъ своихъ, и для сохраненія ихъ не продавалъ своей души и многихъ годовъ ея научнаго воспитанія. Также свободно распоряжался онъ и теперь своею парижскою жизнію, но съ вторженіемъ въ пее политическихъ и соціальныхъ страстей — успоконтельной фикціи для совъсти не существовало болье: всь эти явленія имъли свои уставы, никъмъ не провъренные, очень требовательные, а подъ-часъ и возмущавшие непривычное къ нимъ ухо и чувство; вдобавокъ они еще выдавали себя за догматы, безъ принятія которыхъ къ нимъ и подступать не слѣдуетъ. Запасъ старыхъ и никогда внолнѣ не растраченныхъ моральныхъ убѣжденій составляль у Г. уже ненужный къ нимъ придатокъ, потерялъ значеніе

регулятора мыслей и существоваль безь цёли, мёшая увёровать въ нравственную сторону предметовъ окончательно, и не имёя силы совсёмъ упразднить ихъ въ глубинё совёсти, какъ ложные и не подтвержденные продукты одного общественнаго, болёзненнаго недуга. Положеніе могло выдти трагическимъ—и впослёдствіи такимъ и вышло.

Наоборотъ, разложение старыхъ теорій и представленій отразилось полнъе и ръшительнъе на душъ бъдной, воспріимчивой, изящной по характеру и природъ, женъ Г. — и переработало ее окончательно. Реакція противъ условій московскаго существованія началась у нея съ того мгновенія, когда она почувствовала непреодолимое отвращение къ буржуазнымо добродътелямъ, которыя составляли основу всего быта, окружавшаго ее, но она внесла еще страсть въ свою критику. Ей уже сделались не только скучны, но и подозрительны доблести при домашнемъ очагъ, семейный героизмъ, всегда довольный и гордый самимъ собой, и въчное прославленіе всъхъ тъхъ пожертвованій, трудовъ и добровольныхъ лишеній, которыя сносились передъ ея глазами на алтари разныхъ болве или менве почтенныхъ молоховъ, величаемыхъ, по ея мнвнію, идеями. Съ пробудившейся жаждой къ расширенію своего существованія, она возненавидъла нескончаемое хождение все въ одну сторону, по-солонь, и объясняла устройство этой невыносимой церемоніи, походившей въ ея глазахъ на раскольничье раденіе, частію темъ, что она необходима жрецамъ кружка для прикрытія ихъ слабой, апатической, ограниченной природы, а частію темь, что она доставляеть вообще бъднымъ инстинктамъ и побужденіямъ потъху гордаго самоуслажденія. Никогда такъ радикально не относился самъ Г. къ старому кружку друзей, никогда не выказываль столько жестокости и несправедливости въ приговорахъ надъ нимъ, никогда не отзывался о немъ съ такой ненавистью, цёня однако даже и въ спорахъ съ старымъ кружкомъ немаловажныя усилія его членовъ выносить жизненныя тяготы времени наиболее мужественно, благоразумно и независимо. Но все это пронало изъ вида его жены, замънилось какой-то наивпой, незлобивой диффамаціей прежнихъ друзей, какъ только приходилось вспоминать о нихъ. Жена Г. возлагала еще на отвътственность старыхъ знакомыхъ и долгую скуку прежней своей жизни, между тъмъ какъ настоящей причиной этой скуки быль, какъ скоро объяснилось, запоздалый, мечтательный и безилодный романтизмъ. Несмотря на постоянное чтеніе серьёзныхъ иностранныхъ писателей, несмотря на философскій говоръ, раздавав-шійся постоянно около жены Г. и, конечно, не щадившій никакихъ иллюзій и фальшивыхъ ръшеній вопросовъ, — душа ея имъла еще свои секреты, сберегала про себя тайны задачи и ипталась, въ самомъ шумъ скентическихъ изліяній, скрытными романтическими стремленіями и чаяніями. Но куда ни обращала опа свои глаза — ничего похожаго на порядочный романтизмъ нигдъ не оказывалось на лицо вокругъ нея. Она была счастлива въ мужъ, въ семъъ, въ друзьяхъ — и страдала отсутствіемъ поэзіи, которал не сопровождала вст эти благодатныя явленія, въ той мъръ, какъ бы ей хоттлось. Она предпочла бы поэтическія бъды, глубокія несчастія, окруженныя симнатіей и удивленіемъ постороннихъ, и мпиутныя уноенія — тому простому безмятежному благополучію, которымъ наслаждалась. Задачей ея жизни сдълалось, такимъ образомъ, обртеніе романтизма, въ томъ видъ, какъ онъ существовалъ въ ея фантазіи: за нимъ она и погналась со страстію и неутомимостью искателя волшебныхъ кладовъ, надъясь когда-пибудь напасть на его слъдъ и вкусить отъ той испробованной немногими смертными амврозіи возвышенныхъ чувствъ, какую онъ готовитъ для своихъ втрныхъ слугъ, — узнать отраду небесныхъ ощущеній, имъ доставляемыхъ. Подъ конецъ жизни ей показалось, что она держитъ эту чашу съ волшебнымъ напиткомъ въ своихъ рукахъ, по при первомъ же прикосновеніи губъ — глубочайшее отвращене и жгучее раскаяніе во всемъ, что было сдълано для обладанія драгоцѣнымъ сосудомъ, овладѣло встыть ея существомъ и свело преждевременно въ могилу.

Я не намъренъ разсказывать здѣсь печальныя подробности бо-

Я не намфренъ разсказывать здёсь печальныя подробности болъе головной, чъмъ сердечной страсти, какъ она развилась на реальной почвъ у этой все-таки замъчательной женщины, но нъкоторыя черты исторіи важны и для опредъленія отнощеній между разнородными эмиграціями.

Дѣло въ томъ, что поэтическая мечтательница ознакомилась съ жизнію по романтизму, которую наконецъ обрѣла въ Парижѣ черезъ посредство въ высшей стенени развитой, изящной и вмѣстѣ холодной и эгоистически-сластолюбивой личности, какою и былъ вышеупомянутый Г — гъ. Личность эта, вдобавокъ, была еще двойной германской знаменитостію, —она прославилась лирическими пѣснями, призывавшими народы къ оружію, и радикализмомъ взглядовъ на правительство вообще, и на прусское въ особенности. Подъмягкой, вкрадчивой наружностію, прикрываясь очень многостороннимъ, прозорливымъ умомъ, который всегда былъ на сторо́жѣ, такъсказать, и опираясь на изумительную способность распознавать малѣйшія душевныя движенія человѣка и къ нимъ поддѣлываться, — чудная личность эта тапла въ себѣ сокровища эгоизма, эпикурейскихъ склонностей и потребности лелѣять и удовлетворять свои страсти, чего бы то ни стоило, не заботясь объ участи жертвъ, кото-

рыя будутъ падать подъ ножомъ ея свирвнаго эгоизма. Всв средства своего образованія, развитія, действительно не совсемь обыкновенныхъ, даже и въ кругу передовыхъ людей Европы, а также и своего нервнаго темперамента, часто разръшавшагося лирическими, вдохновенными вспышками и порывами, — всъ эти средства, говорю, перепробовала замвчательная личность, здвсь описываемая, для двла обольщенія завзжей мечтательницы, для доставленія себв побъды надъ всъми запросами многотребовательной ея фантазіи. Долго отыскиваемый романтизмъ являлся теперь передъ женой Г. въ великолъпномъ, ослъпительномъ видъ! Лоэнгринъ со сказочныхъ высотъ быль передъ нею на лицо, и. только подойдя къ нему ближе, она вдругъ увидала, какой страшный образъ скрывается за ангельской маской, имъ усвоенной, - и въ ужасв, последнимъ сверхъестественнымъ движеніемъ воли, она вырвалась изъ его рукъ, измученная и оскорбленная. Можетъ быть, обольститель и действительно чувствоваль некотораго рода любовь и привязанность къ обреченной имъ жертвь, какъ это бываеть у иныхъ преследователей; но когда жертва ускользнула отъ него, любовь и привязанность пропали безслъдно, а мъсто ихъ заняли бъщенство неудачи, жажда мести за помятое тщеславіе и за оскорбленіе, нанесенное его гордости и самолюбію. Онъ принялся публично бросать грязью въ женщину и семью, благополучіе которыхъ разрушиль, употребляя при этомъ средства, возмущавшія даже и друзей его...

И вотъ, чѣмъ кончался романтизмъ для бѣдиой женщины, предавшейся ему и поплатившейся за него жизнію, и вотъ какъ разрѣшались столкновенія наивной натуры съ человѣкомъ, принадлежащимъ къ типу людей, встрѣчающихся на Западѣ, и вооружениымъ съ головы до ногъ, какъ для доблестныхъ, такъ и для всякихъ другихъ подвиговъ.

Всего печальные и поучительные вы этой исторіи—то, что Г. самы ввелы человыка подобнаго закала вы свой домы и самы водвориль его у себя. Поздные, Г. говориль, что обращеніе его сы этимы человыкомы было болые фамильярное, чымы дружественное. Можеты быть, это и такы вы смыслы психической вырности, но мы всы видыли его непрестанныя ухаживанія за нашимы эмигрантомы, его усилія выказаться переды нимы блестящими сторонами ума, купить его вниманіе. Такы было, впрочемы, на первыхы порахы у Г. и сы другими эмигрантами и знаменитостями радикальнаго міра—гораздо меные развитыми, чымы тоть, о которомы мы говоримы. Оны и имы открывалы сокровища своего ума, сердца, расточалы переды пими блестки остроумія и начитанности, не спрашивая, спореды пими блестки остроумія и начитанности, не спрашивая, спо-

собны ли они еще понимать то, что имъ показываютъ такъ неразсчетисто.

Да куда же, спросять, дѣвалась способность Г. къ тонкому анализу характеровь, о которой я говориль прежде, его сатирическая и полемическая эссилка, которая такъ сильно билась въ Москвѣ и помогала ему создавать такіе мѣткіе, часто безпощадные и уничтожающіе портреты знакомыхъ людей. Куда пропаль признанный мастеръ разительно-схожихъ каррикатуръ и горячихъ эпиграммъ, имѣвшихъ все подобіе біографическихъ данныхъ? Они не пропали, какъ оказалось впослѣдствіи, Г. не утерялъ, не лишился ни одной изъ прежнихъ своихъ сплъ, но, въ поискахъ за новой духовной отчизной, онъ ихъ сдерживалъ искусственно, старался затоптать, запрятать подалѣе въ глубь души для того, чтобы добыть себѣ искусственную слѣпоту, дѣлавшуюся теперь уже необходимостью для оправданія себя. Онъ принималъ мѣры противъ своей прозорливости и склопности къ комическимъ разоблаченіямъ; на этомъ условіи только и могъ сохраниться, въ умѣ его, весь окружавшій его міръ въ качествѣ дѣйствительнаго, не призрачнаго существованія, но міръ этотъ не хотѣль знать объ усиліяхъ Г. понять его съ наилучшей стороны, а потребоваль раздѣленія съ нимъ его предразсудковъ, предвзятыхъ Да куда же, спросять, дъвалась способность Г. къ тонкому а потребоваль раздёленія съ нимъ его предразсудковъ, предвзятыхъ идей, необдуманныхъ рёшеній и плановъ. Г. склонился и въ эту идей, необдуманныхъ ръшеній и плановъ. Г. склонился и въ эту сторону, и только когда чаша была переполнена, дъйствительность сдълалась нестерпима, нагло-ясна въ своей несостоятельности — возвратились къ Г. прежнія качества ума, вся мощь глубокаго психолога-мыслителя, и онъ отдалъ на судъ будущихъ русскихъ людей, въ извъстныхъ своихъ «Запискахъ» — какъ самого себя, такъ и типы дъятелей, ведшихъ за собой политическія фаланги того времени. — Многое и другое еще возвратилось къ нему тогда...

При отъъздъ Г. за границу изъ Москвы, въ послъдній разъ

При отъвздв Г. за границу изъ Москви, въ последній разь собрались около него всв друзья и сопровождали его до первой станціи петербургской дороги. Г. вхаль на Петербургь и въ омнибусв: — жельзнаго пути еще не было. Прощальный объдь, устроенный па станціи, закончился, несмотря на шумное начало его, въ грустномъ настроеніи друзей — многіе изъ нихъ плакали. Чего бы, кажись, плакать по случаю отъвзда за границу, на болье пли менве продолжительное время, молодой, исполненной силь и на техдъ, семьи? Но вмъстъ съ ней вхалъ еще человъкъ, который, на зло всемъ недоразумъніямъ, составляль еще такую необходимость въ жизни своихъ друзей, что утрата его, даже и на короткій срокъ, поразила ихъ когда наступила минута разставанія. Что бы заговорили они, если бы могли предчувствовать, что для всёхъ ихъ это была уже утрата въчная. Сопровождаемый горячими напутствіями, почти

страстными выраженіями любви и дружбы, Г. тронулся въ дальнъйшій путь подъ трогательнымъ впечатльніемъ этой разлуки. Онъ довезъ впечатлъние свое всецъло и до Парижа, да и въ послъдующемъ развитіи его жизни опо не разъ возставало въ его памяти, хотя уже не могло примирить его съ покинутымъ и далеко оставленнымъ позади міромъ. Только въ минуты полнаго нравственнаго одиночества, испытаннаго имъ особенно передъ основаниемъ своего журнала, да въ минуты горькихъ раздумій о своемъ дёлё, которое, чъмъ бы онъ ни жертвоваль для него, все-таки не давало ему полной натурализаціи въ сонм'в европейскихъ д'ятелей — только тогда воспоминанія о Москв'в — теплой, обильной струей приливали къ его сердцу и извлекали вопль страдающей души, доходившій и до друзей въ Бълокаменной. Онъ препоручалъ имъ своихъ дътей, препоручалъ имъ защиту собственнаго имени и взывалъ къ ихъ участію, поощренію, нравственной поддержкв. Оказалось, что жить безъ старыхъ связей съ Россіей становилось невыносимымъ сиротствомъ. Толны людей, привлеченныхъ къ нему журнальнымъ полемъ, открытымъ имъ для искреннихъ и для корыстныхъ обличеній, для нуждъ общественной важности и для нуждъ личной мести и задътаго самолюбія — не могли ихъ замѣнить...

Такъ носила бурная, кипучая волна европейской жизни этотъ драгоцѣнный самородокъ, брошенный въ нее изъ какой-то далекой, неизвѣстной планеты,—носила изъ стороны въ сторону, разбивая его и, конечно, не заботясь о томъ, куда его сложить и пристроить.

Иначе выразилось дъйствіе той же европейской среды на другого и тоже замѣчательнаго русскаго человъка, Василія Петровича Боткина. Г. уже не засталъ его въ Парижѣ, но я еще успѣлъ, до отъѣзда его обратно въ Россію, прожить съ нимъ цѣлый годъ и съѣздить съ нимъ еще лѣтомъ 1846 г. въ Тироль и Ломбардію, причемъ путешествіе наше совершалось довольно оригинальнымъ способомъ. Минуя публичныя кареты и дилижансы, насколько было возможно, а также и черезъ-чуръ гостепріимные дворцы съ отелями и ресторанами, мы ѣхали въ телѣгахъ и колясочкахъ мѣстныхъ промышленниковъ извоза, и три мѣсяца жили между крестьянами, лодочниками, работниками, по народнымъ австеріямъ, рынкамъ и темнымъ закоулкамъ городовъ и селеній. Я сожалѣю, что не велъ дневника этой поѣздки, который могъ бы быть любопытенъ теперь, послѣ переворотовъ, обновившихъ Австрію и Италію...

Извъстно, что В. П. Боткинъ женился на француженкъ, пріъхавшей *отыскивать фортуну* въ Россію и не думавшей никогда о формальномъ бракъ, какъ и сама заявляла. Когда друзья Боткина замътили ему, что проектъ женитьбы на дъвушкъ, которая

ничего другого не желаетъ, какъ весело прожить съ любимымъ че-ловъкомъ болъе или менъе долгое время, представляетъ нъкотораго рода странность,—Боткинъ пришелъ въ великое пегодованіе. «Такъ вотъ чъмъ копчается, говорилъ онъ, ваша гуманность и исканіе идеаловъ! — эксплуатировать женщину, натъшиться ею и потомъ броидеаловъ! — эксплуатировать женщину, натъшиться ею и потомъ оросить, когда падовла — хорошія основы! » — Бракъ былъ совершенъ по всвмъ обрядамъ, въ Казанскомъ соборв, но черезъ мѣсяцъ Боткинъ увидалъ свою ошибку, и бросилъ тотчасъ же несчастную женщину на произволъ судьбы, не желая уже болве и слышать о ней. Какъ всегда бываетъ, онъ возненавидѣлъ въ ней собственный промахъ и наказывалъ въ ней свой собственный грѣхъ. Вмѣстъ съ тъмъ вся одежда крайняго идеалиста, какую онъ но-силъ постоянно, вопрекп всъмъ новымъ модамъ — вдругъ соскочила ств съ твиъ вся одежда крайняго идеалиста, какую онъ носилъ постоянно, вопреки всвиъ новымъ модамъ — вдругъ соскочила
съ него, какъ въ театральномъ превращени у многоумнаго Фауста,
обратившагося мгновенио въ бъщенаго юнощу. Онъ предался весь
сенсуальной жизии, окунулся въ самый омутъ нарижскихъ любовныхъ и всяческихъ приключеній, дополняя ихъ раздражающими
впечатльніями искусства, въ которомъ кропотливо рылся, отыскивая
тончайшія черты произведеній, что било видоизмѣненіемъ того же
культа сенсуализму, которому онъ предался. Онъ отрывался отъ
него, по временамъ, чтобъ освѣжить голову отъ хмѣля одуряющихъ
наслажденій, и возвращался къ нимъ еще съ большей эпергісй. Плодомъ такихъ гигіеническихъ перерывовъ была его поѣздка въ Иснанію и прекрасная книга его, за ней послѣдовавшая: «Письма изъ
Испанію». Изъ того же источника проистекали и его занятія соціальными и политическими вопросами, въ которыхъ онъ съ изумительной прозорливостію открывалъ и потомъ преслѣдовалъ малѣйшія
черты скрытаго идеаливма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сдѣлавшіяся теперь предметами его ожесточенной ненависти. Въ такомъ настроеніи засталъ его и уже въ Москвѣ серьёзный поворотъ дѣлъ, начавшійся повсемѣстно въ Европъ, съ 1848
года. Никто болѣе его не пснугался этого новорота, да поворотъ
еще и укрѣпилъ въ немъ зародившесся настроеніе, такъ какъ оно
могло служить нѣкоторымъ образомъ щитомъ и охраной противъ
подозрѣній въ моральной склонности къ утопіямъ. На склонѣ жизни,
съ ослабленіемъ силъ, и уже тогда, когда онъ самъ сдѣлался значительнымъ капиталистомъ, В. П. Боткинъ запялъ вочетное и видное мѣсто въ рядахъ нашей ультра-консервативной партіи. Но онъ
превратился въ ультра-консервативной партіи. Но онъ
превратился въ ультра-консервативной партіи. Но онъ
превратился въ ультра-консервативной партіи. Но онъ
пробъжденіямъ. Въ основу своего послѣдняго созерцанія, опъ положилъ, кромѣ чувства сохраненія своего общественнаго положенія, которое у него всегда было очень живо, еще и доктрины двухъ великихъ современныхъ мыслителей—Карлейля и Шопснгауера. Онъ почерппулъ у перваго его ненависть ко вседневной болтовнѣ журналистики и литературныхъ репортеровъ, вмѣстѣ съ ученіемъ о спасительной силѣ повиновенія великимъ авторитетамъ, просвѣтителямъ народовъ и двигателямъ исторіи, гдѣ бы они ни встрѣтились. Отъ второго онъ усвоилъ его глубочайшее презрѣніе къ толиѣ и народнымъ массамъ и его энергическія проклятія безпредметному философствованію умниковъ, разлагающихъ только безъ конца и цѣли одну собственную мысль. Такимъ образомъ, замѣчательный человѣкъ этотъ перешелъ множество стадій развитія, и только смерть помѣшала ему видѣть, во что слагается и чѣмъ кончаетъ нашъ русскій консерватизмъ.

XXXIV.

Къ числу особенностей тогдашняго Парижа принадлежало еще и важное качество его — представлять для людей, ищущихъ почемулибо уединенія, самое тихое мъсто во всей континентальной Европъ. Въ немъ можно было притаиться, скрыться и заслониться отъ людей, не переставая жить общей жизнію большого, всесвътнаго города.

Не надо было употреблять и особенныхъ усилій для того, чтобы найти въ Парижъ замиренный, такъ-сказать, уголокъ, изъ котораго легко и спокойно могло быть наблюдаемо одно ежедневное творчество города и народнаго французскаго духа вообще, что представляло еще занятіе, достаточное для наполненія цёлыхъ дней и мъсяцевъ. Такіе уголки добывались во всёхъ частяхъ города-и притомъ за сравнительно небольшія пожертвованія 1). Отъ одного изъ такихъ уголковъ я былъ неожиданно оторванъ очень печальнымъ извъстіемъ изъ Россіи. В. П. Боткинъ писалъ мнъ, что Бълинскій становится плохъ и приговоренъ докторами въ повздев за-границу, именно на воды Зальцбрунна, въ Силезіи, начинавшія славиться своими цёлебными качествами противъ болёзней легкихъ. составили между собой подписку для отправленія туда больного; къ участію въ подпискъ приглашаль меня и Боткинъ. Я отвъчаль, что прівду самъ въ Зальцбруннъ и надвюсь быть полезнве Бвлинскому этимъ способомъ, чѣмъ какимъ-либо другимъ. Точно такое же рѣшеніе принялъ и И.С. Тургеневъ, находившійся тогда въ Берлинъ. Онъ немедленно отправился на встръчу неопытнаго воя-

¹⁾ Въ такихъ уголкахъ жило много нёмецкихъ ученыхъ, пріёзжавшихъ въ Парижъ доканчивать свои работы, а изъ русскихъ въ это время тамъ находился Н. Г. Фроловъ, переводившій "Космосъ" Гумбольдта, и П. Н. Кудрявцевъ, дописывавшій диссертацію: "Судьбы Италіи".

жера, мало разумѣвшаго по-нѣмецки и никогда еще не покидавшаго своей родины, въ Штеттинъ, гдѣ и принялъ его подъ свое покровительство. Оба они и прибыли черезъ Берлинъ въ Оберъ-Зальцбруннъ, поселясь въ чистомъ деревянномъ домикѣ съ уютнымъ дворикомъ на главной, но далеко не блестящей улицѣ бѣднаго еще городка.

Итакъ, оторвавшись отъ всѣхъ связей въ Парижѣ и отложивъ на будущее время иланы разныхъ путешествій, я направился въ іюнѣ 1847 г. въ Зальцбруннъ. Переночевавъ въ Бреславлѣ, я на другой день рано очутился въ неизвѣстномъ мнѣ мѣстечкѣ, и на первыхъ же шагахъ по какой-то длинной улицѣ встрѣтилъ Тургенева и Бѣлинскаго, возвращавшихся съ водъ домой...

Я едва узналъ Бѣлинскаго. Въ длинномъ сюртукѣ, въ картузѣ

Я едва узналь Вълинскаго. Въ длинномъ сюртукъ, въ картузъ съ прямымъ козырькомъ и съ толстой палкой въ рукъ—передо мной стоялъ старикъ, который по временамъ, словно заставая себя врасплохъ, быстро выпрямлялся и поправлялъ себя, стараясь придать своей наружности тотъ видъ, какой, по его соображеніямъ, ей слъдовало имъть. Усилія длились недолго и никого обмануть не могли: онъ представлялъ изъ себя очевидно организмъ, разрушенный на половину. Лицо его сдълалось бъло и гладко, какъ фарфоръ, и ни одной здоровой морщины на немъ, которая бы говорила объ упорной борьбъ, выдерживаемой человъкомъ съ наплывающими на него го дами. Страшная худоба и глухой звукъ голоса довершали впечатлъніе, которое я старался скрыть, сколько могъ, усиливаясь сообщить развязный и равнодушный видъ нашей встръчъ. Бълинскій, кажется, замътилъ подлогъ. «Перенесли ли ваши вещи къ намъ въ домъ»!— проговорилъ онъ торонливо и какъ-то сконфуженно, направляясь къ дому.

Вещи были перенесены—я поселился во второмъ этажикъ квартиры—и начался длинный, томительный мъсяцъ безнадежнаго леченія, о которомъ старый широколицый, приземистый докторъ Зальцбрунна уже составилъ себъ, кажется, понятіе съ перваго же дня. На всъ мои разспросы о состояніи больного, о надеждахъ на улучшеніе его здоровья, онъ постоянно отвъчалъ одной и той же фравой: «Да, вашъ пріятель очень боленъ». Болье новой или объясняющей мысли я такъ отъ него и не добился.

Каждое утро Бѣлинскій рано уходиль на воды и, возвратясь домой, ноднимался во второй этажь и будиль меня всегда одними и тѣми же словами— «проснися, сибарить». У него были любимыя слова и поговорки, къ которымъ привыкаль и которыхъ долго не мѣнялъ, пока не обрѣтались новыя, обязанныя тоже прослужить порядочный срокъ. Такъ, всѣ свои довольно частые споры съ Турге-

невымъ онъ обыкновенно начиналъ словами: «Мальчикъ, — берегитесь—я вась въ уголь поставлю». Было что-то добродушное въ этихъ прибауткахъ, походившихъ на дътскую ласку. «Мальчикъ-Тургеневъ» однако же высказывалъ ему подъ-часъ очень жесткія истины, особенно по отношенію къ неумѣнію Бѣлинскаго обращаться съ жизпію и къ его непониманію первыхъ реальныхъ ея основъ. Бълинскій становился тогда серьёзень и начиналь разбирать исихическія и бытовыя условія, мішающія иногда полному развитію людей, хотя бы они и имъли всъ необходимыя качества для развитія; однако же многія слова Тургенева, какъ я замътиль послъ, западали ему въ душу, и онъ обсуждалъ ихъ еще и про себя нъ-которое время. Какъ ни оживлепны были, по временамъ, бесъды наши, особенно когда дъло касалось личностей и физіономій, оставленныхъ по ту сторону нъмецкой границы, но онъ все-таки не могли наполнить целаго летняго монотоннаго дня, и притомъ въ городке, лишенномъ всякаго интеллектуальнаго интереса. Напрасно друзья перебирали свои воспоминанія за утреннимъ кофе, который всемѣрно длили, сидя подъ навъсомъ барака, игравшаго на дворикъ нашего домика роль курьёзной бесъдки безъ сада и зелени; напрасно нотомъ долгій «table d'hôte» въ какомъ-то ресторан'в нанолнялся анекдотами, передачей журнальныхъ новостей и замътокъ о прочитанныхъ книгахъ и статьяхъ -- времени оставалось еще нестерцимо много. Притомъ же скоро оказалась необходимость понизить и тонъ всёхъ разговоровъ. Случалось, что смѣхъ. вызванный какимъ-либо забавнымъ анекдотомъ—переходилъ у Бълинскаго въ нароксизмъ кашля, страшно и долго колебавшаго его грудь и животъ, а съ другой стороны---какая-либо замътка, принятая имъ къ сердцу, мгновенно выгоняла краску на его лицъ и вызывала оживленное слово, за которымъ однако-жъ следовало почти тотчасъ физическое изнеможение. Чисто растительная, животпая жизнь въ перемежку съ чтеніемъ и обивномъ нъсколькихъ мыслей становилась необходимостью; но Тургеневъ не могъ выдерживать этого режима. Онъ снерва нашелъ выходъ изъ него, принявшись за продолжение «Записокъ Охотника», начало которыхъ появилось нъсколькими мъсяцами ранъе и впервые познакомило его со вкусомъ полнаго, литературнаго и популярнаго успъха. Онъ паписалъ въ Зальцбруннъ своего замъчательнаго «Бурмистра», который понравился и Белинскому, выслушавшему весь разсказъ съ вниманіемъ и сказавшему только о Ивночкинв: «что за мерзавецъ—съ тонкими вкусами!» Но затвмъ Тургеневъ уже не могъ долже насиловать свою подвижную природу, и однажды, послж полученія почты, объявиль намь, что увзжаеть на короткое время въ Берлинъ — проститься съ знакомыми, отъфзжающими въ Англію, но

что, ироводивъ ихъ, снова вернется въ Зальцбруннъ. Онъ оставилъ даже часть вещей на квартиръ. Въ Зальцбруннъ онъ не возвратился, вещи его мы неревезли съ собой въ Парижъ, самъ онъ чуть ли не иобывалъ за это время въ Лондонъ.

Молодые годы Тургенева были нанолнены иримърами такихъ

молодые годы Тургенева были нанолнены иримърами такихъ неожиданныхъ поворотовъ въ сторону отъ предпринятаго дѣла, имѣвшихъ силу всегда удивлять и бѣсить его друзей, но надо скавать, что уклоненія эти выходили у него ностоянно изъ одного источника. Тургеневъ тогда еще не могъ останавливаться долго на одномъ рѣшеніи и на одномъ чувствѣ—изъ опасенія замѣшкаться и упустнть самую жизнь, которая бѣжитъ мимо и никого не ждетъ. Имъ овладѣвалъ родъ нервнаго безпокойства, когда приходилось только издали прислушиваться къ ея шуму. Онъ постоя и рвался къ разнымъ центрамъ, гдѣ она наиболѣе кинитъ, и сгоралъ жаждой ощунать возможно большее количество характеровъ и тиновъ, ею иорождаемыхъ, каковы бы они ни были. Не мало жертвъ иринесъ онь этому влеченію своей природы, становясь иногда рядомъ съ довольно ничтожными личностями, по своимъ стремленіямъ, и иродолжая съ ними подолгу одинаковый путь, точно онъ былъ его собственный или особенно излюбленный имъ. Онъ никогда не раздёлялъ брезгливости больней части людей его круга, которая мѣшала имъ ириближаться къ характерамъ и личностямъ извъстнаго круга идей и строя жизни—и тъмъ лишала ихъ значительной доли круга идей и строя жизни—и тымь лишала ихъ значительной доли поучительныхъ наблюденій и выводовъ. Къ тому же, сознаніе разнообразныхъ средствъ успъха, данныхъ ему образованіемъ и природой, затемняло еще тогда для Тургенева и жизненных цъли. Въ эти годы молодости и ея увлеченій ему казалось еще, что онъ можетъ испробовать всѣ возможныя существованія и соединить въ себѣ солидныя качества инсателя и художника съ качествами, нужными для иріобрѣтенія репутаціи побъдителя на всѣхъ рынкахъ, ристалищахъ и аренахъ свѣта, какіе всякое нѣсколько развитое общество отверности свъма. крываетъ своимъ нразднымъ силамъ и тщеславію. Всё эти стремленія скоро улеглись подъ вліяніемъ столько же годовъ, сколько и труда надъ самимъ собой, особенно подъ отрезвляющимъ вліяніемъ сознаннаго имъ, наконецъ, литературнаго своего призванія; но ихъ еще помнять его прежніе сотоварищи, а ніжоторые изъ нихъ помнять еще и съцълью сдълать изъ этихъ давно угасшихъ стремленій основную черту его біографіи. Вотъ почему я и рѣшился дать здѣсь мѣсто моимъ восноминаніямъ о сущности самаго явленія—въ надеждѣ, что они, восноминанія эти, можетъ быть, помогутъ судить о немъ съ мѣрой и осторожностію, которыя не всегда сохраняются современниками нашего поэта-романиста.

При небольшомъ вниманіи уже и тогда постоянно сказывалось, что истинныя сочувствія Тургенева совершенно ясны и опредѣленны, песмотря на его равномърно-ласковое отношение къ самымъ разно-качественнымъ элементамъ общества; что истинныя привязанности и предпочтенія его не только им'єють обдуманныя основанія, но и способны къ продолжительной выдержкі. Впослідствій все это обнаружилось ясно, но круги наши, привыкшіе вообще строго держаться въ своихъ границахъ, пугливо и подозрительно смотръть на все, что лежить за ними и о бокъ съ ними, долго не могли по-мириться съ упомянутой расточительностію Тургенева на связи и знакомства. Независимость всёхъ движеній Тургенева, свободные переходы его отъ одного стана къ другому, противоположному, отъ одного круга идей къ другому, ему враждебному, а также и радикальныя перемёны въ образё жизни, въ выборё занятій и интересовъ, — поочередно приковывавшихъ къ себъ его вниманіе, были загадкой для строгихъ друзей его, и составили ему, въ средъ ихъ, незаслуженную репутацію легкомыслія и слабохарактерности, но никто еще у насъ такъ часто не обманывалъ пророчествъ и опредъленій своихъ критиковъ; никто такъ успъшно не передълывалъ общественныхъ приговоровъ въ свою пользу, какъ именно Тургеневъ. Пока масса эксцентрическихъ анекдотовъ о немъ ходила но литературному міру, въ вид'в свид'втельства о расположеніи его полагаться, для пріобретенія себе почетнаго места въ свете, боле на эффектныя слова и поступки, чемь на содержание и достоинство ихъ-Тургеневъ ни о чемъ другомъ не думалъ, какъ о разборъ явленій, полученныхъ имъ путемъ опыта п наблюденій, какъ о превращении ихъ въ свое умственное добро - и при этомъ разборъ обнаружилъ качества мыслителя, поэта и исихолога, поразившія его преждевременныхъ біографовъ. Такъ, между прочимъ, изъ близкихъ и дружелюбныхъ сношеній съ разнородными слоями общества, не исключая и тъхъ, которые стояли у нашихъ круговъ на index, считались слоями отверженными и недостойными вниманія, возникла у Тургенева та, смівю выразиться, нужда справедливости по отношенію къ людямъ и — какъ необходимая ея окраска — то благорасположение къ нимъ, которыя составили ему другую и уже болъе върную репутацію — чрезвычайно симпатическаго, доброжелательнаго и много понимающаго человъка въ нашемъ русскомъ міръ.

Очень скоро Тургеневъ сдѣлался на цѣлый литературный неріодъ излюбленнымъ человѣкомъ этого многосложнаго русскаго міра, который призналъ въ немъ свое довѣренное лицо и поручилъ ему ходатайство по всѣмъ своимъ дѣламъ. А дѣла эти всѣ были невещественнаго свойства и состояли преимущественно въ отыскиваніи

правъ на сочувствіе къ нравственнымъ и умственнымъ представленіемъ русскаго міра. Тургеневъ оказался не ниже задачи. Почти съ самаго начала литературнаго поприща опъ успѣлъ открыть въ простомъ народѣ цѣлый строй замѣчательныхъ представленій и своеобычной морали, что особенно было ценно, такъ какъ дело тутъ шло о робкомъ и застънчивомъ классъ общества, который не умъетъ, да и вообще не любитъ говорить о себъ и про себя. Перенося ту же интливость анализа на другіе классы общества, Тургеневъ сдѣлался въ Россіи лѣтописцемъ и историкомъ умственныхъ и душевныхъ томленій всего своего времени но разрешенію настоятельныхъ запросовъ пробужденной мысли, очнувшагося ума и сердца, которые не знали покамъстъ, какъ найти для себя выходъ и что съ собой дълать. Въ сущности, вся литературная дъятельность Тур-генева можетъ быть опредълена какъ длинный, подробный и поэтически-объясненный реестръ идеаловъ, какіе ходили по русской землъ, между разнородными слоями ея образованнаго и полу-образованнаго населенія, въ теченіе 30 льтъ и посреди обычной обстановки жизни и суровыхъ условій существованія, въ которыхъ она вращалась. Тургеневъ открылъ особенное творчество на Руси, творчество въ области идеаловъ, и какъ бы мечтательны, молоды, печальны ни были на видъ эти идеалы, какой бы характетъ частнаго домашняго дёла, единичныхъ, разрозненныхъ стремленій мысли и чувства, ни носили они на себъ, поучительная сторона ихъ заключалась въ разновидности съ тъмъ, чъмъ русская жизнь тогда особенно кичи-лась и что обыкновенно производила. Но внутренній смыслъ всякихъ идеаловъ, даже и самыхъ скромныхъ, такъ нривлекателенъ и обладаетъ такой силой возбуждать внимание и сочувствие, что на немъ останавливаются подъ-часъ и умы, далеко ушедшіе но лѣст-ницѣ научнаго и гражданскаго развитія. Идеалы вообще есть се-мейное добро всего образованнаго человѣчества, а при этомъ часто случается, что и не значительная вещь становится дорогой по вос-поминаніямъ и мыслямъ, съ нею связаннымъ. Вотъ почему едино-гласное, почти восторженное одобреніе, какимъ были встрѣчены на Занадѣ разсказы Тургенева, объясняется,—кромѣ мастерства изло-женія, ему свойственнаго и удивившаго искушенный художническій вкусъ Европы, кромѣ любопытства, возбужденнаго картинами неизвъстной, своеобычной культуры, — еще и тъмъ, что разсказы эти поднимали край завъсы, за которой можно было усмотръть тайну духовной и общечеловъческой производительности у новыхъ, чуждыхъ людей, работу ихъ сознанія и страдающей мысли. Мы слышали въ послъднее время, что старый Гизо, прочитавъ «Гамлета Щигровскаго уъзда» Тургенева, увидалъ въ этомъ разсказъ такой

глубокій исихическій анализь обще-человівческаго явленія, что пожелаль познакомиться и лично иоговорить о предметі съ его авторомь. Мнівнія философа и критика—Тэна, а также и Ж.-Занда, о разсказі: «Живыя мощи», извістны. Послідняя писала автору: Nous tous, nous devons aller à l'école chez vous. Уже не говорю о рецензенті и историкі беллетрических ироизведеній Германіи, Юліані Шмидті, который ировозгласиль Тургенева—королемь современной новеллы. Трудно и иересчитать всі симпатическіе отзывы иностранцевь о дізтельности нашего романиста.

Тургеневъ не измѣнилъ качествамъ своего творчества и тогда, когда позднъе вывелъ передъ публикой типы и образы смълаго отрицательнаго характера: и па этихъ холодныхъ физіономіяхъ лежатъ еще огненные слъды какого-то давняго прохода по нимъ тъхъ же волненій, катастрофъ и паденій, какіе вызывались идеальными стремленіями у людей предшествовавшей эпохи вообще. По всей справедливости, Тургенева можно бы было назвать искателемъ дуневныхъ кладовг, таящихся въ нѣдрахъ русскаго міра, и иритомъ искателемъ, обладающимъ необманчивыми примътами для добыванія ихъ: онъ разрылъ иногое множество существованій съ цізлью получить вещественное свидътельство о той идеъ, idée fixe, которая ихъ интаетъ и служитъ путеводной звъздой въ жизни, и никогда не удалялся съ пустыми руками отъ работы, вынося, если не цѣльныя дорогія, исихическія откровенія, то въ крайнемъ случаѣ зачатки и иробы идеальныхъ созерцаній. Все это и сдѣлало его толкователемъ своей эпохи, а вийсти съ тимъ и первокласснымъ инсателемъ въ отечествъ и за-границей. Полное развитие однакоже всъхъ творческихъ приемовъ Тургенева, пе пренебрегавшихъ и раздражающими красками, жесткими словами, ядовитыми намеками для опредвленія грубой, пошлой, обычной русской дёйствительности, и открывавшихъ въ то же время теплыя, цёлительныя струп, какія просачиваются въ этой же самой дъйствительности все это творчество, говорю, тогда лежало еще впереди. Тургеневъ еще только собиралъ для него матеріалы.

И. С. Тургеневъ остался за границей во Франціи и по отъвздѣ Бѣлинскаго во-свояси. Онъ жилъ иочему-то довольно долго въ провинціи (въ Вгіе, и чуть ли не за́мкѣ Ноганъ, помѣстьи Ж.-Зандъ), а когда наѣзжалъ въ Парижъ, то довольно разсѣянно ирислушивался къ толкамъ соотечественниковъ, интересуясь не столько предметами, которые ихъ занимали, сколько ироявленіемъ ихъ характеровъ, исихическими основами ихъ миѣній, причинами, которыя опредѣлили у нихъ тотъ или другой выборъ доктринъ и созерцаній. Изученіе лица стояло у него всегда на первомъ планѣ;

убъжденія цѣнились не столько по своему содержанію, сколько по свѣту, какой они бросають на внутреннюю жизнь человѣка. Черту эту онь раздѣляль съ большинствомъ художниковъ и вообще съ исихологами по природѣ. Художникомъ и психологомъ быль онъ п по отношенію къ самому себѣ. Двойной анализъ—эстетическій и по отношенію къ самому себв. Двойной анализь—эстетическій и моральный, какому сталь онъ рапо подвергать самого себя, подъ конецъ переработаль вею его нравственную физіономію, потушивъ суету пустыхъ исканій, погоню за напускными чувствами и волненіями, пеобходимыми для эфемерныхъ тріумфовъ. Европейская жизнь много помогла ему въ этомъ трудв надъ собой. Вообще говоря, Европа была для него землей обновленія: корни всвхъ его стремленій, основы для воспитанія воли и характера, а также и развитія самой мысли заложены были въ ея почвв—и тамъ глубоко развътвились и пустили отпрыски. Понятно стаповится, почему онъ предпочиталь съ-молода держаться на этой почвв, пока совсвиъ не утвердился на ней. Не мало упрековъ отъ соотечественниковъ вынесъ онъ на ввку своемъ за это предпочтеніе, казавшееся имъ обиднымъ; нѣкоторые изъ нихъ видѣли тутъ даже отсутствіе паціональныхъ убѣжденій, космополитизмъ обезпеченнаго человѣка, готоваго промѣнять гражданскія обязанности свои на комфортъ и легкія потѣхи заграпичнаго существованія, и проч. и проч. Ни въ одномъ изъ взводимыхъ на него преступленій Тургеневъ, конечно, не провинился, да ими и не могъ провиниться человѣкъ, литературная дѣятельность котораго—то-есть, другими словами, вся задача жизни винился, да ими п не могъ провиниться человъкъ, литературная дъятельность котораго — то-есть, другими словами, вся задача жизни — ничего иного никогда и пе высказывала, кромъ постоянной, пламенной думы о своемъ отечествъ, и который жилъ ежедневной мыслію о немъ, гдъ бы пи находился, что хорошо извъстно и старымъ и новымъ его знакомымъ. Не отсутствие народныхъ симпатій въ душъ п не падменное пренебрежение къ строю русской жизни сдълали Европу необходимостию для его существования, а то, что здъсь обильнъе текла умственная жизнь, поглощающая пустыя стремления, что въ Европъ онъ чувствовалъ себя болъе простымъ, дъльнымъ, върнымъ самому себъ и болъе свободнымъ отъ вздорныхъ искушеній, чъмъ когда становился лицомъ къ лицу съ русской дъйствительностию. ствительностію.

Особенио важно замѣтить, что и въ то время, и позднѣе, никакого разрыва съ отечествомъ не могло существовать у Тургепева — уже и потому, что онъ всегда оставлялъ тамъ часть своего существованія, куда бы ни уходилъ, предметъ страсти, такъ-сказать, именно русскую литературу, — понимая подъ этимъ словомъ художническую, критическую и публицистическую дѣятельность. Другая ученая литература жила тогда въ замкнутыхъ кругахъ и съ обще-

ствомъ сношеній не вела. На той, первой, популярной литературъ и сосредоточились всъ помыслы Тургепева. Извъстно, что въ то время русская литература считалась ступенью къ изученію законовъ и условій искусства. Люди той эпохи видёли въ занятіи искусствомъ единственную, оставшуюся имъ тропинку къ нъкотораго рода общественному дёлу: искусство составляло почти спасеніе людей, такъ какъ позволяло имъ думать о себъ, какъ о свободно-мыслящихъ людяхъ. Никогда уже послъ того идея искусства не понималась у насъ такъ обширно и въ такомъ универсальномъ, политико-соціальномъ значеніи, какъ именно въ эти годы затишья. Искусствомъ дорожили: это была единственная цѣиность, которая находилась въ обращеніи, и какой люди могли располагать. Каждая теорія искусства, присвоивавшая, добывавшая ему новыя умственныя области, каждое расширение его въдомства, принимались съ великой благодарностью. Чэмъ просторные становилось въ своихъ владыніяхъ искусство, чёмъ далее отодвигались его границы, — темъ сильнъе увеличивалось число предметовъ, подлежащихъ публичному обсужденію. Вся работа общественной мысли возложена была на одного только агента ея, и такое пониманіе искусства жило ночти во всёхъ умахъ, но, разумѣется, сильнѣе появлялось у присяжныхъ дѣятелей его. Такъ и у Тургенева—привязанность къ русской литературъ и искусству составляла органическое чувство, одолъть которое уже были не въ силахъ никакіе посторониіе соблазны и влеченія. Бълинскій высоко цъниль это качество своего друга. Для Тургенева п многихъ его современниковъ, послъ народа, ничего бо-лъе важнаго и болъе достойнаго вниманія и изученія, чъмъ русская литература, вовсе и не существовало въ Россіи: ее одну они тамъ и видъли, и на нее возлагали всъ свои надежды. Другіе голоса, которые рядомъ съ нею неслись оттуда и подъ-часъ настойчиво требовали вниманія и уваженія къ себъ, проходили безъ отзвука въ ихъ мысли. Для Тургенева, —да, повторяю — и для мно-гихъ другихъ еще за нимъ — слъдить за русской литературой зна-чило — слъдить за первенствующимъ (если не единственнымъ) воспи-тывающимъ и цивилизующимъ элементомъ въ Россіи.

Убѣжденіе это связывалось еще съ представленіемъ дѣльнаго литератора какъ неизбѣжно высоко-нравственнаго лица; занятіе литературой, казалось всѣмъ, требуетъ прежде всего чистыхъ рукъ и возвышеннаго характера. Можно было бы привести много примѣровъ, гдѣ это мнѣніе высказывалось отъ имени публики. Гоголь, котораго нельзя упрекнуть въ потворствѣ литераторамъ, разсказалъ въ своей извѣстной «Перепискѣ» случай, когда одного какого-то нисателя, провинившагося неблаговиднымъ поступкомъ въ провинціи,

пеизв'єстный членъ общества остановилъ строгимъ выговоромъ, который кончался зам'єчаніемъ: «а еще литераторъ!» Тургеневъ подтверждалъ свое страстное чувство къ литературъ и свои заботы о ней—на самомъ дълъ. Многіе изъ его товарищей, видъвшіе возней—на самомъ дълъ. Многіе изъ его товарищей, видъвшіе возникновеніе «Современника» 1847 г.. должны еще помнить, какъ хлоноталъ Тургеневъ объ основаніи этого органа, сколько потратиль онъ труда, иомощи совѣтомъ и дѣломъ на его распространеніе и укрѣпленіе. Первые №№ «Современника» содержатъ, кромѣ начала «Записокъ Охотника», еще нѣсколько историческихъ и критическихъ замѣтокъ Тургенева, не попадавшихъ въ полное собраніе его «Сочиненій». Кстати сказать: эстетическія и полемическія заего «Сочиненій». Кстати сказать: эстетическія и полемическія замітки Тургенева носили всегда какой-то характерь междудилля, отличались умомь, но никогда не обладали той полнотой содержанія, которая необходима для того, чтобы сказанное слово осталось въ намяти людей. То же самое сужденіе можеть быть приложено и къ его позднівшимь объясненіямь съ критиками и недоброжелателями, къ его исповідямь своихъ мнівній (ргобеззіонз de foi), поправкамь и дополненіямь его созерцаній и проч. Они не удовлетворяли ни тізхъ, къ кому относились, ни публику, которая слівдила за его мнівніями. Тургеневь овладіваль вполнів своими тэмами и становился убітлительными только тогла когла разгленать проте и становился убъдительнымъ только тогда, когда разъяснялъ предметы и самого себя на аренъ художественнаго творчества. Русская литература, прикръиленная тогда исключительно къ этой аренъ и къ разнымъ общирнымъ и мелкимъ ея отдъламъ, становилась такимъ важнымъ жизнениымъ явленіемъ, что за нею въ глазахъ Тургенева должно было пронасть и пропадало все, что дълалось другого на родинъ Настоящее дъло было въ однъхъ ея рукахъ— и такъ думалъ о русской журналистикъ, публицистикъ и русской художественной дъятельности вообще не онъ одинъ, какъ уже мы сказали.

Вотъ почему, между прочимъ, Тургеневъ хладнокровно обощелъ и всв идеи и доктрины тогдашней русско-парижской колоніи: они истекали изъ другихъ источниковъ, чвмъ тв, въ которыхъ онъ полагалъ настоящую, пвлебную силу. Русскій «политическій» человіть представлялся ему пока въ типв первокласснаго русскаго писателя, создающаго вокругъ себя публику и заставляющаго слушать себя ноневолів.

Очень характеристично для этого отдаленнаго времени то обстоятельство, что исключительная любовь Тургенева къ литературъ могла еще казаться подозрительной и навлечь ему непріятности. По возвращеній въ Россію въ 1851 г., Тургеневъ быль потрясень извъстіемъ о смерти Гоголя (1852), и послаль въ одну московскую

газету нѣсколько горячихъ строкъ сочувствія къ погибшему дѣятелю, уже послѣ того какъ въ Петербургѣ состоялось распоряженіе о недопущении надгробныхъ панегириковъ автору «Мертвыхъ Душъ». Никто не освъдомился, зналъ ли или не зналъ Тургеневъ о состоявшемся распоряжении и можно ли было даже, предполагая, что распоряженіе было ему изв'єстно, поставить ему въ вину желаніе провести свою статейку въ св'єть, такъ какъ для достиженія своего желанія онъ пе нарушаль никакихъ положительныхъ законовъ и подвергъ статью обыкновенному цензурному ходу, только на раз-стояніи нѣсколькихъ сотъ верстъ отъ Петербурга—въ Москвѣ. Тогдашній предсъдатель цензурнаго комитета въ Петербургъ (Мусинъ-Пушкинъ) однакоже усмотръль въ бъгствъ статейки изъ-подъ его въдомства и появленіи ея въ Москвъ ослушаніе начальству, и по-слъдствіемъ былъ мъсячный арестъ Тургенева при одной изъ Съъз-жихъ и затъмъ высылка въ деревню на жительство. Влагодаря этой мѣрѣ, Съѣзжая, гдѣ онъ содержался (у Большого театра, между Екатерининскимъ каналомъ и Офицерской улицей), попала въ рус-скую литературу и сдѣлалась исторической Съѣзжей. Тамъ, посреди разныхъ домашнихъ расправъ полиціи, бывшихъ тогда еще въ полномъ цвъту, но въ квартиръ самого частнаго пристава, куда былъ переведенъ по повелънію Государя Наслъдника (нынъ царствующаго Императора), Тургеневъ написалъ тотъ маленькій chefd'oeuvre, который не утеряль и досель способности возбуждать уми-леніе читателя, именно разсказъ «Муму». На другой день своего освобожденія и передъ выъздомъ въ ссылку, онъ намъ и прочелъ его. Истинно трогательное впечатлъніе произвель этотъ разсказъ, вынесенный имъ изъ съъзжаго дома, и по своему содержанію, и по спокойному, хотя и грустному тону изложенія. Такъ отвъчаль Тургеневъ на постигшую его кару, продолжая безъ устали начатую имъ дъятельную художническую пропаганду по важнъйшему политическому вопросу того времени.

Послѣ этого отступленія, которое, въ виду разнорѣчивыхъ толковъ о замѣчательномъ человѣкѣ, порожденномъ той же эпохой — 40-хъ годовъ, казалось мнѣ совершенно необходимымъ — возвращаюсь назадъ. Итакъ, послѣ отъѣзда Тургенева, мы остались съ Бѣлинскимъ вдвоемъ, съ глазу на глазъ, въ Зальцбруннѣ.

XXXV.

Бълинскій явился мнъ въ эти дни долгихъ бесъдъ и каждочаснаго обмъна мыслей совершенно въ новомъ свътъ. Страстная его натура, какъ ни была уже надорвана мучительнымъ недугомъ, еще

далево не походила на потухшій вулканъ. Огонь все тлился у Бѣлинскаго подъ корой наружнаго спокойствія и пробѣгалъ иногда по всему организму его. Правда, Бѣлипскій начиналъ уже бояться самого себя, бояться тѣхъ еще не порабощенныхъ силъ, которыя въ немъ жили, и могли при случаѣ, вырвавшись наружу, уничтожить за-разъ всѣ плоды прилежнаго леченія. Онъ принималъ мѣры противъ своей виечатлительности. Сколько разъ случалось мнѣ видѣть, какъ Бѣлинскій, молча и съ болѣзненнымъ выраженіемъ на лицѣ, опрокидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное имъ ощущеніе сильно въѣдалось въ его душу, а онъ считалъ нужнымъ оторваться или освободиться отъ него. Минуты эти походили на особый видъ душевнаго страданія, присоединеннаго къ физическому, и не скоро проходили: мучительное выраженіе довольно долго не покидало его лица послѣ нихъ. Можно было ожидать, что, псемотря на всѣ предосторожности, наступитъ такое мгновеніе, когда онъ не справится съ собой,—и, дѣйствительно, такое мгновеніе наступило для него въ концѣ нашего пребыванія въ Зальцбруннѣ.

Надо знать, чёмъ былъ за полгода до своей смерти Бёлинскій, чтобы понять весь паоосъ этого мгновенія, имёвшаго весьма важныя послёдствія, и отъ дальнёйшихъ п окончательныхъ результатовъ котораго освободила его только смерть. Я подразумёваю здёсь пзвёстное его письмо къ Гоголю, много потерявшее теперь изъ первоначальныхъ своихъ красокъ, но въ свое время раздавшееся по интеллектуальной Россіи, какъ трубный гласъ. Кто повёритъ, что когда Бёлинскій писалъ его, онъ былъ уже не прежній боецъ, искавшій битвъ, а, напротивъ, человёкъ, наполовину зампренный и потерявшій вёру въ пользу литературныхъ сшибокъ, журнальной полемики, трактатовъ о теченіяхъ русской мысли и рецензій, уничтожающихъ болёе пли менёе шаткія литературныя репутаціи.

Мысль его уже обращалась въ кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися опредъленіями правъ и обязанностей человъка, новой правдой, провозглашаемой экономическими учепіями, которая упраздняла вст представленія старой, отмъняемой правды, о нравственномъ, добромъ и благородномъ на землѣ, п ставила на ихъ мѣсто формулы и тезисы разсудочнаго характера. Бълинскій давно уже интересовался, какъ мы видѣли прежде, этими проявленіями пытливаго духа современности, но о какомъ-либо приложеніи ихъ къ русскому міру, гдѣ еще не существовало и азбуки для разбора и разумѣнія ихъ языка,—никогда не помышлялъ. Онъ пришель только къ заключенію, что дѣло развитія каждой отдѣльной личности, ищущей нѣкоторой высоты/и свободы для своей мысли, должно сопровождаться поспльнымъ участіемъ въ пзслѣдованін свойствъ

и элементовъ того потока политическихъ и соціальныхъ идей, въ который брошены теперь цивплизація и культура Европы. Для облегченія этой работы, необходимой для каждой мало-мальски мыслящей и совъсталивой личности, Бѣлинскій и начиналъ думать, что слѣдовало бы и въ русской литературѣ установить коренныя точки зрѣнія на европейскія дѣла, съ которыхъ и могла бы начинаться независимая работа критики у насъ и свободное изслѣдованіе всего ихъ содержанія.

Одного только не могъ онъ переносить: спокойствие и хладнокровное размышление покидало его тотчасъ, какъ онъ встръчался съ сужденіемъ, которое, подъ предлогомъ неопределенности или неубъдительности европейскихъ теорій, обнаруживало поползновеніе позорить труды и начинанія эпохи, не признавать честности ея стремленій, подвергать огуломъ насмѣшкѣ всю ея работу, на основаніи твхъ самыхъ отжившихъ традицій, которыя именно и привели встхъ къ нынёшнему положенію дёлъ. При встрече съ ораторствомъ или диффамаціей такого рода, Бълинскій выходиль изъ себя, а книга Гоголя «Переписка съ друзьями» была вся, какъ извъстно, проникнута духомъ недовърчивости и наглаго презрънія къ современному движенію умовъ, которое еще и плохо понимала. Вдобавокъ, она могла служить и тормазомъ для возникавшихъ тогда въ Россіи плановъ крестьянской реформы, о чемъ скажу ниже. Негодованіе, возбужденное ею у Бълинскаго, долго жило въ скрытномъ видъ въ его сердив, такъ какъ онъ не могъ излить его вполнв въ печатной оцівнов произведенія по условіямь тогдашней цензуры, а потому, лишь представился ему случай къ свободному слову, - оно потекло огненной лавой гнъва, упрековъ и обличеній...

Понятно, однако же, что съ новымъ настроеніемъ Бѣлинскаго волненія и схватки русскихъ литературныхъ круговъ, въ которыхъ онъ еще недавно принималъ такое живое участіе, отошли на задній планъ. Онъ даже начиналъ смотрѣть и на всю собственную дѣятельность свою въ прошломъ, на всю изжитую имъ самимъ борьбу съ литературными противниками, гдѣ такъ много потрачено было силъ и здоровья на пріобрѣтеніе кажущихся побѣдъ и очень реальныхъ страданій, какъ на эпизодъ, о которомъ не сто́итъ вспоминать. Такъ выходило, по крайней мѣрѣ, изъ его суровой, неснраведливой оцѣнки самого себя, которую въ послѣдніе мѣсяцы его существованія не одинъ я слышалъ отъ него. Бѣлинскій становился одинокимъ посреди собственной партіи, несмотря на журналъ, основанный во имя его, и первымъ симптомомъ выхода изъ ся рядовъ явилась у него утрата всѣхъ старыхъ антипатій, за которыя еще крѣпко держались его послѣдователи, какъ за средство сообщать видъ стой-

кости и энергіи своимъ убѣжденіямъ. Онъ до того удалился отъ кружковаго настроенія, что получиль возможность быть справедливимъ и, наконецъ, упразднилъ въ себѣ всѣ закоренѣлыя, ночти обязательныя ненависти, которыя считались прежде и литературнымъ, и политическимъ долгомъ. Не многіе изъ его окружающихъ поняли причины, побуждавшія его разсчитаться со своимъ прошлымъ, не оставляя позади себя никакого предмета злобы, — а причина была яспа. Въ умѣ его созрѣвали цѣли и иланы для литературы, которыя должны были измѣнить ея направленіе, оторвать отъ почвы, гдѣ она укоренилась, и вызвать враговъ другой окраски и, конечно, другого, болѣе рѣшительнаго и опаснаго характера, чѣмъ всѣ прежніе враги, хотя и горячіе, но уже обезсиленные на-половину и безвредные...

Я уже уномянуль, какое странное впечатлѣніе произвело на ближайшихъ его сотрудниковъ по журналу заявленное имъ сочувствіе къ той части славянофильскихъ воззрѣній па народъ, которая можетъ быть принята каждымъ размышляющимъ человъкомъ, къ какой бы партіи онъ ни принадлежалъ. Хуже еще было, когда Бълинскому вздумалось похвалить, со всъми надлежащими оговорками, «Восноминанія Булгарина», тогда вышедшія, и замѣтить, что они любонытны по характеристикѣ русскихъ нравовъ въ началѣ ныившняго стольтія, системы тогдашняго публичнаго воспитанія и вообще заведенныхъ порядковъ жизни, которыхъ авторъ былъ самъ свидътелемъ и жертвой. Похвала Булгарину въ устахъ Бълинска-го, какъ ни была еще скромна сама-по-себъ, показалась однако же такой чудовищной вещью журпальнымъ соредакторамъ критика, что они напечатали статейку, уже переработавъ и переиначивъ ее до пеузнаваемости, и тъмъ вызвали укоризненное иримъчание послъдующаго издателя сочиненій Бѣлинскаго, гласившее: «Статья эта, напечатанная по рукописи,—въ «Современникъ»,—какая-то странтая передълка». Редакція имъла нъкоторое моральное право желать такой передълки. Во-первыхъ, никто не былъ приготовленъ къ подобному нарушенію всёхъ традицій либеральной журналистики, связывавшей съ нёкоторыми литературными именами множество вонросовъ, которые только полемически и могли быть поднимаемы въ нечати, и которые давали этимъ именамъ значение символовъ, для всёхъ понятныхъ и пе требовавшихъ дальнейшихъ разъясненій; а во-вторыхъ— можно было думать, что Бѣлинскій не остановится на нервомъ шагѣ въ дѣлѣ упраздненія либеральныхъ традицій своей нартіи, что грозило оставить въ будущемъ саму партію безъ дѣла, круглой сиротой, не знающей за что приняться. Многіе изъ друзей уже относили къ упадку умственныхъ силъ поворотъ, замвчаемый въ направленіи Бѣлинскаго, и выражали опасеніе, что онъ обратится на разрушеніе по частямъ тѣхъ началъ, которыя окрашивали такъ долго и ярко его собственную дѣятельность, причемъ повый журналъ, конечно, терялъ одинъ изъ крупныхъ девизовъ своего знамени.

Опасенія несбывшіяся, но они не вовсе взяты были съ вътра. Бълинскій по временамъ обнаруживалъ мрачный взглядъ на свою прошлую литературную жизнь. Помню, какъ однажды, посль особенно мучительнаго дня кашля и уже укладываясь въ постель, онъ вдругъ заговорилъ тихимъ, полу-грустнымъ, но твердымъ тономъ: «Не хорошо больть, еще хуже умирать, а больть и умирать съ мыслью, что ничего не останется посль тебя на свъть, — хуже всего. Что я сдълалъ? Вотъ хотълъ докончить исторію русской народной поэзіи и литературы, да теперь и думать нечего. А можетъ быть кто-нибудь тогда и вспомнилъ-бы обо мнъ, а что теперь? Знаю, что вы хотите сказать, — прибавилъ онъ, замътивъ у меня движеніе, — но въдь двъ-три статьи, въ которыхъ еще половина занята современными пустяками, уже и теперь никому ненужными, не составляютъ наслъдства. А все прочее понадобится развъ историку нашей эпохи»... И такъ далье...

Я оставиль его съ тяжелымъ чувствомъ на душѣ. Это сомнѣніе въ пользѣ цѣлаго жизненнаго труда — имѣло для меня трагическій смыслъ. И нельзя было приписать слова Бѣлинскаго дѣйствію болѣзни: онъ, видимо, думалъ и прежде о томъ, что теперь высказалъ, — за рѣчью его слышалось какъ-бы долгое предварительное соображеніе. Выходило, что человѣкъ, пользующійся большой популярной извѣстностью, обремененный, такъ-сказать, сочувствіями цѣлаго поколѣнія, имъ воспитаннаго, — еще считаетъ себя призракомъ въ исторіи русской культуры и не убѣжденъ въ достоинствѣ той монеты, на которую куплено его вліяніе и слава. Много было несправедливости къ самому себѣ въ этой оцѣнкѣ, но много заключалось въ ней и новыхъ возникшихъ требованій отъ литературнаго дѣятеля, а также много горя—и не одного личнаго.

Но интересы мысли и развитія, на которые Бѣлинскій постолнно обращаль свое вниманіе, всегда выводили его изъ всякаго субъективнаго настроенія, какъ бы оно ни было глубоко и искренне,—выводили на свѣтъ, къ людямъ и дѣламъ ихъ. Это случилось и теперь.

Torда много шумъла извъстная—теперь уже позабытая—книга Макса Стирнера: «Der Einzige und sein Eigenthum» (Единичный человъкъ и его достояніе). Сущность книги, если выразить ее наиболье краткимъ опредъленіемъ, заключалась въ возвеличеніи и про-

славленіи эгоизма, какъ единственнаго оружія, какимъ частное лицо, притёсняемое со всёхъ сторонъ государственными распорядками, можетъ и должно защищаться противъ матеріальной и нравственной эксплуатаціи, направленной на него узаконеніями, обществомъ и государствомъ вообще. Книга принадлежала къ числу многочисленныхъ тогдашнихъ попытокъ подмёнить существующія основы политической жизни другими лучшаго издёлія, и достигала, какъ часто бывало съ этими попытками, цёлей, совершенно противоположныхъ тёмъ, какія имёла въ виду. Возводя эгоизмъ на степень политической доблести, книга Стирнера устроивала въ сущности дёла плутократіи (кстати — легкій каламбуръ, представляемый этимъ словомъ на русскомъ языкъ, не разъ и тогда употреблялся Бёлипскимъ въ разговорѣ). Ознакомившись съ книгой Стирнера, Бёлинскій принялъ близко къ сердцу вопросъ, который она поднимала и старалась разрёшить. Оказалось, что тутъ былъ для него весьма важный нравственный вопросъ.

— Пугаться одного слова: «эгоизмъ», —говориль онь, —было бы ребячествомъ. Доказано, что человъкъ и чувствуетъ, и мыслитъ, и дъйствуетъ неизмънно по закону эгоистическихъ побужденій, да другихъ и имѣть не можетъ. Бѣда въ томъ, что мистическія ученія опозорили это слово, давъ ему значеніе прислужника всѣхъ низкихъ страстей и инстинктовъ въ человъкъ, а мы и привыкли уже понимать его въ этомъ смыслъ. Слово было обезчещено по-напрасну, такъ какъ въ сущности обозначаетъ виолнъ естественное, необходимое, а потому и законное явленіе, да еще и заключаетъ въ себъ, какъ все необходимое и естественное, возможность моральнаго вывода. А вотъ я вижу тутъ автора, который оставляетъ слову его позорное значеніе, данное мистиками, да только дѣлаетъ его при этомъ маякомъ, способнымъ указывать путь человѣчеству, открывая во всѣхъ позорныхъ мысляхъ, какія даются слову, еще новыя качества его и новыя его права на всеобщее уваженіе. Онъ просто дѣлаетъ со словомъ то же, что дѣлали съ нимъ и мистики, только съ другого конца. Отсюда и выходитъ невообразимая путаница: я полагаю, напримъръ, что книга автора найдетъ восторженныхъ цѣнителей въ тѣхъ людяхъ, одобренія которыхъ онъ совсѣмъ не желалъ, и строгихъ критиковъ въ тѣхъ, для которыхъ книга написана. Нельзя серьёзно говорить о эгоизмѣ, не положивъ предварительно въ основу его —моральный принципъ, и не попытавъ затѣмъ изложить его теоретически, какъ моральное начало, чѣмъ онъ, рано или поздно, непремѣнно сдѣлается...

Я передаю здёсь смысль рёчи Бёлинскаго въ томъ порядкё, какъ она запечатлёлась въ моей памяти, и, конечно, другими сло-

вами, а не тъми самыми, какія опъ употребляль. Нъсколько разь, при разныхъ случаяхъ и въ разное время возвращался онъ опять къ вопросу, кеторый видимо занималь его. Не могло быть сомнънія, что вопрось связывался съ послёднимъ видоизмѣненіемъ долгой моральной проповѣди, которую Бѣлинскій велъ всю свою жизнь, и постепенное развитіе которой было уже нами представлено. Заключительное слово этой проповѣди на столько любопытно, что можетъ оправдать попытку собрать его замѣтки, съ помощью уцѣлѣвшихъ въ моей памяти отрывковъ, въ одно цѣлое, причемъ необходима оговорка, уже столько разъ прежде дѣлаемая, что изложеніе не даетъ ни малѣйшаго понятія о пылѣ и краскахъ, какія сообщалъ авторъ своему слову, ни о формѣ, въ какую выливалась его рѣчь.

своему слову, ни о формѣ, въ какую выливалась его рѣчь.
— Грубый, животный эгоизмъ, — размышлялъ Вѣлипскій, — не можетъ быть возведенъ не только въ идеалъ существованія, какъ бы хотълъ нъмецкій авторъ, но и въ простое правило общежитія. Это разъединяющее, а не связующее начало въ своемъ первобытномъ видъ, и нолучаеть свойство живой и благод втельной силы только послв тщательной обработки. Кто не согласится, что чувство эгоизма, управляющее всымь живымь міромь на земль, есть также точно источпикъ всъхъ ужасовъ, на ней происходившихъ, какъ и источникъ всего добра, которое она видела! Значить, если нельзя отделаться отъ этого чувства, если необходимо считаться съ нимъ на всехъ пунктахъ вселенной, въ политической, гражданской и частной жизни человъка, то уже сама собой является обязанность осмыслить его и дать ему правственное содержание. Точно то же было сдълано для другихъ такихъ же всесвътныхъ двигателей — любви, напримъръ, полового влеченія, честолюбія, — и нѣтъ причины думать, что эгоизмъ менѣе способенъ преобразоваться въ моральный принципъ, чѣмъ равносильныя ему другія природныя побужденія, уже въ него возведенныя. А моральнымъ принципомъ эгоизмъ сделается только тогда, когда каждая отдъльная личность будетъ въ состояни присоединить къ своимъ частнымъ интересамъ и нуждамъ еще интересы посторонпихъ, своей страны, цёлой цивилизаціи, смотрёть на нихъ какъ на одно и то же дёло, посвящать имъ те самыя заботы, которыя вызываются у нея потребностію самосохраненія, самозащиты, п прочее. Такое обобщение эгоизма и есть именно преобразование его въ моральный принципъ. Вотъ уже и теперь есть примфры въ нъкоторыхъ государствахъ такихъ передовыхъ личностей, которыя принимаютъ оскорбленіе, нанесенное одному человъку на другомъ концъ свъта, за личную обиду и обнаруживають настойчивость въ преследованін незнакомаго преступника, какъ будто дівло идеть о возстановленіи собственной чести. И зам'єтить надо, что при этомъ любовь, сочувствіе, уваженіе и вообще сердечныя настроенія не играють никакой роли - покровительство распространяется, въ одинаковой мъръ, и на людей, часто презираемыхъ отъ всей души защитниками ихъ, -- на такихъ, которыхъ последние никогда не допустятъ въ свое общество, да, случается, не признаютъ пользы и самаго существованія ихъ на свъть. Что это такое, какъ не эгонямъ, превосходно воспитанный и достигний уже до чувствительности строгаго, нравственнаго начала. Но такихъ передовыхъ личностей еще очень мало-и они остаются покамъстъ исключеніями. Французы обозначають словомь солидарность эту способность сберегать самого себя въ другихъ, и пытаются сделать изъ него научный терминъ, вводя попятіе, которое оно выражаеть, въ политическую экономію, какъ необходимый ея отдёлъ. А что такое солидарность какъ не тотъ же эгоизмъ, отшлифованный и освобожденный отъ всёхъ частицъ грубаго матеріала, входившаго въ его составъ. Говорятъ, что всъ старые и новые философы и проповъдники тоже учили искони думать о ближнемъ болве, чвмъ о самомъ себв. Это правда, но они не столько учили, сколько приказывали върить своимъ словамъ, требуя жертвъ и не объщая никакихъ вознагражденій за послушаніе, кром в похвалъ совъсти - и успъхъ этихъ приказаній быль таковъ, какъ извъстно, что эгонамъ живетъ и доселв повсемвстно въ самомъ сыромъ и нетронутомъ видъ. О насъ уже и говорить нечего. Несмотря на многовъковые приказы быть чувствительными къ страданіямъ ближняго найдется ли у насъ нятокъ человъкъ, которые возмутились бы ударами, падающими не на ихъ собственную кожу? Едипственную кръпкую и надежную узду на эгоизмъ выковываетъ человъкъ самъ на себя, какъ только доходить до высшаго пониманія своихъ интересовъ. Нфмецкій авторъ папрасно собользнуеть о жертвахъ, какія требуются теперь отъ каждой отдельной личности государствомъ и обществомъ, и напрасно старается защитить эту личность, проповъдуя всеотрицающій эгоизмъ: настоящій эгоизмъ будетъ всегда приносить добровольно огромныя жертвы тёмъ силамъ, которыя способствуютъ облагороживанію его природы, а это именно и составляетъ задачу всякой цивилизаціи. Государство и общество пикакой другой цели въ сущности и не имеють, кроме цели способствовать прекращенію животнаго эгонзма личности, въ чуткій, воспріимчивый духовный инструменть, который сотряслется и приходить въ движение при всякомъ въянии насилия и безобразия, откуда бы они пи приходили...

Этотъ бѣглый, поверхностный очеркъ размышленій Бѣлинскаго по поводу книги Стирнера—показываетъ, что послѣдняя моральная его проповѣдь уже основывалась на дѣйствіп тѣхъ врожденныхъ

психическихъ силъ человѣка, которыя впослѣдствіи были подробно изслѣдованы и получили названіе альтруистическихъ. Бѣлинскій предупредилъ нѣсколькими годами анализъ психологовъ, но, конечно, не могъ дать его въ надлежащей чистотѣ и опредѣленности, что, вѣроятно, помѣшало и изложенію его взглядовъ въ печати, гдѣ отъ нихъ не находится никакого слѣда. Онъ уже боялся прямого, непосредственнаго философствованія, и не хотѣлъ къ нему возвращаться послѣ своихъ старыхъ опытовъ на этомъ поприщѣ 1).

Въ тъспой связи съ настроеніемъ Вълинскаго находится уже его признвъ, обращенный къ художественной русской литературъ и беллетристикъ — принять за конечную цъль своихъ трудовъ служение общественнымъ интересамъ, ходатайство за низшіе, обездоленные классы общества. Призывъ находится въ последней, предсмертной стать В Бълинскаго, написанной имъ по возвращении изъ-за границы и напечатанной въ «Современникъ» 1848: «Взглядъ на русскую литературу 1847 года». Обозрвніе это составляеть какъ-бы мость, нерекинутый авторомъ отъ своего поколенія къ другому — новому, приближеніе котораго Бѣлинскій чувствоваль уже и по задачамь, какія стали возникать въ умахъ. Не разъ и въ старое время Бълинскій высказываль тъ же мысли — о необходимости ввода въ литературу мотивовъ общественнаго характера и значенія, какъ способа сообщить ей ту степень дельности и серьёзности, съ помощію которыхъ она можетъ еще расширить принадлежащую ей роль первостепеннаго агента культуры. Теперь критикъ уже паклоненъ быль требовать отъ литературы исключительнаго запятія предметами соціальнаго значенія и содержанія и смотреть на нихъ какъ на единственную ея цъль. Разница въ постановкъ вопроса была туть немаловажная, и объясняется она, кромъ всего другого, еще и состояніемъ умовъ, новыми реформаторскими вѣяніями, обнаружившимися въ обществъ. Тогда именно крестьянскій вопросъ пытался впервые выдти у насъ на свътъ изъ тайныхъ пожеланій и секретнаго канцелярскаго его обсужденія: составлялись полу-оффиціальные комитеты изъ благонамъренныхъ лицъ, считавшихся сторонниками эмансипаціи, принимались и поощрялись проекты лучшаго разръшенія вопроса, допускались, подъ покровительствомъ м-ва имуществъ, экономическія изследованія, обнаружившія несостоятельность

¹⁾ Можетъ быть, подъ вліяніемъ вышензложенныхъ мыслей, Бёлинскій и получиль представленіе о Сикстинской Мадонив, которую потомъ видвлъ въ Дрезденв, какъ объ ультра-аристократическомъ типв. Онъ перевелъ ея божественное спокойствіе, такъ опоэтизированное у насъ В. А. Жуковскимъ, на простое опредвленіе, по которому въ лицв ея выражается равнодушіе къ страданіямъ и нуждамъ низменнаго нашего міра или, другими словами, полное отсутствіе альтруистическихъ чувствъ.

обязательнаго труда и проч. Все это движеніе, какъ пзвъстно, продержалось не долго, обезсиленное сначала тайнымъ противодъйствіемъ потревоженнихъ пнтересовъ, прикрывшихся знаменемъ консерватизма, а затъмъ окончательно смолкшее подъ вихремъ 1848, налетъвшимъ на него съ береговъ Сены, который опустошалъ преимущественно у насъ зачатки благихъ предначертаній. Но до этой непредвидънной катастрофы, казалось, наступила благопріятная минута
указать, что всъ истинно-великія литературы древняго и новаго міра
никогда не имъли другихъ цълей, кромъ тъхъ цълей, какія поставляетъ
себъ и общество въ стремленіяхъ къ лучшему умственному и матеріальному самоустройству. Это именно п сдълалъ Бълинскій во
«Взглядъ на литературу 1847 г.», причемъ, если изъ ръчи, которую повелъ онъ тогда, устранить оцънку произведеній эпохи, не
относящуюся прямо къ вопросу, то ръчь эта можетъ быть названа
предтечей п первообразомъ всъхъ послъдующихъ ръчей въ томъ же
духъ и направленіп, сказанныхъ десять лътъ спустя, за исключеніемъ только одной черты ея, ръзко отдъляющей и Бълинскаго, и
его эпоху, отъ наступившаго за ними времени. Черта образовалась
изъ особеннаго пониманія самыхъ условій искусства, хотя бы и съ
политической окраской.

Съ достовърностію можно сказать, что когда Бълинскій писаль свою статью, передъ глазами его мелькали соображенія отчасти п практическаго характера. Изящная литература могла пособить, такъсказать, родамъ давно ожидаемой крестьянской реформы. Какъ ни упорно держались слухи о признанной необходимости ся въ оффиціальныхъ кругахъ—никто не говорилъ о ней прямо въ печати. Множество соображеній мѣшали реформѣ спуститься на площадь и принять единственный путь, ведущій къ осуществленію ся—путь всенародныхъ толковъ. Изъ этихъ мѣшающихъ соображеній напболѣе вѣское было слѣдующее:—ни одно самое умѣренное и сдержанное слово, ни одно самое хладнокровное и безстрастное изслѣдованіе, которыя захотѣли бы говорить о поводахъ къ измѣненію крѣпостничества—этой коренной основы русской жизни—не могли бы обойтись безъ характеристики темныхъ сторонъ, ею порожденныхъ и оправдывающихъ посягновенія на ся существованіе и заведенные ею порядки. Избѣжать горькой необходимости—осуждать прошлыя времена и вмѣстѣ сохранить въ цѣлости идею реформы, ихъ отрицающую—вотъ что составляло трудную дилемму, на разрѣшеніе которой уходила безплодно вся энергія нововводителей, и которая постоянно держала ихъ па почвѣ осторожныхъ внушеній и намековъ, не обязывающихъ къ немедленному принятію рѣшенія. Литература романовъ, повѣстей, такъ-называемая изящияя литература вообще могла сослужить при

этомъ большую службу. Она не обязана была знать о существованіи затрудненій и опасеній но ділу реформенной пропаганды, а прямо и смъло начать ее отъ своего имени. Обманывая глаза своимъ притворнымъ равнодушіемъ къ политическимъ вопросамъ, занимаясь, новидимому, самымъ ничтожнымъ дёломъ прінсканія тэмъ и драматическихъ сюжетовъ для развлеченія публики, литература эта могла войти потаенной дверью въ самую среду вопросовъ, изъятыхъ изъ ея въдънія, что уже и дълала не разъ. «Записки Охотника», «Записки доктора Крупова», «Бфдные люди» Достоевскаго, а, наконецъ, мелодраматическій «Антонъ Горемыка» и «Деревня» — уже показали, какъ произведенія чистой фантазіи становятся трактатами психологіи, этнографіи и законодательству. Білипскій думаль, что пришло время для литературы взять на себя всю ту работу, которую другіе двятели откладывали именно подъ предлогомъ безвременья, и произвести за нихъ тотъ следственный процессъ надъ старыми условіями русскаго существованія, какой должень предшествовать окончательному ихъ устраненію и осужденію. Бълинскій, вивств съ твиъ, становился и сторонникомъ правительства, какъ это можно видъть и въ многочисленныхъ печатныхъ его заявленіяхъ отъ 1847 года. Нужда въ такомъ содбиствіи литературы, однакожъ, скоро виновала, и, наоборотъ, вся ею уже заготовленная съ этой цълью работа признана была даже опасной. Совстить тъмъ остается вполнъ достовърнымъ, что если бы движение продолжалосьлитература приняла бы на себя всв ненависти раздраженныхъ интересовъ и эгоистическихъ страстей, отдала бы себя на проклятія и поруганія и развязала бы другимъ руки только на свётлое, благодатное и благодарное дѣло возстановленія права и справедливости въ странв.

Ясно, что какъ проповъдь, такъ и всѣ памъренія Бѣлинскаго въ этомъ случав скорве можно назвать консервативными въ общирномъ смыслѣ слова, чѣмъ революціонными, какъ прославляли ихъ потомъ соединенные враги печати и реформъ въ стров русской жизни. Здѣсь кстати будетъ сказать вообще о прозвищѣ «революціонера и агитатора», какое получилъ Бѣлинскій у своихъ, ему современныхъ и у нозднѣйшихъ враговъ, которымъ одинаково полезно было распространять эту репутацію. Ни одно изъ его увлеченій, ни одинъ изъ его приговоровъ, ни въ печати, ни въ устной бесѣдѣ, не даютъ права узнавать въ немъ, какъ того сильно хотѣли его непавистники, – любителя страшныхъ соціальныхъ переворотовъ, свирѣпаго мечтателя, питающагося надеждами на крушеніе общества, въ которомъ живетъ. Тѣ вснышки Бѣлинскаго, на которыя указывали диффаматоры его для подтвержденія своихъ словъ, всегда были

произведеніемь ума и сердца, обиженныхъ въ своемъ правственномъ существъ, въ своей *идеалистической* природъ. Ими онъ только облегчалъ душевныя сграданія и мстилъ подъ-часъ за грубое ирикосновеніе къ какому-либо гуманному чувству своему; но одно недоразумѣніе или одна злая подозрительность могли предполагать за всёмъ этимъ еще жажду скорыхъ расправъ, внезапныхъ потрясеній и нростора для личной мести. Никогда и мысленно не принималь онъ защиты тъхъ разрушительныхъ явленій, которыя проходять иногда черезъ исторію и дъйствують въ ней со слъпотой стихійныхъ силъ, не имъя подъ собой часто никакихъ моральныхъ основъ, и составляя какъ-бы страшную и вмѣстѣ нелѣную импровизацію жизни, раздраженной до послѣдней степени несчастіями и страданіями. Не разъ Бълинскій и самъ признавался, когда заходила ръчь о такихъ эпохахъ, упоминаемыхъ исторісй западныхъ европейскихъ народовъ, что въ подобныя времена онъ былъ бы совершенно ничтожнымъ, что въ подооныя времена онъ оылъ оы совершенно ничтожнымъ, растеряннымъ человъкомъ, годнымъ единственно на то, чтобы умножить собою число жертвъ, обыкновенно оставляемыхъ ими за собой. Все, что не носило на себъ печати мысли, не имъло интеллектуальнаго характера и выраженія, вселяло ему ужасъ. Вълинскій легко, быстро понималь всякую смълую идею и всякое смълое ръшеніе, состоящее въ какомъ-либо, хотя бы и дальнемъ родствъ, съ началами и приходиль въ-тупикъ передъ роковыми случайностими, такъ часто паправляющими жизнь помимо человъческаго предвидънія. На нихъ онъ никогда пе разсчитывалъ и никогда пе вводилъ ихъ въ кругъ своего созерцанія. Оставаясь такимъ же идеалистомъ въ пониманіи условій историческаго прогресса, какъ и въ своей жизни, онъ отличался неспособностію признать нужду лжи, даже когда она успокоиваетъ колеблющіеся умы, чувствоваль неодолимое отвращеніе потворствовать пустымь людямь и вздорнымь явленіямь, если бы они даже и дъйствовали въ рядахъ его собственной партіи. У Вълицскаго не было первыхъ, злементарныхъ качествъ революціонера и агитатора, какимъ его хотъли прославить, да и прославляютъ еще и теперь люди, ужасающіеся его честной откровенности и внутренней правды всёхъ его убъжденій; по взамёнь у него были всё черты настоящаго человёка и представителя 40-хъ годовъ—и между этими чертами одна очень крупная, къ которой теперь и перехожу.

Черта эта состояла, какъ уже было сказано, въ особенномъ нониманіи искусства, какъ важнаго элемента, устроивающаго психиче-

Черта эта состояла, какъ уже было сказано, въ особенномъ нониманіи искусства, какъ важнаго элемента, устроивающаго исихическую сторону человъческой жизни и черезъ нея развивающаго въ людяхъ способность къ воспринятію и созданію идеальныхъ представленій. Чертой этой Бълинскій ръзко разграничивалъ свою эпоху отъ послъдующей, съ которой во всемъ другомъ имълъ множество точекъ соприкосновенія. Разлагая и опровергая старый эстетическій афоризмъ — искусство для искусства, переводя всв задачи литературы на общественно-служебную почву, помъщая искусство и фантазію въ авангардъ, такъ-сказать, доблестной арміи волонтеровъ, сражающихся за великодушныя идеи, что значило, по мысли критика, сражаться за хорошо понятые интересы каждаго лица въ государствъ Вълинскій хотъль, чтобы войско это снабжено было и надежнымъ оружіемъ, а такимъ оружіемъ для него онъ считалъ всегда поэзію и творчество. Онъ допускалъ и простое обличеніе зла, простое отрицаніе на-голо, но смотрель на нихь, какь на рукопашную схватку, которая въ некоторых случаях можеть быть неизбъжна, но которая одна никогда не ръшаетъ дъла и не одолъваетъ враговъ. Одолъваетъ ихъ или, по крайней мъръ, наноситъ имъ неисцелимыя раны только творческій таланть, такъ какъ одинъ онь можеть собрать милліоны безобразных случайностей, пробытающихъ черезъ жизнь, въ цёльную поразительную картину, и одипъ онъ способенъ выдълить изъ тысячи лицъ, болъе или менъе возбуждающихъ наше негодованіе, полный типъ, въ которомъ они всъ отразятся. Нътъ надобности повторять здъсь то, что онъ говорилъ по этому поводу, но необходимо отмътить и удержать въ памяти основу его литературно-политической теоріи. Основой этой было коренное убъждение, что создание художническихъ типовъ указываетъ положительными и отрицательными сторонами своими дорогу, которой идетъ развитие общества - и ту, по которой оно должно бы идти въ будущемъ. Это убъждение оставило и ясные слъды статьъ критика: «Взглядъ на русскую литературу 1847», гдъ его всякій и можеть найти 1).

Я уже сказаль, что эта статья была тёмь послёднимь звеномь въ развитіи одного періода нашей литературы, къ которому примкнули и за которое цёплялись первыя звенья новаго, послёдующаго ея направленія. Перерыва туть не было, какь его, кажется, не было ни въ одну изъ эпохъ русской исторіи, но характеры явленій обозначались, на первыхъ порахъ, значительными отступленіями и несходствами. Черезъ 10 лётъ послё смерти Бёлинскаго, изъ его теорій изящнаго принято было ученіе объ общественныхъ цёляхъ искусства, а всё добавочныя положенія къ его ученію оставлены были въ сторонё.

Новое покольніе, уже успъвшее пережить грозный промежутокъ времени съ 1848—1856, принялось за дъло изслъдованія формъ

¹⁾ Пусть читатель повърить эти слова въ "Современникъ", 1848, гдъ статья явилась, или въ "Собраніи соч Бълинскаго", 1861, часть одиннадцатая, страницы 348—356 и 363—365.

русской жизни, недостатковъ ея и отсталыхъ порядковъ, какъ только оказалась возможность говорить людямъ о самихъ себѣ ¹). Наступилъ періодъ обличеній. Понятно, что покольніе взялось за это дѣло съ тьми орудіями производства, какія состояли у него готовыми на лицо, и не имѣло причины ожидать прибытія щегольского и тонкаго оружія (les armes de luxe) искусства для начатія своей работы. Съ теченіемъ времени руки привыкли такъ къ простымъ орудіямъ беллетристической фабрикаціи, что многіе, даже очень даровитые судьи дѣла стали уже сомнѣваться въ пользѣ водворенія болѣе усовершенствованныхъ инструментовъ производства, имѣвшихъ еще и ту невыгоду, что не всякій умѣлъ съ ними обращаться и заработывать ими свой хлѣбъ. Надо было пріучаться жить безъ творчества, изобрѣтательности, поэзіи — и это дѣлалось при существованіи и полной дѣятельности такихъ художниковъ, какъ Островскій, Гончаровъ, Достоевскій, Писемскій, Тургеневъ, Левъ Толстой и Некрасовъ, которые продолжали напоминать о нихъ публикѣ всѣми своими произведеніями!

Критика пришла на помощь озадаченной публикъ. Извъстно, что вслъдъ за первыми проблесками оживившейся литературной дъятельности, наступила у насъ эпоха регламентации убъжденій, мнъній и направленій, спутавшихся въ долгій періодъ застоя. Русскій литературный міръ еще помнитъ, съ какой энергіей, съ какимъ талантомъ и знаніемъ цѣлей своихъ производилась эта работа приведенія идей и понятій въ порядокъ и къ одному знаменателю. На помощь къ ней призваны были историческія и политическія науки, философскія и этическія теоріи. Всѣмъ старымъ знаменамъ и лозунтамъ, подъ которыми люди привыкли собираться—противопоставлялись другія и новня, но при этомъ постоянно оказывалось, что всего менѣе поддавалось регламентаціи именно искусство, бывшее всегда, по самой природѣ своей, наименѣе послушнымъ ученикомъ теорій. Подчинить его и сдѣлать вѣрнымъ слугой одного господствующаго направленія удавалось только строгимъ религіознымъ системамъ, да и то не вполнѣ, такъ какъ нельзя было вполнѣ побѣдить его наклонности мѣнять свои пути, развлекать вниманіе капризными ходами, смѣяться надъ школой, и выдумывать свои собственныя рѣшенія вопросовъ. Оно составляло именно дистармоническій элементъ

¹⁾ Какъ бы презрительно ни отзывалась потомъ критика о всемъ запасё мелкихъ наблюденій, ёдкихъ воспоминаній, горькаго опыта, накопившихся у насъ въ теченіи многихъ лётъ молчанія и теривнія и открывшихъ наконецъ исходъ для себя нодъ видомъ единственно нужнаго и возможнаго искусства, все-таки должно сказать, что эта литература обличеній, какъ выраженіе обиженнаго личнаго или народнаго чувства, имѣетъ еще смыслъ, котораго ни одинъ историкъ нашего общества не пропустить безъ вниманія.

въ періодъ, следовавшій за Белинскимъ. Оставить за нимъ привилегію существовать особнякомъ, на всей своей воль, въ то время, когда всъмъ предлагался общій и обязательный трудъ въ одномъ дух в и за однимъ практическимъ д вломъ — значило рисковать встр втить искусство поперегь дороги и противъ себя. Строгая дисциплина критики, для разбора и соотвътственной оцънки тъхъ изъ художниковъ, которые приняли ея программу, и тъхъ, которые ей не подчинились—становилась необходимостію. Какъ ни строга была эта дисциплина, введенная критикой, но помъщать обществу увлекаться неузаконенными образцами творчества она не могла. Тогда и явилось ръшение отодвинуть искусство вообще на задній планъ, пояснить происхождение его закоповъ и любимыхъ прісмовъ немощью мысли, еще не окръпшей до способности понимать и излагать прямо и просто смыслъ жизненныхъ явленій. Кругъ занятій, снисходительно предоставленныхъ чистому художеству, наміченъ былъ съ необычайпой скупостію. Ему предоставлялась именно передача мимолетныхъ сердечныхъ движеній, капризовъ воображенія, нервныхъ ощущеній, оттънковъ и красокъ физической природы—всего, что лежитъ виъ науки и точнаго изследованія. Все остальныя претензіи искусства на д'вятельную роль въ развитіи общества были устранены, серьёз-пыя тэмы изъяты изъ его в'вд'внія и разложены на соотв'втствую-щіе имъ отд'влы философіи, научной критики, спеціальныхъ изсл'в-дованій. Мыслящее общество тщательно ограждалось отъ вліянія того самаго агента, который усившиве всего приготовляеть душу человъка для принятія свиянь какъ гражданскихъ, такъ и всякихъ другихъ идеаловъ. По временамъ, конечно, еще возникали протесты противъ этой несправедливости къ искусству, и раздавались голоса, которые указывали на важность художническихъ литературныхъ произведеній въ діль образованія характеровъ, направленія умовъ къ нравственнымъ цълямъ, возвышенія уровня мыслей, но они проходили безследно. И по справедливости! Все эти попытки напомнить о действіи идеальнаго и изящнаго на сердца людей, на складъ ихъ представленій, а затёмъ на всё ихъ крупные и мелкіе поступки, уже и потому не могли имъть успъха, не принимая даже въ соображение большую или меньшую діалектическую ихъ слабость, — что новому покольнію необходимо было, нрежде всего, довести дъло свое до конца, выразить всю свою сущность, и затьмъ уже оно могло оглянуться назадъ и дополнить себя всёмъ тёмъ, чего ему недоставало. Такъ именно съ течепіемъ времени и случилось.

Казалось бы, что различное понимание вопросовъ объ искусствъ не должно было положить особенно яркой разграничивающей черты между двумя періодами развитія, особенно когда во всемъ другомъ

они имѣли такое множество точекъ соприкосновенія. И однакожъ вопросовъ этихъ достаточно было, чтобы ослабить въ значительной степени связи, ихъ соединяющія, и дать каждому изъ нихъ особое выраженіе и удалить ихъ другъ отъ друга на значительное разстояніе. Это случилось потому, что между ними оказалась рознь не на теоретическомъ опредѣленіи изящнаго, а оказалась разница въ міросозерцаніяхъ. Споры объ искусствѣ, какъ и вообще о всѣхъ истинно-великихъ вопросахъ науки и цивилизаціи, тѣмъ особенно и по-учительны, что какова бы ни была ихъ относительная важность, подъ ними всегда кроется и течетъ невидимой струей то или другое міросозерцапіе. При этомъ слѣдуетъ сказать, что исторія про-исхожденія различныхъ созерцапій, отвѣчавшихъ у насъ въ свое время задушевнымъ стремленіямъ цѣлыхъ поколѣній, имѣетъ права на полнѣйшее уваженіе наше, съ какой бы личной точки зрѣнія мы ни относились къ ея содержанію.

Послѣ 30 лѣтъ, протекшихъ со смерти Бѣлинскаго, можно уже ясно судить о міросозерцаніи его, не смущаясь притокомъ случайныхъ настроеній, которые окрашивали его иногда своимъ особеннымъ, но скоро проходившимъ цвътомъ. Созерцание Бълинскаго все заключается въ пониманіи жизни и цивилизаціи, какъ силь, предназначенныхъ на доставление человъку полноты духовного и матеріальнаго существованія. По количеству идей и представленій, способствующихъ осуществленію той полноты разумнаго бытія, какая носилась передъ его глазами въ формв идеала, онъ судилъ объ относительномъ достоинствъ и значении эпохъ, людей и произведеній ихъ. Утайка, пропускъ, скрытіе какого-либо изъ элементовъ, необходиныхъ для достиженія этой полноты, было-ли то дівломъ преднамфренности или последствиемъ недосмотра, одинаково пробуждали его критическую чуткость. Онъ самъ постоянно и добросовъстио занимался разборомъ и опредъленіемъ настоящихъ и иодложныхъ психическихъ и соціальныхъ дізтелей, заявляющихъ претензію на удовлетвореніе всёхъ нуждъ ума и развитія. Въ оцёмкё тъхъ и другихъ онъ могъ быть иногда излишне нервенъ, распредълять краски, подъ вліяніемъ одушевленія или негодованія, не совствь равномтрно, но документы, на которыхъ основывалось его сужденіе, всегда были подлинные, скрупленные свидутельствомъ исторів, точными изслідованіями науки объ идеальныхъ и реальныхъ потребностяхъ человъческой природы. Удовлетворение этихъ потребностей, безъ своевольныхъ исключеній, подсказываемыхъ разсчетами и нуждами разныхъ теоретическихъ построекъ, онъ и считалъ задачей цивилизаціи и призваніемъ ея. Переходя отъ общаго выраженія къ частимиъ приложеніямъ того-же самаго созерцанія, надо сказать,

что Вълинскій требоваль уже отъ каждой идеи, отъ каждаго образа, ученія и литературнаго произведенія вообще, которые представлялись его глазамъ, полноты содержанія, упраздняющей самую возможность вопросовъ и дополненій. Но такія цёльныя явленія искусства и мышленія встръчались ръдко, а большей частію приходилось имъть дёло съ созданіями, еще сильнёе отличающимися количествомъ своихъ упущеній, чёмъ открытій въ области выбранныхъ ими тэмъ. Собственно говоря, вся его литературная критика, какъ еще ни старалась закрыться дипломатическими оговорками и изворотами, къ которымъ и Бълинскій прибъгаль по нуждъ времени, наравнъ со всъми другими, — была въ сущности не чъмъ инымъ, какъ рядомъ возстановленій, реставрацій и оправданій разныхъ позабытыхъ или искусственно принижаемыхъ чертъ цивилизаціи, психическихъ и культурныхъ необходимостей личнаго и общественнаго существованія. Работа эта вошла у Бълинскаго въ привычку мысли, и что особенно важно—весьма часто обращалась имъ и на самого себя, чъмъ легко объясняются его неоднократныя перемьны точекь зрынія на предметы, столь удивлявшія и возмущавшія его враговъ.

Извъстно, что художественныя произведенія, какъ изящной, такъ и ученой литературы, обладають качествомъ оставлять очень малую поживу искателямъ разсъянностей или недосмотровъ автора, исчернывать свой предметь и представлять такую твердыню выводовъ и заключеній, для разрушенія которой, даже и въ мальйшей ея части, потребна почти такая же сила и способность, какія находились въ обладаніи и у самого ея строителя. Вотъ за такими-то произведеніями стараго и новаго міра, въ переводахъ и оригиналахъ, Бълинскій проводилъ дни и ночи: они никогда не старълись для него, сколько бы онъ ихъ ни перечитывалъ, никогда не могли договорить ему своего последняго слова. Какъ у аскетовъ другого порядка идей, у него была потребность каждодневнаго приближенія къ алтарю художническихъ произведеній и углубленія въ таинства, на немъ свершаемыя. Постоянное обращение съ великими образцами ученой и изящной литературы возвысили его духъ на такую степень, что люди въ его присутствіи чувствовали себя лучше и свободне отъ мелкихъ помысловъ, уходили отъ него съ освъженнымъ чувствомъ и добрымъ воспоминаніемъ, какого бы рода ни велась съ нимъ бесёда. Говоря фигурально, къ нему всегда являлись нъсколько по праздничному, въ лучшихъ нарядахъ, и моральной неряхой нельзя было передъ нимъ показаться, не возбудивъ его негодованія, горькихъ и горячихъ обличеній. Таковъ былъ человъкъ, который первый указаль русской литературъ реальное направленіе, кажется, прежде чёмъ о немъ вспомнила и Европа, а теперь призываль ту же литературу на политическую арену, на занятіе вопросами гражданскаго, общественнаго характера. Что двигало этого эстетика по преимуществу? Конечно, прежде всего, благородное сердце, искавшее средствъ пособить первымъ, неотложнымъ нуждамъ развитія, еще вовсе и неначавшагося для массы его соотечественниковъ, и затёмъ все то же исканіе полноты идеальнаго и реальнаго типа для жизни и мысли. Сзади этой предполагаемой литературной дёятельности ему открывалось еще все громадное поле европейской цивилизаціи съ его обработкой, съ его пріобрётеніями, сдёланными въ теченіи столькихъ вёковъ! Съ него онь и глазъ не спускалъ. Ни одного изъ всёхъ опытовъ — старыхъ и новыхъ, приложенныхъ къ нему, ни одного счастливаго результата ими уже даннаго — не хотёла бы лишиться эта страстная душа! Конечная цёль всёхъ его требованій и указаній заключалась въ томъ, чтобъ выработать изъ русской жизни полнаго работника просвёщенія, чтобы надёлить ее всёми тёми силами и воспитательными началами, которыя образовали въ Европ'в лучшихъ и надежныхъ ея работниковъ. Не нужно, кажется, прибавлять, что всё эти дальновидные разсчеты оказались на дёлё мечтой, но тотъ еще не будеть въ состояніи правильно судить объ эпох'в Бёлинскаго, кто не пойметъ и не признаетъ, что вс'є мечтанія и фантазіп подобпаго рода были въ то время положительнымъ и весьма серьёзнымъ дёломъ.

Возвращаюсь къ разсказу.

Приближалось время окончанія лечебнаго курса и нашего отъвзда изъ Зальцбрунна. Вълннскій чувствоваль себя гораздо лучше, кашель уменьшился, почи сдълались покойнѣе — онъ уже поговариваль о скукѣ житья въ захолустьи. Почти наканунѣ нашего выѣзда изъ Зальцбрунна въ Парижъ, я получилъ неожиданно письмо отъ Н. В. Гоголя, извѣщавшаго, что изданная имъ «Переписка съ друзьями» надѣлала ему много непріятностей, что онъ не ожидаетъ отъ меня благопріятнаго отзыва о его книгѣ, но все-таки желалъ бы знать пастоящее мое мнѣніе °о ней, какъ отъ человѣка, кажется, не страдающаго заносчивостію и самообожаніемъ. Это было первое письмо послѣ того надменно-учительскаго, о которомъ говорено, и первое послѣ короткой встрѣчи нашей въ Парижѣ и Вамбергѣ. Оно довольно ясно обнаруживало въ Гоголѣ желаніе если не утѣшенія и поддержки, то по крайней мѣрѣ тихой бесѣды. Въ концѣ письма Гоголь неожиданно вспоминалъ о Бѣливскомъ и кстати посылалъ ему дружескій поклонъ, вмѣстѣ съ письмомъ прямо на его имя, въ которомъ упрекалъ его за сердитый разборъ «Переппски» во 2-мъ № «Современника». Это и вызвало то знаменитое письмо Бѣлинскаго о его послѣднемъ направленіи, какого Гоголь еще и не выслушиваль доселѣ, несмотря на множество перьевъ, занимавшихся разоблаченіемъ недостатковъ «Переписки», попреками и бранью па ея автора. Когда я сталъ читать вслухъ письмо Гоголя, Бѣлинскій слушаль его совершенно безучастно и разсѣянно,— но, пробѣжавъ строки Гоголя къ нему самому, Бѣлинскій вспыхнулъ и промолвилъ: «А! онъ не конимаеть, за что люди на него сердятся— надо растолковать ему это— я буду ему отвѣчать».

Онъ понялъ вызовъ Гоголя.

Въ тотъ же день небольшая комната, рядомъ съ спальней Бълинскаго, которая снабжена была диванчикомъ по одной стънъ и круглымъ столомъ передъ нимъ, на которомъ мы свершали наши, довольно скучныя, послъ-объденныя упражненія въ пикетъ—превратилась въ письменный кабинетъ. На кругломъ столъ явилась чернильница, бумага, и Бълинскій принялся за письмо къ Гоголю, какъ за работу, и съ тъмъ-же пыломъ, съ какимъ производилъ свои срочныя журнальныя статьи въ Петербургъ. То была именно статья, но писанная подъ другимъ небомъ...

статья, но писанная подъ другимъ небомъ...

Три дня сряду Бълинскій уже не поднимался, возвращаясь съ водъ домой, въ мезонинъ моей комнаты, а проходилъ прямо въ свой пмпровизированный кабинетъ. Все это время онъ былъ молчаливъ и сосредоточенъ. Каждое утро, послъ обязательной чашки кофе, ждавшей его въ кабинетъ, опъ надъвалъ лътній сюртукъ, садился на диванчикъ и наклонялся къ столу. Занятія длились до часового нашего объда, послъ котораго онъ не работалъ. Непокажется удивительнымъ, что онъ употребилъ три утра на составленіе письма къ Гоголю, если прибавить, что онъ часто отрывался отъ работы, сильно взволнованный ею, и отдыхалъ отъ нея, опрокинувшись на спинку дивана. Притомъ же и самый процессъ составленія былъ довольно сложенъ. Вълинскій набросалъ сперва письмо карандашомъ па разныхъ клочкахъ бумаги, затъмъ переписалъ его четко и аккуратно на-объло, и потомъ снялъ еще съ готоваго текста конію для ссебя. Видно, что онъ придавалъ большую важность дълу, которымъ занимался, и какъ бугда понималъ, что составляетъ документъ, выходящій изъ рамки частной, интимной корреспонденціп. Когда работа была кончена, онъ посадилъ меня передъ круглымъ столомъ своимъ и прочель свое произведеніе.

Я испугался и тона, и содержанія этого отвѣта, и, конечно не за Бѣлипскаго, потому-что особенныхъ послѣдствій заграпичной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидѣть; я испугался за Гоголя, который долженъ былъ получить отвътъ, и живо иредставиль себъ его положеніе въ минуту, когда онъ станетъ читать это страшное бичеваніе. Въ письмъ заключалось не одно только опроверженіе его мнѣній и взглядовъ: письмо обнаруживало пустоту и безобразіе всѣхъ идеаловъ Гоголя, всѣхъ его понятій о добрѣ и чести, всѣхъ нравственныхъ основъ его существованія—вмѣстѣ съ дикимъ иоложеніемъ той среды, защитникомъ которой онъ выступилъ. Я хотѣлъ объяснить Бѣлинскому весь объемъ его страстной рѣчи, но онъ зналъ это лучше меня, какъ оказалось: «А что же дѣлать?» сказалъ онъ. «Надо всѣми мѣрами спасать людей отъ бѣшенаго человѣка, хотя бы взбѣсившійся былъ самъ Гомеръ. Что же касается до оскорблялъ меня въ душѣ моей п въ моей вѣрѣ въ него».

Письмо было послано, и затѣмъ уже ничего не оставалось дѣлать въ Зальцбруннѣ. Мы выѣхали въ Дрезденъ, но наиравленію къ Парижу.

Здѣсь, забѣгая впередъ, скажу, что по прибытін въ Парижъ, Г., уже поджидавшій насъ, явился въ отель Мишо, гдѣ мы остановились, и Бѣлинскій тотчасъ же разсказаль ему о вызовѣ, полученномъ имъ отъ Гоголя, и объ отвѣтѣ, который онъ ему послалъ. Затѣмъ онъ прочелъ ему черновое своего письма. Во все время чтенія уже знакомаго мнѣ письма, я былъ въ сосѣдней комнатѣ, куда, улучивъ минуту, Г. шмыгнулъ, чтобы сказать мнѣ на ухо: «Это—геніальная вещь, да это, кажется, и завѣщаніе его».

XXXVI.

Нелюдимость Вѣлинскаго, казалось, все еще увеличивалась за границей, съ теченіемъ времени, вмѣсто того чтобъ уменьшиться. Онъ утерялъ всякую охоту заводить связи, даже и минутныя, съ незнакомыми лицами; наоборотъ, чѣмъ долѣе шло время, тѣмъ онъ сильнѣе сосредоточивался въ номыслахъ о семъѣ, которая положительно заслоняла для него всю заграничную обстановку. Исключеніе составляли двухъ-трехъ-лѣтніе нѣмецкіе мальчишки—на тѣхъ онъ смотрѣлъ охотно и, не разъ указывая мнѣ на какой-нибудь особенно выдающійся экземиляръ,—приговаривалъ глухо: «у меня точно такой же былъ дома». Словомъ, семья сдѣлалась для него уголкомъ, въ которомъ онъ мысленю занирался тотчасъ же, какъ оказивалась возможность къ тому. Всего любопытнѣе, что онъ желалъ оставить свѣтъ и окружающихъ людей въ невѣдѣніи на счетъ сво-

его пріюта, и когда заходила о немъ рѣчь, отзывался равнодушно, не скрывая только—чего уже нельзя было скрыть—страстной любви своей къ дѣтямъ.

Біографическая черта эта, кажется, стоитъ того, чтобъ остановиться на ней. Бълинскій женился въ 1843 г. уже тогда, когда романтическій періодъ его жизни миноваль, и когда онъ укрѣпился въ мысли, что далве ждать нечего отъ судьбы и случая, что онъ предопредъленъ не въдать сочувствія женскаго сердца, какъ въ силу своего внъшняго, будто бы, непривлекательнаго вида, такъ и въ силу нравственныхъ своихъ качествъ, будто бы, несимпатичныхъ вообще для женской природы. Замвчательно было однакожь то, что съ самаго 1838 г. онъ не умолкалъ громить и преслъдовать одиночество, на которое, повидимому, такъ рѣшительно согласился. Въ его глазахъ и опредѣленіяхъ строгое одиночество, если оно вѣрно самому себъ, составляло противоестественное, искусственное, а по-тому и безнравственное явленіе, изъ какого бы душевнаго настроенія ни выходило. Исключенія изъ правила, въ родъ художника Иванова и ему подобныхъ, и онъ признавалъ, но думалъ, что и о нихъ надо судить только по важности идеи, для которой ими принесена была жертва. Онъ и покинулъ собственную систему одиночества тотчасъ, какъ явился предлогъ къ тому — и покинулъ съ неимовърной торопливостью, изумившей друзей. Тогда объясняли этотъ фактъ темъ, что онъ встретилъ привязанность, которая наносила ударъ его скептическому пониманію самого себя, сохранившись черезъ значительный промежутокъ времени. Неожиданность такого открытія была настолько сильна, что привела его къ мысли переустроить весь свой бытъ. — Какъ бы то ни было, онъ привелъ въ исполнение свое ръшение, при недоумъвающихъ лицахъ друзей, предвидъвшихъ въ этомъ поступкъ новыя затрудненія жизни для него. Женившись, Бълинскій не отказался однако-жъ отъ своихъ воззрвній на сродство души и стремленій, какъ на единственный элементь, узаконяющій брачное состояніе, и сознавался, что въ его собственномъ бракъ недоставало идеальнаго повода и отсутствовало поэтическое настроеніе. Онъ высказываль это мивніе, не ственяясь, и передъ всёми громко и часто, и здёсь нельзя не признать достоинство отвъта, какой онъ получалъ на свои вспышки. Умно-разсчитанное или уже врожденное по темпераменту хладнокровіе наиболье заинтересованной въ дъль стороны позволяло свободно истекать этимъ протестаціямъ и критическимъ обращеніямъ на совершившійся фактъ: они ни на волосъ не мѣшали другой сторонѣ вести семейное дело въ одномъ духв, стойко, спокойно, правильно. Подъ конецъ, съ наступившимъ упадкомъ физическихъ силъ, обнаружилась на Бѣлинскомъ та непреоборимая, громадная, нивеллирующая мощь моногамическаго общежительства, которая побѣждаетъ всѣ порывы, мечтапія и фантазіп человѣка. Бѣлинскій видѣлъ уже въ домашнемъ очагѣ своемъ какъ-бы цѣлящую силу для больного сердца, и въ рукѣ, которая спокойно ему служила, какъ-бы руку, удерживающую его на свѣтѣ.

Первымъ благомъ жизни становилась теперь для него та заботливая тишина, то чуткое молчаніе домашняго быта, которыя позволяли ему думать свои пламенныя думы про себя, больть сердцемъ безъ помъхи. Раздълъ горькихъ мыслей и ощущеній часто бываетъ подстрекательствомъ къ нимъ, а въ послъднемъ онъ уже болъе не нуждался. Онъ нуждался въ другомъ, а именно въ отдаленномъ, по симпатическомъ наблюдении за своей кончавшейся жизнью. Семья Бълинскаго умъла организовать такое наблюдение, которое не да, вало себя чувствовать, и не спрашивала у него никогда объ исторіи бользни, не добивалась признаній и псповъди, не заставляла разсказывать страданій. Она пріучила его къ существованію, упрощенному до возможной степени и приноровленному столько же къ состоянію его мысли, сколько и къ физическому его состоянію. Понятно послъ того, что обычные спутники всякаго путсшествія какъ-то: многолюдство, пестрота жизни, назойливость внешнихъ явленій, напрашивающихся на впиманіе, уже казались ему нестерпимыми, такъ-какъ составляли новую лишнюю прибавку въ психическомъ его міръ, какой онъ вовсе не хотълъ. Вотъ почему онъ и писалъ длинныя письма изъ-за границы, часто украдкой, не къ друзьямъ въ Петербургъ, а къ женъ п женщинъ, которая, по его же мнвию, не въ силахъ была войти въ кругъ идей, ивсколько отличныхь отъ тёхъ, къ какимъ привыкла; поэтому также этотъ поэтъ въ душё, воспитанный на чтеніп и изученіи художниковъ, но уже усталый—не видёлъ ни памятниковъ культуры, ни самодёльнаго творчества природы на своемъ пути и стоялъ передъ ними часто нёмой, разсёянный, видимо поглощенный совсёмъ другой и чуждой имъ мыслію.

Особенное отвращение испытываль Бѣлинскій къ внезапнымъ бесьдамъ, которыя такъ часто завязываются на дорогахъ съ незнакомыми людьми: отвращение это иногда разрѣшалось довольно комическими эффектами. На пути къ Дрездену прыгнулъ въ нашъ вагонъ съ одной станціи какой-то очень вертлявый и, повидимому, весьма добродушный полякъ. Услыхавъ русскій говоръ, онъ обратился къ сосѣду, которымъ, по несчастію, былъ Бѣлинскій, и началъ съ нимъ слѣдующую короткую бесѣду, передаваемую буквально. «Вы русскій?» — «Русскій». — «Прямо изъ Россіп?» — «Со-

вершенно прямо». — «И, конечно, хорошо говорите по-французски?» — «Совсвить не говорю». — «Значить, только по-немецки?» — «И по-немецки тоже не умею». — «Стало-быть, —приставаль неугомонный полякъ и уже съ печальнымъ видомъ, —вы только по-русски говорите?» — «Немножко, и то неохотно», отвечалъ Белинскій, откидываясь въ уголъ кареты. Надо было видеть выраженіе изумленія на лице вопрошавшаго: я не могъ удержаться отъ смеха и перевелъ беседу уже на себя, начиная ее опять съ начала...

Въ Дрезденъ мы остановились на недълю, Бълинскій заказываль бълье и, большей частью, лежаль на диванъ своей комнаты съ книгой въ рукъ. Онъ равнодушно гулялъ по берегу Эльбы, осматриваль безучастно городь, зашель и въ Grüne-Gewölbe, которая своими дорогими дътскими игрушками и сокровищами пробудила его вниманіе съ тъмъ, чтобы привести его почти въ негодованіе, и, наконецъ, раза два побываль въ Картинной Галерев. Здёсь, по принятому обыкновенію туристовъ, онъ также садился передъ Сикстинской Мадонной, но вынесъ впечатлёніе, совершенно противное тому, какое они обыкновенно испытываютъ при этомъ и затьмъ описываютъ. Онъ первый, кажется, не пришелъ въ восторгъ отъ ел небеснаго спокойствіл и равнодушіл, а, напротивъ, ужаснулся ему, что было также косвеннымъ признаніемъ геніальности мастера, создавшаго этотъ типъ. Въ дрезденской же галереъ испытывалъ онъ и другое эстетическое горе: онъ наткнулся тамъ на маленькій chef-d'oeuvre Рубенса—«Судъ Париса», въ которомъ роль Венеры и обнаженныхъ ся соперинцъ играли три фламандскія красавицы, сиятыя съ натуры съ поразительной върностью и реализмомъ. Бълинскій, привыкшій понимать Венеръ и греческихъ женщинъ, какъ осуществление идеальной красоты на земль, очутился туть передъ тремя нагими матронами, пышущими здоровьемъ, упитанными и тучными, какъ огороды и сады ихъ отечества, будущими матерями здоровыхъ бургомистровъ и фабрикантовъ. Живописный реализмъ возбудилъ отвращение у поклонника реализма литературнаго. Онъ не могъ помириться съ картиной, какъ ни указывали ему на изумительный колорить ея, на жизненность этихъ тёль, отъ которыхъ, кажется, еще вёяло тепломъ, какъ и отъ бархатныхъ, нарчевыхъ одёлпій, утрехтскаго издёлія, только-что ими покинутыхъ, на гармонію, рельефность всёхъ ея частей, — Вёлинскій стояль въ недоумёніи и продолжаль называть Рубенса поэтомъ мясниковъ. Только пёсколько позднѣе, когда указали ему, въ большой гравюрѣ, на другую картину того же мастера: «Торжество Вакха», на этотъ пиръ, въ которомъ всѣ фигуры, начиная съ опьянѣвшаго тигра, до послѣдней вакханки, охвачены столько же хмфлемъ виноградныхъ гроздій, сколько и безграничной радостью молодой жизни, открывшей возможность наслажденія на землѣ, Бѣлинскій пришель въ изумленіе отъ силы рисунка, смѣлости мотивовъ, отъ идеи, доведенной до высшей степени ея павоса и выраженія. Когда замѣтили ему, что картина принадлежитъ той же рукѣ, которая произвела и «Судъ Париса», Бѣлинскій добродушно замѣтилъ: «Ну, значитъ, я навралъ, да съ меня нечего взять—я вѣдь олухъ въ этихъ дѣлахъ».

Съ недоразумъніями подобнаго рода мнъ приходилось встръчаться не разъ и потомъ, и слышать—напримъръ, отъ Г. — остроумныя выходки противъ манеры католическихъ живописцевъ помъщать святыхъ на облакахъ въ сидячемъ положении, низводить ангеловъ на землю и заставлять ихъ играть на арфахъ, лютняхъ и скрипкахъ, и проч., и проч. Все это казалось крайне ненатуральнымъ и чудовищнымъ тъмъ самымъ людямъ, которые въ литературныхъ произведеніяхъ нисколько не возмущались, когда встръчали описанія сновъ, тайныхъ разговоровъ влюбленныхъ, мимолетныхъ исихическихъ ощущеній, что все должно бы оставаться, ио настоящему, секретомъ и для авторовъ, которые сами не могли иичего подобиаго ни подглядёть, ни подслушать. То кажется несомнениымъ, что для пониманія какъ литературныхъ, такъ и иластическихъ созданій, необходимо свыкнуться съ ихъ обычными пріемами, помириться съ нелогичностью нъкоторыхъ изъ нихъ и признать въ нихъ авторитетную силу для своей мысли. Но подчиненность такого рода особенно противна, когда она является не въ видъ навыка, полученнаго съ незапамятнаго времени, а требуется прежде всего отъ человъка, какъ начало премудрости, безъ котораго нечего и приступать къ сужденію о предметахъ искусства. Можетъ быть, это обстоятельство именно и подсказало оригинальное ръшение Бълинскому, когда, прибывъ въ Кёльнъ, онъ не иожелалъ видъть знаменитой абсиды его собора, тогда еще недостроеннаго. Онъ мимоходомъ взглянулъ на нее снаружи, уже проъздомъ на станцію жельзной дороги, и только сказаль: «Обширное помъщеніе, нечего сказать, для католической идеи, которая тамъ должна была проживать».

Парижъ оказался уже не подъ силу Вълинскому. Съ первыхъ же дней лихорадочное движение толиы, днемъ и ночью шумящие и ослъиляющие кафе и магазины, суета и говоръ, возстающие съ ранняго утра, и толки, перекрестнымъ огнемъ раздающиеся со всъхъ сторонъ, утомили его скоръе, чъмъ я ожидалъ. Проъхавъ по улицамъ и площадямъ Парижа, побывавъ нъсколько (немного) разъ въ его операхъ и театрахъ, онъ почувствовалъ почти тотчасъ же необходимость скрыться куда-нибудь отъ этого неумолкающаго празд-

ника. Онъ пашелъ два пріюта: за письменнымъ столомъ въ своей комнатъ, на которомъ нисалъ много и долго къ женъ— во-первыхъ, и въ семьъ Г., гдъ М. Ө. К. и хозяйка окружали его попеченіями и усиъвали разглаживать морщины, наведенныя усталостью отъ зрълища мятущихся людей, цълей и намъреній которыхъ угадать нельзя.

Впечатлъніе, произведенное на него Парижемъ, было вообще, такъ-сказать, удивленно-грустное. «Все въ немъ, —говорилъ Бълинскій, — должно принимать громадные размъры: алчность, развратъ и легкомысліе, также точно какъ и разработка идей и знаній, и благородные порывы, и стремленія, — да разобраться въ этомъ омутъ и узнать, чего въ немъ больше — дъло очень трудное». Онъ не разъ сирашивалъ у друзей: въ самомъ ли дълъ необходимы для цивилизаціи такіе громадные, умопомрачающіе центры населенія, какъ Парижъ, Лондонъ и др.

Конечно, окружающие Вълинскаго посившили открыть ему тв источники, которыми питается движение Парижа, такъ много удивившее его: пменно-музеи, лекціи, сходки и проч. Бълинскій сльдовалъ покорно за своими вожатаями, но, видимо, смотрълъ на это, какъ на псполпеніе долга, какъ на нѣчто схожее съ праздничными визитами по начальству. Не трудно было подматить его благодарный взглядъ всякій разъ, когда его освобождали отъ этого, своего рода сившпаго пагляднаго обученія и замвняли его сокращеннымъ изложениемъ того или другого любоиытнаго явления въ литературъ, паукъ или жизни. Всего болъе интересовался онъ вопросомъ, какого результата въ будущемъ следуетъ ожидать отъ всехъ этихъ начинаній, къ какимъ положительнымъ выводамъ можно придти относительно дальнъйшаго развитія цивилизаціи уже и теперь, на основаніи существующихъ данныхъ, — словомъ, какъ велика сумма общечеловъческихъ надеждъ, носимыхъ въ себъ всей этой видимой культурой? Отвътовъ получено было много и, большею частью, самыхъ благопріятныхъ для грядущихъ покольній, за исключеніемъ только мивнія Г. по этому предмету, которое особенной ввры въ силу современныхъ людей и ихъ способности къ прогрессу не обнаруживало. Вълинскій оставался, такимъ образомъ, между двумя противоположными сужденіями о предметь, который его занималь. Не считая самого себя достаточно подготовленнымъ для разрешенія вонроса собственной мыслыю, онъ покинулъ Парижъ съ пеяснымъ представленіемъ дёла, которое дёлаль городъ. Да и кто могь тогда ясно видеть, что готовится въ немъ, или предсказать, что несетъ ему ближайшій, наступающій день исторіи?

Вообще, пасколько становился Бълинскій снисходительнъе къ

русскому міру, настолько строже и взыскательные относился къ заграничному. Съ нимъ случилось то, что потомъ не разъ повторялось со многими изъ нашихъ самыхъ рьяныхъ западниковъ, когда они делались туристами: они чувствовали себя какъ-бы обманутыми Европой, смотръли на нее съ упрекомъ, какъ будто она не сдержала техъ обещаній, какія надавала имъ втихомолку. Это обычное явленіе объясняется довольно просто. Сухая, дёловая, часто ограниченная и невъжественная и всегда мелочная — илутоватая толпа новыхъ людей первая встречала заграницей путешественниковъ и, случалось, довольно долго держала ихъ въ средъ своей, прежде чёмь они переходили къ явленіямъ и порядкамъ высшаго строя жизни. Но тогда они уже расположены были требовать у последнихъ отчета за всю виденную прежде пошлость и возлагать на эти явленія отв'єтственность за все то безобразное и ничтожное, которое не было уничтожено ихъ вліяніемъ. Бълинскій не избъть общей участи путешественниковъ. Подъ впечатлъніемъ скучнаго процесса своего леченія и особенно подъ впечатлівніемъ зрівлища громадной людской массы, не имфющей и предчувствія техь пдей и началь, которыя возвъщались міру отъ ея имени. Вълинскій даваль мрачный отчеть о заграничномъ своемъ жить в быть в друзьямъ въ Москвъ — и напугалъ ихъ. Имъ показалось, что онъ можетъ вернуться домой скептикомъ по отношению къ европейской культуръ вообще, и въ дальнейшей своей деятельности, даже пехотя и противъ своей воли, способствовать при такомъ настроении распространению надменныхъ взглядовъ на западную цивилизацію, уже существующихъ въ русскомъ обществъ. Опасенія свои они сообщили и самому Вълинскому. Одинъ изъ нихъ-В. П. Боткинъ писалъ:

«Москва. 19 іюля, 1847. Сегодня получиль твое письмо изъ Дрездена, милый мой Виссаріонъ... Понимаю твое отвращеніе отъ Германіи, Вѣлинскій,— очень понимаю, хоть и не раздѣляю его. Я не могу жить въ Германіи, потому что нѣмецкая общественность не соотвѣтствуетъ ни моимъ убѣжденіямъ, ни моимъ симпатіямъ, потому что нравы ея грубы, что въ ней мало такта дѣйствительности и реальности и такъ далѣе, по я не изрекаю ей такого приговора, какъ ты — и относительно дурныхъ и хорошихъ сторонъ народовъ придерживаюсь нѣсколько эклектизма. Понимаю твою скуку; я и здоровый захворалъ бы отъ скуки, проведя полтора мѣсяца въ Германіи, а ты еще нровель ихъ въ Сплезіи, въ Сальцбрунѣ! Парижъ, я надѣюсь, ностоитъ за себя. Но за чѣмъ тебѣ видѣть тамъ однихъ только конституціонныхъ подлецовъ? Тамъ есть мпого такого, что посущественнѣе и поинтереснѣе ихъ. Политическіе очки не всегда показываютъ вещи въ настоящемъ свѣтѣ,

особенно если эти очки сделаны изъ принятыхъ заочно доктринъ. Часто и доморощенныя доктрины заставляють городить вздорь (что доказываетъ книга Луи Блана; съ твоимъ умнымъ мнѣніемъ о немъ совершенно согласенъ), а бъда если нашъ братъ пріъзжаетъ въ страну съ заранъе вычитанною доктриною... Получа твое письмо, я тотчась побъжаль подълиться имъ съ Коршемъ и сегодня пошлю его къ Грановскому... Ты получиль письмо отъ Гоголя? По разсказамъ - это письмо показываетъ, что Гоголь потерялъ, наконецъ, смыслъ къ самымъ простымъ вещамъ и дъламъ.. Сейчасъ получаю твое ко мнъ письмо обратно отъ Грановскаго; онъ не доволенъ имъ и боится, чтобы ты съ твоей теперешней точки зрънія на Германію и Францію не сталь бы писать о нихъ, воротясь въ Россію. Въ самомъ дълъ-это было бы большимъ торжествомъ для нашихъ невъждъ и мерзавцевъ. О цензурныхъ обстоятельствахъ, надъюсь, тебъ сообщиль уже Некрасовъ, и ты, конечно, уже знаешь, что теперь Ж. Зандъ не будетъ читаться на русскомъ языкъ...» и т. д.

Не трудно было окружающимъ Бълинскаго, къ которымъ московские друзья тоже обращались съ запросами о нравственномъ его состояніи, разъяснить, что въ основаніи всёхъ его нареканій на заграничную жизнь лежить совсёмь не враждебное Европе чувство, а скорве чувство нвжное къ ней, раздосадованное только твиъ именно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои

порывы.

Настроеніе, однакоже, не прошло у Бълинскаго безслъдно.

О мозговомъ раздражении русской либеральной колоніи, съ ея заботами объ устроении для себя наплучшаго умственнаго комфорта, причемъ, конечно, не могли быть забыты ею и эффектныя подробности изъ современныхъ открытій — уже и говорить печего. Бълинскій не обратиль на колонію никакого вниманія, какъ на діло, извъстное ему по опыту-и у себя дома 1).

Мы слышали, что позднее и уже находясь въ Петербурге, Белинскій приняль извъстіе о революціи 48-го года въ Парижь почти съ ужасомъ. Она показалась ему неожиданностію, оскорбительной для репутаціи тёхъ умовъ, которые занимались изученіемъ общественнаго положенія Франціи и не видели ея приближенія. Горько пеняль онь на своихъ парижскихъ друзей, даже и не запкнувшихся передъ нимъ о возможности близкаго политическаго пере-

¹⁾ Къ польскому вопросу Белинскій всегда относился только съ гуманной точки зрвнія, находя, что жертвы исторін и собственных грвховь могуть возбуждать глубокое состраданіе, какъ вообще и всё угасшія національности прежнихъ эпохъ.— Политической стороны польскаго вопроса онъ никогда не касадся и постоянно обходиль его съ равнодушіемъ.

ворота, который, какъ оказалось, и былъ настоящимъ дѣломъ эпохи. Этотъ недостатокъ предвидѣнья, по мнѣнію Бѣлпнскаго, превращалъ людей пли въ рабовъ, или въ беззащитныя жертвы одного внѣшняго случая. Упреки были справедливы, но надо сказать, что окончательная форма переворота была неожиданностію п для тѣхъ, кто его устроилъ.

Жепа Г., по пистинкту женскаго сердца, поняла, между прочимъ, Бълинскаго, завхавшаго въ Парижъ, лучше и скорве всвхъ другихъ. Она собрала маленькую и хорошо подобранную коллекцію «образовательных» пгрушекъ, уже существовавшихъ тогда въ Парижъ, хотя и безъ систематизаціи ихъ, и подарила ее дочери Бълинскаго. Между подарками были зоологические альбомы съ великолеппыми рисунками животныхъ всёхъ поясовъ земли, которыми Вёлинскій не уставаль восхищаться. Онъ мечталь о воспитаніи дочери на естествознании и точныхъ наукахъ. Между прочимъ, онъ въ это время нашель игрушку и для самого себя. Фланируя по улицамъ, онъ наткнулся въ одномъ магазинъ готовыхъ платьевъ на изумительно пестрый халать съ огромпыми красными разводами по бълому фуляровому полю — п влюбплся въ него. Халатъ былъ пменно той выставочной вещью, которую магазины нарочно заказывають, съ цалью огорошить проходящаго и остановить его передъ своими зеркальными стеклами. Бълинскій почувствоваль родь влеченія къ этому предмету, долго колебался и наконецъ купилъ его, серьёзно растолковывая намъ, что предметъ совершенно необходимъ ему для утреннихъ работъ въ Петербургъ. Подробность заслуживаетъ упоминовенія потому, что этотъ несчастный халать надёлаль потомъ много хлонотъ ему и мнъ.

По мъръ того, какъ приближалось время къ отъъзду Вълинскаго въ Россію, о чемъ онъ уже сталъ мечтать чуть ли не со дня своего появленія въ Парижь, возникалъ вопросъ о способахъ удобньйшаго отправленіи его на родину, такъ-какъ предоставить Вълинскаго самому себъ въ этомъ дълъ не было возможности, по малой его опытности и неспособности бесъдовать на иностранныхъ діалектахъ. Ръшеніе вопроса было уже принято, когда представилась возможность дать Бълинскому благонадежнаго сопутника и вмъстъ оказать услугу честному старику, занимавшему важную въ Парижъ должность «рогтіег» — привратнику въ нашемъ домъ. Старика, очень строгаго къ простымъ жильцамъ, которые поздно возвращались домой, и привязавшагося къ русскимъ своимъ пансіоперамъ какъ-то страстно и безотчетно — звали Фредерикъ. Опъ былъ родомъ нъмецъ изъ Саксоніи, свершилъ походъ 12-го года въ Россію съ арміей Наполеона, попалъ въ ординарцы къ губернатору

Москвы маршалу Даву, что и помогло ему возвратиться цѣлымъ и невредимымъ въ Парижъ, гдѣ онъ и поселился. Онъ охотно, особенно подъ хмѣлькомъ, разсказывалъ объ ужасахъ, какіе опъ видѣлъ на пути въ Россію, и изъ Россіи и въ Москвѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ сгоралъ желаніемъ побывать на родинѣ (гдѣ-то около Лейпцига), которой не видалъ уже болѣе 35 лѣтъ, и, когда я предложилъ ему, подъ условіемъ сперва довезти моего пріятеля до Берлина, посѣтить на нашъ счетъ свой фатерландъ и затѣмъ возвратиться назадъ къ мѣсту, которое покамѣстъ будетъ блюсти его супруга (толстая и величественная баба), старикъ какъ-то присѣлъ, положилъ обѣ руки между колѣнъ и, легко подпрыгивая, могъ только нѣсколько разъ промычать: «Оці, Monsieur! Аһ, Monsieur!..» Для Вѣлинскаго нашелся надежный проводникъ, говорившій по-нѣмецки и по-французски, и готовый беречь его особу и особенно его кошелекъ, какъ честь знамени пли пароль, полученный отъ своего шефа.

Въ Парижъ пришелъ также и отвътъ Гоголя на письмо Бълинскаго изъ Зальцбрунна. Грустно замъчалъ въ немъ Гоголь, что опять повторилась старая русская исторія, по которой одно неосновательное убъжденіе или слѣное увлеченіе непремѣнно вызываетъ съ противной стороны другое, еще болѣе рискованное и преувеличенное, посылалъ своему критику желаніе душевнаго спокойствія и возстановленія силъ и разбавлялъ все это мыслями о серьёзности вѣка, занимающагося идеей полнѣйшаго построенія жизни, какого еще и не было прежде. Что онъ подразумѣвалъ подъ этимъ построеніемъ—письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложенія. Бѣлинскій не питалъ злобы и ненависти лично къ автору «Переписки», прочелъ съ участіемъ его письмо и замѣтилъ только: «какая запутанная рѣчь; да, онъ долженъ быть очень несчастливъ въ эту минуту».

День отъвзда изъ Парижа, послв предварительнаго совъщанія съ друзьями, быль назначень окончательно. Накапунв его, вечеромь, Бълинскій посидъль еще разъ на любимомъ своемъ мъств, на мраморныхъ ступенькахъ террасы, окружающей площадь Согласія, «de la Concorde», задумчиво смотря на лукзорскій обелискъ посреди площади, на Тюльери, выступавшій фасадомъ и куполомъ изъ каштановаго сада своего, на мостъ черезъ Сену и Бурбонскій дворець за нимъ, обратившійся въ палату депутатовъ, и вспоминая страшныя сцены и драмы, нъкогда разыгрывавшіяся въ этихъ мъстахъ. Поздно ночью, послъ прощанія у Г., возвратились мы домой. Все было тамъ уложено и приготовлено съ помощью Фредерика, и на другой день въ 5 часовъ утра мы были уже на но-

гахъ, а въ ноловинъ 6-го — и въ каретъ, которая должна была доставить насъ на дебаркадеръ дальней съверной желъзной дороги. Уже подъъзжая къ ней и за какіе-нибудь четверть часа до отхода самаго поъзда, мнъ вздумалось спросить Бълинскаго: «захватили-ли вы халатъ?» Въдный путешественникъ вздрогнулъ и глухимъ голосомъ произнесъ — «забылъ, онъ остался въ вашей комнатъ. на диванѣ». — Ну, — отвѣчалъ я, — бѣда не большая, я вамъ нере-шлю его въ Берлинъ. Но упустить халатъ изъ рукъ показалось Бѣлинскому невыносимымъ горемъ. Надо было видъть ту печальную мину и слышать тоть умоляющій голось, съ которыми онъ сказаль мить: нельзя ли теперь? Отказать ему не было возможности безъ уничтоженья въ его умъ всъхъ пріятныхъ внечатльній вояжа. Я призваль на помощь русское авось, остановиль карету и послаль Фредерика скакать, въ нервомъ понавшенся фіакръ, домой что есть мочи, подобрать халать и застать насъ еще на станціи. Простве было бы отложить повздку до завтра, но мной завладвль тоже нв-котораго рода азарть и желаніе одольть помвку, во что бы то ни стало. Русское авось однако не измѣнило на этотъ разъ. Я едва уснѣлъ взять билетъ для Бѣлинскаго, распорядиться съ его бага-жомъ, какъ пробилъ третій звонокъ, а Фредерика не было. Извъстно, что на французскихъ дорогахъ царствуетъ или царствовалъ военный распорядокъ, такъ что подъ криками и командами кондукторовъ мнъ всегда казалось, что я скоръе на бастіонъ кръности, чыть на мирномъ дебаркадерь жельзной дороги. На этотъ разъ командующие бастіономъ были еще суровъе обыкновеннаго. Въ растворенную дверь настежь, по третьему звонку гнали они теперь толну нассажировъ на террасу съ такимъ неистовствомъ, что можно было подумать: нътъ ли у насъ сзади непріятельской артиллеріи и казаковъ: allez, passez, dépêchez-vous! Я шепнуль Бълинскому, чтобъ оставилъ адресъ свой въ Брюсселъ на станцін и ждаль тамъ Фредерика; затъмъ его втиснули въ толиу, изъ которой онъ вылетълъ на террасу, но меня, какъ не имъющаго билета, уже не пустили туда: права провожать своихъ знакомыхъ и родныхъ граждане Парижа тогда не имъли, да кажется и теперь не имъютъ. Что происходило затъмъ съ Бълинскимъ на террасъ, онъ описалъ мнъ потомъ изъ Брюсселя. Измученный, надорванный шумомъ, суетой, толчками, онъ остановился съ билетомъ въ рукахъ на террасв, тяжело дыша и не зная, куда направиться. Туть усмотрёль его одинь изь бышеныхь кондукторовь, рыскавшихь на террасв, замётиль билеть и съ восклицаніемь: mais que faites vous là, sacrebleu? — нотащиль его за руку и бросиль въ первый попавшійся вагонъ повзда, который уже тропулся. Такъ онъ п довхаль до

Брюсселя, но на пути повстречался съ новымъ происшествиемъ. Бельгійская таможня, раскрывъ его чемоданъ, увидала коллекцію игрушекъ, подлежащую пошлинъ, и потребовала отъ него опредъленія цінности этого добра. Вмісто отвіта, Білинскій сталь объяснять, какъ умъль, что цънности вещей не знаеть, такъ какъ это подарокъ одной прекрасной дамы въ Парижв и т. д., а наконецъ и вовсе замолчалъ. Надо отдать справедливость таможенному чиновнику: посмотръвъ на нъмого и сконфуженнаго человъка, который стояль передъ нимъ, онъ прозрвлъ, что имветъ двло не съ контрабандистомъ и, захлопнувъ чемоданъ, не взялъ никакой пошлины. Бълинскій изъясняль иначе великодушіе чиновника и довольно уморительнымъ образомъ: «догадавшись, что я глупъ до святости, - писалъ онъ, - онъ сжалился надо мной и оставилъ меня въ поков». На другой день Фредерикъ, чуть не плакавшій отъ неудачи, повезъ ему въ Брюссель знаменитый халатъ, легко отыскалъ тамъ многострадального путешественника, благополучно препроводилъ его въ Берлинъ, гдъ и сдалъ съ рукъ на руки Д. М. Щенкину, молодому, рано умершему и замъчательному ученому по археологіи и миоологіи. Въ Петербургъ Бълинскій явился къ изумленію и радости своихъ знакомыхъ гораздо свъжъе и бодръе, чъмъ выъхалъ изъ него, но радость ихъ была не продолжительна...

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ

А. С. НУШКИНА

Изъ последнихъ леть жизни поэта.

Чрезвычайно важно, для пониманія различныхъ эпохъ русской жизни, определение нравственной сущности техъ или другихъ политическихъ и общественныхъ взглядовъ и убъжденій, которыми были проникнуты главные дъятели эпохи, приковывавшие къ себъ внимание своихъ современниковъ. При этомъ вся трудность для изследователя заключается преимущественно въ томъ, что русскіе образованные люди, судя по общему характеру ихъ жизни, какъ будто мало отличались другь отъ друга, исповъдывали какъ будто однъ и тъ же политическія идеи, говорили почти одно и то же, какъ въ области знанія, Ітакъ и на публичной аренъ литературы, занимались почти одними и тъми же, не очень сложными и разнообразными предметами. Со всёмъ тёмъ, позднёйшія монографіи и біографическія изысканія показали, что многіе изъ такихъ дѣятелей, кром'в своего участія въ общемъ хор'в, гд'в дружно исполняли роль, случайно выпавшую на ихъ долю, еще имъли свои затаенныя воззрѣнія на положеніе дѣлъ, свои правила морали, отличныя отъ тъхъ, которыя требовались общимъ голосомъ, свою критическую оценку окружающаго міра... Никогда и ни въ какія, даже наиболее тихія, строго-организованныя эпохи, не прекращалась у насъ внутренняя дъятельность общественнаго сознанія, разработка новыхъ жизненныхъ идеаловъ, параллельно съ существующими на-лицо, не исчезало личное, самостоятельное творчество въ способъ пониманія и представленія явленій русской исторіи, любимыхъ идей, обычаевъ и увлеченій современности. А. С. Пушкинъ точно также имълъ свою домашнюю, секретную теорію разумнаго

гражданскаго существованія, какъ и учители его — Карамзинъ и гражданскаго существованія, какъ и учители его — Карамзинъ и Жуковскій, но съ тою разницей, что послѣдніе пользовались возможностью доводить свои теоріи до свѣдѣнія оффиціальнаго міра, между тѣмъ какъ Пушкинскія теоріи, которыя онъ обдумываль долгое время, должны были остаться при немъ одномъ, и притомъ въ необдѣланномъ, разбросанномъ, почти безсвязномъ видѣ. Много было уже у насъ попытокъ добраться до смысла истинныхъ политическихъ и общественныхъ убѣжденій Пушкина съ помощію самыхъ его произведеній и тъхъ выводовъ, какіе они представляютъ, — но все-таки приговоры, основанные на этомъ критическомъ разборъ, не могутъ имъть достовърности личныхъ показаній и признаній автора. Всего чаще, подобные приговоры не принимають въ соображение случайности поэтическаго настроенія, которымъ иногда выражается не подлинная мысль автора, а только мысль, навъянная ему сюжетомъ, содержаніемъ его образа или его фантазіи. Подлинная мысль человъка обрътается преимущественно въ его бесъдахъ съ самимъ собою, наединъ со своей совъстью, при кабинетной повъркъ съ глазуна-глазъ всего своего умственнаго достоянія. Между всёми остатками такой литературной дъятельности А. С. Пушкина, особенною печатью подлинной его мысли помъчены черновые планы полемическихъ статей, заготовляемых поэтомъ для «Литературной Газеты» барона А. А. Дельвига 1830 года, а затёмъ отзывы и сужденія Пушкина при перечнѣ указовъ и событій временъ Петра І-го, за исторію котораго онъ принялся въ 1832 году, по порученію правительства. Передачей этой подлинной мысли Пушкива въ области политическихъ и общественныхъ вопросовъ мы теперь и займемся, не отказываясь, впрочемъ, и отъ задачи услъдить ея болъе или менъе далекое отражение и на нъкоторыхъ литературныхъ и поэтическихъ его произведеніяхъ; вообще, основная мысль Пушкина сохранилась, въ его бумагахъ, въ формъ набросковъ, недоговоренныхъ положеній и отрывковъ, соединить которые въ нѣчто цѣлое и однородное представляло не маловажное затрудненіе и потребовало особеннаго труда и усилій.

T.

Настоящая цёль изданія «Литературной Газеты» 1830—31 г. заключалась, какъ изв'єстно, преимущественно въ томъ, чтобы образовать какой-либо оплотъ противъ журнальной монополіи, захваченной издателями «Сёв. Пчелы» и «Сына Отечества», благодаря

жалкой безпомощности самихъ писателей и апатическому характеру всего литературнаго міра. Монополія эта, какъ всегда бываетъ, тщательно наблюдала за тѣмъ, чтобы сохранить свое привилегированное положеніе всякими позволительными и непозволительными веето литературнаго мира. Монополия эта, какъ всегда обяваетъ, твательно наблюдала за тъмъ, чтобы сохраните вое привилегированное положеніе веякими позволительными и непозволительными представить себа какъ единственную охранительныму интересовъ порядка и благочинія—достаточно упомянуть объ орудіяхъ, какія она употребляла, чтобы держать въ страхѣ передъ собой печать и пишущахъ. Орудіями этими служили, во-первыхъ, безустанное преслъдованіе писателей независимыхъ, но еще не составившихъ себъ имени; лесть и искательство передъ знаменитостями, если они обпаруживали расположеніе покрывать своимъ молчаніемъ заведенный порядокъ дѣлъ,—и наоборотъ—ругательства, клевета, позорные намеки всякаго рода, если они терлян терпѣніе и поднимали голосъ, а затѣмь пеобычайное снисхожденіе, покровительство и жаркая рекомендація всякому пичтожеству и посредственности, которых становились добровольно подъ иго монополіи и въ ней искали залоговъ успѣха и упроченнаго положенія въ печати. Монополія торжествовала. Благодаря заведенному ею террору въ литературномъ мірѣ, полному равнодушію образованнаго общества къ дѣламъ печати, и согласію, полученному ею, гдѣ слѣдуетъ, на предоставленіе простора въ приложеніи дисциплинарныхъ мѣръ къ непокорпымъ умамъ,—она превратила почти весь тогдашній, пемвогочисленный персоналъ русскихъ писателей въ льстецовъ, клевретовъ и агентовъ своихъ корыстныхъ пиълей. Къ сожалѣнію, пздатель «Московскаго Телеграфа», которий могъ бы образовать относительно довольно сильную, самостоятельную и противодъйствующую ей партію, тоже вошель въ ей интересы и пристроилси къ ней, напутанный, вѣрохтно, московской оппозиціей своему журналь, сильно обпаружившейся при появленіи соперничествующаго «Московскаго Вѣстника», 1827 г., а еще—вѣролтнѣе, по разсчету обезоружить одного изъ членовъ монополіи, О. В. Булгарина — это типическое лицо своего времени, пользовавшееся довъргама тъкоторыхъ правительственныхъ лицъ, несмотря на то, что постоянно вводило ихъ въ опибки своими сообщеннями. Сорьений меры то тома правительственныхъ лицъ, не

понятіями о приличіи и достоинств'є своих сужденій и представляль ранній, хотя еще и тусклый образець бойца, который старается см'єлостію и наглостію выдти изъ толиы, гд'є его удерживають отсутствіе таланта и образованія. Такъ, въ одномъ изъ своихъ изданій Бестужевъ-Рюминъ развязно напечаталь н'єсколько рукописныхъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, безъ в'єдома автора, всегда боявшагося подобныхъ пескромностей, и подъ одними литерами «Ап.» Пушкинъ даже и не протестовалъ, наученный еще прежде опытомъ, что литературная собственность не признается въ его отечеств'є. Въ 1827 г. чиновникъ при Третьемъ Отд'єленіи, статскій сов'єтникъ Ольдекопъ, перевель на н'ємецкій языкъ его «Кавказскаго пл'єнника» и выпустилъ въ св'єтъ съ полнымъ русскимъ текстомъ еп regard, что равнялось новому, самовольному изданію поэмы. Вс'є усилія Пушкина—добиться защиты своихъ правъ, обращавшагося за этимъ къ ближайшему начальству см'єлаго переводчика—остались безусп'єшны. Оскорбленный авторъ, махнувъ рукой, тогда же и сказалъ: «Ну, и чортъ съ нимъ, если на него н'єтъ суда».

Въ такомъ видъ и съ такими нравами и обычаями влачила свои дни журналистика и печать русская къ началу 1830 г.

Понятно, послѣ того, заявленіе, сдѣланное «Литературной Газетой», на первыхъ же порахъ, о своемъ намърении поднять литературную критику изъ ея прискорбнаго состоянія и предоставить поле дъятельности для писателей, которые не могуть участвовать ни въ одномъ изъ Петербургскихъ и Московскихъ журналост. Заявленіе было написано Пушкинымъ и содержало правдивый фактъ. Послъ прекращенія «Московскаго Въстника», цълая группа, и самая значительная, -- литераторовъ, въ которой числились такія лица, какъ В. А. Жуковскій, Е. А. Баратынскій, князь П. А. Вяземскій, И. А. Крыловъ, П. А. Катенинъ, и наконецъ, самъ Пушкинъ — дъйствительно не имъла органа. Группъ этой именно и принадлежить какъ первая мысль объ основани газеты, такъ и выборъ редактора для нея. По общему соглашенію, въ редакторы быль призвань А. А. Дельвигь, пользовавшійся репутаціей очень тонкаго критика и имъвшій за собой преимущество почти безотлучнаго пребыванія въ Петербургъ. Правда, всъ эти основатели газеты помогали ей впослъдствіи болъе совътами, чъмъ произведеніями своими, за исключеніемъ одного И. А. Крылова, давшаго ей значительный вкладъ новыхъ басенъ своихъ; а между темъ совокупныя ихъ усилія были бы совершенно необходимы для того, чтобы бороться съ такими опытными и изворотливыми врагами, какіе поджидали новый журналь. Душой его сделался Пушкинь. Онъ при-

няль на себя важнъйшую, полемпческую часть газеты, и повель ее, какъ увидимъ, съ такимъ пыломъ и въ такомъ ръшительномъ, безпощадномъ тонъ, какой до того еще и пе былъ знакомъ въ нашей литературъ. Монополія тотчась же распознала грозившую ей опасность, и для отвращенія ея собрала всё свои силы литературныя, а также и тъ, которыми располагала вив литературы. Вспомоществуемая въ то же время памфлетическими выходками Вестужевской школы, она очень искусно церенесла вопросъ о причинахъ появленія новаго журнала на политическую почву, назвавъ издателей и сто-ронниковъ «Литературной Газеты» — кружкомъ людей, желающихъ ронниковъ «литературной газеты» — кружкомъ людей, желающихъ выдълиться изъ общаго положенія, существующаго для литераторовъ, и стать особнякомъ, образовать партію знаменитостей, водворить «принципъ аристократизма» тамъ, гдѣ его быть не можетъ, и направлять общественную мысль, въ смыслѣ этого принципа. Этотъ опасный, при тогдашнемъ режимѣ, намекъ и дерзкій вызовъ, брошенные монополіей въ такомъ видѣ, были подняты «Литературной Газетой», или, лучше, ея вдохновителемъ, Пушкипымъ—съ не-обычайной энергіей. Теперь уже вполнъ извъстно, что именно Пушвинъ былъ отчасти составителемъ, а отчасти внушителемъ всёхъ тъхъ многочисленныхъ полемическихъ замътокъ, въ которыхъ уча-стіе избраннаго круга людей въ дълахъ общества и литературы объявлялось желательнымъ и въ то время необходимымъ для поднятія строя жизни и уровня мысли въ государствъ. Въ противопонятія строя жизни и уровня мысли въ государствъ. Въ противопо-ложность съ задачами и цълями, какія можетъ имъть подобный из-бранный кругъ, публицистъ «Литературной Газеты» поставлялъ на видъ задачи какого-нибудь проходимца-литератора, въ родъ Ви-дока.—и дъйствительно, статья Пушкина о запискахъ этого сыщика, въ № 20 «Литературной Газеты», нанесла чувствительный ударъ Булгарину, какъ нравственной личности. Далъе, тотъ же публицистъ клеймиль ядовитыми эпиграммами враговь всякой умственной и моральной возвышенности въ людяхъ, какъ признака аристократизма (ср. эпиграмму Пушкина на того же Булгарина), и наконецъ въ пресловутой статейкъ, надълавшей много шума и не мало бъдъ самому издателю «Газеты» (и она тоже принадлежитъ Пушкину), домому издателю «Тазеты» (и она тоже принадлежить пушкину), до-шель до замѣчанія, что неумолкаемыя нападки журналовь Булга-ринскаго пошиба на аристократію могуть кончиться тѣмъ, чѣмъ они кончились въ другой странѣ — криками черни: «les aristocrates à la lanterne», и припѣвомъ «ça ira». Статейка еще добавляла свою выходку восклицаніемъ: «avis au lecteur!»

Враги Пушкина и вся Булгаринская партія поздно тогда спохватились, что сдёлали ошибку, затронувъ его и приложивъ къ нему свой инсинуаціонный способъ борьбы: Пушкинъ встрётилъ ихъ на той самой почвъ, гдъ они считали себя непобъдимыми, и далъ почувствовать, что оружіе инсинуаціи можеть быть обращено и противъ нихъ самихъ. Испугъ, произведенный замъткой Пушкина въ Булгаринскомъ лагеръ монополистовъ, былъ понятенъ: она наносила ударъ ихъ оффиціальной репутаціи — благонадежности; но, бросая ее въ такомъ ръзкомъ видъ, Пушкинъ надъялся, что она вызоветъ столь же ръзкій отвъть—и тъмъ дастъ поводъ къ начатію серьёзной, принципіальной полемики.

Ничего подобнаго не случилось. Враждебная партія нисколько не была расположена затрогивать основы своихъ или чужихъ мнвній и предпочла ограничиться горячими протестами противъ злонамъреннато вывода, сдъланнаго изъ ея словъ, и скрыться подъ покровительство общихъ цензурныхъ законовъ. Но Пушкинъ уже не хотъль оставить ее спокойно предаваться, по прежнему, безмятежному удовольствію вести простую диффаматорскую игру вокругъ именъ и личностей, послъ того, какъ уже быль поднять вопрось о направленіяхъ и следовало выразить свое отношеніе къ нимъ. Онъ принялся за объяснение и распространение первоначальной замътки, въ формъ разговора между двумя лицами: А. и Б., въ которомъ уже излагалъ отчасти свое воззръніе на явленія, носившія названія русской аристократіи и демократіи. Разговоръ предназначался имъ тоже для «Литературной Газеты», въ чемъ можно убъдиться и по нъкоторымъ его пріемамъ и нъсколько осторожному тону изложенія; но Пушкинъ въ этомъ случав слишкомъ понадвялся на выносливость печати и разсчитываль на публикацію, не договорившись, по французскому выраженію, предварительно съ хозяиномъ. Было найдено, что весь этотъ литературный споръ зашелъ уже слишкомъ далеко и затронулъ стороны жизни, не подлежащія его въдънію, и послъ должныхъ внушеній объимъ сторонамъ, дальнъйшее его развитіе дівлалось боліве невозможнымь. «Разговорь» такъ и остался въ бумагахъ Пушкина въ томъ необделанномъ еще виде, въ какомъ мы здвсь и приводимъ его 1):

¹⁾ Для библіографовь и для будущаго истинно-полнаго собранія сочипеній Пушкина, ми можемъ еще привести замѣтки его, появившіяся въ смѣси "Литературной Газети" и не попавшія пи въ одинъ изъ сборниковъ его твореній. Такови: № 10, стр. 98—о князѣ Вяземскомъ; № 12, стр. 98—о каррикатурѣ въ Англіи, которая содержить намекъ на Н. А. Полевого; № 16, стр. 129—о гекзаметрахъ Мерзлякова, въ сравненіи съ гекзаметрами Дельвига; № 20 стр. 162—отвѣтъ критику, объявившему при разборѣ одного литературнаго сборника, что нѣтъ причинъ сожалѣть объотсутствіи въ немъ знаменитыхъ писателей; № 36, стр. 293—вторая замѣтка о веблаговидности нападокъ на дворянство.

«А. Читаль ты замъчаніе въ «Литературной Газеть», гдъ сравнивають нашихь журналистовь съ демократическими писателя-ми XVIII-го стольтія?—Б. Читаль.—А. Какь же ты его нахо-дишь?—Б. Довольно неумъстнымь 1).—А. Конечно—иначе нельзя и думать. Какъ не стыдно литераторамъ обижать такимъ образомъ свою братію!...—Б. Согласенъ.—А. Русскіе журналисты не заслуживали такого презрительнаго сравненія.—Б. А! такъ извини: я съ тобою не согласенъ.—А. Какъ такъ?—Б. Я было тебя не понялъ. Мнъ показалось, что ты находишь обиженными демократическихъ писателей XVIII столътія, которыхъ съ нашими никакимъ образомъ сравнивать нельзя. Томасъ, Дюкло, Шамфоръ — были столь же умные, какъ и честные люди — не безпримърные геніи, но литераторы съ отличнымъ талантомъ. — А. Въ «Литературной Газе-тъ» сказано, что эпиграммы ихъ приготовили крики: à la lanterne! Неужто въ самомъ дълъ эпиграммы произвели французскую рево-люцію? — В. О французской революціи «Литературная Газета» мол-чить — и хорошо дълаетъ. — А. Помилуй, да посмотри—les aristo-crates à la lanterne, ça ira, и т. д. — В. И ты тутъ видишь французскую революцію?—А. А ты что туть видишь, если смію спросить? — В. Одинъ жалкій эпизодъ французской революціи — гадкую фарсу въ огромной драмъ. — А. Такъ видно — ты стоишь за «Литературную Газету». Давно-ль ты сдълался аристократомъ? — Б. Какъ, аристократомъ? — Что такое аристократъ! — А. Что такое аристократъ? О, да ты журналовъ не читаешь. Вотъ видишь ли: издатель «Литературной Газеты» и сотрудники его, и читатели его всѣ аристократы! — Б. Воля твоя, я смысла тутъ не вижу. Будучи самъ литераторомъ, я читаю «Литературную Газету», ибо мнѣ любонытно знать ея мнѣнія: мнѣ досадно видѣть въ ней иногда личности и колкости, отвѣты, возраженія, мелочную войну, которую не худо предоставить литературнымъ башкирцамъ; но никогда не видаль я въ «Литературной Газетъ» ни дворянской сиъси, ни гоненія на прочія сословія. Дворяне ли баронъ Дельвигь, князь Вяземскій, Пушкинъ, Баратынскій-мять до этого и дела нетъ. Они объ этомъ не толкуютъ. Заступясь за грамотное купечество, въ ли-цъ г. Полевого—они сдълали хорошо; заступясь нынъ за просвъщенное дворянство — они сдълали еще лучше. — А. А что значитъ: avis au lecteur! Къ кому это относится? Ты скажешь-къ журналистамъ, а я такъ думаю—не къ цензуръ ли?—В. Да хоть бы и къ цензуръ—что за бъда?... Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждаго сословія, но смінться надъ сословіємь,

¹⁾ Этоть Б., какъ выразитель Пушкинскихъ мифній, имфеть въ виду еще и литературную полицію, также встревоженную резкой заметкой.

потому только, что оно такое сословіе, а не другое—не хорошо и не позволительно. И на кого журналисты наши нападають? Въдь не на новое дворянство, получившее свое начало при императоръ Петръ I и императрицахъ и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократію. Pas si bête! Наши журналисты передъ этимъ дворянствомъ вѣжливы до крайности; они нападаютъ именно на старинное дворянство, которое нынь, по причинь раздробленных имьній, составляеть у нась родь средняго состоянія, состоянія почтеннаго, трудолюбиваго и просв'ьщеннаго, состоянія, къ которому принадлежить и большая часть нашихъ литераторовъ. Издъваться надъ нимъ (и еще въ оффиціальной газетъ) не хорошо и даже не благоразумно.—А. Почему же статья «Литературной Газеты» показалась неблагонамъренной многимъ? — Б. Потому, что политические вопросы никогда не были у насъ разбираемы. Журналы наши, не нарочно наступивъ на одинъ изъ таковыхъ вопросовъ, сами испугались движенія, ими произведеннаго. Демократические наши журналы (въ прямомъ или переносномъ смыслъ), нападая на дворянство, должны были найти отпоръ и нашли его въ «Газетъ». Все это естественно, даже утъщительно, но, повторяю, вопросы политические для насъ еще новость.—А. Знаешь ли что? Мнъ хочется разговоръ нашъ передать издателю «Литературной Газеты»— чтобъ онъ напечаталъ его себъ въ оправданье.—Б. И хорошо сдѣлаешь. Есть обвиненія, которыя не должны быть оставлены безъ вниманія, отъ кого бы они, впрочемъ, ни происходили. Повредить замѣчаніемъ нельзя. Образъ мнѣнія почтенныхъ издателей «Сѣверной Пчелы» — слишкомъ хорошо извѣстенъ, и «Литературная Газета» повредить имъ не можетъ, а г. Полевой. въ ихъ компаніи и подъ ихъ покровительствомъ, можеть быть тоже безопасенъ».

Въ этомъ отрывкъ есть небольшая тирада, уже однажды нами приведенная («Пушкинъ въ Александровскую эпоху»), о нападкахъ журналистики преимущественно на остатки старыхъ дворянскихъ родовъ, лишенныхъ всякаго политическаго зпаченія, но мы предпочли, вмъсто опущенія ея—повторить теперь на томъ мъстъ, гдъ ее встрътили въ первый разъ.

Когда, вслъдствіе запрещенія, оказалось невозможнымъ продолжать споръ въ томъ полемическомъ тонъ, какой онъ принялъ съ самаго начала, Пушкинъ перешелъ къ мысли возобновить его въ болъе спокойной, объективной формъ руководящихъ статей и трактатовъ, которые бы могли найти уже безопасный пріютъ въ той же «Литературной Газетъ» и сообщить ей общественно-политическій оттънокъ.

На душѣ его лежало: — съ одной стороны, объяснить роль либеральной, прогрессивной, патріотической аристократіи въ государствахъ, которые ею обладають, а съ другой—открыть въ современной литературъ эру разработки политическихъ вопросовъ, какъ нъкогда сдълалъ это Карамзинъ для своей эпохи въ своемъ журналъ «Въстникъ Европы» (1802—1803 гг.). Пушкинъ принялся набрасывать программы и конспекты для статей съ направленіемъ, — но покуда намѣчалъ онъ существенныя черты и ходы будущей своей работы, сама «Литературпая Газета» была пріостановлена. Поводомъ къ этой мъръ послужило нъсколько переводныхъ стишковъ изъ воззванія Казиміра Делавиня къ бойцамъ іюльскаго переворота, тогда прогремъв-шаго во Франціи, и попавшихъ въ газету совершенно случайно, какъ дополненіе печатной страницы, и притомъ всего болъе за свою форму, такъ какъ сочувствія къ историческому факту, который упоминался въ стихахъ—ни Дельвигъ и никто изъ литераторовъ не могли питать по простой причинъ, которую раздъляли со всъмъ нашимъ обществомъ того времени: они не имъли вовсе никакого мненія о немъ. Распоряженіе это однакоже сопровождалось печальными послъдствіями для Дельвига. Онъ призванъ былъ къ отвъту генераломъ Венкендорфомъ, и при этомъ вытериълъ такую бурю подозръній, угрозъ и оскорбленій, что она потрясла физическій и нравственный его организмъ. Онъ заперся въ своемъ домъ, завелъ карты, дотолъ не видънныя въ немъ, никуда не показывался и никого не принималъ, кромъ своихъ близкихъ. Подъ дъйствіемъ никого не принималь, кромъ своихъ близкихъ. Подъ дъйствіемъ такого образа жизни и глубоко-почувствованнаго огорченія можно было онасаться, что первая серьёзная бользнь унесеть всв его силы. Такъ и случилось — бользнь не заставила себя ждать и быстро свела его въ могилу (14 января 1830 г.). «Литературная Газета», однакоже, посль довольно долгаго перерыва явилась опять на свъть, подъ редакціей извъстнаго тогда составителя безцвътныхъ «обозрый Русской Словесности» для альманаховъ — Ореста Сомова, и въ рукахъ его продолжала еще существовать нъкоторое время, никъмъ уже болъе не тревожимая, но и никому ненужная. Пушкинъ отложилъ въ сторону всъ планы статей для журнала, пересталь думать о нихъ, и, наконецъ, позабылъ вовсе объ ихъ существованіи...

но они стоють того, чтобы вывести ихъ изъ забвенія, на которое были обречены. Какъ еще ни безсвязны, ни сжаты и лаконичны вст эти проекты неосуществленнаго труда, потребовавшія отъ насъ объясненій гораздо болте пространныхъ, чты они сами; какъ ни кажутся съ перваго вида многіе изъ тезисовъ, тутъ приведенныхъ, ртзко парадоксальными и неумтренно-горячими по выраженію (недостатки, которые втроятно были бы сглажены или обойдены при обработкъ ихъ), — но въ своей совокупности эти программы автора представляютъ довольно ясно и отчетливо существенныя черты и коренныя основанія полной политической теоріи, законченнаго ученія, цъльнаго историческаго созерцанія. Оно нажито было Пушкинымъ долгими размышленіями о способъ выяснить себъ современное ему положение общества, найти точку отправления для своей мысли, и всего болъе созръло въ бесъдахъ съ людьми, занимавшимися тъми же поисками за отчетливымъ опредълениемъ своей эпохи въ прошлое царствованіе. Вотъ почему теорія Пушкина, какъ она созидается изъ сложенія и возстановленія всёхъ отрывковъ, оставшихся послъ нея, имъетъ двоякое значение: во-первыхъ, какъ върное отражение весьма любопытной иважной стороны Александровской эпохи, которой Пушкинъ былъ върпымъ представителемъ, и, во-вторыхъ, какъ документь, далеко не лишенный интереса для запимающихся исторіей идей, которыя въ разное время посъщали умы нашего образованнаго общества. Между прочимъ, мы убъждены, что извъстный, глубокосочувственный, почти восторженный отзывъ Мицкевича о «политическомъ» смыслъ Пушкина возникъ преимущественно изъ знакомства съ основными чертами этой самой теоріи, которая уже давно народилась и созрѣвала въ головѣ ея автора. Приводимъ, по порядку, первый образчикъ Пушкинскихъ программъ:

«Что такое потомственное деорянство? — Сословіе народа высшее, т.-е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. — Кфмъ? — Народомъ, или его представителями. — Съ какою цфлью? — Съ цфлью имъть мощныхъ защитниковъ (народа), или близкихъ и непосредственныхъ къ властямъ представителей. — Какіе люди составляютъ сіе сословіе? — Люди, которые имѣютъ время заниматься чужими дфлами. — Кто сіи люди? — Отмфнные по своему богатству или образу жизни. — Почему такъ? — Богатство доставляетъ способъ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву du souverain. Образъ жизни, т-е., не ремесленный или земледфльческій, ибо все сіе налагаетъ на работника или земледфльца различныя узы. — Почему такъ? — Земледфлецъ зависитъ отъ земли, имъ обработанной, и болфе всфхъ неволенъ; ремесленникъ — отъ числа требователей торговыхъ, отъ мастеровъ и покупателей. — Нужно ли для дворянство? — Независимости, храбрости, благородству, чести вообще. — Не суть ли сіи качества природныя? — Такъ, но образъ жизни можетъ ихъ развить, усилить или задушить. — Нужны ли они въ народф, также, какъ, напримфръ, трудолюбіе? — Нужны, и дворян-

ство — la sauvegarde трудолюбиваго класса, которому некогда развивать сін качества».

Къ этимъ, едва намъченнымъ мыслямъ и во многихъ мъстахъ не вполнъ дописаннымъ фразамъ есть еще у Пушкина дополненіе, которое можетъ служить имъ и комментаріемъ. Оно состоитъ также изъ вопросовъ и отвътовъ:

«Что составляеть дворянство въ республикъ? — Богатне люди, которыми народъ кормится. — А въ государствъ? — Военные люди, которые составляють войско государево. — Чъмъ кончается (погибаеть) дворянство въ республикъ? — Аристократіей правъ. — А въ государствъ? — Рабствомъ народа. А = В».

Какъ ни лаконичны по своей формъ всѣ эти замѣтки, но, повторяемъ, смыслъ ихъ кажется намъ вполнѣ яснымъ. Не видя возможности для крѣпостного тогда народа, ни способности въ немъ—самому заботиться о своей участи, и возлагая на дворянство историческую миссію служить ему опорой и защитой—Пушкинъ ставитъ и необходимыя условія для подобной дѣятельности. Она «кончается»—говоритъ онъ—а съ пей и государственное значеніе сословія, если оптиматы въ республиканскихъ обществахъ соберутся въ одну эгоистическую замкнутую касту(«аристократія правъ»), или когда при другихъ формахъ правленія благосостояніе и вліяніе дворянства будетъ созидаться—независимо или даже въ противоположность процвѣтанію всего народа.

Естественно, что придавая такое народовоспитательное и политическое значение потомственному независимому дворянству въ государствъ, Пушкинъ долженъ былъ считать всъ факты и явленія русской исторіи, пом'вшавшіе развитію у насъ дворянскаго института и не позволившіе ему исполнить свое историческое призваніе фактами и явленіями въ высшей степени печальными. Такъ, онъ сожальль объ отмыть мыстничества и уничтожении разрядовь, что, по его мнвнію, произошло совсвив не изв видовъ пастоятельной, государственной нотребности, а изъ домогательства и соперничества мелкихъ дворянскихъ родовъ, завистливо смотръвшихъ на привилегіи старшихъ своихъ собратій, да и тутъ еще Пушкинъ не признаваль «соборный приговорь» при царъ Осодоръ окончательнымъ устраненіемъ мъстничества. Оно еще довольно долго существовало, по его мибию. и послъ того, и всъ разрядные списки, хотя и сожженные оффиціально, управляли еще дъловымъ русскимъ міромъ и жили всецело въ намяти людей, вплоть до Петра I, окончательно

похоронившаго ихъ табелью о рангах. Въ этомъ смыслъ, личность Петра I, создавшая такую полную систему подчиненія всёхъ свободныхъ людей, всякаго чина и званія, одной безотв'ятной служб'я государству, гдв они и сравнялись — являлась Пушкину, какъ личность, по преимуществу, революціонная, и порядокъ, ею водворенный на Руси, революціоннымъ. «Пора кончить революцію въ Россіи!> — восклицаеть онъ въ разныхъ мъстахъ своей переписки съ друзьями, а кончить ее иначе нельзя, по его воззржнію, какъ созданіемъ въ лицъ имущественно и политически самостоятельнаго дворянства — сильнаго оплота противъ озлобленнаго класса выходцевъ изъ народа съ одной стороны, и помъщичьей наклонности придерживаться азіатскихъ порядковъ существованія и въ нихъ искать своего спасенія—съ другой. Объ эти тенденціи представляли для него совершенно одинаковыя величины: A = B, — употребляемъ его формулу. «Наслъдственныя преимущества — говорилъ онъ — высшихъ классовъ общества суть условія ихъ независимости. Въ противномъ случав, классы эти становятся наемниками и несутъ ихъ обязанности».

Какъ еще ни благоговълъ Пушкинъ передъ цивилизаторской дъятельностію Петра I, но нъкоторые изъ его внутреннихъ по государству распорядковъ имъли сили возбуждать въ немъ горькое чувство сомнѣнія, что отразилось и въ предварительныхъ очеркахъ исторіи Петра I, за которую онъ принялся въ 1832 году, — но объ этомъ скажемъ подробнѣе ниже. Покамѣстъ онъ смотрѣлъ на Петра единственно какъ на безжалостнаго истребителя единственнаго сословія, которое еще могло умѣрять его порывы и увлеченія. Онъ называлъ его соединеніемъ Робеспьера и Наполеона, — въ одномъ лицѣ воплощеніемъ всей революціи.

«Вотъ уже 150 лѣтъ, —восклицалъ онъ, —что «Табель о рангахъ» сметаетъ дворянство въ одну кучу (que la «Табель о рангахъ» balaye la noblesse), а затѣмъ уничтоженіе майоратства хитростнымъ (плутовскимъ, употребляя его терминъ) образомъ при
Аннѣ Ивановнѣ довершило паденіе передового класса, начатое «Табелью». — Что изъ этого слѣдуетъ, — прибавлялъ Пушкинъ: — восшествіе Екатерины II, 14 декабря и т. д.». Пушкинъ до того
сроднился со своимъ представленіемъ о революціонномъ характерѣ
многихъ мѣропріятій Петра и другихъ, за пимъ послѣдовавшихъ,
въ томъ же духѣ, что разсказываетъ самъ въ «Запискахъ» своихъ, какъ однажды и гораздо позднѣе описываемой эпохи, носѣтивъ однажды покойнаго великаго князя Михаила Павловича, сказалъ ему въ глаза на разставаньи: — Je connais bien votre famille.
Les R*— ont été de tout temps révolutionnaires. «Спасибо, — отвѣ-

чаль шутя великій князь, — что наградиль новымь качествомь: намь его недоставало».

чаль шутя великій князь, — что наградиль новымь качествомь: намъ его недоставало».

Въ томъ же порядкъ идей и подъ вліяніемъ тѣхъ же представленій шли у Пушкина и историческія изстъдованія до-петровской старины, ближайшимъ поводомъ къ которымъ было появленіе «Исторіи русскаго народа», Полевого. Въ другомъ мѣстъ (см. «Матеріалы для біографіи Пушкина», 1855 года) указаны были образцы этихъ набъговъ на русскую исторію, подъ руководствомъ предвяной мысли и апріористическаго метода завиматься ея вопросами, который, какъ видно и изъ предшествующихъ выписокъ, вошель у него въ обычай; этимъ Пушкинъ опять связывался съ Алекандровской эпохой, не знавшей другого метода изстъдованія. «Исторія» Полевого, вдобавокъ, открывала еще къ нему и широкую дорогу, будучи сама собраніемъ догадокъ, болъе или менъе спорныхъ, и попыткой отыскать ключъ къ уразумѣнію лътописныхъ русскихъ дапныхъ въ трудахъ западныхъ писателей, объясиявшихъ лътописи другихъ народовъ. Особенно первые томы этой «Исторіи» представляли массу фальшивыхъ аналогій между фактами западнаго происхожденія и явленіями русскаго міра, которыхъ сводить вмѣстъ было любимымъ упражненіемъ автора. При кропотливости университетской оффиціальной исторической пауки, которая замѣнила торжественность и самоувѣренность прежней Карамзинской школы перечетомъ лѣтописныхъ сказаній и повтореній буквальнаго ихъ смысла, не заботась о своеобразной племенной вародной жизни, за ними скрывавшейся, — «Исторія» Полевого должна была показаться дерзостью. Составитель ея, однако же, предчувствоваль, какъ теперь уже почти всѣми признано, пѣкоторыя изъ задачъ будущаго русскаго историка, но для обработки ихъ ему недоставало научной подготовки и первыхъ необходимыхъ севъдъній объ особенностяхъ славянской культуры, объ идеяхъ и представленіяхъ, управлявших славянской культуры, объ идеяхъ и представленняхъ, управлявших славянской культуры, объ идеяхъ и представленняхъ, управлявших славянской культуры, объ идеяхъ и представленняхъ, управлявний и выдвинувшія на первый планъ всѣ эти вопросы, явились горад че и быть не могло: важнъйшія изслъдованія, освътившія и выдвинувшія на первый планъ всё эти вопросы, явились гораздо позднье. Весьма понятно, что присяжные ученые отнеслись къ труду Полевого въ ръзкихъ статьяхъ своихъ со злобой и презръніемъ напрасно потревоженныхъ людей, но гораздо труднье понять — почему вознегодовали на него дилеттанты исторической науки, которыхъ тогда было много въ обществъ, и которые не менъе критикуемаго автора обладали произвольными взглядами на прошлое Руси, почеринутыми отовсюду, кромъ изучепія предмета. Тайна объясняется тъмъ, что построеніе гипотезъ всегда у нихъ имъло въ виду коронованіе русской исторіи самыми дорогими (и въ сущности вовсе ненужными)

въндами, а у Полевого сопровождалось скептическими замашками... Фантазія съ отрицающимъ характеромъ казалась уже нестерпимой. Пушкинъ тоже возсталъ противъ нея.

Извъстно, что онъ напечаталъ въ «Литературной Газетъ» критическую статью объ «Исторіи» Полевого, тотчасъ по выходъ ея 1-го тома. За ней должна была слъдовать другая, приготовленія къ которой остались въ его бумагахъ. Все та же главная, господствующая тэма его созерцанія управляеть и здісь его сужденіями, просвъчивая сквозь всъ полемические приемы и возражения, и обнаруживая себя даже и тамъ, гдъ, казалось, сословному вопросу не могло быть и мъста. Предлогомъ для ввода послъдняго въ изслъдование московскаго періода нашей исторіи послужиль взглядь Полевого на удъльную систему, какъ на проявленіе въ русской формъ западнаго феодализма. Пушкинъ приступилъ тотчасъ же къ опровержению этого мнънія, и въ отрывкъ, приведенномъ нами прежде (въ «Матеріалахъ для біографіи Пушкина», 1855), старался собрать данныя для показанія несостоятельности такого предположенія. Въ этомъ отрывкъ, направленномъ противъ мысли Полевого, Пушкинъ противопоставляль феодализму институть боярства, который ничего общаго съ первымъ не имълъ, и онъ восходилъ изъ этого противопоставленія до опредъленія разницы въ духъ и характеръ западныхъ и русскихъ «среднихъ въковъ». Содержаніе и мысль этого отрывка Пушкинъ именно и собирался превратить во вторую статью объ «Исторіи» Полевого. Здісь мы дополняемъ отрывокъ только одной небольшой, но очень характерной замъткой автора, не попавшей въ свое время въ печать, отсылая читателя за полнымъ содержаніемъ программы къ «Матеріаламъ» 1855 года. Опровергая Полевого, Пушкинъ, какъ оказывается и по другимъ источникамъ, еще сожалълъ объ отсутствии въ нашей истории такого явленія, какъ феодализмъ. По его мнънію, феодальный институть въ своемъ естественномъ развитии и перерождении могъ бы осъсться у насъ въ видъ перваго опыта къ учрежденіямъ независимости (верхняя палата), и вызвать второй, который ни чемъ другимъ не могъ быть, какъ собраніемъ общинныхъ представителей (Common-house). Вотъ, какъ

браніемъ общинныхъ представителей (Common-house). Воть, какъ резюмируетъ самъ авторъ свою фантастическую постройку въ дополнительной части программы, о которой мы говоримъ:

«Феодализмъ могъ бы развиться, какъ первый шагъ учрежденій независимости (общины — были бы второй), но онъ не успълъ...

Мъсто феодализма заступила аристократія. — Какое время силы нашего боярства? — Во время удъловъ, когда удъльные князья сами сдълались боярами. — Когда пало боярство? — При Іоаннахъ, которые къ одному мъстничеству не дерзнули прикоснуться. — Были ли

дворянскія грамоты?— Мининъ! — Было ли *зло* мѣстничество?.. Вездѣ ли существовало оно? Зачѣмъ уничтожено было оно? И было ли оно въ самомъ дѣлѣ уничтожено?— *Петръ*».

Другая проба высказать свои убъжденія была сдълана Пушки-нымъ уже на беллетристической аренъ, но и тутъ ей не болъе посчастливилось, чёмъ въ первыхъ двухъ пробахъ. Махнувъ рукой, послъ запрещенія «Литературной Газеты», на проекты статей, ей предназначавшихся, Пушкинъ не потерялъ нити своей политической доктрины, а только перенесъ ее, спустя 3—4 года (1833—34 г.), въ повъсти и разсказы, гдъ она, какъ красная нитка, и заплета-лась въ ткань ихъ романической интриги. При печатаніи, однако-жь, этихъ произведеній — уже послѣ смерти автора — мѣ-ста́, содержавшія намеки на эту доктрину, подверглись исклю-ченію, и красная нитка только кое-гдѣ и клочьями осталась на поверхности разсказовъ. Понятно, что въ беллетристическомъ изложеніи политическая доктрина могла обнаружить только часть своего содержанія, только ту сторону свою, которая обращена была на освѣщеніе нравовъ общества, идей, въ немъ живущихъ и выведенныхъ типовъ. Все прочее оставалось въ полу-мракъ. На творческомъ станкъ доктрина потеряла много въ объемъ, но неизмъримо выиграла въ блескъ и цънности. Набрасывая свои повъствовательные отрывки, Пушкинъ уже становится замъчательнымъ нравоучителемъ, хотя и не покидаетъ своей горячей защиты правъ высшаго просвъщеннаго сословія. Уваженіе къ предкамъ онъ считаетъ нравственной силой, укрѣнляющей волю, создающей характеры, ставящей высокія жизненныя ціли, и возвышается до степени ядовитаго сатирика и негодующаго патріота, когда принимается обличать сліноту и пустоту русскаго образованнаго общества, совершенно позабывшаго все свое прошлое для того, чтобы помнить только мелкіе и пошлые интересы дневного существованія, заниматься п питаться вопросами самаго низменнаго свойства, и притомъ въ такихъ размърахъ, къ какимъ способны бываютъ единственно люди, живущіе безъ пдеаловъ. Сочувственное отношеніе къ старинъ, къ исторіи и культур'в предковъ, лежавшее скрытно въ основ'в всвхъ политическихъ теорій автора, здісь выділилось уже въ пламенную різчь и горячую проповіздь, — и приходится сказать, что проповіздь эта чуть ли не составляла и самое существенное и единственноплодотворное зерно всего его ученія.

Извъстно, что въ нослъднее время своей жизни поэтъ неръдко переводиль на вымышленныя имъ лица нъкоторыя черты собственнаго своего созерцанія, подъ-часъ даже особенности своего характера, полученныя исихическимъ анализомъ своей личности и ду-

ховной природы, какъ было уже замъчено нами прежде, при разборъ его произведеній и, между прочимъ, при его разсказъ объ «Импровизаторь», гдъ лицо героя Чарскаго представляетъ уменьшенное отражение нравственного облика самого автора. Другой примъръ прививки своихъ воззръній и убъжденій къ вымышленному лицу поэть представиль въ извъстномъ разсказъ: «Разговоръ вечеромъ на раутъ» 1). Весь этотъ разговоръ намъ кажется передачей дъйствительной беседы, слышанной авторомъ, по всемъ вероятіямъ, въ какомъ-либо изъ аристократическихъ и дипломатическихъ салоновъ Петербурга, куда онъ былъ вхожъ. Въ рукописи разговоръ кончается следующимъ местомъ, которое — можетъ быть — пріятно будетъ встрътить читателямъ, послъ полувъкового сна его подъ спудомъ, хотя въ сущности оно представляетъ не болъе, какъ повторение и развитіе уже изв'єстной, излюбленной Пушкинской тэмы. М'єсто начинается вопросомъ одного изъ собесъдниковъ, именно иностраннаго дипломата, о русской аристократіи — и завершается отвътомъ его русскаго собесъдника, устами котораго говорить уже самъ авторъ. Иностранный дипломать открываеть бесёду замёчаніемь:

- «Вы упомянули о вашей аристократіи: что такое ваша аристократія? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наслъдственной аристократіи, основанной на недълимости имъній, у васъ не существуеть, кажется. Между вашимъ дворянствоть существуеть гражданское равенство, и доступь къ оному ни чъмъ не ограниченъ. На чемъ же основывается ваша, такъ-называемая, аристократія? Развътолько на одной древности родовъ русскихъ?»
- «Вы ошибаетесь, отвъчалъ онъ, древнее русское дворянство вслъдствіе причинъ, вами упомянутыхъ, у насъ въ неизвъстности и составило родъ третьяго сословія. Благородная чернь, къ которой и я принадлежу, считаетъ между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъ можетъ назвать и своего дъда. Древніе роды ихъ восходять до Петра и Елизаветы. Деньщики, пъвчіе, хохлы—вотъ ихъ родоначальники, будь сказано не въ укоръ ихъ достоинствамъ. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза требуетъ его возвышенія. Смъшно только видъть въ ничтожныхъ внукахъ спъсь какого-нибудь Монморанси, перваго христіанскаго барона. Я, напримъръ, продолжалъ русскій не могъ бы отыскать въ хроникахъ

¹⁾ Этотъ коротенькій разсказь быль единственнымь, написаннымъ Пушкинымъ еще до основанія "Литературной Газеты" (1829), между тёмъ какъ всё другіе, какъ "Егинетскія Ночи", только-что упомянутыя, "Романъ въ письмахъ", "Моя родословная", созданы послё нея

моего родоначальника. Знаю только, что предки мои сражались близъ Александра Невскаго, были у трона Ивана IV и возвели на престолъ... по если бы я подумалъ назвать себя аристократомъ, то, въроятно, насмъшилъ бы многихъ. Мы такъ положительны, что прошедшее для насъ не существуетъ: Карамзинъ недавно разсказалъ намъ нашу исторію, но едва ли мы выслушали его. Мы гордимся не славою предковъ, но чиномъ какого-нибудь дяди-дурака или баломъ двоюродной сестры. Мы па колъняхъ предъ настоящимъ случаемъ, успъхомъ, но очарованіе древности, благодарность къ прошедшему и уваженіе къ правственнымъ качествамъ, у насъ...—Замътьте, что неуваженіе къ предкамъ есть первый признакъ безнравственности».

Эта горячая діатриба, направленная столько же противъ суетной фамильной спъси, сколько и противъ пренебреженія всъхъ семейныхъ преданій, еще уступаетъ въ выразительности и яркости другой такой же діатрибъ, встръчаемой въ очень замѣчательномъ и, къ сожалѣнію, тоже неконченномъ разсказъ: «Романъ въ письмахъ». Тамъ она служитъ послъдней крупной и опредъляющей чертой для физіономіи главнаго дъйствующаго лица повъсти, нъкоего Владиміра Z. Это лицо, даже и въ теперешнемъ своемъ видъ, представляетъ замѣчательно-полный типъ аристократическаго славянофила временъ Александра I. Нигдъ еще Пушкинъ не рисовалъ такъ ярко собственнаго своего образа, состоянія собственной своей мысли и задушевныхъ убъжденій своихъ, какъ въ этомъ вымышленномъ лицъ, сохраняя ему всъ живыя краски и особенности самостоятельнаго и оригинальнаго характера. Приводимый отрывокъ находился въ одномъ изъ писемъ романа (письмо VIII), слъдовалъ за восклицапіемъ Владиміра Z., по поводу матеріальнаго настроенія нашего общества («Къ чему ведетъ такой матеріализмъ? — не знаю»), и начинался еще пофранцузски:

«Но пора положить этому преграды. Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme. Говоря въ пользу аристократіи, я не корчу англійскаго лорда: мое происхожденіе, хоть я его не стыжусь, не даетъ на то никакого права, но я, безъ прискорбія, никогда не могъ видѣть уничтоженія нашихъ историческихъ родовъ. Никто у насъ ими не дорожитъ, начиная съ тѣхъ, которые имъ принадлежатъ. И какой гордости воспоминаній ожидать отъ народа, который пишетъ на памятникъ: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарскій? Что такое гражданинъ Мининъ? Былъ у

насъ окольничій князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій, и быль Козьма Миничъ Сухорукій, выборный земли русской. Но отечество забыло даже настоящія имена своихъ избавителей. Прошедшес для насъ не существуетъ. Жалкій народъ!

«Образованный французъ или англичанинъ дорожитъ строкою стараго лѣтописца, въ которой уноминается имя его предка, честнаго рыцаря, павшаго въ такой то битвѣ, или въ такомъ-то году возвратившагося изъ Палестины, но калмыки не имѣютъ ни дворянства, ни исторіи. Дикость и невѣжество не уважаютъ прошедшаго, пресмыкаясь предъ однимъ настоящимъ. И у насъ иной потомокъ Рюрика болѣе дорожитъ звѣздою двоюроднаго дядюшки, чѣмъ исторіею своего дома, т.-е. исторіей отечества. И это вы ставите ему въ достоинство. Конечно, есть достоинства выше знатности — именно, достоинства личныя. Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевъсятъ всъ наши старинныя родословныя. Но неужто потомству ихъ смѣшно было бы гордиться сими именами. Я видѣлъ родословную Суворова, писанную имъ самимъ. Суворовъ не презиралъ своимъ дворянскимъ происхожденіемъ».

И, наконецъ, въ безпрестанныхъ пробахъ передать свое созерцаніе въ такой формѣ, которая покорила бы вниманіе публики
— Пушкинъ дошелъ до самаго блестящаго выраженія его въ
великолѣцной поэмѣ: «Мѣдный Всадникъ» (1833 г.), хотя тоже,
за смертію поэта, не получившей окончательной отдѣлки. Обезумѣвшій отъ горя, ничтожный потомокъ знатнаго боярскаго рода — и
современный коломенскій чиновникъ — осмѣливается укорять великаго
императора во всѣхъ своихъ несчастіяхъ и даже посягаетъ на угрозу
передъ бронзовымъ ликомъ его, въ которомъ онъ внезапно открываетъ
того человѣка, который лишилъ его фамилію гражданскаго значенія,
низвелъ его самого въ ряды бездольнаго служаки и косвенно настигъ,
даже послѣ своей смерти, въ послѣднемъ его убѣжищѣ—сердечномъ
счастіи, унесенномъ наводненіемъ въ основанномъ имъ Петербургѣ.
Пушкинъ называетъ этого потомка знатнаго боярскаго рода только
по имени:

Прозванья намъ его не нужно — Хотя въ минувши времена Оно, быть можетъ, и блистало, И подъ перомъ Карамзина Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало; Но пынѣ свѣтомъ и молвой Оно забыто. Нашъ герой Живетъ въ Коломиѣ, гдѣ-то служитъ, Дичится знатныхъ, и пе тужитъ Ни о покойницѣ-роднѣ, Ни о забытой старинѣ...

Нельзя не остановиться на безсмысленной, съ перваго вида, угрозв, слетввшей съ устъ этого несчастнаго, подъ конецъ его рвчи: «Ужо тебя...» — восклицаетъ онъ! Невольно думается, что въ этомъ пелвпомъ: «ужо тебя» — безумецъ выразилъ промелькнувшую въ его головв мысль о возможности еще найти судъ въ потомств и передвлать приговоръ, давшій такую славу и значеніе имени грознаго реформатора. Мъдный-Всадникъ, погнавшійся за нимъ, словно угадалъ его тайную мысль 1).

Всв эти идеи Пушкина теперь, по прошествіи почти 50 лють со дня его смерти, не покажутся никому ни очень новыми, ни очень върными: онъ получили такое обобщеніе въ послюднее время, будучи подняты снова борьбой и преніями по поводу нашего земскаго самоуправленія, и притомъ подвергнулись такому критическому обсужденію, что ни для кого не могуть уже болю служить соблазномъ. Притомъ же, одна часть этого воззрюнія, затрогивающая важность и достоинство историческихъ традицій, обработана была впослюдствій съ силой эрудицій и діалектики, конечно превышающими все, что говориль поэть, и даже все, что онъ могь сказать по этому поводу въ свое время. Но за Пушкинымъ и за Александровской эпохой, его воспитавшей, остается честь перваго поднятія многихъ подобныхъ же вопросовъ русской культуры п общественнаго быта.

Рано или поздно эти вопросы должны были снова явиться на свъть и сдълаться уже предметами серьёзнаго разбора, ученой и многосторенней полемики, какъ и случилось. Разногласіе по ихъ поводу еще не кончилось, и оградить некоторыя стороны Пушкинскаго ученія отъ превратнаго толкованія представляется еще и теперь необходимостію. Несомнівню, что ученіе поэта можеть дать поводь къ важнымъ недоразумъніямъ, если переставить исходный пунктъ, отъ котораго отправлялся авторъ, на другую ночву. Теорія, довольно похожая на ту, которую проповъдываль поэть, но вдобавокъ требовавшая, чтобы всв заботы государства обращены были на интересы одного избраннаго сословія исключительно передъ другими, не разъ уже являлась въ средв нашего общества съ претензіями на высокую политическую мудрость. Какую бы строгую оценку и критику ни заслуживали взгляды Пушкина, -- но достовърно, что ничего общаго съ вышеупомяпутой теоріей они не имъютъ. Мы видели, что конечная цель всехъ его разсужденій была все-таки забота о народъ и о доставлении ему той доли защиты и свободы

¹⁾ Это восклицаніе было опущено въ изданіи сочиненій Пушкина 1855—57, гдж осталась только начальная фраза угрозы: "Добро, строитель чудотворный!" См. томъ VII, из анія 1857, стр. 72.

въ трудъ, какихъ онъ самъ, по стеченію обстоятельствъ и при извъстной тогдашней обстановкъ своей добыть не могъ. Направление Пушкина выходило не изъ кровной привязанности къ боярскимъ привилегіямъ, какъ таковымъ, а изъ сожальнія о потерь передовымъ сословіемъ тёхъ орудій, которыя могли бы дать ему средства сослужить великую службу отечеству. Чувствуешь, что не въ видъ лицемърной оговорки, а изъ глубины души воскликнулъ онъ: «Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевъсять всъ наши старинныя родословныя». И могъ ли сдёлать своимъ политическимъ знаменемъ одну теорію о наслідственномъ правів на почеть, безъ разбора нравственныхъ качествъ лица, тотъ человфкъ, который въ самомъ разгарф аристократического одушевленія своего твердо поставиль афоризмь-«личныя достоинства выше знатности». Подъ теоріей Пушкина и многихъ его современниковъ текла невидимая, но хорошо чувствуемая, горячая политическая струя, не позволявшая рости вокругъ себя ничему похожему на корыстный разсчеть, родовую кичливость или узкій эгоизмъ, хотя сама теорія представляеть много спорныхъ сторонъ и является роднымъ дътищемъ своего времени, не знавшаго еще другихъ дорогъ къ устраненію злоупотребленій и къ обновленію себя, кромъ тъхъ, которыя она прокладывала въ своемъ воображеніи, въ области благородныхъ мечтаній и великодушныхъ химеръ.

II.

Какъ извъстно, А. С. Пушкинъ тотчасъ послъ свадьбы своей въ Москвъ (18 февраля 1831 года) уъхалъ въ Петербургъ. Спустя двъ недъли послъ того, именно въ мартъ мъсяцъ, онъ поселяется на дачъ, въ Царскомъ-Селъ, и безвиъздно проводитъ семь мъсяцевъ въ хорошо-знакомомъ ему городъ. Эти семь мъсяцевъ положили основание всей послъдующей жизни Пушкина и должны считаться исходнымъ пунктомъ новой литературной его дъятельности.

Дворцы, сады и парки царской резиденціи оживились къ лѣту 1831 года прибытіємь двора. Вмѣстѣ съ нимъ прибыль, конечно, и главный наставникъ Государя Цесаревича, В. А. Жуковскій. Давнія дружескія связи между нимъ и Пушкинымъ затянулись еще въ болѣе крѣпкій узелъ, благодаря частымъ, ежедневнымъ ихъ свиданіямъ, а также и весьма серьёзному настроенію, которое царствовало вокругъ нихъ. Политическій горизонтъ былъ мраченъ, какъ въ Европѣ, такъ и въ Россіи. Друзья сходились для того, чтобы передавать другъ другу извѣстія о тяжеломъ по-

ложеніи государства, посъщеннаго холерой, и мысли о пеудачахъ, затрудненіяхъ и ошибкахъ нашей польской кампаніи.

Польское возстаніе находилось въ апогет своего развитія и потребовало усилій и жертвъ для подавленія его, сначала и непредвидънныхъ. Втихомолку передавались печальныя новости съ театра войны: нертыштельность дтиствій русской арміи, возрастающія надежды инсуррекціи, сочувствіе къ ней со стороны народовъ Евроны; за междоусобной войной проглядывала возможность большой европейской войны въ близкомъ будущемъ! Нравственная сторона польскаго вопроса особенно обращала вниманіе друзей въ Царскомъ-Селт, такъ какъ въ ней-то и заключалось все дтло. Пока большинство русскаго общества негодовало просто на медленность вооруженной расправы съ непріятелемъ, обвиняя въ томъ людей, совтинисть и прочихъ, Жуковскій и Пушкинъ всего болте думали о принципт, который возстаніе положило въ свою основу и которымъ себя оправдывало.

И было о чемъ подумать. Подъ знаменемъ нарушеннаго принципа народной воли и національности, Франція, только-что провозгласившая этотъ принципъ у себя, стала почти цёликомъ въ ряды самыхъ ожесточенныхъ враговъ Россіи. Начавшаяся борьба двухъ ды самыхъ ожесточенныхъ враговъ Россіи. Начавшаяся борьба двухъ славянскихъ племенъ вызвала тамъ въ печати и на трибунѣ бурю ненависти, угрозъ и всевозможныхъ обвиненій противъ русскаго народа и правительства, — бурю, которая сообщилась и ближайшимъ сосѣдямъ Россіи. По секрету передавались слухи объ опасномъ положеніи правительствъ, конституціонныхъ и абсолютныхъ, одинаково истощавшихся въ усиліяхъ сдерживать порывы своихъ народовъ, которые требовали почти въ одинъ голосъ передѣлки европейской исторіи и трактатовъ во всемъ, что они сказали въ пользу и въ интересъ Россіи. Не одинъ Пушкинъ приходилъ въ негодованіе отъ этого непомърнаго озлобленія умовъ, не одинъ онъ думаль, что какъ бы ни велики были успъхи нашей секретной дипломатической борьбы съ направленіемъ, — одной этой борьбы еще не было достаточно, и слъдовало бы вызвать на борьбу съ нимъ голосъ самого общества. Какъ ни совътовали еще послъднему поголосъ самого общества. Какъ ни совътовали еще послъднему по-крывать всѣ яростныя нападки его враговъ однимъ горделивымъ молчапіемъ, но многимъ, вмѣстѣ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, ка-залось, что вмѣшательство общества въ полемику было еще нужнѣе ему самому, для разрѣшенія болѣзненныхъ тревогъ его собственной совѣсти и сознанія, чѣмъ даже для отраженія несправедливыхъ об-виненій со стороны. Конечно, выразительныхъ словъ: «бунтъ», «мя-тежъ» — достаточно было для успокоенія чувства законности у боль-шинства тогдашней русской публики, но вопросъ о нравственномъ

правъ употреблять силу оружія противъ идеи о политической самостоятельности у народа, котораго много лѣтъ пріучали къ ней оффиціально,—этотъ вопросъ оставался и затѣмъ смутнымъ для значительной части русской интеллигенціи. На этотъ вопросъ именно Пушкинъ и ръшился отвъчать, противопоставляя польской идеъ и тушкинъ и ръшился отвъчать, противопоставляя польскои идеъ и заграничной ея пропагандъ другую идею, обнаруживавшую, по его мнънію, настоящій историческій и нравственный смыслъ начавшейся борьбы двухъ родственныхъ племенъ. Идея эта имъла еще и то качество, что способна была оправдать мъры, принимаемыя для доставленія ей торжества. 5-го августа 1831 года, за три недъли до паденія Варшавы, Пушкинъ написалъ по адресу европейскихъ и польскихъ враговъ нашихъ пьесу «Клеветникамъ Россіи», которую можно назвать первой политической журпальной статьей, тогда написанной у насъ по польскому вопросу, — и это несмотря на ея лирическую форму. Политическая мысль укрылась здёсь подъ крыло Державинской оды и сложила тутъ свои зародыши, за неимъ-ніемъ никакого другого пріёмника. Замъчательно, что ей всъ обрадовались и, можетъ быть, всего сильнъе тъ, которые не считали возможнымъ и нужнымъ призывать на помощь своему дълу независимый голосъ публицистики. Всъмъ она даровала ключъ къ благопріятному толкованію смутнаго и щекотливаго вопроса, но главная привлекательная ея сторона заключалась въ томъ, что она какъбы возлагала великую народную миссію на непосредственныхъ, активныхъ дъятелей войны. Такимъ образомъ, настоятельная потребность минуты была удовлетворена, хотя, безъ сомнѣнія, и въ духѣ того времени. Много разъ потомъ ссылались на мысль Пушкина, что нольскій вопросъ представляеть, по преимуществу, домашнее дъло славянскаго міра, отъ поворота котораго въ ту или другую сторону зависить направление и будущность славянства вообще; много разъ также и разработывали эту мысль въ различныхъ смыслахъ. За Пушкинымъ остается, въ концъ концовъ, непререкаемая честь первой попытки подложить нравственную и теоретическую основу подъ голый фактъ ненавистного столкновенія двухъ родственныхъ племенъ.

27-го августа, совершилось столь долго и нетеривливо ожидаемое паденіе Варшавы, далеко не прекратившее, впрочемъ, какъ изв'єстно, развитіе племенной борьбы. Пушкинъ прив'єствовалъ событіе стихотвореніемъ «Бородинская годовщина», которое, вм'єст'є съ пьесой «Клеветникамъ Россіи» и стихотвореніемъ Жуковскаго по тому же случаю, папечатано въ одной брошюр'є: «На взятіе Варшавы, 1831 г.». Также точно напечатали они въ одной и той же брошюр'є четыре народныя сказки, сочиненныя ими въ Царскомъ-Селъ, по уговору между собою. Въ это время они все дълали сообща.

Волъе чъмъ въроятно, поэтому, что и появленію той знаменитой пьесы предшествоваль долгій обмѣнъ мыслей въ дружескомъ кругу, который образовался около Пушкина въ Царскомъ-Селъ, и который состоялъ почти весь изъ лицъ, приближенныхъ болъе или менъе къ имиераторскому двору, а потому и знавшихъ многія подробности и секреты политики, скрытыя еще отъ глазъ толиы. Въ кругу этомъ, между прочимъ, особенное покровительство и поощреніе встрътила мысль Пушкина основать печатный брганъ для отраженія наговоровъ европейской прессы. Сохранился отрывокъ изъ пробы Пушкина составить формальное прошеніе въ этомъ смыслъ.

«У насъ періодическія изданія не суть представители различныхъ политическихь партій (которыя въ Россіи и не существуютъ), и правительству нѣтъ надобности имѣть свой оффиціальный журналь; по тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, общее мнѣніе имѣетъ нужду быть управляемо. Нынѣ, когда справедливое негодованіе и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всѣхъ пасъ противъ польскихъ мятежниковъ, озлобленная Европа нападаетъ покамѣстъ не оружіемъ, но ежедневной бѣшеной клеветою. Конституціонныя правительства хотятъ мира, а молодыя поколѣнія, волнуемыя журналами, требуютъ войны... Пускай позволять намъ, русскимъ писателямъ, отражать безстыдныя и невѣжественныя нападенія иностранныхъ газетъ».

Не дожидаясь однако же этого дозволенія и не испросивъ, такъсказать, благословенія на подвигъ, Пушкинъ возвысилъ голосъ и усивхъ, какъ упомянуто, оказался громадный.

Проектъ изданія политическаго журнала не быль вовсе покинуть и послё появленія знаменитаго стихотворенія,—только, благодаря толкамъ и совётамъ дружескаго круга, въ проектъ замётались теперь еще другіе и гораздо болье обширные планы, вмысть съ соображеніями объ окончательномъ устройстве общественнаго положенія Пушкина. Действительно, надо было, думали тогда, опредёлить мысто, которое следуеть занять поэту въ свёть, послютого какъ онъ сдёлался семьяниномъ, какъ миновала эра молодыхъ увлеченій и фрондёрства, построенныхъ на самомъ снисхожденіи тыхъ, кого они затрогивали. Дворъ смотрыль на Пушкина съ участіемъ, и при всякомъ важномъ случать его жизни доказываль это участіе несомнынымъ образомъ, какъ-бы приглашая поэта отыскать сферу публичной дыятельности, которая позволила бы ему разсчитывать на признательность, во имя общественныхъ заслугъ и достоинства своихъ трудовъ. По мысли дружескаго круга, слёдовало

выбрать еще занятіе, рядомъ съ обычными занятіями поэзіей, которыя въ ръдкихъ только случаяхъ давали тогда устроенное гражданское положение. Дело было нелегкое. Пушкинъ не хотелъ и слышать ни о какого рода занятіяхъ, которыя ограничивали бы его независимость, изуродовали бы его таланть, или потребовали бы сдълокъ съ совъстью; онъ предпочиталъ лучше оставаться по прежнему «заподозръннымъ» человъкомъ, чъмъ сдълаться «выборнымъ» на подобныхъ условіяхъ. Друзья Пушкина раздёляли его сомньнія, но въ поискахъ за лучшими поприщами для будущей его дъятельности и общественной роли они пришли къ заключенію, что въ русскомъ міръ существують два вакантныхъ мъста, отвъчающія всвиъ наиболве взыскательнымъ требованіямъ совъстливаго труженика. Первое изъ этихъ мъстъ могло составить удълъ истиннаго журналиста, политическаго писателя, «уполномоченнаго» разъяснять публикъ духъ, намъренія и цъли правительства и отклонять отъ него безумные толки, легкомысленную или превратную оценку его постановленій, обнаруживая ихъ сущность и присущія имъ иден. Второе мъсто было еще обольстительные: оно возводило Пушкина въ должность оффиціальнаго историка Петровской эпохи и открывало путь къ занятію государственнаго поста исторіографа, не имъвшаго еще своего представителя съ самой смерти послъдняго его обладателя — Н. М. Карамзина. Какъ ни сильно отзывались еще эти предположенія романическимъ и утопическимъ характеромъ, по Пушкинъ съ жаромъ ухватился за нихъ: они отвъчали тайнымъ пожеланіямъ его собственной мысли. Онъ тотчасъ же и принялся за положение основъ къ ихъ осуществленію, и не далье какъ въ іюнь 1831 г. подаль уже просьбу генералу Бенкендорфу, въ которой заявляль свое желаніе служить посредникомъ между правительствомъ и публикой, если оно того пожелаеть, и прежде всего заняться исторіей Иетра I, съ правомъ входа въ государственные архивы.

Мы можемъ привести только черновой набросокъ этой просьбы. Не имъя подлинника и не зная, увидить ли онъ когда-нибудь свъть, полагаемъ, что и первоначальный, блъдный абрисъ просьбы Пушкина будетъ все-таки любопытенъ для читателя. То достовърно—что при окончательной редакціи авторъ документа сохранилъ большую часть его содержанія. Это доказывается ссылкой на письмо въ статьъ, принадлежащей перу высшаго чиновника Третьяго Отдъленія, М. М. Попову, который видълъ и самый документъ (см. статью: «Алек. Серг. Пушкинъ» въ «Русской Старинъ», 1874. т. Х, августь). Авторъ этой статьи цитируетъ изъ просьбы поэта, совершенно сходно съ черновой ея подготовкой, только первое положеніе ея, гдъ Пушкинъ жалуется на неполученіе своевременно

двухъ слъдовавшихъ ему чиновъ и сопровождаетъ цитату укоризненнымъ замъчаніемъ отъ себя: «Знаменитый, уважаемый всею Русью, поэтъ печалился, что онъ въ служебной іерархіи не болье, какъ коллежскій секретарь». Тутъ есть, можетъ быть, и невольное недоразумъніе. Пушкинъ, добиваясь права на посъщеніе государственныхъ архивовъ, не могъ забыть, что оно, во-первыхъ, обусловливалось тогда состояніемъ лица на службъ по какому-либо въдомству, и часто находилось, по понятіямъ того времени, въ тъсной зависимости отъ чина, имъ носимаго. Вотъ какія побужденія управляли имъ, когда онъ наноминалъ о служебной несправедливости, ему оказанной, а совсъмъ не мелкое тщеславіе, какъ говорили еще при жизни поэта многочисленные его враги изъ Булгаринскаго лагеря, которые радовались всякому случаю навязать комическую погремушку на простую и очень мало-честолюбивую фигуру поэта. Но вотъ и самый документъ:

«Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогаеть. Осыпанному уже благодъяніями Его В—ва, мнъ давно было тягостно мое бездъйствіе. Я всегда готовъ служить ему но мъръ моихъ способностей. Мой настоящій чинъ (тотъ самый, съ которымъ я выпущенъ былъ изъ лицея), къ несчастію, будетъ мить препятствіемъ на поприщъ службы. Я считался въ пностранной коллегіи отъ 1817 до 1824 г. Мнъ слъдовало за выслугу лътъ еще два чина, т.-е. титулярнаго совътника и коллежскаго ассесора. Бывшіе мои начальники забывали о моемъ представленіи, а я имъ о томъ не припоминалъ. Не знаю, можно ли мнъ будетъ получить то, что мнъ слъдовало.

«Если государю императору уголно будетъ употробить, перо

получить то, что мнв следовало.

«Если государю императору угодно будеть употребить перо мое для политическихъ статей, то постараюсь съ точностію и съ усердіемъ исполнить волю его величества. Съ радостію взялся бы я за редакцію «политическаго и литературнаго журнала», то-есть такого, въ которомъ печатались бы политическія и заграничныя новости, около котораго соединиль бы писателей съ дарованіями, и такимъ образомъ приблизплъ бы къ правительству людей полезныхъ, которые все еще дичатся, напрасно полагая его непріязненнымъ къ просвещенію. Осмеливаюсь также просить дозволенія заняться историческими пзысканіями въ нашихъ государственныхъ архивахъ и библіотекахъ. Не смею и не хочу взять на себя званіе исторіографа, после незабвеннаго Карамзина, но могу со временемъ исполнить давняшнее мое желаніе написать исторію Петра Великаго и его наследниковъ до государя Петра III».

Отвъть не заставиль себя ждать и превзошель ожиданія Пушкина. 31 іюля 1831 г., ему объщано было разръшеніе на изданіе газеты, и тогда же - съ явной охотой и благорасположениемъ - дано право на посъщение и изучение государственныхъ архивовъ и библіотекъ, подъ руководствомъ статсъ-секретаря Д. Н. Влудова. Нъсколько позднъе и уже послъ того, какъ были написаны объ патріотическія пьесы (Клеветникамъ Россіи и Вородинская годовщина), т.-е. въ ноябръ мъсяцъ, самымъ неожиданнымъ образомъ устроилось и оффиціальное, служебное положеніе Пушкина. Его причислили къ министерству иностранныхъ дёлъ сверхъ штата, согласно съ отзывомъ начальниковъ вёдомства, заявившихъ о неимёніи вакантныхъ мість въ своемъ распоряженій; но при этомъ Пушкину положено было весьма значительное, по времени, содержаніе, по 5000 р. ас. въ годъ, что отчасти сравнивало его со сверстниками, успъвшими обогнать поэта на јерархическомъ поприщъ. Казалось, всъ спъшили на встръчу желаніямъ и помысламъ Пушкина въ Царскомъ-Салъ, и самыя распоряженія, которыхъ онъ быль предметомъ, носили еще явную печать сочувствія къ намфренію поэта связать новый, семейный періодъ своей жизни съ дёльнымъ, обширнымъ патріотическимъ трудомъ. Оставалось пользоваться предоставленными ему выгодами и свободой — и довести постепенно оба предпріятія, взятыя имъ на себя, до блестящихъ результатовъ, какіе они объщали и какихъ онъ быль въ правъ ожидать отъ своего труда. Извъстно однакоже, что оба предпріятія, на пути своего развитія, встрътили неожиданныя помъхи, преимущественно въ правственномъ, душевномъ, субъективномъ настроеніи ихъ автора, помѣхи эти въ короткое сравнительно время успѣли остановить рость Пушкинскихъ проектовъ, а, наконецъ, и вовсе упразднить ихъ.

Главной силой, разрушившей планы Пушкина, были именно политическіе и общественные идеалы его, которые не ум'встились въ рамкахъ, оффиціально заготовленныхъ для нихъ.

Исторію паденія замысловъ Пушкина начинаемъ съ проекта газеты. Не подлежить сомнѣнію, что новый политическій органъ, задуманный поэтомъ, связывался у него съ воспоминаніями о «Литературной Газетѣ» барона Дельвига. Еще въ предъидущемъ 1830 году Пушкинъ мечталъ о превращеніи изданія друга въ газету политическую и заготовиль даже формальную просьбу въ этомъ смыслѣ, часть которой уже извѣстна публикѣ, по выдержкамъ изъ нея, напечатаннымъ прежде, въ нашихъ матеріалахъ для біографіи Пушкина, 1855 года. Побужденія, которыя онъ тогда выставлялъ на видъ, требуя дополненія «Литературной Газеты» политическимъ от-

дъломъ, значительно разнились съ тъми, которыя теперь легли въ основу его новаго прошенія. Тогда онъ говорилъ о матеріальномъ и нравственномъ ущербъ, какой тернятъ русскіе писатели отъ мононоліи «Сѣверной Пчелы», захватившей иностранныя извѣстія и пользующейся этой даровой силой для привлеченія, такъ-сказать, невольныхъ подписчиковъ и читателей и для распространенія между ними своихъ корыстныхъ, часто клеветническихъ нападковъ на враговъ. На матеріальный ущербъ, наносимый цѣлому и наиболѣе достойному классу русскихъ писателей, Пушкинъ всего болѣе и налегалъ, предполагая, что администрація будетъ особенно чувствительна къ охраненію интересовъ законнаго труда, честнаго добыванія людьми насущныхъ средствъ къ жизни. Онъ ходатайствовалъ о добавленіи газеты своего друга подцензурнымъ политическимъ отдѣломъ единственно во имя справедливости, возстановленія нарушенныхъ правъ писателей и доставленія имъ возможности бороться равнымъ оружіемъ съ соперниками, которые теперь занимаютъ привилегированное положеніе въ обществѣ. Внезапное исчезеовеніе «Литературной Газеты» со сцены журнальнаго міра сдѣлало ненужнымъ дальнѣйшее ходатайство о расширеніи ея программы.

вилегированное положеніе въ обществъ. Внезапное исчезновеніе «Литературной Газеты» со сцены журнальнаго міра сдѣлало ненужнымъ дальнъйшее ходатайство о расширеніи ея программы.

Совсѣмъ другія требованія заявлялись теперь Пушкинымъ, и дѣйствительно, теперь у него не то стояло па первомъ планѣ. Онъ собирался привлечь лучшія, надежнѣйшія силы нашего литературнаго міра къ общей работѣ по выясненію существующихъ порядковъ русской жизни, по толкованію смысла правительственныхъ мѣръ и распоряженій, по развитію въ обществѣ твердыхъ политическихъ идей—и особенно понятій о своемъ достоинствѣ, обязанностяхъ и роли въ государствѣ.

Въ разныя эпохи нашей жизни и многими даровитыми нашими людьми давно уже сознавалась необходимость выдти изъ тяжелаго положенія, какое всегда выпадаетъ на долю общества и частныхъ лицъ, которымъ приходится стыдиться тёхъ самыхъ основъ существованія, которымъ они покоряются. Весьма честные и благородные умы, съ самаго начала столѣтія, заняты были у насъ постоянно отысканіемъ нравственнаго смысла въ коренныхъ учрежденіяхъ государства—думали о реформѣ, преобразованіи тѣхъ изъ нихъ, которыя почему-либо утеряли прежній смыслъ. Либеральный консерватизмъ пе былъ новостію на Руси—и причина понятна: съ осмысленнымъ и поясненнымъ фактомъ современнаго политическаго быта Россіи какъ будто становилось легче для совѣсти подчиниться всѣмъ его требованіямъ и естественнымъ послѣдствіямъ. Той же работѣ разъясненія, оправданія историческаго положенія государства и дополненія его, по возможности, новыми элементами нравственнаго

содержанія, Пушкинъ намфревался посвятить, вследъ за некоторыми своими предшественниками, и новую политическую газету. Здесь не мъшаетъ замътить, что мысли, которыя онъ собирался проводить въ ней, были ему самому нужны, можетъ быть, еще болве, чвмъ его будущимъ слушателямъ и читателямъ: онъ, эти мысли, возстановляли его морально въ собственныхъ его глазахъ, разръшали тъ бользни совъсти, которыя сопровождають обыкновенно всякія перемъны направленій и убъжденій. Мало того—онъ питалъ еще и надежду, что идеальнымъ представлениемъ обязанностей, лежащихъ на тъхъ, которые занимаютъ важнъйшія функціи въ государствъ, онъ привлечеть ихъ къ высшему пониманію своего призванія и долга, чъмъ и окажетъ немаловажную услугу современникамъ. Желая испробовать почву, на которой ему придется дёйствовать, Пушкинъ представилъ даже разсмотрфнію ген. Бенкендорфа и образчики тона и пріемовъ, въ какихъ онъ намфренъ излагать выдающіяся событія внутри имперіи, вы равъ для этого несколько фактовъ изъ ближайшей современной исторіи 1). Образчики эти, отчасти взятые имъ прямо изъ записной своей книжки, не имъютъ ничего общаго ни по языку, ни по намфренію, съ ругиннымъ, приниженнымъ и подобострастнымъ способомъ сообщать полуоффиціальныя изв'ястія, какой тогда господствовалъ въ нашей журналистикъ. Пушкинъ или даетъ картинный разсказъ происшествія и оставляеть его говорить такимъ образомъ самого за себя, или разъясняетъ его смълымъ словомъ убъжденнаго человъка. Онъ собирался стать русскимъ консервативнымъ публицистомъ на свой образецъ, и его надобно было еще умъть понимать, прежде чъмъ разлагать и цънить сущность его мяжній.

Мысль—доставить русской форм'в политическаго быта такое же почетное м'всто въ области теорій государственнаго права и политическихъ наукъ вообще, какое въ нихъ занимаютъ наибол'ве уважаемыя и цівнимыя формы правленій, пришла Пушкину опять какъ отв'втъ на позорящія обвиненія заграничной интеллигенціи. Онъ сд'влался очень чувствителенъ къ выходкамъ и диффамаціямъ западнаго либерализма, направленнымъ на всю исторію Россіи и на общество. Ему казалось, что отыскать нравственныя начала, на которыхъ зиждется наше государство, значитъ—оградить честь русскаго ума и народнаго характера, участвовавшихъ въ его образованіи. И н'втъ сомн'внія, что большинство тогдашнихъ писателей, на сод'в'йствіе которыхъ Пушкинъ и разсчитывалъ, пошли бы охотно

¹⁾ Два-три такихъ образчика, отдёленные отъ матеріаловъ и документовъ, которыми мы пользовались въ прежнихъ біографическихъ опытахъ о Пушкинѣ, напечатаны были въ "Библіографическихъ Запискахъ", 1859, № 5, стр. 134, 135 и слѣл.

за нимъ. Кому же не было бы дорого обрѣсть идею и моральную основу въ томъ порядкѣ дѣлъ, въ томъ родѣ жизни, съ которыми связано безповоротно все существованіе каждаго изъ нихъ; кому не была дорога возможность хотя бы діалектически развить и нублично высказать затаенныя вѣрованія и надежды своей души? Да и кромѣ того, многіе распознавали въ намѣреніяхъ Пушкина еще болѣе возвышенную цѣль, — именно, цѣль создать черезъ посредство своего бргана и для обращенія въ публикѣ популярное ученіе, содержащее философски высокое пониманіе и опредѣленіе вообще государственной власти, — они и не ошибались въ этомъ.

Подъ программой журнала, дъйствительно таилась у Пушкина общественная теорія, имъвшая въ виду доставить государственной власти санкцію мысли и свободнаго анализа, наравнъ со всти другими санкціями, ею нрежде полученными со стороны церкви, права и народныхъ убъжденій. Не трудно намътить основныя черты самой теоріи, какъ онт оказываются въ статьт Пушкина о Радищевт, въ разборт книги последняго, озаглавленной: «Мысли на дорогт», и какъ онт отложились во множествт отрывковъ, оставшихся после поэта въ бумагахъ его, какъ просвтивали въ устныхъ его заявленіяхъ, долго сохранявшихся его семействомъ и друзьями.

Теорія Пушкина была опять, въ сущности, не что иное, какъ отраженіе патріотическихъ воззрѣній В. А. Жуковскаго, который подчиниль имъ своего друга тѣмъ легче, что послѣдній носиль въ себѣ зародышъ такого направленія уже издавна, по свидѣтельству ближайшихъ его друзей, какъ, напр., кн. П. А. Вяземскаго. Вѣроятно, въ Царскомъ-Селѣ оба поэта сошлись ближе въ пониманіп сущности доктрины, которую одинъ изъ нихъ уже и прежде намѣтиль въ безсмертныхъ словахъ, сказанныхъ имъ въ своей запискѣ: "Нодробный планъ ученія В. К. Наслюдника", недавно опубликованной («Русск. Старина», 1880, февраль): «Уважай общее мнѣніе, — говоритъ въ ней поэтъ-наставникъ, — оно часто бываетъ просвѣтителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его... общее мнѣніе всегда на сторонѣ правосуднаго государя. Люби свободу, то-есть правосудіе... свобода и порядокъ одно и то же: любовь царя къ свободѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ» и проч.

Консерватизмъ Пушкина совершенно совпадалъ съ этой исходной точкой политическихъ убъжденій Жуковскаго, и оба они думали совершенно одинаково о важнъйшихъ явленіяхъ русской жизни. Всъ духовныя стремленія общества, думалъ Пушкинъ, — всъ его надежды и чаянія, равно какъ и требованія матеріальнаго свойства, собираются въ правительствъ, какъ въ естественномъ своемъ хра-

нилищь, данномь исторіей. Они тщательно берегутся тамь до тьхь порь, пока съ наступленіемь срока, переработанныя долгой мыслью и въ совьть съ лучшими умами страны, выходять опять на свъть въ образь учрежденій, въ формь созданія новыхь и возстановленія старыхь правь, — возвращаясь, такимь образомь, снова въ народь, но уже становясь ступенью въ его прогрессивномъ развитіи. Нъть ни стыда, ни униженія безпрекословно подчиняться такой чуткой власти, какь бы, впрочемь, она ни называлась: абсолютной, патріархальной, деспотической и т. д. Воть въ краткихъ словахъ сущность консервативной теоріи Пушкина, которая порождала извъстныя его заявленія въ томъ же духь, часто останавливавшія на себъ вниманіе его современниковъ и послъдующихъ его цънителей, и которую онъ собирался развивать въ новомъ своемъ органь.

Здъсь необходимо сказать, что примъры иногда весьма оживленной критики заведенныхъ порядковъ и оффиціальныхъ мъропріятій, которая по-часту встрівчается въ запискахъ и въ корреспонденціи Пушкина отъ этого же времени, нисколько не свидътельствуеть объ его измънъ своимъ убъжденіямъ. Напротивъ, онъ чрезвычайно дорожиль новыми нажитыми убъжденіями даже и послъ того, какъ принужденъ быль отказаться отъ публичной ихъ защиты. Можно доказать фактами, что всякій разъ, какъ грубые толчки и удары со стороны реальнаго міра нарушали стройность его консервативной теоріи, колебали ел основанія и грозили потрясти въру въ ея положенія, онъ глубоко возмущался и спъшиль съ горячимъ обличениемъ всёхъ тёхъ, которые дёломъ и примёромъ своимъ поднимали на нее руку. Онъ становился въ это время не только раздражителенъ и дерзокъ, по и глубоко несчастливъ, словно цълость и неприкосновенность теоріи была ему необходима для возможности собственнаго существованія, спасала его самого отъ большой умственной и нравственной бъды.

Сложиве представляется на видь, съ перваго раза, другой вопрось, неизбъжно идущій вслъдь за первымь. Что же сдълалось теперь у Пушкина съ его тэмами о важности передового сословія въ государствь, о призваніи аристократіи служить падежнымъ посредникомъ между народомъ и правительствомъ, и съ другими тэмами подобнаго рода? Какъ помирилъ онъ новую свою консервативную теорію съ прежней, которую никогда не покидалъ совсьмъ, и которой придерживался, какъ извъстно, еще въ 1835 году, то-есть почти паканунъ смерти? Отвътъ на вопросъ не такъ затруднителенъ, какъ онъ сначала кажется. Противоръчіе между двумя ученіями при ближайшемъ разсмотръніи сводится на простое недоразумъніе между двумя однородными силами, которыя всегда наклон-

ны къ компромиссу и примиренію. На теоретической почві особенно противорічіє легко сглаживаєтся. Не трудно было возвести, наприміррь, Пушкину, хотя онъ никогда не занимался философскими выкладками, оба принципа къ высшему единству, и съ помощью разныхъ аналогій и діалектики самымъ естественнымъ образомъ представить противоположныя свои начала составными частями одного и того же цілаго, одного же общественнаго идеала, весьма способными къ совмістной жизни. Такъ именно и случилось съ Пушкинымъ. Враждебные по натурів элементы свободно пріютились въ его мысли и мирно процвітали въ ней рядомъ другь съ другомъ, взаимно ограничивая и умітряя себя п представляя зрітище теоретической гармоніи, какое різдко дають тіз же элементы, когда они произрастають на реальной, исторической почвіть.

Но каковы бы ни были отношенія Пушкина къ обоимъ своимъ ученіямъ, — несомнітьно, что для публичной ихъ защиты въ журналь требовался нізкоторый просторъ мысли, нізкоторая свобода въ оцінкіть явленій и право свободнаго критическаго разбора тізхъ изъ нихъ, которыя могуть затемнять світлый ликъ поставляемаго на видъ идеала. Это было, можеть статься, еще необхолиміте пля

видъ идеала. Это было, можетъ статься, еще необходимве для позднвишей консервативной теоріи, чвмъ для первой, либерально-олигархической, которая, нося на себв слишкомъ явно фантастиолигархической, которая, нося на себѣ слишкомъ явно фантастическій характеръ, ни въ какихъ особенныхъ заботахъ и предосторожностяхъ не нуждалась. Другое дѣло—ученіе о государственной власти. Нельзя же было, въ самомъ дѣлѣ, призывать публику къ лучшему иониманію своего быта, хлопотать о поднятіи уровня политическихъ идей въ обществѣ, проповѣдывать спасительныя, ободряющія и укрѣпляющія истины, употребляя то же самое, полувнятное, пошлое бормотанье, которое служило тогдашней печати при передачѣ ею внутреннихъ и внѣшнихъ событій. Для успѣха распространенія новыхъ философско-политическихъ началъ между образованными людьми эпохи все-таки требовалось хотя бы подобіе мужественной рѣчи, нѣчто похожее на одушевленіе человѣка, проникнутаго своимъ предметомъ, и желательно было дѣйствіе бодраго слова, сбросившаго съ себя старую, обветшалую и изношенную оболочку. Но тутъ-то и встрѣтились затрудненія. Генералъ Бенкендорфъ, завѣдывавшій ходомъ и направленіемъ общественной мысли п никогда особенно не довѣрявшій благонадежности писателей и журналистовъ, не нашелъ и теперь достаточныхъ причинъ для теперь достаточныхъ причинъ для какого-либо измѣненія цензурныхъ обычаевъ времени въ пользу новаго изданія. Онъ думалъ, что, испробованный и освященный употребленіемъ, способъ понимать и излагать предметы политическаго характера — совершенно достаточенъ для русскаго общества и отвъчаетъ вполнъ всъмъ умственнымъ его запросамъ. Къ этому присоединилось у него закоренълое убъжденіе, что всъ, слишкомъ возвышенныя цъли, поставляемыя себъ русскими людьми и всъ крупные ихъ замыслы, выходящіе за черту общаго уровня дѣлъ и понятій, служатъ ниъ только удобнымъ способомъ скрывать тенденціозныя намъренія весьма сомнительнаго свойства. Онъ и не замедлилъ обнаружить вскоръ эту часть своихъ убъжденій самымъ недвусмысленнымъ образомъ.

Въ 1832 г., явился альманахъ «Съверные Цвъты», изданный Пушкинымъ и его друзьями въ пользу семейства покойнаго барона Дельвига. Въ этомъ сборникъ статей, Пушкинъ помъстилъ превосходное свое стихотвореніе: «Анчаръ — древо яда», которое и сделалось поводомъ довольно непріятной для автора исторіи. Подъ предлогомъ, что пьеса его, безпрекословно дозволенная къ печати обыкновенной цензурой, не была предварительно послана на обсуждение верховной цензуры, какъ требовалъ того порядокъ, генералъ Бенкендорфъ упрекалъ Пушкина въ измѣнѣ принятымъ на себя обязательствамъ, въ нарушении честнаго слова и въ обманъ. Замъчательно, что надзоръ, молчаливо терпвыній доселв подобныя же, довольно многочисленныя уклоненія Пушкина отъ правила — возсталь теперь съ горячимъ обличенімъ и притомъ въ такой формѣ, которая показалась слишкомъ резкой Пушкину, такъ что онъ долго не могъ забыть ся и вспоминаль еще о ней съ горечью, спустя четыре года, въ письмъ къ женъ изъ Москвы, въ 1836 г., когда состоялъ уже четыре мъсяца редакторомъ журн. «Современникъ»: «Брюловъ сей часъ отъ меня вдеть въ П.-В., скрвия сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утъшить и ободрить; а, между тъмъ, у меня у самого душа въ пятки уходитъ, какъ вспомню, что я журналисть. Будучи еще порядочным человъком 1), я получаль ужь полицейские выговоры, и мнъ говорили: Vous avez trompé, и тому подобное. Что же теперь со мною будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотръть какъ на Оаддея Булгарина и Николая Полевова, какъ на шпіона; чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и съ талантомъ! Весело — нечего сказать 2)!>

Пушкинъ, разумъется, принялся тогда отписываться, ссылаясь на прежніе примъры и представляя новые доводы въ свое оправданіе. Онъ-молъ не хотълъ мелкими произведеніями своей музы похищать время сильно занятыхъ государственныхъ людей, а всъ

¹⁾ То-есть, еще не облеченный формально въ званіе издателя политической газеты, какъ предполагалось сдёлать, въ 1832 г. послё опубликованія программы и условій подписки.

²⁾ См. "Въстн. Европы", 1878, мартъ, стр. 38.

круппыя произведенія свои неотложно представляль на ихъ разсмотрівніе и обсужденье и проч. Но, вмісті съ тімь, онъ очень хорошо поняль, что сущность дёла заключается совсёмь не въ нарушеніп установленныхъ правиль относительно появленія въ свётъ его стихотвореній, а въ характеръ и содержаніи самой пьесы. Сопоставленіе различной участи раба и князя, дёйствующихъ каждый по законамъ своего положенія и призванія, показалось надзору отдаленнымъ политическимъ намекомъ. Единственное объяснение несоразмфрной съ проступкомъ живости и безцеремонности упрековъ приходилось искать въ досадъ надзора на то, что подобные сомнительные и опасные мотивы поэзіи могуть еще встрѣчаться подъ перомъ автора, послѣ всѣхъ благодѣяній, на него излитыхъ. А, между тѣмъ, пьеса Пушкина не имѣла ничего преднамѣреннаго и цёликомъ вылилась, безъ всякой примёси, изъ одного его поэтическаго созерцація людей и природы. Все это заставило крѣпко призадуматься Пушкина. Если по поводу небольшого стихотворенія, чуждаго всякихъ намековъ и посторовнихъ цълей, могли отродиться такія всимшки гнъва и негодованія, чего же можно было ожидать впредь для будущей газеты отъ подозрительности надзора? Бодрость Пушкина не устояла при мысли, что ему предстоптъ каждодневно садиться на скамью подсудимыхъ и разъяснять непонятыя надзоромъ слова и фразы. Онъ упалъ духомъ. Когда московские его друзья, обрадованные извъстіемъ о пріобрътеніи имъ печатнаго органа въ свое распоряжение, просили его о программъ и выражали самыя сангвиническія надежды на успѣхъ журнала, Пушкинъ посиѣшилъ охладить ихъ настроеніе. Насмѣшливо и съ досадой писалъ онъ имъ: «Какую программу хотите вы видъть? часть политическая — оффиціально ничтожная, часть литературная — существенно ничтожная: извъстія о курсь, о прівзжающихь и отъвзжающихь—воть вамь и вся программа... Я хотьль уничтожить монополію и успьхь. Остальное мало меня интересуеть. Газета моя будеть немного похуже «Съверной Пчелы». Угождать публикъ я не памъренъ, браниться съ журналами хорошо разъ въ иять лътъ, и то — Косичкину, а не мив. Стихотвореній поміщать не намірень, ибо и Христосъ запретилъ метать бисеръ передъ публикой: на то проза-мякина » ...

Черновой отрывовъ любопытнаго письма, здёсь приведенный, показываеть, что поэтъ не сразу отказался отъ намеренія редактировать газету, хотя ясно прозреваль, какая будущность ей предстоить. Но прошло немного времени, и невозможность дать свое имя изданію, которое должно было оказаться, по условіямъ существованія, его ожидавшимъ, немного похуже «Спверной Пчелы»,

какъ онъ выразился, уяснилась ему вполнъ. Когда пропали изъ вида высокія цѣли и намѣренія, лежавшія въ основаніи первоначальнаго проекта, какая была надобность еще цѣпляться за него и посвящать ему свой трудъ. Пушкинъ приняль намѣреніе сдать обузу дальнѣйшаго веденія постылаго предпріятія первому человѣку, который согласился бы принять на себя роль подставного издателя. Онъ вскорѣ и нашелъ такого человѣка, да притомъ такъ обрадовался своей находкѣ, что порядочно не разузналь и фамиліи замѣстителя. Въ перепискѣ съ женой онъ постоянно называль его «Отрыжковымъ», а, между тѣмъ, это было довольно извѣстное и типическое лицо петербургскаго міра: статскій совѣтникъ, Наркизъ Ивановичъ Тарасенко-Отръшковъ.

Н. И. Отръшковъ успъль составить себъ репутацію серьёзнаго ученаго и литератора по салонамъ, гостинымъ и кабинетамъ вліятельныхъ лицъ, не имъя никакого имени и авторитета ни въ ученомъ, ни въ литературномъ міръ. Онъ прослылъ агрономомъ, политико-экономомъ, финансовой способностью, не соприкасаясь съ людьми науки и не выходя на арену публичности. В вроятно, въ одномъ изъ петербургскихъ салоновъ Пушкину и указали на Н. И. Отрѣшкова, какъ на образцоваго и дѣльнаго сотрудника по журналу. Отрэшковъ не усумнился взять въ свои руки газету, сдълавшуюся предметомъ мукъ и отвращенія для ея основателя, и вести ее безъ признака редакторской способности, безъ литературныхъ связей въ обществъ и безъ капитала, нужнаго, чтобы поставить на ноги сложное предпріятіе. Пушкинъ не хотвлъ ни во что вившиваться. Вышло то, что должно было выдти - переговоры длились и ничемъ не кончились. Когда позднве, и уже послв смерти Пушкина — одинъ изъ многочисленныхъ покровителей Отрешкова-графъ Г. Г. Строгоновъ, назначенный председателемъ въ опеке по деламъ Пушкинской фамиліи, ввель Отрешкова, вследь за собой, и въ опекунскую коммиссію, онъ играль въ ней весьма значительную роль. Подъ непосредственнымъ наблюдениемъ Отрешкова печаталось посмертное изданіе «Сочиненій Пушкина», удивившее даже и тогдашнюю, не очень взыскательную публику, своей безпорядочностію, онъ же предлагалъ, для устройства матеріальнаго положенія семьи Пушкина, мфры, которыя, безъ щедротъ государя, выпавшихъ на ея долю, конечно, не обезпечили бы прочно ея будущности и существованія, какъ это случилось. По окончаніи ликвидаціи долговъ и имущества умершаго поэта, Отръшковъ собралъ бумаги, прошедшія черезъ его руки, въ теченіи довольно долгаго процесса этого разбирательства, и принесь ихъ въ даръ Императорской Публичной библіотекъ. Тамъ, въ числъ другихъ документовъ, можно видъть и схематическое изображеніе наружнаго вида газеты, которую онъ брался издавать. Это — пустой листь бумаги, расчерченный неромъ на нѣсколько отдѣловъ съ оглавленіями: — Внутреннія извѣстія, внѣшнія извѣстія и т. д. Вотъ все, что осталось на свѣтѣ отъ газеты и отъ политической идеи Пушкина:

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНІЕ

плана газеты, набросаннаго рукою пушкина

1 Января 1833 г. Подписка прини- мается	35 ДНЕВНИКЪ ** Лолитическая и литературная газета.			Понедъльникъ. Контора редакціи открыта съ 9 ч. утра до 9 ч. вече- ра ежедпевно.
Внутреннія г	ASBACTIA.			
		Новости заграничныя.		
CM & C	Ъ.			

Въ дополнение къ этому плану, присоединимъ небольшое замѣчание изъ бумагъ Н. И. Отрѣшкова, хранящихся въ Публичной Библіотекѣ.

16 сентября 1832 г. Пушкинъ далъ довъренность титуляр. совът. Нарк. Ив. Отръшкову на принятіе званія редактора политической и литературной газеты, ему дозволенной, съ правомъ за-

готовлять бумагу, завести собственную типографію на два станка, нанять квартиру для редакціи и для этого занять 2000; а 1-го октября ген. Бенкендорфъ извъстиль Наталью Ник. Пушкину, что готовъ принять въ редакторы; Отръшкова; но 2-го октября д. с. с. Мордвиновъ поставиль въ извъстность самого Пушкина, чтобы онъ не приступаль къ изданію до возвращенія Бенкендорфа изъ Ревеля и представленія Государю образцовъ журнала. Къ числу образцовъ, кромъ упомянутыхъ въ статьъ, принадлежаль, по всъмъ въроятіямъ, и листокъ, приведенный нами выше съ схематическимъ изображеніемъ плана газеты.

Нѣсколько болѣе сохранилось документовъ и свидѣтельствъ отъдругого замысла Пушкина — написать исторію Петра I, который тоже не осуществился, какъ и первый, но съ тою разницей, что погасалъ уже медленно и постепенно, съ ходомъ самыхъ работъисторика.

Съ необычайнымъ рвеніемъ принялся Пушкинъ, особенно лётомъ 1832 г., за разборъ и чтеніе документовъ, касающихся царствованія Петра І въ государственномъ архивъ, являясь туда каждодневно пѣшкомъ съ Черной рѣчки, гдѣ жилъ. По первымъ же собраннымъ матеріаламъ, онъ приступилъ къ составленію текста, къ спокойному, стройному повъствованію о жизни и эпохъ государя, точно предварительная критическая разработка свидетельствъ была уже окончена авторомъ; за то, позабытая вначалъ, она явилась послѣ въ серединѣ труда и разстроила его. Пушкинъ самъ почувствоваль, что прямое изготовление историческаго текста послъ бъглаго взгляда, брошеннаго на данныя, изъ которыхъ трудъ долженъ выростать — есть дёло весьма преждевременное. Почти на каждой строчкъ своего повъствованія, онъ встръчался съ сомнъніемъ или относительно достовърности источника, откуда взятъ былъ описываеный факть, или относительно правильной постановки и освъщенія его. Всв такія сомньнія онъ обозначаль вопросительными знаками въ рукописи и — текстъ повъствованія покрыть такими знаками. Они указывали, гдф должна была произойти новая провфрка данныхъ и новое изследование ихъ, въ дополнение упущений первоначальнаго поверхностнаго обзора. Нъсколько примъровъ Пушкинскаго историческаго разсказа, пересъченнаго во всъхъ направленіяхъ такими предостерегающими знаками, и нарушающими какъ чтеніе его, такъ и внимание и довърие читателя - собраны были нами въ матеріалахъ для біографіи Пушкина въ 1855 г.

Историкъ однако-жъ продолжалъ упорствовать въ намъреніи изготовить сперва текстъ сочиненія для того, чтобы впослъдствіи разрушить его критической провъркой, и довель свою работу до 1689 тода—провозглашенія Петра единодержавнымъ правителемъ государства. Тутъ онъ остановился, вфроятно, потому, что дальше и нельзя было идти въ этомъ направленіп: масса преобразовательныхъ мфръ монарха, требовавшая настоятельно классификаціи и тщательнаго разбора, загромождала дорогу. Пушкинъ перемѣнилъ манеру труда; онъ отказался отъ эпическаго разсказа и замѣнилъ его самымъ кропотливымъ подборомъ, въ хронологическомъ порядкѣ фактовъ и указовъ царствованія за каждый годъ, сопровождая выписки свои примѣчаніями для памяти, съ цѣлью, по всѣмъ вѣроятіямъ, воспользоваться тѣми и другими, когда достаточное количество собраннаго матеріала позволитъ приступить къ составленію уже настоящей исторіи.

Вотъ, эти именно примъчанія Пушкина къ указамъ и событіямъ эпохи преобразователя — и тонъ, въ которомъ по-часту излагаются они, и составляютъ единственную существенную часть всего его труда. Въ нихъ обнаруживается тайная мысль историка, — та самая, которая неотступно преслъдовала его и прежде, и которая теперь помъшала ему довести до конца свое предпріятіе и написать задуманную книгу — несмотря на весь его талаптъ и на все его трудолюбіе.

Чёмъ яснёе возставала передъ нимъ картипа дёятельности Истра, благодаря самому предпринятому сборнику, тёмъ сильнёе укрвилялось у Пушкина старое представление о геніальномъ императорів, какъ объ олицетвореніи страшной бури, одинаково сметающей передъ собой, безъ выбора и сожалінія, все, что ей встрівчается на пути до тёхъ поръ, пока не истощится сама собой ея природная, феноменальная сила. Завзятому типу людей Александровской эпохи, какимъ былъ Пушкинъ, казалась тяжелою ношею даже и благодарность за великіе отечественные подвиги, если они совершены съ помощію крутыхъ и правственно-оскорбительныхъ мізръ. Еще меніве расположенъ былъ Пушкинъ, по личному характеру своему, оправдывать реформы, которыя шли на-перекоръ нізкоторымъ существеннымъ народнымъ особенностямъ, и возмущался ими, когда они не оставляли въ покої частнаго, безвреднаго уб'яжденія, или грубо затрогивали наивныя, простосердечныя візрованія. Вольшое разстройство въ сознаніи Пушкина внесено было соображеніемъ, что не вся правда цізликомъ, и при всякомъ случаїв, стояла на сторонів грозпаго реформатора, а между тізмъ мізры, какія онъ принималь для доставленія торжества своимъ ошибкамъ и погрівшностямъ, ничуть не уступали въ энергіи и безпощадности мізрамъ, съ помощью которыхъ онъ осуществлялъ и свои великія предначертанія: люди гибли, положенія уничтожались, общество колебалось уже

въ пользу явной исторической невозможности, чему свидътельствомъ остался законъ о престолонаслъдіи и друг. Сквозь призму своего установившагося воззрънія на Петра I, Пушкинъ видълъ или думалъ, что видитъ двойное лицо — геніальнаго созидателя государства и старый восточный типъ «бича божія». Рука Пушкина дрогнула. Уже много накопилось матеріаловъ для исторіи въ его сборникъ и ждало только обработки, а онъ все не приступалъ къ ней. Онъ искалъ способа изобразить ликъ великаго государя, согласно со своимъ собственнымъ пониманіемъ его, и не оскорбляя оффиціальнаго міра, ожидавшаго безусловной апочеозы преобразователя, для чего собственно и были открыты ему государственные архивы. Пушкинъ такъ и умеръ, не отыскавъ способа примирить эти два совершенно противоположныя требованія, и все продолжаль еще собирать матеріалы, какъ будто отъ количества ихъ ожидалъ совъта, помощи и вдохновенія въ этомъ дълъ.

Большая часть замётокъ и примёчаній Пушкина, на которыхъ мы основываемъ выводы, здёсь изложенные, отличаются чрезвычайно живымъ, критическимъ характеромъ. Извёстио, что носмертное «Собраніе сочиненій Пушкина» издавалось, по волё государя, почти безъ участія цензуры; но, прилагая къ изданію свою обычную помётку о дозволеніи печатать (май и іюнь 1840 г.), цензура всетаки заявила мнёніе о совершенной певозможности открыть право свободнаго обращенія въ публикѣ многимъ циническимъ приговорамъ и заключеніямъ автора. Мѣста эти и были выпущены по ея настоянію, лишивъ остальную часть труда почти всякаго интереса. Для оправданія цензуры того времени въ этомъ случаѣ достаточно сказать, что, по запальчивому тону и крайне рёзкому выраженію мысли, замётки Пушкина и теперь, по прошествіи почти 50 лётъ со времени ихъ составленія, походять скорёе на ожесточенныя тирады озлобленнаго человёка, чёмъ на вопросы и сомнёнія ученаго. Выбираемъ изъ ряда Пушкинскихъ замётокъ наиболёе удобныя для сообщенія публикѣ понятія объ ихъ общемъ характерѣ:

«1711—1714 г. У князя Меньшикова на фейерверкъ на щитъ надпись: «Гдп же правда, тамъ и помощь божія»; однако Бого помого не намъ. Въ сіе же время изданъ тиранскій указъ о запрещеніи во всемъ государствъ каменнаго строенія.— 1715. Петръ опять издаль одинъ изъ своихъ жестокихъ указовъ: онъ повелълъ приготовлять юфть по новымъ способамъ, по обыкновенію своему, угрожая за ослушаніе кнутомъ и каторгою.— 1718. Приказываетъ юфть для обуви дълать не съ дегтемъ, а съ ворваннымъ саломъ, подъ страхомъ конфискаціи и галеръ, какъ обыкновенно кончаются хозяйственные указы Петра.— 1721. Указъ о возвращеніи роди-

телямъ деревень, принадлежащихъ имъ и невиннымъ ихъ дѣтямъ, также и о платежѣ заимодавцамъ. NВ. Сей законъ сираведливъ и милостивъ, но фактъ изъ коего онъ проистекаетъ — самъ по себѣ, несправедливость и жестокость. Отъ гнилаго корня отпрыскъ живой. — 1721. Сепатъ и синодъ подносятъ ему титулъ Отца отечества, Всероссійскаго императора и Петра Великаго. Петръ не долго церемонился и принялъ его. Сенатъ (т.-е., восемь стариковъ) прокричали: vivat! Петръ отвѣчалъ рѣчью гораздо болѣе приличной и разсудительной, чѣмъ это все торжество. — 1722. Петръ былъ гнѣвенъ. Дворяне не явились на смотръ. Издалъ указъ, превосходящій варварствомъ всѣ прежніе. — 1722. Манифестъ о правѣ наслѣдства, т.-е. уничтожилъ всякую законность въ порядкѣ наслѣдства, и отдалъ престолъ на произволеніе...»

И такъ далъе. Наиболъе ръзкимъ словомъ отличаются замътки, касающіяся женитьбы Петра на Екатеринъ магдебургской; процесса царевича Алексъя, гдъ встръчается такое утвержденіе: «Петръ хвастался своей жестокостію»; процесса несчастныхъ Монсовъ и обстановки, сопровождавшей смерть реформатора.

Значило-ли все это, что Пушкинъ не обладаль надлежащимъ

брганомъ для попиманія великой государственной стороны въ дъятельности Петра I, что онъ лишенъ былъ сиособности чутья и раснознаванія великихъ идей, управляющихъ поступками геніальныхъ людей? Далеко отъ того! Пониманіе величія задачи, поставленной себъ преобразователемъ, и благоговъніе передъ силой и ясностію, съ которыми онъ проводиль ее въ народъ, Пушкинъ обнаруживаль не разъ въ теченіи своей поэтической дъятельности. Онъ не выдержаль только восторженнаго настроенія своихъ стихотвореній, посвященныхъ имени Петра, когда ближе подошель къ жизненнымъ подробностямъ его царствованія и услышаль, такъ сказать, вопли жертвъ и шумъ развалинъ, падавшихъ подъ ударами преобразователя, расчищавшаго дорогу новому порядку дёль и новымь идеямь. Художпическая натура Пушкина мёшала ему сдёлаться трезвымь историкомъ. Ему недоставало сухости воображенія, необходимой для того, чтобы хладнокровно взвъшивать и опредълять цъну роковыхъ событій, не чувствуя страшной, раздирающей драмы подъ ними, и не смущаясь ею, когда она выступаеть наружу. Поэтическая способность переноситься всецёло въ дальнія эпохи и жить съ ними, какъбы въ качествъ ихъ современника, мъшала ему исполнять обязан-ности историка. Опъ слишкомъ любилъ побъжденныхъ и проигравшихъ свое дъло, слишкомъ возмущался, когда побъдители кичливо предавались торжеству, хотя бы последнее было вынесено самымъ. историческимъ ходомъ дълъ и необходимостію. Въ числь его замьтокъ находится одна, весьма важная, которая показываетъ, что онъ радъ былъ встрътиться на нути своихъ изслъдованій съ соображеніями, которыя открывали ему возможность войти въ роль безстрастнаго судьи и резонёра гораздо полнъе, чъмъ онъ дълалъ это досель:

«Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторые — нерѣдко жестоки, своенравны и, кажетея нисаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности или, по крайней мѣрѣ, для будущаго; вторые — вырвались у нетериѣливаго, самовластнаго помѣщика.

«NВ. Это внести въ исторію Петра, обдумавъ».

Итакъ, вотъ та твердо поставленная программа, изъ которой долженъ былъ у Пушкина возникнуть образъ великаго монарха. Самъ собой рождается при этомъ вопросъ — была ли возможность этой программъ, по времени, осуществиться на дълъ? Прежде всего туть бросается въ глаза насколько искусственное деление цальной фигуры преобразователя на двъ части, имъющія каждая свое особенное выражение. Очень много возражений способно вызвать такое преднолагаемое раздвоение политической деятельности у Петра I, такъ какъ источникъ ея, при всемъ ея разнообразіи, былъ одинъ и тотъ же — сознание могущества самодержавной власти, въра въ дёло, заботливость о будущемъ государства, непреклонная воля. Все это уравнивало передъ лицомъ реформатора всъ сферы общества и администраціи и клало одинаковую печать на всв его распоряженія, великія и малыя, безъ различія. Государственныя учрежденія, несмотря на свое коллегіальное устройство, следили за всякимъ настроеніемъ учредителя и предупреждали его, не въря въ свою самостоятельность; въ частныхъ, хозяйственныхъ преднисаніяхъ могущественнаго «номъщика» легко усмотръть не малую долю благожелательства и мудрости, несмотря на ихъ жестокую форму, которая такъ возмущала Пушкина. Но оставляя въ сторонъ этотъ вопросъ, следуетъ остановиться еще на другомъ. Если бы Пушкину и удалось, силой большого таланта, нровести искусно и счастливо нараллель своей программы въ историческомъ изложении — кого бы она удовлетворила? — Большинство нублики и весь оффиціальный міръ ждали отъ поэта просто лучезарнаго лика Петра I и, конечно, возмутились бы всякимъ яркимъ иятномъ, которое бы на немъ примътили; съ другой стороны, даже и нозволение на самый осторожный и необходимый, по существу дёла, вводъ тёней въ образъ монарха Пушкинъ принужденъ быль бы покупать цёною едва внятныхъ намековъ, полу-откровеній, педоговоренныхъ мыслей, что лишило бы его трудъ всякаго наукообразнаго значенія въ глазахъ свёдущихъ и компетентныхъ судей. Въ виду разнообразныхъ и одинаково настоятельныхъ требованій, усиёхъ исторіи стаповился сомнительнымъ, какую бы дорогу, впрочемъ, самъ авторъ ни выбралъ. При такихъ условіяхъ труда, естественно, что онъ долженъ быль остановиться у Пушкина—и остановился дёйствительно.

Какъ-бы предчувствуя свою пеудачу, Пушкинъ успълъ открыть для себя въ архивахъ побочное дъло, которое утъшило его отчасти за медленный ходъ главной работы. Часто случается, что изследователь, свободно и доверчиво допущенный ко всемь сокровищамъ богатаго книгохранилища, знакомится тамъ съ документами, не касающимися прямо его предмета, по въ выстей степени интересными. Такимъ документомъ, завладъвшимъ всъмъ вниманіемъ Пушкина, оказалось дёло о Пугачевскомъ бунтё: опо сразу пробудило въ немъ производительную энергію, которая дремала за составленіемъ все разроставшагося сборника петровскихъ указовъ и крупныхъ чертъ его жизни и примъчаній къ нимъ. Правда, что это второстепенное, побочное дъло прямо перенесло Пушкина въ сферу творчества, въ ту сферу, гдв онъ былъ полнымъ хозяиномъ и господиномъ своего таланта. Выписывая оффиціальныя данныя о Пугачевскомъ бунтъ и передълывая ихъ въ простой, чрезвычайно сдержанный и строгій разсказъ— Пушкинъ въ то же время вопло-щаль духъ эпохи, и представляль картипу событія и жизненныя его подробности въ мастерскомъ романь, — извъстной «Капитанской дочкъ. Эта образцовая историческая повъсть зачалась въ архивной пыли, выросла на донесеніяхъ, промеморіяхъ, следственныхъ процессахъ, спятыхъ ея авторомъ съ молчаливыхъ полокъ, гдф они такъ долго покоились, а закончилась въ одной изъ уральскихъ станицъ, куда въ следующемъ 1833 году Пушкинъ отправился черезъ Казань, Симбирскъ и Оренбургъ для провърки и осмотра мъста дъйствій, какъ своего романа, такъ и своей исторіи. Эти близнецы назпачены были пополнять одинъ другого.

Исторію Пугачевскаго бунта, которую озаглавить Пушкинь хотёль первоначально пароднымь, генерическимь прозвищемь всей эпохи: «Пугачевщина», нельзя назвать въ настоящемь смыслё слова исторіей. Это скоре дёльная, хорошо составленная докладная записка, назначенная для быстраго ознакомленія съ предметомъ читателя, который бы поинтересовался имъ, — чёмъ и объясняется ея хладнокровный, чисто объективный и невозмутимый тонъ, который

такъ восхищаль друзей поэта, и, между прочимь, Н. В. Гоголя, когда она явилась въ печати. Всъ краски, бытовыя подробности, вся живость изображенія этой русской «жакеріи» выпала на долю «Капитанской дочки». Извъстно — какимъ изяществомъ постройки она отличается, какимъ добродушнымъ юморомъ въетъ отъ описанія патріархальныхъ порядковъ того времени и какимъ мастерствомъ въ созданіи типическихъ характеровъ въ духъ эпохи она отличается...

Романъ и историческая записка составили какъ-бы отдыхъ для Пушкина, явились чёмъ-то въ родё его междудилія, которое однакоже еще сильнъе напоминало ему самому и всъмъ другимъ о главной задачь, за нимъ еще числящейся. Первенствующій его трудъ не подвигался впередъ, даже собственно говоря не начинался вовсе, а нетеривніе публики видіть первые его всходы росло съ года на годъ. По разсказамъ приближенныхъ Пушкина, его особенно тревожила мысль, учто долгіе сборы его на заложеніе фундамента исторіи — будутъ приписаны, пожалуй, отвращенію къ герою ея, могутъ показаться бъгствомъ съ поля сраженія, или, что еще хуже, дадуть поводъ подозрѣвать его въ преднамѣренномъ обманѣ... Пушкинъ никогда не терялъ падежды найти выходъ изъ раздвоеннаго психического состоянія, въ какомъ находился по отношенію къ личности Петра I. Онъ продолжалъ свои работы, и еще въ предпоследній годъ своей жизни (1836) убхаль въ Москву и провель нъсколько мъсяцевъ въ тамошнемъ архивъ М-ва Иностранныхъ Дълъ. Но это было уже только поискомъ дополнительныхъ свъденій, потому что главныя подготовительныя работы были кончены еще въ прошломъ 1835 г., какъ оказывается изъ подписи на последней страницъ его сборника матеріаловъ: «15 декабря 1835».

Заканчивая нашъ опыть передачи, по неизданнымъ документамъ, политическихъ и общественныхъ идеаловъ Пушкина, не можемъ обойтись безъ послѣдней замѣтки. Идеалы поэта могутъ показаться теперь несостоятельными въ своей сущности, построенными на данныхъ, чуждыхъ русской жизни; утопическій, мечтательный ихъ характеръ можетъ быть обсуждаемъ и осуждаемъ болѣе или менѣе строго, а научная сторона ихъ— не выдерживать повѣрки и проч.; но человѣкъ, лелѣявшій подобные идеалы пятьдесять лѣтъ тому назадъ, останется внѣ приговоровъ и заключеній, какіе-бы ни дѣлали о его ученіяхъ и теоретическихъ взглядахъ. Онъ всегда останется тѣмъ, чѣмъ былъ при жизни — представителемъ типа гуманнаго развитія въ свою эпоху, примѣромъ человѣка, который, при всѣхъ обстоятельствахъ, сохранялъ живое гражданское чувство, и

всю жизнь обнаруживаль неустанную энергію въ проповѣди справедливыхь, честныхъ отношеній между людьми, за что и подвергался часто обвиненію въ безпокойномъ либерализмѣ, — который, наконецъ, всею душою постоянно желаль для своей родины умноженія правъ и свободы, въ предѣлахъ законности и политическато быта, утвержденнаго всѣмъ прошлымъ и настоящимъ Россіи...

Май, 1880 г.

Н. В. СТАНКЕВИЧЪ

(БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ).

I.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Имя Станкевича прежде всего возбуждаеть вопрось: чёмь заслужиль человёкь, его носившій, право на вниманіе общества и на снисходительное любопытство его?

Станкевичъ умеръ двадцати семи лѣтъ (родился въ 1813 году, скончался въ 1840) отъ роду, оставивъ одну плохую трагедію: «Василій Шуйскій» 1), въ пятистопныхъ стихахъ, написанную имъ

¹⁾ Трагедія Станкевича: "Василій Шуйскій" (Москва, 1830 года, 107 стр. іп-8), посвященная предсёдателю общества любителей русской словесности, А. А. Писареву, исполнена черть, относящихся къ театральнымъ воспоминаніямъ молодого автора. Свиданіе Скопина-Шуйскаго съ нев'єстой его Ольгой (не им'єющей другого прозванія), происходить вечеромь, и театрь представляеть садь сь рышеткой, да и при нервой встрвив съ любезной, Скопинъ имлует у ней руку и проч. Точно то же восноминаніе руководило автора и въ постройкѣ пьесы и въ изображеніи какъ злобныхъ, такъ и великихъ романтическихъ характеровъ. Стихъ однако же весьма гладокъ, иногда даже изященъ, а павосъ трагедіи замінателень по своему благородству и достоинству. Станкевичь началь нечатать очень рано свои произведенія, въ чемь такъ сильно раскаявался потомъ. Первые его опыты были еще пом'вщены въ журналв: "Вабочка"; затвиъ мы находимъ въ "Свверныхъ" Цввтахъ", на 1831 годъ, его стихотвореніе: "Филинъ", —весьма мало замічательное, и въ "Телескопів" 1831 же года другое: "Ночные Духи" фантазію, не лишенную ноэтическаго оттінка. Гораздо меніве его въ ньесѣ: "Кремль", напечатапной въ "Литературной Газетѣ" 1831 года, № 7; но опять признаки истиннаго поэтическаго чувства являются въ другой пьесв "Грусть" (Ночь темна, сить валить), помъщенной въ той же "Литературной Газеть" 1831 года, № 18. Затъмъ Станкевичъ нреимущественно нечаталъ свои стихотворенія въ журналахъ: "Телескопъ" и "Молва". Такъ, въ 1832 году, "Телескопъ" (№ 6 и 9) номѣстилъ двь его пьесы: "Мгновеніе", "Къ мѣсяцу", а "Молва" (№ 70) одну: "Не сожалѣй". Въ

шестнадцати лѣтъ и вскорѣ потомъ имъ самимъ скупленную и уничтоженную. Она сдълалась теперь библіографическою ръдкостію. Съ 1831 по 1835 годъ, въ разныхъ, преимущественно московскихъ журпалахъ, разбросаны были его мелкія стихотворенія, замвчательныя по отношенію къ развитію его идей, но не представляющія въ самихъ себѣ достаточной степени глубины и мѣткости выраженія, чтобъ остановить вниманіе читателя, хотя основные мотивы почти всъхъ ихъ инъютъ песомивнный поэтическій характерь. Сверхъ того, въ тъхъ же журналахъ помъщаемы были его нереводныя и оригинальныя статьи философскаго содержанія, большею частію безъ подписи имени, такъ что найти и указать ихъ тенерь ньть почти пикакой возможности. Понятно, что не съ этой стороны можеть быть усмотрено истинное выражение физіономіи Станкерича, и не этимъ можетъ онъ купить сочувствие публики къ своему лицу. Гораздо важиве литературной двятельности Станкевича были его сердце и его мысль. Мы постараемся уловить (на сколько намъ это возможно) поэтическое развитие мысли Станкевича въ кратковременный срокъ, данный судьбой на ея образование, но предупреждаемъ читателя теперь же: пусть не ищеть онъ памятниковъ,

1834 году, Станкевичъ отдаль въ альманахъ "Денпица" стихотвореніе: "На могиль Эмилін" и другое: "Фантазія" (Люблю я смотрёть, какъ ночною порою). Всё эти произведенія несомивино обличають поэтическій элементь вы авторы, но не успывшій сосредоточиться и ясно выразить себя. Въ Молвѣ 1834 года, № 20, есть еще письмо Станкевича къ издателю, въ которомъ опъ жалуется на произвольную перенечатку журналомъ "Сынъ Отечества и Съверный Архивъ" въ 16 № 1834 года одного ранняго своего стихотворенія, посланнаго когда-то въ "Сфверные Цвьты". Если прибавимъ къ этому еще повъсть Станкевича: "Нъсколько многовеній изъ жизни Графа Т...", нанечатанную въ "Телескопъ" 1834 (часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, о которой упоминаемъ ниже, то представимъ весь итогъ печатной литературной двятельности Станкевича. Можно дополнить этотъ перечень еще одною подробностію. Стапкевичъ, по врожденной ему шутливости, писалъ еще и народіи, которыя тогда, какъ и нынъ, были въ ходу. Еврипидинъ (К. С. Ак-ъ), народировавшій въ "Молев" 1832 года романтическія трагедін пьесой: Олего подо Константинополемо, а въ "Телескопви 1835 года безцветныя стихотворенія эпохи пьесами: "Восноминанія", "Скала" (томъ XXVII) имъль даже успъхъ. Станкевичъ, въ сообществъ съ Н. А. Мельгуновимъ, напечаталъ пародію на поэми безталанных подражателей Пушкина и Баратынскаго, въ "Молвви" 1832 года № 75, иодь заглавіемь: "Калмыцкій Плённикь", гдё

Этьенъ и блёдный и печальный, Разставшись съ Интеромъ, летитъ,

а ямщикъ его Постраль поетъ паспю про спије глаза и русую косу-

Присушили, изсушили, Загубили, уходили Вы Постръла молодца, и проч.

О весьма важныхъ переводахъ Станкевича для журнала "Телескопъ" 1835 года мы говоримъ далъе въ біографическомъ очеркъ.

цъльныхъ произведеній, чего-либо полнаго и законченнаго. Нъсколько философскихъ отрывковъ, нъсколько прерванныхъ этюдовъ, связь и мысль которыхъ еще нуждаются въ поясненіяхъ біографа — вотъ все, что мы можемъ представить ему. Заранте сознаемся мы, что Станкевичъ лишенъ ттхъ правъ, которыя какъ у насъ, такъ и вездъ, долженъ предъявлять писатель или дъятель, если жизнь его разоблачается передъ публикой до самыхъ сокровенныхъ своихъ побужденій. Вопросъ: что же остается послъ Станкевича, если считать самую переписку его, какъ впрочемъ и слъдуетъ, не настоящею дъятельностію, а только матеріалами для опредъленія его личности и его характера? — вопросъ этотъ мы дълали самимъ себъ прежде читателя.

Намъ остается именно эта личность и этотъ характеръ, какъ они выразились въ перепискъ его, которую здъсь вкратцъ разбираемъ и передаемъ 1). На высокой степени нравственнаго развитія личность и характеръ человъка равняются положительному труду, и послъдствіями своими ему нисколько не уступають. Мы имъемъ тому нёсколько примёровь въ нашей литературё, проходимыхъ обыкновенно молчаніемъ въ такъ-называемыхъ исторіяхъ русской словесности. Это объясняется формализмомъ вообще нашей исторіи словесности, въ основание которой не было доселъ положено изученіе общества и круговъ, его составляющихъ. Такимъ образомъ мы находимъ въ ней имена людей, болъе или менъе прославившихся своими произведеніями, или (что иногда не все равно) болве или менве прославляемыхъ, но жизненнаго источника ихъ двятельности мы не знаемъ. Случается, что между ними стоитъ совершенно незнакомое лицо, мало высказавшееся, или совсвиъ не высказавшееся передъ публикой, но замъшанное во всъ начинанія эпохи, опредълившее воззрвніе и духовную двятельность цвлаго ряда производителей и образовавшее наконецъ нравственный характеръ ихъ, который потомъ и отражается въ литературныхъ, художественныхъ, жизненныхъ и служебныхъ делахъ ихъ; другими словами, отражается на целомъ обществе, на многихъ разнородныхъ слояхъ его. Но какъ подступить къ подобному лицу, стоящему совершенно уединенно, безъ замътки въ книжныхъ росписяхъ, безъ заслугъ въ формулярномъ своемъ спискъ, безъ критическаго или даже безъ всякаго другого аттестата? Разумвется, легче пройти мимо такого лица, благо есть предлогъ во всеобщемъ молчаніи, чёмъ вникнуть въ его значение и угадать родъ его дъятельности. Для послъдняго нужна и некоторая зоркость взгляда: не всякій способень видеть

¹⁾ Полная переписка Станкевича вышла отдёльной книжкой, вмёстё съ біографическимь очеркомъ его въ 1857 г. (Николай Владиміровичь Станкевичь. Москва, 1857).

работу тамъ, гдъ пътъ матеріальныхъ признаковъ ея. Никогда формализмъ, выдававшійся у насъ за ученую дѣятельность, никогда также псевдо-реализмъ, ограничивающійся перечетомъ матеріальныхъ фактовъ, не ръшились бы говорить о подобномъ лицъ, отличенномъ только даромъ упорной мысли, отыскивающій истину безъ отдыха, и даромъ любви, которая всв открытія мысли спвшитъ удълить близкимъ людямъ и не успокоивается до тъхъ поръ, пока не сообщить имъ ту въру въ познаніе, ту сладость благихъ ощущеній, какія она сама вкусила. Какъ взяться формализму и исевдореальности за подобное лицо, особливо когда вокругъ него не сконилось пикакихъ событій, и вся исторія человъка есть только исторія необыкновенно-пытливаго ума, ищущаго гармоническихъ, согласныхъ соотношеній съ необычайно-деликатнымъ и любящимъ сердцемъ? Конечно, задача эта именно есть задача всъхъ современныхъ обществъ, и можетъ быть весьма поучительно было бы видъть стремленіе одного мыслителя, надъленнаго пылкими чувствами, къ разръшенію ея въ своемъ сознаніи; но человъкъ этотъ почти ничъмъ не проявилъ внутренней работы своей, почти ни за что печатное или рукописное нельзя ухватиться, чтобъ положить въ основание разсказа... Сколько предлоговъ для молчанія!

И благодаря имъ, исторія лица, имѣвшаго сильное вліяніе на развитіе просвѣщенія и идей въ обществѣ, спокойно отстраняется нами, безъ всякаго упрека самимъ себѣ за лѣность собственной нашей мысли; и всѣ послѣдующія явленія въ литературѣ и жизни, имъ навѣянныя, или косвенно порожденныя имъ, являются одинокими и разрозненными на глаза наблюдателя, какъ грибы послѣ дождя, по народной поговоркѣ. Сравненіе, впрочемъ, не вполнѣ вѣрно. У грибовъ все-таки есть нѣчто общее — благотворный дождь, ихъ породившій.

Въ лицъ Станкевича мы находимъ одного изъ такихъ замъчательныхъ дъятелей, ничего не оставившихъ послъ себя, и предлагаемъ теперь біографическій очеркъ его на судъ публики.

Станкевичъ жилъ скоро, потому что ему не долго было жить: съ послѣдняго университетскаго курса въ 1833 году, когда ему было только двадцать лѣтъ, уже начинаютъ показываться въ немъ признаки болѣзни лёгкихъ и органическаго истощенія, которое возрастало по мѣрѣ развитія мысли, усиленія стремленій, важности и сложности задачъ, поставляемыхъ цѣлью жизни. Еще въ университетской аудиторіи онъ сталъ центромъ кружка товарищей, равныхъ ему по свѣдѣніямъ, но подчинившихся охотно (какъ способны только подчиняться люди въ молодые годы свои) вліянію свѣтлаго ума, благороднаго сердца и строгихъ нравственныхъ требованій. Станке-

вичь действоваль обаятельно всёмь своимь существомь на сверстниковъ: это былъ живой идеалъ правды и чести, который въ раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостію, живо чувствующею свое призвание. Извёстно, что опъ открыль Кольцова, не подозрѣвая, можетъ-быть, всей важности своей находки, указалъ на него сперва друзьямъ своимъ, а наконецъ и публикъ. Также мало предчувствовалъ Станкевичъ, что въ другъ, съ которымъ близко сошелся года за три до своей смерти, питаетъ онъ человъка, долженствующаго имъть такую долю вліянія на образованіе въ Россіи, какую до него немногіе имѣли—незабвеннаго Т. Н. Грановскаго. Грановскій называль себя ученикомъ Станкевича, конечно не въ смыслѣ добытой отъ него эрудиціи: въ этомъ, по общему приговору, онъ былъ самъ богатъ и въ помощи товарищей не нуждался; но ученикомъ Станкевича быль онъ въ доблестной наукъ сбереженія души, воспитанія воли, неослабнаго бодрствованія въ благихъ помыслахъ. Еслибъ мы пе имъли сознанія самого Грановскаго, то могли бы угадать тесную связь, соединявшую его съ другомъ молодости. Никто такъ полно не сохранилъ на себъ нравственнаго сходства со Станкевичемъ въ поступкахъ, направленіи, отчасти даже въ способъ выраженія своихъ мыслей, какъ Грановскій. Станкевичь отпечаталь на немь неизгладимо лучшую часть души своей, духовный образъ свой. Иною дорогой шла третья замъчательная личность изъ кружка Станкевича, хорошо знакомая современникамъ нашимъ: мы говоримъ о В. Г. Белинскомъ. Она посвятила себя на борьбу со всемь, что ей казалось обманомь, лицемъріемъ, коспостію и неоправданнымъ самодовольствомъ въ литературъ и въ обществъ. Надъленная пылкимъ, огненнымъ характеромъ, опа издержала на эту борьбу всю себя до плоти и крови своей и умерла, оставивъ послъ себя столько же преданной любви, сколько и ожесточенной ненависти. Но врожденное отвращение отъ всякой лжи, претензіи и призрака, столь пеобходимое для литературной борьбы, извъстный критикъ нашъ воспиталъ и укръпиль въ сообществъ человъка, который отвергалъ ихъ примъромъ собственнаго своего существа и не щадилъ какъ въ себъ, такъ и въ самыхъ близкихъ людяхъ. Затъмъ пропускаемъ еще имена многихъ лицъ, болье или менье стремившихся по пути, который начали они вивств съ своимъ товарищемъ; скажемъ однако, что между нашими современниками встръчается не мало людей, уже пережившихъ пору молодости, но одушевленныхъ юношескимъ жаромъ къ общей пользъ и преуспъянію: большая часть ихъ дълила со Станкевичемъ первую трапезу жизни, первый ныль благородныхъ стремленій. Есть много и такихъ, которые въ тиши, въ незамътномъ, но тъмъ болъе почетномъ кругу дъйствія съютъ благодатныя съмена, собранныя общими силами въ эпоху ихъ молодости, при помощи человъка, неутомимо заботившагося, какъ увидимъ, о сборъ и уходъ этихъ съмянъ — будущей пищи поколъній. Нельзя сказать, разумъстся, чтобы все, прикасавшесся къ Станкевичу, оставалось навсегда подъ вліяпіемъ его образа мыслей, или было проникнуто духомъ его строгаго направленія: иные песпособны были вполнъ усвоить примъра его, у другихъ жизнь и нерадъніе заглушили благодатныя зерна; но какъ тъ, такъ и другіе, при жизни Станкевича, были нравственно подняты имъ и были, хоть на мгновеніе, выше себя. А не есть ли это признаніе философа и моралиста, и благороднъйшая цъль, на которую человъкъ долженъ употреблять всѣ силы и способности, данныя ему природой?

И когда оглянешься назадъ, къ ненаписанной еще исторіи нашего общества, то съ изумленіемъ видишь еще нісколько другихъ именъ, принадлежавшихъ молодымъ людямъ, подобно Станкевичу по-хищеннымъ нреждевременною смертію и бывшимъ, подобно ему, про-возвъстниками русскаго образованія. Они завъщали другимъ дъло, которое сами только предчувствовали. Такимъ былъ Андрей Тургеневъ, другъ Жуковскаго и Батюшкова, для поколънія, предшествовавшаго 1812 году; такимъ былъ Веневитиновъ для поколѣнія, принадлежавшаго 1825 г., и такимъ былъ Станкевичъ для молодыхъ людей между 1835 и 1840 годами. Мы уже слышали еще нъсколько именъ, игравшихъ одинаковую роль съ этими ранними феноменами въ другихъ кругахъ нашего общества и испытавшихъ одинаковую съ ними участь: они быстро потухли, прогоржвъ яркимъ огнемъ на небосклопъ и освътивъ далекое пространство подъ собой. Подвергаясь упреку въ благодушномъ суевъріи, можно подумать, изучая ихъ, что юныя силы, живущія въ нашемъ народф, по временамъ выбрасывають часть собственнаго, излишняго богатства посредствомъ этихъ пышныхъ и скоропреходящихъ организацій. Какъ бы то ни было, по фактъ имъстъ самъ по себъ важное значеніе и еще важнъйтее по той ближайшей нравственной пользъ, какая можетъ быть извлечена изъ него. Само теченіе нашей жизни представляеть отъ времени до времени, въ лицѣ избранныхъ людей, готовый и удивительный примѣръ для подражанія каждому молодому поколѣнію, начинающему общественную жизнь. Влестящіе идеалы стоятъ у насъ передъ всякою повою отраслію отечественныхъ дѣятелей какъ образцы, къ которымъ должна стремиться молодость для того, чтобы найти все, чего ожидаетъ отъ нея общество и что таится въ ней самой. Станкевичъ принадлежалъ къ числу этпхъ

благотворныхъ указателей. Вотъ почему мы желали бы отдать переписку Станкевича, которую разбираемъ и самую память его подъ покровительство современнаго поколѣнія, того, которое не утеряло способности распознавать и уважать въ прошлыхъ поколѣніяхъ людей съ высокими нравственными задачами.

I.

ДЪТСТВО СТАНКЕВИЧА.

Николай Владиміровичь Станкевичь, какъ уже сказано, родился въ 1813 году, въ деревив своего отца Воронежской губерніи, Острогожскаго увзда. По первымъ годамъ его молодости никакъ нельзя было угадать въ немъ человъка съ нъжною, хворою организаціей. Это быль мальчикь веселый, здоровый и необычайно рѣзвый; деревенскій просторъ и относительная свобода, данная ребенку отцомъ его, развили въ немъ ръзвость до того, что онъ сдълался для своихъ нянюшекъ, дядекъ и даже для посътителей дома почти тъмъ, что французы называютъ «enfant terrible». Отецъ Станкевича быль высокаго практическаго ума, здраваго смысла и благородныхъ правилъ. Достаточно сказать, что, несмотря на его многосложныя занятія, преимущественно основанныя на финансовыхъ оборотахъ, продительская власть чувствовалась въ дому его не какъ гнеть, а только какъ ограничение воли, еще необузданной размышленіемъ, и почти всегда какъ ограниченіе разумное и снисходительное. Вспомнимъ эпоху, къ которой пришлось дътство нашего Станкевича, и мы поймемъ характеръ и достоинство человъка, такъ понимавшаго въ то время свои обязанности семьянина. За то и молодой Станкевичъ росъ честно, если можно такъ выразиться: - обыкновенное следствие честнаго обхождения съ детьми. Мелкихъ пороковъ, скрытности, притворства, лжи и лицемфрія, онъ никогда не зналъ, благодаря своему воспитанію, которое не считало шалости, иногда даже и очень бойкія, тяжкимъ, неоплатнымъ преступленісмъ. Молодой Станкевичъ часто подвергался какимъ-то пароксизмамъ ръзвости. Разсказывають, что, стоя однажды на балконъ деревенскаго дома, онъ увидалъ внизу отца, который разговаривалъ на крыльцъ съ почтеннымъ купцомъ, обладавшимъ лысиной необыкновеннаго размъра; лысина эта тотчасъ же привлекла внимание молодого Станкевича, и онъ никакъ не могъ воспротивиться искушенію плюнуть на нее сверху, что и исполнилъ къ ужасу купца и къ совершен-

ному недоумѣнію родныхъ. Въ другой разъ рѣзвость Станкевича была причиной пожара, истребившаго до тла отцовскую деревню, ту Удеревку, которая такъ часто приводится въ его перенискѣ. Будучи семи лѣтъ, онъ досталъ гдѣ-то ружье, пробрался на чердакъ дома и выстрѣлилъ въ кровлю. Кровля загорѣлась, и вскорѣ вѣтеръ разнесъ пламя по всей деревнѣ. Цѣлый день не могли отыскать мальчика: онъ убѣжалъ въ сосѣднюю рощу и собирался тамъ расположиться на житье, какъ дикій человѣкъ.

Естественно, что Станкевичъ сдѣлался страстнымъ охотникомъ, какъ только получилъ въ полное свое владѣніе ружье и собаку. Охота была продолженіемъ его прогулокъ и той родственной связи съ природой, которая началась съ младенчества: охота только дала имъ болѣе опредѣленную цѣль. Съ тѣхъ норъ, и до конца жизни, онъ былъ охотниковъ ревностнымъ, неутомимымъ, упорнымъ. Дни, недѣли проводилъ онъ па охотѣ и возвращался домой съ запасомъ анекдотовъ, разсказовъ о встрѣчахъ, и юмористическихъ наблюденій. Лягавыя собаки не отходяли отъ него въ деревнѣ. Съ одною изъ нихъ онъ жилъ душа въ душу; Діана спала на его ностели и часто, свободно раскинувшись, сталкивала съ нея хозяина. По природной веселости и врожденному юмору, сбереженнымъ имъ тоже до конца жизни, Станкевичъ иногда вдругъ отрывался отъ занятій и одинъ съ глазу на глазъ начиналъ бесѣду съ люмимою собакой. «Что вы задумались, Діана? что за мелонхолія такая? не хотите-ли кушать? чего хотите? щецъ, кашки, хлѣбца, или, можетъ, сладенькихъ косточекъ? Да отвѣчайте же!» и такъ далѣе. Весно вто были предостереженія отъ опасностей любви, въроломства кавалекихъ косточекъ? Да отвъчайте же!» и такъ далъе. Весной это были предостереженія отъ опасностей любви, въроломства кавалеровъ, гибельнаго послъдствія страстей и проч. Нъсколько разъ видъли, какъ, возвращаясь съ охоты, утомленный и расналенный зноемъ, Станкевичъ, во всемъ охотничьемъ костюмъ и въ саногахъ, бросался въ ръку, бъжавшую подъ горой, на которой стоялъ деревенскій домъ. Верхомъ онъ также тздилъ много и хорошо. Молодость его была бодрая, свъжая, здоровая — естественное слъдствіе благоразумной свободы, предоставленной ей.

Десяти лѣтъ Станкевичъ поступилъ въ Острогожское уѣздное училище и безъ всякаго изумленія очутился между дѣтьми всѣхъ сословій, начиная съ бѣднаго чиновничьяго до мѣщапскаго и цесословій, начиная съ бъднаго чиновничьяго до мъщанскаго и цехового: онъ и прежде въ деревнъ, по системъ, заведенной въ домъ, быль только сверстникомъ всъхъ другихъ мальчиковъ и весьма часто ихъ товарищемъ. Пребываніе въ уъздномъ училищъ не осталось безъ послъдствій: тамъ привыкъ онъ къ общительности, отличавшей сго позднъе, и къ понятію о достоинствъ и самостоятельности каждаго человъка. Можетъ-быть, тутъ же получили первую пищу насмёшливость, сатирическая подмётка крупной черты въ характер'в другого, смвтливость, способность передразнить товарища и самый юморъ Станкевича — всв тв качества, которыя, будучи послъ смягчены образованиемъ, очищены и освъщены умною веселостію, составляли прелесть его характера и обаяніе его беседы. Станкевичъ бывалъ въ воронежскомъ театръ, полюбилъ его, какъ всъ дъти, и рано открыль въ себъ замъчательныя актерскія способности. Возвращаясь на зимнія и літнія вакаціи въ деревню, онъ тамъ устроивалъ, съ помощью братьевъ, сестеръ и сосъдей, домашніе спектакли, гдъ повторяль пьесы, случайно видънныя имъ, и гдъ быль всегда главнымъ и лучшимъ актеромъ. Заставляль другихъ радоваться, приносить имъ, если не пользу (это было еще рано), то по крайней мере забаву и удовольствие - было его страстію. Куда направляль онъ иногда врожденный свой юморь, могуть намь указать двъ черты изъ его жизни, относящіяся уже къ эпохъ его зрълой молодости. Встрътивъ гдъ-то у сосъдей ребенка, имъвшаго какой-то недостатокъ въ произношении, Станкевичъ каждый депь проводиль съ нимъ по нъскольку часовъ, посадивъ его къ себъ на кольни, забавляя его разсказами, показывая даже, какъ можно сообщить движение своему уху, и постоянно исправляя природный порокъ его, въ чемъ подъ конецъ и успълъ совершенно. Въ 1836 году, Станкевичъ просиживалъ всв ночи у больной сестры, забавляя ее неистощимыми шутками, анекдотами и выходками, съ цвлью развлечь и удалить отъ нея черпыя мысли и грустныя предчувствія. Она обязапа была ему выздоровленіемъ, столько же по крайней мъръ, сколько и докторамъ, а между тъмъ, въ эту эпоху, Станкевичь быль весьма далекъ отъ ровнаго, спокойнаго настроенія духа, такъ нужнаго для искренней веселости.

Двѣнадцати лѣтъ, именно въ 1825 г., Станкевича перевезли въ Воронежъ и помѣстили въ Благородный пансіонъ, основанный Павломъ Кондратьевичемъ Оедоровымъ. Всѣ преподаватели пансіона были изъ гимназіи, гдѣ и самъ основатель его занималъ должность учителя математики; пансіонъ, наравнѣ съ гимназіей, приготовлялъ молодыхъ людей къ поступленію въ университеты. Говорить ли о четырехлѣтнемъ пребываніи молодого Станкевича подъ надзоромъ весьма умнаго директора, какимъ былъ П. К. Оедоровъ, скончавшійся еще недавно цензоромъ въ Москвѣ? Директоръ обладалъ искусствомъ управлять дѣтьми безъ насильственныхъ средствъ, облегчающихъ управленіе въ ущербъ характеру и нравственности какъ подчиненныхъ, такъ и начальниковъ. Всего болѣе поражала воспитанниковъ его стойкость и сильно развитой роіпt d'honneur, не допускавшій придирокъ и легкомысленныхъ замѣчаній, откуда бы они

ни выходили. Затъмъ, обращение его съ дътьми имъло въ себъ что-то торжественное и эффектное, дъйствовавшее благотворно на молодые умы. Онъ казался глубоко огорченнымъ, разстроеннымъ и даже больнымъ, когда приходилось разбирать школьническия продълки и изрекать осуждение; онъ умълъ также затрогивать самолюбие мальчиковъ, стыдить ихъ безъ уничижения, употребляя иронию, къ которой дъти, можетъ быть, еще чувствительнъе, чъмъ взрослые. Все это произвело сильное впечатлъние на Станкевича, который у директора своего учился даже и математикъ весьма порядочно. Вообще Станкевичъ бережно сохранялъ память о наставникъ, смущался впослъдствии при неблагоприятныхъ слухахъ о немъ и всячески старался спасти свое уважение къ бывшему учителю: мы увидимъ далъе, что люди, которыхъ онъ считалъ своими образователями, были въ его глазахъ благодътели, пе подлежащие личному его суду ни въ какомъ случаъ.

Но чему собственно выучился Станкевичъ въ пансіонъ Онъ прочель всёхъ русскихъ классиковъ и, вёроятно, вытвердилъ на память всё бывшія тогда въ ходу «руководства». Даже по выходё изъ университета, Станкевичъ сознавался еще въ недостаткъ многихъ свъдъній, входящихъ въ составъ общаго образованія; а по выходъ изъ пансіона, онъ зналь решительно только то, что знали его учители. Скудный запасъ этотъ никакъ не можетъ остановить наше вниманіе. Мы считаемъ гораздо важнье всего этого три нравственявленія, возникшія посреди обычнаго теченія пансіонской жизни и получившія впосл'вдствіи у Станкевича весьма важное развитіе, именно: признаки глубокой религіозности, запавшей въ душу его и уже никогда не покидавшей ся; признаки нъжнаго сердца, рано открывшагося для ощущеній дружбы и любви; наконецъ, признави неутолимой жажды къ поэзіи, обнаружившейся страстію къ стихотворству. Разумъется, послъднее было въ сущности весьма слабымъ выражениемъ его впечатлений, но самая наклонность определяетъ уже характеръ Станкевича, способъ будущаго пониманія предметовъ и родъ красокъ, подъ которыми должна была ему представиться жизнь съ первой встръчи.

Читатель увидить далье степени, по которымь шло религіозное настроеніе духа въ Станкевичь: первоначальный корень религіозныхъ убъжденій не изсыхаль отъ многоразличныхъ вътвей, пущенныхъ имъ впосльдствіи, и никогда не теряль производительной силы вообще. Ограничимся здъсь упоминаніемъ о той потребности симпатіи, которая доказываетъ раннюю полноту чувствъ и которая пришла къ Станкевичу еще въ дътствъ. До самаго отъвзда своего за границу, въ 1837 году, онъ сберегаль въ бумагахъ своихъ цвътокъ,

нарисованный нетвердою женскою рукой, съ подписью: «К....» Живописецъ была девочка, съ которою Станкевичъ танцовалъ такъ-называемыхъ актахъ пансіона и которую встрфчалъ въ жепскомъ учебномъ заведеніи Воронежа, посвіщая сестру свою, которая тамъ воспитывалась. Дътская привязанность эта была, однако же, такого свойства, что глубоко връзалась въ душу обоихъ и съ трудомъ поддавалась уничтожающему действію времени. Еще въ 1843 году, наканунъ Свътлаго праздника, Станкевичъ вспоминалъ объ этой привязанности, какъ о самомъ чистомъ и дорогомъ подаркъ своей первой молодости. И теперь, въ глуши степной деревни, можетъ-быть, есть женское существо, съ умиленіемъ обращающее мысль къ той порв первыхъ волненій чувства.... Поэтическій элементъ, вложенный природою въ душу Станкевича, бросалъ его отъ стихотворства къ музыкъ, отъ музыки къ театру и отъ театра въ къ охотъ. Станкевичъ учился играть на фортепьяно сперва въ Воронежъ, а потомъ въ Москвъ у извъстнаго въ свое время преподавателя музыки и композитора Гебеля. Мы убъждены, что одно изъ проявленій этого діятельнаго элемента, стихотворство, сблизило Станкевича съ Кольцовымъ. Кольцовъ бралъ книги изъ единственной тогда въ Воронежѣ библіотеки, куда часто заходилъ и Станкевичъ; да по разнообразнымъ перекупкамъ и поставкамъ своей фамиліи Кольцовъ бывалъ и въ пансіонъ. Не надо обладать большою долей фантазіи для предположенія, что ихъ связала тайная страсть къ стихотворству, взаимно открытая другъ у друга. По преимуществамъ образованія, Станкевичь сділался покровителемъ поэта-торговца, указываль ему кпиги для прочтенія, и нісколько позднее, уже будучи въ Москве, ввелъ въ кругъ литераторовъ, а наконецъ, въ 1835 году издалъ книжку его стихотвореній, на деньги, собранныя общею подпиской знакомыхъ и пріятелей въ одинъ вечеръ. Въ отношении къ таланту между ними, конечно, была значительная разница. Кольцовъ обладалъ даромъ чувствовать въ себъ и русскую природу, и русскую жизнь, и, можетъ-быть, еще важивишимъ даромъ-находить образы и звуки для цвльнаго выраженія ихъ. Поэтическій элементь у Станкевича быль слишбезразличенъ, философствующаго характера и, въобщъ, добавокъ, еще не обръталъ настоящаго выраженія, истинной формы. Покуда первый распространяль по лицу Россіи свою неодолимоувлекательную ижснь, второй отказывался (въ 1835 году) отъ поэтической производительности, понявъ въ себъ отсутствіе средствъ, требуемыхъ ею; но поэтическій элементь отъ этого не быль потерянъ. Онъ сосредоточился, смвемъ такъ выразиться, внутри его души, проникъ въ характеръ его, освътилъ его мысли, побужденія,

инстинкты, опредълилъ самые поступки его и даже внѣшнюю форму ихъ: Станкевичъ, благодаря ему, обратился самъ въ полное поэтическое существо, какимъ его видъли и знали еще многіе живущіе люди, свидѣтельство которыхъ мы только повторяемъ здѣсь.

Пансіонскій курсъ былъ однакоже конченъ, и въ 1830 году Станкевичъ перевхалъ въ Москву, въ домъ и семейство извъстнаго профессора Михаила Григорьевича Павлова, откуда и держалъ экзаменъ на поступленіе въ университетъ. М. Г. Павловъ, который тогда еще не содержалъ пансіона, столь извъстнаго потомъ всей Москвъ, и къ которому Станкевичъ былъ рекомендованъ бывшимъ своимъ наставникомъ, П. К. Федоровымъ, имълъ большую долю вліянія на паправленіе и развитіе Станкевича. Выдержавъ экзаменъ и поступивъ въ словесное (какъ тогда называлось) отдъленіе университета, Станкевичъ продолжалъ житъ у профессора, пользуясь пебольшою комнатой въ его домъ и общимъ столомъ съ его семействомъ. Все это устройство было нарушено появленіемъ холеры въ Москвъ въ 1830 году. Университетъ былъ на время закрытъ, студенты распущены по домамъ, исключая тъхъ, которые приняли Москвѣ въ 1830 году. Университетъ былъ на время закрытъ, студенты распущены по домамъ, исключая тѣхъ, которые приняли дѣятельное участіе въ мѣрахъ для прекращенія болѣзни, и только въ январѣ 1831 года возобновились лекціи; въ октябрѣ 1831 листокъ «Молвы» (№ 40, 1831) извѣщалъ объ открытіи пансіона М. Г. Павлова на основаніяхъ строго обдуманной системы воспитанія. Обладавшій многостороннимъ знаніемъ, профессоръ уже былъ опытенъ въ этомъ дѣлѣ; онъ нѣсколько лѣтъ сряду имѣлъ подъ надзоромъ своимъ «Благородный пансіонъ», учрежденный при Московскомъ университетѣ. Объ экзаменахъ въ его новомъ и скоро прославившемся учебномъ заведеніи, Сергѣй Тимооеевичъ Аксаковъ присылалъ нѣсколько разъ въ редакцію «Молвы» самые лестные отзывы. Станкевичъ продолжалъ почти до конца курса лестные отзывы. Станкевичъ продолжалъ почти до конца курса

жить въ домѣ Павлова и состоять подъ его нравственнымъ вліяніемъ.

Первые два года пребыванія Станкевича въ Москвѣ (1830—1831) можно отмѣтить только однимъ обстоятельствомъ: Станкевичъ основательно выучился по-нѣмецки и коротко ознакомился съ поэтами Германіи. Обстоятельство, какъ увидимъ сейчасъ, не маловажное по своимъ послѣдствіямъ. Съ какою жаждою припалъ онъ къ этому источнику высокихъ впечатлѣній, свидѣтельствуетъ его перениска; онъ не отходилъ отъ него, если можно такъ выразиться, и образы, созданные великими и даже второстепенными пѣвцами Германіи, носилъ съ собою на лекціи упиверситета, на дружескія бесѣды и въ шумъ свѣта, который начиналъ привлекать его. Уже на второмъ университетскомъ курсѣ мысль юнаго Станкевича была

въ полной зависимости отъ всвхъ твхъ людей, которые и у себя въ отечествъ подчинили умы и стремленія цълаго покольнія. Отсюда рождается особенный взглядъ на окружающій міръ: Станкевичъ судиль его съ высоты поэтическаго представленія любимыхъ своихъ творцовъ; отсюда также вытекало и строгое понимание жизненной цёли: онъ раздёляль съ образдами своими благоговёйное уваженіе къ достоинству человъка и его призванію. Для Станкевича нъмецкая поэзія не была только родникомъ эстетическихъ впечатлівній; она сдълалась, виъстъ съ тъмъ, мъриломъ, на которое прикидываль онъ всю жизнь и собственное свое правственное достоинство. Онъ по ней выучился распознавать признаки ничтожества и смерти въ явленіяхъ, принимаемыхъ за существенное и необходимое условіе жизни; онъ по ней выучился требовать отъ себя моральнаго усовершенствованія. Теперь трудно и пов'єрить, сколько обновляющихъ и исправительных началь принесла нёмецкая поэзія молодымь людямъ 30-хъ годовъ, когда открылось у насъ дъятельное сближеніе съ нею. Мечты юности были здёсь воспитателями сердца и души; любой поэтическій образъ — нравственнымъ представленіемъ; вдохновенный афоризмъ — обязательнымъ правиломъ для жизни. Пламенный стихъ Шиллера или Гёте хранился, какъ оружіе на борьбу съ своими и чужими эгоистическими страстями и передавался такъ другимъ. Поэма, романъ, трагедія и лирическое произведеніе служили кодексами для разумнаго устройства своего внутренняго міра. Безъ преувеличенія можно сказать въ отношеніи къ Станкевичу и его кругу, что поэзія сделалась учительницей ихъ, темъ, чемъ она была съ перваго появленія своего на светь.

Но этимъ еще не ограничивалось вліяніе нѣмецкой поэтической литературы: она расширила также понимание Станкевича и возбудила къ дъятельности всъ умственныя его силы. Въ произведеніяхъ этой литературы свободная фантазія ижвца безпрестанно касается философскихъ положеній, часто даже и зарождается она въ области чистой мысли. Иногда также, по требованіямъ своей природы, она уступаеть дорогу мысли и, подъ конецъ, сама пропадаеть въ философской идев, какъ несчинка въ полномъ блескъ солнца. Легко представить себъ, какъ должны были дъйствовать на молодой, пытливый умъ безпрестанные намеки поэзіи, которую онъ изучаль съ такою жадностію, и какъ поражень быль онь особеннымъ родомъ величія, заимствуемаго ею отъ непосредственнаго соучастія мысли. По мъръ чтенія, которое все болье и болье расширялось, Станкевичъ начиналъ предчувствовать существование одного общаго настроенія въ литературныхъ дѣятеляхъ Германіи и одного великаго элемента въ ихъ произведеніяхъ, пробъгающаго невидимою, живительною струей по всей области творчества. Переписка Станкевича отражаетъ ту мучительную работу исканія общаго начала между наиболье яркими, наиболье потрясающими мыслями ньмецкой поэзіи,—работу, которая началась для него со студенческой скамьи. Прибавимъ, что ею же были заняты многіе изъ его товарищейсверстниковъ. Чымъ смылье выдавалась мысль изъ среды поэтическаго образа, тымъ напряженные становились усилія отыскать ен полное значеніе и возвести до общаго положенія, которое могло бы сдылать ее независимою пояснительницей всыхъ случаевъ жизни. Понытки эти обыкновенно выражались лирическимъ языкомъ, исполненнымъ страстнаго увлеченія, и много было еще въ нихъ неопредыленнаго, смутнаго и произвольнаго, какъ легко можно убъдиться изъ образцовъ, находящихся въ перепискъ, но это былъ вмысть съ тымъ и ранній искусъ въ философскомъ мышленіи. Поэтическое слово родины Шиллера и Гёте, возвысивъ нравственныя требованія, наполнило самый умъ молодыхъ людей множествомъ вопросовъ, привело его въ неизъяснимое напряженіе и въ глубинъ ихъ сознанія зажгло первый слабый свыточъ, который долженъ быль отъ размышленія, чтенія и науки развиться впослудствіи до силы и степени вырнаго нравственнаго свытила.

Мы не опибаемся и не преувеличиваемъ, приписывая такъ много въ начальномъ образованіи Станкевича дъйствію нъмецкой поэзіи и литературы. Впечатлънія, испытанныя имъ тогда, были ему общи со многими изъ его друзей; воспоминанія послъднихъ служили намъ свидътельствомъ и указаніемъ того, что онъ самъ переживалъ въ первые годы своей студенческой эпохи. Еще многіе номнятъ ту почти непрерывную цьпь эстетическихъ потрясеній, которыя почерналь кругъ Станкевича ежечасно изъ свойствъ и сущности германскаго міросозерцанія, отражаемаго литературой народа. Общій характеръ, лежащій въ основаніи нъмецкой поэзіи, постоянно держалъ людей этихъ среди одухотворенной, прояспенной и возвеличенной имъ природы. Вмѣсто одной скромной студенческой жизни своей, они окружены были тысячью жизпей, движепіемъ, такъ-сказать, мпогоразличныхъ существованій, кажущихся мертвыми и бездушными простому глазу. Они присутствовали при обязательномъ зрѣлищѣ, смыслъ и происхожденіе котораго еще не вполнѣ уразумѣвали, но время попиманія было уже не далеко. Наслаждаться безъ изслѣдованія, безъ вопроса о причинѣ наслажденія, они уже не могли, даже но глубянѣ и силъ полученныхъ впечатлѣній. Надобно было имѣть много старческой паклонности къ бездушному сибаритизму, чтобы въ виду обяльнаго, почти неистощимаго творчества Германіи, не спросить ничего о силѣ, рождающей его, доволь-

ствуясь только одною удовлетворенною потребностію наслажденія. Какъ ни великолъпно было еще зрълище само по събъ, но остановиться на одной вившпей красотв его, на богатствв, пышности и разнообразіи его явленій — не представлялось возможности. Эстетическое наслаждение обязывает, какъ и всякое другое. Да еслибы и можно было подозрѣвать у молодого, свѣтлаго и неиспорченнаго чувства нъчто подобное эгоистическому исканію однихъ рагдражительныхъ впечатленій, то сущность немецкой поэзіи возвратила бы его къ болъе строгому и серьёзному направленію. Весь необъятный хороводъ жизни, представляемый ею, все-таки зарождался въ человъкъ, и первый аккордъ, дававшій ему сигналь, выходить изъ души человъческой. Въ какой бы неизмъримый кругъ потомъ ни развился онъ на глазахъ зрителя, какую бы огромную часть міра ни захватиль въ своемъ развитіи, онъ неизбъжно возвращался къ своему источнику, къ человъку, и пропадаль въ душт его, видимо составляя съ ней и съ природой, такимъ образомъ, одно неразрывное цълое. Единство поэзіи и философскаго возэрънія, свойственнаго народу, или последовательно выработаннаго имъ, выражалось при этомъ очевидно. Много однако-жъ протекло времени для Станкевича въ одномъ предчувствии этой родственной связи поэзіи и философіи Германіи, но онъ наконецъ пришелъ путемъ искусства къ вопросу: «въ чемъ же состоитъ само ученіе, рождающее созданія такой глубины и такого могущества?» Въ этомъ вопросъ заключалось все будущее развитие Станкевича; вопросъ установилъ его наклопности и стремленія и ввель его въ германскую науку философіи, которой Станкевичъ уже не измѣнялъ до конца жизни. Разумѣется, что съ той поры, какъ представилась ему необходимость изученія системы, или системъ, опредълившихъ поэтическое настроение нъмцевъ, кончилось отрочество его. Онъ вступалъ въ юношескій возрасть, принося съ собой страстную жажду познанія и твердо вфруя въ возможность безусловной полноты его.

II.

(СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ).

Давно было сказано, что цёль всякаго университетскаго преподаванія не есть созданіе ученых людей, а только возможно полное сообщеніе средствъ высшаго образованія, конечно, вмёстё съ необходимымъ нравственнымъ направленіемъ. Это арсеналъ, гдё всякій

вооружается по силамъ; но употребление оружия и вся добыча, какая имъ можетъ быть приобрътена, оставляются усилиямъ человъка, поглощающимъ, какъ извъстно, иногда цълую жизнь его. Надо сказать, что московский университетъ 1831—1833 годовъ еще далеко отстояль отъ последующаго своего развитія, когда благодеученыхъ за границу для образованія себя къ профессорскому званію), стала приносить первые свои плоды. Впрочемъ, не мѣшаетъ замѣтить, что университетъ, во всемъ своемъ составѣ, и особенно въ студенческой части. какъ будто предчувствовалъ эпоху обновленія, совершившуюся между 1833—35 годами, по мысли просвѣщеннаго министра и патріотическаго попечителя московскаго учебнаго округа, графовъ: С. С. Уварова и С. Г. Строгонова. Съ 1831 оказываются въ учащихся признаки пробужденія высшихъ интересовъ и новой жизни. Правда, поколініе буйныхъ студентовъ вмістів съ поколініемъ преподавателей, занимавшихся построеніемъ хрієко и каждокольнемъ преподавателен, занимавшихся построеніемъ *хргек*т и каждогоднымъ повтореніемъ одной отсталой теоріи, еще не совсѣмъ миновало, но уже не ему припадлежитъ большинство. Въ противоположность малочисленному кругу слушателей, одушевленныхъ одною мыслію—высидѣть себѣ, такъ или иначе, аттестатъ и степень, образуется другой кругъ, проникнутый любовью и уваженіемъ къ самому познанію. Не довольствуясь однимъ формальнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, онъ поставляетъ себѣ задачей — дополненіе оффиціальнаго преподаванія, бодро продолжая развитіе основаній, полученныхъ съ канедры, и вводя въ сферу своихъ занятій предметы, еще не тронутые въ аудиторіи. Въра въ науку, тоска по ней и молодое предчувствіе истины помогали тутъ неопытности. Въ извъстные годы и въ извъстныхъ обстоятельствахъ, люди, при возбужденной страсти къ познанію, столько же учатся другь отъ друга, сколько и отъ учителя. Тогда-то образуется особенный родъ взаимнаго и весьма шпрокаго воспитанія, гдф одушевленная передача открытій, сдівланных однимь, толки о результатахь, къ которымь пришель другой, открывають новые пути и новыя соображенія для всівхь. Правда, при такомь общемь трудів, систематическое образованіе проигрываеть именно настолько, насколько выигрывають и вание проигрываетъ именно настолько, насколько выигрываютъ и изощряются личныя способности каждаго къ занятіямъ, къ догадкѣ и къ обсужденію предмета; но не надо забывать, что тутъ не могло быть выбора. Этимъ бодрымъ характеромъ, идущимъ на встрѣчу всѣхъ вопросовъ и отыскивающимъ ихъ вездѣ, гдѣ есть случай, отличался именно кругъ Станкевича въ студенческую эпоху 1832—1834 годовъ. Онъ отражается и въ его перепискѣ.

Мы весьма далеки отъ намѣренія писать исторію университета,

по поводу одного изъ его многочисленныхъ воспитанниковъ, но не можемъ не сказать, что въ словесномъ отделени его, куда постунилъ Станкевичъ съ самаго начала, находились еще люди, поддерживавшіе достоинство своихъ каоедръ съ честію. Таковъ быль М. Т. Каченовскій, преподававшій въ словесномъ отделеніи русскую исторію (1832 по 1834), М. П. Погодинъ, читавшій тамъ же всеобщую исторію (съ 1833 года), С. П. Шевыревъ, открывшій въ 1834 лекціи исторіи поэзіи и русской словесности и т. д. Каждый изъ нихъ или опирался на мысль для защиты своего ученія, или вводиль ее, какъ дополнение къ сообщаемымъ свъдъниямъ, или даже какъ окраску данныхъ въ извъстный цвътъ. Но мысль, какого бы свойства она ни была, составляеть именно ту приправу, которой особенно ищеть пытливый умъ молодости и съ номощью которой онъ легко обращаеть въ свое достояние многочисленные и разнообразные факты. Особенно это было върно по отношенію къ свъжему, бодрому кругу юношей, образовавшемуся въ средъ словеснаго отделенія университета. Вотъ почему люди, перечисленные нами, имъли въ ту эпоху свою долю вліянія, и вліянія весьма сильнаго на умы слушателей, что также, вмёстё со многими другими дробностями студенческой жизни, отражается въ перепискъ Станкевича.

Но мы знаемъ, что у Станкевича, кромъ общихъ вопросовъ науки, были еще свои тайные любимые вопросы эстетическаго рода, разръшенія которыхъ онъ искаль встми силами и гдт только могъ. Первый человъкъ, прямо отвътившій на нихъ, быль Н. И. Надеждинъ, которому поэтому и принадлежитъ весьма значительная роль въ первоначальномъ развитіи Станкевича. Въ 1832 году Н. И. Надеждинь, тогда еще молодой профессорь, открыль свои лекціи въ университетъ теоріей изящныхъ искусствъ, въ 1833 перешелъ къ исторіи искусствъ, излагаемой по памятникамъ, а въ 1834 году окончиль логикой, почувствовавь, по собственному сознанію, невозможность правильнаго изложенія законовъ искусства, безъ предварительнаго ознакомленія слушателей съ законами самой мысли. Обширная начитанность профессора и замечательный даръ красноречія дълали его почти неистощимымъ. Онъ проводилъ со своими слушателями вмёсто одного часа, положеннаго для каждой лекціи, часа по два, и долго еще послѣ обычнаго звонка текла его умная и плодовитая рачь, никогда не утомлявшая аудиторіи. Вообще, онъ имѣлъ сходство съ преподавателями извъстнаго парижскаго Collége de France (французской коллегіи), гдъ преимущественно царствуетъ импровизація и ніжоторый дилеттантизмь, допускаемые какъ противодъйствіе строгости и сухости Сорбоннскаго преподаванія. Къ сожальнію, намъ ничего не осталось отъ его курса. Но здѣсь Станкевичъ впервые встрѣтился съ отголоскомъ Шеллингова ученія о высшей психической способности, сознающей въ себѣ единство съ общимъ міровымъ разумомъ и открывающей степени проявленія его въ природѣ и искусствѣ.

Намъ извъстно изъ восноминаній тогдашнихъ воспитанниковъ университета, что студенты словесного отделенія двухъ курсовъ 1833 и 1834 годовъ, слушали лекціи всѣ вмѣстѣ, въ одной об-ширной залѣ. Лекціи смѣняли одна другую безъ всякаго промежутка, что продолжалось иногда часовъ по пести сряду. Впимание слушателей, естественно, было утомлено, но никогда не измъняло Надеждину, какъ только наступала его очередь. Онъ могъ даже насиловать вниманіе своихъ слушателей, какъ мы видели. Очень натурально также, что это долгое пребывание студентовъ вмъстъ, и на одномъ мъстъ, давало пищу и просторъ наблюдательности, остроумию, а иногда и забавнымъ выходкамъ, служившимъ какъ-бы разсѣяніемъ для этого миогочисленнаго собранія молодыхъ людей. Случалось иритомъ, и довольно часто, что значительная часть аудиторіи словеснаго отдѣленія спускалась однимъ этажемъ ниже, въ скромную залу физико-математическаго, и нанолняла ее биткомъ. Это было при лекціяхъ М. Г. Павлова, читавшаго сперва физику, потомъ теорію сельскаго хозяйства, и въ обоихъ случаяхъ распространяв-шаго границы своихъ предметовъ до включенія въ нихъ цёлаго философскаго созерцанія. Здѣсь однакожъ мы имѣсмъ свидѣтельство о сущности преподаванія, благодаря книгѣ, изданной профессоромъ въ 1833 году, «Основанія Физики» (Москва), хотя учебная книга, въ обязанность которой вмѣняется сжатость и строгая система, разумѣется, не можетъ передать всѣхъ развитій и поясненій, къ какимъ способно вообще живое слово человѣка. Конецъ первой ся части съ заглавіемъ: «О веществѣ» и, преимущественно, глава II: «Вещество само въ себѣ» (стр. 281—302), заключаютъ космогоническую теорію, основанную на гипотезѣ чисто философскаго свойства и развитую съ замѣчательною послѣдовательностію, съ высокимъ діалектическимъ талантомъ. Гипотеза вытекаетъ изъ философскаго положенія о сходств'є или тождеств'є безграничной свободы съ хаосомъ, пебытіемъ, — этомъ тождеств'є, которое было разорвано благимъ, всемогущимъ: «да будетъ». Отвлеченное понятіе, силлогизмы и посылки котораго образуются изъ силъ и стихій природы, преобладаетъ надъ всею теорією, а объясненіе самаго вещества, какъ взаимнаге дъйствія свъта и тяжести, тоже превращенныхъ въ понятія, ясно указывають профессору мъсто между европейскими «Natur-Philosophen > — философами природы, которыхъ породила система молодости

ППеллинга. Такимъ образомъ, Станкевичъ имѣлъ уже намекъ на значеніе искусства, какъ части общей, міровой жизни; теперь онъ получилъ понятіе и о блестящей роли, какую современное ему философское ученіе предоставляло природѣ въ царствѣ духа или идеи, что было все равно.

Прежде сказали мы, что Станкевичъ жилъ въ квартирѣ Павлова, часто раздѣляя съ нимъ скромную транезу; онъ не рѣдко имѣлъ случай бесѣдовать у него и съ Надеждинымъ; но сколько послѣдній былъ сообщителенъ и готовъ на отвѣтъ при всякомъ запросѣ, столько первый не любилъ дѣлиться своею мыслію и сообщалъ ее только въ ученой формѣ лекціи, хотя оба сходились по разнымъ притямъ къ одному воззрѣнію. Навловъ не охотно отвѣчалъ на пытливые разспросы Станкевича и старался скорѣе уклониться отъ нихъ, чѣмъ дать имъ посильное удовлетвореніе. Станкевичъ, какъ и всѣ другіе, долженъ былъ ограничиться его преподаваніемъ и объясненіемъ прочитаннаго; но первый толчекъ молодому соображенію былъ уже данъ, любознательность возбуждена, и весьма скоро Станкевичъ добрался до самыхъ источниковъ, откуда истекли слова, поразившія его воображеніе у обоихъ профессоровъ.

Передъ Станкевичемъ открылся новый міръ, и, конечно, выраженіе это не покажется преувеличеннымъ, если вспомнимъ, изъ какого ряда идей и смутныхъ представленій выходиль Станкевичь на свътъ къ ученію знаменитаго германскаго философа. Нътъ мнънія, что онъ познакомился съ нимъ еще весьма поверхностно и по большей части не въ самомъ источникъ, а въ толкахъ немъ, изъ вторыхъ и третьихъ рукъ; но какъ бы ни было получено понятіе, оно изм'вняло все существованіе Станкевича. Какимъ-то торжествомъ, свътлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы теми же саными законами, какимъ подчиняется духъ человъческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому навсегда, пропасть, раздёляющую два міра, и сдёлать изъ нихъ единый сосудъ для вміншенія въчной идеи и въчнаго разума. Съ какою юношескою и благородною гордостію понималась тогда часть, предоставленная человъку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносиль видимую природу въ самого себя, разбираль ее въ нъдрахъ собственнаго сознанія, словомъ, становился ея центромъ, судьею и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія. Какъ удовлетворялось высокое нравственное чувство сознаніемъ, право на такую роль во вселенной не давалось человъку по наслъдству, какъ имъніе, утвержденное давнимъ владъніемъ! Чъмъ свътлъе

отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего воззрѣнія стояли нравственныя обязанности, и одна изъ необходимѣйшихъ обязанностей — высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобъ имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существованія.

Не далже 1834 года, человъкъ, понимавшій философскія ученія преимущественно съ ихъ моральной стороны, В. Г. Бълинскій, выразиль воззрвніе всего круга Станкевича въ статьв, оставившей по себъ сильное впечатлъніе. Она была напечатана въ «Молвъ» въ 1834 году (съ № 38 по № 52) подъ заглавіемъ: «Литературныя мечтанія. Элегія въ прозъ». Пусть читатель обратить вниманіе на начало этой статьи, гдъ весь міръ, а стало-быть и искусство, опредъляются, какъ отражение одной безконечной идеи, равно живущей и въ бътъ кометы, и въ слезъ ребенка, и въ произведени художника; пусть прочтеть онъ нравственныя требованія критика, изложенныя въ яркомъ описаніи двухъ дорогъ, свътлой и позорной, и различныхъ целей, къ которымъ оне приводять; пусть остановится онъ на опредълении способовъ соединения съ безконечною идеей посредствомъ отреченія отъ своего я, борьбы со всемъ, что затемняеть ликъ идеи и неограниченной любви... Тутъ высказана сущность убъжденій, царствовавшихъ въ кругъ Станкевича, и высказана съ тою твердой постановкой правиль, которая отличала всегда автора статьи Не вдаваясь въ разборъ критической ея части, можно сказать, что изъ воззрвнія, общаго автору со Станкевичемь, родились всв строгія правственныя требованія статьи отъ литературныхъ дългелей, развитыя еще болье впослъдствии. Она составляеть въ нашей исторіи словесности грань, съ которой начинается разборъ и оценка направленій и возникаетъ побужденіе смотръть на произведенія искусства, какъ па провозвъстниковъ высшаго нравственнаго порядка 1).

"Подвигъ жизни".

Когда любовь и жажда знаній Еще горять въ душѣ твоей, Бѣги отъ сустныхъ желаній, Отъ убивающихъ людей.

¹⁾ Ученіе, занявшее весь умъ Станкевича и оковавшее самую совѣсть его, сообщено имъ было многимъ изъ своихъ друзей, какъ напримѣръ Кольцову, который посвятиль этому предмету одну изъ своихъ думъ. Самъ Станкевичъ произвелъ стихотвореніе, навѣлиное тѣмъ же кругомъ идей. Оно относится къ 1833 году, и мы приводимъ его здѣсь, какъ поясненіе тогдашнихъ его мыслей и представленій:

Еще многіе помнять, какъ Станкевичь, въ эту эпоху своего развитія, сустливо отыскиваль книги философскаго содержанія, старался учредить порядокъ въ чтеніи и обращался за сов'ятами въ опытнымъ людямъ, знакомымъ съ историческимъ ходомъ германскаго мышленія. Все это было, конечно, необходимо для улсненія теоріи, открывшей съ перваго раза далекія перспективы во всѣ стороны, но пеизследованной въ самомъ механизме ел. Онъ судилъ о дъятель по великольнію его произведеній, но самого дъятеля еще не зналь. Было, однакожь, и другое побуждение къ страстному, неутомимому изученію философскихъ истинъ, кромѣ того рода наслажденія и поученія, которыя въ нихъ почерпаются. Станкевичъ искаль еще въ философіи оноры своему живому религіозному чувству. Несмотря на отвъты, уже полученные въ теоріи и способные удовлетворить требованіямъ поэтически-настроеннаго сердца, еще думаль обръсть въ ней полный миръ и спокойствие совъсти. вивств съ полнымъ нознаніемъ. Тогда же набросаль онъ статью: «Мон Метафизика», гдъ вводиль въ положенія любимаго своего ученія — особенное понятіе: «чувство всеобщей идеи», и посредствомъ его старался узаконить всв надежды сердца, которыми такъ дорожиль, стремленія, предчувствія и радости его. Надо сказать, что это настроеніе, жаждавшее утвердить на мысли и разум'в вс'в самыя тонкія психическія ощущенія челов'вка, было у Станкевича въ ту пору общее со всеми членами его круга, безъ исключенія. Когда, въ 1835 году, вошель въ этотъ кругъ человъкъ, надъленный въ высшей степени способностями къ философскимъ занятіямъ, то стремление это получило еще большее развитие.

Что касается до Станкевича, то можно сказать съ достовърно-

Себѣ всегда предъ всѣми вѣренъ, Иди, люби и пе страшись! Пускай твой путь земной измѣренъ — Съ иепогибающимъ дружись!

Пускай гоненье свъта взыдетъ Звъздой злосчастья надъ тобой, И міръ тебя возненавидитъ, Отринь, попри его стопой!

> Онъ для тебя погибнетъ дольный, Но спасена душа твоя! Ты притечешь самодовольный Къ предёламъ страшнымъ бытія.

Тогда свершится подвигъ трудный: Перешагнешь предълъ земной — И станешь жизнію повсюдной — И все наполнится тобой.

стію о всегдашнемъ присутствій этой двойной цѣли во всѣхъ его изысканіяхъ. Почувствовавъ вскорѣ недостатокъ свѣдѣній о самыхъ законахъ, какимъ слѣдуетъ мыслящая способность человѣка, онъ обратился къ Канту, и въ томъ, что знаменитый философъ относитъ къ практической философіи, видълъ оправданіе и узаконеніе всъхъ порывовъ и стремленій сердца, которые такъ знакомы были молодому изслѣдователю. Когда наступила очередь Фихте, Станкевичь, какъ увидимъ далѣе, въ самомъ ученіи о чистомъ мышленіи, принятомъ за единую достов фрную истину и за единую сущность міра, подозрфваль черты, способныя отв фчать требованіямь его духовной и поэтической природы. Даже гораздо позднее, когда въ 1838-39 годахъ, находясь въ Берлинъ, Станкевичъ приступилъ, подъ руководствомъ извъстнаго Вердера, къ изученію логики Гегеля, которая заявила намърение установить непреложную форму для разума и вмъстъ съ тъмъ показать непреложное содержание, живущее въ этой формъ, даже и тогда не покидало его тайное стремление, сопровождавшее весь философскій путь его съ самаго начала. участи этихъ юношески-теплыхъ п благородныхъ ожиданій и надеждъ, мы еще будемъ говорить, а теперь замътимъ, что искра, зароненная соображеніями чисто эстетическаго свойства, разгорёлась, какъ видимъ, до поглощенія въ неусыпномъ изследованіи целаго и существеннъйшаго періода нъмецкой философіи.

Изъ всего сказаннаго легко угадать, что строгость жизненной задачи, такъ рано попятой, и высота нравственныхъ требованій должны были, еще въ студенческую эпоху жизни, положить особенную печать на самого Станкевича и сообщить физіономіи его мыслящее и поэтическое выраженіе. Такъ дъйствительно и было.

Въ перепискъ Станкевича нъсколько разъ встръчается завъреніе, что онъ живетъ для дружбы и искусства, и не видитъ возможности какой-либо другой жизни для себя. Подъ именемъ дружбы слъдуетъ понимать у него, какъ онъ самъ потрудился объяснить, столько же чувство привязанности къ людямъ, вадъленнымъ высокими душевными качествами и привлекательнымъ по характеру, сколько и вообще чувство, жаждущее симпатіи и ласковаго участія. Потребность передать другому все богатство собственнаго сердца, всю собственную способность къ любви и доброжелательству,—не оставляла его никогда. Часто и часто ожидаетъ онъ въ это время появленія незнакомаго существа, которое отгадаетъ присутствіе этого обильнаго источника симпатіи и придетъ утолить въ пемъ потребность взаимности и счастія. Часто также, не находя вокругъ себя ни малъйшихъ слъдовъ, возвъщающихъ приближеніе подобнаго существа, онъ обращается съ тоской и жалобой къ своей участи и считаетъ себя

недостойнымъ принять дорогого гостя. Онъ думаетъ, что судьба не даромъ отказываетъ ему въ этомъ благѣ... Въ одномъ письмѣ онъ чрезвычайно добродушно сознается, что съ самаго дътства, каждый разъ, какъ ему случалось вхать на балъ или въ собраніе, онъ ожидалъ какой-нибудь важной катастрофы въ жизни, всего болѣе случайной встрѣчи съ существомъ, которое наполнитъ собою всю душу его. Иногда, по извѣстному обману чувства, онъ насильно создаеть себъ желанный образь, навязываеть на человъка роль, не совство сходную съ его характеромъ, и въ жаркомъ диопрамбъ изливаетъ передъ созданіемъ собственной фантазіи излишекъ ощущеній, которымъ было исполнено его необычайно любящее, нъжное и благородное сердце. Некоторыя изъ знакомыхъ сму женщинъ, угадывая инстинктомъ своего пола одну сторону въ характеръ Станкевича, называли его небесныму. Онъ смъялся безпощадно надъ прозвищемъ, которое могло бы быть даже оскорбительно, еслибы не было крайне добродушно. Подвиги жизни, труды и наслажденія ея, Станкевичъ считалъ настоящимъ удёломъ, земною долей человъка, а тайную игру его страстей и ощущеній — только скрытнымъ дѣятелемъ, который сообщаетъ цвътъ и форму его явному, земному существованію. Этимъ умърялъ онъ и въ самомъ себъ расположеніе къ мечтательному представленію жизни.

О важивимихъ лицахъ, составлявшихъ кругъ Станкевича, мы упомянемъ далве съ нвкоторою подробностію, а теперь рвшаемся представить общую характеристику его знакомыхъ и пріятелей, сохраняя то разнообразіе, какое отличало ихъ самихъ относительно понятій и нравственныхъ требованій.

Здъсь, съ самаго начала останавливаютъ насъ слова, сказанныя Станкевичемъ по поводу одного изъ университетскихъ товарищей, направление котораго впоследствии заслужило осуждение прежде бывшихъ его друзей: «Холодный человъкъ не можетъ быть хорошимъ человъкомъ; холодный человъкъ долженъ быть стоикъ: иначе онъ будетъ подлецъ.» Въ этихъ словахъ заключается настоящее опредъление характера, господствовавшаго въ кругъ Станкевича. Надо, однакожъ, сказать, что основная мысль круга, центромъ котораго быль Станкевичь, росла вмёстё съ личнымъ развитіемъ главы его и вмъстъ съ жизнію, до тъхъ поръ, какъ достигла полнаго разумнаго выраженія. Чувство, соединявшее разнородныя личности между собою, подъ конецъ уже имъло исходнымъ пунктомъ своимъ единство стремленій къ нравственнымъ целямъ, одушевленіе къ истинъ и добру и общее исканіе путей къ нимъ. Особенно это последнее качество составило важное отличіе круга въ последній неріодъ его развитія отъ того времени, когда Станкевичъ собиралъ

за чаемъ, въ маленькой своей комнатѣ, въ нижнемъ этажѣ дома, занимаемаго пансіономъ Павлова, своихъ товарищей по университету, и вечера летѣли въ предчувствіи явленій, какими исполнепа еще незнакомая, вдали свътлъвшая жизнь, въ разсказахъ о попыткахъ открыть ту или другую сторону ея, въ фантастическихъ представленіяхъ ея принадлежностей и въ наслажденіи другъ другомъ, не разбирая хорошенько нравственной сущности, какая заключена была въ каждомъ. Давно замъчено, что до эпохи нъкоторой возмужалости чувства, оно не распознаетъ относительнаго достоинства предметовъ и только старается возвысить ихъ до себя, даже наперекоръ ихъ природъ. Станкевичъ, напримъръ, былъ какъ-то неутомимъ въ привязанности къ одному изъ своихъ пріятелей, который занимался изобрътеніемъ вычурныхъ нарядовъ и причесокъ, и возражаль на упреки въ безисчности словами: «Эхъ, братецъ, ты пе знасшь, что значитъ жить въ семействв», сваливая бъду на пріятности и развлеченія, находимыя въ большомъ семейномъ кругу. Онъ иногда прикидывался мрачнымъ п отчаяннымъ по части сердечныхъ дълъ и быль добрый малый; но Станкевичь лельяль въ немь какое-то представление своей собственной фантазіи, что въ ту эпоху случалось съ нимъ довольно часто. Истиннымъ добрымъ малымъ, въ хорошемъ смыслѣ слова, былъ также другой товарищъ Станкевича, о которомъ нерѣдко упоминается въ перепискѣ, — покойный поэтъ В. И. Красовъ. Жизнь этого человѣка могла бы составить содержание весьма поучительнаго разсказа. Онъ весь быль воодущевленіе, но, къ сожалівнію, часто безъ дівствительныхъ, серьёзныхъ поводовъ къ тому. Восторженное состояніе, въ которомъ онъ находился постоянно, принималось тогда за коренное свойство его поэтической патуры, хотя скорже это было джломъ фантазіи, болжиненно развитой на счетъ всъхъ другихъ душевныхъ силъ. Онъ поминутно встръчалъ необыкновенныя созданія. Не останавливаясь долго на разборъ, въ каждомъ переулкъ, гдъ поселялся, встръчаль онъ чудныя существа и необычайныя происшествія, о которыхъ потомъ и разсказываль со всвии невольными прикрасами возбужденнаго воображенія. Самь онь объяснялся съ паходками своими чрезвычайно восторженно, и одна изъ тъх глубоких натура, которыя все понимают, послѣ поэтическаго монолога Красова, съ недоумѣніемъ спрашивала Станкевича: почему нельзя понять ни одного слова въ разговоръ его друга? Ко всему этому присоединялись у нашего поэта юношеская горячность въ привязанностяхъ, совершеннъйшая безпечность въ жизни и неизмънная доброта сердца 1). По выходъ изъ уни-

¹⁾ О пріничивости его сердца, какъ п объ отсутствін всякаго соображенія при полученін внечатлівній, можеть служить слёдующій анекдоть. Станкевича позвали въ

верситета онъ жилъ бъдно, ничего не дълалъ для поправленія своего положенія, цёлый день пребываль въ мечтахъ и зимой спасался отъ холода подъ одвяломъ своей постели, гдв снова фантазировалъ и писаль стихи. Подобныя искреннія, детски-открытыя натуры всегда вызывають симпатію окружающихь, и Станкевичь, часто дававшій волю юмору своему насчеть пріятеля, любиль его, однакожь, какъ любять существо, живущее по своимъ особеннымъ, почти исключительнымъ законамъ. Одно время онъ бралъ у него уроки въ латинскомъ и греческомъ языкахъ, такъ какъ Красовъ поступилъ въ университетъ изъ семинаріи и зналъ языки эти довольно основательно. Нівсколько поздніве, тщетныя усилія Станкевича вызвать пріятеля изъ праздности и обратить къ какому-либо труду ослабили нѣсколько чувство, связывавшее ихъ, особенно когда Станкевичь замѣтиль еще и признаки нѣкоторой претензіи въ фантазіяхъ Красова, что неминуемо должно было случиться рано или поздно. Воодушевленіе, какъ и все другое на свъть, имьеть свои предълы, за которыми уже является насилование его и ложная, непріятная подставка придуманнаго ощущенія. Чувство Станкевича однакожъ не истребилось совствить, и мы знаемъ, что онъ еще съ любовью вспоминаль о старомъ своемъ другв въ Берлинв.

И вся жизнь того времени, можно сказать, была окрашена особымъ цвътомъ, проникнута тъмъ направленіемъ, которое трудно и передать безъ участія поэтическаго таланта. Въ составъ его входило много безграничной довъренности къ людямъ, много юношеской

правленіе университета для сообщенія чего-то. Случилось, что въ то время онъ сидълъ дома и занимался съ Красовымъ. Станкевичъ тотчасъ же одълся и отправился. На полдороге онъ слышить, что кто-то поспёшно его догоняеть. Онъ оборачивается и видитъ Красова въ полномъ студенческомъ мундирѣ, со шпагою. "Ты куда?" спрашиваеть его Станкевичь. -- "За тобою, за тобою, отвечаеть Красовь со слезами на глазахъ. Я буду защищать тебя до последней капли крови". — Станкевичъ съ трудомъ вразумиль его, что едва ли потребно будеть такое развитие силь и храбрости. Красовъ въ последній періодъ литературной деятельности, кончившейся очень рано, еще при жизни Станкевича, произвель несколько чрезвычайно теплыхь и милыхь стихотвореній. Особенно замівчательны они бойкостью стиха и эффектомъ пріемовъ, не лишенныхъ граціи. Началь онъ лирическими стихотвореніями, въ которыхъ, несмотря на благородство чувствъ, замѣтенъ нѣсколько узкій взглядъ на предметы. Таковы натріотическія пьесы: "Къ Уралу" ("Молва" 1835 года, № 27), "Булать" (ів. № 36), мистическая: "Еврей" (ib. № 39) и т. д. Любопитно, что въ томъ же 1835 году "Молва" напечатала "Silentium" О. Тютчева, -- произведение глубокаго поэтически-философскаго характера, не обратившее одпакожъ на себя должнаго вниманія. По отъвздв Станкевича въ Берлинъ, Красовъ получилъ мёсто въ Кіеве, не ужился тамъ и возвратился въ Москву съ какимъ-то обозомъ, въ одной плохой шинелькъ и питаясь чернымь хлёбомь. Здёсь получиль онь мёсто преподавателя, безпрестанно отгадывая множество будущихъ талантовъ и геніевъ въ своихъ ученикахъ, наконецъ женился, и недавно умеръ въ больницъ, оставивъ послъ себя довольно многочисленное семейство.

способности привязывать мечты собственнаго сердца къ самому обыкновенному, пустому событію жизни. Въ письмахъ Станкевича, принадлежащихъ къ этой эпохѣ, есть разсказъ о неожиданной смерти какой-то чудной дѣвушки, владѣвшей, по смыслу повѣствованія, чуть ли не даромъ прозрѣнія и угасшей въ семействѣ, гдѣ происхожденіе ея было источникомъ грубой, тяжелой драмы. Мы не знаемъ подробностей исторіи, но не надо быть чрезвычайно прозорливымъ для того, чтобъ убѣдиться въ нѣкоторомъ преувеличеніи событія со стороны тѣхъ, для которыхъ такое преувеличеніе было необходимою потребностію духа: такъ настроенъ онъ былъ къ отысканію глубокаго поэтическаго смысла въ каждомъ явленіи 1). Товарищъ Стан-

"На могилъ Эмиліи".

Привътъ могилъ одинокой! Печальный мохъ ее покрылъ Съ тъхъ поръ, какъ смерти сонъ глубокой Отъ насъ ея жилицу скрылъ. Оконченъ рано подвигъ трудный, Загадка жизни рфшена! Любовь почила безпробудно И радость тлёнью предана. Какіе тайные законы Тебя бъ въ сей жизни ни вели, Но участь горькую Миньйоны Ты испытала на земли; Ты съ горемъ свыклась съ колыбели, Тебя не видель отчій кровь, Звіздой падучей пролетіли И жизнь, и младость, и любовь. Но надъ печальною могилой Не смолкнулъ голосъ клеветы, Она терзаеть призракъ милый И жжетъ надгробные цвъты. Пусть люди ждуть судьбы со страхомъ, И чемь бы ни быль сынь земной, Повсюдной жизнью, или прахомъ --Благословеніе съ тобой! Но если утро воскресенья Придеть на свътлыхъ облакахъ, Вовстань съ лучомъ преображенья Вь твоихъ лазоревыхъ очахъ. Лети, лети въ края отчизащ, Оковы тленья разорви-Вудь съ нимъ одна въ единой жизни, Въ единой виждущей любви.

¹⁾ Станкевичь иосвятиль памяти этой дѣвушки одушевленное и довольно выдержанное стихотвореніе. Приводимь его здѣсь. Оно было напечатано въ альманахѣ "Денница" на 1834 годъ, нодъ заглавіемъ:

кевича ...ка, почитавшій себя особенно связаннымъ съ судьбой и участью покойницы, былъ въ сущности добродушнѣйшій молодой человѣкъ, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ неподдѣльной малороссійской наивности, съ наклонностію къ чувствительности и лѣнивому созерцанію жизни, какое часто встрѣчается у его земляковъ. Онъ не кончилъ университетскаго курса и постоянно возбуждалъ участіе Станкевича, который поддерживалъ въ немъ искры умственной энергіи до тѣхъ поръ, пока товарищъ совсѣмъ не пропалъ у него изъ вида.

Надо сказать вообще, что какое-то чутье истины и врожденный даръ юмора снасали Станкевича отъ упорства въ ложныхъ увлеченіяхъ. Даже въ эту раннюю эпоху жизни, онъ быль надёленъ обыкновеннымъ свойствомъ благодатныхъ натуръ: ложь надобдала ему прежде, чемъ онъ успевалъ открыть ее. Свойство это служило ему какъ-бы оградой, воспрещавшей переступить последнія грани романтического настроенія и потеряться въ мірф призраковъ. Въ нисьмахъ его отъ этой эпохи безпрестанно встречаются порывы сердца безъ ясной цёли или съ цёлью, выдуманною произвольно; но съ первыхъ шаговъ къ ней, онъ тотчасъ же возвращается, поправляеть себя съ усмъшкой и становится на прежнее мъсто. Можно подумать, что ему измёняеть почва тотчась, какъ пошель опъ не въ надлежащую сторону, или что невыразимая тоска преграждаетъ ему путь съ перваго шага по ложной тропъ. Яснъе обозначится это качество при описаніи его молодыхъ привязанностей. Но и кром'в того есть въ перепискъ Станкевича много свидътельствъ, подтверждающихъ слова наши. Такъ, читатель встрътитъ между письмами довольно большую фантазію, навізянную оперой и минутнымъ душевнымъ состояніемъ, и конечно, будетъ удивленъ, замътивъ, что черезъ почту, Станкевичъ ценитъ по достоинству какъ то, такъ и другое, и въ полной трезвости ума свободно отталкиваетъ отъ себя игру ощущеній, подъ вліяніемъ которой находился еще такъ недавно. Онъ говорилъ тогда: «Все, что я писалъ къ тебъ... было писано въ припадкъ какого-то правственнаго фанатизма, который подымаетъ насъ на ходули, возлагаетъ на насъ очки, увеличивающія въ 1,000 разъ и пр.» (письмо 1-го декабря 1833 года). Иногда даже мгновенная вспышка заканчивается улыбкой и пропадаетъ въ добродушной шуткъ, уничтожающей на половину все значеніе невольнаго порыва. Эта способность поправляться и зорко оглядывать себя въ минуты самыхъ сильныхъ увлеченій не покинула его, какъ скоро увидимъ, и впоследствіи, когда, судя по наружности, можно было бы предполагать, что одно чувство любви пераздально владаеть всемь существомь его. Отступление было туть

гораздо труднъе: истина ощущенія и обманчивая фантазія смѣшались такъ крѣпко въ сердцъ, что разобрать ихъ было дѣло не легкое. Не всякій былъ бы способенъ даже заподозрить вѣрность и правду своего чувства, но изъ прилежнаго наблюденія характера Станкевича мы извлекли убѣжденіе, что на днѣ души его жилъ какой-то таинственный, вѣчно бдящій сторожъ, который возвышалъ свой голосъ при малѣйшемъ прикосновсніи невѣрнаго или даже сомнительнаго чувства и не давалъ покоя Станкевичу, покуда внечатлѣніе не было очищено отъ случайной примѣси ложнаго элемента. Станкевичъ остановился въ самомъ нылу страсти, столько же удивленный и нравственно-потрясенный своимъ поступкомъ, сколько могли быть близкіе или сторонніе свидѣтели его; но дѣйствовать иначе было уже не въ его власти. Мы видимъ постоянно эту строгую повърку своего существа въ переиискъ Станкевича, и она-то, кажется намъ, возвела образъ его до того типа, который невольно останавливаетъ вниманіе и вызываетъ къ себѣ наше уваженіе.

Станкевичъ любилъ въ первое время общество, танцы, новыя знакомства и людской говоръ, который, между прочимъ, есть тоже своего рода воснитатель, если умѣть разбирать его и пользоваться имъ. Станкевичу всегда было необходимо видѣть мпого людей, также какъ необходимо было много мыслить про себя. Изъ переписки его видно, что онъ имѣлъ частыя бесѣды съ дамами, занимавшимися русскою литературой и искусствомъ вообще; но не онъ составляли настоящую приманку, увлекавшую его въ свътъ. Онъ просто искалъжизни и потому, что она была незнакома ему, и по требованію природы своей, неспособной заключиться только въ себъ самой и тёмъ ограничиться. Онъ былъ чистъ отъ самолюбія и гордости, обыкновенно мёшающихъ сближенію между людьми, и думалъ, что общество и частное лицо равно нуждаются другъ въ другѣ и равно ищутъ другъ друга. Правда, впослѣдствіи, когда жизнь для Станкевича сосредоточилась на небольшомъ числѣ искреннихъ привязанностей, онъ осуждаль свою прежнюю страсть къ связямъ и знакомствамъ, но сохранилъ уже навсегда свободный взглядъ на общество и способность становиться съ перваго раза въ прямыя, откровенныя и благородныя отношенія къ людямъ. Для всего этого мы имѣемъ свидътельство Н. А. Мельгунова, въ домъ котораго студентъ Стан-кевичъ часто бывалъ, и запросто, и на семейныхъ вечерахъ: про-стота и изящество его обращенія уже и тогда были замъчены. Станкевичъ обязанъ былъ Н. А. Мельгунову, кромъ наслажденія музыкой, составлявшей любимое занятіе хозяина, еще знакомствомъ со многими извъстными людьми. Тутъ же, кажется, онъ впервые встрътилъ и Я. М. Невърова, этого друга своей молодости, нере-

писка съ которымъ занимаетъ чуть-ли не третью часть всего нашего сборника. Я. М. Невъровъ былъ старше Станкевича и кончиль курсь въ 1832 году, когда тотъ еще прошелъ одну половину его, и не самую важную, какъ знаемъ. Въ 1833 Невъровъ убхалъ въ Петербургъ на службу, участвовалъ тамъ въ изданіи «Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія», въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», въ «Энциклопедическомъ Лексиконъ » и пр. Весьма часто случается, что благородная и даровитая молодость ищеть руководителя въ более возмужаломъ и опытномъ человъкъ и, выбравъ его, откровенно ему подчиняется. Такъ было и здёсь. Станкевичъ создалъ себё въ лице Невёрова нёчто похожее на «директора совъсти». На Я. М. Невъровъ истощилъ онъ потребность сердечной исповъди и принималь его приговоры, какъ необходимую поправку своихъ побужденій и наклонностей. Такое нравственное самоограничение тоже неръдко встръчается у пылкихъ, многообъщающихъ натуръ, и даже чъмъ независимъе онъ по природъ, тъмъ покорнъе слъдуютъ, на первыхъ порахъ, за выбраннымъ наставникомъ. Станкевичъ былъ пораженъ въ другъ своемъ соединеніемъ ръдкой доброты съ глубочайшею религіозностію и неподкупною стойкостью правиль. Эти качества долго держали Станкевича подъ безграничнымъ вліяніемъ, и въ нервое время ничего другого ему и не приходило въ голову требовать отъ дружбы. Когда, впоследстви, духовныя потребности Станкевича усложнились до того, что не могли получить удовлетворительнаго отвъта отъ посторонняго лица, и надо было искать отвъта въ себъ самомъ, --- вліяніе начало уменьшаться само собою; но связь, образуемая благородствомъ помысловъ и цёпью дорогихъ воспоминаній, осталась между ними навсегда.

Таковъ былъ первый кругъ, въ которомъ сначала призвано было дъйствовать чувство, называвшееся у Станкевича дружбой. Мы сообщили, по необходимости, одинъ только поверхностный очеркъ его, но полагаемъ— сказаннаго уже будетъ достаточно для уразумънія сущности и отличительныхъ его свойствъ. Можно прибавить еще одну черту, маловажную по себъ, но имъющую нъкоторое значеніе по отношенію къ нашему обществу. Въ характеръ Станкевича не было нисколько элементовъ удали, которая такъ поэтически выражается у русскаго народа, а въ образованныхъ классахъ ограничивается трактирными и домашними кутежами, грубымъ посягательствомъ на права личности, иногда дикимъ произволомъ. Черта эта пріобрътаетъ важность, разумъется, только съ той минуты, когда общество смотритъ на нее равнодушно, или даже съ примъсью благосклонности, радуясь ей, какъ безвредному истоку юношескаго пыла. Мало того, что кругомъ Станкевича жизнь шла трезво и бодро, но

она, благодаря ему, носила рёдкій оттёнокъ скромности. Несмотря на его природную веселость, было что-то умёренное и деликатное въ его шуткъ, подобно тому, какъ мысль его отличалась истиннымъ цъломудріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это, конечно, держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ кругъ его, въ одномъ общемъ настроеніи и на одной нравственной высотв. Читатель легко пойметъ, что философско-поэтическій элементъ, присутствовавшій въ Станкевичъ, быль именно тъмъ дъятелемъ, который волновалъ сердца и выводилъ ихъ изъ летаргів. Куда бы животворный элементъ этотъ ни обращался въ теченіи своемъ, онъ увлекалъ за собою даже самыя упорныя, самыя лѣнивыя натуры. Въ сборникъ ппсемъ Станкевича есть одно (отъ 24 выя натуры. Въ соорникъ писемъ Станкевича есть одно (отъ 24 апръля 1835), гдъ онъ сосредоточиваетъ мысли на собственномъ религіозномъ чувствъ—и какія теплыя, любящія слова находить онъ тогда, слова, которыя должны были вызвать сочувствіе окружающихъ. Проникнутый важностію предмета, Станкевичъ перебираетъ всю свою жизнь до мельчайшихъ движеній сердца, до самыхъ тайныхъ своихъ наклонностей, и съ упоеніемъ говоритъ о блаженствъ чувствовать въ себъ потребность живой въры. Объты исправленія сыплются изъ груди, взволнованной сладкою любовью и радостію религіознаго одушевленія, наполняющаго ее. Описаніе кануна Свѣтлаго Воскресенія соотвѣтствуетъ предшествовавшему изложенію впечатлѣній. Ночь идетъ тихо и серьёзно для людей, собравшихся вокругъ Станкевича; каждый изъ собесѣдниковъ старается наполнить минуты ея лучшими своими помыслами, избраннъйшими своими воспоминаніями. Станкевичь думаеть о первой, святой любви своей. Какимъ-то тихимъ восторгомъ звучать слова: «Въ половинѣ 12-го мы вышли на дворъ.... Погода была тихая, прекрасная; небо ясно и усѣяно звъздами.... За нъсколько часовъ шелъ дождь.... Вдругъ ударили колокола... Къ намъ пришелъ Бълинскій и увлекъ насъ въ Кремль! Мы подходили къ Иверской и услышали пушки: Василій Блаженный вдругъ озарился ихъ молнією, и ударъ разсыпался по Кремлю. Пока дошли мы до мъста, стрълять уже нерестали, но мы издали слышали музыку и нальбу... возвратились къ заутренъ къ Козьмъ и Дамьяну». Исихическое настроеніе подобнаго рода, даже вызванное предметомъ меньшей важности, само по себѣ способно всегда поднять душу выше обыкновеннаго ея уровня. Такъ и было съ пріятелями Станкевича во многихъ случаяхъ.

Переходя къ искусству, мы видимъ изъ переписки Станкевича, что работа, заданная всёмъ умственнымъ способностямъ его нёмецкою поэзіей и литературой, продолжается безостановочно. Онъ попрежнему живетъ въ мірѣ, созданномъ Гёте и Шиллеромъ, еще не за-

ботясь объ опредёленіи границъ каждаго и уясненіи существенныхъ отличій любимыхъ своихъ поэтовъ. Потребность опредълить ихъ относительное значеніе явилась гораздо поздиже, когда разграничены были области ихъ джятельности на основаніи понятій о поэтахъ личныхъ впечатленій и поэтахъ всего окружающаго міра (субъективныхъ и объективныхъ). Станкевичъ переходилъ отъ одного къ другому, не замъчая скачка и не чувствуя ни малъйшаго потрясенія въ эстетическомъ наслажденіи, да къ тому же онъ читаль въ одно время и тогдашнихъ французскихъ романистовъ: Гюго, Бальзака, Жакоба Библіофила, и даже, какъ видимъ, находилъ въ нихъ отзвукъ на нъкоторыя струны своего сердца. Поэзія была для него безразлична, но степени ея понималъ онъ съ замъчательною ясностію. Вся критическая способность его, напримъръ, несмотря на разнообразіе предметовъ, вызывающихъ ее, занята была въ эту эпоху преимущественно объяснениемъ образовъ германской поэзін. Онъ былъ прикованъ къ ней и, можно сказать, почти страдалъ неутолимою жаждой измърить всю ея глубину, завладъть всъмъ ея смысломъ. Чувство это сказывается, по нашему мненю, въ техъ воодушевленныхъ строкахъ его переписки, гдъ онъ излагаетъ свои впечатлънія при чтеніи Оберопа, свой взглядъ на знаменитую п'вснь Миньйоны, на баллады Гёте, между прочимъ, на «Коринескую Невъсту». Вотъ что пишетъ онъ, напримъръ, по поводу «Невъсты»: — «Нельзя не пасть передъ Гёте, прочитавъ его созданіе! Грозный союзъ любви и смерти, бледныя уста, пьющія кровавое вино, мертвая грудь, согрѣвающаяся сладострастнымъ пламенемъ, — и сила юности, испарившаяся въ одинъ мигъ наслажденія, овладѣваютъ душою, потрясаютъ всв нервы, такъ что, по окончании чтенія, чувствуешь странный покой, подобный тому, который господствуеть въ природъ послъ ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба, и зв'взды едва начипають блистать, освобождаясь изъ-подъ ея нокрова»... Другое произведение Гёте, которое мы позволяемъ себъ назвать, по примъру Станкевича, «Баядерой», породило у него мысль нанисать драму. Въ ней хотълъ онъ представить судьбу одного чувства любви, показавъ его сперва на низшей ступени физическаго влеченія, и возводя рядомъ очищеній до той минуты, когда, просв'ятленное и облагороженное, оно роднится съ небомъ и въ немъ исчезаетъ. Созданіе Гёте, казалось Станкевичу, заключаетъ тысячу драмъ, которыя могли бы служить ему поясненіемъ, по объяснять Гёте его собственнымъ элементомъ-поэзіею, конечно, было деломъ юношеской смелости. Вероятно, по этой причине исполнение плана откладывалось недвля за недвлей и наконецъ совсвиъ было оставлено; но самый планъ служить для насъ указаніемъ, какъ пред-

ставлялась любовь духовнымъ очамъ Станкевича. Съ неменьшею силой владълъ встми нравственными способностями его и Шиллеръ. Извъстное стихотворение Шиллера: «Resignation» было у него на умъ и на языкъ почти безпрерывно. Опъ находилъ постоянно случаи примънять основную мысль его къ самому себъ. Каждый разъ, какъ излишне-пылкія надежды Станкевича встрѣчали отпоръ въ обстоятельствахи и въ людяхъ и разбивались объ эти преграды, онъ вспоминалъ любимое свое стихотворсніе и вивств съ нимъ повторяль: «Кто тоскуеть по другомъ мірѣ, тоть не должень знать земныхъ наслажденій. Кто вкусиль отъ земного наслажденія, тотъ не надъйся на награду другого міра, гд'в пышно разцв'втають только терніи и скорби нашего дольнаго существованія». Затъмъ еще письма Станкевича украшены многочисленными цитатами изъ этого поэта, или лучие, этого неизмѣннаго друга всѣхъ избранныхъ людей, которые въ немъ отыскиваютъ опору для благороднаго чувства, разгадку неясныхъ стремленій своей возвыненной природы. Цитаты изъ Шиллера—это вопль самой души Станкевича, обращенной къ силъ, зиждущей на землъ благо, любовь, и дающей успокоение сердцу. Воиль обыкновенно затихаеть у него въ одномъ помыслъ, всеразръшающемъ и цвлебно-дъйствующемъ. «Христосъ да будетъ съ тобою и съ ними», нишеть онъ обыкновенно другу своему въ заключение, а иногда прибавляеть свою любимую тогдашнюю поговорку, почти не сходившую съ устъ ero Es herrscht eine allweise Güte über die Wielt (Надъ міромъ царствуетъ премудрая благость).

По самому устройству нашего общества и началамъ воспитанія, кромѣ литературы, только два вида искусства остаются у насъ для эстетическихъ потребностей публики: музыка и театръ. За навыкомъ къ оцѣнкѣ другихъ отраслей изящнаго, даже за первыми понятіями о нихъ, приходится, по большей части, переселяться на чужую ночву, и этотъ недостатокъ воспитанія отражается, кажется намъ, на самомъ обществѣ относительною бѣдностію его разговора и нѣ-которою узкостію взгляда при эстетическихъ сужденіяхъ вообще. Какъ бы то ни было, но изъ перениски Станкевича мы узнаемъ, какое важное значеніе имѣлъ для него театръ. Вотъ что говоритъ онъ, между прочимъ: «Театръ становится для меня атмосферою; прекрасное моей жизни не отъ міра сего; излить свои чувства некому: тамъ, въ храмѣ искусства, какъ-то вольнѣе душѣ. Множество народа не стѣсняетъ ел, ибо надъ этимъ множествомъ паритъ какая-то мысль. Наше искусство не высоко, но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, объ его совершенствѣ, о прелестяхъ изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоропроходящіе>.... Даже эти слова сще не вполнѣ передаютъ силу того очарованія,

которымъ обладалъ театръ, въ высокомъ своемъ значении, для всего круга Станкевича. Полное выражение его должно опять искать у Бълинскаго, въ одной изъ превосходнъйшихъ страницъ статьи, уже разъ упомянутой нами («Литературныя Мечтанія», Молва № 51, стр. 419). Сказавъ, что въ театръ вы радуетесь и страдаете не за свою жизнь, и что, напротивъ, ваше холодное я исчезаетъ тамъ ет пламенноми энирт любей, критикъ продолжаетъ: «Если васъ мучить тягостная мысль о трудномъ подвигв вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здёсь забудете ее; если душа ваша искала когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи мелькалъ когда-нибудь, подобно легкому виденью ночи, такой-то пленительный образъ, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная,здёсь эта жажда вспыхнеть въ васъ съ повою, неукротимою силой, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ, и вы увидите его очи, устремленныя на васъ съ тоской и любовью.... Невозможно описать всв очарованія театра, всю его магическую силу надъ душой человъческою.... О, какъ было бы хорошо, еслибы у насъ былъ свой народный русскій театръ! Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ен добромъ и зломъ, съ ен высокимъ и смешнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видъть біеніе пульса ея могучей жизни.... о, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, можете»... Эти восторженныя слова выражали истинное чувство Станкевича и Бълинскаго: переступая за порогъ театра, они входили въ святилище и никакъ не могли настроить себя подъ ладъ болве чёмь обыкновенныхь вещей, тамь процвётавшихь. Послёдній почти всегда оставляль театръ или глубоко потрясенный, или раздраженный до крайности. Относительно музыки, Станкевичь сознавался въ одной слабости. Онъ былъ подвержденъ скорой усталости, следовавшей тотчасъ за первымъ, сильнымъ раздражениемъ нервной системы. Съ половины длиннаго концерта онъ уже ничего не понималь и тымь болые, чымь настойчивые старался возбудить вы себы силу воспріимчивости. Вотъ почему громадныя оперы, появившіяся въ то время, «Жидовка», «Робертъ» и проч., давили и уничтожали его до тъхъ поръ, пока онъ не успъвалъ разобрать ихъмногоразличныя составныя части. Въ-замѣнъ, все, что дѣйствовало прямо на душу, что могло быть поглощено ею безъ помощи соображеній и умственнаго напряженія, начиная съ оперы «Герольда» до геніальных в симфоній нізмецкаго искусства, приводило Станкевича въ упоеніе. Чудныя вещи произошли съ нимъ, когда онъ нечаянно встрътился съ композиторомъ, наиболъе отвъчающимъ тоскъ, грусти и фантазіямъ уединеннаго и сосредоточеннаго чувства, именно съ Шубертомъ. Станкевичъ чуть съ ума не сошелъ. Вотъ какъ разсказываетъ онъ случай этотъ: «Во-первыхъ, я очень радъ, и мнѣ досадно, что ты первый написалъ мнѣ о Шубертѣ. Какъ мы услышали его въ одно время? Я пашелъ эту піесу 1) нечаянно у нашего острогожскаго помѣщика С*, въ музыкальномъ журналѣ «Филомела», котораго никто у нихъ никогда не разыгрывалъ. Это было послѣ обѣда, послѣ веселья, любезничанья. Я попробовалъ—и чуть не сошелъ съ ума! Иначе, кажется, нельзя было выразить это фаптастическое прекрасное чувство, которое охватываетъ душу, какъ самъ царь младенца, при чтеніи этой баллады. Уже начало переносить тебя въ этотъ темный, таинственный міръ, мчитъ тебя durch Nacht und Wind»... и проч.

Настроеніе какъ Станкевича, такъ и Бѣлинскаго, частію про-исходило и отъ того, что они избрали эстетическимъ учителемъ своимъ человѣка, не дѣлавшаго никогда ни малѣйшихъ уступокъ слабости, современному вкусу или модѣ, изъ своей возвышенной те-оріи изящнаго, именно Гофмана, автора Seltsame Leiden eines Theater-Directors (необычайныя страданія нѣкоего директора театра), Fantasie-Stücke in Callots Manier (фантастическіе отрывки въманерѣ Калло) и множества фантастическихъ сказокъ и романовъ, извъстныхъ нашей публикъ по переводамъ. Пламенная, почти го-рячечная любовь къ искусству, отличавшая Гофмана, приходилась въ уровень съ необычайно-возбужденною критическою пытливостью его русскихъ поклонниковъ. Въ пемъ обрътали они страстную, почти его русскихъ поклонниковъ. Въ пемъ обрётали они страстную, почти идеальную привязанность къ дёлу, которое сами считали чуть-ли не единственнымъ дъломъ въ мірѣ, достойнымъ этого имени. Гофманъ почти никогда не ошибался въ значеніи предмета, принадлежащаго искусству: но онъ пе иначе изображалъ его, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескѣ, въ сверхъ-естественныхъ, фантастическихъ размѣрахъ. Исполнивъ задачу, онъ самъ падалъ ницъ передъ собственнымъ представленіемъ, въ благоговѣйномъ ужасѣ. Нѣкоторыя мѣста первыхъ двухъ выписанныхъ нами сочиненій (особенно музыкальныя новеллы Fantasie-Stücke) свидѣтельствуютъ всно, что геніальное созданіе природиле сого ра процесть нами ясно, что геніальное создапіє приводило его въ трепеть, какъ че-ловѣка, застигнутаго явленіємъ неземного міра, но онъ сберегаль способность передавать свой тренеть въ восторженной, а иногда сильной и саркастической рѣчи. Электрически дѣйствоваль онъ на молодые, серьёзные умы, считавшіе слово его поэтическимъ прозрѣпіемъ въ самую глубь творчества. Несмотря на то, что большая часть сужденій Гофмана о театрѣ и музыкѣ производить то же самое висчатлѣніе, какое исныталъ нзвѣстный эстетикъ Гото, при

¹⁾ Erlkönig, Шуберта.

его описаніи характера Донъ-Жуана 1), Гофианъ имълъ весьма благотворное вліяніе на развитіе нашей критики. Необычайныя художническія требованія Гофмана возвысили пониманіе цёли и задачи искусства и, конечно, были источникомъ того обилія идей, какое вскоръ выказала она въ самомъ дълъ. Мы разумъемъ статъи Бълинскаго объ пгръ Мочалова въ роли Гамлета, напечатанныя въ «Московскомъ Наблюдатель», 1838 года, часть XVI (мартъ и апрёль), подъ заглавіемъ: «Гамлеть, драма Шекспира». Тутъ строгость всёхъ требованій отъ актера и идеальное представленіе его признанія находятся въ близкомъ родствів со способомъ воззрівнія Гофмана, только развиты онв въ формв критической статьи, вивсто живыхъ, лирическихъ изображеній Гофмана. Самыя повъсти и фантастическія сказки последняго находили симпатическій отголосокъ въ кругъ Станкевича: онъ такъ хорошо соотвътствовали господствовавшей философской систем в своим в могущественным в олицетвореніемъ безжизненной природы. Туть еще была своего рода истина, понятная сердцамъ, поэтически или мечтательно настроеннымъ. Юморъ Гофмана и его картины будничной, поиловатой нъмецкой жизни тоже нравились людямъ, не имъвшимъ понятія о ея тупой правильности и чисто внашней серьёзности. Неудивительно поэтому, что еще въ 1839 году, Бълинскій выражаль между разговорами свое недоумъніе: отчего западная критика не ставитъ Гофмана наравнъ со всъми великими поэтами Европы, между тъмъ какъ онъ обладаетъ тою же сущностью, тъмъ же разнообразіемъ и тою же глубиной проникновенія въ жизнь? 2)

Впрочемъ, строгое пониманіе, какъ задачи искусства, такъ и вообще человъческаго призванія, было въ природъ Станкевича и лучшихъ людей его круга. Качество это только развилось отъ чтенія и общихъ размышленій, имъ порожденныхъ. Такъ или иначе, оно проявилось бы неизбъжно и при другихъ условіяхъ, чъмъ тъ, которыя мы здъсь излагаемъ. Для Станкевича и избранныхъ друзей его не было въ нравственномъ міръ пустыхъ или маловажныхъ

^{1) &}quot;Огненное объяснение Донъ-Жуана, предложенное Гофманомъ, способно взволновать, а не удовлетворить человъка". (Vorstudien für Leben und Kunst 1835, см. стр. 11 и 24).

²⁾ Многія подробности для біографическаго нашего очерка взяты нами изъ перениски Станкевича съ Я. М. Невѣровымъ, по далеко не всѣ. Станкевичъ въ первую эпоху своей жизни (съ 1831 по 1835) многаго пе высказываеть своему другу, какъбы боясь его здраваго, порядочнаго, какъ самъ выражается, взгляда на предметы. Опъ иногда уменьшаетъ передъ нимъ сплу впечатлѣній своихъ, а иногда открываетъ ихъ съ одной, самой обыкновенной стороны. Примѣровъ множество. Прямой и положительный, Я. М. Невѣровъ не довѣрялъ философіи и не жаловалъ вообще предчувствій, стремленій, порывовъ. Только съ 1835 слогъ переписки становится у Станкевича рѣшительнѣе; ученикъ и наставникъ мѣняются ролями.

вещей. Къ каждому явленію этого міра они подступали весьма серьёзно. Шутка ихъ надъ безсильными или безобразными порожденіями человъческой дъятельности не имъла ничего легкомысленнаго и точно такъ же отражала тогдашнія убъжденія ихъ, какъ и строгое, одушевленное слово. Каждый предметь литературы казался имь стоящимъ того, чтобъ изследовать его генеалогію, причину и обстоятельства его происхожденія; часто умъ, серьёзно настроенный, заходиль слишкомъ далеко въ этихъ поискахъ и не видалъ ближайшей, ограниченной и ничтожной причины, породившей явленіе. Они гръшили доблестными недостатками, свойственными всякой благородной молодости. Никогда не могло прійдти въ голову Станкевичу и его друзьямъ, напримъръ, что новая русская трагедія не есть илодъ стремленія выразить свой взглядъ на ту или другую сторону жизни, а толькой первый опыть человъка, набивающаго себъ руку вообще на трагедіи. Все было для нихъ событіемъ, порождавшимъ пренія, надежды, заключенія, а иногда длинную, серьёзную переписку. Полемика, которая возгорёлась въ Москве, но случаю дебютовъ прибывшаго сюда петербургскаго артиста Каратыгина, и которая породила весьма зам'вчательный обминь мыслей между партіями 1), отразилась также и въ корреспонденціи Станкевича; но отъ изслъдованія качествъ актера и сравненія ихъ съ родомъ таланта его московскаго соперника, Мочалова, кружокъ Станкевича восходиль до определенія характера публики въ объихъ столицахъ, различія художественныхъ и общественныхъ требованій и проч. Такъ велико было нобужденіе отыскать непремънно мысль каждаго случая — побуждение, составляющее отличительную, симпатическую сторону персписки самого Станкевича.

Нътъ сомнънія, что прилежный, кропотливый библіографъ могъ бы доставить себъ удовольствіе, разобравъ, какому эстетическому и философскому ученію и какому именно лицу припадлежать теорія

¹⁾ Листки "Молви" 1833 года, гдѣ происходила борьба приверженцевъ артиста и его супруги, тоже дебютировавней въ Москвѣ,—съ едииственнымъ ихъ критикомънсевдонимомъ П. Щ., пріобрѣли необыкновенную извѣстность. Многіе помнятъ живое впечатлѣніе, произведенное ими на публику. Полемика длилась весьма долго, съ 44 по 61 №, хота уже съ 56 № П. Щ. добровольно отступаетъ отъ нея, не побѣжденный, но какъ-будто усталый. Этотъ П. Щ., кромѣ остроумія и діалектической способности, выказалъ еще глубокое попиманіе сценическаго пскусства и сообщиль публикѣ иѣсколько мыслей о немъ, которыя были бы замѣтны и въ устахъ первыхъ европейскихъ знатоковъ дѣла. Станкевичъ почти раздѣлялъ его взглядъ на нашего знаменитаго артиста, но изъ уваженія къ другу Я. М. Невѣрову, состоявшему въ числѣ безусловныхъ поклоппиковъ В. А. Каратытина, опредѣлявшихъ даже достопиство его пгры мѣрой приличія и свѣтскости, въ ней находимыхъ, долго тантъ свою настоящую мысль и только подъ конецъ обнаруживаеть ее вполиѣ. Черта тонкой деликатности, а вмѣстѣ и свидѣтельство спльнаго вліянія Я. М. Невѣрова на умъ его.

и положенія, которыя стала высказывать критика Белинскаго съ 1835 года (въ «Телескопв» этого года); но онъ погръщиль бы значительно, еслибы, на основаніи своихъ изысканій, вздумаль уменьшить заслугу самого автора статей. Въ кругв Станкевича идеи германскихъ мыслителей были въ постоянномъ обращении: друзья его сходились для обсужденія ихъ и взаимнаго обивна соображеній, порожденныхъ неутомимымъ чтеніемъ; изъ этого первоначальнаго родника своей литературно-критической д'вятельности, В'влинскій выносилъ строго-обдуманныя статьи. Бълинскій можетъ назваться по преимуществу обобщителемъ идей. Любопытнъйшую часть переписки Станкевича въ 1833-35 годахъ, безъ сомивнія, составляютъ первыя напряженныя усилія обратить ніжоторыя эстетическія соображенія, возникавшія какъ у него самого, такъ и вокругъ него, въ безусловныя и доказанныя истины. Тутъ вы видите, такъ-сказать, внутренность той мастерской, въ которой выработываль Ввлинскій свои воззрінія на искусство и жизнь вообще, а изъ воззрвній-приговоры и сужденія о двятеляхь обвихь сферь. Читатель найдеть въ письмахъ Станкевича неопределенные намеки на всв вопросы, занимавшіе потомъ Белинскаго и более или менве приближенные имъ къ разръшенію. Такова была участь попытокъ Станкевича опредълить значение художественности въ произведенияхъ, показать различіе между чистою мыслію и мыслію, доступною предметамъ искусства, и переходя къ частностямъ, попытки опредълить значение романовъ Полеваго, Загоскина и проч., поэтической двятельности гг. Бенедиктова, Тимооеева, Шевырева и проч., и проч. Все это было досказано Бълинскимъ. На долю Бълинскаго выпалъ талантъ быстро усматривать всв результаты данной мысли, талантъ чутко примънять ее къ современности, отвъчая новымъ потребностямъ общественнаго развитія, или даже вызывая ихъ на свътъ, и, наконецъ, талантъ неутомимо проводить между повседневными явленіями словесности иногда на лету, но крізпко схваченное эстетическо-философское положение. На эту работу употребиль онъ и всю свою жизнь; плодомъ этой работы, понимаемой весьма строго, было то, что со времени Бълинскаго роль писателя сдълалась чрезвычайно трудна, а покольніе писателей-сибаритовъ, добивавшихся репутаціи, потішая игрой своего таланта себя и пріятелей, миновалось безвозвратно. Вообще никто у насъ до Бълинскаго не давалъ столько мъста въ своей жизни искусству и эстетическимъ соображеніямъ; оттого и самыя ошибки его въ оцънкъ произведеній, и излишняя взыскательность при некоторыхъ случаяхъ еще имеють въ себе гораздо большую долю правды и поученія, чемь иные приговоры, виолив непограшительные, потому что они вполна поверхностны.

Ошибки нѣкоторыхъ людей бываютъ почти такъ же плодотворны, какъ ихъ положительныя заслуги, и наоборотъ, непогрѣшительность другихъ и истины, ими высказываемыя, часто поражаются безплодіемъ. Счастливъ человѣкъ, который можетъ ошибаться, сохраняя достоинство мыслящаго, глубоко нравственнаго п полезнаго человѣка въ своихъ ошибкахъ!

Станкевичъ до конца своего поприща постоянно наслаждался Пушкинымъ. Онъ присоединилъ его къ тому кругу завѣтныхъ писателей, къ которымъ относился во всѣхъ важныхъ случаяхъ своей жизни. Правда, было время, когда потокъ общаго мнѣнія увлекъ и его съ Бѣлинскимъ: они думали, что съ 1831 года талантъ любимаго поэта погасъ и возстанетъ съ трудомъ изъ новой обстановки, окружившей его существованіе, но это было не продолжительно у обоихъ. Они скоро довѣрились поэту. Позднѣе Станкевичъ писалъ эти замѣчательныя строки, исполненныя мысли и столь проникнутыя умомъ, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи ихъ привести: «. . . Переведу Вердеру «зимнюю дорогу» прозою, какъ могу, и прочту стихи по-русски. Тутъ такая цѣлость чувства грустнаго, истиннаго, русскаго, удалаго! У Гёте есть нѣсколько такпхъ стихотвореній, какъ напримѣръ: «Da droben auf jenem Berge». У Мура, сколько я знаю, особенно много; только у Пушкина меньше фантастическаго, больше Fleisch und Blut (то-есть плоти и крови): тутъ неразвитое, простое чувство. Но у Гёте, кромѣ того, есть много такихъ вещей, гдѣ видно его міровое развитіе, котораго, разумѣется, Пушкинъ не имѣлъ и котораго мы ему не приписываемъ; но въ этихъ простыхъ, коротенькихъ исповѣдяхъ цѣльной, живой и умной натуры — истинная поэзія! Мало ли у него такихъ вещей!..» (отъ 27-го августа 1838). Эти лаконическіе афоризмы Станкевича могли бы быть развиты въ большую и дѣльную статью.

Вскорѣ къ имени Пушкина присоединилось другое дорогое имя, раздѣлявшее съ первымъ горячую привязанность Станкевича и друзей его, имя Гоголя. Почтенный біографъ Н. В. Гоголя, оказавшій такую важную услугу публикѣ сообщеніемъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, касающихся жизни этого писателя, Н. М*. (псевдонимъ, какъ извѣстно), къ сожалѣнію, пропустилъ безъ вниманія нравственную поддержку, данную Москвою автору «Мертвыхъ душъ», поддержку, на которую онъ оперся при самомъ началѣ своего авторскаго поприща. Несмотря на одобренія Пушкина, Жуковскаго и ихъ друзей, нетербургская публика относилась къ Гоголю, съ тѣхъ поръ, какъ онъ перешель изъ малороссійской повѣсти къ русскому современному быту, если не враждебно, то по крайней мѣрѣ весьма осторожно. Пріемъ «Ревизора» доказалъ ея нерасположеніе и ея подо-

зрительность. Неизвъстно, что сталось бы съ авторомъ, впечатлительнымъ до крайности, еслибы Москва раздвлила сомнънія и холодность петербургской публики, но здёсь онъ встрётиль участіе, поднявшее, какъ намъ хорошо извъстно, нравственную бодрость его и сообщившее ему увъренность въ своихъ силахъ. Послъдняя все болье и болье росла съ тъхъ поръ.... Нътъ сомнънія, что Бълинскій первый положиль твердый камень въ основаніи всей послівдующей его извъстности, начавъ первый объяснять смыслъ и значеніе его произведеній. Можно думать, что Вёлинскій уясниль самому Гоголю его призвание и открылъ ему глаза на самого себя: для этого есть нъсколько доказательствъ несомнъннаго, историческаго характера. Но какъ бы то ни было, Станкевичъ и весь кругъ его поняли съ перваго раза смъхъ, производимый созданіями Гоголя, весьма серьёзно, почти такъ, какъ понималъ его впоследствіи самъ авторъ. Что касается до поэзіи, то людямъ, искушеннымъ въ этомъ дълъ, легко было угадать ея оттънокъ на лицахъ и описаніяхъ Гоголевской фантазіи. Станкевичь, смішливый отъ природы, уже не могъ никогда вспоминать нъкоторыхъ подробностей въ его картинахъ безъ того, чтобъ не потерять совершенно хладнокровія. Такое дъйствіе производило на него, напримъръ, воспоминаніе о жидь (въ Тарась Бульбь), который, снявь верхнюю одежду, сталь вдругъ похожъ на цыпленка. Да и въ первое знакомство съ Гоголемъ одно предчувствіе юмористическаго элемента, которымъ такъ обильны его творенія, повергало Станкевича въ припадокъ неудержимаго смъха. При первомъ чтеніи повъсти Гоголя: «Коляска», на которое собрались нъкоторые друзья Станкевича, едва произнесены были слова, открывающія пов'ясть и еще не заключающія въ себ'я ничего особеннаго, раздался общій дружный хохоть, съ трудомь побъжденный. Такъ встръчали молодые люди будущаго знаменитаго писателя нашего, угадывая въ его веселости и въ смехе, имъ порождаемомъ, первые симптомы литературной возмужалости, вмъстъ съ признаками пробуждающагося народнаго сознанія.

Именемъ Гоголя мы и могли бы заключить описаніе студенческой эпохи Станкевича. Оно составляеть естественный переходъ къ слѣдующему періоду, гдѣ какъ значеніе, такъ и пониманіе этого писателя особенно выказались, но мы рѣшаемся еще остановиться на нѣсколько мгновеній. Въ перепискѣ Станкевича, тамъ и сямъ, мелькаютъ намеки на его сердечныя привязанности, которыя иногда служатъ причиною особеннаго и довольно-продолжительнаго душевнаго состоянія. Можно было бы оставить безъ вниманія эту обыкновенную повѣсть волненій молодого сердца, еслибы въ ней не отражался, какъ въ зеркалѣ, весь характеръ Станкевича, сложившійся

изъ твхъ многоразличныхъ элементовъ, описаніемъ которыхъ мы занимались доселв.

Стараніе выработать изъ себя нравственное лицо, *человъка*, въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова, получаетъ особенную цѣну, когда оно кладется въ основаніе самой жизни, не слабѣетъ при напорѣ живыхъ, естественныхъ *впечатльній* молодости, и когда даетъ тонъ и краску тѣмъ чувствамъ, которыя въ извѣстныя эпохи нераздѣльно господствуютъ надъ всѣми нашими способностями.

Мы соберемъ въ хронологическомъ порядкъ подробности, какія сообщаеть намъ переписка Станкевича о возникшихъ тогда привязанностяхъ его. Конечно, въ первой упоминаемой тамъ встръчъ съ молодою женщиной, имъвшею совершенно простой взглядъ на предметы и опиравшеюся только на весьма поверхностное пансіонское воспитаніе, не могло заключаться важныхъ поводовъ къ размышленію и повъркъ своихъ чувствъ. Станкевичъ, какъ видимъ, принималъ живое участіе въ особенностяхъ ся положенія; его благоразуміе и сдержанность были туть въ порядкъ вещей. Однакожъ, Станкевичь тотчасъ же подвергаеть строгому критическому осмотру и ту долю вниманія, на которое им'веть право всякое женское лицо, да въ-добавокъ еще отыскиваетъ въ себъ признаки кокетства. Онъ спъшить очистить свою совъсть откровеннымъ признаніемъ передъ другомъ. Въ 1833 году, въ то время, когда Станкевичъ былъ на вакаціи въ деревнъ (августъ мъсяцъ), въ одно изъ общихъ путешествій куда-то въ гости, завязывается снова прежнее знакомство, и съ этихъ поръ начинается тотъ деревенскій романъ, который такъ удивительно описанъ Пушкинымъ въ стихотвореніи «Зима»:

«Что делать намъ въ деревие?»

Несмотря, однако же, на совершенную невинность отношеній между молодыми людьми, поводъ къ нимъ и самое выраженіе ихъ кажутся Станкевичу не безукоризненными, да отъ разбора этого онъ переходитъ къ разбору предмета, ихъ вызвавшаго, и открываетъ, что предметъ не заслуживаль расположенія и въ сущности никогда имъ не пользовался. Но тогда игра въ лицемѣрное чувство, которой онъ поддался, порождаетъ цѣпь горькихъ упрековъ душѣ его и угрызенія совѣсти. Станкевичъ запутывается въ ощущеніяхъ свочихъ и проситъ помощи друга. «Когда бы ты, добрый геній, былъ со мною!» восклицаетъ онъ. Зная основанія его, мы вполнѣ вѣримъ его жалобамъ, какъ вѣримъ безпокойству человѣка, потерявшаго прямую дорогу, и убѣждены въ искренности его восклицанія: «Кто бы сказалъ, что эта ничтожная связь можетъ разрушить блаженство человѣка!»

Между тъмъ деревенскій романъ кончился отъёздомъ Станкевича въ Москву, но онъ, спустя нъсколько времени, возобновился здъсь 17-го сентября 1833. Станкевичъ пишетъ къ другу письмо, въ которомъ находимъ следующія слова: «Другъ, другь! какая сцена! Цълый день быль я у Бр. . . ., въ театръ думалъ ъхать съ прівзжими, знакомыми, ходиль, усталь, изидеальничался, но вду къ нимъ. Прівзжаю, она одна сидить и гадаеть на картахъ.... Подробностей объясненія, при такомъ запутанномъ душевномъ состояній, въ какомъ находился онъ, мы не знаемъ, а знаемъ только результать объясненія. Станкевичь удалился съ твердостію отъ искушеній собственнаго сердца еще болье, чымь отъ постороннихъ искушеній. Казалось бы, нравственное требованіе, вполнъ удовлетворенное его поступкомъ, должно было наградить его душевнымъ миромъ; но это сдълалось только наполовину. Въ сердцъ его рождается новый упрекъ самому себъ, упрекъ въ невозвратной потеръ мгновенія любви и сочувствія. Сожальніє о потерянномъ благь еще не скоро уступаетъ мысли, начинающей мало-по-малу пріобрътать всю свою твердость. Для того, чтобъ оправдать себя въ собственныхъ глазахъ (онъ считалъ себя виновнымъ!), Станкевичъ то прибъгаетъ къ извъстной любимой имъ пьесъ изъ Шиллера: «Resignation», стараясь почерпнуть въ ней убъждение, что изъ двухъ цвътковъ, надежды и наслажденія, ему достался въ удъль только первый, то спасается за объявленіемъ, что въ минуту свиданія онъ быль болень и разстроень, то съ гордостію упоминаеть о блаженствъ потерять существо, съ которымъ разлучила тебя твоя мысль. Скорый отъвздъ молодой особы сввялъ съ души Станкевича последніе остатки этой мгновенной бури, а новая возникающая привязанность вскор'в стала наполнять тв скоро исправимыя разрушенія, которыя прежняя оставила по себъ.

Нѣтъ ничего легче, какъ посмѣяться надъ подобными противорѣчіями съ самимъ собою, пазвать ихъ романтизмомъ, идеальничаньемъ, рефлексіей и пожать плечами, сожалѣя о времени, которое утрачено человѣкомъ на подобные вздоры. Дѣйствительно, можно гораздо проще понимать отношенія между людьми. Два существа сошлись лицомъ къ лицу въ жизни — чего же болѣе? вотъ уже и пара. Такое очевидное, и какъ говорятъ обыкновенно, здоровое представленіе жизни, къ сожалѣнію, сдѣлалось чуть ли не общимъ, благодаря исключительнымъ теоріямъ простоты и естественности. Есть запутанность болѣе почетная и нравственная, чѣмъ иная здоровая простота, поклонниковъ которой мы пынѣ встрѣчаемъ такъ много, даже въ молодыхъ людяхъ. Естественность ихъ требованій, ясность ихъ поводовъ, прямое направленіе ихъ воли и душевное

спокойствіе ихъ—все это только признаки ихъ испорченности. Человѣкъ, сходящій съ ума отъ призрака, конечно, достоинъ сожалѣнія; но человѣкъ, никогда не знавшій ничего, кромѣ ближайшихъ, положительныхъ цѣлей, врядъ ли не болѣе заслуживаетъ его. Страданія Станкевича, его тяжелые переходы отъ одной идеи къ другой и наклонность исчерпывать все, что въ нихъ заключается—кажутся намъ явленіями избранной натуры. Въ такихъ страданіяхъ выработывается глубокое нравственное чувство, и изъ такихъ страданій выходитъ наконецъ мужъ долга и чести,

Побѣдивъ наконецъ игру физическихъ силъ и покоривъ ихъ своей волѣ, Станкевичъ обрѣтаетъ новую пріязнь, которая тоже сама идетъ навстрѣчу ему — но какая разница въ направленіяхъ! Уже наученный опытомъ, онъ принимаетъ благоразумныя мѣры противъ опасной короткости сношеній и собирается крѣпко стоять насторожѣ противъ того, что самъ называетъ братскою любовью 1). Всѣ эти предосторожности оказались вскорѣ ненужными, мысль его скоро получила свободу, но дальнѣйшій опытъ показалъ ему возможность драмы и для подобныхъ отношеній. Мы видимъ изъ переписки Станкевича, что сближеніе и отдаленіе равно поставлялись ему въ вину, равно возбуждали подозрительность и даже горькія обвиненія... И тутъ-то отрадно дѣйствуетъ на читателя примѣръ человѣка, ни на минуту не забывавшаго во всѣхъ этихъ, конечно, тяжелыхъ волненіяхъ того уваженія, которымъ обязанъ онъ благородному женскому лицу, а еще болѣе того уваженія даже къ не-

Двъ жизни.

Я. М. Н--у

Was ist das Leben ohne Liebesglanz?
Schilber.

Печально идутт дни моп, Душа свой подвить совершила: Она любила—и въ любви Небесный пламень истощила.

Я два созданья въ мірѣ зналъ, Мнѣ въ двухъ созданьяхъ міръ явился; Одно я пламенно лобзалъ, Другому пламенно молился.

Двё дёвы чтить душа моя, По нимь тоскуеть грудь младая, Одна роскошна какь земля, Какь небеса свята другая.

¹⁾ Нѣсколько позднѣе Станкевичь изложиль въ стихахъ впечатлѣніе, оставленное обѣими его наклонностями. Онъ послаль стихи въ "Молву", прося напечатать ихъ подъ именемъ: Гирченко. Вотъ они:

раздъляемому чувству, которое составляетъ именно честь мужчины. Снисхождение къ нравственнымъ страданиямъ женскаго сердца было заколдованною чертой для Станкевича, которую онъ не могъ переступить. И такимъ образомъ, история первыхъ его наклонностей становится историей его моральнаго развития, и молодыя страсти, явившияся съ годами, дълаются орудиями его усовершенствования и приготовляютъ изъ него, наравнъ съ другими дъятелями, полный благородный и поэтический характеръ, какой мы и постараемся передать читателю въ дальнъйшемъ описании нашемъ.

III.

НРАВСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТЪ ВЪ СТАНКЕВИЧ**Ъ** И ВЫХОДЪ ИЗЪ НЕГО.

Въ 1834 году, Станкевичъ покидаетъ университетъ, окончивъ курсъ и получивъ степень кандидата. Онъ тотчасъ же отправляется въ Петербургъ, какъ видно это по значительному перерыву въ его корреспонденціи съ другомъ (съ 11 марта по 27 апръля). Онъ и прежде собирался къ нему потолковать о многомъ, что не укладывается на бумагу и лучше передается однимъ полусловомъ, чъмъ цълыми страницами письма. Давнишнее желаніе его было теперь исполнено, и полтора мъсяца, проведенные съ Я. М. Невъровымъ въ Петербургъ, принадлежатъ, по своимъ послъдствіямъ, къ весьма важнымъ эпохамъ жизни Станкевича.

Въ Петербургъ, въроятно, ръчь шла объ отысканіи какого-нибудь существеннаго занятія, о значеніи службы, какъ дъятельности, правильно и точно опредъленной, о приготовленіи себя къ экзамену на магистра и о наблюденіи за своею наклонностію къ фантазіямъ, къ воображаемымъ задачамъ, которыя всъ уже ръшены историческимъ и другими путями. Все это сильно подъйствовало на

> И мнѣ-ль любить, какъ я любилъ? Я-ль пламень счастія разрушу? Мой другъ! двѣ жизни я отжилъ И затворилъ для міра душу.

1834 r.

Въ этой поэтической призмѣ, настоящія, жизненныя черты событій до того сгладились, что послѣдній стихъ уже совершенно противорѣчитъ истинѣ, какъ скоро увидимъ.

умъ Станкевича, да иначе и не могло быть: время мечтаній и предчувствій должно было прекратиться съ окончаніемъ университетскаго курса. Онъ понималь, что стоить на окраинѣ жизни, и глазъ его охватываль необозримое поле существованія, которое разстилалось передъ нимъ. Надо было отыскать мѣсто въ этомъ пространствѣ, а слова его опытнаго друга указывали ему на одно существенное условіе, которымъ пріобрѣтается тамъ осѣдлость и права гражданства. Слѣдовало ограничить свои пытливые запросы, избрать родъ дѣятельности, принисаться, такъ-сказать, къ почвѣ, усмирить бродячую фантазію и навсегда отсѣчь у мысли своей поползновеніе къ философскимъ странствованіямъ по свѣту. Свобода представленія предметовъ еще могла быть донущена на студенческой скамьѣ, но въ человѣкѣ она должна уступить мѣсто благоразумной подчиненности общему пониманію ихъ. Проникнутый этими мыслями, Станкевичъ возвращается къ себѣ въ деревню, въ Удеревку, и приступаетъ къ труду образованія изъ себя скромнаго работника по какой-либо наукѣ. Выборъ его падаетъ на исторію, хотя дотолѣ никогда не приходило ему въ голову посвятить себя исключительно этому предмету. Правда и то, что насильственное избраніе рода дѣятельности, по приговору случайной нужды, сопровождается у Станкевича уже постоянно признаками душевнаго безпокойства и разлада съ собою, которыхъ онъ ни устрапить, ни одолѣть не можетъ.

возвращается къ себв въ деревню, въ Удеревку, и приступаетъ къ труду образованія изъ себя скромнаго работника по какой-либо наукф. Выборъ его падаетъ на исторію, котя дотолѣ никогда не приходило ему въ голову посвятить себя исключительно этому предмету. Правда и то, что насильственное избраніе рода дѣятельности, по приговору случайной нужды, сопровождается у Станкевича уже постоянно признаками душевнаго безпокойства и разлада съ собою, которыхъ онъ ни устранить, ни одолѣть не можетъ.

По прибытіи въ деревню, онъ устроиваетъ свои занятія, открывая ихъ общирнымъ, многостороннимъ чтеніемъ. Онъ начинаетъ съ Геродота, переходитъ отъ него къ Фукидиду, перечитываетъ Иліаду, Одиссею и старается дать систему своимъ упражненіямъ. Плодомъ этого неутомимаго чтенія остаются нѣкоторыя замѣтки о писателяхъ, а въ томъ числѣ превосходная характеристика Фукидида и его исторіи, которая, по нашему мнѣнію, въ 20-лѣтнемъ читателѣ обличаетъ весьма развитой историческій смыслъ. Указываемъ на письмо Станкевича отъ 20 ноября 1835 г., гдѣ содержится взглядъ его на несправедливыхъ Аониянъ, которымъ, однакожъ, цѣлые города, какъ Платея, приносили себя въ жертву, на доблестныхъ Спартанцевъ, качества которыхъ менѣе трогательны, чѣмъ пороки Аониянъ, на длинныя рѣчи, влагаемыя Фукидидомъ въ уста своихъ героевъ, и на ихъ историческую достовѣрность—все это носитъ печать не совсѣмъ обыкновенной даровитости. Такъ около полугода проводитъ свое время Стапкевичъ въ двухъ небольшихъ комнаткахъ, не оштукатуренныхъ, со шкафчиками, набитыми книгами подъ ними; постель въ другой, украшенной еще портретомъ отца Станкевича, ружьемъ и ломбернымъ столомъ, составляли всю мебель; но видъ изъ обѣихъ

открывался прямо на луга, поля и на главное строеніе. Изъ убъжища своего Станкевичъ выходилъ только въ часы, посвященные общимъ семейнымъ собраніямъ, и на охоту.

Во все продолжение этой тихой, сельской жизни, Станкевичь, видимо, старается съузить для себя, если сметь такъ выразиться, горизонть дівятельности и остановить естественный ходъ своего развитія, чтобъ какъ-нибудь попасть въ практическую сферу существованія, которая такъ поразила его въ Петербургв. «Я много обязанъ тебъ и Петербургу, говоритъ онъ: я началъ дорожит временемъ; теперь миж совъстно прошляться целый день на охотъ Мысль объ экзаменъ на степень магистра стоитъ на первомъ планъ, а между тъмъ его выбираютъ почетнымъ смотрителемъ Острогожскаго увзднаго училища и, какъ кажется, по собственнойч его просьбъ. «Если министръ меня утвердитъ, прибавляетъ онъ, то у меня будеть прекрасный мундирь, а виць-мундирь такой, какъ у тебя. Но дело туть было не въ мундире, а върешимости отыскать себе занятіе, полезное въ общемъ, простомъ и обыкновенномъ смыслъ; къ тому еще побуждалъ его, кромъ всъхъ другихъ поводовъ, и примъръ, который находился въ собственномъ его семействъ: отецъ Станкевича быль одинь изъ числа самыхъ свътлыхъ практическихъ умовъ своего времени. Съ обязанностями почетнаго смотрителя соединялась въ мысли нашего Станкевича вся та ограниченная, но плодотворная сфера д'вятельности, которая остается челов'вку посл'в того, какъ слишкомъ смёлый полеть мысли оказался пустою несостоятельною претензіей. Онъ собирается вывести изъ употребленія наказаніе палями въ школахъ, водворить ланкастерскую методу обученія въ приходскихъ училищахъ, написать первоначальный курсъ исторіи для низшаго преподаванія и проч. Онъ пробоваль даже давать уроки, въ видъ собственнаго испытанія, братьямъ одного изъ друзей своихъ и т. д. Слъдуя все далъе по тому же пути безпрерывнаго обузданія своихъ фантазій и стремленій, что уже само по себъ доказывало ненормальное состояние его души, онъ восклицаетъ, и весьма искренно въ эту эпоху: «Честолюбіе мое насытилось бы вполнъ, еслибъ я со временемъ могъ сдълаться инспекторомъ казенныхъ училищъ въ какомъ-нибудь округъ». Но природа вообще не скоро поддается усиліямъ и вол'в нашей, хотя бы мы возставали на нее съ большимъ запасомъ рѣшимости и терпѣнія. Пламенное воображеніе не скоро тухнеть, а иногда горить даже тэмь сильные, чымь больше стараешься тушить его. Оно напоминало о себъ Станкевичу поминутно. «Иногда ночью, пишеть Станкевичь, когда потушена свъча, когда воетъ вътеръ, чортъ знаетъ, чего не лъзетъ въ голову: жизнь кажется скучною церемоніею, будущность безотрад-

на; вспоминаешь ничтожныя слова, сны; начинаешь хоронить друзей, чувствуешь тяжесть въ груди и засыпаешь безпокойно.... разсвътетъ, и вси тоска пропала, и первое движеніе—молитва»... Упорніве самого воображенія держится жажда полноты знанія и полноты жизни, разъ возбужденная въ душт нашей: противъ этой жажды безсильны вст доводы разсудка. Ее нельзя смирить ни увтщаніями, ни преслідованіями. Станкевичъ хорошо выражаль присутствіе этого дівятеля въ себт, когда говориль: «одна мысль объ односторонности, связанная съ мыслію о нравственномъ усыпленіи, въ состояніи все отравить для меня». Но когда воображеніе и потребность обширной дівятельности совокупно возставали противъ ига, возложеннаго на нихъ, Станкевичъ встрічаль ихъ съ удвоенною энергіей сопротивленія, испытывая себя до конца. Истощивъ вст свои средства на эту борьбу, онъ прибітаеть обыкновенно къ молитвъ. «Я не молюсь о своемъ счастіи, говорить онъ въ одномъ письміть, съ не молюсь о своемъ счастіи, говоритъ онъ въ одномъ письмъ, съ меня довольно быть человъкомъ. Я говорю: Господи! буди въ сердцъ моемъ и дай мнъ совершить подвигъ на землъ; и если слезящій взоръ обратится въ нему съ другою, невольною молитвою, я говорю—но да будетъ, не яко же азъ хощу, но яко же ты хощеши». Наконецъ, съ теплою надеждой на успъхъ обращается Станкевичъ къ одному еще остающемуся истоку для безпокойной его мысли, когда всѣ другіе выходы были у нея отняты или закрыты имъ самимъ: онъ собирается посвятить себя на воспитание молодого поколѣнія. Въ этомъ планѣ видитъ онъ обрѣтеніе того цѣлительнаго средства, которое должно окончательно примирить его съ собою. «Если у меня теперь есть, говоритъ онъ, какая-нибудь idea fixa, то это о воспитаніи въ духѣ нравственности и религіи, о возможности поддержать ее и о ускореніи всѣми силами человѣчества на пути его къ царствію Божію, къ чести, къ вѣрѣ». Но и этотъ планъ, такъ рѣшительно и смѣло принятый, свидѣтельствовалъ, по самой необъятности своей задачи, что онъ есть произведеніе иной силы, чѣмъ твердой и скромной готовности служить ближнему на всякомъ поприщѣ. Онъ былъ, какъ и все прочее, болѣзненнымъ крикомъ души, обузданной въ своихъ стремленіяхъ, но нисколько не направленной къ истиннымъ своимъ потребностямъ. Такъ переживалъ Станкевичъ послѣдній искусъ, предшествующій возрасту мужества и крѣпости, и еслибы намъ ничего не осталось отъ Станкевича, кромѣ формы, въ которой выражались его страданія, то одна эта форма могла бы служить свидѣтельствомъ его теплой, истинно-человѣческой и богатой натуры.

Мы видѣли, какъ часто Стапкевичъ ищетъ прибѣжища и утѣшенія въ религіозномъ чувствѣ. Природное влеченіе, конечно, звало покольнія. Въ этомъ плань видить онъ обрьтеніе того целитель.

его туда каждый разъ, какъ омраченное сознание требовало свъта и помощи; но въ эту эпоху онъ съ удвоенною энергіей держится за обычнаго своего руководителя. Дёло въ томъ, что и довёріе къ любимой наукъ, еще не изслъдованной вполнъ, тоже потрясено было вивств съ другими началами. Впрочемъ, поверхностное знакомство съ отдъльными мыслями философскихъ системъ должно было освътить душу его тёмъ слабымъ, мерцающимъ свётомъ, который не есть полная ночь, но такъ же далекъ и отъ отраднаго сіянія дня: нержшительность, томление и грусть бывають вообще неразлучными спутниками этихъ сумерекъ мысли. Бользненное состояние мыслящей способности, необходимое для укрвиленія и дальнвишаго роста ея, выражалось у Станкевича общимъ сомниніемъ въ сили разума, сомнвніемъ въ возможности соглашенія противоположныхъ ученій. Такъ продолжалось до начала 1836 года. Въ течении полутора года, этотъ свътлый и въ высшей степени совъстливый умъ, какъ, по справедливости, выразился одинъ изъ друзей Станкевича о немъ, лишенъ былъ основаній и опирался только на Монтаньевское скептическое: «можетъ-быть». Дъйствительно, оно служило ему какъ-бы временнымъ прибъжищемъ, откуда, не переставая трудиться, искать и мыслить, ожидаль онъ появленія дня и минуты выхода на твердую почву. Въ продолжение этого срока, Станкевичъ отказался отъ всвхъ претензій на творчество, сдвлаль строгую нравственную повърку существа своего, приготовляя въ себъ мужа и будущаго дъятеля, хотя въ 1835 году ему быль только 22-й годъ. Когда же минуты грусти и сомнвній слишкомъ отягощали его сердце, онъ погружался въ самого себя, въ религіозное свое чувство и тамъ уже находилъ спокойствіе, свободу и безопасность 1).

Задумчивый оттённокъ, который лежитъ на всей перепискъ Станкевича, принадлежащей къ этому времени, еще усиливается, когда роковая болъзнь, носимая имъ въ груди, начинаетъ возвышать свой голосъ. Еще и прежде исповъдь Станкевича прерывалась жалобами на бъдность и немощи своего организма; теперь, словно

¹⁾ Существуеть повъсть Станкевича "Нѣсколько мгновеній изъ жизни графа Т*..." (см. "Телескопъ" 1834 г., часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, въ которой находятся черты, соотвътствующія психическому состоянію Станкевича около 1834 г. Въ ней сказалась дума или предчувствіе автора относительно будущей судьбы своей. Тонъ повъсти торжественный, лирическій, и авторъ ея рисуетъ молодого человъка, который преждевременно погибъ отъ полноты внутренней жизни, оставивъ послѣ себя любимую женщину и друга. Начало повъсти особенно замъчательно тъмъ, что представляетъ картину развитія юной, благородной натуры, искавшей въ наукъ дополненія пеумол-кающимъ требованіямъ чувства и въ страстномъ, религіозномъ чувствѣ послѣдняго слова науки. Черты эти, какъ мы видъли и еще увидимъ, дъйствительно составляли отличительную принадлежность глубоко-нравственной природы Станкевича.

въ уровень съ духовнымъ состояніемъ, физическая его оболочка поминутно исинтиваетъ глубовій потрясенія, которымъ не суждено било миноваться, какъ первому. Въ теченіи трехъ годовъ сто переписки, обнимающей время пребыванія на службѣ, перебъдовъ пат Москвы въ деревню и обратно, большого вояжа на Кавказъ въ 1836 и отправленія за траницу въ слъдующемъ 1837 году,—лицо Станкевича безпреставно сопровождается въ умѣ читателя призракомъ смерти, который, кажется, слъдить за нимъ неотступно. Но странное дъло! большо впосить еще одну привлекательную черту въ его физіономію, надъленную множествомъ обаятсльную черту въ его разминато и своихъ страданіяхъ. То, что безобразить, раздражаеть и лишаеть человъка его настоящаго характера, является у Станкевича въ видѣ грустной, тихой жалобы, сособствуеть къ уразумѣнію его души. Онъ шишеть о своихъ страданіяхъ, какъ одуго рисуеть картину съ художническю цѣлью, и поэтическій элементь является туть безъ въдома его, только какъ сетественная принадлежность его природы. Вотъ, напримѣръ, одно мѣсто этого рода изъ трогательнаго и превосходнаго письма отъ 11 декабря 1534: «Что досадать весто, — я не могу, какъ прежде, падъло предаться одной, постоянной мысли, которая бы совершенно меня наполнила; не могу жить, какъ думалъ, а всякая другая жизнь для меня прозябеніе. Часто я Богъ знаетъ какъ разфантаяпруюсь о своихъ подвигахъ, потребность дъятельности не даетъ мнё поком — и что же? прочту иѣколько строкъ — въ головъ тумавт и опять отчаляйе. М потребность дъять, какъ разфантавпружен о слеихъ подвигать, какъ разфантавпружен о слеихъ подвигать и отресталь занитъ в половъ прадала и прочту иѣколько строкъ — въ головъ подвигать на прочту на сост

знакомыхъ въ одно мѣсто, какъ случилось въ новый 1835-й годъ) Станкевичъ предается живой натурѣ своей съ неописаннымъ увлеченіемъ; комическій талантъ его, способность перениманія чужихъ пріемовъ, даръ забавныхъ разсказовъ и шутокъ развертываются шумно и свободно, онъ устраиваетъ гаданья, переряживанья, пѣсни, иляски, театръ, гдѣ самъ играетъ (и по обыкновенію очень хорошо). Какъ-будто желая забыться отъ физическихъ страданій и духовныхъ безпокойствъ, онъ встрѣчаетъ 1835-й годъ пѣсенкой Гюго:

La tombe est noire, Les jours sont courts, Il faut, sans croire Aux faux discours, Très souvent boire — Aimer toujours.

и сравниваетъ минутное свое увлечение съ чуднымъ мѣстомъ Моцартовскаго Донъ-Жуана: treibt der Champagner. Но энергія испаряется, какъ пѣна шампанскаго; напряженное веселіе исчезаетъ въ усталости, и болѣзнь, послѣ краткаго отдыха, снова даетъ чувствовать свою горькую отраву, свое ничѣмъ непритупимое жало. Надо читать у Станкевича описаніе этихъ переходовъ и испытать на себѣ драматическое свойство ихъ: тогда только становится понятна борьба молодыхъ силъ въ возрастающимъ недугомъ.

".... Огни погашены, Гирлянды сняты со ствны",

говоритъ Станкевичъ въ одномъ мѣстѣ, «и мнѣ стало грустнъе прежняго! какъ-будто судьба издали, на игновеніе, показала мнв радости жизни, чтобъ я зналъ, чего она меня лишаетъ». Снова текуть его жалобы, по обыкновенію исполненныя такой граціи и скромности, что невольно удивляещься человъку, способному такъ смотреть на свои страданія. Впечатленіе удвоивается, когда видишь вивств съ твиъ, что требованія правственнаго рода не повидаютъ Станкевича ни на минуту, и что онъ ужасается своей болвзни не столько за дъйствіе ея на тьло, сколько за дъйствіе ея на душу. «Убійственна для меня мысль: бользнь похищаеть у тебя душевную энергію; ты ничего не сділаешь для людей. Природа, можетъбыть, дала тебъ средства стать, если не выше толпы, то въ переднихъ рядахъ ея, а бользнь забиваетъ въ середину». Немного далье, онъ уже возвращается къ личному своему характеру, ужасаясь возможности его порчи вследствие долгаго гнета физической немощи. «Последнее письмо твое утешило меня, наставило. Да, я буду мужемъ, я притерилюсь къ боли, но жаль, если я сделаюсь холоднымъ стоикомъ: я отъ себя этого не надѣялся.» Стоикомъ онъ не сдѣлался и до кончины сохранилъ въ цѣлости всю правственную основу свою.

Въ концѣ января 1835 г., Станкевичъ отрывается отъ деревни и уѣзжаетъ въ Москву, встрѣчая съ обыкновенною радостію знакомый городъ, къ которому онъ всегда чувствовалъ непреодолимую любовь. Радость была на этотъ разъ, можетъ-статься, слѣдствіемъ предчувствія. Въ Москвѣ нашелъ онъ, во-первыхъ, опору для мысли, разрѣшеніе своихъ колебаній въ твердой рѣшимости продолжать прежде начатое дѣло философскаго образованія, а во-вторыхъ, неожиданную любовь, потребность которой была у него равносильна со всѣми другими нотребностями.

💮 Оставляемъ нъкоторыя подробности, касающіяся послъдняго обстоятельства, которыя, какъ увидимъ, не лишены своего рода поученія, до слідующей главы, а теперь займенся преинущественно исторіей возстановленія умственныхъ наклонностей Станкевича утвержденія ихъ на почвѣ, уже болѣе не измѣнявшей ему никогда. Тотчасъ по прибытіи въ Москву, Станкевичъ, по собственнымъ его словамъ, нечанню напаля на Шеллинга. Въ этой случайности есть однако-жъ, что бы онъ ни говорилъ, некоторая последовательность. Нечаянность туть должна пониматься не въ смыслѣ перваго слуха о системъ, а въ смыслъ перваго дъльнаго изучения ся: Станкевичъ попалъ только на прилежное изучение источниковъ науки, которою занимался и прежде. Онъ предался изученію тъмъ съ большимъ рвеніемъ, чімъ сильніве сдерживаль его во все время пребыванія въ деревнъ. Со всъмъ тъмъ какое-то опасение еще мъщаетъ ему открыть тайну петербургскому товарищу; но какъ дружба имветъ своего рода обязательства и законы, то Станкевичъ ръшается сообщить ему въ формъ шутки о новомъ, или лучше возобновленномъ своемъ направленіи. «Съ Ключниковымъ, говоритъ онъ, мы читаемъ одинъ разъ въ педелю Шеллинга: это пріемъ самый умпъренный. Мы хотимъ непременно вполне понять его, ясно увидеть ту точку, до которой могь дойти умъ человъческій въ свою долговременную жизнь...» и проч. Эти уклончивыя строки, въ которыхъ целью изученія философін становится не сама она, а постороннія соображенія— написаны въ мартъ 1835 г., когда изученіе Шеллинга сдълало у Станкевича значительные успъхи. Между тъмъ, въ томъ же году, Станкевичъ близко сходится съ молодымъ офицеромъ, только что вышедшимъ въ отставку и прочитывавшимъ отъ скуки французскіе трактаты о сенсуализмі, какъ началі всякаго познанія. Станкевичь засаживаеть его прямо съ Кондильяка за Гегеля, потому что и самъ уже перешель, втайнъ отъ петербургскаго друга,

къ системъ этого мыслителя, производившей тогда сильное волнение въ Германіи. Молодой офицеръ оказался человъкомъ необычайнаго логическаго ума, отличавнагося строгою, сжатою діалектикой, и съ врожденными способностями къ философскимъ занятіямъ, способностями, которыя помогали ему легко открывать живой смыслъ въ самыхъ сухихъ отвлеченностяхъ. Усиленный морально этою помощью, еще болье поддерживаемый сущностію самаго ученія Гегеля, въ которомъ онъ искалъ виъстъ со всъми товарищами примирительныхъ отвътовъ на всъ свои вопросы, Станкевичъ перемъняетъ тонъ и возвышаеть голось при заглазной беседе съ отсутствующимъ петербургскимъ другомъ. Какъ и следовало ожидать отъ его гуманной природы, прежде всего старается онъ передать убъжденія, почеринутыя въ наукъ, сдълать товарища причастникомъ общаго ея достоянія, и слова его исполнены достоинства, теплоты, а въ нівкоторыхъ мъстахъ свътлой, неотразимой истины. Мы не можемъ располагать письмами Станкевича въ нашемъ біографическомъ очеркъ и должны ограничиться немногими выдержками. Вотъ одна изъ нихъ, писанная Станкевичемъ въ концъ этого замъчательнаго года (20 декабря 1835): «Я знаю твои старыя замашки. Ты всегда быль противъ философіи, и ты правъ въ отношеніи къ себъ. Душа у тебя переполнилась убъждениемъ. Я самъ имъю убъждения, но сообщить ихъ людямъ въ нашъ въкъ иначе нельзя, какъ доведши ихъ до нъкоторой степени знанія. Кромъ этого, признаюсь тебъ, другъ мой, ходъ человъческаго ума, его стройное развитіе и приращеніе, въчная истина, облекающаяся въ разныя одежды, соотвътственно въку и народу, и все болъе и болъе являющая свою сущность -- какое явленіе можеть быть занимательнье?... Ты говоришь, что я всегда ошибался въ призваніи. Иногда. Это участь всёхъ. Но философію я не считаю моимъ призваніемъ; она, можетъ-быть, ступень, черезъ которую я перейду къ другимъ занятіямъ; но прежде всего я долженъ удовлетворить этой потребности. И не столько манитъ меня ръшение вопросовъ, которые болъе или менъе ръшаетъ въра, сколько самый методъ, какъ выражение послъднихъ усивховъ ума. Я еще болье хочу убъдиться въ достоинствъ человъка и, признаюсь, хотвль бы убвдить потомъ другихъ и пробудить въ нихъ высшіе интересы». Есть еще нъкотораго рода осторожность въ этихъ словахъ, но въ нихъ уже замътно, что мысль Станкевича начинаетъ освобождаться отъ предубъжденій относительно любимаго своего предмета. Годъ времени прошелъ не даромъ для Станкевича. Между прочимъ, Бълинскій, съ обыкновенною своею живостію и послъдовательностію доведшій схваченныя имъ идеи новой системы, какъ извъстно, до крайняго ихъ смысла, передъ которымъ самъ остановился, занялся въ это же время редакцією журнала «Телескопъ», перешедшаго къ нему съ № 7 (1835), по случаю отъёзда редактора Н. И. Надеждина за границу. Рядомъ статей, слъдовавшихъ одна за другою 1), онъ тотчасъ же превратилъ «Телескопъ» изъ эклектическаго, поверхностнаго и какъ-то беззаботно-умнаго журнала въ критическій журналь, съ эстетическимъ характеромъ, съ ясною и строгою цълью—опредълить отношенія литературныхъ дъяность Белинскаго въ хозяйственной части помешала ему вести журналъ одинаково ровно; но время его завъдыванія (по декабрь 1835) 2) все-таки отличило «Телескопъ» отъ предшествовавшей и послѣдующей редакцій. Въ журналѣ его (№ 13, 14 и 15, 1835 г.) Станкевичь помъстиль большую переводную статью»: Опыть о философіи Гегеля», соч. Вильма, да Станкевичу же, какъ намъ кажется, принадлежитъ и переводъ статьи Минье: «Лютеръ на Вормскомъ сеймѣ», напечатанной въ № 8 журнала того же года. Между тѣмъ переписка его съ Я. М. Невъровымъ продолжается безостановочно. Въ половинъ слъдующаго 1836 года онъ уже выступаетъ передъ нимъ съ откровенною защитой ума, какъ первенствующей душевной способности. Это уже былъ полный выходъ къ наукъ, и Станкевичъ становится къ ней съ этого времени въ симпатическія отношенія, исполненныя дов'вренности и надежды... Не мало способствоваль установленію этого гармоническаго союза и предметь его изученій, германская философія, объяснявшая участіе разума во всей въковой жизни человъческато рода. Опираясь на нее и на собственныя убъжденія, укрупленныя ею, Станкевичъ уже пишеть слудующія строки оть 21 сентября 1836 года: «Человъкъ, который имъетъ душу, любить искусство и сознаеть что-то похожее на разумъ и гармонію въ кучъ разныхъ разностей, которую онъ называетъ природой, человекъ, который веритъ иногда уму, напримеръ, хоть въ томъ, что $5 \times 5 = 25$, не долженъ бояться свободнаго хода мысли ни въ какомъ отношении. Ты никакъ не можешь сказать: умомъ не разръшить сомнъній... Ты, который признаешь разумъ и любовь міра, ты отрицаеть совершенство, ты находить явную нельпость въ организаціи ума, который есть в'внецъ созданія.... Каждое созданіе есть совершенство; одинъ умъ имветъ потребности, которыхъ онъ удовлетворить не можеть, одинь онъ уродь въ Вожьемъ созданіи, из-

¹⁾ Воть перечень пхъ: статья "О Русской повъсти и повъстяхъ г. Гоголя"; подробные разборы: "Стихотвореній г. Баратынскаго", "Стихотвореній Владиміра Бенедиктова" и "Стихотвореній Кольцова".

²⁾ Бёлинскій успёль до января 1836 года издать всего шесть книжекъ, именно съ № 7-го по 14-й. Остальныя доданы были въ теченіи 1836 г. самимъ Надеждинымъ.

гнанникъ изъ общей гармоніи, и это оторванное звено вселенной называется частицею Божества. Такое убъждение — нельпость. Да и чъмъ передается тебъ убъждение? не умомъ ли? Развъ убъждение не есть мысль, мысль, одобряемая цёлымъ разумениемъ, которое невольно и безотчетно сознаеть свое единство съ нею?...> Какъ бы желая отвъчать на самыя затаенныя сомньнія друга, Станкевичь пишетъ еще цвлую оригинальную статью: «О возможности философіи, какъ науки», которая не нашлась въ его бумагахъ и участь которой, къ сожалвнію, намъ неизвъстна. Понятно послів того, что онъ не могъ удовольствоваться уступкою, которую Я. М. Невфровъ волею и неволею долженъ былъ сдълать для философіи, признавая въ занятіи ею своего рода пользу, какъ и во всякомъ другомъ занятіи. Станкевичь возражаль полу-шутливо и полу-серьёзно, но твердо, говоря, что подобнаго рода уважение къ философіи хуже вражды къ ней и не заслуживаетъ никакой благодарности съ ея стороны. Вмъсть съ тъмъ, Станкевичъ объясняетъ, что путь его избранъ навсегда, и во избъжание будущихъ недоразумъний, тутъ же предлагаетъ новое правило для взаимныхъ отношеній: не смотръть на разность мижній другъ у друга и помнить, что связь ихъ основана не на мивніяхъ, а на сочувствій, какое всегда бываетъ у людей, одинаково полюбившихъ добро (письмо 1836 г. октября). Конечно, другъ его быль встревожень этимъ изложениемъ основаній, этимъ profession de foi, разграничивающимъ область дружбы и правъ ея отъ области мышленія, гдв всв ея права безсильны. Новымъ письмомъ отъ 25-го января 1837 года Станкевичъ усновоиваетъ его, но удерживаетъ дъление свое и смотритъ на него, какъ на дъло, совершенно поръшенное и неизбъжное. Ему представляется одна только связь - основанная на единствъ стремленій къ добру, поэзіи, любви. «Безъ нея, прибавляетъ Станкевичъ, сходныя понятія такъ же мало упрочать дружбу, какъ одна привычка, которая имфеть силу только при другихъ важнъйшихъ условіяхъ. Нътъ, ны никогда не разойдемся: отчего я такъ убъжденъ въ этомъ?» Такимъ образомъ, вліяніе друга, вначаль столь благодьтельное для Станкевича, было теперь пережито. Станкевичь шель своимъ путемъ, а отъ невольнаго предчувствія, что можеть идти далеко, -- самая переписка его въ последнее время мало-по-малу принимаетъ твердый, поучающій характеръ. Станкевичь начинаеть говорить, какъ человѣкъ власть имьющій, достигній уже извыстной высоты и поджидающій къ себъ другого... Онъ становится учителемъ.

Около того же времени возникаеть у Станкевича другая, не менъе замъчательная переписка съ лицомъ, столь извъстнымъ въ нашемъ ученомъ и литературномъ міръ, съ Т. Н. Грановскимъ.

Грановскаго Станкевичь узналь только въ февраль 1836 года, когда тотъ пробъжаль черезъ Москву на пути въ деревню къ роднымъ своимъ. Грановскій вхалъ проститься съ пими, собираясь въ путешествіе за границу, куда посылаемъ быль для приготовленія себя къ занятію кафедры исторіп. 4-го мая 1836 года состоялось, дъйствительно, въ Петербургъ опредъленіе объ отправленіи его, и вслъдъ за тымъ онъ уыхалъ. Въ Москвы пробыль онъ весьма короткое время, можно сказать, нысколько мгновеній, но этихъ мгновеній уже достаточно было, чтобъ затянуть между двумя людьми, тотчасъ же понявшими другъ друга, самую близкую и крыпкую связь.

По прибытіи въ Берлинъ и, какъ извѣстно, съ запасомъ довольно скудныхъ свъдъній, Грановскій, можно сказать, быль приведень въ ужасъ необъятнымъ полемъ немецкихъ историческихъ разысканій, которое открылось передъ нимъ. На него напалъ страхъ и уныне. Сомнъние въ своихъ силахъ и въ возможности одолъть всю эту массу ученыхъ изслъдованій, сомнъніе, хорошо извъстное всякому, кто добросовъстно начинаетъ какое-либо дъло, отразилось въ его письмахъ. Должно-быть, онъ слишкомъ много даль въ нихъ мъста отчаянію и грусти, потому что Станкевичь, по прочтеніи ихъ, сказалъ: «Сухое страданіе—нехорошій признакъ... Обстоятельствамъ не надо давать воли надъ собою; есть отрада въ чувствъ свободы, которая въ самой скорби сознаетъ свое могущество. > Вообще природа Станкевича не могла выносить страданія безъ облегчительной примъси поэзіи, и въ сухомъ страданіи, какъ опъ выражается, онъ всегда наклоненъ былъ подозрѣвать грубо-эгоистическое основаніе. Онъ посившиль на помощь новому другу письмомь изъ Пятигорска, гдв тогда находился (отъ 14 іюня 1836 года). Въ этомъ замвчательномъ письмъ, которое мы особенно рекомендуемъ читателю, онъ умоляеть Грановскаго положить въ основу своихъ трудовъ-идею, добыть міросозерцаніе, на которомъ правильно и легко расположатся сухіе факты, весь матеріалъ науки. «Мужество, твердость, Грановскій! восклицаеть онь, не бойся этихъ формуль, этихъ костей, которыя облекутся плотію и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметь — жизнь человъчества: ищи же въ этомъ человъчествъ образа Божія; но прежде приготовься трудэти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя-наслажденіе! Тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но върь, върь-и иди путемъ своимъ. > Но не все еще было сказано имъ. Грановскій, какъ видно, приведенъ быль даже къ сомивнію въ своемъ

призваніи: профессорская канедра казалась ему предметомъ, находящимся внв его силь, средствь, способностей. Станкевичь пишеть второе письмо, уже по возвращении своемъ въ деревню съ Кавказа, отъ 29 октября 1836 года. Соглашаясь съ мыслію, что не такъто легко угадать свое призваніе, Станкевичъ строго возбраняеть себъ совъты въ родъ: «прислушайся къ душъ твоей и ступай на зовъ ея», потому что въ извъстные годы многое влечетъ человъка съ одинаковою силой, да и многое есть въ воспитаніи, что мішаеть душ'в произнести върный приговоръ. Призвание часто опредъляется случаемъ, внезапнымъ чувствомъ, неожиданнымъ обстоятельствомъ. Станкевичъ выбираетъ лучшую форму совъта: онъ разсказываетъ Грановскому собственную свою жизнь, со всёми ея неопределенными стремленіями и съ долгимъ колебаніемъ. Исповъдь Станкевича ръшаемся мы привести здёсь цёликомъ, потому что она кратко, по вполнё перечисляетъ все то, о чемъ мы до сихъ поръ говорили въ нашемъ біографическомъ очеркъ. Этою драгоцьнною исповьдью, такъ живо рисующею передъ нами благородное лицо самого автора ея, заключаемъ мы и исторію послідней его борьбы съ своимъ призваніемъ. Опъ обрълъ спова старое направление, но въ лучшемъ и просвътленномъ видъ. Съ тъхъ поръ онъ слъдовалъ ему до конца жизни, расширяя и совершенствуя его наукой, но не измъпяя ему пикогда.

«Чтобъ намъ лучше понимать другь-друга, начинаетъ Станкевичъ, я разскажу тебъ въ немногихъ словахъ исторію моей душевной жизни, исключивъ изъ нея все, что относится къ домашнему быту моей души: это дело постороннее. Эта исторія, можеть-быть, похожа на китайскую; но пусть будеть такъ. Мальчишка четырнадцати льть, я пришил стихами, по върному выражению одного чудака. Я не безъ души, если она во мнв и не имветъ большихъ достоинствъ. Марая бумагу и вытягивая метафоры и импныя фразы, ногдат что нибудь и чувствоваль, особенно въ последнюю эпоху моего стихотворства, когда я вышель изъ-подъ опеки учителя поэзіи и началь понемножку лучше понимать сущность искусства и нъкоторыя стороны жизни. Лекціи Надеждина, какъ ни были онъ недостаточны, развили во мнв (сколько могло во мнв развиться) чувство изящнаго, которое одно было моимъ наслаждениемъ, одномоимъ достоинствомъ и, можетъ-быть, моимъ спасеніемъ! Со всёмъ этимъ, Грановскій, я не понималъ жизни, я не имълъ цъли, я былъ такъ мелокъ и ничтоженъ, что стыжусь вспомнить! Я увлекался мнѣніями недалекихъ людей, я дорожилъ мнѣніемъ свѣтской черни, мнъ казалось стыдно не имъть знакомыхъ, казалось необходимо быть въ свътъ и стараться играть въ немъ какую-нибудь роль. Я говорю тебъ все это, не запинаясь. Вышедши изъ университета, я

не зналъ, за что приняться — и выбралъ исторію. «Давай займусь» вотъ каковъ былъ этотъ выборъ. Что я въ ней видълъ? Ничего. Просто это было подражание всёмъ, вліяніемъ людей, которые не върили теоріи, привычка къ недъятельности, которая дълала страшнымъ занятіе философіей и изредка обдавала какимъ-то холодомъ невърія къ достоинству ума. Шеллингъ, на котораго я поналъ почти нечаянно, опять обратиль меня на прежній путь, къ которому привела-было эстетика — и съ тъхъ поръ болъе и болъе, при всей моей недъятельности, я началъ сознавать себя. Грановскій, въришь ли? Оковы спали съ души, когда я увидълъ, что внъ одной всеобъемлющей идеи — нътъ знанія; что жизнь есть самонаслажденіе любви, и что все другое-призракъ. Да, это мое твердое убъждение. Теперь есть цель передо мпою: я хочу полнаго единства въ міре моего знанія, хочу дать себъ отчеть въ каждомъ явленіи, хочу видъть связь его съ жизнію цълаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи одной идеи. Что-бъ ни вышло, одного этого я буду искать...» 1).

Спѣшимъ сдѣлать одно замѣчаніе. — Легкій отзывъ Станкевича о пользѣ, принесенной ему изученіемъ исторіи, вызванъ его скромностію и потомъ неоднократно опровергается имъ самимъ въ дальнѣйшемъ ходѣ переписки.

Остановимся здѣсь на минуту. Воспитаніе Станкевича, начатое нѣмецкою ноэзіей, завершается, какъ видимъ, философіей. Что это было настоящее правственное воспитаніе, доказывается замѣчательнымъ восклицаніемъ Станкевича: «искусство, можетъ-статься, было моимъ спасеніемъ!» Дѣйствительно, оно, какъ старались мы показать прежде, оторвало съ неудержимою силой воображеніе, идеи и на-клонности его отъ того уровня, гдѣ, при отсутствіи сильнаго дви-

¹⁾ Пряводимъ еще ифсколько отрывковъ изъ окончанія этого во всёхъ отношеніяхъ замъчательнаго письма, особенно какъ примъръ твердости и полной зрълости, какія наступили для мысли Станкевича въ эту эпоху. "Теперь ты занимаешься исторіей: люби ее какъ поэзію, --прежде пежели ты свяжеть ее съ идеею, --какъ картину разнообразной и причудливой жизни человъчества, какъ задачу, которой ръшеніе не въ ней, а въ тебъ... Ты скорбищь о томъ, что едва знаешь имена тъхъ людей, которыхъ Миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что насчетъ величія можно имъть разныя нонятія съ Миллеромъ, я скажу одно: что за нотробность узнать и того, н другого, и третьяго? Ты узнаешь ихъ тогда, когда въ тебъ будетъ вопросъ, котораго рвшенію они могуть способствовать. Всякое чтепіе полезно только тогда, когда къ нему приступаеть съ опредъленною целію, съ вопросомъ. Работай, усиливай свою даятельность, но не отчаявайся въ томъ, что ты не узнаешь тысячи фактовъ, которые зналъ другой. Копечно, твое будущее назначение обязываетъ тебя иметь понятие обо всемъ, что сделано для твоей науки до тебя; но это нріобретается легко, когда ты ноложить главное основание своему знацію, а это основание скрвинть идеею. Тогда, новърь, бъглое чтеніе больше сдівлаеть пользы, нежели теперь изученіе".

гателя, онъ легко и скоро мельчають и вырождаются. Роль философіи была еще значительные у насъ. Извыстно, что нигды ныть недостатка въ искушеніяхъ; но искушенія тамъ опаснье, гдь не носять признаковь своего мутнаго происхожденія и гдв потеряли силу безпокоить совъсть человъка. Противъ такихъ-то опасностей, противъ нечистыхъ движеній сердца, какъ бы тонки и мимолетны они ни были, противъ порочнаго снисхожденія къ самому себъ, стояла у насъ философія. Кто не быль исполненъ философскимъ содержаніемъ весь, до мыслей, опредъляющихъ волю и поступки, тотъ еще, въ эту горячую эпоху молодости, не считался последователемъ софіи. Задача, конечно, во многихъ случаяхъ неисполнимая: но важно то, что она была поставлена. Никогда не заслоняя собой ни математическихъ, ни естественныхъ, ни всякаго другого рода наукъ, она была у насъ домашнимъ дъломъ, пріучавшимъ умъ искать нравственные законы для каждаго явленія въ міръ и обращавшимъ все вокругъ себя въ разумное существо, надъленное словомъ, поученіемъ и мыслію. Но, скажуть, надежды Станкевича были песбыточны, и оныть последующихъ годовъ не подтвердилъ техъ ожиданій отъ философіи, какими исполнены были, вмёстё съ нимъ, многіе свётлые умы въ Европъ. Намъ замътять, что наблюдение фактовъ породило цёнь изумительнёйшихъ и благодётельнёйшихъ для человёчества открытій, которая еще далеко не кончилась, а философскія мечтанія почти уже оставлены и въ первопачальной родинъ ихъ, Германіи. Позволительно усомниться, чтобъ какая-либо образованность решилась отказаться навсегда отъ потребности вопрошать разумъ въ его независимой деятельности, опирающейся па собственныя силы, но мы принимаемъ и это замъчание. Такъ же точно легко согласиться и съ тъми, которые замътять, что Станкевичъ многимъ увлекался, хотя слёдуеть прибавить, что онъ именно увлекался всемъ темъ, чемъ хорошо увлекаться въ его годы: только изъ подобной довърчивой и страстной молодости образуется жизнь, которая-какъ бы потомъ ни сложилась и на что бы ни была посвящена — всегда будетъ добрымъ служениемъ людямъ, добрымъ служеніемъ обществу. Всв эти оговорки ничего не стоять для біографа, занятаго преимущественно изображениемъ характера и върною передачей лица. Для него достаточно, если онъ можетъ показать элементы, входивше въ развите того и другого въ ихъ настоящемъ значеніи. Искусство и философія сдълали Станкевича человъкомъ, котораго одно присутствие настроивало окружающихъ на правду, на презрвніе къ темнымъ двяніямъ грубости и произвола, на сохраненіе въ моральной цёлости души своей и на созерцаніе всего

міра, какъ единой жизни, исполненной смысла, поэзіи и глубокаго поученія.

Теперь, когда онъ нашелъ сферу дъйствія, и когда жизнь его какъ-бы приняла одинъ основной цвътъ намъ уже легко намътить внъшнія событія ея, весьма несложныя, но занимательность которыхъ окажется въ подробномъ изложеніи, составляющемъ содержаніе слъдующихъ главъ.

Бользнь не позволила ему заняться обязанностями почетнаго смотрителя съ тою строгостію, какую положиль онъ для себя въ началь. Это, какъ и многое другое, отошло къ числу несбывшихся плановъ. Необходимость и особенныя причины, заключавшіяся въ его сердцъ, о которыхъ будемъ говорить скоро, заставили его прожить въ Москвъ, почти безвыъздно, съ малыми отлучками въ деревню, двъ зимы 1835 — 36 г. Должность при этомъ, разумъется, вышла изъ головы. Точно то же, и по тъмъ же причинамъ, случилось и съ проектомъ экзамена на степень магистра: занятія его безпрестанно нарушаются досаднымъ вмёшательствомъ болёзни, отнимавшей прежде всего нравственныя силы, и мыслями, развлекавшими его умъ, когда онъ становился способенъ къ занятіямъ. Экзаменъ откладывался постепенно, сперва къ концу 1835 года, потомъ къ эпохъ возвращения съ Кавказа; а по возвращении съ Кавказа, въ августъ 1836 года, Станкевичъ уже занятъ проектомъ отъвзда за-границу для окончанія, во-первыхъ, своего образованія, во-вторыхъ, для возможной помощи недугу, и скажемъ, для успокоенія страданій своего сердца. Экзамень уже отлагается ко времени возвращенія изъ-за границы. Недугъ одоліваль Станкевича. «Я пикуда не выхожу, говорить онъ въ одномъ письмъ, и ничего почти не виъ: аппетиту вовсе нътъ; за то пилъ бы, пилъ бы, а пить тоже ничего нельзя — все вредно. > Былъ у него еще планъ около 1836 года—посътить въ Петербургъ стараго друга; но виъсто того бользнь и другія обстоятельства ногнали его, какъ мы видъли, на кавказскія воды. Въ мартъ 1837 г. Станкевичъ, уже окончательно разстроенный, слегь въ постель и быль близокъ къ смерти. Посившно начинаеть онъ хлопотать объ отставкв и паснортъ, не зная, съ чего и какъ начать. Онъ убъдительно зоветъ друга, собравшагося тоже за-границу, отправиться въ путешествіе вивств, и томится въ пеизвъстности объ успъхъ своихъ просыбъ. Съ одра болъзни посылаетъ онъ письмо за письмомъ въ Петербургъ, требуя извъстій, въ какомъ положеніи дъла его. Обстоятельства и туть изменили все планы его: Я. М. Неверовь отъезжаеть весной 1837 г. за-границу одинъ, прямо изъ Петербурга, на пароходъ, а Станкевичъ получаетъ наспортъ въ августъ того же года. Изнуренный бользпію и нравственнымъ безпокойствомъ, съ трудомъ добирается онъ, по сухому пути, до Кракова (въ сентябръ мъсяцъ); но чъмъ далъе подвигается внутрь Германіи, тъмъ становится бодръе, и довърчивъе смотритъ впередъ. Шутка и юмористическое состояніе духа къ нему возвращаются. Дорога и трехнедъльное пребываніе въ Карлсбадъ возстановили его, если не физически, то нравственно, но это было главпое. Въ Берлинъ, куда онъ прибылъ въ октябръ мъсяцъ, мы находимъ уже Станкевича въ новомъ и чрезвычайно замъчательномъ состояніи духа, съ котораго и начинаемъ третій, послъдній періодъ его жизни.

IV.

ХАРАКТЕРЪ СТАНКЕВИЧА И ЕГО КРУГА.

Поэзія и мысль раскрыли въ характер'в Станкевича, уже счастливо образованномъ самою природой, такія стороны, которыя, составивъ отличительное его свойство, были вмъстъ съ тъмъ отрадой и поученіемъ для многихъ людей. Эти двъ силы, образовавшія Станкевича, такъ срослись со всёмъ его существомъ, что развитие его характера дёлается похожимъ на развитие ихъ самихъ въ формъ личности, въ живомъ человъческомъ образъ. Поэзія и мысль чувствуются ноперемённо или въ одно и то же время, какъ основной мотивъ, почти во всёхъ его ноступкахъ, словахъ и начинаніяхъ. Сила этихъ неразлучныхъ спутниковъ Станкевича дъйствовала такъ же просто и такъ же пеотразимо на другихъ, какъ любое естественное явленіе: стоило подойти къ нему, чтобъ ихъ почувствовать. Мы не даромъ сказали, что одно его присутствие сообщало окружающимъ пъчто похожее на теплое, радостное чувство: его можно было и тогда сравнить съ подземнымъ ключомъ, существование котораго узнается по одной роскоши зелени, распространяемой имъ въ кругъ своего вліянія. Взаимное дъйствіе двухъ основныхъ элементовъ, жившихъ въ Станкевичъ, поставило его на какомъ-то особенно шпрокомъ основаніи. Опъ никогда не быль исключительно философъ, занимающійся отвлеченіемъ и логическими постройками безъ устали, также какъ не быль обожатель искусства до забвенія природы, или любитель прпроды, который принадлежить обществу только за невозможностію его изб'єгнуть. Онъ быль какъ-то дома во всёхъ этихъ сферахъ и обращался въ шихъ съ равною свободой; способность сосредоточиваться въ пдев не лишала его способности постигать явленія жизни во всей ихъ индивидуальности, серьёзныя цёли мышленія не притунляли его живой воспріимчивости; онъ также легко всходиль на высоту отвлеченія, какъ и спускался съ нея; душа его находила себё столько же пищи въ произведеніи искусства, сколько и въ уединенныхъ поляхъ и рощахъ его Удеревки. Созерцаніе идеала и живая красота женщины отражались въ немъ съ равною силой, потрясая всё струны его сердца и внушая тё глубокія соображенія, которыя находиль онъ въ родникѣ своей души. Даже и тогда, какъ основныя пачала его существованія, мысль и поэзія, раздѣляясь на время, были предоставлены только самимъ себѣ, мысль никогда не клонилась къ сухости и педантизму, не перерождалась никогда въ резонерство, пустую потѣху ума, а поэзія не терялась въ пристрастіе къ фразѣ, въ исканіе призраковъ. Мѣра и гармонія был и въ природѣ Станкевича.

Мы уже знаемъ, какую строгую школу находилъ Станкевичъ въ своей паклонности анализировать свой домашній душевный быть, употребляя его выражение. Тонкія черты апализа проходять черезь всю его переписку; но всв обыкновенныя последствия такого анализа — вялость ощущенія, неспособность просто наслаждаться жизнію и встръчать ея явленія прямо съ лица, а не съ заднихъ или боковыхъ сторонъ, — всъ эти последствія были чужды Станкевичу. Самый предубъжденный глазъ не отыскаль бы въ его анализъ дурныхъ примътъ себялюбія, нищеты характера, или туного занятія, которымъ любитъ тъшиться праздный умъ. О невыносимыхъ претензіяхъ или о смішныхъ попыткахъ мірить собой всю вселенную нечего и говорить. Напротивъ, работа анализа всегда почти оканчивается у Станкевича тихою жалобой на далекое разстояніе, еще отделяющее его отъ идеально-разумнаго существованія, и также часто разрешается великодушнымъ укоромъ самому себф, въ которомъ постороний наблюдатель не видить иногда и твни справедливости, но который быль нужень Станкевичу, какъ благотворный двигатель его души. Анализъ Станкевича, по временамъ, обращается на укрощение излишнихъ ожиданий и невърныхъ требований мысли. Такъ Петербургъ и Кавказъ, при первомъ посъщении, не отвъчаютъ его представлению; онъ примиряется съ ними помощью анализа, называя эту внутреннюю работу мысли «эмансинаціей своего чувства». Въ одномъ инсьмъ 1835 года мы встръчаемъ, при изложении причинъ о необходимости путешествія за границу, еще слёдующій поводъ: сосвъжить чувство тоскою по родинь, оживить эту любовь къ Россін, гибнущую отъ тысячи обстоятельствъ. Упорное размышленіе или, говоря языкомъ нъмецкой логики, рефлексія, опредълили здъсь еще не существующее, не родившееся чувство, перескочивь черезъ

долгій промежутокъ времени и забъжавъ впередъ; но какого свойства это чувство — предоставляемъ судить читателю. Такъ точно, живя въ деревнъ (1834 г.) и напавъ на мысль о необходимости нъкотораго устраненія предмета, даже полнаго отсутствія его для того, чтобъ поэтъ могъ потомъ творчески воспроизвести его въ фантазіи, Станкевичь посвящаеть этой мысли несколько горячихь, воодушевленныхъ строкъ, которыя вдругъ прерываются замъчаніемъ: «Слава Богу! наконецъ я набрелъ на чувство и хоть немного взволнованъ, беседуя съ тобой, а это такъ редко въ гладкой жизни, которую я веду, не имъя съ къмъ поговорить». Недремлющая оглядка на себя, или рефлексія, тотчасъ подм'тила настроеніе души въ самую минуту его развитія, но не ослабила, не прервала, не исказила. его. Иногда рефлексія выводить у Станкевича чувство совершенно неопредъленное, но замъчательно граціозное и поэтическое. Когда Я. М. Невъровъ, отъъзжая за границу, просто сказалъ, что его манитъ синее море и даль, Станкевичь отвъчаетъ: «Другъ! все манитъ насъ, что сине! море прекрасно, потому что его нельзя обозръть; даль хороша, потому что въ ней всв предметы сливаются съ небомъ и воздухомъ», и проч. Такъ, можно сказать, на последней, крайней ступени мысли, на анализъ и рефлексіи, которыя иногда такъ грубо выражаются въ людяхъ, менъе надъленныхъ природою, и такъ извращають всю жизнь ихъ, Станкевичь быль невредимь и даже извлекаль, посредствомь этихь дъятелей, новыя и существенныя достоинства, только возвышавшія его характерь.

То же самое можно сказать и о поэтическомъ его элементъ. Въ самомъ сильномъ напряжении чувства, въ порывъ своемъ въ высь и пространство, Станкевичъ никогда не терялъ изъ вида земли и возвращался къ ней обыкновенно съ живою, по временамъ шумною радостію. Тотъ весьма ошибется, кто заключить, что романтическое настроеніе сділало его брезгливымъ къ обыкновенному ходу жизни и къ большей части ея явленій. Никто здравве не понималь всвхъ условій человъческаго существованія, какъ онъ, да врядъ ли кто и болье пользовался массою наслажденій, заключающейся въ повседневномъ существованіи. Бользнь при этомъ случав была чемъ-то въ родъ спасительного ограниченія, еще увеличивающого цъну и прелесть жизни. И начиная съ тихихъ семейныхъ радостей до того удовольствія, какое испытываеть человікь, слідуя необходимымь и законнымъ требованіямъ своей природы, - все было понятно его необычайно-просторному, здоровому, хотя и поэтически настроенному уму. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ нъсколькими словами превосходно изобразилъ весь свой характеръ, со всеми теми разнообразными началами, которыя въ немъ примирялись, дополняя собою другъ

друга. Говоря о любви въ нрекрасному, безъ самаго предмета, на которомъ могла бы она остановиться, Станкевичъ прибавилъ: «такая общая, отвлеченная ноэзія давно уже начала терять для меня цѣну, точно какъ ноложительное не имѣло для меня никогда цѣны внѣ своего идеальнаго значенія.»

Веселость чистаго, яснаго сердца отражалась во всёхъ шуткахъ Станкевича и сонровождала его въ общество друзей; но иногда она устунала мъсто ироніи и строгому слову. Станкевичъ не могъ выно-сить двухъ пороковъ: лжи и претензіи; они дъйствовали на него почти болъзненно. Насмъшка и укоръ его въ такихъ случаяхъ не имъли вида праздной потъхи надъ человъкомъ, а скоръе обличали внутреннее страданіе, которое чувствовалось и въ звукъ его измънившагося голоса, и въ горькомъ выражении его обыкновенно кроткаго лица. Вообще Станкевичъ не нонималъ легкаго, такъ-сказать, поверхностнаго обращенія съ людьми. Никогда не говорилъ онъ съ человъкомъ для того, чтобъ сдълать намекъ или отвътъ третьему, ностороннему лицу; относился всегда прямо, откровенно къ собесъднику, и ясность, сивемъ выразиться, всвхъ его цвлей и намвреній составляла одну изъ многихъ нричинъ его сильнаго вліянія на умы. Онъ не имълъ понятія о грубомъ наслажденіи, которому иногда поддаются и люди съ благороднымъ характеромъ, —наслаждени пробовать свои сплы на другомъ, менъе развитомъ человъкъ, п испытывать мъру своихъ способностей по сравненію съ слабостію ихъ въ ближнемъ. Станкевичу, напротивъ необходимо было нрежде всего установить нъкотораго рода правственное равенство съ собесъдникомъ, и когда этого равенства въ разговоръ не доставало, онъ принимался создавать его. По высокой стыдливости ума, отличающей изящныя натуры, чувствовать себя господиномъ значило для него унижать себя. Разговоръ его въ сущности быль не что иное, какъ исканіе той благодатной искры, которая способна озарить душу человъка. Онъ такъ навыкъ въ этомъ, что, но замъчанію его знакомыхъ, сдълался несравненнымъ мастеромъ дъла: общее свидътельство о сильномъ, многостороннемъ его умѣ преимущественно зиждется на этой способности разбирать душу собесѣдника, нри слабомъ мерцаніп, которое она издаетъ вокругъ себя. Дъйствительно, надо много ума, и притомъ не книжнаго, для нодобной задачи, да сверхъ того надо еще участіе ноэзіи, вдохновенной отгадки. На этомъ нути Станкевичь не останавливался даже нередъ самымъ ограниченнымъ умственнымъ или правственнымъ развитіемъ, потому что онъ вприлз въ душу человъка и въ необъятность ея силъ вообще. Послъ всего сказаннаго, уже легко принять единодушное свидътельство его близ-кихъ знакомыхъ, что разговоръ со Станкевичемъ всегда билъ дъломъ,

о чемъ бы онъ ни шелъ, что бесёда его обыкновенно поднимала множество вопросовъ въ глубинё сознанія, и что послё каждой такой бесёды слушатель чувствоваль какъ-бы прибытокъ новыхъ правственныхъ силъ. Въ дополненіе слёдуетъ сказать, что Станкевичъ не зналъ за собой того рода творчества, какое постоянно обнаруживалъ: онъ только жилъ, какъ ему суждено было жить, и не имёлъ понятія о томъ, какъ отражается его жизнь на другихъ. Если совокупить всё эти разбросанныя черты въ одпо цёлое, то намъ легко объяснится степень и сила его вліянія на самые проницательные и энергическіе умы, находившіеся, между другими, въ обыкновенномъ его кружкѣ, куда приносилъ онъ мысль и чувство свое безъ всякой утайки.

Кругъ Станкевича получилъ весьма важное развитіе, какъ въ матеріальномъ отношеніи, вслъдствіе прибытія новыхъ членовъ, такъ и въ нравственномъ—вслъдствіе того, чго прежнее трепетное и радостное предчувствіе жизни уступило мъсто обсужденію и разбору ея явленій.

Мы не будемъ говорить о литературныхъ заслугахъ Вълипскаго, оставляя трудъ этотъ его біографу; но нѣсколько словъ объ отношеніяхь его къ Станкевичу приходятся здёсь къ мёсту. Белинскій, въ многоразличныхъ видоизмъненіяхъ своей мысли, оставался постоянно энтузіастомъ, чёмъ и объясняется страстная увлекательность его статей, даже самыхъ отвлеченныхъ, какія писаны имъ были въ 1838— 40 годахъ. Крайности, которыя встрвчаются у него, совершенно незнакомы людямъ, имъющимъ еще много другихъ занятій, кромъ предмета, выбраннаго ими, такъ сказать, оффиціально для своихъ упражненій. Зато Бълинскій уже не способень быль къ вътреннымъ словамъ: какъ статьи, такъ и самый разговоръ его носили следы тъхъ глубокихъ бороздъ, по которымъ узнается невидимая, напряженная работа головы. Каждое изъ литературныхъ убъжденій своихъ онъ исчерпывалъ вполнъ, не утанвал ничего, что въ немъ заключалось, и не входя ни въ какія сдёлки съ своею совёстію и съ мнёніями противниковъ.

Мы имѣемъ свидѣтельство, папримѣръ, что Стапкевичъ первый открылъ въ стихотвореніяхъ одного нашего ученаго, именно С. Шевырева, недостатокъ поэзіи, а въ критическихъ его статьяхъ недостатокъ логики. Открытіе это поразило и огорчило Бѣлинскаго, который имѣлъ другія убѣжденія. Можно сказать, оно подѣйствовало на него болѣзненно: такъ тяжело было ему разставаться съ своимъ понятіемъ о человѣкѣ. Онъ тотчасъ принялся за повѣрку догадокъ Станкевича и убѣдившись въ истинѣ ихъ, уже вышелъ открыто съ своимъ сужденіемъ, принявъ и всю отвѣтственность за

него на себя. Авторитетъ противника былъ тогда очень великъ, и кто знаеть, какъ тяжела бываеть иногда у пасъ отвътственность за нарушение литературнаго спокойствія въ какомъ-либо самодовольномъ кружкѣ, тотъ пойметь важность подвига. Дѣятельность человъка, подобнаго Бълинскому, копечно, цънима была Станкевичемъ по достоинству, но онъ не любилъ слишкомъ ръзкаго слова, которое, по его мнѣнію, не вполнѣ передаетъ и ту часть истины, какая вызвала его на свѣтъ. Станкевичъ противодѣйствовалъ шуткой и совѣтомъ врожденной горячности Бѣлинскаго, изъ желапія открыть ему по возможности обширнѣйшее понрище дѣйствованія, чему излишняя энергія, по его мнѣнію, полагала препятствія. Станкевичъ не любиль вообще всего, что порывисто, что носить печать одной воли человъка, хотя бы и энергически настроенной къ истинъ и добру. Такъ же точно Станкевичъ не понималь гнъва въ борьбъ съ ложнымъ: — певольное раздражение, которое опо обыкновенно производитъ въ человъкъ, разръшалось для него все безъ остатка обсуждениемъ предмета. Этихъ словъ довольно, чтобъ угадать характеристическія отличія двухъ замѣчательныхъ людей. Станкевичъ былъ служителемъ истины въ чистой, отвлеченной мысли, въ примъръ своей жизни, и никогда не могъ бы служить ей на буйной ярмаркъ современности: различіе характеровъ послужило однакожь къ закрѣнленію связи между ними. Мы знаемъ, что Бѣлипскій съ благоговѣніемъ вспоминалъ о Станкевичѣ въ послѣдній періодъ своей дѣятельности. Его ныякая душа, въ которой было много нѣжности, много даже тонкой деликатности, прошла сквозь тяжелый гиетъ об-стоятельствъ, почти непзвѣстный его товарищамъ и друзьямъ. Онъ получиль совсёмь другое воспитаніе, чёмь они, и это суровое, уединенное воспитаніе закрыло душу его твердымь панцыремь. Первый, пробившійся сквозь эту кору, отыскавшій душу его, угадавшій ея способность къ симпатіи и жажду сочувствія, первый успокоившій ее своимь мягкимь, благороднымь и теплымь участіємь—быль Станкевичь. Свётлый ликь Станкевича жиль съ Бёлинскимь до конца, и конечно много способствоваль къ устройству безукоризненно-чистаго его характера, которому отдаютъ справедливость и самые литературные враги ero'1).

По прекращенін «Телескопа» въ 1836 г., Бѣлинскій оставался безъ постояннаго занятія. Однажды онъ даже собирался ѣхать заграницу, въ качествѣ домашняго учителя, съ какимъ-пибудь семействомъ. Осенью 1836 года, когда Бѣлинскій находился въ деревнѣ

¹⁾ Единственный порядочный портреть Станкевича, акварелью, принадлежаль Бълинскому и неизмѣнно находился въ его кабинетѣ, составляя и лучшее украшеніе, п рѣдкость трудовой его компаты.

одного изъ своихъ пріятелей, наслаждаясь въ домашеемъ кругу его, имъвшемъ значительную долю вліянія и на многихъ другихъ, Станкевичъ совътоваль ему до поъздки за-границу заняться нъмецкимъ языкомъ. Письмо его исполнено выраженій самой нѣжной дружбы. Представивъ всъ обыкновенные доводы въ пользу изученія философскихъ системъ въ самыхъ источникахъ, Станкевичъ заключаетъ его словами: «...Потомъ воротишься въ Русь — и тогда будь чемъ хочешь, хоть журналистомъ, хоть альманашникомъ-все будетъ хорошо, только будь посмирнъе. > Можетъ-быть, еще сильнъе выражаются глубокое сочувствіе къ Бѣлинскому и трогательное участіе въ судьбѣ его другимъ письмомъ, принадлежащимъ той же эпохъ (21 сентября 1836) и писаннымъ уже не къ нему самому, а о немъ. Прилагаемъ его здесь. «Белинскій отдыхаеть у Бакуниных отъ своей скучной, одинокой... жизни. Я увъренъ, что эта поъздка будетъ имъть на него благод втельное вліяніе. Полный благородных в чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовъстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опыть, не по однимъ понятіямъ, увидьть жизнъ въ благороднъйшемъ ея смыслъ; узнать нравственное счастіе, возможность гармоніи внутренняго міра съ внішнимъ, - гармоніи, которая казалась для него недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь върить. Какъ смягчаеть душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни! Глубоко понималъ Шиллеръ все лучшее въ Божьемъ твореніи. Мужчина грубъ въ своей добродітели, всі благородные порывы души его носять какую-то печать цинизма, какую-то жесткость; въ немъ больше стоицизма, нежели христіанства, нежели человъчества. Только вліяніемъ женщины, вліяніемъ семейныхъ отношеній — это благородное, сильное, но все немного деспотическое чувство долга обращается въ отрадное чувство любви; сознаніе добра въ непосредственное его ощущение...» Впрочемъ, планы, составленные Вълинскимъ для своей жизни и вызвавшіе такое горячее участіе Станкевича, всв почти рушились. Съ 1838 г. онъ нашелъ занятіе, соответствовавшее его наклонностямъ: онъ принялъ редакцію журнала «Московскій Наблюдатель», гдв гегеліянское воззрвніе, подготовленное промежуткомъ трехъ лътъ, съ 1835 по 1838, получило весьма большое мъсто. Станкевичь находился уже тогда въ Берлинъ.

Авторъ стихотвореній, помѣченныхъ буквою — θ — И. П. Ключниковъ представляль совершенную противоположность съ Бѣлинскимъ, относительно характера. Надѣленный въ замѣчательной степени остроуміемъ, онъ игралъ между друзьями почти ту же самую роль, какую одно время занималъ Меркъ въ кругу Гёте. Онъ былъ Мефистофелемъ небольшого московскаго кружка, весьма зло и ѣдко подсмѣиваясь надъ идеальными стремленіями своихъ пріятелей. Онъ былъ, кажется,

старъе всъхъ своихъ товарищей, часто страдалъ инохондріей, но жертвы его насмъшливаго расположенія любили его и за веселость, какую распространяль онъ вокругь себя, и за то, что въ его причудливыхъ выходкахъ видъли не сухость сердца, а только живость ума, замфчательнаго во многихъ другихъ отношеніяхъ, и иногда истинный юморъ. Какъ бы то ни было, но некоторыя эпиграммы Кл., направленныя на педантство и низость побужденій, могуть считаться образцовыми въ своемъ родъ по мъткости и соли, въ нихъ заключенной. До сихъ поръ сохранились въ памяти тогдашнихъ знакомыхъ несколько словъ Кл., имевшихъ большой успехъ въ кругу другей, и дъйствительно остроумныхъ, какъ напримъръ, то, которое относилось къ Станкевичу. Станкевичъ, часто восхищавшійся тою или другою чертою въ характерт своихъ знакомыхъ и добродушно завидовавшій ихъ достоинствамъ, вызваль у него замъчаніе: «Это серебряный рубль, завидующій величинъ мѣднаго по-серебреннаго пятака». Кл. написаль также въ стихахъ: «Обозрѣніе всемірной исторіи», въ которомъ, по увъренію слышившихъ, далъ полную волю своему остроумію. Извъстно, что Станкевичъ читалъ вивств съ нимъ сперва Шеллинга, потомъ Канта, но вскоръ бросиль это занятіе сообща, потому что, вмъсто обсужденія, Кл. останавливался въ серединъ параграфа, предлагалъ свои замъчанія и морилъ со смъху вообще смъшливаго Станкевича. Лирическія произведенія Кл., помѣченныя буквою————, начали появляться въ журналахъ позднѣе, съ 1838 года, уже по отъѣздѣ Станкевича за-границу. Въ нихъ и следа нетъ того юмора, которымъ авторъ ихъ оживляль прежде пріятельскія бесёды. Нелишенныя некоторыхъ своего рода достоинствъ, эти пьески занечатлъны характеромъ отвлеченности, туманности и иногда какой-то слезливой сентиментальности. Въ нихъ чувствуется ипохондрическое расположение и бользненная экзальтація, къ которой привилось развившееся, подъ вліяніемъ тогдашнихъ изученій Гегелевой системы, направленіе примирять противоположности и разръшать диссонансы. Стихотворенія— θ —именно отличаются какою-то напряженною и искусственною примирительностію. Болѣе мы не считаемъ себя въ правѣ говорить объ ихъ авторѣ, къ сожалѣнію, слишкомъ рано отказавшемся отъ литературы и общества, которыя, по убъщению людей, близко знавшихъ его, еще могли многаго ожи-

Мы упомянули разъ о томъ дилеттантъ философіи, извъстномъ Б., который перешелъ мало-по-малу въ одного изъ самыхъ жаркихъ ея поклонниковъ. Положенія и истины ея, какъ и самыя разысканія въ этой сферъ, сдълались его жизнью, между тъмъ какъ Станкевичъ былъ поминутно развлеченъ всъми явленіями общества, искусства,

природы и проч. Дилеттантъ, обратившійся въ ревностнаго изследователя, вскорв пріобрвль дарь блестящаго изложенія, который сообщаль ему нъчто похожее на роль провозвъстника философскихъ истинъ. Къ пему прибъгали при всякомъ педоумъніи, затруднительномъ вопросъ, случайномъ перерывъ идей, и пояснительная ръчь его текла блестящею импровизаціей. Разумвется, туть не могло быть какого-либо самобытнаго ученія, да и никто не думаль о томъ; но онъ обладалъ особеннымъ даромъ, похожимъ на творчество, именно даромъ переработывать все вычитанное и узнанное въ собственную мысль, такъ что онъ самъ казался почти изобрътателемъ и родоначальникомъ поясняемаго имъ метода. Роль зодчаго, которую человъкъ этотъ игралъ въ отношении каждаго, такъ или иначе накопившаго сырой, необделанные матеріаль, имела своего рода неизбежныя и тяжкія условія. Вся жизнь являлась передъ нимъ сквозь призму отвлеченія, и только тогда говориль онь о ней съ поразительнымъ увлеченіемъ, когда она была переведена въ идею. Все случайное, мгновенное, самобытное жизни было ему гораздо менъе доступно, хотя усиліями обширнаго, дійствительно необыкновеннаго ума онъ усивваль возводить до понятія убъгающія поэтическія черты жизни и такимъ образомъ овладъвать ими, но при этомъ они уже многое теряли, и иногда то самое, что составляеть ихъ существенную особенность. Станкевичу оказаль онъ важную услугу: онъ оковаль и охолодиль его живую, подвижную фантазію, на сколько могь и на сколько нужно было для правильнаго труда надъ наукой мышленія; онъ пріучиль его къ самообладанію въ занятіяхъ и, такъ сказать, къ искусству соблюдать порядокъ между идеями ¹). Оба они находились тогда подъ властію свътлаго романтическаго настроенія. но первый наслаждался полнотой и сущностію мысли, между тімь какъ для второго съ мысли только еще начиналась возможность счастливаго состоянія, а само счастіе находилось въ жизни, въ отношеніяхъ къ нравственнымъ предметамъ ея. Немаловажное отличіе между ними состояло и въ томъ, что никакое отвлеченное понятіе не могло потревожить и огорчить перваго: оно у него ложилось на умъ, между тъмъ какъ второй весьма часто страдалъ понятіями: они ложились на всю основу его нравственнаго существа. Мы имбемъ подтверждение этому въ одномъ любопытномъ письмъ Станкевича, отъ 21 апръля 1836 года. Прошлый годъ, какъ уже знаемъ, на-

¹⁾ Пріятели иногда живали (1835—1837) вмѣстѣ, и часто Станкевичъ прерывалъ долгія утреннія занятія друга, влетая къ нему въ комнату съ кочергой и представляя старуху съ метлой, которою овладѣваетъ невольная пляска подъ звуки волшебной флейты. Онъ передавалъ фигуру изъ пантомимы "Волшебная Флейта", нерѣдко являвшейся на сценѣ московскаго театра.

чался для Станкевича полнымъ сознапіемъ своего призванія и дѣла, предстоящаго ему въ жизни. Слѣдующій за тѣмъ былъ посвященъ непрерывнымъ философскимъ занятіямъ; но до весны этого года Станкевичъ еще стоялъ на изученіи Канта, какъ родоначальника современнаго движенія германской философіи вообще. Тогда наступила очередь Фихте. Послѣ тревожной зимы въ Москвѣ, Станкевичъ, очередь Фихте. Послъ тревожной зимы въ москвъ, Станкевичъ, собираясь на Кавказъ, завзжаетъ къ себъ въ деревию, а на дорогу беретъ впервые книгу Фихте: «Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen». Мысли и впечатлънія, возбужденныя этимъ серьёзнымъ чтеніемъ на почтовомъ трактъ и въ дорожной бричкъ, передаетъ онъ пріятелю своему слъдующимъ письмомъ: «Мценскъ, 21 апръля 1836 года. Другь! Гдъ я? — ты знаешь изъ верхней строки. Что я? право не знаю, съ тъхъ поръ, какъ прочелъ о назначении человъка; можетъ-быть, болъе узнаю, когда прочту послъднія странички; а до тъхъ поръ числюсь подъ именемъ средняго между Лерминье и Кругомъ. Не знаю, что будетъ со мною. Wissen произвело мнъ такой сумбуръ въ головъ, возможность котораго я и не подозрѣвалъ; оно повергло меня въ такое странное, болѣзненное состояніе нерѣшительности... сомнѣнія, что я мучился и не находилъ средствъ выйдти изъ него. Теперь уже нельзя остановиться, теперь— впередъ! Нътъ! Знанія! Возможно отчетливаго знанія! Такъ тонко, такъ удовлетворительно превратить весь міръ въ модификацію мысли, самую мысль сдѣлать модификаціей какого-то неизвѣстнаго субъекта, а мысль объ этомъ субъектѣ опять чьимъ-то созданіемъ; построить изъ законовъ ума цѣлый міръ призраковъ и изъ ума сдѣлать призракъ— и все такъ отчетливо.... Гдѣ же теперь спасеніе для ума? Это сомнине можеть быть спасение.»

«Мало-но-малу улегся хаосъ въ головъ моей, и въ немъ я вижу снова зародышъ созданія. Читая Кантово доказательство существованія внѣшнихъ вещей, я подозрѣвалъ его несправедливость: какимъ-то страннымъ движеніемъ эгоизма подавлялъ возраженіе ума, — и здѣсь нашелъ, что думалъ. Изъ Фихте я уже провижу возможность другой системы; но эта подвинула меня къ утпъшительной мысли безсмертія. Впрочемъ это сочиненіе весьма недостаточно для узнанія его системы: оно только намекаетъ на нее.»

«Дорогою въ бричкъ окончилъ я Wissen и сталъ читать Glauben. Вечеръ былъ нрекрасный, но тяжкое состояніе совершенной неизвъстности—не давало мнъ имъ пользоваться. Мнъ какъ-то чужда, какъ-то мертва казалась эта природа, призракъ меня самого; все было обманчиво, враждебно. Напрасно старался я убъдить себя, что во

всемъ этомъ должна быть своя сообразность съ цёлію, свое добро—
эти мысли были для меня слишкомъ убъдительны и слишкомъ
новы, чтобъ я мого обладъть ими по-своему. Теперь только я
мирюсь съ неми. Всё утёшительныя мысли жизни—подвить, искусство, знаніе, любовь— все теряло для меня значеніе, самъ не знаю
почему. Это состояніе прошло, но тёнь его еще лежить на мнё.
Уже я вёрю успёху мысли и успёху знанія; но все, что касается
до меня, вся будущность моя представляется мнё въ какомъ-то
холодномъ, непріязненномъ свёть! Это бывало со мной и пройдеть!
Только скоре въ деревню, въ поле, за дёло и за гульбу 1).>

Не даромъ Станкевичъ сообщалъ другу такъ подробно и такъ краснорѣчиво картину душевнаго своего разстройства. Именно въ подобныхъ случаяхъ не было человѣка, болѣе способнаго разогнать мракъ, опустившійся на сознаніе, поднять силы человѣка и облегчить гнетъ идей, еще не потерявшихъ матеріальной доли тяжести отъ объясненія ихъ. Здѣсь дилеттантъ философіи былъ на своемъ мѣстѣ, и тотъ родъ творчества, который былъ ему свойственъ, проявлялся въ подобныхъ случаяхъ блистательнымъ образомъ. Вотъ почему съ такою охотой и съ такимъ рвеніемъ отвѣчалъ онъ на всякій призывъ недоумѣнія.

Принявъ за правило говорить въ нашемъ біографическомъ очеркъ единственно о тъхъ лицахъ, которыя уже завершили свою дъятельность и сошли съ поприща, мы руководствовались важнымъ соображеніемъ, что только такія лица представляють собою полноту нравственнаго выраженія, необходимую для приблизительной оценки человъческаго существованія. Въ этомъ смысль заслуживаеть упоминовенія еще одно имя — имя поэта Кольцова. Жизнь и отношенія этого человъка къ кругу Станкевича изложены въ мастерской біографіи, украшающей старое и новое изданіе его стихотвореній. Приведемъ въ дополнение къ ней только одну черту: Кольцовъ обыкновенно останавливался въ квартиръ Станкевича, когда случалось ему прівзжать въ Москву. Изв'єстень его практическій смысль и глубокая наблюдательность, таившаяся подъ покровомъ скромности и наружной простоты; но гораздо менње извъстно вліяніе на него со стороны людей, съ которыми познакомился опъ въ домв Станкевича. Несомивино, что оно ослабило всв тв привычки, которыя почерпнулъ Кольцовъ въ общемъ народномъ пониманіи ремесла и торговли. Онъ уже перестали составлять необходимую принадлежность его жизни и дали возможность смотрать на нихъ иронически, отдельно отъ себя, чемъ объясняется и расположение Кольцова часто затрогивать этотъ предметъ въ своихъ разговорахъ. По нашему,

¹⁾ То-есть за долгія охотничьи прогулки.

это посл'яднее обстоятельство свид'ятельствуетъ уже о свобод'я, какую онъ пріобръль въ отношеніи къ правильной ихъ оцънкъ и нравственному пониманію. Изъ переписки Кольцова, которая, къ сожальнію, еще не скоро можеть быть обнародована, открывается и другой, весьма замвчательный нсихическій факть. Впечатленіе, произведенное на него философическими опредъленіями жизни, природы и понятій, сильно потрясло творческую способность его и на время остановило ея дъятельность. Долго не могъ онъ обръсти того непосредственнаго взгляда на міръ, который составляеть сущность его поэзіи и открываеть тайны народнаго представленія образовь и поэтическихъ идей. Размышление заступило мъсто созерцания, спутало и затмило его. Но природа Кольцова, сильная во всёхъ своихъ проявленіяхъ, побъдила новые элементы, которые на время остановили ея правильную деятельность. Онъ обратилъ въ свое добро вопросы, возникшіе тогда передъ нимъ, чему свидътелями остаются нъкоторыя изъ его думъ 1). Онъ овладълъ размышленіемъ, какъ художникъ, и послъ мгновеннаго перерыва, вышелъ со стихотвореніями, которыя уже далеко оставляли за собой тв восьмнадцать пьесь, какія отобраны были въ 1835 г. Станкевичемъ и тогда же изданы имъ особою книжкой 2). Знакомство съ философскими началами, даже отрывистое, случайное и неполное, задержавъ на время фантазію его, потомъ возвысило ее, и дійствіе этихъ попытовъ философскаго образованія походить, въ приложеніи къ Кольцову, на обильный дождь, клонящій къ землів растительность для того, чтобъ

¹⁾ Думы Кольцова, особенно 1836 года, когда опъ ихъ особенно много произвель, могутъ подтвердить сказанное нами, хотя въ нёкоторыхъ, паиболёе удачныхъ, онъ показалъ необикновенную силу, разрёшивъ довольно счастливо труднёйшую задачу искусства: выразить поэтически отвлеченную мысль. Вообще же 1836 годъ былъ для него тёмъ годомъ колебанія таланта, о которомъ мы говорили, и это проявляется, кромё думъ, и въ стихотвореніяхъ другого рода. Только съ послёднимъ изъ нихъ по времени, именно съ пьесою: "Косаръ", поэтъ онять становится самимъ собою, по уже съ удвоенною силой таланта, и чёмъ далёе идетъ, тёмъ растетъ все болёе, до 1842 года, когда геній его, нодъ ударами болёзни и обстоятельствъ, ослабёваетъ снова. Кстати сказать, что задушевный другъ молодости Кольцова, Серебрянскій, первый его цёнитель, критякъ и воспитатель его эстетическаго чувства, быль тоже шеллингисть, какъ оказывается изъ статьи его: "Мысли о музыкѣ".

²⁾ Въ "Литературной Газеть" 1831 года, томъ 13, № 34, мы находимъ одно стихотвореніе Кольцова "Перстень", посланное Станкевичемъ въ редакцію тогда же, и при немъ слёдующую выписку, свидѣтельствующую о томъ, кавъ рано сталь онь заботиться о распространеніи извѣстности пашего поэта. Вотъ выписка: "Пѣсню сію издатель получилъ изъ Москвы при слёдующей запискѣ: "Вотъ стихотвореніе самороднаго поэта, г. Кольцова. Опъ воропежскій мѣщанинъ и ему не болѣе двадцати лѣтъ отъ роду; нигдѣ не учился и, занятый торговыми дѣлами по порученію отца, пишетъ часто дорогою, ночью, сидя верхомъ на лошади... Познакомьте читателей "Литературной Газеты" съ его талантомъ. Н. С—чъ".

она бодрѣе выпрямилась и свѣжѣе цвѣла. Вообще эта эпоха представляетъ любопытнѣйшую и не тронутую часть въ исторіи образованія Кольцова и его творчества.

Мы не станемъ излагать сущности того ученія, которое связывало всвхъ этихъ людей между собою. Для этого, какъ и для бояве полнаго изображенія ихъ характеровъ и взаимныхъ отношеній, надо имъть въ виду другую цъль, а не простой біографическій очеркъ, и самый трудъ долженъ имъть иныя условія. Станкевичъ и друзья его жили въ блаженныхъ Елисейскихъ поляхъ умозрвнія, гдъ всъ предметы земного міра вращались просвътленные, въ безплотной оболочкъ мысли, и юные мыслители выходили оттуда за темъ только, чтобъ бороться съ грубымъ, матеріальнымъ пониманіемъ вещей. Довольно замічательно, что въ 1838 году, когда начала Гегелевой философіи стали прилагаться у насъ къ искусству и вообще къ способу воззрънія на жизнь (см. «Московскій Наблюдатель» 1838), Станкевичь, въ Берлинв, и въкоторые товарищи его, у себя въ отечествъ, принимались только за азбуку всей системы, за первое звено ея - логику. Но такова была судьба всёхъ наукъ въ Россіи. Прежде источниковъ необходимо было вообще познакомиться съ духомъ науки, требовалось пробудить въ массъ публики мыслительное любопытство и уже потомъ направлять его въ самымъ источникамъ.

У насъ много смѣялись надъ туманностію отвлеченныхъ теорій изящнаго и надъ изложеніемъ философскихъ ученій, какія стали появляться съ 1838 года ¹). Смѣхъ этотъ былъ и несправедливъ, и легкомысленъ. Не маловажны были попытки указать законы творчества въ свѣтѣ непогрѣшительнаго отвлеченія, и тѣмъ самымъ подорвать, или по крайней мѣрѣ ослабить довѣренность къ мнѣніямъ, основаннымъ на одной прихоти человѣка. Не маловажно было усилить требованія публики отъ литературныхъ произведеній и вообще отъ предметовъ, подлежащихъ ея обсужденію, познакомивъ читателя

¹⁾ Можно указать на четыре переводныя статьи, составляющія, такъ-сказать, жилы, по которымъ нёмецкія метафизическія воззрѣнія притекли въ нашу литературу. Двѣ изъ нихъ напечатаны были въ "Телескопѣ" 1835 и двѣ остальныя въ "Московскомъ Наблюдателѣ" 1838 года. Къ числу первыхъ принадлежитъ статья о Гегелѣ, помѣщенная Станкевичемъ и уже нами упомянутая. За ней слѣдовалъ переводъ лекціи Фихте "О назначеніи ученыхъ" ("Телескопъ" 1835, часть 29, № 17). Далѣе въ "Московскомъ Наблюдателѣ" были статьи: "Гимназическія рѣчи Гегеля", съ предисловіемъ переводчика (1838, мартъ, книжка І, часть XVI) и "О философской критикѣ художественнаго произведенія", тоже съ объясненіемъ отъ переводчика (май, книжка ІІ, часть XVII). Внимательный читатель найдетъ въ выборѣ и содержаніи статей послѣдовательность, соотвѣтствовавшую степенямъ развитія идей въ кругѣ Станкевича. Бѣлинскій издалъ въ 1838 году всего 12 книжекъ "Наблюдателя", съ 1-го марта по 1-е сентября.

съ ихъ идеальнымъ представленіемъ и показавъ, какъ они могутъ быть поняты отвлеченною мыслію. Да и самый процессъ мышленія, на который тогда же обращено было вниманіе публики, есть, что бы ни говорили, первая ступень къ самопозпанію, и, можетъ-быть, знакомству съ нимъ мы обязаны невидимою преградой, мѣшающею уснѣху мелкихъ мыслей и мелкихъ страстей на поприщѣ современной намъ литературы.

Въ эту эноху господства философскихъ опредъленій, они отразились, какъ и слъдовало ожидать, не на одпой только умственной дъятельности Станкевича, но захватили въ кругъ свой и такія стороны жизни, которыя всего менье способны подчиняться имъ. Такъ было, напримъръ, съ послъднею любовью Станкевича, начало которой относится къ этому времени. Прежнее восторженное отношеніе къ жизни миновалось. Тогда онъ еще не зналъ, чего хотълъ, и потому хотълъ небывалаго и неизмъримаго. Теперь норывы къ какому-то необъятно-полному существованію улеглись; душевныя стремленія и фантазія обрыли свои границы, а съ границами — разумность и положительный цъли; но съ первымъ земнымъ существомъ, которое явилось, какъ отвътъ на тайные призывы сердца, у Станкевича начинается работа философской повърки и опредъленія страсти. Мы остановимся на этой подробности, такъ какъ она служитъ дополненіемъ къ картинъ его жизненной дъятельности, и по формъ, принятой ею въ своемъ развитіи, показываетъ еще любопытный примъръ сочетанія чувства и поэзіи съ разлагающимъ анализомъ и размышленіемъ.

Въ январъ 1835 г. Станкевичъ послъ деревенской жизни, описанной въ предшествующей главъ, пріъзжаетъ въ Москву, и здъсь, съ марта мъсяца того же года, начинается завязка довольно длинной сердечной исторіи, прошедшей черезъ самыя разнообразныя перипетіи. Предметъ, выбранный имъ тогда, былъ достоипъ его. Нравственная красота дъвушки пе выражалась бойко и ослъпительно, а, напротивъ, теплилась ровно и тихо подъ покровомъ дътской ясности сердца и безсознательной женской граціи. Вмъстъ съ тъмъ ей не были чужды особенныя требованія отъ жизни, раздъляемыя всты не были чужды особенныя требованія отъ жизни, раздъляемыя всты молодыми членами того семейства, къ которому она принадлежала. Требованія эти нельзя иначе пояснить, какъ сказавъ, что въ сущности они были переводомъ всты обыкновенныхъ условій человъческой природы на мистическій языкъ сердца и воображенія Такое истольсованіе вовсе не есть что-нибудь исключительное; оно, папротивъ, явленіе замъчаемое въ каждомъ образованномъ кругу; особенности оказываются только въ формахъ подобнаго истолкованія жизни, и всего болъе въ той мъръ, какая при этомъ соблюдается. Но иные

члены этого семейства предавались дёлу мистическаго и полуфилософскаго изъясненія жизненныхъ явленій съ неутомимою энергіей,
съ изумительною дёятельностію: довёренность къ своимъ представленіямъ міра была тутъ безграничная; убёжденіе въ ихъ дёйствительности слёпо, непоколебимо и часто въ словё, нечаянно вырвавшемся у человёка, въ звукё мелодіи, въ мимолетномъ явленіи природы, открывался для молодыхъ энтузіастовъ міръ необъятный, недоступный выраженію, но сильно чувствуемый. Жажда открыть духовное начало всего сущаго и погрузиться въ него была истиннонеутолимая. Надо, однако, сказать, что въ такомъ общемъ направленіи близкихъ ей лицъ, дёвушка, избранная сердцемъ Станкевича,
отличалась скорёе переимчивостію, чёмъ изобрётательностію въ этомъ
отношеніи. Она жила съ изящною простотой въ разноцвётной оболочкё догадокъ и предчувствій, которая создана была окружающими
для закрытія грубой, матеріальной стороны земного міра.

Въ томъ самомъ домъ, гдъ незадолго еще происходили сцены ревности и недоразумъній между Станкевичемъ и восторженною посвоему дъвушкой, преслъдовавшею въ немъ свой идеалъ, о чемъ мы говорили въ прошломъ отдълъ, сблизился онъ съ другою особою, которая стройнъе воплощала романтическія побужденія сердца при зарождающейся привязанности. Въ началъ марта 1835 г., онъ, кажется, уже имълъ причины предполагать сочувствие къ себъ, потому что въ письмъ отъ 13-го числа говорить съ восторгомъ и радостію, обличающими смутную надежду... «И четыре эти дня могли бы быть эпохою жизни, еслибъ все то, что я услышалъ въ это время, было правда. Не скажу пи слова — горестно будетъ разувъриться, а я почти разувърился. Но, другъ мой, еслибъ это была правда, еслибъ это было возможно-новая жизнь началась бы для меня. О, какъ созналъ я Провидъніе въ ту минуту, когда мнъ сказали это!> Неожиданный поступокъ молодой энгузіастки, бывшей его поклонницы, приходится къ этому времени. Она решилась именно подарить новой сопериицъ своей то счастіе, котораго сама искала, указала ей возможность сближенія съ пепокорнымъ своимъ идеаломъ и подкръпила ея начинающуюся любовь; но такъ какъ все это было дъломъ насилія своей природы и воспаленной головы, то вскор'в все и рушилось. Не прошло и мъсяца, какъ она лежала въ постели въ полномъ нервическомъ разстройствъ. Вплоть до новаго отъъзда въ деревню (въ іюль 1835), Станкевичъ, больной и присужденный, между прочимъ, пить минеральныя воды, остается подъ обаяніемъ этого великодушнаго поступка. Онъ выдумываетъ для себя обязанности, налагаетъ цъпи на всъ постороннія побужденія, движимый однимъ высокимъ чувствомъ своего долга. Эта тяжелая служба понятію о чести и достоинствъ человъка — заслоняетъ на время даже образъ новой привязанности: Станкевичъ боится ъхать въ Петербургъ, гдф тогда, кажется, находилось семейство последней, изъ опасенія разбудить чуткую подозрительность соперницы и подать новый поводъ къ самоотреченію и страданіямъ. Переписка его до отъвзда въ деревию представляетъ непрерывную цвиь намековъ, въ которыхъ хорошо отражается эта борьба съ обътомъ, принятымъ на себя по чувству великодушія и столь же мало удовлетворявшимъ его самого, какъ и то лицо, въ чью пользу онъ былъ сделанъ. Только въ декабръ 1835 переполняется для Станкевича мъра списхожденія и уступчивости. Онъ начинаетъ понимать все, что есть оскорбительнаго въ пепрошенныхъ жертвахъ, неделикатность ихъ и посягательство на самостоятельность человъка. «Я не могу слышать какого-нибудь памека равнодушно, пишетъ онъ отъ 2-го декабря, какого-пибудь великодушнаго упрека... Ты представить себъ не можешь, какъ мнъ надобли всъ эти пустяки: запутать себя въ нихъ такъ обидно, такъ унизительно.» Правда и то, что къ этому времени отпосится и ръшительный повороть его къ другому лицу драмы, хотя потребность здравой простоты и трезвости въ людскихъ сношеніяхъ способствовала не мало къ прекращенію этой опасной игры тончайшими чувствами человъческаго сердца.

Итакъ, въ іюль 1835 г. Станкевичъ увзжаетъ въ деревню; но туть образь новой привязанности вступаеть во всв права свои, забытыя на мгновеніе, и является ему во всей св'єжести, какую сообщаетъ предметамъ уединенное воспоминаніе. Напрасно Станкевичъ, върный правилу строгаго присмотра за собой, подвергаетъ допросу чувство свое, — оно преследуеть его и гонить изъ деревни. Въ сентябръ того же года онъ уже является опять въ Москву, увъряя какъ петербургскаго друга своего, такъ и самого себя, что будетъ продолжать путь до свверной столицы, но вивсто того онъ неожиданно перемъняетъ памъреніе и уъзжаетъ въ деревню, гдъ жило семейство полодой особы, оковавшей его мысль. Въ письмъ къ Я. М. Невърову, извъщая объ этомъ ръшеніи, онъ прибавляетъ, какъ-бы оправдываясь передъ строгимъ, взыскательнымъ своимъ другомъ: «Можетъ-быть, я возвращусь дъятельнъе и какую-нибудь потерянную недёлю вознагражу въ три дня. > Но уже дёло шло совсёмъ не о потеръ времени, а объ отвътъ на требованія души, успъвшей воспитать новую любовь.

Что происходило въ деревенской жизни, принявшей этого, впрочемъ, ожиданнаго гостя, — мы не зпаемъ. Знаемъ только, что 26-го октября Станкевичъ возвращается въ Москву, но уже со всёми признаками утраченныхъ надеждъ и мечтаній. «Да... пишетъ онъ

съ дороги, изъ Торжка, петербургскому другу, я похоронилъ свою последнюю надежду въ жизни и съ этихъ поръ принадлежу долгу и дружбъ: нътъ для меня другихъ чувствъ». По прибытіи въ Москву, онъ развиваетъ ту же самую мысль (письмо 10 го ноября) еще пол-· нье: «Грустно сознать, что тебь нечего ждать отъ жизни, что лучшая, любимая мечта твоя, съ которою ты сжился, погибла навсегда. Сначала я былъ внъ себя, ропталъ, но это продолжалось не болъетрехъ дней; я истощился въ борьбъ, и теперь душа моя въ летаргическомъ снъ.» Онъ сравниваетъ потерю надежды на любовь съпотерей близкаго человъка, оставляющею душу въ какой-то страшной серединъ между привычкой върить въ его существование и безотрадною действительностію. Та же болезнь сомненія слышится въ его письмахъ и черезъ два мъсяца, хотя выраженія Станкевича уже гораздо спокойнъе и унъренпъе. Въ декабръ 1835 Станкевичъ пишетъ изъ Москвы: «Это была фантазія, а не чувство во всей его силь, которое неистребимо. Нельзя было разстаться съ этою фантазіей безъ сожальнія, безъ муки. Я прожиль ньсколько тяжелыхъдней, пъсколько мучительныхъ ночей. Пока я убъждался-мив былобольнъе, нежели какъ я убъдился. Теперь змъя отъ сердца отпала...» Само собою разумъется, что естественный спутникъ всякаго сомпънія — нравственная пустота пришла тотчась за предполагаемою утратой чувства. Станкевичъ почувствоваль себя духовно-одинокимъ, несмотря на важное значение, какое придаваль онъ дружбъ въжизни своей. Чтобъ избавить себя отъ апатіи, приближеніе которой опъ какъ будто слышитъ, Станкевичъ погружается съ необычайною энергіей въ науку и преимущестенно въ философскія изследованія. Къ этому времени принадлежатъ всв его живыя, превосходныя письма къ Я. М. Невърову и Т. Н. Грановскому о философіи и исторіи. Можно подумать, что чемъ мене находиль онь съ одной стороны твердой оцоры въ жизни, тъмъ сильнъе искалъ ее съ другой — въ занятіяхъ. Въ такомъ состоянін духа онъ увзжаетъ въ деревню, гдв и встрвчаетъ повый 1836 годъ, вспоминая при этомъ одну подробность ребяческаго своего возраста. Какой-то прикащикъ, начитавшійся німецких в мистиковь, увітряль его тогда, что въ 1836 году свершится свътопреставленіе. Станкевичь утьшаль себя мыслію, что это еще очень далеко, и что тогда ему будеть ужъ очень многолътъ – двадцать два года. И вотъ этотъ 1836 годъ наступилъ, исполнилось двадцать два года: свътопреставление не пришло, и жизнь еще была впереди.

Въроятно, уже многіе изъ читателей нашихъ замътили, что всъ объты одиночества и другія завъренія Станкевича свидътельствуютъ скоръе о минутной задержкъ, такъ сказать, чувства, чъмъ о без-

возвратной потеръ его. Случайныя обстоятельства, которыхъ мы не знаемъ, отбросили любовь во глубь души, и Станкевичъ принялъ это за ен смерть, какъ иногда случается. Едва успълъ онъ поселиться въ деревнъ, какъ тотчасъ же и покидаетъ ее. 24 января 1836 г. онъ уже въ Москвъ и пишетъ коротенькую записочку Я. М. Невърову, извъщая его о прибытии туда же и семейства, съ которымъ опъ уже теперь связанъ былъ своимъ сердцемъ. Онъ проводить въ Москвъ всю зиму и часть весны до мая мъсяца, и во все это время пишетъ не болве трехъ писемъ къ другу, изъ которыхъ въ последнемъ зоветъ его уже съ собою на Кавказъ. Въ этихъ письмахъ Станкевичъ уже обходитъ всв подробности, касающіяся настоящаго вопроса, весьма мало говорить о себъ, какъ-бы стыдясь онровергнуть такъ скоро прежнія свои завъренія, какъ-будто робъя передъ откровеннымъ словомъ, чъмъ должна также объясняться и несвойственная ему линость въ корреспонденціи. Легко догадаться, что внутренній міръ его снова озаренъ и согрътъ любовью, которая никогда и не умирала въ его сердцъ. Дъйствительно, тутъ нроизошло сближение между нимъ и предметомъ его нъмыхъ удивлений, сближеніе, ноказавшее обоимъ настоящее состояніе ихъ сердецъ. После того путь, который имъ предстояль, повидимому, быль намъченъ ужъ очень ясно, начиная съ нерваго слова любви и до послъдней цъли взаимныхъ откровеній — брака но чувству. Самъ Станкевичъ видълъ этотъ бракъ вдали какъ необходимое слъдствіе новаго своего положенія, но онъ остановился именно передъ этимъ слъдствіемъ. Въ сущности оказалось, что страсть его еще не выросла до той мъры, чтобъ подчинить совершенно его волю, подсказать твердое, непреодолимое ръшение. Можетъ-быть, для этого не доставало ей очень немногаго, одной кашли, по недостатокъ этой последней перенолияющей капли уже заранъе поражалъ безсиліемъ всякую ръшимость. Въ самой страсти Станкевича видимъ необыкновенную добросовъстность. Находясь нодъ вліяніемъ любимаго существа, исполненнаго кроткой прелести, онъ, однако же, зорко проникаетъ умственнымъ окомъ слабыя стороны собственнаго чувства и не хочетъ вступать съ нишъ въ мировую сдълку, какъ поступиль бы всякій другой на его мъстъ — и можетъ-быть съ большимъ благоразуміемъ. Но Станкевичъ руководствуется въ жизни не столько благоразуміемъ, сколько нравдою. Избъгая самомалъйшаго нризнака пеискренности, Станкевичь пачинаеть номышлять объ отъёздё за-границу. Причинь для отъезда было, действительно, очень много, начиная съ разстроеннаго здоровья и до необходимости окончить свое образование. Ими легко было нрикрыть необходимость другого рода — необходимость положить конецъ отношеніямъ, которыя ему кажутся уже не

совсёмъ правдивыми. Планъ отъёзда за-границу, по семейнымъ обстоятельствамъ, не могъ осуществиться ранѣе следующаго года. Оставался Кавказъ, куда поспёшно и отъезжаетъ Станкевичъ въмаѣ 1836 г., приводя въ исполнение мысль, если не о разрывѣ, то по крайней мѣрѣ о временной разлукѣ.

Если уже и сказанное нами носить признаки тонкихъ метафизическихъ опредъленій, то послъ свидътельства самого Станкевича, которое сейчась приведемъ, философское происхожденіе всѣхъ его колебаній становится несомнѣннымъ. Документъ нашъ интересенъ еще и тъмъ, что заключаетъ въ себъ воззрѣнія и нравственныя основанія большей части его московскихъ друзей. Это исповѣдь не одного Станкевича, но и цѣлаго круга въ тотъ періодъ, которымъ занимаемся. З1-го мая, передъ самымъ отправленіемъ своимъ на Кавказъ, въ одной изъ деревень отца, Станкевичъ чертитъ слѣдующія строки, адресуя ихъ тому дилеттанту-философу, который, какъ видѣли, жилъ съ нимъ иногда вмѣстѣ на одной квартирѣ въ Москвѣ. Другъ этотъ хорошо зналъ тайны его сердца и тайны семейства, къ которому оно было обращено. Надо прибавить еще, что существенная часть письма написана по-нѣмецки; но мы предлагаемъ здѣсь читателю вѣрный переводъ его, хотя и съ нѣкоторыми необходимыми пропусками.

«Я не знаю, какъ назвать мою душу—совершенно пустою или только опустошенною. Опустошенною—но что же было въ ней прежде? Пустою -- но пустая душа есть достояніе глупцовъ, а я не считаю себя глупцомъ, ни ты, смъю надъяться Въ ней дъйствительно было что-то, но это что-то. любезный другъ, такъ мало, такъ ничтожно!... А я хотъль быть богачомъ, - и въ этомъ моя ошибка, моя вина. Я надъялся сдълаться счастливымъ, счастливымъ безгранично, -- и думаль получить это счастіе внішнимь образомь. Любовь — віздь это родъ религіи, которая должна наполнять каждое меновеніе, каждую точку жизни. Иначе нельзя понимать любовь человъку, уже приведенному къ какой-либо степени сознанія. Но для того, чтобъ иснытывать подобную любовь, надо быть болье развитымъ... Не дано было мив творческой жизни, образуемой такою любовью: правда, я имълъ объ ней понятіе, но въ свою собственность превратить ее не могъ. Моя мысль не обнимала такой жизни во всемъ ея пространствъ: въ послъднее время, чувство уже начинало объяснать мнъ ее, но съ другой стороны я все еще продолжалъ искать среднихъ, обыкновенныхъ путей, къ которымъ мы всв привыкли болве менње издътства.. Это было несчастіе, и послъдняя страшная катастрофа 1) можетъ-быть была необходима, чтобъ исцелить меня отъ

¹⁾ Сомнъніе въ чувствъ и разрывъ съ предметомъ, его возбуждавшимъ.

романтическихъ стремленій (Schönseeligkeit), отъ сонливости души, чтобъ разрушить выдуманныя, фантастическія представленія жизни, чтобъ выбросить меня въ свѣтъ, гдѣ могъ бы дѣйствовать какъ человъкъ, какъ разумное существо, или вполнѣ выказать все свое ничтожество. Тогда оставалось бы самоубійство; но никогда не рѣшусь я на подобную низость и до послѣдняго моего часа не потеряю надежды сдѣлаться когда-либо человъкомъ. Чтобъ подѣлиться съ кѣмъ-нибудь добромъ своимъ, надо еще обладать чѣмъ-нибудь. Потребность любви должна быть вызвана не бѣдностію души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищетъ кругомъ себя номощи; нѣтъ, любовь должна выходить изъ богатства нашего духа, исполненнаго силы и дѣятельности и отыскивающаго въ самой любви только новую, высшую, полнѣйшую жизнь...> И вотъ какого рода соображенія пересѣкали путь Станкевичу, и вотъ на какого рода соображенія должна была отвѣчать любовь! Онъ былъ правъ, сознавая трудность задачи, поставленной самому себѣ. И какъ ни жалка участь существа, замѣшаннаго въ подобную распрю между сердцемъ и отвлеченными требованіями, Станкевичъ былъ правъ и передъ нимъ, когда для достиженія своихъ цѣлей долженъ былъ пройдти мимо его и оставить его одинокимъ па землѣ. Въ жизни бываютъ случайныя неизбѣжныя жестокости, въ которыхъ нѣтъ виновныхъ, и въ которыхъ жертва и приноситель жертвы одинаково заслуживаютъ уваженіе.

Суровая природа Кавказа произвела непріятное впечатльніе на Станкевнча: онь и вообще не расположень быль ко всему, что представляеть видь матерільной силы, хаотическаго безиорядка и борьбы элементовь. Ему нужно быль сперва подумать, чтобь оцьнить красоты Кавказа въ ихъ величавой дикости, и только посредствомь обсужденія дошель онь до возможности принять впечатльніе и отдать въ немъ отчеть. «Здысь, говорить онь, природа дика и печальна; здысь начинается общирная колыбель человычества; властительницей является здысь природа; передь ней смиряется быдное человычество, чувствуеть свое дытское безсиліе и пе смысть мечтать о своемь первенствы... Огромность и дикость давять душу, и постепенно, по скоро равняется она съ этими утесами и безпредыльными равнинами. Впрочемь, минеральныя воды Кавказа еще болые разстроили его здоровье, и въ августы 1836 года онъ возвращается въ Удеревку, гды предается планамь будущаго своего отъйзда за границу и однажды восклицаеть, припоминая всегдашнюю склонность свою—искать счастія въ семейной жизни: «мны надо больше твердости, больше жесткости!»

Послъ двухъ мъсяцевъ отдыха онъ опять является въ Москву

(въ октябръ 1836) и остается тамъ до весны 1837 года, покончивъ въ это время, какъ мы знаемъ, всѣ разногласія съ петербургскимъ другомъ Невъровымъ, касательно философскихъ запятій и изложивъ ему замъчательныя мысли по поводу полученнаго извъстія о смерти Пушкина.

Не такъ легко было ръшить вопросъ о любви. Въ началъ зимы 1836—1837 года семейство его избранной прибыло въ Москву. Тутъ же находился и пріятель, философъ-дилеттантъ, который былъ посвященъ во всѣ гайны этой исторіи. Къ нему слѣдовало прибѣгнуть теперь за совътомъ и помощью. Можно угадать, какого рода было то и другое. Въроятно, другъ Станкевича, весьма сильный въ разръшении всъхъ противоръчий діалектическимь способомъ, старался устранить препоны, полагаемыя размышленіемъ и осторожностію ума, указавъ на выходъ, который предстоялъ ему вслъдствіе логической необходимости. В вроятно также, что Станкевичъ, следуя за силлогизмами друга, полагалъ, что и жизнь слъдуетъ пепремънно за ними. Но когда онъ обращался прямо къ своему чувству, оно, несмотря на всв вызовы, оставалось какъ-то бездвиственно, слабо и бользненно, хотя и пе потеряло еще последнихъ признаковъ жизни. Нетъ мивнія, что у Станкевича были минуты, когда онъ не зналъ самълюбитъ ли онъ, или сердце его уже свободно отъ волненій страсти. Мы видимъ изъ переписки, что по внушеніямъ того или другого признака, открытаго въ себъ, онъ поперемънно или стремится цёли, которою должна была увёнчаться его любовь, или въ изнеможеніи и отчанніи останавливается посреди пути и съ томленіемъ ждетъ какого-то откровенія, которое бросило бы ему свъть на собственное его сердце. Онъ не могъ однако же выносить долго этихъ потемокъ сознанія, если смѣемъ выразиться такъ, даже и по природѣ своей, искавшей ясности и тамъ, гдъ она трудно обрътается. Нътъ сомнънія, что Станкевичъ скоро приняль бы опредъленное ръшеніе для своихъ отношеній къ молодой особъ и не скрываль бы отъ нея переміны, происшедшей въ его сердці, еслибъ болізненное состояние этой девушки не требовало въ этомъ деле величайшей осторожности, необходимость которой ясно видёли близкіе ея друзья, указывавшіе эту необходимость и Станкевичу. Столько же изнуренный бользнію, сколько и всеми этими событіями внутренняго своего кіра, Станкевичъ отодвигаетъ посл'вднее р'вшеніе на далекое, неопредъленное время, слъдуя въ этомъ еще болье совътамъ разстроенной души, чёмъ близкихъ людей и своихъ родныхъ. Последнія письма больного и страдающаго Станкевича наполнены единственно распоряженіями о наспорть за границу, объ отставкь, о ходь этого дъла въ Петербургъ, сграхомъ за уснъхъ его и ожиданиемъ извъстій. Наконецъ покидаетъ онъ родину осенью 1837 г., и мало-по-малу, во время пути, начинаютъ возвращаться въ истомленную душу его покой, порядокъ и равновъсіе силъ.

Мы занялись нёсколько подробно описаніемъ всей этой исторіи любви потому именно, что въ нашихъ глазахъ опа заключаетъ въ себё поученіе. Кто не видитъ, что въ ходё ся, развитіи и концё, есть какой-то норокъ или недостатокъ, мёшающій каждому ся періоду достичь настоящаго своего развитія? Порокъ этотъ, однакоже, есть норокъ силы, или лучше, слишкомъ высокаго пониманія предметовъ, причемъ выпущена изъ вида ихъ жизненная, простая сторона. Такъ всегда наказываются излишне-строгія требованія отъ себя и другихъ, исключительныя, непомёрныя ожиданія, паклонность возводить мысли и поступки до послёднихъ предёловъ идеальныхъ притязаній. Бёды, происходящія оттуда, внолнё заслужены; но люди, провинившіеся такимъ образомъ, становятся навсегда любезными, дорогими именами для нашего сердца и для нашей памяти.

Скажемъ въ дополненіе, что самъ предметъ, возбудившій эту задушевную драму, пичего не потерялъ отъ неожиданнаго ея развитія. И до отъвзда за границу и по отъвздв Станкевичъ находился съ нимъ въ постоянной перепискв. Утраты свершились въ душв Станкевича; лицо, державшее нити этихъ событій, не утрачивало ничего. Правда, что передъ женскимъ сердцемъ трудпо скрыть игру твхъ ощущеній, которой опо само же дало поводъ; правда, что оно понимаетъ тотчасъ утрату чувства, подъ какой бы формой она пи скрывалась... Бываетъ, что оно утвшается.—и это составляетъ одно изъ счастливвйшихъ свойствъ человъческой природы, по бываетъ и наоборотъ. . Влагородная, поэтически-возвышенная дъвушка скончалась вскоръ по отъвздъ Станкевича за грапицу. То-есть, скончалась отъ какой-нибудь болъзни? спроситъ благосклонный читатель. Дъйствительно, она скончалась отъ обыкновенной болъзни, но въ томъ дъло, что зародыши обыкповенныхъ болъзней бываютъ самыхъ разнообразныхъ свойствъ и имъютъ иногда такое отдаленное и даже странное происхожденіе, что пе поднадаютъ изслъдованію доктора и науки.

Заключимъ разсказъ нашъ послъднею историческою данною, не лишенною тоже своего рода поученія. Образъ любимой дъвушки не заслонилъ въ глазахъ Станкевича другой особы, съ которою онъ находился въ чистыхъ дружественныхъ отношеніяхъ. Самое свойство ихъ взаимпыхъ отношеній не давало имъ никакихъ правъ другъ на друга и еще менте могло породить какого либо рода колебанія, волненія и порывы. Такъ все было просто между ними, что они и не думали подвергать изслітдованію и повтркт чувство взаимнаго и безкорыстнаго расположенія другъ къ другу. Чтить меньше обра-

щали они вниманія на себя, тёмъ привязанность становилась крёпче, лишенная всякаго ухода и нянчанья. Они были связаны безъ узъ и тёмъ сильнёе, чёмъ свободнёе могли удаляться другь отъ друга. По отъёздё за границу Станкевичъ вспомнилъ объ этой дружбё, не оставившей пикакого слёда въ перепискъ; больной прибёгъ къ послёднимъ ея услугамъ, и она явилась къ нему и успёла закрыть ему глаза на вёкъ въ 1840 г. Такъ дёйствуетъ сама жизпь въ противоположность съ нашими поправками, украшеніями и толкованіями ея.

V.

двъ зимы въ берлинъ.

Благодаря семейной перепискъ Станкевича, мы можемъ просявдить путь его и пребывание за границей довольно подробно. 24-го августа осмотрълъ онъ Кіевъ, и подвигаясь затъмъ къ австрійской границъ, 31-го числа былъ уже въ Лембергъ. Польское и жидовское народонаселеніе, окружающее границу нашу съ этой стороны, возбудило тотчасъ же юморъ Станкевича. Довольно забавно разсказываеть онь, что посль какого-то жидовскаго обмана при промънъ денегъ, онъ уже не могъ болве терпвть жидовъ, и каждому приходившему къ нему еврею всегда говорилъ: Zum Teufel, на что каждый еврей всегда отвъчаль: Во вонть эрь день? Забавную шутку сыграль съ нимъ, по словамъ Станкевича, и одинъ почтальонъ, узнавшій о его повопріобр'ятенномъ отвращеніи отъ услужливыхъ факторовъ. Въвзжая на дворъ лембергской гостинницы, онъ сталъ кричать: «чи нема ту жидовъ? Панъ не може ихъ видэть». Все это и даже усталость отъ путешествія не могли поколебать обыкновеннаго чувства довольства, которое испытывается при началъ странствованія по знакомымъ, хотя еще и невиданнымъ землямъ. «Что значить воображение! говорить Станкевичь, - за Бродами мнв казалось, что я въвхаль совсвиъ въ другой міръ, что и трава тутъ не такъ растетъ, и небо не такъ смотритъ, а какъ почтальонъ заигралъ въ рожокъ, я самъ не знаю, что со мною сделалось: такъ весело, хоть плясать! > Дъйствительно, это было воображение, потому что Станкевичъ Вхалъ больной и торопился въ Карлсбадъ, по пути завъряя родныхъ въ отличномъ состояніи своего здоровья и своего духа. Въ началъ сентября Станкевичъ былъ въ Краковъ и почелъ за нужное осмотръть извъстныя Величковскія соляныя копи. Проводникъ освъщалъ для него факелами и бенгальскимъ огнемъ фантастическіе корридоры и блещущія залы копей. Въ одпой изъ разноцвѣтныхъ пропастей ихъ, внезапно озаренной синимъ фейерверочномъ огнемъ, Станкевичъ не могъ удержаться отъ чувства страха. «Нельзя не струсить, говорить онъ, видя надъ собой страшныя глыбы.» Впечатлительность Станкевича была неимовѣрна. Во время пребыванія въ Римѣ (1840), при осмотрѣ какой-то развалины, лежавшей на пути изъ Альбано, одному изъ товарищей его вздумалось закричать громкимъ голосомъ: Divus Caius Julius Caesar. Эхо развалины отозвалось на голосъ какъ будто со стопомъ. Веселый и разговорчивый дотолѣ, Станкевичъ вдругъ поблѣднѣлъ, умолкъ и, послѣ нѣсколькихъ секундъ молчанія, словно переживъ сильное внутреннее потрясеніе, сказалъ съ упрекомъ товарищу: «Зачѣмъ вы это сдѣлали?» Организація Станкевича, нѣжная по природѣ, въ послѣдніе годы его жизни сдѣлалась чутка и воспріимчива до изумительной степени. Воображеніе его всегда бодрствовало, несмотря на слабость физическихъ силъ, а можетъ-быть и по причинѣ этой слабости.

бость физическихъ силъ, а можетъ-быть и но причинъ этой слабости.
Возвращаясь къ путешествію Стапкевича, мы видимъ изъ дневника его, что 9-го септября, ст, ст., былъ онъ въ Ольмюцъ, а 14-го въ Прагъ Въ Ольмюцъ пробуетъ онъ высказать личное висчатлъніе отъ первой готической церкви, встреченной имъ на пути, и отъ перваго могущественнаго органа, который загремѣлъ для него подъ ея сводами. И то и другое ему давно было знакомо въ понятіи, но здѣсь онъ пачинаетъ чувствовать предметы и спѣшитъ разложить и опредѣлить свое ощущеніе. Въ Прагѣ онъ встрѣчается съ нидерландскою натуралистическою школой живописи XV столѣтія, съ чуднымъ Гемлингомъ, который вмѣстѣ съ братьями Ванъ-Эйками былъ родоначальникомъ знаменитой школы, породившей Рубенсовъ, Ванъ-Дейковъ, Рембрандтовъ и проч. Первые образцы искусства, встръченные имъ, вызывають на свъть природное эстетическое чувство его и способность непосредственной, личной оцънки изящнаго. Дневникъ его въ городахъ, упомянутыхъ нами, есть просто указатель никъ его въ городахъ, упомянутыхъ нами, есть просто указатель предметовъ, по указатель, по нашему мнѣнію, необычайно тонкій и умный. Видно съ перваго раза малое знакомство съ сущностію того и другого рода искусства и недостатокъ навыка въ оцѣнкѣ пхъ, но есть возвышенное, свѣтлое и оригинальное пониманіе ихъ въ общей идеѣ, чѣмъ Станкевичъ отличался и впослѣдствіи при своихъ сужденіяхъ о пластическихъ искусствахъ вообще. Слово его всегда затрогивало и шевелило душу. Отъ подобныхъ ему профановъ въ образовательныхъ искусствахъ и можно услышать мѣткое сужденія откривающее новую сторону предмета насто неудовимую сужденіе, открывающее новую сторону предмета, часто неуловимую для глаза, уже свыкшагося съ нимъ. Замѣчаніе это могли бы подтвердить художники наши, Пименовъ и Завьяловъ, встрѣтившіеся

съ нимъ въ Прагѣ на пути своемъ въ Римъ ¹). Какъ образецъ свѣжести и несомнѣнной возвышенности его образа мыслей можно представить читателю идеи его объ отношеніи музыки и живописи къ храму и служенію, находящіяся въ его перепискѣ. Весьма замѣчательное предчувствіе истины показалъ Станкевичъ и при первомъ, почти нечаянномъ столкновеніи съ картиной художника XV вѣка, содержаніе которой передаетъ онъ мастерски въ нѣсколькихъ словахъ.

Въ Прагъ Станкевичъ видълъ у Палацкаго и у Шафарика чешскихъ литераторовъ и былъ тронутъ до слезъ ихъ дътскою, сыновнею привязанностію къ родинь, ея преданіямъ и пъснямъ, и только разкое, исключительное превознесение одной славянской національности н'ясколько нарушало гармонію въ задушевныхъ сношеніяхъ съ ними. Станкевичъ, только-что вытхавшій изъ Россіи, весь обращень быль лицомь къ Европв и не могь раздвлять ихъ презрвнія къ европейской цивилизаціи, весьма объяснимаго особеннымъ положениемъ тамошняго края. Вотъ нъсколько строкъ о народности, написанныхъ имъ въ Прагв и какъ будто отвечающихъ на споръ, недавно возникшій объ этомъ предметь. «Чего хлопочуть люди о народности? Надобно стремиться къ человъческому, свое будеть по неволъ. На всякомъ искреннемъ и непроизвольномъ актъ духа невольно отпечатывается свое, и чемь ближе это свое къ общему, твиъ лучше. Гемлингъ вврно не хотвлъ написать Нвику (въ картинъ, представляющей встръчу Елизаветы и Маріи и находящейся въ Прагъ въ церкви Св. Вита), но его лицо по неволъ вышло такъ. хоти на немъ святое выражение; а эта индивидуальность и составляетъ красоту. Это все равно, если бы я, замътивши, что у многихъ людей, являющихся въ обществъ, есть свои особенныя манеры, старался бы непремённо сдёлаться оригинальнымъ въ этомъ отношеніи и сталь бы подражать отцовскимь и діздовскимь манерамъ. Кто имъетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всъхъ своихъ дъйствіяхъ; создать характеръ, воспитать себя — можно только человъческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дъйствій значитъ хотъть продлить для него время дътства: давайте ему общее человъческое и смотрите, что онъ способенъ принять, чего недостаетъ ему? Вотъ это угадайте, а поддерживать старое натяжками -- это никуда не годится.»

¹⁾ Станкевичъ довольно оригинально разсказываетъ о встрѣчѣ своей съ Пименовимъ, котораго зналъ и прежде. Онъ освѣдомился по газетамъ о пребывани художника въ Прагѣ: "На другой день рано поутру надѣваю поскорѣе теплый сюртувъ и бѣгу... Постучавшись раза два въ дверь, я отворилъ ее и спросилъ: ist Herr Pimenoff hier?—Ich habe kein Geld, отвѣчаетъ онъ, думая, что въ двери лѣзетъ капуцинъ. Онъ не узнавалъ меня до тѣхъ поръ, пока я не подошелъ къ самой его постелѣк.

Наконецъ 16-го сентября добирается онъ до Карлсбада и тутя пишетъ къ Я. М. Невърову и Т. Н. Грановскому, ожидавшимъ его въ Берлинъ: «Вы думаете, что вы важные люди, потому что стоите въ Friedrichstrasse... да мнъ что за надобность! Знаю я ваши въ Friedrichstrasse... да мнъ что за надобность! Знаю я ваши шашни... дайте мнъ прівхать въ Берлинъ; я васъ отпотчую... будетъ вашему брату гонка. > Правда и то, что оба пріятеля, получивъ наконецъ извъстіе, что Станкевичъ благополучно довхалъ до Карлсбада и намъревается зимовать въ Берлинъ, пустились выплясывать раз de deux, какъ гоголевскій маіоръ Королевъ, по замъчанію Станкевича. Нельзя сказать, чтобы Карлсбадъ имълъ сильное вліяніе на здоровье его, хотя онъ и пробылъ тамъ до 5-го октября, то-есть почти три недъли. Тому мъшало и частое уклоненіе отъ строгой, однообразной, монашеской жизни, необходимой при лъченіи водами, но мало соотвётствовавшей природё его, а также и неспо-койное состояніе души — остатокъ тёхъ волненій, которыя пережиль онъ въ Россіи. Горько жалуется онъ на свою врожденную способ-ность къ мечтательности, на скорую довёренность къ первому, не-ясному чувству сердца, что тогда называлось прекраснодушіему (съ нёмецкаго Schönseeligkeit). Глаза его обращаются совсёмъ въ другую сторону; онъ помышляеть о женщинь, связанной формальными узами и потерявшей чувство, которое даетъ имъ смыслъ и значеніе. Твердо защищаетъ онъ передъ другомъ естественныя права ея, во имя духа, который долженъ оживлять каждый человъческій актъ, имя духа, которыи должень оживлять каждый человъческий акть, каждое человъческое сношеніе—и защиту эту, по справедливости, называеть новымь періодомь своего развитія. Какъ бы то ни было, но Карлсбадъ остался однимь изъ дорогихъ его воспоминаній. Въпутешествіяхъ случается часто, что первый городъ съ ясною національною физіономіей оставляеть неизгладимое впечатлѣніе у человъка, несмотря на множество другихъ посъщенныхъ имъ городовъ, и ярче и полнъе выражающихъ тотъ же характеръ. Въ Карлсбадъ Станкевичъ обрълъ тотъ нъмецкій міръ, о которомъ думалъ съ дътства, съ которымъ познакомился сперва, какъ самъ говоритъ, посредствомъ рыцарскихъ романовъ, затѣмъ посредствомъ фантастическихъ повѣстей, про который и за который говорили ему издавна всѣ любимъйшіе писатели его. Понравились ему и простота нѣмецкой жизни, отсутствіе празднаго барства, легкость сношеній между людьми, и признаки старой цивилизаціи, видимые на самыхъ мелкихъ вещахъ и повсюду умягчившіе не только нравы, но самое слово и выраженіе мысли. Затъмъ явились типы, характеры, физіономіи, которые были только живымъ воплощеніемъ того, что уже давно забавляло, трогало и смъшило его за книгами. Онъ пріобрътаетъ себъ большого друга въ часовыхъ дълъ мастеръ Гофманъ и еще двухъ

такихъ же искреннихъ друзей при повздкв въ Зедлицъ, именно: золотыхъ дёлъ мастера изъ Эгера и органнаго мастера оттуда же. Онъ присутствуетъ на всёхъ балахъ ихъ, на стрёльбё въ цёль на вечернихъ собраніяхъ за пивомъ подъ руководствомъ неутомимаго Гофмана: «Дымъ столбомъ, говоритъ Станкевичъ, пиво ръкою, одинъ музыканть играеть на скрипкъ, иногда припъвая для большей вытрара, трара. причемъ гражданство хохочетъ.» разительности: Услужливость неимовърная. Хозяинъ кабинета для чтенія, куда Станкевичъ зашелъ отъ скуки, тотчасъ узнаетъ въ немъ, хотя и не совстви впопадъ, страстнаго любителя политики, предлагаетъ ему два №№ Journal des Débats на домъ и учтиво замъчаетъ: «Ohne Politik zu lesen ist man doch todt» (не читать о политикъ все равно, что быть мертвымъ). Тутъ же встрвчаетъ Станкевичъ и нъмецкихъ гелертеровъ, и студентовъ, и тъхъ дъвушекъ, которыя, весело проработавъ целую неделю, идутъ, въ праздникъ, въ церковь съ книжками въ рукахъ и съ серьёзпымъ выражениемъ на лицъ, а вечеромъ также серьёзно, но только безъ книжекъ — на вальсъ. Не пропускаетъ Станкевичъ безъ особаго вниманія и шаловливыхъ пансіонерокъ, которыя, узнавъ въ немъ иностранца, всв въ одинъ голосъ закричали при встрвчв съ нимъ: «Guten Morgen». Затвиъ еще театръ: оперы, исполняемыя второстепенными пъвцами съ добросовъстными и неимовърными усиліями, комедіи, которыя, по замъчанію Станкевича, суть не что иное, какъ дътскія нравоучительныя пьесы, но съ такими уморительными выходками и комическими сценами, что едва усидишь на стуль отъ смвха, наконецъ драмы и трагедін, гдф мимика, декламація и позы артистовъ достигають последнихъ пределовъ возможнаго... Какъ будто въ соответствие съ внъшнею жизнію, Станкевичъ читаетъ въ Карлобадъ романъ Тика: «Der junge Tischlermeister» (молодой столярь), гдв умный графь, любитель театра и построекъ, ъдетъ съ другомъ своимъ, умнымъ столяромъ, въ свой замокъ, и оба на дорогъ поминутно встръчаютъ избранныя происшествія и событія, которыя подають имъ поводъ къ длиннымъ разсужденіямъ объ искусствъ, обществъ и отношеніяхъ, существующихъ между людьми. Эстетическія сужденія, высказываемыя степеннымъ столяромъ, уже гораздо трезвъе, проще Тофмановскихъ мнвній и во многихъ случаяхъ мвтки и вврны, событія иногда действительно интересны и забавны, основная мысль романа — о невозможности натянутыхъ связей — тоже имветъ долю правды; но механическая постройка романа, до крайности нехудожественная, и самъ онъ, пропитанный страстію къ среднев вковому порядку вещей, обличаеть уже слишкомъ наклонность къ сентиментальному пониманію будничной німецкой жизни, которая въ немъ и

отражается очень полно. Станкевичь остался чуть ли не послѣднимъ и единственнымъ паціентомъ Карлсбада: дѣвушки при источникахъ дрожать и жмутся отъ холода по утрамъ, когда онъ подходитъ къ нимъ за стаканомъ, но разстройство груди мѣшаетъ ему выѣхать ранѣе.

22-го октября Станкевичъ прибылъ въ Дрезденъ и разумъется прямо въ галлерею къ знаменитой Мадоннъ. «Я тотчасъ узналъ ее, говорить онь, сердце упало у меня, я почувствоваль въ ту же минуту, что эта картина не для меня существуеть.» Черта замъчательная, именно тъмъ, что проникнута искренностію. Станкевичъ встръчаль туть опять впервые отвлеченную красоту и пдеализацію итальянскаго искусства, какъ прежде встрвчалъ натурализмъ нвмецкой школы съ примъсью религіознаго созерцанія. Но послъднее легче было уразумъть съ перваго раза, а для пониманія Рафаэлевой эпохи живописи необходимъ уже нъкоторый опыть, нъкотораго рода подготовка, запась свъдъній и понятій. Станкевичь оставиль маленькое письмо, образцовое (Дрезденъ, 22-го октября) по мъткости, съ которою выражены въ немъ усилія мысли овладъть предметомъ, какъ будто закрывшимся для него въ своемъ величи и не поддававшимся сознанію. Везотчетно бродилъ глазъ Станкевича по полотну, не различая ничего, или усматривая однъ подробности. Съ какимъ-то отчаяніемъ напрягаетъ онъ вниманіе, — что-то мелькнетъ въ его умѣ и исчезнеть... Онъ отводить глаза отъ картины и обращаеть ихъ сперва на Корреджіо, потомъ на Карла Дольче, и Карлъ Дольче кажется ему граціознъе, прелестнъе... Устыдившись собственнаго впечатлънія, онъ ближе всматривается и находить что-то манерное въ Св. Цециліи посл'вдняго... Поднимаеть опять глаза на Мадонну: она какъ будто шевельнулась... и часть ея величія, именно: благородное выраженіе материнской любви ярко бросается ему въ глаза. Сближеніе съ Мадонной д'влается возможнымъ. Душевный процессъ, разложенный Станкевичемъ, — есть просто исторія развитій понятій въ каждомъ даровитомъ человъкъ, но у Станкевича она прошла быстро, въ нъсколько мгновеній, свидътельствуя о благодатномъ свойствъ его природы. Письмомъ изъ Дрездена заключается вся переписка Николая Владиміровича съ друзьями въ 1837 году; она возобновляется только въ августъ слъдующаго года, спустя шесть мъсяцевъ, потому что все это время онъ уже жилъ вмъстъ съ ними въ Берлинъ. 13-го октября прибылъ Станкевичъ въ Потсдамъ и еще изъ окна дилижанса видълъ подходящую къ почтъ фигуру мужчины, въ длинномъ, тепломъ сюртукъ. Ему вообразилось, что самъ Фридрихъ II, о которомъ онъ только что думалъ, приходитъ встръчать его въ своемъ городъ, но то былъ Я. М. Невъровъ. Вмъстъ отправились они тотчасъ же въ Берлинъ на общую квартиру, и утомленный Станкевичъ пишетъ къ роднымъ, что послѣ длинной и долгой ѣзды больше чувствуешь цѣну стулу, постели и печки, передъ которою можно сидѣть и болтать съ Невѣровымъ и Грановскимъ. Такимъ образомъ, Станкевичъ добрался наконецъ до цѣли путешествія и расположился на долгое житье въ сообществѣ своихъ друзей, подъ сѣнью знаменитаго тогда Берлинскаго университета.

Онъ тотчасъ познакомился съ адъюнктомъ университета Вердеромъ, у котораго сталъ брать приватные уроки логики въ свободное его время (около 11 часовъ утра). Вердеръ, хорошо знакомый тогдашней образованной молодежи русской, учившейся въ Берлинъ, быль типомъ добродътельнъйшаго, довърчиваго, дътски - чистаго нъмецкаго ученаго. Ему тогда было не болъе тридцати лътъ, и сблизившись съ Станкевичемъ онъ подпалъ, какъ и другіе, вліянію его личности. Вердеръ просто влюбился въ своего ученика, отъ котораго, по его признанію, столько же получаль самъ, сколько и даваль ему. Къ великой забавъ Станкевича, профессоръ объяснялъ свое расположение къ нему мыслію, что у русскаго друга его душа совершенно нъмецкая. Высоко цънить и Станкевичь расположение этого замъчательнаго человъка, который старался отвлеченнымъ формуламъ Гегелевой логики сообщить жизнь и поэзію, возводя ихъ до нравственныхъ правилъ, связывая съ ними достоинство человъка и эстетическое воспитание его. Вотъ что говорить объ этомъ нашъ путешественникъ: «Профессоръ Вердеръ ръдкій молодой человъкъ, наивный какъ ребенокъ. Кажется, на целый міръ смотрить онъ какъ на свое помъстье, въ которомъ добрые люди безпрестанно готовять ему сюрпризы. Его беседы имеють спасительное вліяніе, все предметы невольно принимають тоть свёть, въ которомъ онъ ихъ видить, и становится самому лучше, и самъ становишься лучше.> Такое дъйствіе производиль молодой ученый, и одна чрезвычайно умная русская женщина Елизавета Павловна Фролова (урожденная Галахова) мътко и полно выразила характеръ его, сказавъ: «Это замвчательный человъкъ; жаль только, что онъ съ однимъ собою знакомъ.» Но можетъ-быть въ этомъ единствъ съ самимъ собою заключалась и его сила. Кром'в Вердера, Станкевичъ слушалъ курсъ исторіи у Ранке, философію права у Ганса, и еще курсъ сельскаго хозяйства, такъ какъ онъ не считалъ себя освобожденнымъ высшими занятіями отъ занятій, прямо соотвътствующихъ его званію и положенію въ русской жизни. Впрочемъ, курсомъ сельскаго хозяйства онъ не совсемъ былъ доволенъ: въ два прослушанные имъ семестра дъло все шло объ историческомъ развитіи сельскаго хозяйства. Въ концъ 1837 года прівхало въ Берлинъ семейство Фроловыхъ, и

хозяйка, та замѣчательная женщина, о которой упоминали мы сейчась и о которой будемъ мы еще уиоминать неоднократно, вскорѣ привлекла къ себѣ Станкевича и друзей его. Въ теченіи двухъ зимъ, 1838 и 1839 годовъ, почти каждый день проводили они вечера у г-жи Фроловой, толкуя за чаемъ обо всемъ, что можетъ занимать умъ человѣка; но конечно не въ этомъ еще заключалась прелесть, приковывавшая ихъ къ дому Фроловыхъ, а въ томъ свободномъ и сдержанномъ, веселомъ и благородномъ настроеніи, которое хозяйка его умѣла сообщать своимъ носѣтителямъ.

Станкевичъ совсвиъ не осматривалъ города, но на общественную жизнь, на публичныя собранія и на людей обращалъ сильное вниманіе. Театръ онъ постоянно посъщаль и даже по королевской оперѣ принадлежалъ къ партіи примадонны Фассианъ (блондинки собой), между тѣмъ, какъ нѣкоторые изъ его пріятелей стояли за Лёве, высокую и красивую брюнетку. Ссориться, впрочемъ, было не изъ чего, потому что, несмотря на восторги публики, обѣ пѣвицы были - таки довольно плоховаты. Знаменитаго Зейдельмана Станкевичъ считалъ геніальнымъ актеромъ, но очень скоро подмѣтилъ въ немъ излишнюю заботливость о внѣшней отдѣлкѣ ролей. Любимцами его сдѣлались комики Гернъ и Бекманъ, дѣйствительно превосходные, одинъ по неисчернаемой веселости и плодовитому изобрѣтенію въ каррикатурѣ, другой по снокойному, неподдѣльному юмору. Мы уже знаемъ наклонность Станкевича къ смъху. Опъ ходилъ въ Кёнигштадтскій театръ Берлина, гдъ давались преимущественно фарсы, такъ часто, какъ только могъ, и разсказывалъ самъ, что чуть не обезумълъ отъ хохота при иервомъ представленіи, на какое попалъ. На сцену выведенъ былъ смотритель рынка, который, подмътивъ воровъ, слъдуетъ за ними и подвергается нападенію всъхъ собакъ рынка, между тъмъ какъ мошенники благонолучно исполняютъ свое дъло. За сценой послышался совершенно собачій лай, производимый десяткомъ мастеровъ въ этомъ дълъ, и когда Станкевичъ услыхалъ эту добродушно-колоссальную глупость, то уже почти лишился чувства. Далъе смотритель тонетъ въ ръкъ и, послъ спасенія своего, находить, что карманы его набиты рыбой. Гернъ сдълаль при этомъ такую мину, что главная актриса, расхохотавшись, просто убъжала со сцены при всеобщихъ рукоплесканіяхъ. Еще менъе можно передать знаменитые въ то время фарсы, на которые стекался весь Бер-линъ: «Путешествіе на общій счеть» и «1739, 1839 и 1939 годы». Эти фарсы и особенно берлинскіе вицы (разсчитывающіе болже на смъхъ, чъмъ на пораженіе ума) составляли тогда отличительную, народную характеристику города. Они собирались въ отдъльныя книжки: Buntes Berlin, Berliner Dummzeug и проч., гдъ берлинскій

типъ экенштеера (Eckensteher: такъ называются поденщики или коммиссіоперы, обыкновенно поджидающіе работы на углахъ улицъ) являлся, какъ изобрътатель всъхъ уморительныхъ глуностей, придуманныхъ степеннымъ воображениемъ съвернаго германца. Читатель можеть ознакомиться съ этого рода выходками, и на природномъ діалекть ихъ, въ издаваемомъ нынь журнальць: «Dorfbarbier». Станкевичь съ наслаждениемъ следиль за этимъ выражениемъ пародности, не упуская впрочемъ пзъ виду и другихъ ея проявленій. Онъ посъщаль кнейпы, публичныя гулянья, катанья на саняхъ, маскарады, гдъ при появленіи новой маски дъло ограничивается общимъ крикомъ: э, э! гдв въ полночь реветъ оселъ въ какой-нибудь ложв, возбуждая смъхъ и вопли: da capo! гдъ находчивость маски ограничивается обыкновенно темъ, что она беретъ вашу руку и чертитъ пальцомъ на ладони ваше прозвище. Прпродный юморъ Станкевича развился необыкновенно въ Берлинъ. Въ немъ самомъ жила еще какая-то непреодолимая наклонность къ веселости, какое-то побужденіе отдаваться ей, иногда даже наединь съ собою и безъ видимой причины.

Въ Берлинъ Станкевичъ познакомился съ веселою и умною дъвушкой, которую всв знали подъ именемъ Берты и которая жила съ дядей, добрымъ, ограниченнымъ старикомъ, выдававшимъ себя за барона. Берта не лишена была остроумія, а жажда удовольствій была ей общая со всеми немками. Это мимолетное знакомство не прошло даромъ для Станкевича: оно оставило следы въ его душе. Когда Грановскій въ апрёлё мёсяцё 1838 г. выёхаль изъ Берлина съ цълью посътить библіотеки и ученыя заведенія Дрездена, Праги и Вѣны, и когда съ первою же почтой написалъ къ оставшемуся другу о тяжеломъ чувствъ видъть себя совершенно одинокимъ, то Станкевичъ насмѣшливо отвѣчалъ ему: «Э, Иванъ Ивановичь! Воть то-то же! Только что вывхали, ужь сейчась нельзя ли поговорить съ Иваномъ Никифоровичемъ?» Однакожь когда онъ самъ вслёдъ за Грановскимъ покинулъ Берлинъ въ май мёсяцё, то дело было еще хуже. Онъ даже плакаль, а потомъ писаль къ Грановскому изъ Дрездена, выражая свое сожальние объ отъвздв изъ прусской столицы: «Поздравьте! Лёве опять въ Берлинъ. Сегодня даютъ тамъ Норму, а она будетъ пъть: Keusche Göttin, и публика будеть въ восторгъ, и всъ мъста будуть заняты, и мы съ вами скоты...> Онъ чуть-чуть не воротился въ Берлинъ, а на следующій годъ и дъйствительно выкинулъ подобную штуку. Прівхавъ въ Дрездень, онъ нодумаль, подумаль, да на другой день сълъ въ дилижансь и прискакаль обратно въ Берлинъ-посмотреть, что тамъ делается. Черезъ нъсколько сутокъ онъ уже снова быль въ дорогъ. Можно

предполагать, что знакомство съ Бертой было первою причиной всёхъ этихъ нарушеній порядка и установленнаго плана д'яйствій. Вообще Станкевичъ смотрълъ на знакомство это не совсъмъ просто и легко. хотя и зналъ настоящую цвну ему. Въ одну изъ минутъ недовольства, порожденнаго малымъ нравственнымъ основаніемъ своей знакомки, онъ говоритъ про себя съ досадой: «Зачемъ же ожидать было большаго! Въдь не любилъ же и я! Ахъ, какая мерзкая, капризная натура! > Даже по отъвздв изъ Берлина въ Италію, Станкевичъ еще освёдомляется о вётренной дёвушкё и незадолго до смерти говорить объ ней въ нисьмъ къ одному изъ своихъ пріятелей русскихъ. Вообще Станкевичь иногда не даваль роста своимъ наклонностямъ, какъ въ настоящемъ случав, но корни ихъ всв сохраняль въ душв. Надобно замътить еще, что сближение съ Бертой возникло въ исходъ душевной разладицы, когда, утомленный повёркой своихъ чувствъ и отыскиваніемъ истины въ собственныхъ ощущеніяхъ, Станкевичъ старается предаться простой, безотчетной жизни, насколько было ему возможно это. Но «такого рода язычество» — употребляя его же выражение - совстви не лежало въ основт его характера.

Къ той же эпохѣ пребыванія въ Берлинѣ относятся нѣсколько юмористическихъ стиховъ Станкевича, касавшихся преимущественно его друзей и постоянныхъ собесѣдниковъ въ Берлинѣ. Остатки старой наклонности къ стихотворству вышли другимъ путемъ, веселой пародіей и юморомъ. Тутъ есть даже нѣмецкіе стихи, какъ, напримѣръ, хоръ духовъ надъ снящимъ Грановскимъ, возвѣщающій ему скорое пришествіе бутеръ-брода и горькія жалобы героя, при пробужденіи, на отлетѣвшее блаженство, къ которому онъ уже былъ такъ близокъ. Затѣмъ въ этой, такъ сказать, домашней литературѣ есть: «Посланіе къ Невѣрову, по случаю печальныхъ звуковъ, которые онъ извлекалъ изъ мусикійскаго струмента»; «Возвращеніе въ Берлинъ»; «Поясненіе Гегелевой логики» и проч.

Но вскор'в это добродушное веселіе начинаеть пріобр'втать оттівнокь інфиродів насмішки и глубокой проніп, такь мало свойственныхь природів Станкевича; и съ этими качествами Станкевичь является съ самаго начала переписки 1838 года. Причины такого настроенія, развившагося въ Берлин'я вийстів съ юморомъ и, такъ сказать, о-бокъ съ нимъ, уже до такой степени важны, что заслуживають особаго упоминовенія.

Дѣло въ томъ, что Станкевичъ усматривалъ на концѣ своихъ любимыхъ занятій нѣчто такое, что еще было скрыто для пріятелей. Съ Берлиномъ копчилось для Станкевича наслажденіе философіей и всякая возможность обращаться съ нею запросто, дѣлать изъ нея подножіе поэтическому вдохновенію и привлекательной мечтѣ, оправ-

дывать ею привязанности и воззрѣнія, съ которыми свыкся. Онъ встрѣчался съ чистою мыслію во всей ея наготѣ и сухости, и неизбъжныя последствія этой встречи мало-по-малу открывались его умственному взору, между тъмъ какъ товарищи его думали, что все идетъ, какъ слъдуетъ, къ знакомому благополучному концу. Отсюда ръзко-насмъшливое, ироническое обращение его. Удивительно, что Станкевичъ никогда прямо не высказалъ новаго своего настроенія и даль ему испариться въ однихъ намекахъ, отрывкахъ и заметкахъ, какъ будто боясь привлечь другихъ въ ту болъзненную работу ума, которой самъ подвергся: замъчательная и весьма трогательная черта деликатности! Отъ берлинской эпохи остались у Станкевича кипы тетрадей, записокъ съ разборомъ логическихъ категорій, отвлеченныхъ понятій, всьхъ этихъ звеньевъ философской науки, какъ она была составлена Гегелемъ. Здёсь сбережены необыкновенно острыя опредъленія разныхъ представленій ума, понятій о качествъ, мъръ, тождествъ и проч., понятій, которыя ежечасно рождаются въ головъ каждаго человъка; но будучи переведены въ чистое мышленіе, кажутся существами какого-то другого, недвижнаго и холоднаго міра. Усилія Вердера — опоэтизировать эти отвлеченности только выказывали ихъ суровую природу. Передъ Станкевичемъ открывалось уединенное царство мысли, и онъ начиналъ распознавать свойства и характеръ жизни, которая предстоитъ человъку, обрътающемуся въ границахъ этой области. Отсюда раздраженное состояние Станкевича и какая-то игра съ тъми, которые еще не вполнъ видъли, гдъ они находятся. Дёломъ первой важности становилось смёло перемёнить точку зрвнія и въ-замвнъ некоторыхъ пожертвованій, требуемыхъ новыми обязательствами, обръсть, даже съ лихвой, все прежде потерянное. Станкевичъ принялся искать опоры для сердца и лучшихъ человъческихъ стремленій въ тъхъ самыхъ предълахъ, которые, казалось, сначала лишены были возможности дать ее. Два года пребыванія своего въ Берлинъ употребиль Станкевичь на эту работу, и въ 1840 году, совершенно умиренный, спокойный, съ многочисленными иланами трудовъ въ головъ, слегъ преждевременно въ могилу, далеко отъ друзей и отъ родныхъ, въ Италіи.

Въ перепискъ Станкевича сохранились ясные слъды этой работы съ тъмъ неизбъжнымъ вліяніемъ, какое она имъла на характеръ и душу его. Еще въ январъ 1839 пишетъ опъ, что доселъ былъ не въ состояніи прямо приступить къ пространной логикъ Гегеля (въ 3 частяхъ), и познакомился съ ней по частямъ энциклопедіи, въ философіи права и въ лекціяхъ. Онъ не чувствуетъ въ себъ довольно жизни, единства, полноты, чтобъ броситься въ этотъ міръ скелетовъ, по собственному его выраженію, и признается въ одномъ

нравстечномъ порокъ, - и какомъ порокъ! - именно для сохраненія всей своей свежести, мысль его постоянно должна набираться силь въ наслажденін искусствомъ, въ дъйствительномъ міръ. «Какъ сухи и безполезны, говорить онь, нельпыя, безпокойныя, отвлеченныя занятія!» Однакожъ, онъ насильно принуждаетъ себя къ нимъ, и дъйствіемъ сосредоточенной воли подчиняеть себя напряженному труду до тъхъ поръ, пока вопль сердца, не выносящаго болъе сухости, на которую его обрекли, не отрываеть его снова отъ работы. Икто бы подумаль — мягкій, веселый, остроумный Станкевичь впадаеть тогда въ состояніе, близкое къ отчаянію, и восклицаеть: «А одно снасение противъ сумаществия - история (письмо изъ Дрездена отъ 20 мая 1838), та исторія, которую такъ мало цениль онъ несколько лътъ тому назадъ. Однакожъ, запятіе исторіей не было спеціальностью Станкевича, главнымъ предметомъ всъхъ его думъ, а скорве, какъ мы видвли, облегчающимъ средствомъ противъ усталости и истощенія ума. Станкевичь находить и еще много другихь, не менъе върныхъ пособій, служащихъ какъ-бы возбудительными агентами для мысли, утомленной долгимъ пребываніемъ въ мірѣ отвлеченностей. «Не рефлектируй, братъ, много, пишетъ онъ (25 іюля 1838 изъ Ахена) Грановскому. Какъ начинаешь путаться въ антиноміяхъ, давай себъ скорье отдыхъ. Помни, что созерщаніе необходимо для развитія мышленія», — и нісколько поздніве (27 августа) прибавляеть, относясь къ нему же: «Вообще, если трудно становится рёшить что-нибудь, переставай думать и живи. Въ сравненіяхъ и выводахъ будеть кой-что истинное, но верно вполне схватишь вещь только изъ общаго живого чувства.» Глубокая и мътко выраженная истина,—но, по особенному состоянію духа, онъ самъ не часто могъ пользоваться ею въ то время и прилагать ее къ себъ. Въ одномъ изъ задушевныхъ писемъ его къ Е. П. Фроловой, той умной женщинь, о которой выше было уномянуто, Станкевичъ пишетъ (15 іюня 1838, Эмсъ):... «Моя голова получила такое несчастное устройство, что ее опасно оставлять безъ занятія. Она начинаетъ свою работу въ такомъ случав, очень болвзненную...» Далве онъ опредвляеть даже, въ чемъ состоять обыкновенно эти тяжелыя упражненія головы, предоставленной себ'в самой. Какъ и следовало ожидать отъ всегдашней искренности Станкевича въ отношеніи къ самому себъ, мы видимъ, что сущность бользненной работы ума заключалась въ постоянномъ стремленіи согласить всю свою жизнь, свои побужденія, свой образь действій съ выводами науки, которые призналь онъ истинными. Какъ трудно установить подобныя гармоническія отношенія между своею личностію и общими опредъленіями истины—пойметь легко всякій; но добросовъстный Станкевичъ возводилъ это требование въ строгий законъ, безъ соблюде-

нія котораго челов'єку нельзя сохранить понятіе о себ'є, какъ о нравственномъ существъ. Разладица между двумя мірами, едва замъченная, уже лишала его покоя. Необходимость какого-либо разръшенія жизнепныхъ противоръчій, которыя впрочемъ и разръшаются обыкновенно самою жизнью, составляло особенно мучительный симитомъ этой бользни. Станкевичь принималь въ нъкоторыхъ случаяхъ ръшение рубить узлы, находя, что это все же лучше, чъмъ запутывать ихъ; но не у всякаго найдется довольно кринкая или довольно грубая рука, чтобъ, не дрогнувъ, произвести подобную операцію. «И въ каждомъ ръшеніи, говорить онъ, невольно заподозришь частичку самолюбія... частичку ліни или какой-то грышной любви къ спокойствію и преданію, котораго не хочется ломать безъ слишкомъ явной причины. > Вообще очень интересно это трогательное, задумчивое письмо, въ которомъ заключена душевная исповедь его съ тьмъ тонкимъ, чрезвычайно осторожнымъ изложениемъ собственныхъ идей, какимъ онъ всегда отличался при беседе съ женщиной. Не такъ поступаетъ онъ въ отношения къ друзьямъ, способнымъ вынести болье рышительный тонь. Здысь являются рызкій намекь и иронія, энергическая мысль выходить наружу безъ предварительнаго осмотра и безъ всякаго ослабленія ея. Вотъ, напримъръ, какъ пишетъ онъ (письмо изъ Дрездена, отъ 8 мая 1838): «Мы въ Дрезденъ: какія чувства волнують твою, морю подобную, душу? спросишь ты. Гмъ! Душа—что такое душа?—Reflexion in sich! Что море? Reflexion in Anderes. Солнце соединило атомы на радость и горе, и это соединеніе называется: рабъ Божій Николай, и этотъ Николай, по милосердію Господнему, вышель живымь изъ многихъ бользней и напастей... и, по неисповъдимымъ судьбамъ, таскается изъ Берлина въ Дрезденъ, изъ Дрездена въ Берлинъ... Жизнь съ ея непогодами и яснымъ небомъ, дорога съ рожкомъ почтальона, каждый городишко съ картофельною девчонкой и каждый переулокъ въ Дрезденъ-все это можетъ похвалиться своимъ могуществомъ надъ тъмъ созданіемъ, которое, будучи возведено на степень всеобщности, называется царемъ природы, а на степени своей единичности-Николаемъ Владиміровичемъ. Каковъ же длинной ръчи краткій смыслъ? На что тебъ... смыслъ? Если въ томъ, что сказано, нътъ смысла, то зачёмъ ждать, что онъ будетъ въ комментаріяхъ? Но если ты всю рѣчь принималъ за предисловіе, то ошибся. Это просто голосъ съ того свъта.» Не много найдется въ памяти человъка, знакомаго съ европейскими литературами, отрывковъ, которые, за сътью ироническихъ и шутливыхъ выраженій, яснье бы выдавали душевное состояніе человѣка 1).

¹⁾ Здёсь слёдуеть сказать, что никакой важности и никакого значенія не пред-

Только пламенная любовь къ наукѣ могла такъ волновать душу человѣка. Простое любопытство или поверхностная любознательность не знаютъ этихъ волненій. Вѣроятно, Вердеръ уже замѣтилъ порывистые переходы отъ предмета къ предмету и вообще душевное безпокойство своего друга, потому что говорилъ ему: nur ruhig; nicht so und nicht so (онъ дѣлалъ при этихъ словахъ сильные жесты руками), sondern immer so (причемъ сопровождалъ слова плавнымъ опускающимся жестомъ). Этотъ мимическій эпизодъ часто приходилъ на умъ Станкевича, когда разнородныя мысли толной возставали передъ нимъ, и воспоминаніе о немъ часто способствовало къ водворенію порядка въ его мысляхъ. Мы уже сказали, что томительную, начальную работу Станкевичъ пережилъ въ два года пребыванія своего въ Берлинѣ. Люди, видѣвшіе его потомъ въ Римѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, нашли его близкимъ къ физическому разрушенію, но яснымъ и спокойнымъ въ духѣ.

Возвращаемся къ описанію внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни. Въ мав мвсяцв Станкевичъ въ первый разъ покинулъ Верлинъ, вивств съ Я. М. Неввровимъ, и снабженный рекомендаціею Фаригагена къ Тику, тотчасъ же явился въ Дрезденъ къ знаменитому романисту. Тикъ выслалъ дъвушку сказать, что у него теперь болить горло (изъ чего Станкевичь заключиль, что онъ намфревался при встръчъ съ гостями произнести ръчь) и просилъ приходить въ четвергь, надёясь, можеть-быть, и на скорый отъёздъ путешественниковъ. Однако же Станкевичъ и Неверовъ были упорны, какъ Англичане, явились въ четвергъ по приглашенію, и познакомились съ извъстною, прославленною манерой Тика читать Шекспира, будучи рекомендованы предварительно всему обществу, подъ именемъ бароновъ. Въ Дрезденъ же Станкевичъ впервые услыхалъ извъстную тогда пфвицу Шредеръ-Девріентъ, и быль отъ нея въ восторгф. «Это нашъ братъ — огромная субстанція», писаль онъ къ Грановскому, насмъхаясь надъ фразой, которую Бълинскій разъ употребиль, разсуждая о самомъ Станкевичь. Надо сказать, что Грановскій опередиль своего друга: онь еще въ началь апрыля вывхаль изъ Верлина въ Въну. Это обстоятельство породило замъчательную переписку между ними, которой мы теперь и пользуемся. Затъмъ съ оставшимся пріятелемъ Станкевичъ обозрѣлъ Саксонскую Швейцарію и посътилъ Веймаръ, чтобъ посмотръть тамъ на домы Шиллера и

ставляеть письмо это относительно того, къ кому оно писано. Также точно могло оно быть адресовано Станкевичемъ и другому близкому лицу. Если Станкевичъ иногда пояснялъ Грановскому смыслъ философскихъ отвлеченностей, то, съ другой стороны, Грановскій помогъ ему, и весьма сильно, въ уразумѣніи сущности общественныхъ и историческихъ вопросовъ, которая не всегда открывалась Станкевичу съ перваго раза.

Гёте. Между прочимъ въ Веймаръ познакомплся онъ со вдовой Гётева сыпа, которая сама имъла взрослаго сына, страстнаго музыканта, учившагося у Мендельсона. Frau von Goethe приняла друзей очень любезно и ласково; въ домъ ся Станкевичъ познакомплся, вопервыхъ, съ романистомъ Штернбергомъ, курляндцемъ по происхожденію, рослымъ мужчиной, щегольски од втымъ и съ претензіей на щегольство языка, и потому, между прочимъ, произносившимъ букву а почти какъ е; а во-вторыхъ—съ Кёнигомъ, извъстнымъ у насъ по книгь о русской литературь, заключающей въ себъ нъсколько дёльных сужденій. Кёнигь, въ противоположность Штернбергу, имель довольно простую мещанскую физіономію. 30-го мая Станкевичъ прибыль въ Эмсь и цёлый мфсяцъ употребиль на питье его водъ, которыя только раздражали его нервы и мало помогли. Провздомъ черезъ Франкфуртъ онъ познакомился съ умнымъ философомъ, католикомъ Карове, а въ Эмсь, кромъ одного добраго нъмецкаго семейства, гдъ проводилъ время въ занятіяхъ музыкой, въ общихъ прогулкахъ и въ шуткахъ съ полодыми особами, составлявшими его, Станкевичъ сошелся еще съ нъкоторыми русскими путешественниками, прибывшими въ Германію на несчастномъ пароходъ, сгоръвшемъ у Мекленбургскихъ береговъ. Въ началъ іюля Станкевичъ отправляется по Рейну въ Боннъ, посовътоваться съ знаменитымъ докторомъ Нассе, который, при взглядъ на него поднялъ глаза къ небу и воскликнуль: «Armer Mann!» Эмсь дъйствительно утомиль Станкевича. «Дътки мои! пишетъ онъ къ роднымъ своимъ, которые были озабочены его долгимъ молчаніемъ. Въдь если я пишу ръдко-на это есть всегда причины. Повърите ли, что въ Эмсъ написать нъсколько строкъ было для меня величайшимъ трудомъ?» Однако же Нассе совътуетъ ему попробовать ахенскіе источники и купанья. Возвратясь снова въ Эмсъ къ оставшенуся тамъ Я. М. Невърову, Станкевичъ беретъ его съ собою, и вмѣстѣ поднимаются они опять по великоленному Рейну до Кёльна, Станкевичь переезжаеть затемь въ Ахенъ, гдъ остается безвывздно до начала сентября, выполняя предписанный ему курсъ. Одинъ только разъ во все это время покидаетъ онъ городъ; но къ этому нарушенію курса была уже достаточная причина. Т. Н. Грановскій, соскучившійся безъ друзей своихъ, прівхалъ къ нимъ повидаться. Станкевичъ провожалъ его до Бонна, на возвратномъ пути его въ Берлинъ, и воспользовался пребываніемъ своимъ въ Воннъ, чтобъ познакомиться съ Фихте, философомъ, какъ и знаменитый отецъ его. Станкевичъ разсказываетъ довольно забавно свой разговоръ съ профессоромъ; ночь наканунъ онъ провелъ безъ сна, на разспросы профессора о системъ преподаванія логики въ Берлинь отвычаль вяло, и наконець самь рышился

сдълать вопросъ: не илемянникъ ли онъ знаменитому Фихте? «А парень-то вышель родной сынь его» - замъчаетъ Станкевичъ, прибавляя, «что профессоръ быль нёсколько удивлень этимъ невёдёніемъ», и выводя изъ того заключеніе, «что съ некоторыми людьми надо говорить выспавшись. > Наконецъ скука одольла его въ Ахень, куда онъ снова возвратился, и 1-го сентября Станкевичъ поспъшно отправляется въ Бельгію разсфять тоску, наведенную уединеннымъ городомъ и леченіемъ. Онъ посещаетъ Брюссель, Ватерлоо, Антвериенъ, Гентъ, Остенде, присматривается къ великолъннымъ намятникамъ искусства въ этой странь, обильной ими, и наблюдаетъ политическую жизнь ея, но впечатленія ложатся тяжело на слабый организмъ его, и усталая душа жаждетъ покоя. Въ журналѣ путешествія но Бельгін, который будеть приложень къ перепискъ его, есть восклицаніе, вырвавшееся у него при видъ моря въ Остенде: «Мив было скучно съ утра, море прилъпило къ скукъ грусть. Мив хотелось опрометью бъжать опять въ Германію, въ Берлинъ, приняться за какое-пибудь дёло; освободиться отъ этой тяжелой игры впечатленій, отъ вліянія неба и погоды. > 17-го сентября онъ уже быль во Франкфуртъ виъстъ съ Невъровымъ, который въ Бонпъ поджидаль его возвращенія изъ Бельгіи, и вмъсть пишуть они оттуда письмо къ Грановскому: «голубиих Грановскій, говоритъ Я. М. Невфровъ, мы во Франкфуртъ, и завтра вывзжаемъ въ Кассель по дорогъ къ Берлину, такъ что, подвигаясь мало-по-малу, дней въ семь или въ восемь прівдемъ на місто. У Смізсь надъ эпитетомъ, даннымъ пріятелю, Станкевичъ принисываетъ съ своей стороны: «Ворона Грановскій! Мы во Франкфурть и завтра вывзжаемь въ Кассель по дорогъ къ Берлину, такъ что, подвигаясь мало-по-малу, дней въ семь или восемь прівдемъ на мѣсто. Какъ я радъ, что мы встрътились въ идеяхъ съ почтеннъйшимъ и глубокомысленнымъ другомъ нашимъ...» и т. д. Во Франкфуртъ, или лучше въ Ганау, Станкевичъ не преминулъ сходить еще къ доктору Копну и отобрать его предписанія... Наконець, оба пріятеля возвратились въ давножеланный Берлинъ, откуда разъвхались послв въ разныя стороны, и прибавимъ, чтобъ уже болье не встрвчаться. Они, какъ и Грановскій, жили уже тогда на разныхъ квартирахъ, неподалеку другъ отъ друга.

Кромъ своихъ занятій и спошеній съ людьми, болье или менье замьчательными въ Германіи, Станкевичъ еще ведетъ весьма дъятельную переписку съ семействомъ, съ сестрами и малольтными братьями, оставленными имъ въ Россіи. Она, разумьется, не можетъ войдти въ составъ нашего изданія, но мы обязаны сказать о ней нъсколько словъ. Тонъ этихъ писемъ Станкевича постоянно игривъ и шуточенъ,

но онъ бесъдуетъ въ нихъ съ дътьми чрезвычайно серьёзно, разсказываетъ имъ подробно свое путешествіе, представляетъ картину Рейна со всѣми его замками и легендами до мелочей, наконецъ не считаетъ лишнимъ говорить о чувствахъ, испытанныхъ имъ при видъ такого-то произведенія искусства, при встрівчів съ такимъ-то явленіемъ природы. Онъ отдаетъ имъ себя безъ утайки и презрительнаго сомпънія къ уму и понятіямъ ихъ, а въ этомъ и вся сущность хорошаго воспитанія. Есть м'єста въ его письмахъ, которыя могли бы быть ц'єликомъ иеренесены въ заочную бестду съ возмужалыми и развитыми друзьями, и даже съ публикой. Таково, напримъръ, описание шестикратнаго эха на горъ Нидервальдъ, близъ Рейна, которое очень музыкально делалось все тише и тише, каждый разъ разносясь по горамъ, и которому повърилъ онъ любезнъйшія имена, сберегаемыя имъ въ сердцъ. Таково еще описаніе многихъ памятниковъ и въ томъ числъ Майнцскаго собора, перестроеннаго, какъ извъстно, въ эпоху рококо: «Колокольня его точно зрительная трубочка: такъ бы взяль ее за шейку, да и вытянуль. Въ самомъ Берлинъ онъ находить еще поэтическое слово для молодыхъ своихъ слушателей: «Наступила осень. Сърыя тучи въ раздумьъ ходятъ по цълымъ днямъ по небу... Я выхожу въ такое время гулять Unter den Linden — это главный берлинскій бульваръ... засв'ятло начинають зажигать фонари, и длинная перспектива блёдныхъ огней въ сизомъ туманъ имъетъ что-то волшебное. Въ это время изъ университета выходять студенты въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ, большею частію въ коротенькихъ полукафтаньяхъ и въ картузъ съ крошечнымъ козырькомъ; ирасолки возвращаются домой, сопровождаемыя собаками, запряженными въ телъгу съ разною поклажею, и наконецъ я торжественно возвращаюсь домой, очень довольный этимъ повседневнымъ зрълищемъ, и т. д.> Не надо забывать, что основной мотивъ всъхъ этихъ бесъдъ есть веселая шутка, забавное изложение какого-нибудь случая, иногда каламбуръ. На этотъ свътлый грунтъ ложатся драгоценные советы его, когда оне считаеть нужныме обратиться съ совътами къ своимъ друзьямъ: «Не забывайте, что въ этомъ мірт великъ кругъ вашей любви, гдт каждый изъ васъ составляетъ лучшую часть жизни другого: одинъ въ другомъ ищите опоры, утъшенія, твердости; пусть каждый живеть для другого — и всъ будуть покойны, веселы счастливы...» Къ тому же, каждый изъ этихъ совътовъ исполненъ еще, кромъ братской нъжности, удивительнаго здравомыслія. Любимой сестръ своей объясняеть опъ разницу между истиннымъ здоровымъ чувствомъ и тъмъ обманчивымъ впечатльніемъ, которое производить иногда льтній вечеръ, свычи, музыка, духи и усталость послы бала. «Они сообщають такое настроеніе

уму, что всякій предметь хорошь: по смотри на предметь при солнечномь свѣтѣ—въ его истинѣ— и счастіе само придетъ. Надо стараться только быть достойною счастія, а жизненныя непріятности разводить поэзіей сердца. Жизнь хороша—и только одна жизнь хороша. Плохо намъ, если мы будемъ принимать сонъ и мечту зажизнь. Если увидишь, что какой-нибудь вздыхаетъ—плюнь, дуракъ навѣрное. Любить можетъ только сильный человѣкъ. Съ первой и до нослѣдней строки письма эти запечатлѣны чувствомъ и умомъ...

Вторая зима, проведенная Станкевичемъ въ Берлинъ, ничъмъ не отличалась съ внешней стороны отъ нервой, но она принесла съ собой тв окончательные матеріалы, которыхъ недоставало ему для полноты характера. Вскор'в все собранное его мыслію начало устроиваться во внутреннемъ его мірѣ съ удивительною гармоніей и соотвѣтствіемъ всѣхъ частей между собою. Вторая зима замѣчательна еще и тѣмъ, что мало-но-малу отходили отъ Станкевича всѣ близкіе ему люди: при ея концѣ Я. М. Невѣровъ отправился на пароходѣ въ Петербургъ; Грановскій сиѣшилъ тоже домой, но, страдая въ то время слабостію груди, отправился съ раннею весной въ Зальцбруннъ (въ Силезін), извѣстный своею сывороткой и водами противи болфаной дёргину. противь бользией лёгкихъ. Семейство Фроловыхъ въ то же время увхало въ Петербургъ, хотя и пе надолго. Въ іюнъ 1839 года опо снова было уже за границей, и съвхалось съ Станкевичемъ во Флоренціп. Передъ отъвздомъ изъ Берлина, Е. П. Фролова ввела Станкевича въ домъ сестры своей, М. П. Кени, удъляя такимъ образомъ близкимъ людямъ часть той дружбы, которую сама питала къ нему. Вслъдъ за ними и Станкевичъ покинулъ Берлинъ, но мы уже знаемъ. что онъ оторвался отъ него съ пъкоторымъ трудомъ, даже вернулся назадъ съ дороги. Затъмъ, разръзавъ ножомъ, какъ самъ говоритъ. всъ дъла свои въ городъ, онъ спъшитъ въ Зальцбруннъ. Тамъ застаеть онь еще Грановскаго, и вмъстъ живуть они двъ недъли въ скучномъ, хотя и многолюдномъ городкъ (въ немъ было до семисотъ больныхъ), посъщая иногда почтеннаго русскаго консула, г. Бюцо, единственную сносную ресторацію и балы въ ней, причемъ случа-лось, что зала было освъщена, музыка гремъла, а хозяинъ стоялъ у дверей и говорилъ любопытнымъ: «Ісh warte Menschen» (жду людей). Грановскій убхаль изъ Зальцбрунна прямо къ себв въ деревню. Станкевичь остался одинь доканчивать курсь, и выбхаль изъгорода только въ августъ мъсяцъ, по нути въ Италію.

Мы полагаемъ, что около этого времени Станкевичъ получилъ горькое извъстіе о смерти особы, занимавшей нъкогда такое большое мъсто въ его сердцъ. Это былъ послъдній узелъ, который развязывала судьба, высвобождая душу Станкевича изъ-подъ тяжелаго прав-

ственнаго гнета. Мъсто его заняло свътлое и грустное восноминаніе, такъ хорошо высказанное самимъ Станкевичемъ, когда, на Тунскомъ озерв (въ Швейцаріи), получивъ ближайшія сведенія о покойницв черезъ А. П. Ефремова, только-что прибывшаго изъ Россіи, предается онъ весь міру прошедшаго и окружаеть себя тихими, драгоценными тенями. Съ этой минуты Станкевичъ становится духовно свободенъ: путы, которыя приковывали его къ прошлому, не давая полнаго движенія его вол'в и приводя въ зам'вшательство его сов'всть, пугливую и пріимчивую въ высшей степени, пали сами собою. Онъ снова предоставленъ былъ себъ и могъ начать новое свое развитіе твердо и спокойно, не влача за собой по стопамъ мертваго факта, мъшающаго каждому шагу. Дъйствительно, съ эпохи уединеннаго пребыванія въ Зальцбруннъ, Станкевичь совершенно измѣняется и весь обращень лицомь къ новымь требованіямь, понятіямь и новой жизни, возникшимъ для него изъ новаго воззрѣнія на міръ. Любовь, цъпи которой еще лежали на немъ, когда самой ея не было, онъ уже замъщаетъ вскоръ нъжною дружбой, усладившею его послъдніе часы. Вивств съ твиъ, прекращаются сшибки идей съ чувствомъ, волновавшія его молодость и доказывавшія неполноту объихъ сторонъ; пропадають также и резкія проявленія мысли: онъ становится тихъ, свътель, какъ-то цълостень. Въ концъ 1838 года онъ еще писаль: «Мои надежды, если не богаче, то опредъленнъе, впрочемъ и теперь не безъ того, чтобы за ними не было туманнаго.» Въ концъ 1839 г. все туманное отделяется отъ существа Станкевича, и надежды его принимають ту изящную опредъленность, въ какой представляются намъ, напримъръ, явленія природы. Самая природа возстаеть передъ нимъ какъ великая храмина, къ которой, послъ долгаго обхода, онять приведенъ двухъ-лътними любимыми своими занятіями. Наконецъ, какъ чудно и плодотворно разрѣшились вообще философскія занятія Станкевича, можно видёть по превосходнымъ строкамъ, писаннымъ имъ изъ зальцбруннскаго своего уединенія къ М. П. Кени (письмо отъ 15-го августа 1839): «Есть люди съ сильною и богатою натурою, которые переселяются во всв характеры, умвють перечувствовать всв положенія и найдти въ каждомъ человек что-нибудь для себя, насладиться въ немъ каждымъ чуть замътнымъ проблескомъ хорошаго. Это счастливцы. Въ нихъ самихъ все полно, окончено, всв стремленія удовлетворены; поэтому они терпвливы, снисходительны, весело смотрять по сторонамь и скоро во всемь открывають свътлыя стороны.>

Очеркъ этотъ есть върный портретъ самого Станкевича, какъ онъ сложился къ началу 1840 года, по окончаніи берлинскихъ занятій, хотя авторъ и не предполагалъ заключать въ этихъ стро-

кахъ ничего похожаго на автобіографію, да и не согласился бы никогда, но глубокому чувству скромности, узнать въ нихъ самого себя. Та же скромность заставляетъ его говорить о себъ далѣе чрезвычайно уклончиво, но мы нисколько не обязаны къ подобнаго рода осторожности. Продолжаемъ выписку.

«Есть и такіе, которымъ всв люди прілтны, потому что они ко всему равнодушны. Но я не принадлежу ни къ тому, ни къ другому классу; я не довольно совершенъ, чтобъ со всеми найдти удовольствіе; я его нахожу съ людьми, которыхъ уважаю отъ всей души... Для меня это решительно открытие Новаго Света. Прожить нъсколько времени съ такими людьми, значить для меня прожить по-человически, удовлетворить необходимой и лучшей нотребности души. Вотъ отчего я такъ радуюсь этимъ свътлымъ пунктамъ въ моей будущности. Природа и искусство только намеки, смыслъ ихълюди, и лучніе люди. Кто лишенъ наслажденія людьми, на того природа и искусство должны делать тяжелое впечатленіе, должны возбуждать въ немъ чувство неудовлетворенной нотребности... Такъ искусство и природа становятся здёсь въ подножіе человёку, который собираеть всё ихъ намеки и открываеть настоящій смысль ихъ. Высокое, гуманное нонимание жизни было последнею степенью въ развитіи Станкевича, результатомъ, окончательно даннымъ ему философскими занятіями. Мы ничего не можемъ прибавить къ драгоценнымь строкамь, выписаннымь сейчась: намь остается, увы! носледняя, недолгая работа — проследить жизнь, настроенную на такой ладъ, во Флоренціи, въ Римъ и въ Сфверной Италіи, гдъ она нотухла.

VI.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ИТАЛІЮ СТАНКЕВИЧА И СМЕРТЬ ЕГО.

Въ концѣ 1839 года мы находимъ Станкевича во Флоренціи. Послѣ отъѣзда Грановскаго изъ Зальцбруниа (11 іюля 1839), Николай Владиміровичъ прожиль еще цѣлый мѣсяцъ на водахъ, и только въ половинѣ августа выѣхалъ оттуда. Черезъ Прагу, Нюрнбергъ, Штутгартъ и Карлсруэ прибылъ онъ въ Базель, гдѣ съѣ-хался съ однимъ изъ старыхъ своихъ товарищей, А. П. Ефремовимъ, и виѣстѣ съ нимъ совершили они трудный нуть но Симилонской дорогѣ, испорченной внезацными дождями, и очутились въ Домо д'Оссола, въ Италіи. Изъ Милана направились они въ Геную, и сѣли тамъ на нароходъ, на которомъ прибыли въ Ливорно. До-

роги по сухому пути, чрезвычайно утомлявшія б'яднаго Стапкевича, видимо слабъвшаго день ото дня, заставили предпочесть плавание перевзду. Въ началв ноября измученный больной явился во Флоренцію. Тамъ уже ожидало его знакомое семейство Кени, къ которому скоро присоединились и Фроловы, остановившіеся въ одномъ дом'в съ первыми. Неподалеку отъ нихъ, на Piazza S-ta Maria Novella, поселился и Станкевичъ, которому дружба и расположение Е. П. Фроловой сдёлались уже необходимостію. Первый взглядь на Италію не произвелъ на Станкевича того радостнаго чувства, которое произведено было болъе знакомымъ ему міромъ, Германіей. Родовыя черты Италіи гораздо строже, а приготовленія къ принятію и разумѣнію ихъ у насъ гораздо менѣе. Италія требуетъ нѣкоторой уступчивости, некоторой доверчивости къ себе, особенно устраненія укоренившихся привычекъ въ жизни и даже въ сужденіи; затьмъ уже открываеть она себя въ величіи своей простоты или отсталести, если хотите. Станкевичъ долго всматривался въ ея вседневную жизнь, въ эту сивсь классическихъ и средневвковыхъ обычаевъ, заключенныхъ въ строго-изящную раму, образуемую неизмънною природой. Это было его единственное занятіе во Флоренціи, если исключимъ усиленное историческое чтеніе и упражненія въ музыкъ. Послъднее занятие развилось у него почти до страсти... Вся дъятельность его обращена была на три предмета, какъ онъ самъ пишетъ къ роднымъ: читать, играть на фортепьяно и топить каминъ. «Три важныя занятія, которыя всё мёшають одно другому», прибавляеть онь съ той изящною улыбкой, которая въ нашемъ воображеніи уже неразлучна съ его физіономіей. Весьма осв'яжительно дъйствовало на него общество Е. П. Фроловой: онъ свыкся съ нимъ, и съ трудомъ могъ представить себъ необходимость лишиться его. Разъ только онъ разсердился, именю тогда, когда услыхалъ, что въ Россіи начипають считать Шиллера идеалистомъ безъ значенія для двиствительности... «Они не понимають, что такое двиствительность... дъйствительность въ смысль непосредственности, внъшняго бытія — есть случайность... действительность, въ ея истине, есть Разумъ, Духъ 1). > Но вслъдъ за вспышкой, Стапкевичъ требуетъ

¹⁾ Кстати будеть упомянуть здёсь, что въ отсутствіи Станкевича изученіе философіи продолжалось у нась по прежнему и образовало два направленія. Оба они были вётви одного и того же корня, только разошедшіяся въ противоположныя стороны. Разногласіе вышло изъ различныхъ способовъ пониманія и опредёленія дёйствительности. Друзья Станкевича не сомнёвались въ обратномъ дёйствіи всякой науки на жизнь, и всё безъ исключенія искали его въ общемъ развитіи сознанія, которое поднимается и растетъ отъ цёльнаго вліянія извёстнаго ученія на всё способности и представленія человёка. Противники думали, что, кромё того, существують еще обязанности для человёка, независимыя отъ науки и отъ дёйствительности, съ которой

отъ друга, чтобъ онъ осторожно высказалъ эти аргументы ошибающимся пріятелямъ. «Они люди хорошіе, и я съ ними ссориться не хочу», говоритъ онъ. Между тѣмъ иятимѣсячное наблюденіе новой страны во Флоренціи, съ тою снособностію къ наблюденію, какою онъ обладалъ, не прошло даромъ, и когда, 6-го марта 1840, Станкевичъ выѣхалъ въ Римъ, то нисьма его оттуда къ Е. П. Фроловой уже показываютъ совершенное родство мысли съ краемъ, иредставшимъ ей: наблюдатель иоставилъ себя въ уровень съ наблюдаемымъ иредметомъ.

Здёсь мы остановимся, чтобъ сказать нёсколько словъ о замёчательной русской женщинь, которой посвящена была нослыдняя перениска Станкевича, и которая представляеть лицо, противоноложное женскимъ лицамъ, какія мы видёли до сихъ поръ. Получивъ весьма блестящее, французское воснитание, Елизавета Павловна соединяла съ нимъ оригинальный умъ, необыкновенную способность угадывать людей, и другую, не менве важную способность видеть въ каждомъ предметв ту живую, самобытную черту, которою онъ разнится отъ всёхъ другихъ. Быстрая догадка, такъ свойственная вообще русской природъ, составляла второе качество этой замъчательной женщины: она открывала ей мгновенно длинную перспективу идей, даже въ незнакомой сферъ изслъдованія, и установляла нъкоторый родъ равномърныхъ отношеній между ученымъ спеціалистомъ и слушательницей его. По роду своего воспитанія, преимущественно французскаго, съ оттънкомъ англійской аристократической строгости въ началахъ, она редко восходила до первыхъ основаній, до сущности всякаго вопроса. Онъ дълался достояніемъ ея только тогда, когда уже соприкасался съ жизнію какою-либо стороной, и когда выразились его отношенія къ другимъ однороднымъ вопросамъ. Такихъ предметовъ было уже тогда много подготовлено въ Европъ, начиная съ метафизическихъ преній до толковъ о различномъ пониманіи нравственных законовъ въ обществъ. Въ ириложеніи остроумія и женской проницательности къ текущимъ, такъ сказать, дъ-

могуть быть и въ противорѣчіи. Представителемь ихъ сдѣдался извѣстный Ч—нъ. Оба направленія сталкивались почти всегда враждебно на одномъ этомъ спорномъ пунктѣ, будучи согласны на всѣхъ другихъ. Кругъ Станкевича держался упорно за свои основанія. Противники упрекали его въ раболѣпномъ поклопеніи успѣху и въ невниманіи къ слабой сторонѣ, хотя бы требованія ея и имѣли видъ истины. Кругъ бывшихъ друзей Станкевича возражаль, что трудъ разбирать, на чьей сторонѣ истина, предоставляется общему сознанію, совершенствующемуся носредствомъ науки и что личное, капризное, ограниченное разбирательство всегда имже приговора цѣлымъ міромъ и потому всегда бываетъ но справедливости въ числѣ побѣждениыхъ. Висшее пониманіе дѣйствительности въ "Разумѣ и Духѣ", какъ говоритъ Станкевичъ, примирило обѣ враждующія стороны около 1840 года.

ламъ современности открывалась сила Елизаветы Павловны; но она могла назваться также идеалисткой, хотя совствы въ иномъ значеніи, чемъ те, которыя обыкновенно носять это прозвище. Она какъ-то высоко понимала общественныя сношенія и умъла возвести тонъ, господствовавшій въ ея кругь, до идеальнаго выраженія благородства. Она имъла удивительный даръ распознавать людей. У ней была вёра въ людей, вмёстё съ способностію угадывать ихъ тайныя наклонности. Съ первыхъ сношеній она ставила человъка въ возможность показать себя, и сама поучалась въ этой книгъ, ею же и раскрытой. Весьма слабая здоровьемъ и страждущая тъмъ же недугомъ, какъ и Станкевичъ, положившимъ на бледномъ, не совсъмъ правильномъ лицъ особенную печать, Елизавета Павловна почти никуда не выважала, но постоянно видела у себя людей изъ высшихъ европейскихъ круговъ. Гумбольдтъ, эта живая энциклопедія познаній, столько же неутомимый въ трудахъ своихъ, сколько и чувствительный къ каждому замъчательному явленію жизни, быль въ числь ея постителей, когда она находилась въ Берлинъ. Фарнгагенъ фонъ-Энсе, извъстный своими біографіями, любиль проводить время у Фроловыхъ, и, случалось, занимался тъмъ, что дразниль знаменитую Беттину, которая его теривть не могла и называла Giftesel. Въ Беттинъ дъйствительно было много наивнаго воодушевленія, но иногда мъсто его занимала ложная, придуманная и пустая восторженность. Она часто бывала у Фроловой, но, говорять, побаивалась ея въ душь, да и сама Елизавета Павловна считала необходимымъ обращаться съ ней немножко свысока. Станкевичь сохраниль намъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ, превосходную замътку Елизаветы Павловны о характеръ Беттины: «Elle sait le bien et le beau dans leur essence et leur luxe, mais elle n'en sait pas les détails positifs > (прекрасное и доброе знакомо ей въ ихъ сущности и въ ихъ блескъ, но положительных в подробностей того и другого она не знаетъ). Станкевичь испыталь при этихъ словахъ такое же чувство, какое испытываетъ человъкъ при видъ отличнаго портрета, оригиналъ котораго ему совершенно неизвъстенъ, но который истиной своего изображенія невольно вырываеть слова: какъ върно! Мы раздъляемъ мнъніе Станкевича. Одинъ изъ молодыхъ Русскихъ, такъ радушно принятыхъ ею въ Берлинъ, разсказываль намъ сцену, которой быль очевидцемь. Разъ явился къ Фроловой какой-то зафэжій французскій маркизъ или графъ, весь пропитанный тыть блестящимъ салоннымъ умомъ, который, между прочимъ, во Франціи становится ръже, чъмъ гдъ-нибудь. Елизавета Павловна часа два вела съ нимъ діалогь, похожій на фейерверкь, и годный въ любую пословицу Альфреда де-Мюссе, а по уходъ его обратилась снова къ своей простой, сдержанной рѣчи, въ которой всегда было скорѣе замѣтно желаніе вызвать бесѣду и слушать, чѣмъ говорить.

Елизавета Павловна поняла Станкевича съ перваго раза, да и угадать его было немудрено. Его благодушное расположение къ людямъ, мягкость обращенія, подчиняющая сердце, заботливость, съ которою онъ искалъ лучшихъ струнъ въ душъ человъка, и неподдъльное наслаждение, съ которымъ прислушивался къ нимъ, - все это бросалось въ глаза. Въ способъ обращенія и во всемъ существъ Станкевича было столько изящества, что, по увъренію его пріятелей, онъ становился всегда заметнымъ, какъ бы ни было велико общество, или какъ бы разборчиво ни было оно составлено. Свътлая, гармоническая душа Станкевича отражалась во всемъ внёшнемъ его обликъ и по образу своему устраивала его наружный видъ, ръчь его и пріемы: вотъ почему присутствие его невольно чувствовалось окружающими, да этимъ же объясняется и то обаятельное действіе, которое онъ всегда производилъ особенно на молодыхъ людей обоего пола. Въ жизни его, можно сказать, видишь, какъ эти высказанныя и невысказанныя привязанности сопровождають его до гроба... Дружба Е. П. Фроловой къ Станкевичу основывалась еще и на важныхъ нравственныхъ потребностяхъ. Можно безъ особенной смълости предполагать, что своимъ пониманіемъ каждаго предмета въ идев Станкевичъ возвышалъ уровень ея мыслей, какъ это онъ дълалъ во всъхъ своихъ знакомыхъ, не сознавая самъ, по обыкновенію, своей работы. Какъ бы то ни было, Станкевичъ находится въ постоянной перепискъ изъ Рима съ Фроловой, отправляя по письму каждую недёлю, иногда болье, на имя супруга ея, Николая Григорьевича Фролова, сдълавшагося впоследстви известнымь у пась своими изданіями по части естествовъдънія. Переписка эта и будеть служить намъ нитью, которая поведеть насъ за Николаемъ Владиміровичемъ въ последнее на землъ мъсто, гдъ онъ остановился на нъкоторое время.

Станкевичь, какъ знаемъ, вывхалъ 6-го марта изъ Флоренціи и 8-го прибыль въ Римъ. Онъ поселился па Корсо. Николай Владиміровичь не принадлежалъ къ числу твхъ упорныхъ туристовъ, которымъ скука одиночества въ неизвъстномъ городъ ни почемъ, и которые, послъ безпрерывныхъ бъганій по улицамъ и осмотровъ, способны довольствоваться бесъдой съ проводникомъ. Станкевичъ испытывалъ непреодолимую тоску, если въ городъ не было у него какого-либо центра, образуемаго другомъ, семействомъ, умною женщиной, и старался тотчасъ отыскать его. Отъ этого центра и велъ онъ потомъ радіусы къ замъчательнъйшимъ точкамъ новой мъстности, да и тутъ многія изъ нихъ, прославленныя дорожниками, считалъ онъ просто наказаніемъ путешественниковъ. Не видать —

стыдно, а смотръть — не стоитъ, говорилъ онъ. Освободясь отъ этого принужденія, налагаемаго «указателями» и «вожатыми», онъ нашель пріють столь необходимый для его общежительной природы въ семействъ Х**, съ которымъ познакомился во Флоренціи, и въ средъ котораго цввли молодость, красота и нравственныя достоинства въ весьма счастливомъ соединении. Около этого семейства собирался общій кругь знакомыхь: нъмецкій живописець Рунде, русскіе художники и въ томъ числъ профессоръ Марковъ, наконецъ полякъ Брык...ій, страдавшій чахоткой, по зам'вчательный фортепьянисть, другь Листа, и притомъ съ весьма красивымъ, энергическимъ лицомъ, соотвътствовавшимъ энергіи характера. Онъ зналъ, что бользнь его неизлъчима, и мало заботился о томъ. Станкевичъ, также страстно предавшійся музыкъ и больной одною съ нимъ болъзнію, чрезвычайно полюбилъ его. Несколько русскихъ путешественниковъ, въ числе которыхъ быль тогда и И. С. Тургеневъ, еще не начинавшій литературнаго поприща своего, находились между обычными посттителями семейства Х*. Они дълали всв вмъсть ть продолжительные набъги на разныя части города, указываемыя дорожникомъ, отъ коихъ впоследстви Станкевичь весьма часто устранялся. Впрочемь, единственная идея, которою жиль тогда весь Римь, — наслаждение искусствомь, привилась къ иностранцамъ какъ болъзнь и одолъвала ихъ, не смотря на внезапность своего появленія. Они захватывали ее, казалось, вивств съ воздухомъ Тибра, и она имъла свойства вытъснять изъ обращенія помыслы о другихъ ближайшихъ и болъе знакомыхъ имъ интересахъ. Только и разговоровъ было, что объ искусствъ; все остальное было обречено на смерть и немоту, ради согласія въ общемъ хоре; это имъло своего рода комическую сторону, не ускользнувшую отъ на-блюдательности Станкевича. И. С. Тургеневъ, между прочимъ, собирался не шутя посвятить себя живописи, сталь брать уроки у живописца Рунде, а покамъстъ занимался рисованьемъ каррикатуръ, по тэмамъ самого Станкевича, которыя весьма забавляли послёдняго. Отъ этого движенія, имѣвшаго и свою серьёзную сторону, Станкевичь не могъ устраниться вполнв. Онъ набросаль тогда несколько замътокъ для статьи объ искусствъ, изъ которыхъ видно, что искусство было для него, какъ и все другое, вопросомъ философскаго и нравственнаго свойства. Отрывки эти весьма мало обдъланы, состоять преимущественно изъ однихъ намековъ и потому затруднительны для пониманія, но тімь, которые привыкли къ философскому языку вообще и къ теченію мыслей у Станкевича въ особенности, мысль этихъ отрывковъ ясна. Станкевичъ намъревался разработать и объяснить настоящій смысль изв'єстных словъ Гегеля: «искусство есть прошедшее для насъ. Ему хотвлось указать на возможность

новаго искусства, соотвътствующаго тому представленію жизни, какое должна дать новая философская идея, когда она достигнетъ всей своей зрълости и перейдетъ въ созпаніе цълаго общества. Онъ выбраль систему доводовь по аналогіи и прежде всего обратился въ исторіи за прим'трами и указаніями. Выходя изъ положенія, что духъ, породившій искусство, едина, Станкевичь отвергаеть схоластическія дъленія пскусства на многіе роды п видить въ немъ только эпохи развитія самаго духа. Виды искусства дёлаются только формами, въ которыхъ преображается единый, нераздъльный духъ. Такъ архитектура была необходимымъ видомъ искусства, когда человъкъ старался выразить цёлость и необъятность духа, посредствомъ символа; скульптура, когда духъ былъ понять, какъ сущность человъческой природы и ограниченъ человъческою формой; живопись, когда человъческому проявленію духа слъдовало возвратить его невещественное, безплотное свойство. Здёсь кончаются отрывки Станкевича, но уже можно догадываться, что въ основание новому виду искусства онъ полагалъ философскую идею, окончательно поясняющую и укръпляющую вфрованія, а затьмъ раждающую новыя явленія жизни, новые обычаи и даже новыя понятія о красотв...

Но это было теоретическое, отвлеченное представление искусства: любопытно видъть, какъ проявлялось у Станкевича его личное, непосредственное эстетическое чувство?

Въ этомъ отношении можно сказать, что у Станкевича попадаются слова, останавливающія вась невольно... Всячески соблюдая истинное представление размъровъ и пропорцій, позволено будетъ сказать, что замътки Станкевича отчасти напоминають геніальныя замътки Гегеля объ итальянскомъ искусствъ. Тутъ дъло не въ техническихъ познапіяхъ п даже не въ знакомствъ съ историческими данными, а въ соображеніяхъ, которыя возникають при отраженіи предмета въ человъческой душъ. Слова Станкевича проливаютъ тихій, кроткій свъть, который волнуется на предметь, какъ поэтическое облако, сообщая ему особенное выражение. Уже при самой первой встрвчв съ жителями Римской Кампаньи, при видъ людей въ синихъ плащахъ, съ длиниыми посохами въ рукахъ, съ медленною, важною походкой, Станкевичъ вспоминаетъ о Титъ-Ливіи и собирается перечитать его. Успокоившись отъ волненій дороги, опъ, черезъ два дпя по прівздв въ Римъ, идетъ гулять по Корсо, минуетъ Капитолій, спускается къ форуму и черезъ рядъ классическихъ развалинъ достигаетъ арки Тита и Колизея. Онъ не заглядываетъ въ книжку, отдаваясь вполнъ однимъ своимъ впечатлъніямъ, и встръча съ Колизеемъ вырываетъ у него восклицание: «Не знаю каковъ онъ быль въ своемъ цвъту, въ первобытномъ видъ, но върно не лучше, чъмъ тенерь. Я не думалъ много о его назначении... я видёлъ только огромную, гармоническую развалину и темносинее небо, просвъчивав-шее во всъ ея окна...» Точно также смотрълъ и Гоголь на Колизей. Общій характеръ свободы, простора, даннаго собственной воспріимчивости, не стъсняемой чужимъ представленіемъ предметовъ, лежить уже на всъхъ изслъдованіяхъ Станкевича въ Римъ. Онъ какъ будто приводить въ исполнение слова, сказанныя имъ однажды по поводу отношеній между наукой объ искусствъ и пониманіемъ его: «отдадимъ несарю несарево, а Божье душа узнаетъ». Входить ли онъ въ соборъ Петра-стройная громада эта, въ которой, по словамъ его, дышишь вольнъе и высоко поднимаешь голову, раждаетъ у него мыслы: «Я никогда не могъ ждать отъ архитектуры чегонибудь охватывающаго душу; душа выше ея, но она довольна, когда находить себ'в такое жилище». Посвщаеть ли онъ Пантеонъ-оконченность, миръ и спокойствіе, которые царствують въ зданіи, действують благотворно на все существо Станкевича, но онъ замъчаеть, что древніе слишкомъ рано успокоились, удовлетворились преждевременно, и потому не надобно хотъть постоянно, долго, исключительно наслаждаться ими; современныя требованія тотчась обратять умъ на другое и нарушатъ гармонію наслажденія (25-го марта, 1840). Аполлонъ Бельведерскій привелъ Станкевича въ восторгъ: по описанію его видно, что нашъ путешественникъ уразумъваль превосходный греческій типъ, который світился въ этой позднівищей копіп. Когда впоследствии говорили ему, что статуя не носить на себе признаковъ греческаго ръзда, что, въроятно, вышла она изъ римскихъ мастерскихъ временъ Адріана и проч., Станкевичъ, словно влюбленный въ первоначальный типъ статуи, просто замъчалъ: «это для меня ничего, я упрямъ и имтю свои понятія объ этомъ». Съ такою же откровенностію говорить онь при видь Моисея Микель-Анджело, что художникъ понималъ въ представленіи божественнаго одно только свойство — силу. Кисть Гвидо-Реги пришлась Станкевичу по сердцу, и онъ прекрасно опредъляеть этого художника словами, вызванными наблюдениемъ какой-то головки: «здёсь уже нётъ тёла одна душа и музыка. > Станкевичъ осуществляеть въ Римѣ намѣреніе довърять самому себъ принятое имъ съ первыхъ шаговъ по улицамъ города: «Всякій человінь живеть и должень быть снисходителенъ къ своей индивидуальности, върить ей - не то, она еще болье будеть обманывать его!> И мы убъждены, что при болье долгой жизни, при возможности дальнейшаго обсужденія впечатленій, на одномъ этомъ основании родились бы самобытныя, оригинальныя замътки объ искусствъ, которыя произвели бы то же самое дъйствіе

на читателей, какое производили некоторые проблески ихъ на весь

кругь его знакомыхъ!

Нельзя забыть при этомъ, что, отдаваясь самому себъ, Станкевичь опирался на одну изъ самыхъ превосходныхъ личностей, которая достигала тогда окончательнаго своего развитія. Юморъ Станкевича улегся и пріобр'влъ св'втлое выраженіе, вм'вст'в съ граціей въ формъ и легкимъ оттънкомъ задумчивости. То же самое можно сказать почти о всёхъ другихъ его качествахъ. Въ Риме, напримъръ, происходили иногда споры объ пскусствъ; особенно былъ одинъ о значеніи преданія въ живописи. Станкевичъ допускаль участіе преданія, какъ аттрибута, съ которымъ уже свыклось наше представление нъкоторыхъ лицъ, но отвергалъ его, когда оно становилось на мъстъ живого пониманія явленій и характеровъ. Онъ видъль въ пемъ тогда или матеріализацію пскусства, или уничтоженіе его въ неясныхъ стремленіяхъ, чуждыхъ всякой формы. По этому предмету высказано было имъ нъсколько превосходныхъ мыслей въ письмѣ отъ 25-го марта, да вопросъ этотъ быль, вѣроятно, и первымь поводомъ къ статъѣ объ искусствѣ, о которой мы упоминали. Но какъ былъ ведепъ самый споръ? Никто не возражалъ и не спорилъ благороднъе, гуманнъе, прибавимъ — великодушнъе Станкевича. Въ столкновеніяхъ мивній и въ способъ доставлять побъду своимъ убъжденіямъ обыкновенно открывается грубая или свътлая природа человъка. У Станкевича не было и признака хитрой изворотливости мысли, желанія захватить другого врасилохь, жажды поразить и унизить противника — всёхъ этихъ темныхъ качествъ, дёлающихъ изъ каждаго спора какую-то печальную арену, гдф сталкиваются на глазахъ вашихъ черныя страсти и побужденія, безобразно замъшанныя въ самый вопросъ. Онъ принималь мнъніе противника всегда съ лучшей, выгоднъйшей стороны его, и не могъ представить себъ возможности обойдти его сзади или подкрасться къ пему тайкомъ. Кромъ споровъ объ искусствъ, были еще тогда пренія и о философіи, особенно съ однимъ изъ русскихъ профессоровъ словесности, объезжавшихъ Италію. Какъ онъ, такъ и другіе оппоненты Станкевича, даже самые упорные, отдавали справедливость его уваженію къ дельному спору, которое они называли синсходительностію. «Я, въ самомъ дълъ, говоритъ Станкевичъ, взялъ за правило самообладаніе въ разговорахъ такого рода, и оно гораздо выгоднѣе и для меня п для чести науки, можетъ быть... Оно оковываетъ порывы самолюбія въ другомъ или заставляеть его обдумать мивнія, возникшія раг dépit.» Пренія о философіп, между прочимъ, побудили Стапкевича къ составленію, можетъ-быть, послёднихъ его замётокъ о наукъ, которую защищаль онъ всегда съ жаромъ и съ усиъхомъ

искренняго убъжденія. Мы не можемъ выписать ихъ сполна, вопервыхъ, по отрывочности ихъ, требующей довольно обширныхъ объясненій, не совству умъстных въ нашемъ очеркт; а во-вторыхъ, по глубокому отвлеченному характеру ихъ, къ которому читающая публика наша весьма мало расположена. Скажемъ только, что въ этомъ последнемъ труде Станкевичъ имель въ виду исторію философіи Рейнгольда, обвинившую впервые Гегеля въ скептицизмъ: обвиненіе, прянятое съ ея голоса и многими людьми, незнакомыми съ системами берлинскаго философа. Мы только приведемъ окончаніе статьи. Предварительно Станкевичъ зам'втиль, что у Гегеля н'втъ ни предложеній, ни доказательствъ, и все порождается передъ глазами мыслителя, исключая «Духа», который не подверженъ этому закону. Начавъ чувственнымъ бытіемъ, Гегель, по словамъ Станкевича, приводить его къ «Духу»; начавъ уединенною мыслію, Гегель приводить ее къ «Духу»; начавъ природой, Гегель приводитъ не къ человъку, а человъку указываетъ истину въ «Духъ». Идея, по объяснению Станкевича, есть то блаженство, гдв человъкъ наслаждается осуществленіемъ въ себъ воли Высшаго Духа. Затэмъ Станкевичъ идетъ далъе. Онъ снимаетъ весь логическій процессъ, предшествующій появленію идеи, называя его не самою истиной, а только приготовленіемъ къ ней, и остается съ последнимъ результатомъ науки — идеей. Приводимъ затемъ выписку изъ трактата, для показанія, что скрывалось въ этой пдев для самого Станкевича. Въ самомъ деле, говорить онъ, въ ходе науки умъ постепенно очищается отъ чувственной коры. Онъ прозрѣваетъ. Отдѣльныя мертвыя существованія постепенно сдвигаются съ мъсть своихъ, чтобъ исчезнуть въ общемъ, веселомъ хороводъ жизни. Туманъ ръдветь, ночные призраки бъгуть — и вдругь полный свыть любви изливается на созданіе и довершаеть дело преображенія. Воть жизнь, говорить философъ, понятая умомъ, которая сначала являлась нашему глазу въ грубой непосредственности. Хорошо. Не заботься же болье объ этихъ призракахъ, которые прогнало солнце 1). Это не истина, не абсолютное — и твой трудъ былъ только ходъ къ абсолютному. Теперь ты въ немъ забудь прошедшее. Разверни намъ новую жизнь. Подъ лучами этого солнца построй намъ міръ, проникнутый этою любовью!

«— Но здёсь кончается наука.

«Да. Философія есть ходъ къ абсолютному. Результатъ ея есть эсизнь идеи въ самой себъ. Наука кончилась. Далъе нельзя строить науки и начинается постройка жизни...»

Къ этой-то духовно-разумной постройкъ жизни для себя, кото-

¹⁾ То-есть о логическихъ отвлеченіяхъ, предшествовавшихъ последнему слову науки.

рая была бы практическою повёркой самаго ученія, и приступаль теперь Станкевичь; но смерть застигла его на первыхъ шагахъ къ цёли.

Смертельный недугъ, который Станкевичъ носилъ въ груди, помѣшалъ ему даже устроить внутрепній міръ свой виолнѣ подъ-ладъ къ тому міру классическихъ чудесъ, тишины и величаваго спокойствія, его окружавшаго. Вліяніе этого міра чувствовалось, но Станкевичъ хотѣлъ родства съ нимъ. «Кромѣ перемѣнчивой погоды, говоритъ онъ, которая мѣшаетъ покойно и въ порядкѣ вндѣть сокровища Рима, меня стѣсняетъ короткій срокъ моего пребыванія въ Римѣ: я не могу хорошенько расположиться, не могу устроить своихъ занятій такъ, чтобъ они сообразны были и съ вѣчною, главною потребностію духа, и съ мѣстностію. Это мѣшаетъ найдти центръ, изъ котораго весело и спокойно можно смотрѣть на весь міръ... но дѣлать нечего. Распорядиться такимъ образомъ не совсѣмъ зависитъ отъ моей воли. Этого стѣсненія требуетъ мое здоровье и другія причины...»

Римъ въ его время носилъ особенный характеръ и какъ будто создань быль для того, чтобъ образовать душу художника или философа. Онъ походиль па академію, разросшуюся въ большой городъ. У великольныхъ вороть его замолкаль весь шумъ Европы, и человъкъ невольно обращался или къ прошедшему, которое встръчало его на каждомъ шагу, или подъ тънью его сосредоточивался въ себъ самомъ, въ собственной мысли. Современная жизнь показывалась въ тогдашнемъ Римъ одною стороной своей — стороной, обращенною къ искусству. По улицамъ его ходили великолънныя процессіи, окрестности его безирестанно наполнялись шумомъ тъхъ религіозно-художественныхъ торжествъ, въ которыхъ народъ выказываетъ такъ могущественно свою изобретательность и врожденное чувство изящнаго. Эти проявленія народнаго творчества, вивств съ отсутствіемъ пустой роскоши, б'єготни за новостями и съ чертами врожденной веселости, счастливо соединенной въ паціональномъ характеръ съ какою-то степенностію, дълали изъ обиходной жизни Рима нфчто весьма не похожее на жизнь въ другихъ городахъ. Одно отсутствие матеріальныхъ стремленій и горделивое довольство самимъ собой каждаго его гражданина заставили некоторыхъ мыслителей предрекать великую будущность новому Риму. Затёмъ, если въ оградъ Рима скрывались и словно пропадали для всего свъта многія личности, прошумъвшія въ Европъ, то не менъе было и такихъ, которыя въ немъ искали необходимаго приготовленія къ подвигамъ жизни и къ дъятельности. Въ развитіи каждой серьёзной мысли есть минуты, когда она требуеть некотораго молчанія и не-

которой степени уединенія, подъ прикрытіемъ которыхъ и созрѣваетъ окончательно. Мѣсто, гдѣ совершается процессъ этотъ, разумѣется, значить мало, но надобно сказать, что тогда во всей Европ'в не было города способн'ве Рима собрать вс'в нравственныя силы человыка въ одинъ центръ и, такъ сказать, въ одну массу. Именно то и происходило со Станкевичемъ. Развитіе его достигало конца, и мудрое, симпатическое, но спокойное созерцание міра все болѣе и болѣе росло и укрѣплялось въ немъ. Каждому извѣстно, что достиженіе извѣстной нравственной высоты есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и право на обладаніе всемь, что лежить подъ нею; другими словами, полнота развитія скоро усвоиваеть себъ и тъ явленія, которыми человъкъ никогда не занимался, или на которыя бросиль только бъглый, поверхностный взглядъ. Незнакомство съ предметомъ, даже ошибка въ его оцънкъ—тутъ дъло временное и случайное. Стоитъ только человъку ближе поднести предметъ къ умственнымъ очамъ своимъ, и предметъ легко вводится въ ту богатую сокровищницу мысли, гдъ каждая изъ нихъ занимаетъ свое опредъленное мъсто. Вотъ почему нужды нѣтъ, если, занимаясь преимущественно философскимъ представленіемъ жизни, Станкевичъ выпустилъ изъ вида ту или другую подробность современнаго быта, не оцёниль по достоинству той или другой практической его работы, не угадаль вы какомъ-либо писатель, какъ напримърь въ Жоржъ-Сандь, существеннаго качества его — борьбы съ мертвыми формами жизни. Все это быль только недосмотрь; все это, прибавимь, ждало только минуты внимательнаго взгляда, чтобъ получить признание своихъ существенныхъ качествъ. При полнотъ развитія не можетъ быть затворенныхъ дверей ни для какого явленія, носящаго признаки нравственныхъ стремленій; не долго также остаются отверженцами не понятыя или еще не изследованныя начинанія людей, и скоро изъ блуждающихъ, осиротълыхъ существъ они поступаютъ въ широкую область духа, обращаются въ органические члены нашего собственнаго сознанія и дъйствують въ немъ наравнъ со всьми другими, расширяя все болье и болье кругь его. Такъ было бы и со Станкевичемъ, потому что полнота духа, какой онъ достигъ въ Римъ, дълала его способнымъ къ богатому гостепримству идей, въ чемъ преимущественно и состоить эта полнота; что въ настоящемъ случаъ мы не предаемся фантазіи и не пишемъ идеальнаго лица, можеть намь служить доказательствомь покойный Грановскій, принад-лежавшій къ школь Станкевича. Въ силу развитаго человъческаго, общественнаго и историческаго смысла, какое явленіе въ духовномъ мірь ускользало отъ его сочувственнаго вниманія и къ какой разумной сторонъ человъческой жизни вообще быль онъ глухъ или несправедливъ когда либо?...

Между тёмъ, Станкевичъ видимо и поспёшно близился, по выраженію поэта, къ своему началу. Бользнь его шла не по днямъ, а по часамъ. Уже не было определенныхъ сроковъ для педуга: онъ заставалъ его во всякое время. Разъ Станкевичъ поднимался въ четвертый этажь дома, гдв жили Х*, и читаль своимь обыкновеннымъ тихимъ голосомъ стихотворение Пушкина: «Снова тучи надо мною. » Пріятель, сопровождавшій его, следоваль за нимь и видель, какъ на половинъ лъстницы онъ вдругъ остановился, кашлянулъ и поднесь платокъ къ губамъ: на платкъ осталась кровь. Свидътель этой сцены невольно содрогнулся, а Станкевичъ только улыбнулся и дочель стихотворение до конца. Множество системъ и докторовъ было перепробовано, и не принесло пользы: можетъ-быть это даже ускорило ходъ неизбъжной развязки. Замъчательно, что Станкевичъ вообще никогда не говорилъ о своей бользии, и если упоминалъ о ней, то не иначе какъ въ шуточномъ тонъ. Отсутствующимъ друзьямъ онъ даетъ во всёхъ видахъ убёдительныя завёренія въ возможность если не скораго, то радикального своего выздоровленія; роднымъ сообщаеть одни только намеки на свое физическое состояніе. Онасеніе возмутить чью-либо душу ёдкимъ чувствомъ — превозмогаетъ ту нужду въ откровенности, которая такъ свойственна больнымъ вообще. Самъ онъ не могъ не видъть близости смерти, но какъ-то не хочеть върить ей: противоръчіе, часто встръчающееся у молодыхъ людей, осужденныхъ на преждевременный конецъ. Притомъ же въ смерти боялся онъ прекращенія мысли... Ни на минуту не даеть онь побъды матеріальному факту надъ собой: по свидътельству очевидцевъ, никогда не надалъ онъ духомъ и всякій новый признакъ физическаго разрушенія встрічаль съ новою надеждой сбросить его и высвободить себя изъ-подъ гнета слепого случая. Станкевичъ въ концѣ апрѣля собирается въ Неаполь для свиданія съ В. А. Д**, которую отыскиваль съ самаго вывзда изъ Берлина. Онъ думалъ застать ее еще въ Базель, но разъвхался съ нею. На В. А. Д** перенесъ опъ остатокъ той привязанности, которую питаль некогда къ семейству, такъ много участвовавшему въ событіяхъ его внутренней жизни. Какъ нарочно вев знакомые Станкевича, начиная съ Х**, вывхали тогда въ Неаполь, а самъ Станкевичъ послань быль докторомь въ Альбано, одно изъ очаровательныхъ мъстъ въ окрестностяхъ Рима, такъ богатаго ими. Но прелесть этого уголка, оканчивающаго пустынную Римскую Кампанью, уже на половину была потеряна Станкевичемъ. Онъ бъется на страдальческомъ своемъ ложь, томимый и желаніемъ последовать за своими знакомыми въ Неаполь, и невозможностію привести въ исполненіе планъ свой, онъ уже не въ состояніи писать: ѣдкая боль въ боку одолѣваетъ его, и каждый день, на нѣсколько минутъ, онъ горитъ, какъ въ огнѣ, по собственнымъ словамъ его. Тогда-то, получивъ извѣстіе отъ Мар—ва объ онасномъ положеніи Станкевича, В. А. Д** сама покидаетъ Неаполь и неожиданно является въ Римъ (въ концѣ мая 1840).

Радостна для Станкевича была эта встръча и эта послъдняя жертва дружбы! Онъ поднимается съ постели и вивств вдуть они изъ Альбано въ Римъ. Тамъ Станкевичъ бросаетъ прощальный, предсмертный взглядь на въчный городь и въ трогательныхъ словахъ благодаритъ небо, еще сохранившее для него это наслаждение: «Вчера и третьяго дня взглянули на Петра, Пантеонъ и Колизей, и я благословиль небо, которое хочеть, чтобь образь Рима дружески покоился въ душъ моей... Колизей заросъ еще болъе; зелень на немъ очаровательная, а небо, которое стало еще теплъе, украсило его такъ, что трудно выйдти оттуда; я былъ радъ видъть все это вивств съ Д**. Все двиствуетъ на нее прямо, просто и живо...» (письмо 21 мая). Цёлый мъсяцъ живетъ онъ еще въ Римъ. Надежда начинаетъ снова оживать въ его сердцъ, успокоенномъ дружбой и тъмъ разборчивымъ вниманіемъ, на какое способна только женщина. Планы будущихъ работъ тъснятся въ головъ его; нъсколько статей уже обдуманы и совсъмъ готовы къ изложенію, но надо сказать, что уже издавна любимою мыслію Станкевича было написать для русской публики простую, добросовъстную «исторію философіи». Мысль эта уже не покидала его въ Римъ, и ей посвящены были всв минуты усдиненія и спокойствія. Она и теперь возстала вивств съ лучомъ надежды, живительнымъ присутствіемъ дружественнаго существа и съ прощальнымъ напутствіемъ чуднаго города, покидаемаго навсегда... Станкевичь не потеряль въ болъзни своей ни одного изъ нравственныхъ основаній, на которыя опиралось его существование.

Затёмъ, въ началѣ іюня онъ покидаетъ Римъ, сопровождаемый В. А. Д** и однимъ изъ пріятелей, А. П. Ефремовымъ, прибывшимъ вмѣстѣ съ нею. Они медленно подвигались къ Флоренціи. Послѣ многихъ измѣненій, Станкевичъ окончательно остановился на одномъ планѣ жизни—все лѣто провести у Комскаго озера, а зиму въ Ниццѣ. Во Флоренціи онъ вспоминаетъ о Вердерѣ, берлинскомъ своемъ другѣ, и какъ будто движимый какимъ-то горькимъ предчувствіемъ, спѣшитъ разсчитатся съ нимъ—заявить ему тотъ долгъ любви и благодарности, который наложилъ онъ на него въ двухлѣтнее зна-комство: «Скажите ему мое почтеніе, пишетъ онъ къ пріятелю,

скажите, что его дружба будеть мнѣ вѣчно свята и дорога, и что все, что во мнѣ есть порядочнаго, неразрывно съ нею связано. > Благодарность къ людямъ, способствовавшимъ умственному или нравственному его развитію, была у Станкевича особеннымъ родомъ душевной потребности, обращенной точно также на учителя Острогожскаго училища, какъ и на профессора Берлинскаго университета. Тотъ же знакомый, спустя малое время, исполнялъ другое, печальное порученіе къ Вердеру— извѣщалъ его запиской о смерти Станкевича, не будучи въ состояніи лично передать извѣстія. Когда потомъ встрѣтился онъ съ Вердеромъ и, вспоминая о покойникѣ, сказалъ ему: «Въ немъ умерла и часть васъ самихъ», то эти слова едва не заставили публично зарыдать профессора. Вердеръ написалъ въ намять бывшаго своего друга стихотвореніе der Tod, весьма замѣчательное, какъ говорятъ слышавшіе его, но, къ сожалѣнію, намъ неизвѣстное.

Во Флоренціи Станкевичь нашель Е. ІІ. Фролову тоже въ дурномь состояніи: она увзжала въ Неаноль искать облегченія подъего невозмутимо-яснымъ небомъ. Простившись съ ней и приномнивъ всё минуты свётлаго состоянія духа, какими надёлило его ея общество и ся расположеніе, Станкевичь выёхаль изъ Флоренціи въ Миланъ, но дорогѣ къ озеру Комо. Не доёзжая Милана, въ сорока миляхъ отъ Генуи, въ городкѣ Нови, прославленномъ нобѣдой Суворова, скончался этотъ воинъ другого рода, но справедливому замёчанію одного изъ знакомыхъ. Случилось это въ ночь съ 24-го на 25-е іюня. Съ вечера онъ былъ еще веселъ, рано легъ спать, чтобъ быть готовымъ къ отъёзду на завтра; но когда А. П. Ефремовъ, утромъ 25-го числа, пришелъ будить его, онъ уже спалъвѣчнымъ сномъ,— и пеизмѣнная, благородная улыбка еще играла на пицѣ его. Тѣло Станкевича перевезли въ Россію къ роднымъ, пораженнымъ такимъ быстрымъ исходомъ болѣзни, о которой они имѣли весьма смутное понятіе, и отъ Станкевича остался на землѣ только намятникъ въ селѣ Удеревкѣ—мѣстѣ еще недавняго рожденія его. Одному изъ его знакомыхъ мы обязаны слѣдующимъ описаніемъ наружности Станкевича. «Станкевичъ былъ болѣе, нежели средняго

Одному изъ его знакомыхъ мы обязаны слъдующимъ описаніемъ наружности Станкевича. «Станкевичъ былъ болье, нежели средняго роста, очень хорошо сложенъ; по сложеню нельзя было предполагать въ немъ расположенія къ чахоткъ. У него были прекрасные черные волосы, покатый лобъ, небольшіе, каріе глаза; взоръ его быль очень ласковъ и веселъ, носъ тонкій, съ горбиной, красивый, съ подвижными ноздрями; губы тоже довольно тонкія, съ ръзко означенными углами: когда онъ улыбался, онъ слегка кривились, но очень мило. Вообще улыбка его была чрезвычайно привътлива и добродушна, хоть и насмъщлива; руки у него были довольно большія, узловатыя, какъ у старика. Во всемъ его существъ, въ дви-

женіяхъ была какая-то грація и безсознательное distinction; точно онъ былъ царскій сынъ, не знавшій о своемъ происхожденіи. Одѣвался онъ просто и носилъ обыкновенно палку...>

Вотъ что писалъ Т. Н. Грановскій, между прочимъ, къ Я. М. Невърову, когда въсть о кончинъ общаго ихъ друга пришла въ Россію: «Я еще не опомнился отъ перваго удара. Настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не върю въ возможность потери—только иногда сжимается сердце.

«Ты потеряль столько же, сколько и я. Тебъ нечего говорить о немь. Онь унесь съ собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свътъ не быль я такъ много обязанъ: его вліяніе на меня было безконечно и благотворно. Этого, можетъ-быть, кромъ меня, никто не знаетъ. Страшно подумать о его смерти. Душа отказывается върить.

«Тѣло его привезено въ Россію. Дай Богъ! Мнѣ бы не хотѣлось, чтобъ онъ спалъ такъ далеко отъ насъ».

Что же породило всѣ эти глубокія, неизмѣнныя привязанности? Въ чемъ же состояла эта сила привлекательности, которою надъленъ былъ Станкевичъ въ такой степени? Отчего, къ кому ни обращались мы за свъдъніями о немъ, постоянно встръчали одинъ восторженный отзывъ, одно и то же выражение любви и сочувствия? Такое общее единодушіе въ чувствъ сопровождаетъ человъка только тогда, когда онъ обладаетъ способностію дійствовать па душу, потребности которой одинаковы у всъхъ людей. Причина повсемъстнаго вліянія Станкевича заключается не въ талантахъ, которыхъ онъ проявить не успълъ, не въ познаніяхъ, хотя объемъ ихъ былъ весьма уже значителенъ, не въ умф, хотя глубина и проницательность его были охотно признаваемы. Качества эти, дъйствительно, могутъ привязать къ себъ человъка, но ръдко, способны оковать его воображение и подчинить его совъсть. Причина полнаго, неотразимаго вліянія Станкевича заключалась въ возвышенной его природѣ, въ способности нисколько не думать о себъ и безъ малъйшаго признака хвастовства или гордости невольно увлекать всёхъ за собой въ область идеала. Составитель этого біографическаго очерка не имъль счастія знать лично Станкевича; поэтому въ статью своей долженъ былъ ограничиться одними намеками на ту силу обаянія, которая дъйствовала у него постоянно. Станкевичъ не дожилъ еще до многаго. Прежде всего онъ не дожиль до заявленія своихъ началь въ обществъ, а стало-быть и до встръчи съ тупою ограниченностію, со страстію объяснять мелкими причинами всв духовныя стремленія человъка, съ невъжественнымъ скептицизмомъ и подозрительностію. Мы не знаемъ, какъ эта неизбъжная, житейская борьба,

измѣнившая и подорвавшая силы столькихъ людей, отразилась бы на его душѣ. Не слѣдуетъ также выпускать изъ вида, что множество литературныхъ вопросовъ поднято было гораздо позднъе. Во времена Станкевича они были еще въ зародышъ и являлись преимущественно въ видъ понятій, отвлеченныхъ тэмъ, тезисовъ, на которыхъ изощрялась діалектическая способность, но которые ни къ чему не обязывали и не возлагали на человъка никакой нравственной отвътственности. Мы не можемъ сказать, въ какомъ отношении находился бы Станкевичъ ко всъмъ предметамъ нынъщняго умственнаго и научнаго движенія, по имѣемъ право думать, что широта пониманія—слѣдствія того строгаго предуготовительнаго труда, которому онъ подвергъ себя—не осталась бы праздною и безполезною въ виду ихъ. Сившимъ прибавить, что намъ нвтъ и никакой нужды прибъгать къ догадкамъ, потому что и безъ нихъ мы имвемъ въ Станкевичв типическое лицо, превосходно выражающее молодости того самаго покольнія, которое подняло всь вопросы, занимающіе нынъ литературу и науку, которое по мъръ возможности трудилось надъ ними и теперь начинаетъ сходить понемногу съ поприща, уступая мъсто другимъ дъятелямъ. Въ Станкевичъ отразилась юностъ одной эпохи нашего развитія: онъ какъ-будто собралъ и совокупилъ въ себъ лучшіл нравственныя черты, благородньйшія стремленія н надежды своихъ товарищей. Въ немъ сошлось, какъ въ центръ, все прекрасное, которое было разсѣяно въ толиъ окружавшихъ его друзей. Четверть столътія протекла уже съ тъхъ поръ, какъ одно по-кольпіе посреди нашего общества начало сознавать важность строгаго, добросовъстнаго служенія наукъ, необходимость нравственныхъ требованій отъ себя и отъ другихъ, общественное значеніе чистоты дъйствій и побужденій. Въ преддверін этой замъчательной четверти стольтія является свътлый образъ Станкевича, какъ представитель всего направленія. Судьба хотвла, чтобъ аттрибуть молодости быль неразлученъ съ этимъ образомъ: нередъ концомъ молодости опа свела Станкевича въ могилу. Воспоминаніямъ друзей и воображенію читателей онъ уже иначе не можетъ представиться, какъ типомъ благороднаго, возвышеннаго молодого человъка. Такимъ, въроятно, найдетъ его и будущая, хорошая исторія русскаго образованія, да одна эта принадлежность нравственной его физіопоміи была первою побудительною причиною, какъ сказано въ началъ нашего труда, къ составленію предлагаемаго біографическаго очерка, построеннаго, преимущественно, на основаній его переписки съ друзьями, которая появилась вполив, какъ было сказано, въ 1857 году.





3 vol. 2000

88-B11296

GETTY RESEARCH INSTITUTE
3 3125 01640 0984

